

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

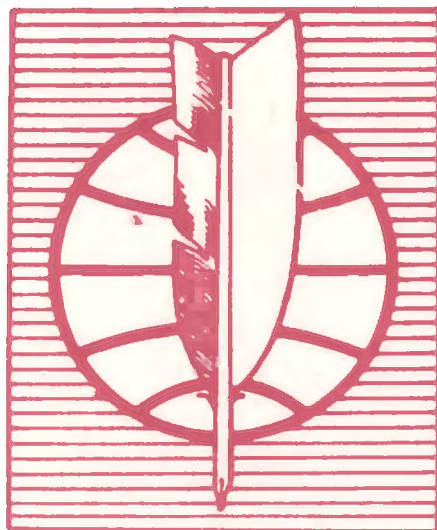


Ю. БОНДАРЕВ
В. БОГОМОЛОВ
В. БЫКОВ
Б. ВАСИЛЬЕВ



Ю. БОНДАРЕВ
В. БОГОМОЛОВ
В. БЫКОВ Б. ВАСИЛЬЕВ





БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

Торжачий снег

Роман

•

ВЛАДИМИР
БОГОМОЛОВ

И В А Н

Повесть

•

ВАСИЛЬ БЫКОВ

О Б Е Л И С К

Повесть

•

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

А З О Р И З Д Е С Ъ Т И Х И Е...

Повесть

МОСКВА

„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1986

С62
Б81



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Леонов Л. М.	Мустай Карим
Алексин А. Г.	Лихачев Д. С.	Новожилова Э. Г.
Барабаш Ю. Я.	Ломунов К. Н.	Прилежаева М. П.
Верейский О. Г.	Марков Г. М.	Свиридов Н. В.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Стукалин Б. И.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Танк Максим
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Уваров В. А.
Коржев Г. М.	Мотяшов И. П.	Шатунова Т. М.

*

Предисловие и комментарии
Е. Е. ЗУБАРЕВОЙ и Л. Е. ФЕТИСОВОЙ

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
А. ТАМБОВКИНА

Б 4803010102—290 Подп. изд.
М101(03)86

© Состав. Предисловие. Комментарии. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1986 г.

КНИГИ О ВОЙНЕ

«Ради жизни на земле» — таковы слова, которые могут быть поставлены в начале этого тома. Тома, включающего в себя произведения авторов, знающих войну не понаслышке, встретившихся с нею лицом к лицу, испытавших все тяготы ее.

Бой идет святой и правый,
Смертный бой не ради славы —
Ради жизни на земле,—

сказал Александр Твардовский в «Василии Теркине», поэме, имеющей подзаголовок — «Книга про бойца».

Книги о войне — это и есть прежде всего книги про бойцов, какое бы воинское звание они ни имели. Ведь они удостоены самого важного, самого уважаемого — одинаково почитаемого и в те, военные, и в наши, мирные дни — звания бойца Великой Отечественной.

Это к ним, героям войны, в первую очередь обращены слова благодарности, уважения, преклонения, которые звучали в день 40-летия Победы не только в нашей стране, но и на устах благородных людей во всех странах мира. И самые теплые, идущие от глубины сердец слова произнесены были 9 Мая 1985 года в адрес советских бойцов, вынесших на своих плечах основную тяжесть второй мировой войны.

Неиссякаемым запасом жизнелюбия, творческой мощи обладали мужественные солдаты Великой Отечественной. Не случайно то, что и во время войны и после ее окончания мы познаем, осмысливаем происходившее не только по военным документам, но и по художественным произведениям, ставшим вдохновенным свидетельством беспримерного человеческого мужества.

«Эта война,— отмечал Александр Фадеев на собрании писателей в марте 1943 года,— особенная война, освободительная, справедливая война против самых реакционных сил истории, против самых жестоких и зверских из когда-либо бывших на земле захватчиков и поработителей... В этой войне миллионы советских людей раскрывают самые сильные, благородные, героические стороны своего характера, встают во весь свой человеческий исполинский рост — в боевых делах, в труде, в отношении к родине, к нации, в мышлении о мире, о человечестве, в чувствах своих к врагу, к товарищам по борьбе, к семье, к любимому человеку. Мне кажется, это и есть то главное, что может и должен увидеть и показать советский художник в современной войне».

Тогда, в момент выступления Александра Фадеева, она была «современной войной», сейчас, когда прошли уже не годы, а десятилетия, когда минули огневые 1418 дней и ночей, по-прежнему жива и современна память о героях войны — и тех, кто не щадя сил сражался на фронте и отдал жизнь ради Победы, и тех, кто не зная устали трудился в тылу, и тех, кто после жесточайших боев со славой вернулся к мирному труду.

Именно в этом видят свой долг писатели — современники и участники Великой Отечественной, стремясь художнически воплотить бессмертный образ народа, ставшего на защиту своей Родины.

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой. —

так запечатлелось это великое движение народа, его подвиг в песне, написанной В. Лебедевым-Кумачом в самом начале войны.

Так, в конкретных образах и жизненно правдивых ситуациях, запечатлели это движение Юрий Бондарев, Владимир Богомолов, Василь Быков, Борис Васильев, чьи произведения вошли в этот том.

«Почему мы снова пишем о второй мировой войне?» — задает вопрос Ю. Бондарев и отвечает: «Не потому, наверное, что слабость рода людского — боязнь смерти, и не потому, что инстинкт самосохранения господствует над разумом. Нет, мы помним о войне потому, что человек — величайшая ценность данного мира, а его мужество и свобода его — это освобождение от страха, от зла, которые разъединяют людей».

Итак, о войне пишут во имя мира, во имя жизни на земле, во имя будущего.

«Наше поколение — те, что остались в живых, — вернулось с войны, сумев сохранить, пронести в себе через огонь этот чистый, лучезарный мир, веру и надежду» — так для Бондарева определяются ведущие черты его поколения. В этой фразе — раздумья писателя, сформулированные в статье «Мое поколение», а в романе «Горячий снег» — его раздумья, воплощенные в живые, полнокровные образы Кузнецова, Бессонова, Веснина, Зои... Все они — частицы того, что было и остается его поколением.

Родился Юрий Васильевич Бондарев в 1924 году на Урале, в городе Орске. Детство прошло в Москве. Великую Отечественную войну он прошел как артиллерист от Сталинграда до Чехословакии. «Нет, я никогда не забуду жестокие холода под Сталинградом, когда все сверкало, все скрипело, все металлически звенело от мороза: снег под валенками, под колесами орудий, толсто заиндевевшие ремни и портупеи на шинелях», — строки эти из очерка «Сталинград»: писатель был там же, где будут и герои его еще не написанных тогда книг.

Долгие дни войны еще отделяют будущего писателя от воплощения того, чем живет он в военное время; только в 1951 году закончит он Литературный институт, начнет писать рассказы, повести

Первая повесть — «Юность командиров» — расскажет о курсантах артиллерийского училища, о тех, с кем бок о бок был писатель, о себе самом в период этой учебы. Повесть стала своего рода школой мастерства для Бондарева. «Без этой школы, — вспомнит он позже, — без всех прежних сомнений я позднее никогда бы не осмелился сесть за стол на несколько лет для работы над повестями «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Родственники», романами «Тишина», «Двое», «Горячий снег», написанными, кстати, совсем в другом ключе, чем первая повесть»

Итак, писатель чувствует себя готовым к значительной по замыслу работе, которая по сути не прекращается и по сей день: воплотить в художественном произведении облик поколения, от которого осталось после войны только три процента живых, поколение, которое ощущало себя одновременно и двадцатилетним и сорокалетним.

Роман «Горячий снег» появился в 1970 году, когда уже завершены и опубликованы были не только «Батальоны просят огня», «Последние залпы», но и «Тишина», «Родственники». Первые два произведения напрямую связаны с военными событиями, два последние — о событиях, непосредственно с войной не перекликающихся. Почему произошел своеобразный отрыв в осмыслении военной тематики? Вероятно, потому, что необходим был новый взгляд на нее, новое отношение к пережитому. Так

было когда-то у А. Гайдара: в «РВС» и «Школе» выплеснулось все, что накопилось в дни гражданской войны; потом пришла очередь нового этапа, нового взгляда, война не исчезла из творческой лаборатории писателя, но стала либо подтекстом, либо рефреном, либо воспоминанием.

Юрий Васильевич Бондарев необычайно оригинален и ярко неповторим в своей писательской судьбе. О своеобразной перекличке судеб и писательского опыта говорит он сам в статье о рассказах В. Богомолова. Ю. В. Бондарев считает, что сотни сюжетов, судеб, коллизий, характеров теснились в неостывшей памяти каждого, и объясняет, почему после 12—15-летнего перерыва писатели его поколения возвращались к прямому изображению военных событий.

Один из таких не меркнущих и никогда не уходящих сюжетов связан с битвой за Сталинград; он лежит в основе романа «Горячий снег».

Решающее событие, которое стягивает тугим узлом все остальные в романе, — бой советской дивизии, идущей навстречу танкам группы Манштейна, которые пытались прорваться на помощь окруженному войску генерала Паулюса.

Действие в романе разворачивается в течение одних суток; поэтому все напряженно, все динамично. Не останавливаясь движутся наши части к Сталинграду, подтягивается огромная сила. Писатель видит события не только крупным планом — глазами генерала Бессонова, который «суров, и внутренний его мир тоже достаточно сумрачен, но определяющее во всем этом — чувство глубочайшей ответственности его, Бессонова, за этих вот людей, военная судьба которых вручена ему». События увидены еще и глазами лейтенанта Кузнецова, которому хотелось бы, чтобы движение его батареи к фронту хотя бы ненадолго замедлилось, чтобы его отпустили повидаться с матерью, которая находится где-то рядом...

Вообще человеческое в людях, находящихся на войне, не вытеснено, утверждает писатель.

В романе отчетливо показано, что каждый боец дорог не только лейтенанту Кузнецову, но и генералу Бессонову, несущему ответственность за всю дивизию, принявшему решение выбивать танки Манштейна и забыть о смерти. Это решение сплачивает бойцов: «В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой он сам связан со всеми ними надолго и прочно».

В одном из стихотворений Константина Симонова есть мужественные слова:

Держись, мой мальчик: на свете
Два раза не умирать.
Ничто нас в жизни не сможет
Вышибить из седла!

Эти слова говорит майор Деев в дни войны сыну своего друга — Ленке, отправляя молодого лейтенанта в смертельно опасный путь.

Эти слова могли бы сказать и герои романа «Горячий снег» — Кузнецов и Бессонов, Рубин и Нечаев, романа, который отмечен вдохновенным писательским талантом и благодарным читательским признанием.

Не знал слов из стихотворения «Сын артиллериста» мальчик Иван — герой рассказа Владимира Осиповича Богомолова, который так и называется «Иван».

Но приведенные выше афористичные строки могли бы стать эпиграфом к этому рассказу.

Немало таких ребят довелось встретить, наверно, тем, кто воевал. Не прошел мимо юных героев и писатель Владимир Богомолов, принадлежащий к тому поколению, которое ушло на фронт семнадцати-восемнадцати лет.

В литературу Владимир Богомолов пришел в середине пятидесятых годов, примерно через десятилетие после окончания войны. За это время отстоялось все, что связано было с грозными ее годами, улеглась острая боль, притаилась, но не ушла совсем. Четко встали характеры тех, кого он знал, кто не вернулся из боя, из разведки. Сердце не успокаивалось, требовало высказать то, во имя чего сражались и отдавали свои жизни люди разных поколений.

Так сложились поражающие своей силой военные рассказы писателя, так появился и «Иван».

Двенадцатилетним мальчиком встретил его старший лейтенант Гальцев, от имени которого ведется повествование. Мальчик с настороженно-сосредоточенным взглядом, с плотно сжатыми губами. Не было детства у Ивана, не осталось детского и в его душе. И когда ему предлагают ехать в суворовское училище, отказывается: пусть кончится война.

И в приближении победного ее конца он хочет участвовать не пассивно, а непосредственно, принося реальную, зримую пользу.

В нашей литературе о войне рассказ «Иван» Владимира Богомолова, характер мальчика — героя рассказа занимает особенное место, примечательное по своим достоинствам, что и отмечено критикой и многочисленными читательскими отзывами. Писатель не придумывает головокружительных ситуаций, не

преувеличивает роли мальчика в ходе разведывательных операций. Сдержанно и вместе с тем емко в рассказе раскрывается суровость военного времени; пристально и восхищенно вглядывается писатель в лицо этого хрупкого и необычайно стойкого человека, каким предстает перед нами юный разведчик Иван.

Невольно вспоминается герой-мальчик из романа Леонида Леонова «Русский лес». Оказавшись в фашистском застенке, он не только сохранил присутствие духа, но сумел поддержать девушку, которая была старше его. Он рассказал ей о себе: как был схвачен врагами за то, что расклеивал на немецких танках листовки собственного сочинения, а в листовках призывал уничтожать Гитлера и его солдат. Мальчик знает, что его расстреляют, но держится мужественно и мечтает о том, что теперь его любят все, даже те, кто раньше не любил, так как был он главным заводилой и доставлял немало хлопот взрослым. Но это было давно, в счастливом, мирном детстве...

А вот о том, что было в детстве у Ивана, так никто и не узнал: скуп он был на воспоминания. Он преодолевал естественное желание рассказать о себе, может быть, потому, что, будучи моложе всех разведчиков, хотел казаться взрослее. Что ж, это вполне объяснимо. И самое главное и драматичное заключается в том, что характер Ивана оказался подтвержденным не только жизнью, но и его трагической смертью. Он погиб героически в застенках гестапо, не сказав врагам ни слова о себе и о своих товарищах.

Писателю удалось высветить в характере советского воина верные черты: почти ребенок, Иван оказывается зрелым по жизненному опыту, по непримиримости в борьбе против врага, по стойкости в защите родной земли от захватчиков. Ему как бы передались героические черты, которыми отмечены были защитники Руси: вспомните памятные имена — Дмитрий Донской, Александр Невский, Александр Суворов, Михаил Кутузов.

Какими-то невидимыми, но мощными потоками влились эти черты исторических героев в худенькое тело советского мальчика с таким привычным русским именем. И внесены они сыновней любовью, которую он чувствовал не только к матери, родившей его, но и ко всей нашей стране, вскормившей не одно поколение добрых и мирных, стойких и неодолимых людей.

Иван из рассказа Владимира Богомолова действовал и боролся, мстил врагам и добывал победу в конкретных исторических условиях — в грозных сороковых годах нашего века. Также в конкретных исторических условиях жили и сражались герои прошлого, чьи имена постоянно звучали в годы Великой Отечественной войны. Звучали в песнях тех лет, в статьях

писателей и журналистов, в партийных документах, призывавших помнить о подвигах великих предшественников. И бойцы ощущали себя и «внуками Суворова», и «детьми Чапаева», как пелось в популярной песне.

Происходило необыкновенное совмещение времени исторического и времени реального; в душе каждого рождался и укреплялся небывалый эмоциональный накал. Чувство любви к Родине вдохновляло на борьбу всех — на фронте и в тылу, взрослых и детей, женщин и стариков. Единство ради победы!

Неужели не боялись смерти? Кто осмелится отрицательно ответить на этот вопрос? Но каждый шел на смертный бой через преодоление себя. Шел, зная, что может погибнуть: не заколдован от вражеской пули. Шел во имя Победы, во имя Будущего! И в рядах защитников Родины был и богомоловский мальчик-разведчик Иван, не думавший о бессмертии, не рассчитывавший даже на то, что о его подвиге когда-нибудь узнают и создадут памятник, написав книгу или поставив обелиск.

«Этот чуть выше человеческого роста обелиск за каких-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был то белоснежный, беленный перед праздниками известкой, то зеленый, под цвет солдатского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я увидел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику».

Это строки из повести Василя Быкова, которая называется «Обелиск». Книжки о героях минувшей войны создаются, и обелиски им возводятся. Все дальше идет всесоюзный поиск тех, кто погиб смертью храбрых, и все больше имен открывает он. Память об отдавших жизнь за счастье сегодняшних поколений стучит в сердца тех, кто воевал и вернулся с победой и тех, кто не воевал, но постоянно и прочными эмоциональными связями слит с памятью о павших.

Василий Владимирович Быков стал участником войны в восемнадцать лет. Было военное училище, был фронт. Сначала пехота, потом истребительная противотанковая артиллерия. Подобно Василию Теркину из поэмы Александра Твардовского, все испытал, что положено было испытать бойцу, был ранен, был без вести пропавшим, даже имя его осталось на одной из братских могил тех лет. Поэтому во всесоюзном поиске, который ведется по разным направлениям в том числе и литературой, есть своя тропа и у писателя Василя Быкова.

Она-то и привела его к обелиску на котором значились пять имен подростков, погибших во время войны, а через годы

и годы появилось еще одно имя — их учителя Алеся Ивановича Мороза.

Весь мир знает о подвиге польского педагога Януша Корчака, принявшего смерть в газовой камере вместе со своими воспитанниками, но не оставившего детей несмотря на предложение фашистского офицера. А сколько учителей приняли смерть, оставшись неизвестными миру?

Повесть В. Быкова звучит как реквием о них, становится литературным обелиском, им посвященным. Но этим обращением к прошлому не исчерпывается содержание произведения. В нем читатель стремится рассмотреть во всей протяженности судьбы тех, кто погиб в войну, и тех, кто выжил, но продолжает чувствовать себя бойцом. Бойцом за справедливость, за восстановление имен и подвига погибших.

Повесть пронизана характерной для творчества Быкова атмосферой раздумья, она раскрывает сердце читателя для восприятия нравственного смысла подвига. Автор строг к себе и своему поколению, потому что подвиг периода войны для него — основная мера гражданской ценности и современного человека.

Возможно, кто-нибудь из скептически настроенных читателей повести спросит: а собственно, был ли подвиг? Ведь учитель Мороз за войну не убил ни одного фашиста. Это во-первых. Кроме того, он работал при оккупантах, учил, как и до войны, ребят в школе. Несправедливость подобного сомнения очевидна. Ведь учитель явился к гитлеровцам, когда те арестовали его пятерых учеников и потребовали прихода его, Мороза. В этом и есть подвиг. Правда, в самой повести автор не дает однозначного «да-нет» на этот вопрос. Он просто вводит две полемические позиции: Ксендзова и Ткачука. Ксендзов как раз убежден, что подвига не было, что учитель Мороз не герой и, значит, зря его ученик Павел Миклашевич, чудом спасшийся в те дни арестов и казней, чуть ли не всю оставшуюся жизнь потратил на то, чтобы имя Мороза было запечатлено на обелиске над именами пятерых погибших учеников.

Спор Ксендзова и бывшего партизанского комиссара Ткачука разгорелся в день похорон Миклашевича, который, как и Мороз, учительствовал в сельской школе и уже одним этим доказал свою верность памяти Алеся Ивановича.

У таких, как Ксендзов, есть достаточно рассудочных доводов против Мороза: ведь тот сам, оказывается, ходил в немецкую комендатуру и добился, чтобы открыли школу. Но комиссар Ткачук знает большее: он проник в нравственную сторону поступка Мороза. «Не будем учить мы — будут оболванивать они» — вот принцип, который ясен учителю, который понятен и Ткачуку, присланному из партизанского отряда, чтобы выслушать объяс-

нения Мороза. Оба они познали истину: борьба за души подростков продолжается и во время оккупации.

Борьбу эту учитель Мороз вел до самого последнего своего часа. Несомненно, он понимал, что обещание фашистов освободить ребят, устроивших диверсию на дороге, если явится их учитель, — ложь, фарисейство. Но не сомневался он и в другом: если не явится, враги-изуверы используют этот факт против него, дискредитируют все то, чему он учил детей.

И он пошел на верную смерть. Знал, что казнят всех — и его и ребят. И такой была нравственная сила его подвига, что Павлик Миклашевич, единственный уцелевший из этих ребят, пронес идеи своего учителя через все жизненные испытания. Став учителем, он передал морозовскую «закваску» своим ученикам, и Ткачук, узнав, что один из них, Витька, помог поймать недавно бандита, удовлетворенно заметил: «Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать».

В повести, таким образом, намечены пути трех поколений: Мороза, Миклашевича, Витьки. Каждое из них достойно совершает свой героический путь, не всегда явно видимый, не всегда всеми признаваемый...

Писатель заставляет задуматься над смыслом героизма и подвига, непохожего на обычный, помогает вникнуть в нравственные истоки героического поступка. Перед Морозом, когда он шел из партизанского отряда в фашистскую комендатуру, перед Миклашевичем, когда он добивался реабилитации своего учителя, перед Витькой, когда он бросился защищать девушку, была возможность выбора. Поступать именно так или не поступать? Возможность формального оправдания их не устраивала. Каждый из них действовал, руководствуясь судом собственной совести. Такой человек, как Ксендзов, предпочел бы скорее всего устранился; есть еще любители порицать и поучать, не способные на самопожертвование, не готовые творить добро ради других.

Спор, который ведется в повести «Обелиск», помогает понять преемственность героизма, самоотверженности, истинной доброты. И принципы эти вечны, они благотворны и сегодня, в мирные дни: где бушевала война, теперь тихие зори...

«А зори здесь тихие...» — назвал свою повесть Борис Львович Васильев. И только в эпилоге становится до конца понятен глубинный смысл этого заголовка. Какой-то веселый отпускник пишет письмо товарищу, приглашая приехать в «непыльный уголок», в «райское» местечко, где к услугам отдыхающих два «шикарных» озера с окунями.

И вот в такое уютное, курортное место приехал, как сообщает автор письма, старик и с ним капитан-ракетчик, вероятно его

сын. Оба они что-то разыскивают, но пишущий сначала не вникает в суть их поисков. А потом узнает: здесь, когда его, отпускника, еще не было на свете, воевали. И он включается в розыск. Нашли могилу, и приезжие установили на ней мраморную плиту, которую привезли с собою.

«А зори-то здесь тихие, только сегодня разглядел. И чистые-чистые, как слезы...» — заканчивает письмо отпускник. И наверно, что-то перевернулось в его душе, потому что от легкомысленной веселости не осталось и следа. Есть грусть, доброта и деликатность по отношению к старому бойцу и капитану-ракетчику, хотя и не решился он расспросить их, что же произошло здесь в то давнее время, когда он еще не родился...

Принято говорить, что будущее заложено в настоящем. Одинаково верно и то, что заложено оно и в прошлом. Молодой человек, отпускник, который прикоснулся к далекому от его нынешних дней прошлому, видимо, не сможет быть больше таким беззаботным, даже несколько легкомысленным, каким он был, судя по началу письма, раньше...

Ученые-социологи считают, что в последние десятилетия критерий ориентации личности молодого человека сводится к следующей формуле: «Найти свое место в жизни — это проблема, кем стать и каким стать». Отпускник, пославший письмо товарищу, где-то и кем-то работает, но писатель не говорит нам — кем и где. Для писателя важна другая сторона формулы: «Какой он, этот человек?» Мы не узнали имени отпускника, но почувствовали, что встреча с суровым и грозным военным прошлым не оставила его равнодушным. А это главное. Значит, он человек, не ушедший в свой крохотный уютный мирок, нет, он способен понять и принять чужую боль...

Писатель, создавший повесть «А зори здесь тихие...», принадлежит к другому поколению, он ровесник тех, кого разыскивали старый боец и капитан-ракетчик, называвший старика тятей по давнему деревенскому обычаю. Борис Львович Васильев вырос в семье командира Красной Армии. В автобиографической повести «Летят мои кони...» он рассказывает, что отец был для него примером, что в семье не было ничего показного: если посуда — то для того, чтобы есть и пить, а не держать напоказ гостям; если дом — то для того, чтобы жить в нем, а не устраивать склад мебели.

Если бы не война, может, стал бы Васильев историком, как мечталось ему в школе. Но 1941 отменил все мирные мечты; вчерашние школьники стали солдатами. Борис Васильев учился в бронетанковой академии, «метался» в окружениях летом сорок первого, «скитался» по полковым школам, по маршевым ротам.

«Война переехала и через меня,— вспоминает он в пове-

сти,— и если не запахла, не искалечила, не задушила, тяжесть ее все равно невозможно сбросить с плеч. Она — во мне, часть моего существа, обугленный листок биографии. И еще — особый долг за то, что в целых и невредимых оставила именно меня...» Это и есть тот самый долг, о котором постоянно помнит каждый советский писатель, обратившийся к теме Великой Отечественной войны. Может быть, потому и не стал историком Борис Львович после окончания военной поры, когда мог выбрать снова любую дорогу, что не мог не выполнить «особого долга» — долга рассказать о подвиге народа.

Именно так оценивает писатель то, что произошло с героями его повести. Ведь в самом деле история о том, как пять девушек-зенитчиц и их старшина с разъезда номер 171, где были такие тихие зори, не пропустили фашистских диверсантов, не исчерпывается только событийной стороной. Писатель проникновенно раскрывает романтику их героизма, помогает понять нравственный смысл совершенного ими.

Рита Осянина, Женя Комелькова, Соня Гурвич, Лиза Бричкина, Галя Четвертак и их старшина Федот Евграфович Васков чувствуют и ведут себя так, будто им держать не только бой местного значения, но и весь фронт. всю Россию.

«Что там, где она, Россия, по какой рубеж своя?» — этот вопрос из поэмы «Василий Теркин», наверно, задавали себе и герои Васильева, пусть слова были иные, но мысли — те же.

Время было горячее: весна 1942 года. Везде шли ожесточенные бои, только здесь, на тихом разъезде, «курортном» месте, фашисты на какой-то период прекратили атаки, но наше командование считало нужным держать зенитчиков.

Показывая период затишья, писатель дает возможность лучше взглянуть в тех, кому суждено стать опорной силой будущего боя с фашистами. Боя необычного, потому что поведут его не мужчины-бойцы, закаленные или еще не закаленные в подобных испытаниях, а девушки, в облике которых первые же эпизоды повести подчеркивают мирное, женственное — и во внешности и в характерах.

Общительная и озорная Женька, строгая и целеустремленная Рита, незащищенная и молчаливая Соня, худенькая и неулыбчивая Галя, застенчивая и мечтательная Лиза, каждая из них заставляет вспомнить тех реальных героинь, которые совершали свои подвиги в те же годы на фронтах и во вражеском тылу — Зою Космодемьянскую, Лизу Чайкину, Улю Громову, Любу Шевцову...

Словно вставные новеллы, написаны автором истории каждой из пяти девушек-героинь повести. И оказывается, у каждой был свой счет к захватчикам. У одной погиб муж, на глазах другой фашисты расстреляли семью, родители третьей

не успели эвакуироваться из Минска. Их счет — единое звено в счете всего советского народа к фашистским захватчикам, поэтому и сила их сопротивления врагу — единая часть небывалого могущества всего народа.

«Эта повесть в моей судьбе оказалась перевалом: я стал писателем», — вспоминает Борис Васильев. Можно удивиться этим словам. Как? Ведь он писал и до этого, а он, оказывается, ведет исчисление по-своему. Да, по-своему. И в этом писательская честность: «До сей поры я не испытывал подобного чувства, хотя четверть века зарабатывал на жизнь пером. Но одно — «зарабатывать на жизнь», а другое — «быть обязанным».

Да, Борис Васильев принадлежит к иному поколению, чем описанный им отпускник из эпилога повести «А зори здесь тихие...», но приобщение к героическому прошлому своего поколения, произведения, созданные им, по его же собственному признанию, оказались для него столь же благотворными, как и для молодого человека, и для каждого его читателя. И в этом тоже нравственная сила Великой Отечественной...

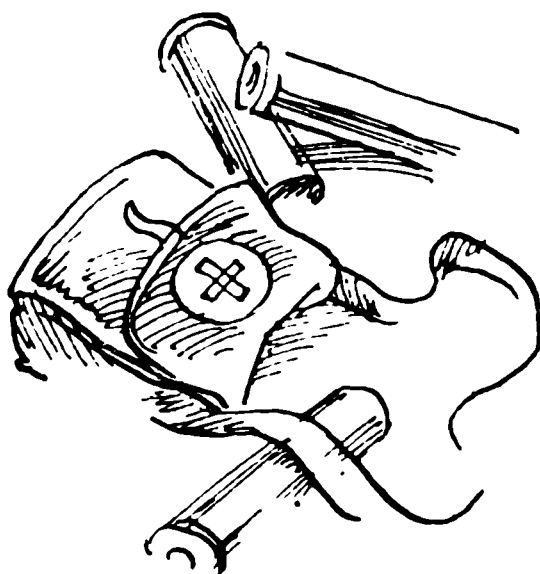
Книги о войне... В многообразной и многогранной советской литературе, представляющей собой великое достояние нашего общества, произведения о минувшей войне, одухотворенные талантом, занимают особое место. Сила их влияния на умы и сердца необыкновенна, и не удивительно поэтому, что они пользуются поистине всенародной любовью.

*Евгения Зубарева,
Лидия Фетисова*

ЮРИЙ БОНДАРЕВ.

*Т*ОРЯЧИЙ СНЕГ

Роман





ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кузнецову не спалось. Все сильнее стучало, гремело по крыше вагона, вьюжно ударяли нахлесты ветра, все плотнее забило снегом едва угадываемое оконце над нарами.

Паровоз с диким, раздирающим метель ревом гнал эшелон в ночных полях, в белой, несущейся со всех сторон мути, и в гремучей темноте вагона, сквозь мерзлый визг колес, сквозь тревожные всхлипы, бормотание во сне солдат был слышен этот непрерывно предупреждающий кого-то рев паровоза, и чудилось Кузнецову, что там, впереди, за метелью, уже мутно проступало зарево горящего города.

После стоянки в Саратове всем стало ясно, что дивизию срочно перебрасывают под Сталинград, а не на Западный фронт, как предполагалось вначале; и теперь Кузнецов знал, что ехать оставалось несколько часов. И, натягивая на щеку жесткий, неприятно влажный воротник шинели, он никак не мог согреть-

ся, набрать тепло, чтобы уснуть: пронзительно дуло в невидимые щели заметенного оконца, ледяные сквозняки гуляли по нарам.

«Значит, я долго не увижу мать,— съезживаясь от холода, подумал Кузнецов,— нас провезли мимо...

То, что было прошлой жизнью,— летние месяцы в училище в жарком, пыльном Актюбинске, с раскаленными ветрами из степи, с задыхающимися в закатной тишине криками ишаков по окраинам, такими ежевечерне точными по времени, что командиры взводов на тактических занятиях, изнывая от жажды, не без облегчения сверяли по ним часы, марши в одуряющем зное, пропотевшие и выжженные на солнце добела гимнастерки, скрип песка на зубах; воскресное патрулирование города, в городском саду, где по вечерам мирно играл на танцплощадке военный духовой оркестр; затем выпуск в училище, погрузка по тревоге осенней ночью в вагоны, угрюмый, в диких снегах лес, сугробы, землянки формировочного лагеря под Тамбовом, потом опять по тревоге на морозно розовеющем декабрьском рассвете спешная погрузка в эшелон и, наконец, отъезд — вся эта зыбкая, временная, кем-то управляемая жизнь потускнела сейчас, осталась далеко позади, в прошлом. И не было надежды увидеть мать, а он совсем недавно почти не сомневался, что их повезут на запад через Москву.

«Я напишу ей,— с внезапно обострившимся чувством одиночества подумал Кузнецов,— и все объясню. Ведь мы не виделись девять месяцев...»

А весь вагон спал под скрежет, визг, под чугунный гул разбежавшихся колес, стены туго качались, верхние нары мотало бешеной скоростью эшелона, и Кузнецов, вздрагивая, окончательно прозябнув на сквозняках возле оконца, отогнул воротник, с завистью посмотрел на спящего рядом командира второго взвода лейтенанта Давлатяна — в темноте нар лица его не было видно.

«Нет, здесь, возле окна, я не усну, замерзну до передовой», — с досадой на себя подумал Кузнецов и задвигался, пошевелился, слыша, как хрустит иней на досках вагона.

Он высвободился из холодной, колючей тесноты своего места, спрыгнул с нар, чувствуя, что надо обогреться у печки: спина вконец окоченела.

В железной печке сбоку закрытой двери, мерцающей толстым инеем, давно погас огонь, только неподвижным зрачком краснело поддувало. Но здесь, внизу, казалось, было немного теплее. В вагонном сумраке этот багровый отсвет угля слабо озарял разнообразно торчащие в проходе новые валенки, котелки, вещмешки под головами. Дневальный Чибисов неудобно спал на нижних нарах, прямо на ногах солдат; голова его

до верха шапки была упрятана в воротник, руки засунуты в рукава.

— Чибисов! — позвал Кузнецов и открыл дверцу печки, повеявшей изнутри еле уловимым теплом. — Все погасло, Чибисов!

Ответа не было.

— Дневальный, слышите?

Чибисов испуганно вскинулся, заспанный, помятый, шапка-ушанка низко надвинута, стянута тесемками у подбородка. Еще не очнувшись ото сна, он пытался оттолкнуть ушанку со лба, развязать тесемки, непонимающе и робко вскрикивая:

— Что это я? Никак, заснул? Ровно оглушило меня беспмятством. Извиняюсь я, товарищ лейтенант! Ух, до косточек пробрало меня в дремоте-то!..

— Заснули и весь вагон выстудили, — сказал с упреком Кузнецов.

— Да не хотел я, товарищ лейтенант, невзначай, без умыслу, — забормотал Чибисов. — Повалило меня...

Затем, не дожидаясь приказаний Кузнецова, с излишней бодростью засуетился, схватил с пола доску, разломал ее о колено и стал заталкивать обломки в печку. При этом бестолково, будто бока чесались, двигал локтями и плечами, часто нагибаясь, деловито заглядывал в поддувало, где ленивыми отблесками запёлзал огонь; ожившее, запачканное сажей лицо Чибисова выражало заговорщицкую подобострастность.

— Я теперича, товарищ лейтенант, тепло нагоню! Накалим, ровно в баньке будет. Иззябся я сам за войну-то! Ох как иззябся, каждую косточку ломит — слов нет!..

Кузнецов сел против раскрытой дверцы печки. Ему неприятна была преувеличенно нарочитая суетливость дневального, этот явный намек на свое прошлое. Чибисов был из его взвода. И то, что он, со своим неумеренным старанием, всегда безотказный, прожил несколько месяцев в немецком плену, а с первого дня появления во взводе постоянно готов был услужить каждому, вызывало к нему настороженную жалость.

Чибисов мягко, по-бабьи опустил на нары, непрспаные глаза его моргали.

— В Сталинград, значит, едем, товарищ лейтенант? По сводкам-то ка-кая мясорубка там! Не боязно вам, товарищ лейтенант? Ничего?

— Приедем — увидим, что за мясорубка, — вяло отозвался Кузнецов, всматриваясь в огонь. — А вы что, боитесь? Почему спросили?

— Да, можно сказать, того страху нету, что раньше-то, — фальшиво-весело ответил Чибисов и, вздохнув, положил маленькие руки на колени, заговорил доверительным тоном, как

бы желая убедить Кузнецова: — После, как наши из плена-то меня освободили, поверили мне, товарищ лейтенант. А я цельных три месяца, ровно щенок в дерьме, у немцев просидел. Поверили... Война вон какая огромная, разный народ воюет. Как же сразу верить-то? — Чибисов скосился осторожно на Кузнецова; тот молчал, делая вид, что занят печкой, обогреваясь ее живым теплом: сосредоточенно сжимал и разжимал пальцы над открытой дверцей. — Знаете, как в плен-то я попал, товарищ лейтенант?.. Не говорил я вам, а сказать хочу. В овраг нас немцы загнали. Под Вязьмой. И когда танки ихние вплотную подошли, окружили, а у нас и снарядов уж нет, комиссар полка на верх своей «эмки» выскочил с пистолетом, кричит: «Лучше смерть, чем в плен к фашистским гадам!» — и выстрелил себе в висок. От головы брызнуло даже. А немцы со всех сторон бегут к нам. Танки их живьем людей душат. Тут и... полковник и еще кто-то...

— А потом что? — спросил Кузнецов.

— Я в себя выстрелить не мог. Сгрудили нас в кучу, орут «хенде хох». И повели...

— Понятно, — сказал Кузнецов с той серьезной интонацией, которая ясно говорила, что на месте Чибисова он поступил бы совершенно иначе. — Так что, Чибисов, они закричали «хенде хох» — и вы сдали оружие? Оружие-то было у вас?

Чибисов ответил, робко защищаясь натянутой полуулыбкой:

— Молодой вы очень, товарищ лейтенант, детей, семьи у вас нет, можно сказать. Родители небось...

— При чем здесь дети? — проговорил со смущением Кузнецов, заметив на лице Чибисова тихое, виноватое выражение, и прибавил: — Это не имеет никакого значения.

— Как же не имеет, товарищ лейтенант?

— Ну, я, может быть, не так выразился... Конечно, у меня нет детей.

Чибисов был старше его лет на двадцать — «отец», «папаша», самый пожилой во взводе. Он полностью подчинялся Кузнецову по долгу службы, но Кузнецов, теперь поминутно помня о двух лейтенантских кубиках в петлицах, сразу обременивших его после училища новой ответственностью, все-таки каждый раз чувствовал неуверенность, разговаривая с прожившим жизнь Чибисовым.

— Ты, что ли, не спишь, лейтенант, или померещилось? Печка горит? — раздался сонный голос над головой.

Послышалась возня на верхних нарах, затем грузно, по-медвежьи прыгнул к печке старший сержант Уханов, командир первого орудия из взвода Кузнецова.

— Замерз, как цуцик! Греетесь, славяне? — спросил, протяжно зевнув, Уханов. — Или сказки рассказываете?

Вздрагивая тяжелыми плечами, откинув полу шинели, он пошел к двери по качающемуся полу. С силой оттолкнул одной рукой загремевшую громоздкую дверь, прислонился к щели, глядя в метель. В вагоне вьюжно завихрился снег, подул холодный воздух, паром понесло по ногам; вместе с грохотом, морозным взвизгиванием колес ворвался дикий, угрожающий рев паровоза.

— Эх, и волчья ночь — ни огня, ни Сталинграда! — подергивая плечами, выговорил Уханов и с треском задвинул обитую по углам железом дверь.

Потом, постукав валенками, громко и удивленно крикнув, подошел к уже накалившейся печке; насмешливые, светлые глаза его были еще налиты дремой, снежинки белели на бровях. Присел рядом с Кузнецовым, потер руки, достал кисет, вспоминая что-то, засмеялся, сверкнул передним стальным зубом.

— Опять жратва снилась. Не то спал, не то не спал: будто какой-то город пустой, а я один... вошел в какой-то разбомбленный магазин — хлеб, консервы, вино, колбаса на прилавках... Вот, думаю, сейчас рубану! Но замерз, как бродяга под сетью, и проснулся. Обидно... Магазин целый! Представляешь, Чибисов!

Он обратился не к Кузнецову, а к Чибисову, явно намекая, что лейтенант не чета остальным.

— Не спорю я с вашим сном, товарищ старший сержант, — ответил Чибисов и втянул ноздрями теплый воздух, точно шел от печки ароматный запах хлеба, кротко поглядев на ухановский кисет. — А ежели ночью совсем не курить, экономия обратно же. Сокруток десять.

— О-огромный дипломат ты, папаша! — сказал Уханов, сунув кисет ему в руку. — Свертывай хоть толщиной в кулак. На кой дьявол экономить? Смысл? — Он прикурил и, выдохнув дым, поковырял доской в огне. — А уверен я, братцы, на передовой с жратвой будет получше. Да и трофеи пойдут! Где есть фрицы, там трофеи, и тогда уж, Чибисов, не придется всем колхозом подметать доппаек лейтенанта. — Он подул на сигарку, сощурился: — Как, Кузнецов, не тяжелы обязанности отца-командира, а? Солдатам легче — за себя отвечай. Не жалеешь, что слишком много гавриков на твоей шее?

— Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звания? — сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. — Может, объяснишь?

Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам, и он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.

— Всю жизнь мечтал,— добродушно усмехнулся Уханов.— Не в ту сторону меня понял, лейтенант... Ладно, вздремнуть бы минуток шестьсот. Может, опять магазин приснится? А? Ну, братцы, если что, считайте не вернувшимся из атаки...

Уханов швырнул окурок в печку, потянулся, встав, косолапо пошел к нарам, тяжеломерно вспрыгнул на зашуршавшую солому; расталкивая спящих, приговаривал: «А ну-ка, братцы, освободи жизненное пространство». И скоро затих наверху.

— Вам бы тоже лечь, товарищ лейтенант,— вздохнув, посоветовал Чибисов.— Ночь-то короткая, видагь, будет. Не беспокойтесь, за-ради бога.

Кузнецов с пылающим у печного жара лицом тоже поднялся, выработанным строевым жестом оправил кобуру пистолета, приказывающим тоном сказал Чибисову:

— Исполняли бы лучше обязанности дневального!

Но, сказав это, Кузнецов заметил оробелый, ставший пришибленным взгляд Чибисова, ощутил неоправданность начальственной резкости — к командному тону его шесть месяцев приучали в училище — и неожиданно поправился вполголоса:

— Только чтоб печка, пожалуйста, не погасла. Слышите?

— Ясенько, товарищ лейтенант. Не сумлевайтесь, можно сказать. Спокойного сна...

Кузнецов влез на свои нары, в темноту, несогретую, ледяную, скрипящую, дрожащую от неистового бега поезда, и здесь почувствовал, что опять замерзнет на сквозняке. А с разных концов вагона доносились храп, сопение солдат. Слегка потеснив спящего рядом лейтенанта Давлатяна, сонно всхлипнувшего, по-детски зачмокавшего губами, Кузнецов, дыша в поднятый воротник, прижимаясь щекой к влажному, колкому ворсу, зябко стягиваясь, коснулся коленями крупного, как соль, инея на стене — и от этого стало еще холоднее.

С влажным шорохом под ним скользила слежавшаяся солома. Железисто пахли промерзшие стены, и все несло и несло в лицо тонкой и острой струей холода из забитого метельным снегом сереющего оконца над головой.

А паровоз, настойчивым и грозным ревом раздирая ночь, мчал эшелон без остановок в непроглядных полях — ближе и ближе к фронту.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кузнецов проснулся от тишины, от состояния внезапного и непривычного покоя, и в его полусонном сознании мелькнула мысль: «Это выгрузка! Мы стоим! Почему меня не разбудили?..»

Он спрыгнул с нар. Было тихое морозное утро. В широко раскрытую дверь вагона дуло холодом; после успокоившейся к утру метели вокруг неподвижно, зеркально до самого горизонта выгибались волны нескончаемых сугробов; низкое без лучей солнце грузным малиновым шаром висело над ними, и остро сверкала, искрилась размельченная изморозь в воздухе.

В насквозь выстуженном вагоне никого не было. На нарах — смятая солома, красновато светились карабины в пирамиде, валялись на досках развязанные вещмешки. А возле вагона кто-то пушечно хлопал рукавицами, крепко, свежо в тугой морозной тишине звенел снег под валенками, звучали голоса:

— Где же, братцы славяне, Сталинград?

— Не выгружаемся вроде? Команды никакой не было. Успеем пожрать. Должно, не доехали. Наши уже вон с котелками идут.

И еще кто-то проговорил хрипловато и весело:

— Ох и ясное небо, налетят они!.. В самый раз!

Кузнецов, мгновенно стряхнув остатки сна, подошел к двери и от жгучего сияния пустынных под солнцем снегов зажмурился даже, охваченный режущим морозным воздухом.

Эшелон стоял в степи. Около вагона, на прибитом метелью снегу, группами толпились солдаты; возбужденно толкались плечами, согреваясь, хлопали рукавицами по бокам, то и дело оборачивались — все в одном направлении.

Там, в середине эшелона, в леденцовой розовости утра дымили на платформе кухни, напротив них нежно краснела из сугробов крыша одинокого здания разъезда. К кухням, к домику разъезда бежали солдаты с котелками, и снег вокруг кухонь, вокруг журавля-колодца по-муравьиному кишел шинелями, ватниками — весь эшелон, казалось, набирал воду, готовился к завтраку.

У вагона шли разговоры:

— Ну и пробирает, кореш, от подметок! Градусов тридцать, наверно? Сейчас бы избенку потеплей да бабенку посмелей, и — «В парке Чаир распускаются розы...»

— Нечаеву все одна ария. Кому что, а ему про баб! Во флоте-то тебя небось шоколадами кормили — вот и кобелировал, палкой не отгонишь!

— Не так грубо, кореш! Что ты можешь в этом понимать! «В парке Чаир наступает весна...» Деревенщина, брат, ты.

— Тьфу, жеребец! Опять то же!

— Давно стоим? — спросил Кузнецов, не обращаясь ни к кому в отдельности, и спрыгнул на заскрипевший снег.

Увидев лейтенанта, солдаты, не переставая толкаться, притопывать валенками, не вытянулись в уставном приветствии («Привыкли, черти!» — подумал Кузнецов), лишь прекратили

на минуту разговор; у всех иней колюче серебрился на бровях, на мехе ушанок, на поднятых воротниках шинелей. Наводчик первого орудия сержант Нечаев, высокий, поджарый, из дальневосточных моряков, заметный бархатными родинками, косыми бачками на скулах и темными усиками, сказал:

— Приказано было не будить вас, товарищ лейтенант. Уханов сказал: ночь дежурили. Пока аврала не наблюдается.

— А где Дроздовский? — Кузнецов нахмурился, взглянул на блещущие иглы солнца.

— Туалет, товарищ лейтенант, — подмигнул Нечаев.

Метрах в двадцати, за сугробами, Кузнецов увидел командира батареи лейтенанта Дроздовского. Еще в училище он выделялся подчеркнутой, будто врожденной своей выправкой, властным выражением тонкого бледного лица — лучший курсант в дивизионе, любимец командиров-строевиков. Сейчас он, голый по пояс, играя крепкими мускулами гимнаста, ходил на виду у солдат и, наклоняясь, молча и энергично растирался снегом. Легкий пар шел от его гибкого, юношеского торса, от плеч, от чистой, безволосой груди; и в том, как он умывался и растирался пригоршнями снега, было что-то демонстративно упорное.

— Что ж, правильно делает, — сказал серьезно Кузнецов.

Но, зная, что сам не сделает этого, он снял шапку, сунул ее в карман шинели, расстегнул ворот, подхватил пригоршню жесткого, шершавого снега и, до боли надирая кожу, потер щеки и подбородок.

— Какой сюрприз! Вы к нам? — услышал он преувеличенно обрадованный голос Нечаева. — Как мы рады вас видеть! Мы вас всей батареей приветствуем, Зочка!

Умываясь, Кузнецов задохнулся от холода, от пресно-горького вкуса снега и, выпрямившись, переводя дыхание, уже достав вместо полотенца носовой платок — не хотелось возвращаться в вагон, — опять услышал позади смех, громкий говор солдат. Потом свежий женский голос сказал за спиной:

— Не понимаю, первая батарея, что у вас здесь происходит?

Кузнецов обернулся. Вблизи вагона среди улыбающихся солдат стояла санинструктор батареи Зоя Елагина в кокетливо белом полушубке, в аккуратных белых валенках, в белых вышитых рукавичках, не военная, вся, мнилось, празднично чистая, зимняя, пришедшая из другого, спокойного, далекого мира. Зоя строгими, сдерживающими смех глазами смотрела на Дроздовского. А он, не замечая ее, тренированными движениями, сгибаясь и разгибаясь, быстро растирал сильное порозовевшее тело, бил ладонями по плечам, по животу, делая выдохи, несколько театрально подымая грудную клетку вдохами. Все теперь смотрели на него с тем же выражением, какое было в глазах Зои.

— Лейтенант! — окликнула Зоя звонким голосом. — Можно спросить когда вы закончите процедуру? Я хотела бы к вам обратиться

Лейтенант Дроздовский стряхнул с груди снег и с неодобрительным видом человека, которому помешали, развязал полотенце на талии, разрешил без охоты:

— Обращайтесь.

— Доброе утро, товарищ комбат! — сказала она, и Кузнецов, вытираясь платком, увидел, как чуть подрожали кончики ее ресниц, мохнато опущенных инеем. — Вы мне нужны. Ваша батарея может уделить мне внимание?

Не спеша Дроздовский перекинул полотенце через шею, двинулся к вагону; поблескивали, лоснились омытые снегом плечи; короткие волосы влажные; он шел, властно глядя на толпившихся у вагона солдат своими синими, почти прозрачными глазами. На ходу уронил небрежно:

— Догадываюсь, санинструктор. Пришли в батарею произвести осмотр по форме номер восемь? Вшей нет.

— Дорогая Зочка! — подхватил сержант Нечаев, скользя размягченным взглядом по опрятно-чистенькому полушубку Зои, по санитарной сумке на ее бедре. — В нашей батарее абсолютный порядок. Паразитических насекомых днем с огнем не найдете. Не тот адрес... Как сегодня спали? Никто не мешал?

— Много болтаете, Нечаев! — отсек Дроздовский и, пройдя мимо Зои, взбежал по железной лесенке в вагон, наполненный говором вернувшихся от кухни, взбудораженных перед завтраком солдат, с дымящимся супом в котелках, с тремя набитыми сухарями и буханками хлеба вещмешками. Солдаты с обычной для такого дела толкотней расстилали на нижних нарах чью-то шинель, приготавливаясь на ней резать хлеб, нажженные холодом лица озабочены хозяйственной занятостью. И Дроздовский, надевая гимнастерку, одергивая ее, скомандовал:

— Тихо! Нельзя ли без базара? Командиры орудий, наведите порядок! Нечаев, что вы там стоите? Займитесь-ка продуктами. Вы, кажется, мастер делить! С санинструктором займутся без вас.

Сержант Нечаев извинительно кивнул Зое, взобрался в вагон, подал оттуда голос:

— В чем причина, кореш, прекратить аврал! Чего расшумелись, как танки?

И Кузнецов, испытывая неудобство оттого, что Зоя видела эту шумную суету занятых дележкой продуктов солдат, уже не обращавших на нее внимания, хотел сказать с какой-то ужасающей его самой лихой интонацией: «Вам в самом деле нет смысла проводить в наших взводах осмотр. Но просто хорошо, что вы к нам пришли».

Он до конца не объяснил бы самому себе, почему почти каждый раз при появлении Зои в батарее всех толкало на этот отвратительный, пошлый тон, на который подмывало сейчас и его, беспечный тон заигрывания, скрытого намека, будто ее приход ревниво раскрывал что-то каждому, будто на ее слегка заспанном лице, порой в тених под глазами, в ее губах читалось нечто обещающее, порочное, тайное, что могло быть у нее с медсанбатскими молодыми врачами в санитарном вагоне, где находилась она большую часть пути. Но Кузнецов догадался, что на каждой остановке она приходила в батарею не только для санитарного осмотра. Ему казалось, что она искала общения с Дроздовским.

— В батарее все в порядке, Зоя,— проговорил Кузнецов.— Не нужно никаких осмотров. Тем более — завтрак.

Зоя дернула плечами.

— Ка-акой особый вагон! И никаких жалоб. Не делайте наивный вид, вам уж это не идет! — сказала она, измеряя взмахом ресниц Кузнецова, насмешливо улыбаясь.— А ваш любимый лейтенант Дроздовский после своих сомнительных процедур, думаю, окажется не на передовой, а в госпитале!

— Во-первых, он не мой любимый,— ответил Кузнецов.— Во-вторых...

— Благодарю, Кузнецов, за откровенность. А во-вторых? Что вы думаете обо мне, во-вторых?

Лейтенант Дроздовский, одетый уже, стягивая шинель ремнем с мотающейся новенькой кобурой, легко прыгнул на снег, взглянул на Кузнецова, на Зою, медлительно договорил:

— Хотите сказать, санинструктор, что я похож на самострела?

Зоя откинула голову с вызовом:

— Может быть, и так... По крайней мере, возможность не исключена.

— Вот что,— решительно объявил Дроздовский,— вы не классный руководитель, а я не школьник. Прошу вас отправиться в санитарный вагон. Ясно?.. Лейтенант Кузнецов, оставайтесь за меня. Я — к командиру дивизиона.

Дроздовский с непроницаемым лицом вскинул руку к виску и гибкой, упругой походкой прекрасного строевика, как корсетом затянутый ремнем и новой портупеей, зашагал мимо оживленно снующих по рельсам солдат. Перед ним расступались, замолкали от одного вида его, а он шел, словно раздвигая солдат взором, в то же время отвечая на приветствия коротким и небрежным взмахом руки. Солнце в радужных морозных кольцах стояло над сияющей белизной степи. Вокруг колодца по-прежнему собиралась и сейчас же рассеивалась густая толпа; тут набирали воду и умывались, сняв шапки, охая, фыркая, ежась; потом бежали

к призывно дымившим в середине эшелона кухням, на всякий случай огибая группу дивизионных командиров возле заиндевелого пассажирского вагона.

К этой группе шел Дроздовский.

И Кузнецов видел, как с непонятным беспомощным выражением Зоя следила за ним вопросительными, с легкой косинкой глазами. Он предложил:

— Может, хотите позавтракать с нами?

— Что? — спросила она невнимательно.

— Вместе с нами. Вы ведь не завтракали еще, наверное.

— Товарищ лейтенант, все стынет! Ждем вас! — крикнул Нечаев из двери вагона. — Супец-пюре гороховый, — добавил он, черпая ложкой из котелка и облизывая усики. — Не подавишься — жив будешь!

За его спиной шумели солдаты, разбирали с разостланной шинели свои порции, иные с довольным смешком, иные ворчливо рассаживаясь на нарах, погружая ложки в котелки, впиваясь зубами в черные, промерзшие ломти хлеба. И теперь уж никто не обращал внимания на Зою.

— Чибисов! — позвал Кузнецов. — А ну-ка мой котелок санинструктору!

— Сестренка!.. Чего ж вы? — певуче отозвался из вагона Чибисов. — Кумпания у нас, можно сказать, веселая.

— Да... хорошо, — рассеянно сказала она. — Может быть... Конечно, лейтенант Кузнецов. Я не завтракала. Но... мне ваш котелок? А вы?

— Я потом. Голодный не останусь, — ответил Кузнецов.

Торопливо прожевывая, Чибисов подошел к дверям, чересчур охотно выставил из поднятого воротника заросшее личико; как в детской игре, закивал Зое с приятным участием, худой, маленький, в куцей, нелепо сидевшей на нем широкой шинели.

— Залезайте, сестренка. А чего ж!..

— Я немного поем из вашего котелка, — сказала Зоя Кузнецову. — Только вместе с вами. Иначе не буду...

Солдаты завтракали с сопением, кряканьем; и после первых ложек теплого супа, после первых глотков кипятка опять стали поглядывать на Зою любопытно. Расстегнув ворот нового полушубка, так что видно было белое горло, она осторожно ела из котелка Кузнецова, поставив котелок на колени, опустив глаза под взглядами, обращенными на нее.

Кузнецов ел с ней вместе, старался не смотреть, как она опрятно подносила ложку к губам, как ее горло двигалось при глотании; опущенные ресницы были влажны, в растаявшем инее, слиплись, чернели, прикрывая блеск глаз, выдававших ее волнение. Ей было жарко возле раскаленной печи. Она сняла шапку, каштановые волосы рассыпались по белому меху ворот-

ника, и без шапки вдруг выявилась незащищенно жалкой, скуластенькой, большеротой, с напряженно детским, даже робким лицом, странно выделявшимся среди распаренных, побагровевших от еды лиц артиллеристов, и впервые заметил Кузнецов: она была некрасива. Он никогда раньше не видел ее без шапки.

— «В парке Чаир распускаются ро-озы, в парке Чаир наступает весна...»

Сержант Нечаев, расставив ноги, стоял в проходе, тихонько напевал, оглядывая Зою с ласковой усмешкой, а Чибисов особенно услужливо налил полную кружку чаю и протянул ей. Она взяла горячую кружку кончиками пальцев, смущенно сказала:

— Спасибо, Чибисов.— Подняла влажно светящиеся глаза на Нечаева.— Скажите, сержант, что это за парки и розы? Не понимаю, почему вы все время о них поете?

Солдаты зашевелились, поощрительно подбадривая Нечаева:

— Давай-давай, сержант, вопрос есть. Откуда такие песенки?

— Владивосток,— мечтательно ответил Нечаев.— Увольнительная на берег, танцплощадка, и — «В парке Чаир...». Три года прослужил под это танго. Убиться можно, Зоя, какие были девушки во Владивостоке — королевы, балерины! Всю жизнь буду помнить!

Он поправил морскую пряжку, сделал руками жест, обозначая объятие в танце, сделал шаг, вильнул бедрами, напевая:

— «В парке Чаир наступает весна... Снятся твои золотые косы...» Трам-па-па-пи-па-пи...

Зоя напряженно засмеялась.

— Золотистые косы... Розы. Довольно пошлые слова, сержант... Королевы и балерины. А разве вы когда-нибудь видели королев?

— В вашем лице, честное слово. У вас фигурка королевы,— смело сказал Нечаев и подмигнул солдатам.

«Зачем он смеется над ней? — подумал Кузнецов.— Почему я раньше не замечал, что она некрасива?»

— Если б не война,— ох, Зоя, вы меня недооцениваете,— украл бы я вас темной ночью, увез бы на такси куда-нибудь, сидел бы в каком-нибудь загородном ресторане у ваших ног с бутылкой шампанского, как перед королевой... И тогда — чихать на свет! Согласились бы, а?

— На такси? В ресторан? Это романтично,— сказала Зоя, переждав смех солдат.— Никогда не испытывала.

— Со мной все испытали бы.

Сержант Нечаев сказал это, обволакивая Зою карими глазами, и Кузнецов, почувствовав обнаженную скользкость в его словах, прервал строго:

— Хватит, Нечаев, чепуху молоть! Наговорили с три короба! При чем здесь ресторан, черт возьми! Какое это имеет отношение!.. Зоя, пейте, пожалуйста, чай.

— Смешные вы,— сказала Зоя, и будто отражение боли появилось в тонкой морщинке на ее белом лбу.

Она все держала кончиками пальцев горячую кружку перед губами, но не отпивала, как прежде, маленькими глотками чай; и эта скорбная морщинка, казавшаяся случайной на белой коже, не распрямлялась, не разглаживалась на ее лбу. Зоя поставила кружку на печь и спросила Кузнецова с нарочитой дерзостью:

— Вы что на меня так смотрите? Что вы ищете на моем лице? Сажу от печки? Или тоже, как Нечаев, вспомнили каких-то там королев?

— О королевах я читал только в детских сказках,— ответил Кузнецов и нахмурился, чтобы скрыть неловкость.

— Смешные вы все,— повторила она.

— А сколько вам лет, Зоя, восемнадцать? — угадываяще поинтересовался Нечаев.— То есть, как говорят на флоте, сошли со стапелей в двадцать четвертом? Я на четыре года старше вас, Зочка. Существенная разница.

— Не угадали,— улыбаясь, сказала она.— Мне тридцать лет, товарищ стапель. Тридцать лет и три месяца.

Сержант Нечаев, изобразив крайнее удивление на смуглом лице, произнес тоном игривого намека:

— Неужели так хотите, чтоб было тридцать? Тогда сколько лет вашей маме? Она похожа на вас? Разрешите ее адресок.— Тонкие усики поднялись в улыбке, разъехались над белыми зубами.— Буду вести фронтовую переписку. Обменяемся фото.

Зоя брезгливо обвела взглядом поджарую фигуру Нечаева, сказала с дрожью в голосе:

— Как вас напичкали пошлостью танцплощадки! Адрес? Пожалуйста. Город Перемышль, второе городское кладбище. Запишите или запомните? После сорок первого года у меня нет родителей,— ожесточенно договорила она.— Но знайте, Нечаев, у меня есть муж... Это правда, миленькие, правда! У меня есть муж...

Стало тихо. Солдаты, слушавшие разговор без сочувственного поощрения этой шалой, затейной Нечаевым игре, перестали есть — все разом повернулись к ней. Сержант Нечаев, с ревнивой недоверчивостью вглядываясь в лицо Зои, сидевшей с опущенными глазами, спросил:

— Кто он, ваш муж, если не секрет? Командир полка, возможно? Или слухи ходят, что вам нравится наш лейтенант Дроздовский?

«Это, конечно, неправда,— тоже без доверия к словам ее

подумал Кузнецов.— Она это сейчас выдумала. У нее нет мужа. И не может быть».

— Ну, хватит, Нечаев! — сказал Кузнецов.— Перестаньте задавать вопросы! Вы как испорченная патефонная пластинка. Не замечаете?

И он встал, оглянул вагон, пирамиду с оружием, ручной пулемет ДП внизу пирамиды; заметив на нарах нетронутый котелок с супом, порцию хлеба, беленькую кучку сахара на газете, спросил:

— А старший сержант Уханов где?

— У старшины, товарищ лейтенант,— ответил с верхних нар, сидя на поджатых ногах, молоденький казах Касымов.— Сказал: чашка бери, хлеб бери, сам придет...

В короткой телогрейке, в ватных брюках, Касымов бесшумно спрыгнул с нар; криво расставив ноги в валенках, замерцал узкими щелками глаз.

— Поискать можно, товарищ лейтенант?

— Не надо. Завтракайте, Касымов.

Чибилов же, вздохнув, заговорил ободряюще, певуче:

— Муж-то ваш, сестренка, сердитый или как? Сурьезный, верно, человек?

— Спасибо за гостеприимство, первая батарея! — Зоя тряхнула волосами и улыбнулась, разомкнув над переносицей брови, надела свою новую с заячьим мехом шапку, заправила под шапку волосы.— Вот, кажется, и паровоз подают. Слышите?

— Последний прогон до передовой — и здравствуй, фрицы, я ваша тетя! — крикнул кто-то с верхних нар и нехорошо засмеялся.

— Зочка, не уходите от нас, ей-богу! — сказал Нечаев.— Оставайтесь в нашем вагоне. Для чего вам муж? Зачем он вам на войне?

— Должно, два паровоза подают,— сообщил с нар прокуренный голос.— Сейчас нас быстро. Последняя остановка. И — Сталинград.

— А может, не последняя? Может, здесь?..

— Что ж, скорей бы! — сказал Кузнецов.

— Кто сказал — паровоз? Очумели? — громко выговорил наводчик Евстигнеев, сержант в годах, с обстоятельной деловитостью пивший чай из кружки, и рывком вскочил, выглянув из двери вагона.

— Что там, Евстигнеев? — окликнул Кузнецов.— Команда?

И, повернувшись, увидел его задранную большую голову, в тревоге рыскающие по небу глаза, но не услышал ответа. С двух концов эшелона забили зенитки.

— Кажись, братцы, дождались! — крикнул кто-то, прыгая с нар.— Прилетели!

— Вот тебе и паровоз! С бомбами...

В лихорадочный лай зениток сейчас же врезался приближающийся тонкий звон, затем спаренный бой пулеметов порол воздух над эшелоном — и в вагон из степи ворвался крик предупреждающих голосов: «Воздух! «Мессера»!» Наводчик Евстигнеев, швырнув на нары кружку, бросился к пирамиде с оружием, на ходу толкнув Зою к двери, а вокруг солдаты в суматохе прыгали с нар, хватая карабины из пирамиды. На короткий миг в голове Кузнецова скользнула мысль: «Только спокойно. Я выйду последним!» И он скомандовал:

— Все из вагона!

Две эшелонные зенитки забили так оглушительно близко, что частые удары их толчками звона отдавались в ушах. Стремительно настигающий звук моторов, клекот пулеметных очередей дробным цоканьем рассыпался над головой, прошел по крыше вагона.

Бросаясь к раскрытой двери, Кузнецов увидел прыгающих на снег солдат с карабинами, разбегающихся по солнечно-белой степи. И, испытывая холодную легкость в животе, выпрыгнул из вагона сам, в несколько прыжков достиг огромного, отливающего синью по скату сугроба, с разбега упал с кем-то рядом, затылком чувствуя пронзительно сверлящий воздух свист. С трудом преодолевая эту гнущую к земле тяжесть в затылке, он все-таки поднял голову.

В огромном холодно-голубом сиянии зимнего неба, алюминево сверкая тонкими плоскостями, вспыхивая на солнце плексигласом колпаков, пикировала на эшелон тройка «мессершмиттов».

Обесцвеченные солнцем трассы зенитных снарядов непрерывно вылетали им навстречу с конца и спереди эшелона, рассыпались пунктиром, а вытянутые осиные тела истребителей падали все отвеснее, все круче, неслись вниз, дрожа острым пламенем пулеметов, скорострельных пушек. Густая радуга трасс неслась сверху сбоку вагонов, от которых бежали люди.

Над самыми крышами вагонов первый истребитель выровнялся и пронесся горизонтально вдоль эшелона, остальные два мелькнули за ним.

Впереди паровоза, колыхнув воздух, вырос бомбовый разрыв, взвились смерчи снега — и, круто набрав высоту, сделав разворот в сторону солнца, истребители, снижаясь, вновь понеслись к эшелону.

«Они нас всех хорошо видят,— возникло у Кузнецова.— Надо что-то делать!»

— Огонь!.. Огонь из карабинов по самолетам! — Он встал на колени, подав команду, и тотчас по другую сторону сугроба увидел поднятую голову Зои — брови ее удивленно скошены,

замершие глаза расширены. Крикнул ей: — Зоя, в степь! Отползайте дальше от вагонов!

Но она, молча кусая губы, смотрела на эшелон. Туда прыжками бежал лейтенант Дроздовский в своей, как облитой по телу, узкой шинели и что-то кричал — понять было нельзя. Дроздовский вскочил в раскрытые двери вагона и выпрыгнул оттуда с ручным пулеметом в руках. Потом, отбежав в степь, упал вблизи Кузнецова, с бешеной спешкой втискивая сошки ДП в гребень сугроба. И, вщелкнув в зажимы диск, полоснул очередью по истребителям, которые пикировали из сияющей синевы неба, пульсируя рваными вспышками.

Прямой огненный коридор трасс, нацеленных к земле, стремительно приближался. В голову Кузнецова ударило оглушительным треском очередей, пронизывающим звоном мотора, радужно, как в калейдоскопе, засверкало в глаза. В лицо брызнуло ледяной пылью, сбитой пулеметными очередями с сугроба. И в ревущей черноте, на секунду закрывшей небо, кувыркались, прыгали в снегу стреляные крупнокалиберные гильзы. Но непостижимее всего было то, что Кузнецов успел заметить в несущемся вниз плексигласовом колпаке «мессершмитта» яйцевидную, обтянутую шлемом голову летчика.

Обдав железным звоном моторов, самолеты вышли из пике в нескольких метрах от земли, выровнялись, быстро набирая высоту над степью.

— Володя!.. Не вставай! Подожди!.. — услышал он вскрик и тут же увидел, как Дроздовский отбросил пустой диск, пытаясь встать, а Зоя, цепко обняв, прижималась грудью к нему, не отпускала его. — Володя! Прошу тебя!..

— Не видишь — диск кончился! — кричал Дроздовский, перекосив лицо, отталкивая Зою. — Не мешай! Не мешай, говорят!

Он расцепил ее руки, побежал к вагону, а она, растерянная, лежала в снегу, и тогда Кузнецов подполз к ней вплотную.

— Что с пулеметом?

Она взглянула — выражение ее лица мгновенно изменилось, стало вызывающим, неприятным.

— А, лейтенант Кузнецов? Что же вы по самолетам не стреляете? Трусите? Один Дроздовский?..

— Из чего, из пистолета стрелять?.. Так считаете?

Она не ответила ему.

Истребители пикировали впереди эшелона, крутились над паровозом, и густо задымились два первых пульмановских вагона. Лоскутья пламени выскальзывали из раскрытых дверей, ползли по крыше. И этот возникший пожар, занявшиеся пламенем крыши, упорное пикирование «мессершмиттов» вдруг вызвали у Кузнецова чувство тошнотного бессилия, и показалось

ему, что эти три самолета не улетят до тех пор, пока не разгромят весь эшелон.

«Нет, сейчас у них кончатся патроны,— стал внушать себе Кузнецов.— Сейчас кончатся...

Но истребители сделали разворот и снова на бреющем пошли вдоль эшелона.

— Санита-ар! Сестра-а! — донесся крик со стороны горящих вагонов, и фигурки хаотично заметались там, волоча кого-то по снегу.

— Меня,— сказала Зоя и вскочила, оглядываясь на раскрытые двери вагона, на воткнутый в сугроб пулемет.— Кузнецов, где же Дроздовский? Я иду. Скажите ему, что я туда...

Он не имел права ее остановить, а она, придерживая сумку, быстрыми шагами пошла, потом побежала по степи в направлении пожара, исчезла за сугробами.

— Кузнецов!.. Ты?

Лейтенант Дроздовский прыжками подбежал от вагона, упал возле пулемета, вставил в зажимы новый диск. Тонкое бледное его лицо было зло заострено.

— Что делают, сволочи! Где Зоя?

— Кого-то ранило впереди,— ответил Кузнецов, плотнее вжимая пулеметные сошки в твердый наст снега.— Опять сюда идут...

— Подлюки... Где Зоя, я спрашиваю? — крикнул Дроздовский, плечом припадая к пулемету, и, по мере того как один за другим пикировали «мессершмитты», глаза его суживались, зрачки черными точками леденели в прозрачной синеве.

Зенитное орудие в конце эшелона смолкло.

Дроздовский ударил длинной очередью по засверкавшему над головами вытянутому металлическому корпусу первого истребителя и не отпускал палец со спускового крючка до той секунды, пока слепящим лезвием бритвы не мелькнул фюзеляж последнего самолета.

— Попал ведь! — выкрикнул Дроздовский сдавленно.— Видел, Кузнецов? Попал ведь я!.. Не мог я не попасть!..

А истребители уже неслись над степью, пропарывая воздух крупнокалиберными пулеметами, и огненные пики трасс будто поддевали остриями распростертые на снегу тела людей, переворачивали их в винтообразных белых завертях. Несколько солдат из соседних батарей, не выдержав расстрела с воздуха, вскочили, заметались под истребителями, бросаясь в разные стороны. Потом один упал, пополз и замер, вытянув вперед руки. Другой бежал зигзагообразно, дико оглядываясь то вправо, то влево, а трассы с пикирующего «мессершмитта» настигали его наискосок сверху и раскаленной проволокой прошли сквозь

него, солдат покатился по снегу, крестообразно взмахивая руками, и тоже замер; ватник дымился на нем.

— Глупо! Глупо! Перед самым фронтом!.. — кричал Дроздовский, вырывая из зажимов пустой диск.

Кузнецов, встав на колени, командовал в сторону ползающих по степи солдат:

— Не бегать! Никому не бегать, лежать!..

И тут же услышал свою команду, в полную силу ворвавшуюся в оглушительную тишину. Не стучали пулеметы. Не давил на голову рев входящих в пике самолетов. Он понял — все кончилось...

Вонзаясь в синее морозное небо, истребители с тонким свистом уходили на юго-запад, а из-за сугробов неуверенно вставали солдаты, отряхивая снег с шинелей, глядя на пылающие вагоны, медленно шли к эшелону, счищали снег с оружия. Сержант Нечаев со сбитой набок морской пряжкой отряхивал шапку о коленю (глянцевито-черные волосы растрепались), смеялся насильственным смешком, скашивая с красными прожилками белки на лейтенанта Давлатяна, командира второго взвода, угловатого, щуплого, большеглазого мальчика. Давлатян сконфуженно улыбался, но его брови неумело пытались хмуриться.

— И вы со снегом целовались, а, товарищ лейтенант? — ненатурально бодро говорил Нечаев. — Нырjali в сугроб, как японский пловец! Дали они нам прикурить! Побрили они нас, братишки. Покопали мы мордами степь! — И, завидев стоящего с пулеметом лейтенанта Дроздовского, ядовито добавил: — Поползали, ха-ха!

— Чего в-вы так... хохочете, Нечаев? Я н-не понимаю, — чуть запинаясь, проговорил Давлатян. — Что такое с вами?

— А вы с жизнью, никак, простились, товарищ лейтенант? — залился булькающим смешком Нечаев. — Конеч, думали?

Командир взвода управления старшина Голованов, гигантского роста, нелюдимого вида парень с автоматом на покато́й груди, шедший за Нечаевым, мрачновато одернул его:

— Говоришь несуразно, морячок.

Потом Кузнецов увидел робко и разбито ковыляющего Чибисова и рядом виноватого Касымова, обтиравшего круглые потные скулы рукавом шинели, замкнутое, смятое стыдом лицо пожилого наводчика Евстигнеева, который весь был вывален в снегу. И в душе Кузнецова подымалось что-то душное, горькое, похожее на злость за унижительные минуты всеобщей беспомощности, за то, что сейчас их всех заставили пережить отвратительный страх смерти.

— Проверить наличие людей! — донеслось издали. — Батареям произвести поверку!

И Дроздовский подал команду:

— Командиры взводов, построить расчеты!

— Взвод управления, становись! — рокотнул старшина Голованов.

— Первый взвод, станови-ись! — подхватил Кузнецов.

— В-второй взво-од... — по-училищному запел лейтенант Давлатян. — Строиться-а!..

Солдаты, не остывшие после опасности, возбужденные, отряхиваясь, подтягивая сползшие ремни, занимали свои места без обычных разговоров: все глядели в южную сторону неба, а там было уже неправдоподобно светло и чисто.

Едва взвод был построен, Кузнецов, обежав глазами оружейные расчеты, наткнулся взглядом на наводчика Нечаева, нервно мявшегoся на правом фланге, где должен был стоять командир первого орудия. Старшего сержанта Уханова в строю не было.

— Где Уханов? — обеспокоенно спросил Кузнецов. — Во время налета вы его видели, Нечаев?

— Сам кумекаю, товарищ лейтенант, где бы ему быть, — шепотом ответил Нечаев. — На завтрак к старшине ходил. Может, там еще отирается...

— До сих пор у старшины? — усомнился Кузнецов и прошел перед взводом. — Кто видел Уханова во время налета? Кто-нибудь видел?

Солдаты, поеживаясь на холоде, молчаливо переглядывались.

— Товарищ лейтенант, — опять шепотом позвал Нечаев, делая страдальческое лицо. — Посмотрите-ка! Может, там он...

Над огненным эшелоном, над снегами, над утонувшим в сугробах зданьем разъезда покойно, как и до налета, сыпалась под солнцем мельчайшая изморозь. А впереди около уцелевших вагонов продолжалось суматошное движение, — везде выстраивались батареи, и мимо них от горящих пульманов двое солдат несли на шинели кого-то — раненого или убитого.

— Нет, — сказал Кузнецов. — Это не Уханов, он в ватнике.

— Первый взвод! — раздался чеканный голос Дроздовского. — Лейтенант Кузнецов! Почему не докладываете?

Кузнецов соображал, как он должен объяснить отсутствие Уханова, сделал пять шагов к Дроздовскому, но не успел доложить — тот произнес требовательно:

— Где командир орудия Уханов? Не вижу его в строю! Я вас спрашиваю, командир первого взвода!

— Сначала надо выяснить... жив ли он, — ответил Кузнецов и приблизился к Дроздовскому, ожидавшему его доклада с готовностью к действию. «У него такое лицо, будто не намерен верить мне», — подумал Кузнецов и отчего-то вспомнил его решительность во время налета, его бледное, заостренное лицо,

когда он отталкивал Зою, выпустив по «мессершмитту» первый пулеметный диск.

— Лейтенант Кузнецов, вы куда-нибудь отпускали Уханова? — произнес Дроздовский. — Если бы он был ранен, санинструктор Елагина давно сообщила бы. Я так думаю!

— А я думаю, что Уханов задержался у старшины, — возразил Кузнецов. — Больше ему негде быть.

— Немедленно пошлите кого-нибудь в хозвзвод! Что он на кухне может делать до сих пор? Кашу, что ли, варят с поваром вместе?

— Я схожу сам.

И Кузнецов, повернувшись, зашагал по сугробам к дивизионным кухням.

Когда он подошел к хозвзводу, на платформе еще не погасли кухонные топки, а внизу, изображая внимание, стояли езовые, писаря и повар. Старшина батареи Скорик, в длиннополой комсоставской шинели, узколицый, с хищными, близко посаженными к крючковатому носу зелеными глазами, по-кошачьи мягко прохаживался перед строем, заложив руки за спину, то и дело поглядывая на спальный вагон, у которого тесно сгрудились старшие командиры, военные железнодорожники, разговаривая с кем-то из начальства, недавно прибывшего к эшелону на длинной трофейной машине.

— Смир-рно! — затылком почуяв подошедшего Кузнецова, выкрикнул Скорик и по-балетному кругообразно скользнул на одной точке, артистическим жестом выкинул кулак к виску, распрямил пальцы. — Товарищ лейтенант, хозяйственный взвод...

— Вольно! — Кузнецов хмуро взглянул на Скорика, который голосом своим в меру выявлял соответствующее невысокому лейтенантскому званию подчинение. — Старший сержант Уханов у вас?

— Почему, товарищ лейтенант? — насторожился Скорик. — Как так он может быть здесь? Я не позволяю... А в чем дело, товарищ лейтенант? Никак, исчез? Скажи пож-жалуйста! Где ж он, голова два уха?

— Уханов был у вас в завтрак? — строго переспросил Кузнецов. — Вы его видели?

Узкое многоопытное лицо старшины выразило работу мысли, предполагаемую степень ответственности и личной причастности к случившемуся в батарее.

— Так, товарищ лейтенант, — заговорил Скорик с солидным достоинством. — Прекрасно помню. Командир орудия Уханов получал для расчета завтрак. Ругался с поваром неприлично. По причине порций. Лично вынужден был сделать ему замечание. Разболтанный, как в гражданке. Очень правильно, товарищ лейте-

нант, что звания ему не присвоили. Разгильдяй. Не обтесался... Может, в хутор мотанул. Вон за станцией в балке хутор! — И тотчас, солидно приосаниваясь, зашептал: — Товарищ лейтенант, генералы, никак, сюда... Батареи обходят? Вы докладывайте, по уставу уж...

От спального вагона мимо построенных у эшелона батарей двигалась довольно многочисленная группа, и Кузнецов издали узнал командира дивизии полковника Деева, высокого роста, в бурках, грудь перекрещена портупеями. Рядом с ним, опираясь на палочку, шел сухощавый, слегка неровный в походке незнакомый генерал — его черный полушубок (такого никто не носил в дивизии) выделялся меж других полушубков и шинелей.

Это был командующий армией генерал-лейтенант Бессонов.

Обгоняя полковника Деева, он шагал, чуть хромя; останавливался возле каждой батареи, выслушивал доклад, затем, переложив тонкую бамбуковую палочку из правой руки в левую, подносил ладонь к виску, продолжал обход. В тот момент, когда командующий армией и сопровождавшие его командиры задержались близ соседнего вагона, Кузнецов услышал высокий и резкий голос генерала:

— Отвечая на ваш вопрос, хочу сказать вам одно: четыре месяца они осаждали Сталинград, но не взяли его. Теперь мы начали наступление. Враг должен почувствовать нашу силу и ненависть полной мерой. Запомните и другое: немцы понимают, что здесь, под Сталинградом, мы перед всем миром защищаем свободу и честь России. Не стану лгать, не обещаю вам легкие бои — немцы будут драться до последнего. Поэтому я требую от вас мужества и сознания своей силы!

Генерал выговорил последние слова возбужденным голосом, какой не мог не возбудить других; и Кузнецов колюче ощутил убеждающую власть этого худого, в черном полушубке, человека с болезненным, некрасивым лицом, который, пройдя соседнюю батарею, приближался к хозвзводу. И, еще не зная, что будет докладывать генералу, оказавшись здесь, около кухонь, он подал команду:

— Смир-рно! Равнение направо! Товарищ генерал, хозвзвод первой батареи второго дивизиона...

Он не закончил доклад; вонзив палочку в снег, генерал-лейтенант остановился против замершего хозвзвода, вопросительно перевел жесткие глаза на командира дивизии Деева. Тот с высоты своего роста ответил ему успокаивающим кивком, улыбнулся яркими губами, сказав крепким молодым баритоном:

— Потерь здесь, товарищ генерал, нет. Все целы. Так, старшина?

— Нимая ни одного хлопца, товарищ полковник! — предан-

но и бодро выкрикнул Скорик, непонятно почему вставляя в речь украинские слова.— Старшина батареи Скорик!

И, по-бравому развернув грудь, застыл с тем же выражением полного послушания.

Бессонов стоял в четырех шагах от Кузнецова, были видны заиндеветшие от дыхания уголки каракулевого воротника; худощавые, гладко выбритые сизые щеки, глубокие складки властно сжатого рта; из-под приспущенных век что-то знающий, усталый взор много пережившего пятидесятилетнего человека колюче ощупывал нескладные фигуры езовых, каменную фигуру старшины. Старшина Скорик, круто выпятив грудь, сдвинув ноги, подался вперед.

— Зачем так по-фельдфебельски? — произнес генерал скрипучим голосом.— Вольно.

Бессонов выпустил из поля зрения старшину, его хозвзвод и утомленно обратился к Кузнецову:

— А вы, товарищ лейтенант, какое имеете отношение к хозяйственному взводу?

Кузнецов вытянулся молча.

— Вас застал здесь налет? — как бы подсказывая, проговорил полковник Деев, но соучастливым был его голос, брови же полковника раздраженно соединились на переносице.— Почему молчите? Отвечайте. Вас спрашивают, лейтенант.

Кузнецов почувствовал нетерпеливо-торопящее ожидание полковника Деева, заметил, как старшина Скорик и его разношерстный хозвзвод одновременно повернули к нему головы, увидел, как переминались сопровождающие командиры, и выговорил наконец:

— Нет, товарищ генерал...

Полковник Деев прижмурил на Кузнецова рыжие ресницы.

— Что «нет», лейтенант?

— Нет,— повторил Кузнецов.— Меня здесь не застал налет. Я ищу своего командира орудия. Его не оказалось на поверке. Но я думаю...

— Никаких командиров орудий в хозвзводе нет, товарищ генерал! — выкрикнул старшина, захлебнув в грудь воздух и выкатив глаза на Бессонова.

Но Бессонов не обратил на него внимания, спросил:

— Вы, лейтенант, прямо из училища? Или воевали?

— Я воевал... Три месяца в сорок первом,— проговорил Кузнецов не очень твердо.— А теперь окончил артиллерийское училище...

— Училище,— повторил Бессонов.— Значит, вы ищете своего командира орудия? Смотрели среди раненых?

— В батарее нет ни раненых, ни убитых,— ответил Кузне-

цов, чувствуя, что вопрос генерала об училище вызван, конечно, впечатлением о его беспомощности и неопытности.

— А в тылу, как вы понимаете, лейтенант, не бывает пропавших без вести,— поправил Бессонов сухо.— В тылу пропавшие без вести имеют одно название — дезертиры. Надеюсь, это не тот случай, полковник Деев?

Командир дивизии несколько подождал с ответом. Стало тихо. Отдаленно донеслись неразборчивые голоса, свистящее шипение паровоза. Там залязгали, загрели буфера: от состава отцепляли два пылающих пульмана.

— Не слышу ответа.

Полковник Деев заговорил с преувеличенной уверенностью:

— Командир артполка — человек новый. Но подобных случаев не было, товарищ генерал. И, надеюсь, не будет. Убежден, товарищ генерал.

У Бессонова чуть дернулся край жесткого рта.

— Что ж... Спасибо за уверенность, полковник.

Хозвзвод стоял, так же не шевелясь, старшина Скорик, окаменев впереди строя, делал бровями страшные подсказывающие знаки Кузнецову, но тот не замечал. Он чувствовал сдержанное недовольство генерала при разговоре с командиром дивизии, беспокойное внимание штабных командиров и, с трудом преодолевая скованность, спросил:

— Разрешите идти... товарищ генерал?

Бессонов молчал, недвижно всматриваясь в бледное лицо Кузнецова; озябшие штабные командиры украдкой терли уши, переступали с ноги на ногу. Они не вполне понимали, почему командующий армией так ненужно долго задерживается здесь, в каком-то хозвзводе. Никто из них, ни полковник Деев, ни Кузнецов, не знал, о чем думал сейчас Бессонов, а он, как это бывало часто в последнее время, подумал в ту минуту о своем восемнадцатилетнем сыне, пропавшем без вести в июне на Волховском фронте. Пропавшем по косвенной его вине, представлялось ему, хотя умом понимал, что на войне порой ничто не может спасти ни от пули, ни от судьбы.

— Идите, лейтенант,— проговорил тяжелым голосом Бессонов, видя неловкие усилия лейтенанта побороть растерянность.— Идите.

И он с сумрачным видом поднес руку к папаше и, окруженный группой штабных командиров, зашагал вдоль эшелона, намеренно нажимая на болевшую ногу. Она замерзала.

Боль обострялась, как только замерзала нога, а Бессонов знал, что ощущение боли в задетом осколком нерве останется надолго, к ней нужно привыкнуть. Но то, что ему постоянно приходилось испытывать мешающую боль в голени, отчего немели пальцы на правой ступне и нередко появлялось нечто

похожее на страх перед бессмысленным лежанием в госпитале, куда опасался попасть вторично, если откроется рана, и то, что после назначения в армию он все время думал о судьбе сына, рождало в нем тревожные толчки душевной неполновесности, непривычной зыбкости, чего терпеть не мог ни в себе, ни в других.

Неожиданности в жизни случались с ним не так часто. Однако назначение на новую должность — командующего армией — свалилось как снег на голову. Он принял армию новенькую, свежесформированную в глубоком тылу, уже в дни погрузки ее в вагоны (ежесуточно отправлялось на фронт до восемнадцати эшелонов), и сегодняшнее знакомство с одной из ее дивизий, разгружавшейся на нескольких станциях северо-западнее Сталинграда, не совсем удовлетворило его. Это неудовлетворение было вызвано непредвиденным налетом «мессершмиттов» и необеспечением прикрытия с воздуха района выгрузки. Выслушав же оправдательные объяснения представителя ВОСО: «Десять минут назад улетели наши истребители, товарищ командующий», — он взорвался: «Что значит — улетели? Наши улетели, а немцы вовремя прилетели! Грош цена такому обеспечению!» И, сказав так, теперь жалел о своей невоздержанности, ибо не комендант станции отвечал за прикрытие с воздуха; это подполковник ВОСО просто первым попался ему на глаза.

Уже отойдя вместе со штабными командирами от хоззвода, Бессонов услышал за спиной негромкий голос задержавшегося у строя Деева:

— Что вы за чертовщину наговорили, лейтенант? А ну — пулей искать! Поняли? Полчаса... Даю полчаса вам!

Но Бессонов сделал вид, что ничего не услышал, когда полковник Деев догнал его возле платформы с орудиями, говоря как ни в чем не бывало:

— Я знаю эту батарею, товарищ командующий, полностью уверен в ней. Помню ее по учениям на формировке. Правда, командиры взводов очень уж молоденькие. Не оперились пока...

— В чем оправдываетесь, полковник? — перебил Бессонов. — Конкретней прошу. Яснее.

— Простите, товарищ генерал, я не хотел...

— Что не хотели? Именно? — с усталым выражением заговорил Бессонов. — Неужели вы меня тоже за мальчика принимаете? Так вот, звенеть передо мной шпорами нет смысла. Абсолютно глух к этому.

— Товарищ командующий...

— Что касается вашей дивизии, полковник, составлю о ней полное представление только после первого боя. Это запомните. Если обиделись, переживу как-нибудь.

Полковник Деев, пожав плечами, ответил обескураженно:

— Я не имею права обижаться на вас, товарищ командующий.

— Имеете! Но ясно было бы — за что!

И, вонзая палочку в снег, Бессонов повел глазами по нагнавшим их и притихшим штабным командирам, которых он тоже еще недостаточно знал. Они, потупясь, молчали, не участвуя в разговоре.

— С-смирно! Равнение-е направо! — рванулась громкая команда спереди от темнеющего против вагонов строя.

— Третья гаубичная батарея ста двадцати двух, товарищ генерал, — сказал полковник Деев.

— Посмотрим гаубичную, — вскользь произнес Бессонов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В каменном зданьице разъезда, куда на всякий случай Кузнецов зашел, Уханова не было. Два низких зала одичало пусты, холодны, деревянные лавки грязно обшарпаны, на полу темное месиво нанесенного сюда ногами снега; железная печь с трубой, выведенной в окно, заделанное фанерой, не топилась, и пахло удушливой кислотой шинелей: тут побывали солдаты со всех проходящих эшелонов.

Когда Кузнецов вышел на свежий воздух, на морозное солнце, эшелон по-прежнему стоял посреди сверкающей до горизонта глади снегов, и там наискось тянулся в безветренном небе черный дымовой конус: догорали вагоны, загнанные в тупик. Паровоз пронзительно звенел паром на путях перед опущенным семафором. Вдоль вагонов неподвижными рядами проступали построения батарей. В полукилометре за станцией подымались над степью прямые дымки невидимого в балке хутора.

«Где его искать? Неужели в этом проклятом хуторе, о котором сказал старшина?» — подумал Кузнецов и уже со злой отчаянностью побежал в ту сторону по санной дороге, по вылуженной полозьями колее.

Впереди, в балке, засияли, заискрились под солнцем крыши, зеркалами вспыхивали приваленные пышными сугробами низкие оконца — везде утренний покой, полная тишина, безлюдность. Похоже было, в теплых избах спали или не торопясь завтракали, будто и не было налета «мессершмиттов», — наверно, к этому привыкли в хуторе.

Вдыхая горьковатый дымок кизяка, напоминавший запах свежего хлеба, Кузнецов спустился в балку, зашагал по единственной протоптанной меж сугробов тропке с вмерзшим конским навозом, мимо обсахаренных инеем корявых ветел, мимо

изб с резными наличниками и, не зная, в какую избу зайти, где искать, добравшись до конца улочки, в замешательстве остановился.

Все здесь, в этом хуторке, было безмятежно мирным, давно и прочно устоявшимся, по-деревенски уютным. И может быть, оттого, что отсюда, из балки, не было видно ни эшелона, ни разъезда, внезапно появилось у Кузнецова чувство отъединенности от всех, кто оставался там, в вагонах: войны, чудилось, не было, а было это солнечное морозное утро, безмолвие, лиловые тени дымов над снежными крышами.

— Дяденька, а дяденька! Вы чего? — слышался писклявый голосок.

За плетнем маленькая, закутанная в тулуп фигурка, нагнувшись над облитым наледью срубом, опускала на жерди ведро в колодезь.

— Есть тут где-нибудь боец? — спросил Кузнецов, подходя к колодцу и произнося заранее приготовленную фразу. — Боец не проходил?

— Чего?

Из глубины воротника, из щелочки меха чернели, с любопытством выглядывали глаза. Это был мальчик лет десяти, голосок нежно пищал, его детские пальцы в дыпках перебирали обледенелую жердь колодезного журавля.

— Я спрашиваю, нет ли бойца у вас? — повторил Кузнецов. — Ищу товарища.

— Сейчас никого нету, — бойко ответил мальчик из меховых недр огромного тулупа, обвисшего на нем до пят. — А бойцов у нас много бывает. С эшелонов. Меняют. Ежели и у вас, дяденька, гимнастерка или куфайка, мамка враз выменяет. Иль мыло... Нету? А то мамка хлебы пекла...

— Нет, — ответил Кузнецов. — Я не менять. Я ищу товарища.

— А исподнее?

— Что?

— Исподнее для себя мамка хотела. Ежели теплые... Разговор был.

— Нет.

С поскрипыванием жерди мальчик вытащил ведро, полное тяжелой, как свинец, зимней колодезной воды; расплескивая воду, поставил на толстый от наростов льда край сруба, подхватил ведро, волоча полы тулупа по снегу, изогнувшись, понес к избе, сказал:

— Прощевайте пока. — И, красными пальцами отогнув бараний мех воротника, стрельнул черными глазами вбок. — Не этот ли товарищ ваш, дяденька! У Кайдалика был, у безногого.

— Что? У какого Кайдалика? — спросил Кузнецов и тут же

увидел за плетнем крайней хаты старшего сержанта Уханова.

Уханов спускался по ступенькам крылечка к тропке, надевая шапку, лицо распарено, спокойно, сыто. Весь вид его говорил о том, что был он сейчас в уюте, в тепле и вот теперь на улицу прогуляться вышел.

— А, лейтенант, боевой привет! — крикнул Уханов с добродушной приветливостью и заулыбался. — Каким образом здесь? Не меня ли ищешь? А я в окошко глянул, смотрю — свой!

Он подошел косолапой развалкой деревенского парня, лузгая тыквенные зерна, сплевывая шелуху, затем полез в карман ватника, протянул Кузнецову пригоршню крупных желтоватых семечек, сказал миролюбиво:

— Поджаренные. Попробуй. Четыре кармана нагрузил. До Сталинграда хватит всем щелкать. — И, взглянув в осерженные глаза Кузнецова, спросил вполусерьез: — Ты чего? Давай говори, лейтенант: в чем суть? Семечки-то держи...

— Убери семечки! — проговорил, бледнея, Кузнецов. — Значит, сидел здесь в теплой хате и семечки грыз, когда «мессера» эшелон обстреливали? Кто разрешил тебе уйти из взвода? Знаешь, после этого кем тебя можно считать?

С лица Уханова смыло довольное выражение, лицо мгновенно утратило сытый вид деревенского парня, стало насмешливо-невозмутимым.

— Ах, вон оно что-о?.. Так знай, лейтенант, во время налета я был там... Ползал на карачках возле колодца. В деревню забрел, потому что железнодорожник с разъезда, который со мной рядом ползал, сказал, что эшелон пока постоит... Давай не будем выяснять права! — Уханов, усмехнувшись, разгрыз тыквенное семечко, выплюнул шелуху. — Если вопросов нет, согласен на все. Считай: поймал дезертира. Но упаси боже: подвести тебя не хотел, лейтенант!..

— А ну пошли к эшелону! И брось свои семечки знаешь куда? — обрезал Кузнецов. — Пошли!

— Пошли так пошли! Не будем ссориться, лейтенант.

То, что он не сдержал себя при виде невозмутимого спокойствия Уханова, которому, должно быть, на все было наплевать, и то, что не мог понять этого спокойствия к тому, что не было безразлично ему, особенно злило Кузнецова, и, сбиваясь на неприятный самому тон, он договорил:

— Надо думать в конце концов, черт подери! В батареях проверка личного состава, на следующей станции, наверно, выгружаться будем, а командира орудия нет!.. Как это приказываешь расценивать?..

— Если что, лейтенант, вину беру на себя: в деревне мыло на семечки менял. Ни хрена. Обойдется. Дальше фронта не

пошлют, больше пули не дадут,— ответил Уханов и, шагая, на подъеме из балки поглядел назад — на блистающие верхи крыш, на леденцовые окна под опущенными ветлами, на синие тени дымов над сугробами, сказал: — Просто чудо деревушка! И девки до дьявола красивые — не то украинки, не то казачки. Одна вошла, брови стрелочки, глаза голубые, не ходит, а пишет... Что это, лейтенант, никак, наши «ястребки» появились? — добавил Уханов, задрав голову и сощуривая светлые нестеснительные глаза.— Нет, наверняка здесь выгружаться будем. Смотри ты, как охраняют!

Низкое зимнее солнце белым диском висело в степи над длинно растянутым на путях воинским эшелоном с отцепленным паровозом, над серыми построениями солдат. А высоко над степью, над догорающими в тупике пульманами, купаясь в морозной синеве, то ввинчивалась в зенит неба, то падала на тонкие серебристые плоскости пара наших «ястребков», патрулируя эшелон.

— Бегом к вагону! — скомандовал Кузнецов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Бат-тарей-а! Выгружайсь! Орудия с платформы! Лошадей вывод!

— Повезло же нам, кореш: цельный артполк на машинах, а наша батарея на лошадях.

— Лошадку танк плохо видит. Понял мысль этого дела?

— Что, славяне, пешочком тспать? Или фрицы рядом?

— Не торопись, на тот свет успеешь. На передовой знаешь как? Гармошку не успел растянуть — песня кончилась.

— Чего шарманку закрутил? Ты мне лучше скажи: табаку выдадут перед боем? Или зажмет старшина? Ну и скупердьяй, пробы негде ставить! Сказали — на марше кормить будут.

— Не старшина — саратовские страдания...

— Наши в Сталинграде немцев зажали в колечке... Туда идем, стало быть... Эх, в сорок первом бы немца окружить. Сейчас бы где были!

— Ветер-то к холоду. К вечеру еще крепче мороз вдарит!

— К вечеру сами по немцу вдарим! Не замерзнешь небось.

— А тебе чего? Главное, личный предмет береги. А то на передовую сосульку донесешь! Тогда к жене не возвращайся без документа.

— Братцы, в какой стороне Сталинград? Где он?

Когда четыре часа назад выгружались из эшелона на том, последнем перед фронтом степном разъезде, дружно — взводами — скатывали по бревнам орудия с заваленных снегом плат-

форм, выводили из вагонов застоявшихся, спотыкающихся лошадей, которые, фыркая, возбужденно кося глазами, стали жадно хватать губами снег, когда всей батареей грузили, кидали на повозки ящики со снарядами, выносили оружие, последнее снаряжение, вещмешки, котелки из брошенных, опостылевших вагонов, а потом строились в походную колонну, — лихорадочное возбуждение, обычно возникающее при изменении обстановки, владело людьми. Независимо от того, что ждало каждого впереди, люди испытывали прилив неумного веселья, излишне охотно отзывались смехом на шутки, на беззлобную ругань. Разогретые работой, толкались в строю, преданно глядя на командиров взводов с одинаковым угадыванием нового, неизвестного поворота в своей судьбе.

В те минуты лейтенант Кузнецов вдруг почувствовал эту всеобщую объединенность десятков, сотен, тысяч людей в ожидании еще неизведанного скорого боя и не без волнения подумал, что теперь, именно с этих минут начала движения к передовой он сам связан со всеми ними надолго и прочно. Даже всегда бледное лицо Дроздовского, командовавшего разгрузкой батареи, казалось ему не таким холодно-непроницаемым, а то, что испытывал он во время и после налета «мессершмиттов», представлялось ушедшим, забытым. И недавний разговор с Дроздовским тоже отдалился и забылся уже. Вопреки предположениям, Дроздовский не стал слушать доклада Кузнецова о полном наличии людей во взводе (Уханов нашелся), перебил его с явным нетерпением человека, занятого неотложным делом: «Приступайте к выгрузке взвода. И чтоб комар носа не подточил! Ясно?» — «Да, ясно», — ответил Кузнецов и направился к вагону, где, окруженный толпой солдат, стоял как ни в чем не бывало командир первого орудия. В предчувствии близкого боя все эшелонное прошлое понемногу потускнело, стерлось, сравнялось, вспоминалось случайным, мелким — и Кузнецову и, видимо, Дроздовскому, как и всем в батарее, охваченной нервным порывом движения в это неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное в одном металлическом слове — Сталинград.

Однако после четырех часов марша по ледяной степи, среди пустынных до горизонта снегов, без хуторов, без коротких привалов, без обещанных кухонь, постепенно смолкли голоса и смех. Возбуждение прошло — люди двигались мокрые от пота, слезились, болели глаза от бесконечно жестокого сверкания солнечных сугробов. Изредка где-то слева и сзади стало погромыхивать отдаленным громом. Потом стихло, и непонятно было, почему не приближалась передовая, которая должна бы приблизиться, почему погромыхивало за спиной, — и невозможно было определить, где сейчас фронт, в каком направлении идет

колонна. Шли, вслушиваясь, хватали с обочин пригоршнями черствый снег, жевали его, корябая губы, но снег не утолял жажды.

Разрозненная усталостью, огромная колонна нестройно растягивалась, солдаты шагали все медленнее, все безразличнее, кое-кто уже держался за щиты орудий, за передки, за борта повозок с боеприпасами, что тянули и тянули, механически мотая головами, маленькие, лохматые монгольские лошади с мокрыми мордами, обросшими колючками инея. Дымились в артиллерийских упряжках важно лоснящиеся на солнце бока коренников, на крутых их спинах оцепенело покачивались в седлах ездовые. Визгивали колеса орудий, глухо стучали вальки, где-то позади то и дело завывали моторы ЗИСов, буксующих на подъемах из балок. Раздробленный хруст снега под множеством ног, ритмичные удары копыт взмокших лошадей, натруженное стрекотание тракторов с тяжелыми гаубицами на прицепах — все сливалось в единообразный дремотный звук, и над дорогой, над орудиями, над машинами и людьми тяжело нависала из ледяной синевы белесая пелена с радужными иглами солнца, и вытянутая через степь колонна заведенно двигалась под ней как в полусне.

Кузнецов давно не шел впереди своего взвода, а тянулся за вторым орудием, в обильном поту, гимнастерка под ватником и шинелью прилипла к груди, горячие струйки скатывались из-под шапки от пылающих висков и тут же замерзали на ветру, стягивая кожу. Взвод в полном молчании двигался отдельными группками, давно потеряв первоначальную, обрадовавшую его стройность, когда с шутками, с беспричинным смехом выходили в степь, оставляя позади место выгрузки. Теперь перед глазами Кузнецова неравномерно колыхались спины с уродливо торчащими буграми вещмешков; у всех сбились на шинелях ремни, оттянутые гранатами. Несколько вещмешков, сброшенных кем-то с плеч, лежали на передках.

Кузнецов шагал в усталом безразличии, ожидая только одного — команды на привал, и, изредка оглядываясь, видел, как понуро ковылял, прихрамывая, за повозками Чибисов, как еще совсем недавно такой аккуратный морячок, наводчик Нечаев, плелся с неузнаваемо дурным выражением лица, с толсто заиндевелыми, мокрыми усиками, на которые он поминутно дул и неопрятно при этом облизывал.

«Когда же наконец привал?»

— Когда привал? Забыли? — услышал он за спиной звучный и негодующий голос лейтенанта Давлатяна; его голос всегда удивлял Кузнецова своей наивной чистотой, почему-то рождал приятные, как отошедшее прошлое, воспоминания о том, что было когда-то милое, беспечное школьное время, в котором,

вероятно, жил еще сейчас Давлатян, но которое смутным и далеким вспоминалось Кузнецову.

Он с усилием обернулся: шею сдавливал, холодил влажный целлулоидный подворотничок, выданный старшиной в училище.

Давлатян с худеньким большеглазым лицом, в отличие от остальных без подшлемника, догонял Кузнецова и на ходу аппетитно грыз комков снега.

— Послушай, Кузнецов! — сказал Давлатян стеклянно звонким, школьным голосом. — Я, знаешь, как комсорг батареи хочу с тобой посоветоваться. Давай, если можешь.

— А что, Гога? — спросил Кузнецов, называя его по имени, как называл и в училище.

— Не читал роскошное немецкое сочинение? — Посасывая снег, Давлатян вынул из кармана шинели вчетверо сложенную желтую листовку и насупился. — Касымов в кювете нашел. Ночью с самолета бросали.

— Покажи, Гога.

Кузнецов взял листовку, развернул, пробежал глазами по крупным буквам текста:

«Сталинградские бандиты!

Вам временно удалось окружить часть немецких войск под вашим Сталинградом, который превращен нашим воздушным флотом в развалины. Не радуйтесь! Не надейтесь, что теперь вы будете наступать! Мы вам еще устроим веселый праздник на вашей улице, загоним за Волгу и дальше кормить сибирских вшей. Перед славной победоносной армией вы слабы. Берегите свои дырявые шкуры, советские головорезы!»

— Прямо бешеные! — сказал Давлатян, увидев усмешку Кузнецова, дочитавшего листовку до конца. — Не думали, наверно, что в Сталинграде им жизни дадут. Как смотришь на эту пропаганду?

— Прав, Гога. Сочинение на вольную тему, — ответил Кузнецов, отдавая листовку. — А вообще такую ругань еще не читал. В сорок первом писали другое: «Сдавайтесь и не забудьте взять ложку и котелок!» Забрасывали такими листовками каждую ночь.

— Знаешь, как я эту пропаганду понимаю? — сказал Давлатян. — Чует собака палку. Вот и все.

Он смял листовку, бросил её за обочину, засмеялся легким смехом, снова напомнившим Кузнецову нечто далекое, знакомое, солнечное, — весенний день в окнах школы, испещренную теплыми бликами листву лип.

— Ничего не замечаешь? — заговорил Давлатян, подстраиваясь к шагу Кузнецова. — Сначала мы шли на запад, а потом повернули на юг. Куда мы идем?

— На передовую.

— Сам знаю, что на передовую, вот уж, понимаешь, угадал! — Давлатян фыркнул, но его длинные, сливовые глаза были внимательны. — Сталинград сзади теперь. Скажи, вот ты воевал... Почему нам не объявили пункт назначения? Куда мы можем прийти? Это тайна, нет? Ты что-нибудь знаешь? Неужели не в Сталинград?

— Все равно на передовую, Гога, — ответил Кузнецов. — Только на передовую, и больше никуда.

Давлатян обиженно повел острым носом.

— Это что, афоризм, да? Я что, должен засмеяться? Сам знаю. Но где здесь может быть фронт? Мы идем куда-то на юго-запад. Хочешь посмотреть по компасу?

— Я знаю, что на юго-запад.

— Слушай, если мы идем не в Сталинград, — это ужасно. Там колошматят немцев, а нас куда-то к бесу на кулички?

Лейтенант Давлатян очень хотел серьезного разговора с Кузнецовым, но этот разговор не мог ничего прояснить. Оба ничего не знали о точном маршруте дивизии, заметно измененном на марше, и оба уже догадывались, что конечный пункт движения не Сталинград: он оставался теперь за спиной, где изредка раскатывалась отдаленная канонада.

— Подтяни-ись!.. — донеслась команда спереди, нехотя передаваемая по колонне голосами. — Шире ша-аг!..

— Ничего пока не ясно, — ответил Кузнецов, взглянув на беспредельно растянутую по степи колонну. — Куда-то идем. И все время подгоняют. Может быть, Гога, вдоль кольца идем. По вчерашней сводке, там опять бои.

— А, тогда бы прекрасно!.. Подтяни-ись, ребята! — подал в свою очередь команду Давлатян с неким училищным строевым переливом, но поперхнулся, сказал весело: — Вот, знаешь, эскимо помешало, в горле застряло! А ты тоже пожуй. Утоляет жажду, а то весь мокрый как мышь! — И, будто сахар, с наслаждением пососал комок снега.

— Ты что, любил эскимо? Брось, Гога, попадешь в медсанбат. По-моему, охрип уже, — невольно улыбнулся Кузнецов.

— В медсанбат? Никогда! — воскликнул Давлатян. — Какой там медсанбат! К черту, к черту!

И он, наверное, как в школьные экзамены, суеверно сплюнул трижды через плечо, посерьезнев, швырнул комок снега в сугроб.

— Я знаю, что такое медсанбат. Ужас в квадрате. Провалился все лето, хоть вешайся! Лежишь как дурак и отовсюду слышишь: «Сестра, судно, сестра, утку!» Да, идиотская ерунда какая-то, знаешь... Только на фронт под Воронеж прибыл и на второй день глупость какую-то подхватил. Глупейшая болезнь. Повоевал, называется! Со стыда чуть с ума не сошел!

Давлатян опять презрительно фыркнул, но тут же быстро посмотрел на Кузнецова, словно предупреждая, что никому смеяться над собой не позволит, потому что в той болезни был не виноват.

— Какая же болезнь, Гога?

— Глупейшая, я говорю.

— Дурная болезнь? А, лейтенант? — слышался насмешливый голос Нечаева. — Как угораздило, по неопытности?

Подняв воротник, руки в карманах, он отупело шагал за орудием и, заслышав разговор, несколько взбодрился, сбоку глянул на Давлатяна; посиневшие губы выдавливали скованную холодом полуусмешку.

— Не надо, лейтенант, стесняться. Неужто схлопотали? Бывает...

— В-вы, донжуан! — вскрикнул Давлатян, и остренький нос его с возмущением нацелился в сторону Нечаева. — Что за глупую ерунду говорите, слушать невозможно! У меня была дезинтерия... инфекционная!

— Хрен редьки не слаще, — не стал спорить Нечаев и хлопнул рукавицей о рукавицу. — А что вы так уж, товарищ лейтенант?

— Пре-екратите глупости! Сейчас же! — сорвавшимся на фальцет голосом приказал Давлатян и заморгал, как филин днем. — Вас всегда тянет говорить непонятно что!

У Нечаева смешливо дрогнули заиндевелые усики, под ними — синий блеск ровных, молодых зубов.

— Я говорю, товарищ лейтенант, все под богом ходим...

— Это вы, а не я... вы под богом ходите, а не я! — с совершенно нелепым негодованием выкрикнул Давлатян. — Вас послушать — просто уши вянут... будто всю жизнь глупостями этими и занимаетесь, будто султан какой! От вашей пошлости женщины плачут, наверно!

— Они от другого плачут, лейтенант, в разные моменты. — Под усиками Нечаева скользнула улыбка. — Если в загс не зашла — слезы и истерика. Женщины, они как — одной ручкой к себе прижимают: тю-тю-тю, гуль-гуль-гуль, другой отталкивают: прочь, ненавижу, гадость, оставьте меня в покое, как вам не стыдно... И всякое подобное. Психология ловушки и ехидного коварства. У вас-то с практикой негусто было, лейтенант, учитесь, пока жив сержант Нечаев. Передаю опыт наблюдений.

— Какое право вы имеете... так говорить о женщинах? — окончательно возмутился Давлатян и стал похожим на взъерошенного воробья. — Что вы такое подразумеваете под практикой? С вашими мыслями на базар ходить!..

Лейтенант Давлатян начал даже заикаться в негодовании,

щеки его зацвели темно-алыми пятнами. Он не разучился краснеть при грубой ругани солдат или цинично обнаженном разговоре о женщинах, и это тоже было то далекое, школьное, что осталось в нем и чего почти не было в Кузнецове: привык ко многому в летнее крещение под Рославлем.

— Идите к орудию, Нечаев,— вмешался Кузнецов.— Не заметили, что влезли в чужой разговор?

— Е-есть, товарищ лейтенант,— протянул Нечаев и, сделав небрежный жест, напоминающий козыряние, отошел к орудию.

— Все-таки ты лейтенант, Гога, и привыкай,— сказал Кузнецов, сдерживаясь, чтобы не засмеяться, увидев, как Давлатян с воинственной неприступностью вздернул свой лиловый на голове нос.

— А я не хочу привыкать! Это к чему? С какими-то намеками полез! Мы что, животные какие?

— Подтянись! Ближе к орудиям! Приготовиться одерживать!..

От головы колонны навстречу батарее выехал Дроздовский. В седле сидел прямо, как влитой, непроницаемое лицо под слегка сдвинутой со лба шапкой строго; перешел с рыси на шаг, остановил крепконогую, длинношерстную, с влажной мордой монгольскую лошадь обочь колонны, придирчивым взглядом осматривая растянутые взводы, цепочкой и вразброд шагающих солдат. У всех затягивали подбородки потолстевшие от инея подшлемники, воротники подняты, вещмешки неравномерно покачивались на сгорбленных спинах. Ни одна команда, кроме команды «привал», уже не могла подтянуть, подчинить этих людей, отупевших в усталости. И Дроздовского раздражала полусонная нестройность батареи, равнодушие, безразличие ко всему людей: но особенно раздражало то, что на передках были сложены солдатские вещмешки и чей-то карабин палкой торчал из груды вещмешков на первом орудии.

— Подтяни-ись! — Дроздовский упруго привстал в седле.— Держать нормальную дистанцию! Чьи вещмешки на передке? Чей карабин? Взять с передка!..

Но никто не двинулся к передку, никто не побежал, только шагавшие ближе к нему чуть ускорили шаги, вернее, сделали вид, что понята команда. Дроздовский, все выше привставая на стремянах, пропустил мимо себя батарею, затем решительно щелкнул плеткой по голенищу валенка:

— Командиры огневых взводов, ко мне!

Кузнецов и Давлатян подошли вместе. Слегка перегнувшись с седла, ожигая обоих прозрачными, покрасневшими на ветру глазами, Дроздовский заговорил с резкостью:

— То, что нет привала, не дает права распускать на марше

батарей! Даже карабины на передках! Что, может, люди уже вам не подчиняются?

— Все устали, комбат, до предела, — негромко сказал Кузнецов. — Это же ясно.

— Даже лошадь вон как дышит!.. — поддержал Давлатян и погладил влажную, в иглистых сосульках морду комбатовой лошади, паром дыхания обдавшей его рукавицу

Дроздовский дернул повод, лошадь вскинула голову.

— Командиры взводов у меня, оказывается, лирики! — ядовито заговорил он. — «Люди устали», «лошадь еле дышит». В гости чай пить идем или на передовую? Добренскими хотите быть? У добренских на фронте люди, как мухи, гибнут! Как воевать будем — со словами «простите, пожалуйста»? Так вот... если через пять минут карабины и вещмешки будут лежать на передках, вы, командиры взводов, сами понесете их на своих плечах! Ясно поняли?

— Ясно.

Чувствуя злую правоту Дроздовского, Кузнецов поднес руку к виску, повернулся и зашагал к передкам. Давлатян побежал к орудиям своего взвода.

— Чьи шмотки? — крикнул Кузнецов, стаскивая с передка загремевший котелком вещмешок. — Чей карабин?

Солдаты, оборачиваясь, машинально поправляли за плечами вещмешки; кто-то сказал угрюмо:

— Кто барахло оставил? Чибисов, никак?

— Чибисов! — с сержантской интонацией заорал Нечаев, напрягая горло. — К лейтенанту!

Маленький Чибисов, в не по росту широкой, короткой, словно толстая юбка, шинели, хромая, натываясь на солдат, спешил к передкам от повозок боепитания, издали выказывая всем выжидательную, застывшую улыбку.

— Ваш вещмешок! И карабин? — спросил Кузнецов, испытывая неловкость оттого, что Чибисов засуетился у передка, взглядом и движениями выражая свою ошибку.

— Мой, товарищ лейтенант, мой... — Пар оседал на инистую шерсть подшлемника, голос его был глух. — Виноват я, товарищ лейтенант... Ногу натер до крови. Думал, разгрузюсь — малость ноге полегче будет.

— Устали? — неожиданно тихо спросил Кузнецов и посмотрел на Дроздовского. Тот, выпрямившись в седле, ехал вдоль колонны и наблюдал за ними сбоку. Кузнецов вполголоса приказал: — Не отставать, Чибисов. Идти за передками.

— Слушаюсь я, слушаюсь...

Рыхло и пьяно припадая на натертую ногу, Чибисов заковылял рысцой за орудием.

— А этот сидор чей? — спросил Кузнецов, взяв второй вещмешок.

В это время сзади послышался смех. Кузнецов подумал, что смеются над ним, над его старшинской распорядительностью или над Чибисовым, и оглянулся.

Слева от орудия шел по обочине медвежьей развалкой Уханов с Зоей, посмеиваясь, говорил ей что-то, а она, будто переломленная ремнем в талии, рассеянно слушала, кивала ему потным, усталым лицом. Санитарной сумки на ее боку не было, — наверно, положила на повозку санроты.

Они давно, по-видимому, шли вместе за батарейными тылами и сейчас оба догнали орудия. Утомленные солдаты недоброжелательно косились на них, как бы отыскивая в наигранной веселости Уханова тайный, раздражающий смысл.

— И чего конюшенным жеребцом заливается? — заметил пожилой ездовой Рубин, покачиваясь в седле квадратным телом, то и дело корябая рукавицей зябнувший подбородок. — Ровно показать перед девкой хочет героическое состояние нервов: живой, мол, я! Ты гляди-ка, сосед, — обратился он к Чибисову, — как наша зелень батарейная вокруг девки-то городские амуры разводит. Ровно и воевать не думают!

— А? — отозвался Чибисов, старательно поспешая за передком, и, высморкавшись, вытер пальцы о полу шинели. — Прости за-ради бога, не слышал я...

— Глухарь аль притворяешься, пленный? Щенки, говорю! — крикнул Рубин. — Нам с тобой бабу хоть в полной готовности давай — отказались бы... А им хоть бы хны!

— А? Да-да-да, — забормотал Чибисов. — Хоть бы хны... верно говоришь.

— Чего «верно»? Блажь городская в башках — вот что! Всё хи-хи да ха-ха вокруг юбки. Легкомыслие!

— Не болтайте глупости, Рубин! — сказал сердито Кузнецов, отстав от передка и глядя в направлении белого полушубка Зои.

Вперевалку ступая, Уханов продолжал рассказывать ей что-то, но Зоя теперь не слушала его, не кивала ему. Подняв голову, она в каком-то ожидании смотрела на Дроздовского, тоже, как и все, обернувшегося в их сторону, и потом, как по приказу, пошла к нему, мгновенно забыв про Уханова. С незнакомым, покорным выражением приблизясь к Дроздовскому, она неровным голосом окликнула:

— Товарищ лейтенант... — и, шагая рядом с лошадью, подняла к нему лицо.

Дроздовский в ответ не то поморщился, не то улыбнулся, украдкой тыльной стороной перчатки погладил ее по щеке, проговорил:

— Вам-го советую, санинструктор, сесть на повозку санроты. В батарее вам делать нечего.

И пришпорил коня в рысь, исчез впереди, в голове колонны, откуда неслась команда: «Спуск, одерживай!», а солдаты затеснились вокруг упряжек, около передков, облепили орудия, замедлившие движение перед спуском.

— Так что, мне в санроту? — сказала Зоя грустно. — Хорошо. Я пойду. До свидания, мальчики. Не скучайте.

— Зачем в санроту? — сказал Уханов, совершенно не обиженный кратким ее невниманием. — Садитесь на орудийный передок. Куда это он вас гонит? Лейтенант, найдется место для санинструктора?

Ватник Уханова распахнут на груди до ремня, подшлемник снят, шапка с незавязанными болтающимися ушами оттиснута на затылок, открывая до красноты нажженный ветром лоб, светлые, как бы не знающие стыда глаза сощурены.

— Для санинструктора может быть исключение, — ответил Кузнецов. — Если вы устали, Зоя, садитесь на передок второго орудия.

— Спасибо, родненькие, — оживилась Зоя. — Я совсем не устала. Кто вам сказал, что я устала? Шапку даже хочется снять: до чего жарко! И пить немного хочется... Пробовала снег — от него какой-то железный вкус во рту!

— Хотите глоток для бодрости?

Уханов отстегнул фляжку от ремня, намекаяюще потряс ее над ухом, во фляжке забулькало.

— Неужели?.. А что здесь, Уханов? — спросила Зоя, и заиндевелившие стрелочки бровей поднялись. — Вода? У вас осталось?

— Попробуйте. — Уханов отвинтил металлическую пробку на фляжке. — Если не поможет — убьете меня. Вот из этого карабина. Стрелять умеете?

— Как-нибудь сумею нажать спусковой крючок. Не беспокойтесь!

Кузнецову неприятна была эта ее неестественная оживленность после мимолетного разговора с Дроздовским, это необъяснимое ее расположение и доверчивость к Уханову, и он сказал строго:

— Уберите фляжку. Что вы предлагаете? Воду или водку?

— Нет уж! А может быть, я хочу! — Зоя тряхнула головой с вызывающей решимостью. — Почему вы меня, лейтенант, так опекаете? Родненький... вы что, ревнуете? — Она погладила его по рукаву шинели. — Этого совсем не надо, Кузнецов, прошу вас, честное слово. Я одинаково отношусь к вам обоим.

— Я не могу вас ревновать к вашему мужу, — сказал Куз-

нецов полуиронически, и это, почудилось, прозвучало вымученной пошлостью.

— К моему мужу? — Она расширила глаза. — Кто вам сказал, что у меня муж?

— Вы сами сказали. Разве не помните? А впрочем, простите, Зоя, это не мое дело, хотя я был бы рад, если бы у вас был муж.

— Ах да, сказала тогда Нечаеву... Какая чепуха! — Она рассмеялась. — Я хочу быть вольным перышком. Если муж — значит, дети, а это совершенно невозможно на войне, как преступление. Понимаете вы? Я хочу, чтобы вы знали это, Кузнецов, и вы, Уханов... Просто я вам верю, вам обоим! Но пусть у меня будет какой-то серьезный и грозный муж, если вам хочется, Кузнецов! Ладно?

— Мы запомнили, — ответил Уханов. — Но это не играет роли.

— Тогда спасибо вам, братики. Вы все-таки хорошие. С вами можно воевать.

И, закрыв глаза, как перед ощущением боли, преодолевая себя, отпила глоток из фляжки, закашлялась, тотчас засмеялась, помахав варешкой перед вытянутыми, дующими губами. С отвращением, как заметил Кузнецов, она отдала фляжку, посмотрела сквозь влажные ресницы на Уханова, невозмутимо завинчивающего пробку, но сказала не без веселого изумления:

— Какая гадость! Но как все же хорошо! У меня сразу лампочка в животе зажглась!

— Может, повторить? — спросил добродушно Уханов. — Вы разве в первый раз? Это самое...

Зоя качнула головой.

— Нет, я пробовала...

— Уберите фляжку, и чтоб я не видел! — резко сказал Кузнецов. — И проводите Зою в санроту. Там ей будет лучше!

— Ну, зачем вы хотите мной командовать, лейтенант? — шутливо спросила Зоя. — Вы, по-моему, подражаете Дроздовскому, но не очень умело. Он бы железным голосом приказал: «В санроту!», и Уханов ответил бы: «Есть».

— Я бы подумал, — сказал Уханов.

— Ничего не думали бы. «Есть» — и все!

— Од-держивай!.. Спуск! — донеслась спереди угрожающая команда. — Тормоз! Расчеты к орудиям!

Кузнецов повторил команду и пошел вперед, в голову батареи, где вокруг упряжки первого орудия густо столпились солдаты, руками придерживая станины и колеса, упираясь плечами в щит, в передок, а ездовые с руганью и криками натягивали поводья, сдерживали лоснящихся от пота лошадей, при-

седающих на задние ноги перед крутым спуском в глубокую балку.

Передняя батарея миновала накатанный, натоптанный, стеклом вспыхивающий ледяной спуск, благополучно прошла по дну балки, и орудия и передки, по-муравьиному облепленные кишашщими солдатами, подталкиваемые ими снизу, подымались на противоположный скат, за которым извивами текла и текла в степи нескончаемая колонна. А далеко внизу, на дороге, поджидающе стоял командир взвода управления старшина Голованов и кричал надсадным голосом:

— Давай... давай на меня!..

— Осторожней! Ноги лошадям не переломать! Расчеты од-держивай! — скомандовал Дроздовский, подъезжая на лошади к краю спуска. — Командиры взводов!.. Погубим лошадей — на себе орудия покатым! Одерживай! Медленней! Медленней!..

«Да, если переломаем ноги лошадям, на себе придется тащить орудия!» — подумал в возбуждении Кузнецов, вдруг сознавая, что и он, и все остальные полностью подчинены чьей-то воле, которой никто не имеет права сопротивляться в неистово-неудержимом, огромном потоке, где уже не было отдельного человека с его бессилием и усталостью. И, упиваясь этой поглощающей растворенностью во всех, он повторил команду:

— Держать, держать!.. Все к орудиям! — и бросился к колесам первого передка, в гущу солдатских тел, а расчет с озверелыми лицами, с хрипом навалился на передок, на колеса заскользившего по крутому скату орудия.

— Стой, зараза! Ос-сади! — вразброд закричали на лошадей ездовые. Они будто очнулись и, крича, страшно раскрывали рты в ледяной бахrome на подшлемниках.

Колеса передка и орудия не вращались, стянутые цепями тормоза, но цепь не врезалась в накатанную до полированной гладкости, набитую дорогу, и валенки солдат разъезжались, скользили по скату, не находя точек опоры. А тяжесть нагруженного снарядами передка и тяжесть орудия неудержимо наваливались сверху. Деревянные вальки изредка ударяли по задним натруженным ногам присевших коренников с задранными мордами; ездовые дико закричали, оглядываясь на расчет, ненавидя и умоляя взглядом, — и весь клубок трудно дышащих, нависших на колеса тел покатылся вниз, убыстряя и убыстряя движение.

— Одерживай! — выдохнул Кузнецов, чувствуя необоримую тяжесть орудия, видя рядом налитое кровью лицо Уханова, широкой своей спиной упершегося в передок; а справа — выкаченные напряжением круглые глаза Нечаева, его белые усики, и неожиданно в разгоряченной голове мелькнула мысль о том,

что он знает их давно, может быть, с тех страшных месяцев отступления под Смоленском, когда он не был лейтенантом, но когда вот так же вытягивали орудия при отступлении. Однако он не знал их тогда и удивился этой мысли.— Ноги, ноги берегите...— выдавил Кузнецов шепотом.

Орудие с передком скатывалось по откосу в балку, визжала по снегу цепь, оскальзывались на спуске потные коренники, с резким звоном выбивая копытами острые брызги льда; ездовые, отваливаясь назад, еле удерживаясь в седлах, натягивали поводья, но правая лошадь переднего уноса внезапно упала брюхом на дорогу и, пытаясь встать, натужно дергая головой, покатила вниз, потянув за собой коренников.

Ездовой на левой уносной удержался в седле, с испуганно-сумасшедшим видом отшатнулся вбок, не в силах поднять истошным криком правую, а она билась о дорогу, скользила на боку, рвала, тянула постромки. С отчаянием Кузнецов ощутил, как орудие неслось по скату, настигая упавшую лошадь, увидел, как внизу старшина Голованов бросился к ней навстречу, потом отскочил в сторону и опять кинулся с попыткой схватить за повод.

— Одерживай!..— крикнул Кузнецов.

И, ощутив невесомую легкость в плече, не сразу понял, что передок вместе с орудием, скатившись вниз, затормозил на дне балки. С крутой руганью солдаты утомленно распрямляли спины, потирая плечи, смотрели вперед, на упряжку.

— Что с уносной? — едва выговорил Кузнецов, пошатываясь на одеревеневших ногах, и побежал к лошадям.

Здесь уже стояли Голованов с разведчиками, ездовой Сергуненков, его напарник с коренников Рубин. Все глядели на лошадь, лежавшую на боку посреди дороги. Сергуненков, худенький, бледный, с испуганным лицом подростка, с длинными руками, озираясь беспомощно, вдруг взялся за повод, а молодая уносная, будто поняв, что он хотел сделать, замотала головой, вырываясь, умоляюще кося влажными кроваво-зеркальными, возбужденными глазами. Сергуненков отдернул руку и, оглянувшись в молчаливом отчаянии, присел перед уносной на корточки. Поводя мокрыми потными боками, лошадь заскребла по льду задними копытами, в горячке стараясь подняться, но не поднялась, и по тому, как были неестественно подогнуты ее передние ноги, Кузнецов понял, что она не подыметя.

— Да вжарь ты ей разá, Сергуненков! Чего раскорячился? Не знаешь норова этой сволочи-симулянтки? — в сердцах выругался ездовой с коренников Рубин, солдат с обветренным, грубым лицом, и хлестнул кнутом по своему наножнику.

— Сам ты сволочь! — тонким, протяжным голосом крикнул Сергуненков.— Не видишь разве?

— А чё видеть-то? Знаю ее: все взбрыкивает! Играться бы только. Кнута ей — враз очухается!

— Заткнись, Рубин, надоел! — Уханов предупреждающе толкнул его плечом. — Сказать хочешь — подумай.

— И до фронта не дошла лошаденка-то, — вздохнул с жалостью Чибисов. — Беда какая...

— Да, кажется, передние ноги, — сказал Кузнецов, обходя уносную. — Ну, что вы наделали, ездовые, черт вас возьми! Держали поводья, называется!

— А что делать, лейтенант? — проговорил Уханов. — Конец лошадке. На трех остались. Запасных нет.

— На горбу, значит, потащим орудие? — спросил Нечаев, покусывая усики. — Давно мечтал. С детства.

— Вот комбат сюда... — робко сказал Чибисов. — Разберется он.

— Что у вас, первый взвод? Почему задержка?

Дроздовский спустился на своей монгольской лошади в балку, подъехал к толпе солдат, расступившихся впереди, быстро взглянул на уносную, тяжело носившую боками, перед которой сидел на корточках, ссутулясь, Сергуненков. Тонкое лицо Дроздовского казалось спокойно-застывшим, но в зрачках плескалась сдерживаемая ярость.

— Я... вас... предупреждал, первый взвод! — разделяя слова, заговорил он и указал плеткой на ссутуленную спину Сергуненкова. — Какого дьявола растерялись? Куда смотрели? Ездовой, вы что, молитесь? Что с лошадьё?

— Вы же видите, товарищ лейтенант, — сказал Кузнецов. Сергуненков, как слепой, обратил глаза к Дроздовскому, по детским щекам его из-под обмерзших ресниц катились слезы. Он молчал, слизывая языком эти светлые капельки, и, сняв рукавицу, с осторожной нежностью гладил морду лошади. Уносная не билась, не пыталась встать, а, раздувая живот, лежала тихо, понимая, по-собачьи вытянув шею, положив голову на дорогу, со свистом дыша Сергуненкову в пальцы, щупая их мягкими губами. Что-то невероятно тоскливое, предсмертное было в ее влажных, косящих на солдат глазах. И Кузнецов заметил, что на ладони Сергуненкова был овес, вероятно, давно припрятанный в кармане. Но голодная лошадь не ела, лишь, вздрагивая влажными ноздрями, обнюхивала ладонь ездового, слабо хватая губами и роняя на дорогу мокрые зерна. Она улавливала, видимо, давно забытый в этих снежных степях запах, но вместе с тем чувствовала и другое, то неотвратимое, что отражалось в глазах и позе Сергуненкова.

— Ноги, товарищ лейтенант, — заговорил слабым голосом Сергуненков, все слизывая языком капельки слез с уголков рта. — Вон... как человек, мучается... И надо же ей было вправо

пойти... Испугалась чего-то... Я ведь ее сдерживал... молодая она кобылка. Неопытная под орудием...

— Держать надо было, ежова голова! А не о девках мечтать! — злобно выговорил ездовой Рубин. — Чего развесил нюни-то?.. Тьфу, щенок!.. Людей тут скоро без разбору, а он над лошадежкой... Смотреть тошно! Пристрелить надо, чтоб не мучилась, — и дело с концом!

Весь квадратный, неповоротливый, толсто одетый — в ватнике, в шинели, в стеганых штанах, — с наножником на правой ноге, с карабином за спиной, этот ездовой неожиданно вызвал у Кузнецова неприязнь своей злобной решительностью. Слово «пристрелить» прозвучало приговором на казнь невинного.

— Придется, видать, — проговорил кто-то. — А жаль кобылку...

При отступлении под Рославлем Кузнецов видел раз, как солдаты из жалости пристреливают раненых лошадей, переставших быть тягловой силой. Но и тогда это походило на противоестественный, неоправданно жестокий расстрел ослабевшего.

— Не дам! — тонким голосом вскрикнул Сергуненков и, вскочив, шагнул к Рубину. — Что предлагаешь, живодер? Что предлагаешь? Не дам лошадь! В чем она виновата?

— Прекратите истерику, Сергуненков! Раньше надо было думать. Никто, кроме вас, не виноват. Возьмите себя в руки! — оборвал Дроздовский и указал плеткой на кювет. — Оттащите лошадь с дороги, чтоб не мешала. Продолжать спуск! По местам!

Кузнецов сказал:

— Второе орудие стоило бы отцепить от передка и спускать на руках. Так будет вернее.

— Как угодно, хоть на плечах спускайте! — ответил Дроздовский, глядя поверх головы Кузнецова на солдат, неловко волочивших лошадь к обочине, и покривился. — Немедленно пристрелить! Рубин!..

А уносная будто поняла смысл отданного распоряжения. Прерывистое, визгливое ее ржание прорезало морозный воздух. Как крик о боли, о защите, этот вибрирующий визг вонзился в уши Кузнецова. Он знал, что лошади причиняли страдания, сталкивая ее, живую, с переломанными ногами, к кювету, и, готовый зажмуриться, увидел ее последнее усилие подняться, как бы в доказательство, что она еще жива, что убивать ее не нужно. Ездовой Рубин, ощерив крепкие зубы, с торопливой озлобленностью на багровом лице, спеша, отводил затвор винтовки, а ствол неприцельно колебался, направленный в поднятую лошадиную голову, мокрую, потную, с трясущимися от последнего умоляющего ржания губами.

Сухо треснул выстрел. Рубин выругался и, взглянув на лошадь, дослал в ствольную коробку второй патрон. Лошадь уже

не ржала, а тихо из стороны в сторону поводила головой, теперь не защищаясь, и, дрожа ноздрями, фыркала только.

— Раззява, стрелять не умеешь! — с бешенством выкрикнул Уханов, стоявший возле замершего в оцепенении Сергуненкова, и рванулся к ездovому. — На мясокомбинате тебе работать!

Он выхватил винтовку из рук Рубина и, тщательно прицелясь, в упор выстрелил в голову лошади, ткнувшейся мордой в снег. Сразу побелев лицом, он выщелкнул патрон, вонзившийся донышком в гребень сугроба, швырнул винтовку Рубину.

— Возьми свою палку, мясник! Чего дурындасом ухмыляешься? В носу чешется?

— Вот ты-то мясник, видать, хоть и городской, шибко грамотный, — пробормотал Рубин обиженно и, туго перегнув толстое, квадратное тело, поднял винтовку, рукавом смахнул с нее снег.

— Морду береги, я шибко грамотный, запомни! — проговорил Уханов и повернулся к Сергуненкову, грубовато похлопал его по плечу. — Ладно. Еще не все потеряно. Достанем, брат, трофейных лошадей в Сталинграде. Я обещаю.

— Паршерон у немцев называется, — заметил старшина Голованов. — Добудем!

— Не паршерон, а першерон, — поправил Уханов. — Пора знать! Что, первый год воюешь?

— А кто их разберет?

— Разбирайся!

— Спускать второе! — приказал Дроздовский и, отъезжая ко второму орудью, добавил: — Все правильно, Уханов.

— А вы меня не хвалите, товарищ лейтенант! — с наглой насмешливостью ответил Уханов. В его светлых глазах не остывал горячий блеск, как бы вызывающий на ссору. — Рано еще... Ошибаетесь! Я не убийца лошадей.

Кузнецов подал команду отцеплять передок от второго орудия.

Привал был объявлен на заходе солнца, когда колонна втянулась в какую-то сожженную станицу. И тут всех удивили первые пепелища по бокам дороги, одинокие остовы обугленных печей под остро торчащими ветлами по берегам замерзшей реки, где туманом подымался ядовито-красный пар из прорубей. На земле и по западному горизонту горел кроваво-багровый свет декабрьского заката, такого накаленно-морозного, пронзительного, как боль, что лица солдат, обледенелые орудия, крупы лошадей, остановившиеся по обочине машины, — все было заковано им, цепенело в его металлической яркости, в его холодном огне на сугробах.

— Братцы, куда мы идем? Немец где?

— Деревня здесь какая-то была. Гляди, ни одной хаты. Что

такое? Шел к Федьке на свадьбу, а к Сидору на похороны пришел!

— С какой стати про похороны запел? Дойдем еще до Сталинграда. Начальству видней...

— Когда ж бой тут был?..

— Давно, стало быть.

— Согреться бы где-нибудь, а? Закоченеем до передовой.

— А ты мне скажи, где она, передовая?

Еще километра за три до станицы, на перекрестке степных дорог, когда большая группа танков — свежепокрашенных белым «тридцатьчетверок» — на несколько минут остановила колонну, двигаясь наперерез ей в сторону заката, пристрелочный бризантный с хрустом разломился, кометой сверкнул в воздухе над танками, черной пылью припорошил снег сбоку дороги. Никто не лег сначала, не зная, откуда по-шальному прилетел он, солдаты глядели на танки, преградившие колонне путь. Но едва прошли «тридцатьчетверки», — где-то сзади слышались тупые удары выстрелов отдаленных батарей, и дальнобойные снаряды с долгим сопением засверлили воздушное пространство, с бомбовым грохотом разорвались на перекрестке. Все подумали, что немцы просматривают этот перекресток с тыла, и в изнеможении легли прямо на обочине — ни у кого не было сил бежать далеко от дороги. Обстрел скоро кончился. Потерь не было, колонна потянулась дальше. Люди шагали, еле волоча ноги, мимо огромных свежих воронок, луковый запах немецкого тола рассеивался в воздухе. Этот запах возможной смерти напоминал уже не об опасности, а о недостижимом теперь Сталинграде, о невидимых немцах на таинственных, далеких огневых, откуда сейчас стреляли они.

И Кузнецов, то впадая в короткое забытие, то слыша соединенные шаги и слитное движение колонны, думал об одном: «Когда скомандуют привал? Когда привал?»

Но когда наконец после многочасового марша вошли в сожженную станицу, когда спереди колонны долгожданным призывом запорхала команда «привал», никто не ощутил физического облегчения. Закоченевшие ездовые сползли с дымящихся лошадей; спотыкаясь, непрочно переступая на одеревеневших ногах, отошли к обочинам, вздрагивая, справляя тут же малую нужду. А артиллеристы в бессилии повалились на снег, за повозками и близ орудий, тесно прижимаясь друг к другу боками, спинами, тоскливо оглядывали то, что было недавно станицей: угрюмые тени печей, как памятники на кладбище, дальние, резко очерченные контуры двух уцелевших амбаров — черные печати среди морозно пылавшего по западу неба.

Это огненно-подожженное закатом пространство было заставлено автомашинами, тракторами, «катюшами», гаубицами,

повозками, густо скопившимися здесь. Однако привал на улицах несуществующей станицы, без тепла, без кухонь, без ощущения близкой передовой, походил на ложь, на несправедливость, которую чувствовал каждый. С запада дул ветер, нес ледяные иголки снега, приторно, печально пахло пеплом пожарищ.

Еле пересиливая себя, чтобы не упасть, Кузнецов подошел к ездовым первого орудия. Рубин, еще более побагровев, с угрюмой замкнутостью ощупывал построжки коренников, потноскользящие бока лошадей парились. Молоденький Сергуненков, не прощающе сомкнув белесые брови, стоял возле своей единственной уносной, подставлял к жадно хватающим губам усталой лошади горстку овса на ладони, другой рукой гладил, трепал ее влажную нагнутую шею. Кузнецов посмотрел на ездовых, не замечающих один другого, хотел сказать нечто примирительное им обоим, но не сказал и пошел к расчетам с желанием лечь в середину солдатских тел, прислониться к чьей-нибудь спине и, загородив от жгучего ветра лицо воротником, лежать, дышать в него, согреваясь так.

— ...Подъем! Кончай привал! — потянулось по колонне. — Приготовиться к движению!

— Моргнуть не успели, кончай ночевать? — переговаривались в темноте раздраженные голоса. — Все гоняют.

— Пожевать бы чего надо, а старшины с кухней нету на горизонтах. Воюет небось в тылах!

«Ну вот опять, — подумал Кузнецов, подсознательно ожидавший эту команду и чувствуя до дрожи в ногах свинцовую усталость. — Так где же фронт? Куда движение?..»

Он не знал, а только догадывался, что Сталинград оставался где-то за спиной, похоже было, в тылу, не знал, что вся армия, и, следовательно, их дивизия, в состав которой входили артполк и его батарея, его взвод, форсированно двигалась в одном направлении — на юго-запад, навстречу начавшим наступление немецким танковым дивизиям с целью деблокировать окруженную в районе Сталинграда многотысячную армию Паулюса. Он не знал и того, что его собственная судьба и судьба всех, кто был рядом с ним, — тех, кому суждено было умереть, и тех, кому предстояло жить, — теперь стала общей судьбой независимо от того, что ждало каждого...

— Приготовиться к движению! Командиры взводов, к командиру батареи!

В сгустившихся сумерках без особой охоты, с вялой неповоротливостью подымались солдаты. Отовсюду доносились кашель, крик, ругань. Расчеты, недовольно вставая к орудиям, разбирали положенные на станины винтовки и карабины, поминая богом кухню и старшину. А ездовые зло снимали торбы с морд жующих лошадей, локтями замахиваясь

на них: «Но, дармоеды, все бы вам жрать!» Впереди начали постреливать выхлопами, загудели моторы — по улице медленно вытягивались для движения гаубичные батареи.

Лейтенант Дроздовский в группе разведчиков и связистов стоял на середине дороги, вблизи потушенного костра, чадающего по ногам белым дымом. Когда подошел Кузнецов, он светил карманным фонариком на карту под целлулоидом планшетки, которую держал в руках огромный старшина Голованов; тоном, не терпящим возражений, Дроздовский говорил:

— Вопросы излишни. Конечный пункт маршрута неизвестен. Направление вот по этой дороге, на юго-запад. Вы со взводом впереди батареи. Батарея по-прежнему двигается в арьергарде полка.

— Ясно-понятно,— утробно пророкотал Голованов и в окружении разведчиков и связистов пошел по дороге вперед, мимо темнеющих повозок.

— Лейтенант Кузнецов? — Дроздовский приподнял фонарик. От его жестковатого света стало больно глазам.

Слегка отстраняясь, Кузнецов сказал:

— Можно без освещения? Я и так вижу. Что нового, комбат?

— Во взводе все в порядке? Отставших нет? Больных нет? Готовы к движению?

Дроздовский задавал вопросы механически, думая, видно, о другом, и Кузнецова вдруг обозлило это.

— Люди не успели отдохнуть. Хотел бы спросить: где кухня, комбат? Почему отстал старшина? Ведь все голодные как черти! А к движению готовы, что спрашивать? Никто не заболел, не отстал. Дезертиров тоже нет...

— Что это за доклад, Кузнецов? — оборвал Дроздовский. — Недовольны? Может быть, будем сидеть сложа ручки и ждать жратву? Вы кто: командир взвода или какой-нибудь ездовой?

— Насколько мне известно, я командир взвода.

— Незаметно! Плететесь на поводу у всяких Ухановых!.. Что это у вас за настроение? Немедленно во взвод! — ледяным тоном приказал Дроздовский. — И готовьте личный состав не к мыслям о жратве, а к бою! Вы меня, лейтенант Кузнецов, удивляете! То люди у вас отстают, то лошади ноги ломают!.. Не знаю, как мы воевать вместе будем!

— Вы меня тоже удивляете, комбат! Можно разговаривать и иначе. Лучше пойму,— ответил Кузнецов неприязненно и зашагал в потемки, наполненные гудением моторов, ржанием лошадей.

— Лейтенант Кузнецов! — окликнул Дроздовский. — Назад!..

— Что еще?

Луч фонарика приблизился сзади, дымясь в морозном тумане, уперся в щеку защекотавшим светом.

— Лейтенант Кузнецов!.. — Узкое лезвие света резануло по глазам; Дроздовский зашел вперед, преградив путь, весь натянувшись струной. — Стой, я приказал!

— Убери фонарь, комбат, — тихо проговорил Кузнецов, чувствуя, что может произойти между ними в эту минуту, но именно сейчас каждое слово Дроздовского, его непрекословно чеканящий голос поднимали в Кузнецове такое необоримое, глухое сопротивление, как будто то, что делал, говорил, приказывал ему Дроздовский, было упрямой и рассчитанной попыткой напомнить о своей власти и унижить его.

«Да, он хочет этого», — подумал Кузнецов и, подумав так, ощутил передвинутый вплотную луч фонарика и в слепящих оранжевых кругах света услышал шепот Дроздовского:

— Кузнецов... Запомни, в батарее я команду. Я!.. Только я! Здесь не училище! Кончилось панибратство! Будешь шебаршиться — плохо для тебя кончится! Церемониться не стану, не намерен! Все ясно? Бегом во взвод! — Дроздовский отпихнул его фонарем в грудь. — Во взвод! Бегом!..

Ослепленный прямым светом, он не видел глаз Дроздовского, только уперлось в грудь что-то холодное и твердое, как тупое острие. И тогда, резко отведя в сторону его руку с фонариком и несколько придерживав ее, Кузнецов выговорил:

— Фонарь ты все-таки убереешь... А насчет угрозы... смешно слушать, комбат!

И пошел по невидимой дороге, плохо различая в темноте контуры машин, передков, орудий, фигуры ездовых, крупы лошадей, — после света фонаря впереди шли круги, похожие на искрящиеся пятна погашенных костров в потемках. Возле своего взвода он натолкнулся на лейтенанта Давлатяна. Тот на бегудохнул мягким приятным хлебным запахом, быстро спросил:

— Ты от Дроздовского? Что там?

— Иди, Гога. Интересуется настроением во взводе, есть ли больные, есть ли дезертиры, — сказал Кузнецов не без злой иронии. — У тебя, по-моему, есть, а?

— Жуткая глупистика! — школьным своим голосом отозвался Давлатян и, грызя сухарь, пренебрежительно добавил: — Чушь в квадрате!

Он исчез в темноте, унося с собой этот успокоительный, домашний запах хлеба.

«Именно глупистика и истерика, — подумал Кузнецов, вспомнив предупреждающие слова Дроздовского и чувствуя в них противоестественную оголенность. — Он что? Мстит мне за Уханова, за сломавшую ноги лошадь?»

Издали, передаваемая по колонне, как восходящая по ступеням, приближалась знакомая команда «шагом марш». И Кузнецов, подойдя к упряжке первого орудия, с проступающими на лошадях силуэтами ездовых, повторил ее:

— Взвод, шагом ма-арш!..

Колонна разом двинулась, заколыхалась, застучали вальки, слитно завизжал под примерзшими колесами орудий снег. Вразнобой застучали шаги множества ног.

А когда взвод стал вытягиваться по дороге, кто-то сунул в руку Кузнецова жесткий колючий сухарь.

— Как зверь голодный, да? — расслышал он голос Давлатяна.— Возьми. Веселее будет.

Разгрызая сухарь, испытывая тягуче-сладкое утоление голода, Кузнецов сказал растроганно:

— Спасибо, Гога. Как же он у тебя сохранился?

— А ну тебя! Чепуху говоришь. К передовой идем, да?

— Наверно, Гога.

— Скорей бы, знаешь, честное слово...

ГЛАВА ПЯТАЯ

В то время как в высших немецких штабах все, казалось, было predetermined, разработано, утверждено и танковые дивизии Манштейна начали бои на прорыв из района Котельниково в истерзанный четырехмесячной битвой Сталинград, к замкнутой нашими фронтами в снегах и руинах более чем трехсоттысячной группировке генерал-полковника Паулюса, напряженно ждущей исхода,— в это время еще одна наша свежесформированная в тылу армия по приказу Ставки была брошена на юг через беспредельные степи навстречу армейской ударной группе «Гот», в состав которой входили тринадцать дивизий. Действия и той и другой сторон напоминали как бы чаши весов, на которые были теперь положены последние возможности в сложившихся обстоятельствах.

...То обгоняя колонну, то отставая, трофейный «хорьх» мчался, трясясь по обочине. Генерал Бессонов, втянув голову в воротник, сидел неподвижно, глядя сквозь ветровое стекло, молчал с момента выезда из штаба армии. Это долгое молчание командующего воспринималось в машине как его нелюдность, как препятствие, которое никто не решался преодолеть первым. Молчал член Военного совета дивизионный комиссар Веснин. И, откинувшись в угол заднего сиденья, притворялся спящим адъютант Бессонова, молодой, общительного нрава майор Божичко, которого с самого начала поездки занимала мысль рассказать послед-

ний штабной анекдот, но ловкого случая не было — не рисковал нарушить прочного безмолвия начальства.

Но Бессонов не думал о том, что эта его замкнутость может быть воспринята как нежелание общаться, как самоуверенное равнодушие к окружающим. Давно по опыту знал, что разговорчивость или молчание ничего не могли изменить в его взаимоотношениях с людьми. Он не хотел нравиться всем, не хотел казаться приятным для всех собеседников. Подобная мелкая тщеславная игра с целью завоевания симпатий всегда претила ему, раздражала его в других, отталкивала, словно пустопорожняя легковесность, душевная слабость неуверенного в себе человека. Бессонов давно усвоил, что на войне лишние слова — это пыль, заволакивающая порой истинное положение вещей. Поэтому, приняв армию, он мало расспрашивал о достоинствах и недостатках командиров корпусов и дивизий, объехал их, сухо познакомился, близко взглянул на каждого, не совсем удовлетворенный, однако не совсем и разочарованный.

То, что Бессонов видел через стекло «хорьха» при изредка вспыхивающем в морозном тумане свете фар, — по-бабьи затянутые в заиндевелые подшлемники лица солдат и командиров, нескончаемое движение волочащихся по дороге валенок, — говорило ему не о пугающем падении «боевого духа», а о предельной, опустошающей усталости, отделенной от его власти. В бой же этим затянутым в подшлемники солдатам вступить предстояло, и, может быть, каждому пятому из них предстояло умереть скорее, чем они думали. Они не знали и не могли знать о том, где начнется бой, не знали, что многие из них совершают первый и последний марш в своей жизни. А Бессонов ясно и трезво определял меру приближающейся опасности. Ему известно было, что на Котельниковском направлении фронт едва держится, что немецкие танки за трое суток продвинулись на сорок километров в направлении Сталинграда, что теперь перед ними одна-единственная преграда — река Мышкова, а за нею ровная степь до самой Волги. Бессонов отдавал себе отчет и в том, что в эти минуты, когда, сидя в машине, он думал об известной ему обстановке, его армия и танковые дивизии Манштейна с одинаковым упорством двигались к этому естественному рубежу, и от того, кто первым выйдет к Мышковой, зависело многое, если не все.

Он хотел взглянуть на часы, но не взглянул, не пошевелился, подумав, что этот жест нарушит молчание, послужит поводом для разговора, чего ему не хотелось. Он по-прежнему молчал, каменно-неподвижно опираясь на палочку, надолго найдя удобное положение, вытянув к теплу мотора раненую ногу. Пожилой шофер, изредка косясь, смутно видел при слабом свечении приборов край хмурого свинцового глаза генерала, его сухую

щеку, жестко сжатые губы. Возивший разных командующих, многоопытный шофер понимал молчание в машине по-своему — как следствие ссоры накануне поездки либо разноса со стороны фронтового начальства. Сзади иногда маленьким заревом вспыхивала спичка, краснел в потемках огонек комиссаровой папиросы, поскрипывала кожа портупеи; по-прежнему притворно посапывал там, в углу сиденья, всегда развеселый в общении Божичко.

«Чего-то ему не понравилось или характером нелюдим, — соображал шофер, в то же время при каждой вспышке папиросы за спиной мучаясь желанием сделать хоть одну затяжку. — И не курит, видать, с лица больной, зеленый. Или попросить разрешения: дозвольте, мол, одну цигарку, товарищ командующий, аж уши поопухали не куримши...»

— Включите фары, — сказал вдруг Бессонов.

Шофер вздрогнул от его голоса, включил фары. Мощная просека света вырубилась впереди, в морозном туманце. Мгла, рассеянная над дорогой под сильными фарами, клубясь, волнами ударила в стекла, запуталась в махающих «дворниках», обтекая машину синеватым дымом. На миг показалось — машина движется по дну океана, ровный рокот мотора был самой звучащей материей в его глубинах под толщей воды.

Потом резко приблизилась, появилась справа, выросла, зачернела, хаотично засверкала под ярким светом обледенелыми котелками, автоматами, винтовками колонна. Она сгрудилась кишашей толпой перед огромными, как занесенные снегом стога, танками, загородившими дорогу. Солдаты оборачивались на непривычно разящий свет машины — недовольные, усталые, точно белым пластырем залепленные подшлемниками лица — и одновременно кричали что-то, махали руками.

— К танкам, — приказал Бессонов шоферу.

— Видимо, ребята из механизированного корпуса, — сказал, оживляясь, член Военного совета Веснин. — Что же они, подлецы эдакие, столпотворение устроили! Пехоту обидели? — Он, однако, испытывая слабость к танкистам, произнес «подлецы» ласково и добавил с осторожным восхищением: — Вот орлы!

— Но ползающие, товарищ комиссар, — смешливо вставил сразу очнувшийся Божичко.

— Это не машины корпуса, — твердо поправил Бессонов. — Корпус Мамина движется вдоль железной дороги. Слева от нас. Здесь их сейчас не может быть. Ни при каких обстоятельствах.

— Разрешите выяснить, товарищ командующий? — бодрым голосом отозвался Божичко, вроде и не дремал вовсе. Он засиделся без дела, без разговоров и явно был рад возможности любого проявления энергии.

Бессонов приказал шоферу:

— Остановите машину.

Мощный мотор «хорьха» смолк, опал в тишине свет фар, щупальцами втянулся в радиатор. Разом сомкнулась ночь, исчезли колонна, танки. Бессонов подождал в машине, привыкая к потемкам, потом открыл дверцу, для упора выставив наружу палочку. Вылезая, он задел ногой за край дверцы и, уколотый болью в голени, постоял немного, досадуя на себя за то, что, вылезая, подумал, не задеть бы ногу, и вот-таки задел.

Все было мутно-сине, морозно, звездно. Бессонов неясно различил среди этой снежной темноты извивной лентой вытянутую под звезды в степь, запруженную квадратными громадами танков колонну: длинные силуэты машин с зашторенными подфарниками, повозки, столпившихся солдат. Он слышал на дороге гул работающих на холостом ходу автомобильных и тракторных моторов: хриплые, насквозь промерзшие голоса кричали впереди попеременно с матом:

— Эй, танкисты, техника ваша мать, чего окопались в тылу?

— Мать честная, они же лыка не вяжут!

— Убирай свое железо с дороги — растопырились, ровно на свадьбе! Небось водки нажрались — глаза-то залили!

— Освободи путь. Дай проехать!

— Братцы, сюда начальство какое-то... Две машины!..

Бессонов пошел на эти разноголосые крики, зная, что в войсках еще мало видели его, на полушубке не было петлиц и генеральских знаков различия, но при виде высокой папахи в толпе постепенно угасала ругань, и чей-то спохватившийся тенорок вблизи произнес:

— Никак генерал...

— Кто командир танкового подразделения? — спросил Бессонов не громким, а утомленным, скрипучим голосом. — Прошу доложить.

Стало тихо. От машины, переговариваясь, подошли член Военного совета Веснин и Божичко. Остановившись, тоже замолчали. Со второй машины прыгали на дорогу автоматчики — охрана.

Бессонов ждал. Никто не отзывался.

От темной громады крайнего танка с искрящимися на броне сизоватыми островками снега несло ледяным запахом накалившегося морозом металла, прогорклой остывшей соляжкой. В машине, чудилось, никого не было, не горел свет, танк будто мертво потух. Только в башенном люке зачернело что-то, чуть заворошилось, заслоняя звезды, но оттуда — ни звука.

— Я говорю, пусть подойдет ко мне командир танкового подразделения, — повторил Бессонов тем же тоном. — Жду.

— Кого нужно? Ты, пехота, мной не командуй! Лучше объезжай танки стороной, от греха подальше! — отзывался свер-

ху злой голос, и это смутно-черное, выступавшее из башни, заметнее задвигалось по звездам.

— Ну-ка, слезай к генералу, птичья голова в танкистском шлеме! Чего диалог устраиваешь? — сказал с едкой развеселостью Божичко и, схватившись за железные поручни, вскарабкался на броню, заторопил: — Мигом, мигом! К генералу!

— Какому еще генералу? Меня на пушку не бери! Не первый день... Генерал с пехотой топает, что ли? А в штабах кто?

— Давай, давай, милый, рассуждаешь длинно. Прыгай с неба на землю!

Наверху вспыхнул ручной фонарик, зеленоватым маскировочным светом выхватил из возникшей пустоты неба широкого и огромного, казалось снизу, человека в комбинезоне, надетом, по-видимому, на ватник. Человек медленно вылез из люка на броню, спрыгнул на дорогу.

— Божичко, посветите ему, — приказал Бессонов. — И подведите его.

— Давай, давай, парень, поближе, не робей, — сказал Божичко.

Танкист остановился перед Бессоновым, заметно уменьшившись на земле, но все-таки ростом на голову выше его, неуклюже мешковатый в своей полной форме, возбужденное лицо в разводах копоти, опущенные под светом фонарика глаза подведены чернотой гари, тоже черные подрагивающие губы запеклись. Он тяжело дышал, и почувствовался запах винного перегара.

— Пьяны? — спросил Бессонов. — Посмотрите на меня, танкист!

— Нет... товарищ генерал. Норму я... норму... — выдавил танкист, не подымая траурно-черных век, ноздри его раздувались.

— Номер части и звание? Откуда вы?

Запекшиеся губы танкиста лихорадочно зашевелились:

— Отдельный сорок пятый танковый полк, первый батальон; командир третьей роты лейтенант Ажермачев...

Бессонов пристально смотрел на него, еще не веря в точность ответа.

— Как это сорок пятый? Каким образом вы здесь оказались, командир роты? — очень внятно спросил он. — Сорок пятый полк придан другой армии и, как известно, держит оборону впереди! Отвечайте яснее.

Танкист вдруг вскинул голову, веки его разом открыли в каком-то клоунском, страшном обводе глаза, налитые хмельной мутью. Он глухо выговорил:

— Обороны там нет... Немцы заняли станицу. С тыла обошли. От моей роты осталось вот три машины... В двух —

пробоины... Неполные экипажи... Я с остатками роты... вырвался...

— Вырвались? — переспросил Бессонов и, лишь в эту минуту все предельно ясно понимая, повторил это острое, с колючими лапками слово, так знакомое по сорок первому году: — Вырвались? А остальные тоже, лейтенант, вырвались? Кто еще вырвался? — опять повторил недобро Бессонов, выделяя «вырвались» и «вырвался».

— Ах, шкура! — выругался кто-то в толпе солдат.

Танкист заговорил рыдающим голосом:

— Я не знаю... не знаю, кто вырвался. Я прорывался вот с этими танками... Связи не было, товарищ генерал... Рация не работала. Я не мог...

— Что можете добавить?

Бессонов, сдерживая гнев, охваченный болью в голени, уже не видел никого в отдельности, но слышал разрозненные звуки команд, гул моторов за спиной своей огромной, тяжело дышащей, остановленной, как живое тело, колонны, точно сломленной на пути туда, откуда вырвались в слепом отчаянии этот нетрезвый лейтенант-танкист и эти три танка, преградившие сейчас дорогу, и почувствовал нечто ядовитое, словно сама паника черной тенью витала в воздухе. Солдаты вокруг танкиста замерли.

Бессонов повторил:

— Ничего не можете добавить, лейтенант?

Танкист втягивал воздух через ноздри, будто плакал беззвучно.

— Майор Титков! — приказал Бессонов в темноту отчетливо жестким, беспощадным голосом, в котором звучала неотвратимость вынесенного приговора. — Арестуйте его!.. И как труса — в трибунал!

Он знал непререкаемую значимость своих приказов, знал, что приказ его мгновенно выполнят, и, когда увидел низкорослого, железнокрепкого, с фигурой борца майора Титкова из охраны и двух молодых атлетически сложенных автоматчиков, подошедших к танкисту, поморщась, невольно отвернулся, бросил отрывисто майору Божичко:

— Проверьте, как там чувствуют себя остальные танкисты в машинах!

— Есть проверить, товарищ командующий! — ответил Божичко слабым криком изумления и покорности, словно в эту минуту исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта. И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге.

— Кто командир здесь? Почему грузовик загородил дорогу? — произнес Бессонов с холодной сдержанностью, шагнув

на мост; палочка его вонзилась в деревянный настил. Он шел быстро, стараясь не хромать.

Солдаты, толпившиеся на мосту, уважительно расступились перед Бессоновым; кто-то сказал:

— С мотором у них беда.

Впереди, посредине проступающей под звездами синеватой полосы моста, несколько боком, должно быть, после буксовки, тускло вырисовывалась высоким кузовом грузовая машина с поднятым капотом, под которым желто горела лампочка. Свет ее почти заслоняли озабоченно склонившиеся над мотором головы.

— Командир, подойдите ко мне! Чья машина?

И тотчас хрупкая фигурка — вроде мальчишка, одетый в длинную шинель, — быстренько выпрямилась возле капота. Сдвинутая на оттопыренное ухо ушанка, узкие плечи, вычерченные сзади светом лампочки, лица не видно — только пар дыхания и звонкий вскрик молодого петушка на высокой ноте:

— Младший лейтенант Беленький! Машина оэрэсбэ, приданная артснабжению... Внезапная остановка по неисправности... Везем снаряды...

«Экий голосок... как будто в училище рапортует», — подумал Бессонов и перебил не без усмешки:

— Что значит оэр... и как дальше?

— Эсбэ, — договорил младший лейтенант. — Отдельный ремонтно-строительный батальон... Шесть машин временно приданы артснабжению!

— Ну и ну, оэрэсбэ... не произнесешь, — сказал Бессонов. — Язык узлом завяжешь... — И спросил: — Есть надежда через пять минут починить машину?

— Н-нет, товарищ генерал...

Бессонов не дослушал:

— Пять минут на разгрузку снарядов — и очистить мост. Сбросить с проезжей части машину, если не успеете! Ни секунды промедления!

Младший лейтенант стоял, застыв, странно торчало его оттопыренное шапкой ухо.

— Товарищ генерал! Товарищ командующий! — взвился в стороне танков дикий умоляющий вскрик, похожий на рыдания. — Я прошу выслушать... я прошу!.. Пустите меня к генералу! К генералу пустите! Потом вы меня...

Этот крик снова толчком боли отдался в раненой ноге. Бессонов повернулся и, внезапно почувствовав, что может упасть, оступившись при неверном шаге, пошел назад, как под болью пытки, а когда увидел подле громады танков людей из своей охраны, с силой отрывавших цепляющегося двумя руками за гусеницы, раскорякой сидевшего на снегу лейтенан-

та-танкиста, непроизвольно остановился. Тут же к нему подошел от машины член Военного совета Веснин, заговорил с убеждающей горячностью:

— Петр Александрович, прошу тебя... Молодой, в общем, парень. Был, видимо, в состоянии прострации, когда навалились немцы. Но он понимает, что совершил преступление, осознает... Я только что говорил с ним. Прошу тебя, не так резко!

«Вот вроде бы и первые разногласия у меня с комиссаром,— подумал Бессонов.— Быстро усмотрел в моих действиях жестокость».

Боль в ноге не отпускала, стискивала голень раскаленными клешнями, Бессонов, как сквозь синее стекло, видел сбоку длинный овал лица Веснина, его поблескивающие очки и, готовый сесть в машину, сказал сухо:

— Видимо, ты забыл, что такое паника, Виталий Исаевич? Забыл, какова эта зараза? Или так, в этом состоянии прострации, до Сталинграда докатимся? А ну-ка, пусть подведут танкиста. Хочу еще раз взглянуть на него,— добавил он.

— Майор Титков, подведите лейтенанта! — распорядился Веснин.

Майор и автоматчики подвели танкиста, тот хрипло и часто дышал, мелко стучали зубы, как будто его голого ледяной водой окатили. Он не мог выговорить ни слова, а когда наконец попробовал заговорить, слышались лишь сдавленные звуки крутых глотков, и Веснин тронул его за плечо:

— Возьмите себя в руки, лейтенант. Говорите!

Танкист сделал шаг к Бессонову, прохрипел:

— Товарищ командующий... всей жизнью, кровью... кровью искуплю...— Он потер руками грудь, чтобы протолкнуть в легкие воздух.— В первый и последний раз... А не оправдаю... расстреляйте. Только поверьте. Сам в лоб пулю пушу!..

Бессонов, не дослушав, взмахом руки остановил его:

— Достаточно! Немедленно в танк — и вперед! Откуда сумели вырваться! А если еще раз подумаете об этом «вырваться», пойдете под суд как трус и паникер! Немедленно вперед!

Бессонов захромал к машине, и ему показалось, что в возникшем движении за спиной слышались истерически подавленный всхлип смеха, задохнувшееся «спасибо», нелепое, бессмысленное, неприятное, как и этот животный смех, словно он, Бессонов, в силу какой-то извращенной прихоти имел право отнимать и дарить жизнь, а даря, приносил неудержимое счастье другим.

«Что-то не так во мне, не так, как хотел бы... Этого не должно быть,— подумал Бессонов уже в машине, вытягивая к мотору ногу.— Я хотел бы, чтобы было иначе. Но как? Я вызвал

страх, покорность перед страхом? Или этот танкист раскаивался искренне?»

Шофер, впопыхах докуривая, так затягивался толстой самокруткой, что трещала махорка, разлетались искры, жаром подсвечивали усы, виновато сказал Бессонову:

— Извините, товарищ генерал, надымил я...

Он включил мотор. Веснин молча влезал в машину.

— Курите,— брезгливо разрешил Бессонов,— если терпеть не можете. Майора Божичко захватим на мосту. Поехали.

— Что у вас за махорка, Игнатьев? Дайте-ка мне попробовать. «Вырви глаз» небось? Продирает до печенок? — подал голос Веснин, устраиваясь на заднем сиденье.

— Да ежели не побрезгуете, продерет, товарищ член Военного совета,— с охотой ответил шофер.— Возьмите кисетик.

Впереди мощно взревели танки, выбрасывая из выхлопных труб снопы искр; скрежеща траками, зашевелились, по-звериному блеснули глаза фар. В поднятой гусеницами вьюге машины разворачивались сбоку отхлынувшей с дороги колонны. Передний стал вползать на барабанно загудевший под ним мост. Снизив обороты мотора, танк остановился перед наискось заслонившим проезд грузовиком, вокруг которого работали, сутелились солдаты, выгружая последние снаряды. Фары высветили на мосту фигуру майора Божичко. Он командовал разгрузкой. Потом, приложив ко рту рупором ладони, майор что-то крикнул танкисту, стоявшему в верхнем люке. Солдаты отбежали от грузовика. Передний танк застрелял выхлопами, рванулся вперед, ударил гусеницами в борт автомашины, с игрушечной легкостью поволок ее по настилу. Ломая перила моста, грузовик ринулся вниз, с хрястом ударился о лед реки.

— Какое же война чудовищное разрушение! Ничто не имеет цены,— огорченно сказал Веснин, глядя сквозь стекло вниз.

Бессонов не ответил, сидел сутулясь.

С включенными фарами, светом торопя танки, «хорьх» затормозил. Майор Божичко, взбудораженный, крепко пахнувший остролекарственным морозным воздухом, не влез, а ввалился в машину и, захлопнув дверцу, отдуваясь после энергичных действий на мосту, доложил не без удовольствия:

— Можно двигаться, товарищ командующий.

— Спасибо, майор.

В свете фар Бессонов увидел на краю моста, близ сломанных перил, выпрямленную, в длинной шинели фигурку младшего лейтенанта с высоким, петушиным голоском, с неловко оттопыренным шапкой ухом. Младший лейтенант то растерянно смотрел вниз, то оглядывался на «хорьх», как бы впервые ничего не понимая, прося защиты у кого-то.

Бессонов приказал:

— Включите фары, Игнатьев,— и, найдя возле теплого мотора удобное положение для ноги, с закрытыми глазами глубже вобрал голову в воротник.

«Виктор,— подумал он.— Да, Витя...

В последнее время все молодые лица, которые случайно встречались Бессонову, вызывали у него приступы болезненного одиночества, своей неизъяснимой отцовской вины перед сыном, и чем чаще теперь он думал о нем, тем больше казалось, что вся жизнь сына чудовищно незаметно прошла, скользнула мимо него.

Бессонов не мог точно вспомнить подробности его детства, не мог представить, что любил он, какие были у него игрушки, когда пошел в школу. Особенно ясно помнил только, как однажды ночью сын проснулся, вероятно, от страшного сна и заплакал, а он, услышав, зажег свет. Сын сидел в кроватке, худенький, вцепившись в сетку тонкими, дрожащими ручками. Тогда Бессонов подхватил его и волосатой своей грудью ощущал прижавшееся слабое тельце, ребрышки, чувствуя воробьиный запах влажных на темени светлых волос, носил по комнате, бормотал нелепые слова выдуманной колыбельной, ошеломленный нежностью отцовского инстинкта. «Что ж ты, сынок, я ж тебя никому не отдам, мы с тобой, брат, вместе...»

Но ярче помнилось другое, то, что особенно казнило потом: жена с испуганным лицом вырывала из рук ремень, а он хлестал им по обтянутым дешевым, вывоженным в чердачной пыли брючишкам двенадцатилетнего сына, не издавшего при том ни звука. А когда бросил ремень, сын выбежал, кусая губы, оглянувшись в дверях — в серых его, материнских глазах дрожали непролитые слезы мальчишеского потрясения.

Раз в жизни он причинил сыну боль. Тогда Виктор украл из письменного стола деньги на покупку голубей... О том, что он водил на чердаке голубей, было узноано позднее.

Бессонова перебрасывали из части в часть — из Средней Азии на Дальний Восток, с Дальнего Востока в Белоруссию,— везде казенная квартира, казенная чужая мебель; переезжали с двумя чемоданами; с этим давно свылась жена, вечно готовая к перемене мест, к новому его назначению. Она безропотно несла его и свой нелегкий крест.

Пожалуй, так было надо. Но долго спустя, пройдя через бои под Москвой, лежа в госпитале, он думал ночами о жене и сыне и понимал, что многое было не так, как могло бы быть, что он жил, как по рабочему черновику, все время в глубине сознания надеясь через год, через два переписать свою жизнь на белое — после тридцати, после сорока лет. Но счастливое изменение так и не наступило. Наоборот, повышались звания, должности, вместе с тем наступали войны — в Испании, в Фин-

ляндии, затем Прибалтика, Западная Украина, наконец — сорок первый год. Теперь он не ставил себе юбилейных сроков, лишь думал, что уж эта-то война непременно изменит многое.

А в госпитале впервые пришла мысль, что его жизнь, жизнь военного, наверно, может быть только в единственном варианте, который он сам выбрал раз и навсегда. Даром в его жизни ничего не прошло. Набело ее не перепишешь, и этого и не нужно делать. Это как судьба: или — или. Среднего нет. Что ж, если снова пришлось бы выбирать, он не изменил бы своей судьбы. Но, поняв это, Бессонов осознавал непростительное: то, что было самым близким в данном ему, единственном варианте выбранной им жизни, скользнуло, скоротечно мелькнуло мимо, словно в дыму, и он не находил оправдания ни перед сыном, ни перед женой.

Последняя встреча с Виктором произошла как раз там, в подмосковном госпитале, в чистенькой и беленькой палате для генералов. Сын, получив назначение после окончания пехотного училища, приехал к нему с матерью за три часа до отхода поезда на фронт с Ленинградского вокзала. Сияя малиновыми кубиками, щегольски скрипя новым командирским ремнем, портупеей, весь праздничный, счастливый, парадный, но, казалось, несколько игрушечный в военном блеске, новоиспеченный младший лейтенант, на которого, видимо, оглядывались на улицах девушки, сидел на соседней койке (ходячий сосед-генерал деликатно вышел) и ломким живым баском рассказывал о назначении в действующую армию. О том, как чертовски «обрыдли» в училище эти бесконечные «становись, равняйся, смирно!». А теперь, слава богу, на фронт, дадут роту или взвод — всем выпускникам дают, — и начнется настоящая жизнь.

В разговоре он небрежно называл Бессонова «отец», как не называл раньше, к чему нужно было привыкнуть. И Бессонов смотрел на его живое лицо с серыми веселыми глазами, с нежным пушком на щеках, на тонкую руку способного мальчика, которой он несколько озабоченно похлопывал по карману диагоналевых галифе, и думал почему-то о других мальчиках — младших лейтенантах и лейтенантах, командирах взводов и рот, которых почти всегда приходилось видеть однажды: в очередной бой приходили другие...

— Ты ему разреши, пожалуйста, закурить, Петя, — перебила жена, наблюдая за сыном с обеспокоенностью. — Он ведь курить стал, ты не знаешь?

— Значит, куришь, Виктор? — спросил Бессонов, неприятно удивленный внутренне, но пододвинул на тумбочке папиросы и спички соседа-генерала. — Вот тут возьми...

— Мне восемнадцать, отец. В училище все курили. Я не могу быть белой вороной.

— И пьешь, видимо? Уже попробовал? Ну, откровенно, ты ведь младший лейтенант, самостоятельный человек.

— Да, пробовал... Нет, не надо, у меня свои. «Пушки». Можно? Тебе ничего? — быстро сказал сын и, краснея, подул в папиросу; спичку зажег по-особенному, по-фронтальному, в ладонях, как научился, должно быть, у кого-то в училище.— Представляю,— заговорил он живо, чтобы скрыть смущение,— что было бы, если бы ты раньше узнал. Выпорол бы?

Сын курил неумело, выпуская дым вниз, под койку, точно курил в казарме училища, опасаясь появления дежурного командира. Бессонов и жена переглядывались молча.

— Нет,— глухо ответил Бессонов.— После того случая никогда. Ты разве считаешь меня... суровым отцом?

— А все-таки правильно тогда сделал,— сказал сын.— Надо было выпороть. Вот дурак был!

Он, смеясь, говорил это, вспомнив то, что теперь особенно мучило Бессонова,— причиненная когда-то сыну физическая боль.

— Милые мои мужчины... Теперь у меня двое взрослых мужчин! — тихонько воскликнула мать и сжала пальцами на одеяле кисть Бессонова.— Петя, происходит странное, будто без твоего участия. Виктор уезжает на Волховский, в неизвестную армию... Неужели ты не можешь ничего сделать, взять его к себе... в какую-нибудь свою дивизию? Хоть был бы на глазах. Ты понимаешь?

Он все понимал, больше, чем она, знал мотыльково-короткие судьбы командиров стрелковых взводов и рот. Он не раз думал об этом и жестом успокоения хотел погладить маленькую теплую руку жены, но сдержался в присутствии сына.

— Сейчас я, Оля, как видишь, генерал без войска,— сказал Бессонов, внимательно глядя на сына, но обращаясь при этом к жене.— Когда будет реально ясно положение, я отзову Виктора, если, конечно...

Сын не дал ему договорить, поперхнулся дымом, замотал головой отрицательно.

— Ну, нет уж, отец! Под крылышко к папе-генералу? Нет уж! И не заводи об этом разговор, мать! Может, еще в адъютанты к отцу? Ордена начнет давать?

— В адъютанты я тебя не назначу, а роту дам,— сказал Бессонов.— А насчет орденов — без заслуг давать не буду. Хотя знаю, что получают их по-разному.

— Нет уж! В училище ребята только и спрашивали, с такими, знаешь, улыбочками: «Ну, теперь к папе?» Не хочу, отец! Какая разница, где ротой командовать? Да у меня назначение в кармане. Мы четверо из училища туда — вместе хотим. Вместе учились, вместе и в атаки будем ходить! А ес-

ли уж что — судьба! Двух судеб не бывает, отец! — повторил он чьи-то, видимо, слышанные им слова. — Честное слово, мать, не бывает!

Бессонов лишь шевельнул пальцами под ставшей влажной ладонью жены, она тоже молчала. То, что сыну казалось сейчас ясным, простым, то, что так возбуждало его ожиданием новой самостоятельной жизни, боевого товарищества, решительных и, конечно, победных атак, Бессонову рисовалось в несколько ином свете. Он хорошо знал, что такое поле боя, как некрасива бывает порой смерть на войне.

Но он не имел права говорить сыну все, опытно и приземленно разрушать в нем наивную иллюзию молодости. Да тот сейчас и не воспринял бы ничего. Виктор явственно чувствовал одно: как пленительно похрустывало в кармане новой его гимнастерки предписание о выезде на фронт. Да, сама война была вправе внести реальные поправки.

— Судьба, — повторил Бессонов. — Ты говоришь, Виктор, судьба. Но судьба на войне все-таки не индейка. А это, как тебе ни покажется странным, каждый день ежеминутно... преодоление самого себя. Нечеловеческое преодоление, если хочешь знать. Однако не в этом дело...

— Да, не в этом дело, не будем лезть в дебри философии! — беспечно согласился сын и спросил, указывая на забинтованную под одеялом ногу отца: — А ты как, ничего теперь? Скоро отсюда? Представляю, какая скучища лежать здесь! Сочувствую, отец! Не болит?.. О, ч-черт, время!.. Меня ребята ждут. Мне пора на вокзал! — и взглянул на часы; по этому его движению можно было понять, что он еще не представляет, что такое боль, не может даже представить саму возможность боли.

— Надеюсь, выберусь отсюда, — сказал Бессонов. — А ты вот что: матери пиши. Хоть раз в месяц.

— Четыре раза в месяц, даю слово! — Виктор встал, почти счастливый при мысли, что скоро наконец сядет в вагон со своими училищными друзьями.

— Нет, два раза, Витя, — поправила мать. — И больше не надо. Я буду хоть знать...

— Обещаю, мама, обещаю. Пора, поедem!

И было еще — запомнившееся.

Перед уходом сын постоял, улыбаясь, в нерешительности, не зная, поцеловать ли отца (в семье не было это принято). И не решился, не поцеловал, а по-взрослому протянул руку.

— До свидания, отец!

Однако Бессонов, стиснув хрупкую кисть сына, притянул его и, подставив худую, выбритую, как всегда, щеку, хмурясь, сказал:

— Ладно. Не знаю, когда еще увидимся, — война, сын.

Он впервые за весь разговор назвал его «сын», но не с той интонацией, какую вкладывал Виктор в слово «отец».

Виктор неловко ткнулся губами в край его рта, и Бессонов поцеловал его в горячую щеку, ощутив сладковатый запах чистого мальчишеского пота от его гимнастерки. Сказал:

— Поезжай! Только помни: стариками осколки и пули брезгают. Они таких, как ты, ищут... А надумаешь — пиши, роту тебе найду. Ну, ни пуха тебе, ни пера, младший лейтенант!

— Кажется, говорят «к черту», отец?.. Выздоровливай. Я после первого боя напишу!

Он засмеялся, провел рукой по ремню портупеи, расправил складки аккуратной комсоставской гимнастерки и, с удовольствием оправив сияющую желтой кожей кобуру пистолета, подхватил со спинки кровати новенький, хрустящий плащ, проворно перекинул через руку. В тот же момент что-то с дробным стуком посыпалось на солнечный пол палаты. Это были свежие, золотистого блеска патроны для пистолета ТТ. Ими были набиты карманы Викторова плаща. После окончания училища патронов выдавалось только по две обоймы, а он каким-то образом сумел увеличить их запас, которого хватило бы ему на многие месяцы войны.

Отвернувшись к окну, Бессонов ничего не сказал. А мать проговорила жалким голосом:

— Что это? Зачем тебе столько? Я помогу... сейчас. Вам столько выдали?

— Мама, я сам... Подожди. Это так, на всякий случай.

Сын, немного смущенный, стал быстро собирать с пола патроны, а когда выпрямился, затакивая их в карманы, увидел еще один, откатившийся, и, оглянувшись на отца (тот смотрел в окно), носком своего хромового сапожка легким ударом послал патрон куда-то в угол, со счастливым лицом вышел, как на прогулку, весь праздничный, весь игрушечный, младший лейтенант, в хрустящих ремнях, с новеньким плащом, перекинутым через руку.

Этот зеркально отполированный патрон Бессонов потом нашел под батареей парового отопления и долго держал на ладони, чувствуя его странную невесомость.

...— Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? — скрипуче спросил Бессонов, нарушая молчание в машине.

— Танкисту?

— И другой там был. На мосту.

— В общем, мальчишки, Петр Александрович.

«Хорьх», мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Танки давно исчезли в синеватой мгле морозной ночи. Справа черным пунктиром шли без огней грузовики с

прицепленными тяжелыми орудиями. Доносился изредка всплеск буксующих по наледи колес, ветром пролетали за мерзлыми стеклами обрывки команд — и Бессонов, все время чувствуя непрерывное это движение, думал: «Да, скорей, скорей!..»

Мягкое тепло от нагретого мотора обволакивало снизу ногу, успокаивая боль, обкладывало ее, как горячей ватой; механически постукивая, равномерно махали «дворники», счищая изморозь со стекол. Вся степь впереди мутно синела под раскаленными холодом звездами.

Сзади фосфорически пыхнул огонек спички, и в машине распространился запах папиросного дымка.

— Да, двадцать, он так мне сказал, — ответил Веснин и сейчас же спросил с доверительной осторожностью: — Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно?

Бессонов насторожился, крепко сдвинул палочку, поставленную между коленями.

— Откуда известно о моем сыне, Виталий Исаевич? — спросил он сдержанно, не поворачивая головы. — Ты хотел спросить: жив ли мой сын?

Веснин сказал негромко:

— Прости, Петр Александрович, не хотел, разумеется, как-то... Конечно, я кое-что знаю. Знаю, что у тебя сын, младший лейтенант... Воевал на Волховском, во Второй ударной, которая... В общем, судьба ее тебе известна.

Веснин замолчал.

— Все верно, — холодно сказал Бессонов. — Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Командующий сдался в плен. Член Военного совета застрелился. Начальник связи вывел остатки армии из окружения. Среди тех, кто вышел, сына не было. Знавшие его утверждают, что он погиб. — Бессонов нахмурился. — Надеюсь, все, что я сказал, умрет в этой машине. Не хотел бы, чтобы о событиях на Волховском шептались досужие ловцы сенсаций. Не ко времени.

Было слышно, как Веснин опустил заскрипевшее стекло, выбросил недокуренную папиросу, как шофер поерзал на сиденье, точно предупреждение это относилось лишь к нему, пробормотал:

— Обижаете, товарищ командующий. Сто раз проверенный я...

— Обижайтесь, если не поняли, — сказал Бессонов. — Это относится и к майору Божичко. Рядом с собой не потерплю ни слишком разговорчивых шоферов, ни чересчур болтливых адъютантов.

— Все понял, товарищ командующий! — не обижаясь, бодро откликнулся Божичко. — Учту, если ошибки есть.

— Они у всех есть, — сказал Бессонов.

«Крут и не прост, — подумал Веснин. — Ясно дал понять — подстраиваться ни под кого не будет. В общем, закрыт на все замочки, не расположен к откровенности. Что он думает обо мне? Я для него, наверно, только штатский очкарик, хоть и в форме дивизионного комиссара...»

— Прости, Петр Александрович, за еще один вопрос, — проговорил Веснин с желанием растопить ледок некой официальности между ними. — Знаю, что ты был в Ставке. Как он? Представь, в жизни я его видел несколько раз, но только на трибунах. Вблизи — никогда.

— Что тебе ответить, Виталий Исаевич? — сказал Бессонов. — Одним словом на это не ответишь.

Так же как и Веснин, ошупью угадывая нового командующего, невольно сдерживал себя, так и Бессонов не был расположен открывать душу, говорить о том, что касалось в какой-то степени и сына, о котором Веснин спрашивал минуту назад. Он все острее чувствовал, что судьба сына становилась его отцовским крестом, непроходящей болью, и, как это часто бывает, внимание, сочувствие и любопытство окружающих еще больше задевали кровоточащую рану. Даже в Ставке, куда пригласили Бессонова перед назначением на армию, в ходе разговора возник вопрос и о его сыне.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вызов в Ставку был для него неожиданным. Бессонов находился в тот момент не в своей московской квартире, а в академии, где два года перед войной преподавал историю военного искусства. Уже прослышав, что должен быть подписан приказ о новом его назначении, он зашел к начальнику академии генералу Волубову, старому другу, однокашнику по финской кампании, трезвому, тонкому знатоку современной тактики, человеку скромному, негромкому в военных кругах, но весьма опытному, чьи советы Бессонов всегда ценил. Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьем чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок. Начальник академии, сказав свое обычное: «генерал-лейтенант Волубов», с переменившимся лицом поднял на Бессонова глаза, добавил шепотом:

— Тебя, Петр Александрович... Помощник товарища Сталина. Возьми, пожалуйста, трубку.

Бессонов, озадаченный, взял трубку: незнакомый голос, ров-

ный и тихий, выученно спокойный, без какого-либо оттенка распоряжения, поздоровался, называя Бессонова не по званию, а «товарищ Бессонов», затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в два часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину.

— Если не затруднит, к подъезду академии,— ответил Бессонов и, закончив разговор, долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волубова, пытаюсь не показать внезапно охватившего его волнения, внешние признаки которого всегда были ему неприятны в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом: — Через полтора часа... к Верховному. Вот как, оказывается.

— Только прошу тебя, Петр Александрович,— предупредил начальник академии, подержав Бессонова за локоть,— о чем бы там ни спрашивали тебя, не спеши с ответом. Все, кто бывал у него, говорят: не любит шустрых. И ради бога, не забудь — не называй по имени и отчеству, называй официально — товарищ Сталин. Имени и отчества в обращении не терпит... Вечером заеду к тебе — подробно обо всем расскажешь.

...В приемной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещенной в окна серовато-мглистым холодным днем поздней осени, на крепких, с жесткой обивкой стульях сидели, поджав ноги, в молчаливом ожидании двое незнакомых Бессонову генералов, и когда немолодой, седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввел его, из-за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме, с неприметным, серым, переутомленным лицом. Глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку несильной бескостной рукой, он сказал, что придется подождать, не уточняя при этом, сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов.

— Прошу вас здесь...

Бессонов сел, а лысый усталый человек в штатском — это именно он звонил в академию — улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками желтых пальцев к его палочке.

— Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобней.

Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и так же бесшумно сел к своим бумагам и телефонам.

Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу каменных

стен; не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре.

В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев; молчал за столом человек в штатском; молчали два незнакомых генерала. Молчал и Бессонов, все более испытывая странное, властно подчиняющее его ощущение собственной растворенности в непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом, за стеной может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь и сюда, в приемную, войдет тот, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверно, то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом.

Все говорило здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него; готовых голодать, страдать, терпеть; готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряженность ожидания, испытываемая Бессоновым, ощущалась так еще и потому, что имя Сталина, привычное, твердое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку; вместе с тем это имя было связано с одним-единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что было надеждой всех.

В приемной никто не решался заговорить: звук нормального человеческого голоса, казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то священное. Грузный, пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, тихонько меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом и, вроде бы испуганный этим звуком, багровея, покосился на соседа — молодого, подтянутого артиллерийского генерал-лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный, без единой морщинки на выглаженном кителе, тот сидел, выпрямив грудь, уставясь на маленького человека в штатском, листающего бумаги за столом.

Было 14 часов 10 минут, когда усталый лысый человек в штатском по одному ему известным признакам определил присутствие рядом Сталина.

Неслышным движением он встал, без вызова направился в кабинет и, вернувшись, оставил дверь приоткрытой, вымолвил: — Пожалуйста, товарищ Бессонов.

Стараясь не хромать, Бессонов вошел.

В первое мгновение он не увидел подробно этот просторный, как зал, кабинет с портретами Суворова и Кутузова на стенах, с длинным столом для заседаний, официально зеленеющим полосой сукна, с топографической картой на огромном другом столе, с телефонными аппаратами и шнуром, кольцами сверну-

тым на ковровой дорожке. В тот момент Бессонов, весь напряженно собранный, видел только самого Сталина — маленького роста, с первого взгляда не похожий на свои портреты, он шел навстречу ему чуть развалистой, мягкой походкой в мягких, без скрипа сапогах; на нем был армейского образца китель, покато облежавший на конус срезанные плечи. Его толстые усы, густые брови еле уловимо отливали сединой, узкие, желтоватые глаза смотрели спокойно, и Бессонов подумал: «О чем он спросит сейчас?»

Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не сядя сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке около стола с картой, держа перед животом левую, будто не полностью разгибающуюся руку.

После довольно продолжительного молчания, пройдя к письменному столу в конце кабинета и задержавшись там, спиной к Бессонову, спросил с неопределенной интонацией:

— Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов?

Не совсем поняв вопрос, Бессонов хотел уточнить: «О каких именно событиях, товарищ Сталин?» — но ответил через силу сдержанным голосом:

— Если говорить о последних событиях под Сталинградом, товарищ Сталин, то они могут положить начало большому наступлению и, как мне кажется, новому периоду войны, если мы не позволим немцам разомкнуть внутренний и внешний фронт кольца...

— Кажется или убеждены, товарищ Бессонов?

— Убежден, товарищ Сталин. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько последовательно мы сумеем расчленить и уничтожить противника в окружении.

Бессонов замолчал, ему показалось: неширокая, округлая спина Сталина пошевелилась, как бы останавливая его и соглашаясь с ним.

Было прохладно в кабинете и тихо. Сталин взял трубку из пепельницы, повернулся от письменного стола, зажег спичку, раскуривая трубку, и, цепко глядя поверх огня спички на Бессонова, проговорил настойчиво, словно не расслышал его ответа:

— Если мы вас назначим командовать армией под Сталинградом, возражений с вашей стороны не будет, товарищ Бессонов? Мы хорошо знаем о действиях вашего корпуса под Москвой и посоветовались с Рокоссовским...

«Значит, слухи о моем назначении верны. Ответить, что я так или иначе не совсем понимаю причину моего назначения, или ответить, что это назначение для меня неожиданно, — глуповатая искренность. Что ж, значит, мою кандидатуру выдвинул Рокоссовский. Не думал, что будет именно так».

— Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня — приказ.

— Вы, полагаю, подлечились в госпитале, и пора воевать, товарищ Бессонов. По-моему, здесь тоже возражений нет.— Сталин вяло помахал рукой, гася спичку.— Подойдите к карте.

Бессонов без палочки преодолел, как препятствие, короткое расстояние до стола. Теперь он стоял так близко к Сталину, что чувствовал сладковатый, табачно-пряный запах его одежды, а сбоку видел широкую, пробитую сединой бровь, серую, шершавую кожу щеки, тронутую выемками оспинки; и когда Сталин, помолчав над картой, медленно поднял желтоватые глаза, в них был какой-то размягченный блеск внутренней довольной усмешки.

— Не возражаю против ваших рассуждений, товарищ Бессонов,— тихо заговорил Сталин.— Под Москвой, как известно, мы тоже думали об окружении противника. Но не хватило сил. И в том числе вашему корпусу. Канны сняты каждому генералу, товарищ Бессонов. Но мы, коммунисты, верим в объективные обстоятельства. Гитлеру, как говорят, не хватило под Москвой какой-нибудь одной свежей танковой дивизии и длинного лета. Некоторые утверждают: появилась некая закономерность — они наступают летом, мы их бьем зимой. Нет, в войне не может быть такой закономерности. Старые песни... Так Канны, говорите, товарищ Бессонов? — повторил Сталин, хотя Бессонов не употребил этого слова, и пососал трубку, она погасла; он, однако, не стал зажигать ее, кончиком трубки плавно обвел над картой район Сталинграда.— Здесь гитлеровские разбойники оказались в котле — и это первые наши Канны, товарищ Бессонов. Согласны?

— Да, товарищ Сталин. Я полностью с вами согласен.

— Поэтому ваша хорошо оснащенная армия,— продолжал Сталин после длительной паузы,— которую мы вам даем из резерва Ставки, посылается на усиление трех фронтов, завершать разгром немцев в окружении. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию «Кольцо». Какие у вас соображения по этому поводу, товарищ Бессонов?

— Товарищ Сталин...— проговорил Бессонов, понимая, почему Сталин остановился на прошлогодней обстановке под Москвой и так настойчиво повторил три раза слово «Канны», говоря об обстановке под Сталинградом, сложившейся в результате ноябрьского контрнаступления наших фронтов.— Я хотел бы сказать, товарищ Сталин, что все сейчас зависит от быстроты ликвидации этой огромной немецкой группировки. Не исключена возможность попытки прорыва немцев изнутри кольца или их деблокирующего удара к окруженной группировке сквозь внешний фронт. Мне сказали, что действия наших войск

по ликвидации окруженной группировки в последние дни замедлились, а немцы ожесточенно сопротивляются и даже контратакуют...

«Это он знает лучше меня, и, наверно, говорю я нехоти», — подумал Бессонов, едва лишь произнес последнюю фразу, но Сталин, поднеся зажженную спичку к трубке, слегка кивнул.

— Попытка прорыва, говорите? Не ошибаетесь, товарищ Бессонов. Данные о переброске немецких сил из Западной Европы на Сталинградское направление есть... Продолжайте.

— Поэтому я хотел бы как можно более быстрой переброски армии к фронту, товарищ Сталин.

Сталин молчал, думая о чем-то своем, потрогал мундштуком трубки толстые волосы рыжеватых усов; минуту спустя заговорил с особенно заметным акцентом:

— Операцию «Кольцо» по расчленению и ликвидации окруженной немецкой группировки мы должны провести силами фронта Рокоссовского и в основном войсками вашей армии, товарищ Бессонов. Не позже двадцать третьего декабря. Дело еще в том, что до Сталинграда наши солдаты, даже командиры не привыкли как следует окружать и насмерть бить окруженного врага. Слово «немец» долго звучало как очень активная сила. Это психологический фактор. Его переломить надо в сознании. Навсегда. Так ведь это, товарищ Бессонов? Или не так?

— Думаю, товарищ Сталин, — проговорил Бессонов, — что полностью из сознания солдата еще не ушло отступление сорок первого года. И лето сорок второго. Но перелом происходит или произошел... Солдаты стали понимать, что война пошла другая, что не немцы, а мы стали окружать.

Желтовато-серое, бесстрастное лицо Сталина ни одним мускулом не выразило ни согласия, ни возражения, и, не то покашливая, не то перхая саднящим горлом, он начал расхаживать по кабинету, по толстой, глушащей шаги дорожке; левая, согнутая в локте, негибкая его рука была выставлена немного вперед, перед животом, узкие, покатые плечи немного ссутулены; но Бессонову показалось, что в этот момент Сталин был чем-то недоволен, озабочен, вследствие, может быть, напоминания о сорок первом годе или замечания о том, что замедлились действия наших войск против окруженной группировки Паулюса, — и пойманный им взгляд Сталина, когда приблизился он, был холодно сосредоточен, со спокойной твердостью не выпуская Бессонова.

— В чем задача и цель полководца, — заговорил Сталин, обращаясь уже не к Бессонову, а к самому себе, в раздумье, как на точных весах взвешивая слова: — Главная задача полководца — узнать в лицо и изучить противника. Подготовить и вы-

ждать момент. Натренировать мускулы. Внезапно нанести удар. И одержать победу.

Он жестом подчеркнул — «одержать победу», его шершавое, все в мельчайших оспинках лицо на миг стало удовлетворенным.

— И всякие маловеры будут повержены,— договорил Сталин, вторично жестом подчеркнув слова.— Труссы и малодушные скептики, товарищ Бессонов. А такие еще есть, к сожалению.

И Сталин с нахмуренным лицом человека, не расположенного вести дальше разговор, подошел к письменному столу в конце кабинета, снял телефонную трубку, но, поперхав, покашляв, замедленно опустил ее на рычаг. Потом минуты две равнодушно стоял к Бессонову боком, точно забыв о его присутствии; затем темно-смуглая, покрытая золотистыми волосами, небольшая его рука со стуком выбила пепел из погасшей трубки; он раскрыл на столе коробку с папиросами, нажимами пальцев стал ломать папиросы над пепельницей, крошить в трубку табак.

«Дал знать, что я должен уйти. Как видно, вызвал меня, чтобы только взглянуть на нового командующего, и остался не очень доволен мной,— подумал Бессонов.— Что ж, значит, мое назначение на армию по совету Рокоссовского было случайным...»

Сталин продолжал крошить табак в трубку, приминать его и после затянувшейся паузы заговорил очень тихо:

— Скажите, товарищ Бессонов, вы учились, а потом преподавали в академии... Это известный факт. Знакомы вы были с неким генералом Власовым?

«Почему он спросил о Власове? — мелькнуло в сознании Бессопова.— В связи с чем он вспомнил об этом?»

— Был знаком,— ответил с забившимся сердцем Бессонов, слышавший уже от работников Генштаба об июньских событиях на Волховском фронте, о трагедии 2-й ударной армии, в которой служил его сын, пропавший без вести.— Был знаком,— повторил Бессонов.— Учились в академии в одно время...

— Какое же ваше личное мнение о Власове тех лет? Говорят, был самолюбив и чересчур обидчив?

— Это не бросалось в глаза, товарищ Сталин, в те годы он особенно тесно ни с кем не общался, как я помню.

— Говорят, что этот самолюбивый генерал, сдавшийся немцам, был трусом, очень застенчивым в бою, как тот ермоловский генерал. Это так?

— Ничего не могу сказать об этих его качествах, товарищ Сталин. Не приходилось встречаться с Власовым на фронте,— ответил вполголоса Бессонов.— Одно знаю твердо: в академии он ничем особенным не выделялся — был человеком средних способностей.

— Стало известно, что этот политический авантюрист сред-

них способностей,— с раздражением проговорил Сталин,— пошел в услужение к немцам. По вине этого застенчивого генерала шесть тысяч из его армии погибло, восемь тысяч пропало без вести. По-моему, товарищ Бессонов, в плен часто попадают политически и морально нестойкие элементы. В какой-то мере недовольные нашим строем... За некоторым исключением. Согласны?

«Не может быть, чтобы Виктор в числе этих восьми тысяч, пропавших без вести, попал в плен!.. Почему Сталин заговорил об этом?» — опять подумал Бессонов, ощущая толкнувшуюся ожогом боль в ноге и испытывая непреодолимое желание вытереть жаркий пот с висков.

В Москве, после госпиталя, еще не получив назначения, постоянно думая о сыне, о его жизни или возможной смерти, Бессонов навел справки о 2-й ударной армии, о вышедших из окружения, но избегал затрагивать этот вопрос даже в разговоре с женой, не теряя надежду. Смерть или плен Виктора, его кончившиеся со смертью либо начавшиеся в плену страдания измерялись в сознании Бессонова иными категориями — смыслом его, Бессонова, жизни, смыслом его запоздалой любви к сыну, смыслом жизни жены, верой в то, во что он верил и хотел верить. И та краткая встреча в подмосковном госпитале перед отъездом Виктора на фронт, приблизившая к нему сына до пронзительной нежности, и те патроны, посыпавшиеся из кармана новенького комсоставского плаща, и его неумелое курение, и смех, и его стремление воевать вместе с друзьями по училищу — все помнил Бессонов, как в одном и том же повторяющемся сне.

В первые месяцы сорок первого года Бессонов не раз испытал на самом себе состояние бессилия, знал, что такое общая подавленность в окружении, которая возникает подобно эпидемии ветряной оспы, но знал и видел также, как лейтенанты, недавние мальчишки, ни разу не брившиеся командиры рот и батальонов, в силу многих причин потерявшие нити управления, сколачивали в обстоятельствах безвыходных группки солдат и с последней отчаянной яростью прорывались из сжатого кольца или же гибли перед заслонами танков, и он представлял это ясно, и он не сомневался, что тот, по-новому увиденный им Виктор должен был в положении разгрома армии прорываться так...

— Что вы молчите, товарищ Бессонов? Не согласны?

Бессонов очнулся, на сухощавом лице его старчески прорезались морщины, губы невозможно было разжать, а эта неопределенная боль в замлевшей от долгого стояния ноге расплзалась все упорнее, все сильнее к бедру, надавливала там раскаленными скребущими лапками; он вспомнил о палочке, оставленной тем вежливым лысым человеком в приемной, по-

чувствовал желание сесть, но в то же время знал, что не делает этого. И выговорил наконец:

— Мой сын командовал ротой во Второй ударной армии. Не знаю его судьбы, но у меня, как у отца, нет оснований, товарищ Сталин, подозревать его в предательстве, если он и попал в плен.

Сухо покашляв, Сталин со стуком положил трубку на стол и, как живое, надоевшее ему существо, оттолкнул ее далеко в сторону — это было признаком подавляемого неудовольствия, чего не мог знать Бессонов, — и прошелся по кабинету; матово-смуглые его веки сузились.

— Не имел в виду судьбу вашего сына. Как мне известно, он очень молод. Не думал о том, о чем вы подумали, товарищ Бессонов. Имел в виду совсем другую фигуру. Думаю, что корни предательства всегда уходят в прошлое. У молодых прошлого нет, — сказал Сталин.

Бессонов почувствовал: огненное и нестерпимое распространялось уколами тока от голени к бедру, горячие струйки пота поползли под мышками; и он подумал некстати: «На палочку бы сейчас опереться».

— Этот Власов одно время даже был на хорошем счету. Никто не раскусил его гнилую сущность. Ни в академии, ни в армии... — проговорил Сталин, и режущий холодок его взгляда коснулся лица Бессонова так, что хотелось провести по щекам рукой, чтобы снять с кожи этот металлический холод. — Разве не верно, товарищ Бессонов?

— Мне трудно ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Насколько я мог представить обстоятельства, при которых Власов попал в плен, я это объяснял животной стороной человеческого падения. Но сближение с немцами... Это считаю уже шагом политическим...

В ту секунду, стараясь последовательно логически понять значение слов Сталина о военнопленных, Бессонов отвергал, не соглашался со всем тем, что могло лечь тенью на судьбу сына, не веря в его слабость, в его малодушие. В списках шестнадцати тысяч, вышедших из окружения, Виктор не значился. Опыт Бессонова, однако, отрицал розовую наивность, бездоказательную уверенность в том, что трагедия целой армии обошла сына стороной. Он по-прежнему допускал, что в сложившихся обстоятельствах Виктор не избежал плена вместе с другими, но, как это ни было тяжело, все больше утверждался в мысли, что сын погиб в дни попытки прорыва из окружения 2-й ударной армии. Это больше походило на правду.

Но Бессонов не мог знать, что привело к данному разговору, что было толчком, вызвавшим вдруг любопытство Сталина к генералу Власову.

Во всех войнах случались предательства, трусость, измены армий, выдачи секретных документов. Измена Власова в июне сорок второго года не являлась изменой армии, до последнего сражавшейся под деревней Спасская Поляна, — остатки дивизий с боями вырвались из кольца. Измена Власова была трусливым предательством одного генерала, ночью тайно бросившего штаб и пришедшего в занятую немцами деревню Пятница со словами страха и унижения: «Не стреляйте, я генерал Власов». Он спасал свою жизнь, которая с той минуты стала смертью, ибо всякое предательство — это духовная смерть. Но предательство Власова и неудача окруженной армии не на главном направлении не меняли, конечно, положения на всем советско-германском фронте. В то время серьезнейшая опасность была на юге, и Сталин, занятый южными фронтами, где немцы готовились нанести главный удар, не хотел сосредоточивать внимание на событиях под Волховом. Когда же в дни начавшегося большого успеха трех фронтов под Сталинградом, в дни нашего ноябрьского контрнаступления снова мелькнула в разведсводках фамилия генерала Власова, Сталин пережил прежний гнев и, неуспокоенный, представлял, что мог чувствовать теперь Власов там, в тылу у немцев, при сообщении об успехе Красной Армии. И, вернувшись к прошлому по ходу навязчивых воспоминаний, Сталин ждал, чтобы Бессонов, когда-то знавший бывшего командующего 2-й ударной армией по учебе в академии, этот немолодой, отдавший военной службе много лет генерал, определил то заметное в душевных проявлениях изменника, чуть пробивавшиеся в давние годы корешки, которые объяснили бы настоящее Власова. А это Сталин хотел знать твердо.

Услышав ответ Бессонова, он по выработанной годами привычке не выказал прямого неудовлетворения; с вялой неспешностью прошел по ковровой дорожке из конца в конец кабинета и оттуда сказал еле разборчивым голосом:

— Шагом политическим? Да, это политика... Говорят, товарищ Бессонов, что вы иногда высказываете свою... особую точку зрения на разные события. Как насчет этих военнопленных, например. Соответствует действительности это мнение о вас?

Ожидая продолжения разговора о Власове, Бессонов не предполагал этого вопроса, и, чуть-чуть передвинув по ковровой дорожке замлевшую ногу, он ощутил вдруг прошедший в груди ветерок и с чувством непривычного для себя состояния начатого крутого, разрушительного падения с высоты, точно сам уже осознанно готовый к роковому исходу, с трудом произнес:

— Товарищ Сталин, наверно, обо мне говорят и худшее. Мне известно мнение о том, что у меня плохой характер. И не сомневаюсь, что были жалобы на меня.

Сталин разомкнул тяжелые веки, посмотрел с пристальным удивлением и медленно опустил веки.

— Почему прямо не отвечаете на вопрос? — спросил Сталин, внезапно засмеялся беззвучным смехом и, поглаживая большим пальцем зажатую в руке трубку, валко пошевеливая плечами, опять зашагал к письменному столу в конце кабинета.— Вы коммунист, товарищ Бессонов, и ответьте мне как коммунист. Всегда имели свою личную точку зрения на разные события?

— Старался иметь, товарищ Сталин. Но не всегда удавалось отстаивать ее до конца.

Сталин, сощурился, глядел от стола. Давно привыкнув к бесспорному согласию окружающих со своим мнением, как к норме, он иногда позволял очень немногим из приближенных людей высказывать личное, особое мнение, и ответ Бессонова напомнил ему одного из представителей Ставки, который подчас и раздражал его, и вместе необходим был своей настойчивой безбоязненной прямоотой при решении оперативных вопросов. Но опытная проницательность, изумлявшая всех твердой точностью в оценке обстановки, приучила Сталина верить в безошибочность собственных суждений; и он высказывал их без колебаний.

— Понимаю, товарищ Бессонов... Ваши сомнения, по-видимому, относились к судьбам некоторых военачальников, которых мы в свое время наказали?

— Это только моя точка зрения, товарищ Сталин,— ответил Бессонов, еще ближе придвигаясь к ледяному ветру, губительно подувшему по лицу, по ногам; и, ответив так, поняв, что Сталин заставил его сказать о том, о чем не думал говорить, добавил с поразившим его самого спокойствием: — Эта точка зрения сложилась потому, что мне пришлось служить с некоторыми военачальниками, впоследствии ставшими жертвой клеветы. Я в этом уверен, товарищ Сталин...

Сталин положил и оттолкнул в сторону трубку на столе как нечто постороннее, мешающее ему, заговорил бесстрастно:

— Мне известны такого рода сомнения. Борьба — суровая вещь. Но многие из тех, в ком мы тогда сомневались,— люди с потенциальной душонкой Власова. Перегибы и ошибки давно исправили. Рокоссовский и Толбухин успешно воюют под Сталинградом...

«А как же остальные?» — подумал Бессонов.

— ...но если бы этот сумасшедший Власов поумнел, порвал с немцами, мы бы его никогда не простили!..

Разговор этот, видимо, настраивал Сталина на раздражающие, неприятные воспоминания, и, покашляв, он своей мягкой походкой в лишенных малейшего скрипа сапогах подошел к карте, долго смотрел на подробно нанесенную утреннюю обстановку

трех фронтов и, пытаясь переключить мысли в ином направлении, думая об успехе этих трех фронтов под Сталинградом, сказал, сделав отмахивающийся жест:

— Все это к слову! А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести. В дальнейшем наведем подробные справки. И сообщим вам. Мой старший сын, Яков, тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении, товарищ Бессонов.

Сталин хотел добавить еще что-то о своем старшем сыне, но, медля, передвинул лупу на карте, проговорил совсем другое:

— Без задержек вводите в дело свою армию. Желаю вам, товарищ Бессонов, в составе фронта Рокоссовского успешно сжимать и уничтожать группировку Паулюса. Я вам верю после активных действий вашего корпуса под Москвой, товарищ Бессонов. Я это помню.

— Не пожалею сил, товарищ Сталин. Разрешите идти?

— Как раз силу-то экономьте. Думал, богатырь вы.— Сталин развел руками, показал предполагаемый размер плеч Бессонова, при этом неожиданно улыбнулся, усы дрогнули, и в этот миг (Сталин сам это чувствовал) исчез, растаял латунно-жесткий холодок в глазах — его лицо, испещренное мелкими оспинками, стало мягким, домашним, добрым, каким его привык видеть Бессонов на портретах.— Худой вы, товарищ Бессонов. Это потому, что имеете свою точку зрения?.. Не язва? Мало, наверно, едите. И вот солдат будете плохо кормить. А это уж непозволительно, хоть со снабжением и неважно под Сталинградом.

— Я из госпиталя, товарищ Сталин. Но худой был всегда,— ответил Бессонов, увидев эту улыбку Сталина, которая как бы приглашала его забыть в этом разговоре все постороннее, прямо не относящееся к делу.

Через три часа с военного аэродрома он вылетел на связном самолете в район Сталинграда. Но и в самолете не мог до конца разобраться в сложном впечатлении от сорокаминутного разговора с Верховным.

На третий день после прибытия Бессонова на место, в район развертывания армии, обстановка на юго-западе от Сталинграда решительно изменилась.

С 24 по 29 ноября соединения Донского и Сталинградского фронтов вели непрерывные наступательные бои против замкнутой в клещи многотысячной немецкой группировки, ожесточенно сопротивлявшейся, не раз на отдельных участках переходившей в контратаки. Но к первым числам декабря территория, занятая окруженными войсками, сократилась вдвое, не превышала се-

мидесяти — восьмидесяти километров с запада на восток и тридцати — сорока километров с севера на юг. Командующий 6-й полевой армией генерал-полковник Паулюс послал срочную радиogramму в ставку Гитлера, требуя разрешения на прорыв из «котла» при перегруппировке сил на юго-запад; и, рассчитывая на согласие Гитлера, отдал приказ своей армии, а также подчиненной ему 4-й танковой армии приготовиться к отходу от берегов Волги в направлении Ростова. В течение нескольких дней две эти армии в спешке сжигали все, что невозможно было использовать при прорыве, — запасы летнего офицерского обмундирования, тягачи, автомашины, оставшиеся без горючего, подрывали склады с обременявшим войска имуществом, уничтожали штабные бумаги.

В деталях осведомленный о положении войск через личных представителей, Гитлер колебался, пребывая в состоянии нерешительности, но, учитывая обещание Геринга навести посредством авиации «воздушный мост» в Сталинград с доставкой по нему до пятисот тонн грузов ежедневно, он послал ответную радиogramму Паулюсу, приказывая не оставлять Сталинград, держать круговую оборону, сражаться до последнего солдата. Затем в штаб 6-й полевой армии последовал приказ об операции под кодовым названием «Зимняя гроза» — о готовящемся деблокировании, о прорыве к замкнутой группировке Паулюса со стороны Котельникова и Тормосина группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Манштейна, которому были теперь подчинены соединения, развернутые к югу от среднего течения Дона до астраханских степей, то есть до тридцати дивизий, в том числе шесть танковых и одна моторизованная, переброшенных из Германии, Франции, Польши и с других участков фронта.

Это решение Гитлера удерживать Сталинград во что бы то ни стало преследовало одновременно и стратегическую цель — обеспечить отход на Ростов северокавказской группировки немцев, находившейся под угрозой охвата с флангов.

Одиннадцатого декабря, еще раз обсуждая положение в районе Сталинграда, Гитлер приказал Манштейну нанести деблокирующий удар.

На рассвете 12 декабря, создав трехкратный перевес на узком участке вдоль железной дороги Тихорецк — Котельниково — Сталинград, командующий ударной группой деблокирования генерал-полковник Гот двумя танковыми дивизиями при массовой поддержке авиации нанес удар в стык двух армий Сталинградского фронта. Танки устремились в прорыв, к 15 декабря вышли на берег реки Аксай и, форсировав ее, за три дня непрерывных атак продвинулись на сорок пять километров в направлении к Сталинграду. Нашей разведкой были перехвачены незашифрованные радиogramмы Гота в штаб Паулюса:

«Держитесь. Освобождение близко. Мы придем!» Положение на юго-западе крайне осложнилось. Ослабленные прежними оборонительными и наступательными боями, наши войска отходили, истекая кровью, с жестоким упорством цепляясь за каждую высоту. На главном направлении были введены все резервы, однако это не смогло существенно изменить сложившегося положения: армейская группа генерал-полковника Гота, усиленная подошедшей 17-й танковой дивизией, продолжала быстро продвигаться к Сталинграду, к окруженной 6-й армии Паулюса, от часа к часу ожидавшей сигнала на прорыв из кольца навстречу танковым дивизиям, деблокирующим ее.

В тот момент, когда свежесформированная армия Бессонова начала выгружаться северо-западнее Сталинграда, уже поступили подробные сообщения о начавшемся немецком контрнаступлении на Котельниковском направлении, о кровопролитных боях на рубеже реки Аксай. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Яценко Бессонова срочно вызвали на Военный совет фронта, где в то время находился и представитель Ставки. После подробных докладов командующего фронтом и командующих армиями с бесспорной очевидностью стало ясно, что войска Сталинградского фронта, по которому наносился главный удар, не имели достаточных сил противостоять натиску Манштейна, располагавшему на участке прорыва большим численным перевесом.

Слушая эти доклады, Бессонов молчал и думал о том, что вводить сейчас его армию в полосу Донского фронта с задачей добивать стиснутую в кольце группировку Паулюса было бы нерассчитанным действием, рискованным шагом в момент нависшей угрозы на юге. И когда представитель Ставки обратился к нему с предложением взять его хорошо оснащенную армию с Донского фронта и перегруппировать на юго-запад против ударной группы Манштейна, где решалась судьба операции, он, мысленно готовый к этому, помедлив, ответил, что другого решения пока не видит.

Но, ответив так, Бессонов тотчас же попросил усилить свою армию, еще не обстрелянную, не побывавшую в боях, танковым или механизированным корпусом. Генерал-майор Яценко опасно посмотрел на него, и Бессонов про себя отметил, что начальник штаба (его он пока мало знал) весьма встревожен по-новому скорректированной задачей армии, которую так легко и, казалось, почти безоговорочно взял на себя только что прибывший командующий.

Представитель Ставки заявил, что немедленно будет звонить Сталину, что надеется получить согласие на предложение Военного совета взять армию Бессонова у Донского фронта и перебросить ее на чрезвычайное Котельниковское направление с

целью остановить и разгромить Манштейна на пути к Сталинграду.

Бессонов услышал торопящее слово «разгромить» и подумал, что на первом этапе даже реализованная возможность «остановить» уже равносильна выигранной операции.

Ставка без промедления дала согласие, и армия Бессонова форсированным маршем, без остановок, без привалов, без отдыха двинулась с севера на юг, на рубеж реки Мышкова — последний естественный рубеж, за которым перед немецкими танками открывалась гладко-ровная степь до самого Сталинграда.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В третьем часу ночи после утомительной езды по залеженным степным дорогам, забитым колоннами войск, машина Бессонова въехала в полуразрушенную (нигде ни единого огонька) станицу в глубокой балке, где расположился новый командный пункт армии.

За околицей, на перекрестке, сразу мигнул красный лучик ручного фонарика, три затемневшие впереди фигуры вышли на середину дороги. Это был патруль.

Майор Божичко вылез и, кратко переговорив со старшим из патруля, доложил чрезмерно бодро:

— Четвертый дом направо. Уже устроились. Все службы здесь, товарищ генерал.

Возле крыльца штаба Бессонов, разминая затекшие ноги, немного походил, вдыхая крепкий морозный воздух, смешанный с тепловатым горьким ароматом кизячного дымка, поглядел в небо. Вызвездило крупно. Дрожали, разгораясь, яркие созвездия в черных декабрьских высотах. Завывающими змейками сносило с крыши колкую снежную пыль. Ветер звенел в сиротливо-голых кукурузных стеблях, темными островками торчавших в огородах из сугробов. А где-то слева, на юге, глухо погромыхивало, приближаясь и стихая, как будто земля покачивалась на воздушных весах.

Потом Бессонов услышал завывание автомашин на улочках станицы, отголоски команд, переклички связистов на дороге, протягивающих провод, скрип повозок в темноте. Донесся простуженный, распекающий говорок от соседнего дома: видимо, старшина из хозяйственной роты отчитывал нерадивого, полусонного повара. Все было знакомо, внешне все выглядело так, как бывает при размещении любого крупного штаба. Но в то же время Бессонов ловил себя на мысли, что сейчас многие из этих людей, отдававших распоряжения по службе, делавших

свою обычную работу, озабоченных лишь удобством размещения, совсем не предполагали степени опасности, надвигающейся со стороны этого погромыхивания на юге.

— Слышите, Петр Александрович? — сказал Веснин, побрякивая на холоде, протирая носовым платком стекла очков. — И ночью жмут. Очень торопятся! По-моему, на юге небо светлей — все там горит, наверно...

— Именно торопятся, — ответил Бессонов и мимо часового взвошел на забеленное снежком крыльцо.

В доме, где разместился начальник штаба, было до жаркой духоты натоплено, пахло овчинами, деревом и почему-то теплым конопляным маслом. В большой комнате с тщательно занавешенными окнами ярким белым накалом горели аккумуляторные лампочки. Под ними возле карты и за столом сидели на деревянных лавках вызванные генералом Яценко начальники отделов и служб. И Бессонова удивило, что были они в полушубках, в шапках, словно подчеркивая тем некую нервозность, которую он не хотел видеть на своем КП. Было накурено, синие пласты дыма плавали над столом — совещание шло к концу. Грузный генерал-майор Яценко, с гладко выбритой, несмотря на зиму, крупной головой, очень заметный внушительной физической прочностью, басовито подал команду при виде Бессонова. Все встали, вытянулись, пряча поспешно папиросы: знали, что новый командующий не курит, не выносит табачного дыма.

Бессонов, никому не пожимая руки, поздоровался; снимая полушубок, недовольно проговорил:

— В этой комнате попросил бы не курить. Не дурманить головы. И хотел бы, чтобы, входя в штаб, командиры снимали шинели и полушубки. Не сомневаюсь, что так будет удобней... Если не помешал совещанию, прошу всех незамедлительно приступить к своим обязанностям.

— Прямо паровозы! — сказал Веснин, потирая руки, покачиваясь на длинных своих ногах. — Дым коромыслом!..

— Что с ними сделаешь, дымят и дымят, чертяки! Может, проветрить помещение, Петр Александрович? — забасил Яценко, когда несколько командиров вышли, и повернул выбритую голову к занавешенным окнам. Он сам не курил, обладал завидным, несокрушимым здоровьем и, всегда погруженный в бесконечные штабные заботы, к подчиненным был настроен снисходительно, в быту многое отечески прощал им, как нашалившим детям.

— Не сейчас, — остановил Бессонов и, ладонью пригладив редкие седеющие, зачесанные набок волосы, кивнул. — Прошу к карте. Думаю, лучше сесть.

Все, кто остался в комнате, сели поближе к карте. Бессонов прислонил палочку к краю стола; все глядели не на Яценко,

со значительным видом готового докладывать, и не на карту с последними данными, а на лицо Бессонова, болезненное, сухое, невольно сравнивая его с лицом Веснина, приятно розовым, моложавым,— командующий армией и член Военного совета внешне разительно отличались друг от друга.

— Прошу,— сказал Бессонов.

— Из-за запрета пользоваться рациями связь с корпусами оставляет желать лучшего. Донесения — только через офицеров связи, товарищ командующий,— заговорил Яценко, и в маленьких умных глазах его Бессонов не отметил прежнего вопроса и удивления, какое было тогда на Военном совете фронта. Теперь в них как бы отразилось лишь то, что было связано с организационными усилиями, с лихорадочной переброской четырех полных корпусов на двести километров с севера на юг.— Два часа назад армия занимала следующее положение...

Генерал Яценко положил большую руку на карту — плоские, широкие ногти аккуратно острижены, чисты, и весь он был аккуратен, умыт, выбрит с педантичной чистоплотностью кадрового военного. Доклад его тоже был педантично четок, голос густо звучал, вроде бы со вкусом называя номера корпусов и дивизий:

— Третий гвардейский стрелковый корпус вышел в район развертывания на рубеж реки Мышкова и занимает оборону. Седьмой корпус на марше, с наступлением темноты, надеюсь, без осложнений прибудет в район сосредоточения. Крайне тяжелое положение сложилось в механизированном корпусе, товарищ командующий.— И Яценко стал медленно багроветь, как если бы он, любивший четкость исполнения, вновь пережил неприятное, бедственное донесение из мехкорпуса.— Кончилось горючее на марше, тягачи и машины с боеприпасами застряли на сороковом километре... Мною даны две телеграммы командующему фронтом...

Яценко без запинки, но со значительным нажимом, по памяти воспроизвел текст этих двух телеграмм, затем исподлобья бросил на Бессонова уже знакомый тому выжидательно-испытующий взгляд. Однако Бессонов не счел нужным ничего уточнить, не изменил выражения неподвижного худого лица, не выказал удивления по поводу тревожно-решительного тона телеграмм. Он рассеянно рассматривал карту на столе. Веснин же вдруг блеснул стеклами очков и подсказал:

— И насчет бы продовольствия, Семен Иванович. На этом адском морозе без горячего варева и положенной солдату водки в сосульку превратишься, пальцем не пошевелишь.

— Об этом не говорю,— ответил с досадой Яценко.— В дивизиях есть случаи обморожения...

— Ясно,— сказал Бессонов.

Все, о чем докладывал начальник штаба, совпадало с тем, что сам он видел утром и днем на дорогах движения армии. Но не эти осложнения волновали сейчас Бессонова. Он по опыту верил в так называемое второе дыхание войск при форсированных перебросках на большие расстояния. Гораздо больше беспокоило его осложненное положение одной из дивизий соседней армии, ожесточенно оборонявшейся несколько суток и вконец измотанной немецкими танковыми атаками. Обстановка там была известна ему не только по несвязным ответам того контуженного страхом танкиста. От стойкости или гибели этой дивизии, из последних сил сдерживающей исступленно-неистовый натиск немцев, в прямой зависимости было так нужное Бессонову время для подхода и развертывания всей армии на рубеже реки Мышкова — последней преграды на пути немцев к окруженной группировке в районе Сталинграда.

Прервав доклад Яценко лаконичным «ясно», Бессонов взглянул на начальника разведотдела полковника Дергачева, довольно молодого, с тонкими, сросшимися на переносице бровями, что придавало ему не по годам суровый, независимый вид, и спросил с интонацией ожидания неудовлетворительных новостей:

— Что нового может сказать разведка?

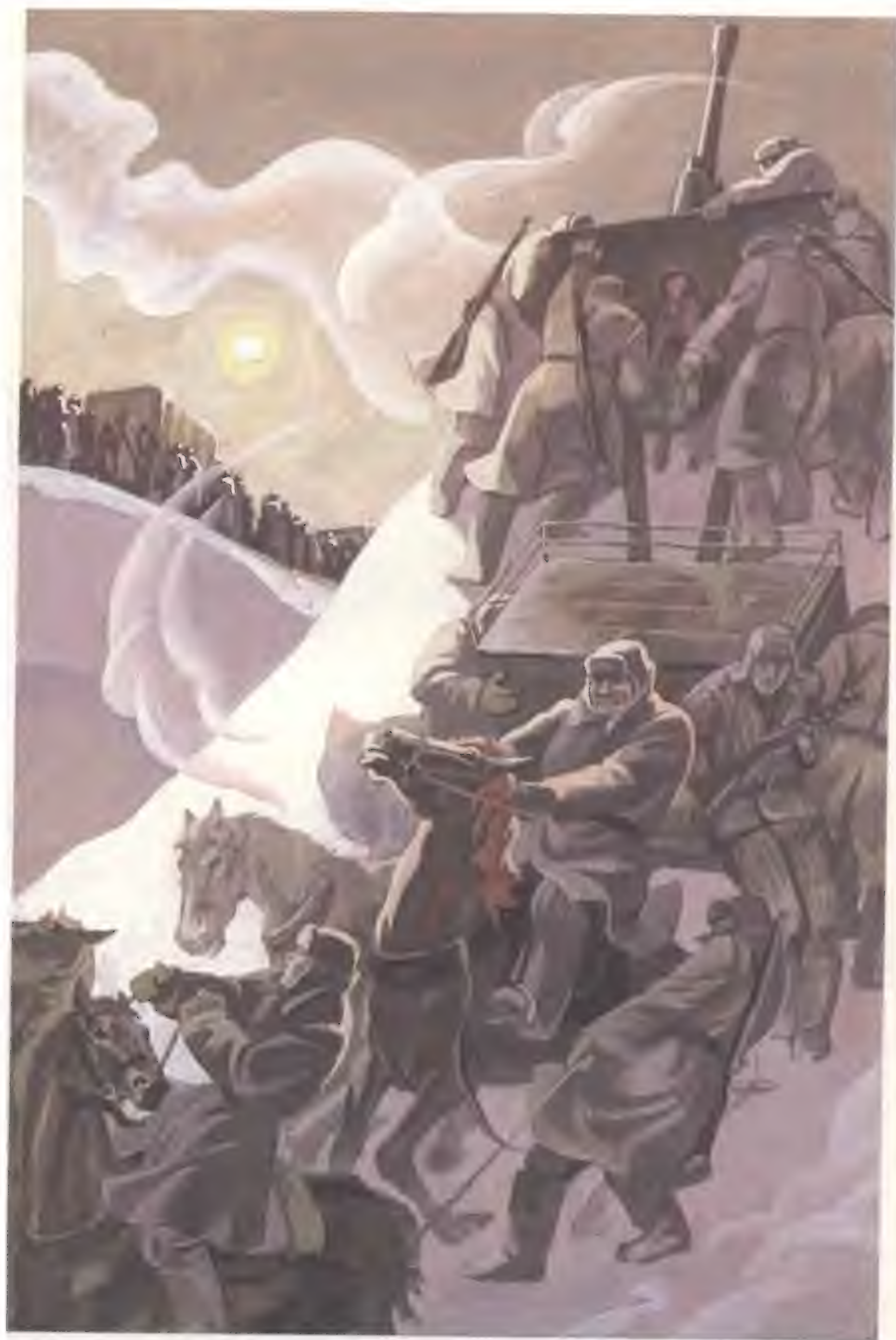
— Положение к вечеру, товарищ командующий, — заговорил полковник Дергачев тоном, который действительно не обещал ничего обнадеживающего. — На правом фланге соседней армии немцы ввели в бой свежую танковую дивизию, в составе которой до батальона тяжелых танков новой модели «тигр». По показаниям пленного офицера, захваченного вчера, и по другим данным в деблокирующем ударе действует более десятка дивизий, в том числе две танковые. Соседняя армия не в силах сдержать этого натиска...

— Не в силах, — повторил Бессонов.

— У правого соседа положение не лучше, если не хуже, Петр Александрович, — засопев, добавил Яценко в наступившей тишине. — Кавалерийский корпус понес огромные потери и отошел. Создается впечатление, товарищ командующий, что немцы будут наносить главный удар по правому крылу нашей армии. Здесь кратчайшее расстояние до Сталинграда.

Бессонов со скрытым интересом поглядел на Яценко, сосредоточив внимание на его старомодно выбритой наголо голове (распространено было среди командиров до войны). Этот грузный, опрятный генерал на первый взгляд совсем не производил впечатления толкового и грамотного начштаба, может быть, из-за своей грубоватой внешности, густого старшинского баса. Кроме того, Бессонова раздражал исходивший от Яценко резкий запах тройного одеколona.

«Правильно, — подавляя настороженность к начальнику шта-



ба, подумал Бессонов.— Именно по правому флангу наиболее вероятен удар».

— Да, отсюда Манштейну едва ли сорок километров до окруженной группировки,— подтвердил вслух свою мысль Бессонов и подумал затем: «Если прорвутся здесь, пробьют коридор к окруженной группировке, два-три дня боев — и обстановка в районе Сталинграда изменится в пользу немцев. Что же тогда?»

Но эту мысль он не высказал вслух. Последний вопрос даже самому себе он задал, пожалуй, впервые.

Все ждали за столом в том напряженном угадывании какого-то действия Бессонова, как почти всегда бывает, когда в крупном штабе появляется новый, наделенный полнотой власти человек, еще раскованный в своих решениях, не связанный еще ни с чьим мнением. А Бессонов с выражением глубокой усталости глядел на карту, испещренную знаками обстановки, ярко и уютно освещенную аккумуляторными лампочками, и, выслушав доклад начальника штаба, молчал, продолжая думать о возможном соотношении сил на направлении предполагаемого удара. «Если три-четыре немецкие танковые дивизии прорвут оборону на Мышковой раньше, чем мы успеем подойти и развернуть свою армию на правом берегу, они сомнут и нас. Это тоже очевидно».

Но вслух он не сказал и этого, ибо бессмысленно было говорить о том, что понимали, вероятно, в ту минуту все за столом.

Бессонов поднял голову.

В просторной комнате по-прежнему было тихо. Тоненько дребезжали стекла от проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше, маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках.

В углу над лавками поблескивал закопченный и древний лик иконы, как скорбная, от века, память о человеческих ошибках, войнах, поисках истины и страданиях. Этот лик какого-то святого, темнеющий над любовно вышитыми кем-то и повешенными крест-накрест белыми холщовыми рушниками, искоса печально глядел в свет аккумуляторных ламп. И Бессонов, чуть усмехнувшись, неожиданно подумал: «А ты-то что знаешь, святой? Где она, истина? В добре? Ах, в добре... В благости прощения и любви? К кому? Что ты знаешь обо мне, о моем сыне? О Манштейне что знаешь? О его танковых дивизиях? Если бы я веровал, я помолился бы, конечно. На коленях попросил совета и помощи. Но я не верую в бога и в чудеса не верю. Четыреста немецких танков — вот тебе истина! И эта истина положена на чашу весов — опасная тяжесть на весах добра и зла. От этого теперь зависит многое: четырехмесячная оборона Сталинграда,

наше контрнаступление, окружение немецких армий. И это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление. Но чашу весов еще нужно тронуть. Хватит ли у меня на это сил?..»

Молчание за столом гнетуще затягивалось. Никто первым не решался нарушить его. Начальник штаба Яценко вопрошающе поглядывал на дверь во вторую половину дома, где гудели зуммеры, то и дело отвечали по телефонам голоса адъютантов. Генерал Яценко не вставал, сидел грузно, прямо; потом носовым платком обтер бритую голову и снова озабоченно скосился на дверь. Веснин в задумчивости играл на столе коробкой папирос и, поймав на иконе странный текучий взгляд Бессонова, который становился все неприязненнее, все жестче, подумал, мучаясь любопытством, что не пожалел бы ничего, чтобы узнать, о чем думает сейчас командующий. Бессонов в свою очередь, перехватив внимание Веснина, подумал, что этот довольно молодой, приятный на вид член Военного совета чересчур уж заинтересованно-откровенно наблюдает за ним. И спросил не о том, о чем хотел спросить в первую очередь:

— Готова связь со штабом фронта?

— Будет готова через полтора часа. Я имею в виду проводную связь,— заверил Яценко и притронулся ладонью к ручным часам.— Все будет точно, товарищ командующий. Начальник связи у нас человек пунктуальный.

— Мне нужна эта точность, начальник штаба.— Бессонов встал.— Только точность. Только...

Опираясь на палочку, он сделал несколько шагов по комнате, и в эти секунды ему вспомнились хозяйски медленные, развалистые шаги Сталина по красной ковровой дорожке около огромного стола в огромном кабинете, его еле слышное перханье, покашливание и весь тот сорокаминутный разговор в Ставке. С испариной на висках Бессонов остановился в углу комнаты. «Что это? Как гипноз, не могу никак отойти от этого»,— подумал он, раздражаясь на себя, и некоторое время стоял спиной ко всем, упорно разглядывая вышитые холщовые рушники, висящие под иконой.

— Вот что,— поворачиваясь, произнес Бессонов оттуда, из угла, нащупывая встречный взгляд Яценко и стараясь говорить спокойно.— Немедленно передайте распоряжение командиру механизированного корпуса: ни минуты не ждать горячего, загружать боеприпасами-способные двигаться машины и танки. Все наши свободные машины — из штаба, из тылов — в корпус. Передать начальнику артснабжения и командиру корпуса: если через два часа бригады с полным боекомплектom не выйдут на заданный рубеж, буду расценивать это как неспособность справляться со своими обязанностями!

«Да, я так и предполагал. Начинает брать армию в руки,—

подумал Веснин, вслушиваясь в скрипучий голос Бессонова.— Так вот он сразу как...»

— Второе...— продолжал Бессонов и подошел к столу, глядя на командующего артиллерией генерала Ломидзе, намереваясь произнести фразу: «К сожалению, перевеса ни в авиации, ни в танках на нашем участке пока нет, будем рады довольствоваться тем, что артиллерии, слава богу, достаточно»,— назойливую фразу, не выходявшую из головы, но вслух высказал другое: — Думаю, стоит изменить первоначальный план артиллерийской обороны. Всю артиллерию, за исключением корпусной, желательно поставить на прямую наводку. В боевые порядки пехоты. И выбивать танки. Главное — выбивать у них танки. Свои танки введем в бой лишь в кризисный момент. А до этого будем беречь их как зеницу ока.

— Понял, товарищ командующий,— сказал Яценко.

— А вы как... генерал?

Командующий артиллерией, сорокалетний черноволосый красавец генерал-майор Ломидзе, украдкой рисовавший в блокноте женские профили с полуоткрытыми губками и вздернутыми носиками, захлопнул блокнот, поднял на Бессонова быстрые горячие глаза, сказал:

— Товарищ командующий... не останемся ли таким образом без артиллерии? После первого боя. Хочу напомнить: гаубицы против танков недостаточно эффективны. По скорострельности, конечно, уступают противотанковым пушкам. Был приказ поставить на прямую наводку семидесятишестимиллиметровые батареи.

Бессонов посмотрел на Ломидзе внимательно, чуть удивленный его возражением.

— Знаю, чем мы рискуем. Но лучше остаться без единого орудия, генерал Ломидзе, чем драпать! — Он намеренно употребил это жаргонное, особо яркое солдатское слово.— Чем драпать вместе с артиллерией до Сталинграда. Поэтому повторяю: выбивать всеми средствами, уничтожать танки, основную ударную силу немцев! Не дать ни одному прорваться к Сталинграду. Не дать им поднять головы! Известно ли вам ликование немцев в «котле» после того, как Манштейн перешел в контрнаступление? Там ждут... ждут с часу на час прорыва кольца. Нам же ежеминутно помнить надо, что это не новичок, а весьма многоопытный генерал. Прошу всех усвоить: в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боев. Вопросы?

Вопросов не было.

— Все ясно, Петр Александрович,— сказал Веснин, несколько смягчая накал бессоновского объяснения.

— Немцы не те,— пробормотал Ломидзе.— Не прорвутся, товарищ командующий.

— Немцы еще те,— возразил Бессонов и поморщился.— Прошу вас, генерал, забыть про квасное шапкозакидательство. С позволения сказать, теория эта давно устарела.

Ломидзе снова раскрыл блокнот, мрачно зачеркал в нем остро отточенным карандашом. Сидевший рядом Веснин, повеселев, увидел: к женскому профилю командующий артиллерией пририсовал пышные усы, затем бороду, в ней длинную папиросу с курчавым дымком, потом крупно написал под рисунком: «Знаю, что он прав, но очень уж... Скажите, товарищ член Военного совета, чего он нас мучает? Сам не курит, другим не разрешает. Женский монастырь, что ли?»

Веснин улыбнулся, подтянул ближе блокнот Ломидзе, на краю листа прямым мелким почерком написал: «Будем отвыкать. Сам до потери сознания хочу курить». И тотчас же в ответ из-под острого грифеля Ломидзе поползли косые буквы и сложились короткие слова: «Нет уж! К богу!»

Бессонов, слегка прихрамывая, шагал по комнате, сделав вид, что не заметил этой переписки. «Хотел бы знать, пойдем ли мы друг друга до конца?» — спросил он себя и, уперев палочку в пол, задержался подле тихо и скромно сидевшего не за столом, а в углу комнаты начальника контрразведки армии полковника Осина, широкого в кости, белокурого, курчавого, с серьезным, почтительным лицом. Закинув ногу на ногу, Осин тоже что-то записывал в блокноте, положенном на обтянутое бриджами колено. Он ни разу не оторвался от блокнота, не произнес ни единого слова, не изменил позы, и Бессонов подумал: «А этот полковник каков?»

— Майор Божичко! — позвал командующий.

Дверь во вторую половину дома, где зуммерили телефоны, раскрылась, и Божичко вошел энергично; в глазах его еще таял смех после только что рассказанного в той комнате анекдота. Майор стукнул на пороге валенком о валенок.

— Слушаю, товарищ командующий.

— Машину.

— Товарищ генерал,— заговорил Божичко не без настойчивости, имея неотъемлемое право адъютанта заботиться о командующем.— Обед готов! Пельмени вы заказывали. Это десять минут.

— А майор неплохо придумал,— сказал Веснин и проворно поднялся, обратив свое приятное розовое подвижное лицо к Божичко.— Я «за». Пожалуй, не отказался бы от рюмки с мороза! Прекрасная идея, Петр Александрович!

Бессонов с сухой вежливостью отклонил предложение:

— Благодарю. Буду голоден — не постесняюсь пообедать и в дивизии Деева.

Перекладывая палочку из руки в руку, он надел поданный адъютантом полушубок и, застегиваясь, обратился к Яценко:

— Согласен с вами, что главный удар они нанесут на правом фланге. Это не вызывает сомнения. Я на энпэ Деева. Туда прошу и докладывать обо всем существенном.

Все проводили командующего до двери, а генерал Яценко переступил порог темных холодных сеней. Здесь не было видно лица его, лишь в холодке ощутимо запахло тройным одеколоном, и Бессонову почудилось, что начальник штаба, прощаясь, хочет пожать ему руку в знак солидарности, но не решается.

— Будем надеяться,— сказал Бессонов и, коротко обменявшись с Яценко рукопожатием, вышел на улицу.

Ветреная декабрьская ночь чернела над степью с рассыпанными по чистому небу созвездиями. Уже подходя к темневшей на дороге машине, Бессонов услышал хлопанье двери за спиной, похрупывание снега и полуобернулся, надеясь увидеть начальника штаба, не досказавшего что-то. Но это был Веснин. Вышагивая цапельно-длинными ногами, он подошел к Бессонову, сказал с некоторым замешательством:

— Петр Александрович, шут с ними, с пельменями! Разрешить присоединиться? Не возражаешь, если я с тобой на энпэ?

— Не понимаю. Член Военного совета не обязан, как я знаю, спрашивать разрешения у командующего, где находиться. Сам волен решать.

Веснин рассмеялся.

— Петр Александрович, ты огорошиваешь меня своей, прости, прямотой. Что я должен ответить?..

— А вот что...— Бессонов отвел Веснина от машины в сторону.— Хочу задать еще один очень прямой вопрос. Как коммунист коммунисту... Если тебе, Виталий Исаевич, кто-то посоветовал присматривать за новым командующим, как за малым дитятею, особенно при вступлении в должность, то отношения наши грозят осложнениями. С трудом будем терпеть друг друга.— Он помолчал, и Веснин не перебивал его.— Если же это не так, готов немедленно извиниться за вышесказанное.

— Петр Александрович.— Веснин даже сдернул очки, с грустным вниманием глядя близорукими глазами.— Спасибо за откровенность. Но заявляю тоже совершенно искренне: если бы кто-то попытался насторожить мое внимание в твою сторону, я послал бы этого дурака к чертовой матери, если не дальше! Больше добавить ничего не могу.

— Благодарю,— усмехнулся Бессонов.— Извини за этот разговор.

— Напротив,— сказал Веснин,— я хотел бы, чтобы у нас

нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно.

— В дивизии поговорим,— пообещал Бессонов. И сухова­то добавил: — Разумеется, если немцы позволят...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

В третьем часу ночи дивизия полковника Деева, завершив двухсоткилометровый марш, вышла в заданный район — на северный берег реки Мышкова — и без отдыха стала занимать оборону, вгрызаться в мерзлую землю, твердую, как железо. Теперь все уже знали, с какой целью занимался этот рубеж, представлявший в воображении последним барьером перед Сталинградом.

Тяжкое погромыхивание отдаленного боя, доносившееся спе­реди, накалилось в четвертом часу ночи Небо на юге посвет­лело — розовый сегмент, прижатый темнотой к горизонту. И в коротких затишьях в той стороне, откуда приближалось не­видимое, неизвестное, слышны были на занимаемом рубеже скре­жет лопат в звонком каменном грунте, тупые удары кирок, команды, фыркание лошадей. Два стрелковых батальона, три батареи артполка и отдельный противотанковый дивизион были выдвинуты, переброшены через реку по единственному мосту, соединявшему станицу, и закреплялись впереди главных сил дивизии, окапывались здесь. В охватившем всех возбуждении люди, то и дело матерясь, глядели на зарево, потом на северный берег, на пятна домов по бугру, на деревянный мост, по которому шли запоздалые орудия артполка.

А река Мышкова, разделявшая станицу, лежала внизу, синяя под звездами. Снег густым дымом сдувало с высоких ее берегов, поземка жгутами скользила, неслась по льду, обвивая впаянные в лед сваи моста.

Батарея лейтенанта Дроздовского, поставленная на прямую наводку позади боевого охранения, зарывалась в землю на са­мом берегу реки, и спустя три часа изнурительной работы орудия были вкопаны на полтора лопатных штыка.

Лейтенант Кузнецов, горячий, мокрый от пота, сначала ис­пытывал азартное чувство какой-то одержимой поспешности, как испытывали это и все, слушая заглушенные расстоянием об­вальные раскаты в стороне светлого сегмента неба. Каждый понимал, что бой приближается, неумолимо идет оттуда и, не успев окопаться, без защиты земли, останешься на засне­женном берегу раздетым. А лопаты не брали прокаленную холодами почву, сильные удары кирок выдабливали лунки,

клевали землю, брызгая крепкими, как кремь, осколками.

По берегу дул низовой ветер, шевелились в мутно-белой мгле фигуры солдат-артиллеристов и соседей-пехотинцев; между ними темнели щиты орудий.

Мороз, усилившийся к ночи, затруднял дыхание, не было возможности разговаривать; дышали с хрипом; иней мгновенно садился плотным налетом на потные лица, ледком залеплял веки, едва лишь кто-нибудь прекращал на минуту работу. Неудолимо хотелось пить — сгребали с брустверов пригоршнями уплотненный осколками земли снег, жевали его; пресная влага леденила горло; скрипело на зубах. Обливаясь потом, лейтенант Кузнецов безостановочно бил киркой в землю, он никак не мог остановиться. По мокрому телу под прилипшей к спине гимнастеркой шершавыми змейками полз озноб. Кузнецов с жадностью глотал снег, но пересыхало во рту, и мучила непрерывная мысль о чистой, пахучей, колодезной воде, которую хотелось, задохнувшись, пить из железного ведра, окунув подбородок в холод.

— Много вы больно снега-то глотаете, товарищ лейтенант, — робко заметил Чибисов, неуклюже подгребая совковой лопатой за киркой Кузнецова. — Грудь бы не застудить. Снег — обман один. Видимость одна!..

— Ни черта! — выдохнул Кузнецов и позвал: — Уханов!

Старший сержант Уханов, без шинели, в одном ватнике, с горловым хеканьем долбивший вместе с наводчиком Нечаевым ровики, откинул кирку, спрыгнул на еще мелкую огневую позицию.

— Как идет, товарищ лейтенант? Влезаем в земной шар полегоньку?

Он дышал убыстренно, разгоряченный работой, пахло от него крепким здоровым потом, поблескивало влажное лицо.

— Неплохо было бы, — выговорил Кузнецов, — послать кого-нибудь к реке... Прорубь найти. И пару котелков с водой сюда.

— Придумано законно, — согласился Уханов, рукавом размазывая по щекам пот. — А то весь снег вокруг огневых сожрут, дьяволы. Маскировать нечем будет... Ну, кто тут деревенский мастер по прорубям? Ты, Чибисов? Давай вниз, ломик возьми!

— Смогу я, смогу... Что ж, возле реки да без воды? Сейчас я, товарищ лейтенант, все напьемся, — зачастил певуче Чибисов, и это охотливое его согласие было замечено всеми на огневой.

— А почему-то Чибисов? Этот не в ту сторону еще лупанет! — сказал кто-то, сомнительно хохотнув. — Ориентир знает?

— Замолил Емеля! Соображай!

— Нет, я и говорю: прямо ловит команду в тыл!

Однако Чибисов взял ломик, вскарабкался на бруствер, молча заковылял к орудию за котелками.

— Хитер мужик, аж пробы негде ставить,— опять хохотнул кто-то.— Работать — волос не ворохнется, жрать — вся голова трясется!

— Чего напали? Сами пить не хотите? Что, Чибисов жену у вас увел, никак? Он мужик старательный, мухи не обидит! Зашумели!

— Ша, славяне! — прикрикнул Уханов.— Не трогать мне Чибисова! А ты лучше про лошадей, Рубин, соображай, это для тебя поинтересней! Перекура не было! Долби, иначе он нас тут, как клопов, передавит! Или повторить?

Все вновь заработали на огневой — заскрежетали лопатами, с тупой однообразностью забили кирками в звеневший грунт. Кузнецов поднял с земли свою кирку, но тут же выпустил ее и вышел на бруствер, глядя на свет зарева левее редких и темных домов пустой станицы, вмерзшей в синеватость ночи.

— Подойди, Уханов,— сказал Кузнецов.— Слышишь что-нибудь?

— А что, лейтенант?

— Послушай...

Тишина странная, почти мертвенная, широкими волнами распространялась от зарева — ни гула, ни единого орудийного раската не доносилось оттуда. В этом непонятном наступившем безмолвии громче и четче стали выделяться звуки лопат, кирок, отдаленные голоса пехотинцев, окапывающихся в степи, и подывание артиллерийских машин на высотах сзади — на том берегу, где занимала оборону дивизия.

— Кажется, затихло,— проговорил Кузнецов.— Или остановили, или немцы прорвали...

— А справа? — спросил Уханов.— Тоже что-то...

Далеко по горизонту, правее зарева, прямо над крышами южнобережной части станицы, прорезалось второе сегментное свечение в небе и беззвучно вспыхивали круглыми зарницами, снизу упираясь в низкие облака, скользящие красноватые светы. Но и там стояло тяжелое безмолвие.

— Похоже на ракеты,— сказал Кузнецов.

— Похоже,— согласился Уханов.— Вроде прорвали. Правее. Прямо перед нами. Вовсю жмут к Сталинграду, лейтенант. Вот что ясно. Хотят своих из колечка вырвать. И снова крылышки расправить.

— Пожалуй.

Кто-то сказал за спиной с веселым удивлением:

— Братцы, а чего так тихо стало? Отошел, никак, немец? Небо осветил, а тихо! Стало, передумал прорываться? Пони-маешь, нет?

— Ну, прямо, «отошел»...

— Криво! Может, пораскидали генералы у Гитлера мозгами, решили: отменить пока!

— Вот он те даст «пораскидали мозгами», пуговиц не соберешь! — заключил вьедливо-злой голос. — На ширинке ни одной не останется!

— Р-работай, кореши, долби, зубами вгрызайся!.. Дав-вай!..

Кузнецов и Уханов помолчали, слыша на берегу переговоры людей, участившееся дыхание: остря киров с наковальным звоном тюкали в железную землю, на которую наступала эта пугающе огромная тишина, раздвинувшаяся по всему небу на юге. Уханов спросил не без раздумчивого угадывания:

— Далеко они? Как, лейтенант? Час? Два? А?

— А кто это знает! — ответил Кузнецов и опустил корябнувший мокрую шею воротник шинели: озноб не проходил, морозящей ледяной паутиной облепливал спину, во рту по-прежнему было сухо и горячо. — Окапываться нужно как бешеным. Все равно! Час или два — все равно!

Снова помолчали. А безмолвие горизонта охватывало, заполняло степь, зловеще ползло и ползло на батарею от двух зарев, зажженных в черноте ночи. И постепенно начали сникать, обрываться, притухать голоса солдат на огневых; тишина эта стала угнетать всех...

— Одно бы еще... — Уханов поглядел на Кузнецова, запахнул ватник. — Одно бы еще сделал. Из нашего старшины и повара душу бы с дерьмом вытряс своими руками. Где жратва? Попробуй кто-нибудь из расчета на сутки отстать — отдали бы под суд как дезертира! А поварам и старшинам ни хрена! — И Уханов, переваливаясь косолапо, сошел на оружейную площадку, где с хрипом, с выдохами вгрызались кирками в грунт солдаты, выбрасывали отколотые земляные комья на бруствер.

— Работа солдата — как колесо, братцы, без начала, без конца! — слышался снизу голос Уханова. — Крути колесо, славяне, в рай попадем!

— Где Чибисов? Пришел с водой Чибисов? — спросил Кузнецов, томимый непроходящей сухостью во рту, думая с отвращением, что придется глотать этот неприятно пресный, леденящий горло снег.

— А может, пленный-то в тыл рванул? — язвительно загудел из ровика ездовой Рубин. — Чешет назад, и котелки в кюветы побросал. А чё ему? Ты чё задышал, Сергуненков? Может, обратно слезупустишь?

Глупый ты человек, напраслину мелешь! — вскрикнул в сердцах ездовой Сергуненков, видно не забывший и не проотивший той злобы, с какой Рубин вызвался пристрелить упавшую на марше уносную.

— Рубин,— строго проговорил Кузнецов,— прежде чем сказать, подумайте. Много чепухи говорите!

— Ох, Рубин, надоел ты! — с недобрým обещанием произнес Уханов.— Предупреждаю: очень надоел!

Кузнецов стянул рукавицу, подхватил влажной рукой пригоршню острого, как битое стекло, снега и с заломившими зубами, давясь, начал глотать его, утоляя жажду.

— Ну! — сказал Еще на штык...

И спрыгнул с бруствера на оружейную площадку, взял кирку, изо всей силы вонзил острие в почву. Этот удар отдался в висках толчком крови. Кузнецов ударил киркой еще раз и еще, расставив ноги, чтобы не пошатываться от усталости. Через пять минут прежняя жажда, обманутая снегом, иссушающе жгла его, и он думал: «Чибисов... Скорей бы Чибисов... Где он там? Воды бы сейчас... Не заболеть бы мне».

Сквозь скрежет лопат он слышал обрывки разговоров о старшине, о кухне, но мысль о еде, об одном запахе пшенной каши была противна ему.

Кухня прибыла в пятом часу ночи, когда вся батарея, вымотавшись вконец на оружейных площадках, уже отрывала землянки в крутом обрыве берега. Кухня остановилась возле огневых второго взвода. Темным пятном проступала она на снегу, пахуче дымила, рдея жарком поддувала. Не слезая с козел, старшина Скорик прокричал наугад: «Кто есть живой?» — но, не получив ответа, соскочил на землю и первым из командиров встретил на огневых лейтенанта Давлатяна. Искоса поглядывая на два мохнатых, разросшихся по горизонту зарева, старшина спросил начальственной скороговоркой:

— Где комбат, товарищ лейтенант?.. Дроздовский нужен. Где он?

— Слушайте, вы... старшина! — заговорил Давлатян, заикаясь в негодовании.— Как вам не стыдно? Вы что, с ума сошли? Где вы были до сих пор? Почему так безобразно запоздали?

— Какой там еще стыд? — огрызнулся Скорик с атакующей надменностью, давно усвоив, что прочность его положения не зависит от командиров взводов, несмотря на их лейтенантские звания.— Чего стыдите-то? Склады у дьявола на рогах, отстали... Пока ездили, пайки, водку получали... Стыдите, ровно один воюете, товарищ лейтенант! Смешно мне это очень слушать. Ровно я пешка какая и фитюлька!

Скорик, бывший командир орудия, единственный в батарее обладатель ценнейшей солдатской медали «За отвагу», полученной в прошлогодних боях под Москвой, и вследствие награды, а также внушительной внешности выдвинутый на формировке в старшины, занял эту должность весьма охотно. Он

полагал, что создан для старшинской должности, и в душе считал себя куда выше командиров взводов, в особенности этого щуплого, остроносого Давлатяна, еще не понюхавшего в коротенькой жизни своей пороха, лейтенантика, которого чихом перешибить надвое можно. Лейтенантик этот был ничем не интересен, а тоже петушился, будто вся куриная грудь в орденах, будто на возмущение большое право имел... Да и никто в батарее не имел никакого права попрекнуть чем-либо Скорика, ибо он мог невзначай распахнуть шинель, напоминаясь открыть взорам медаль, доставая зажигалку из нагрудного кармана гимнастерки. Только к Дроздовскому, командиру батареи, старшина Скорик относился с неким опасливым уважением.

— Неужели не стыдно, старшина! — повторил Давлатян, растерянный от нагловатого тона Скорика. — Чего вы улыбаетесь, как клоун в балагане? Можете целые сутки торчать где-то в тылу и еще улыбаетесь?

Здесь, на огневых Давлатяна, сейчас никого не было из орудийных расчетов, кроме часового — наводчика Касимова. В темноте несколько раз, словно проверяя, Касымов обошел вокруг нежданно-негаданно появившейся на огневых, пахнущей теплым ароматом варева кухни с затаившимся по-виноватому на козлах поваром — и вдруг, безумно взвизгнув, щелкнув затвором, вскинул на повара карабин:

— Уезжай! Прочь!.. Не наша кухня! Не может наша кухня быть! Ты шайтан! И старшина — шайтан! Уходи! Немец ты! Не советский человек! Люди без крошки хлеба!.. Где, проклятый, спал? Батарея голодный!.. Убью!..

— Касымов! — фальцетом закричал Давлатян. — Что вы делаете?

— Стрелять буду шкуру!..

Лейтенант Кузнецов, заслышав вблизи крики, подбежал к огневой Давлатяна, к стоявшей в синеватой снежной мгле кухне. Тотчас увидел, как лошадь при взмахе карабина Касимова испуганно рванула в степь, поволокла задрезавший котел, низкорослая фигурка повара мешком скатилась с козел, ткнулась в сугроб; повар жалобно заголосил защищающимся тенорком:

— А?.. Зачем? Умом тронулся?.. — И, вскочив, кинулся к лошади, схватил за повод, приговаривая: — Тпру, дуреха, чтоб тебя!..

— Что произошло, Давлатян? — крикнул Кузнецов. — С какой стати шум подняли? Касымов!..

— Вон видел... приехать изволили, — ответил Давлатян, запинаясь возбужденно. — Понимаешь, Кузнецов, сутки его не было, сутки! Тыловая простокваша!

А Касымов опустился на бруствер и, положив карабин

на колени, раскачиваясь из стороны в сторону, говорил нараспев:

— Плохо, лейтенант, плохо... Не люди они... Такой люди плохо Родину защищать будут. Сознательность нет. Других не любят...

— А-а, ясно, тыловые аристократы прибыли,— насмешливо сказал Кузнецов.— Ну, как в тылах? Обстреливают? Что же стоите, старшина? Рассказывайте, как там — оборону копали для кухни? Давно вас не видели! С самого марша, кажется?

Скорик, улыбаясь одной щекой, с надменным и хищным выражением сверкнул на Кузнецова узко поставленными к переносице глазами.

— Бойцов неполитично настраиваете, товарищ лейтенант, не по уставу это. Чтоб бойцов против старшин? Комбату Дроздовскому жаловаться буду. Касымов вон оружием угрожал.

— Жалуйтесь кому угодно, хоть черту! — проговорил Кузнецов, уже не удерживаясь на прежнем тоне.— Сейчас же вниз, к расчетам! Быстро кормить батарею!

— Мною, товарищ лейтенант, не больно командуйте. Я не боец из вашего взвода... Дроздовскому я подчиняюсь. Комбату, а не вам. Доппак свой — пожалуйста, можете получить, я не возражаю, а чтобы обзывать и шуметь — я тоже гордый и устав знаю. Семенухин! — по-строевому зычно позвал Скорик повара.— Выдать доппак лейтенанту!

— Я сказал — вниз, кормить батарею! Поняли? Или нет? — вскипел Кузнецов.— Быстро, вы... знаток устава!

— Вы на меня не очень чтобы шумите! Комбата я обязан сперва накормить. Эмпэ где?

— Вниз, я сказал! Там всё узнаете! И кухню вниз. Спуск возле моста. Лейтенант Давлатян! Покажите ему, где батарея. А то опять на сутки заблудится!

И, увидев, как старшина, исполненный непоколебимого достоинства, последовал за Давлатяном к обрыву берега, Кузнецов вернулся к орудиям, сел на разведенную станину, пытаясь успокоиться. После многочасовой работы на огневых зудяще ныли мускулы плеч и рук, ломило шею, горели мозоли на ладонях; ознобным покалыванием пробегали мурашки по отделявшейся, мнилось, коже спины, и не хотелось двигаться.

«Заболеваю я, что ли?» — подумал Кузнецов и, найдя под станиной котелок с водой, принесенной Чибисовым из проруби, вожаделенно поднял его к губам.

В пахнувшей железом речной воде плавали невидимые льдинки, тоненькими иголочками позванивали о край котелка, смутно напоминая далекое, детское, новогоднее: ласковейший звон серебряных игрушек, нежное шуршание мишуры на елке, самый лучший зимний праздник в запахе хвои и мандаринов, среди зажженных свечей в теплой комнате... Кузнецов пил долго,

и когда ледяная вода ожгла грудь холодом, он, внушая себе, подумал: сейчас эта вялость пройдет, и все станет ясным, реальным.

По-прежнему широко высвечивали небо зарева впереди над степью. Черным по красному виднелись низкие крыши, вставшие в этот свет ветлы затаенно-тихой станицы. Забеляя наваленные комья земли, вилась по брустверу поземка.

— Товарищ лейтенант!..— прозвучал рядом голос Касымова.

Он оторвал взгляд от зарева, посмотрел на подошедшего Касымова; тот присел на станину, карабин поставил меж ног. Его безусое, отполированное природной смуглотой лицо было сумрачным в зловещем разливе далекого огня.

— Не знаю, как сделал... Зачем людей так обижает? Не любит он батарея. Чужой совсем. Равнодушный.

— Правильно сделали,— сказал Кузнецов.— И не думайте об этом. Идите к кухне, поужинайте. Я посижу здесь.

— Нет,— Касымов покачал головой.— Два часа пост стою. Терпеть можно. Южный Казахстан тоже снег бывает. Большой снег на горах. Не замерз.

— Наверно, там — другой снег? — почему-то спросил Кузнецов, которому захотелось вдруг представить солнечную, покойную, счастливую жизнь в таком далеком, сказочном, как по ту сторону мира, Южном Казахстане, где не могло быть этого жестокого, цепенящего мороза, неустанно шелестящей поземки по брустверу, этой сцементированной холодами земли, этих огромных полыхающих зарев по горизонту.— Тепло у вас? Солнце? — опять спросил он, зная, что Касымов подтвердит эту далекую, но существующую где-то в мире радость.

— Совсем тепло. Солнце. Степь. Горы,— заговорил Касымов, застенчиво улыбаясь.— Трава весной много. Цветов. Океан зеленый. Утром, как вода, воздух... Дышать хорошо. Горные реки. Прозрачные... Рыба руками лови...

Он умолк, в задумчивости покачиваясь на станине: наверно, явственно вообразил и перенесся туда, в ту существующую на земле утреннюю душистую степь между горными хребтами, где целый день горячее солнце над зеленеющими сочными травами, буйные, горные стеклянно-прозрачные реки, кишашие рыбой в заводях.

— Солнце и горные реки,— повторил, представив то же, Кузнецов.— Хотел бы посмотреть.

— Назад не вернулся бы, влюбился бы в горы,— сказал Касымов.— Богатый природа. Народ добрый... За свой природа умереть могу. Думал в начале война — неужели немец придет? В армию очень спешил. В военкомат говорю: записывай, воевать буду... А ты Москва жил?

— Да, в Замоскворечье,— ответил Кузнецов и при этом слове так ярко представил себе тихие с тупичками переулки, разросшиеся столетние липы во дворах под окнами, голубые апрельские сумерки с первыми нежнейшими звездами над антеннами посреди теплого городского заката, с запоздалым стуком волейбольного мяча из-за заборов, с прыгающим светом велосипедных фонариков по мостовым,— так четко увидел все это, что задохнулся от приливших воспоминаний, вслух сказал: — Наш весь класс ушел в сорок первом...

— Дома кто остался?

— Мама и сестра.

— Отец нет?

— Отец простудился на строительстве в Магнитогорске и умер. Он инженером был.

— Ай, плохо, когда отец нет! А у меня отец, мать, четыре сестры. Большой семья был. Кушать садились — целый взвод. Война кончим — в гости приглашаю тебя, лейтенант. Понравится наша природа. У нас совсем останешься.

— Нет, ни за что я свое Замоскворечье не променяю, Касымов,— возразил Кузнецов.— Знаешь, сидишь зимним вечером, в комнате тепло, голландка топится, снег падает за окном, а ты читаешь под лампой, а мама на кухне что-то делает...

— Хорошо,— покачал головой Касымов мечтательно.— Хорошо, когда семья добрый.

Замолчали. Впереди и справа орудий приглушенно скрипели, скоблили по-мышинному лопаты зарывающейся пехоты. Там уже никто не ходил по степи, и не доносилось ни единого звука соседних батарей.

Только снизу, из впадины реки, где в береговом откосе первая батарея отрывала для расчетов землянки, долетали порой скомканные голоса солдат и еле уловимое слухом позвякивание котелков. А за рекой на той стороне, где-то в глубине северо-бережной части станицы, одиноко буксовала машина, и все это как бы впитывалось, поглощалось огромно разросшимся безмолвием, идущим с юга по степи.

— Тишина странная...— сказал Кузнецов.— С сорок первого года не люблю такую тишину.

— Почему не стреляют? Тихо идет сюда немец?

— Да, не стреляют.

Кузнецов встал, разогнув натруженную спину, и тотчас вспомнил о котелке с водой. Пить ему больше не хотелось, хотя по-прежнему сохло во рту; он сильно прозяб на обдуваемой береговой высоте, остыло насквозь влажное белье, и началась мелкая внутренняя дрожь. «Обессилел я так? Или промерз? Водкой бы согреться!» — подумал Кузнецов и по мерзло-хру-

стящим комьям земли пошел откосу, где вырублены были ступени вниз.

Распространяя теплый запах горохового концентрата, кухня стояла прямо на льду реки; и тлел пунцово и мирно жарок под раскрытым котлом, который обволакивался паром. Гремел черпак о котелки. Сливаясь в темную массу, толпились вокруг кухни расчеты, обступив работающего повара; переговаривались недовольные и подобревшие, разогретые водкой голоса солдат:

— Опять суп-пюре гороховый, конь полосатый! Другого не придумал!

— Ну, подсыпь, подсыпь — о жене задумался! Почему, братцы, все повара жадные?

— Задушил горохом! Не знаешь, какие случаи от гороху бывают?

— На вредном производстве молоком поить надо.

— Не балабоньте, язык без костей... Еще по-умному сообразил — молоком, — на все стороны огрызнулся повар. — Зачем упрекаете? Я, что ль, вам корова?

Кузнецов вдохнул вместе с чистой морозной свежестью речного льда запах подгорелого супа — и его замутило. Он свернул — мимо кухни — в темень высокого откоса, натываясь на разбросанные по берегу лопаты и кирки. Вскоре впереди проблеснула вертикальная щель света — оттуда пробивались говор, смех. Он нащупал рукой, отбросил брезентовый полог, вошел в запах сырой глины и опять же еды.

В землянке, вырытой на полный рост, с шипеньем брызгая белым пламенем, светила поставленная на дно ведра снарядная гильза, заправленная бензином; на разостланном брезенте дымились котелки с супом, расставлены рядом кружки с водкой. Головами к огню лежали здесь лейтенант Давлатян, сержант Нечаев и, подобрав колени под полушубок, немного боком сидела Зоя, грызла сухарь, осторожно рассматривала какой-то альбомчик, аккуратно маленький, обтянутый черной замшей, с круглой золотистой кнопочкой, альбомчик-портмоне.

— Кузнецов!.. Наконец-то!.. — воскликнул раскрасневшийся от еды Давлатян; он словно бы похудел лицом за ночные часы утомительной земляной работы, а глаза и острый носик его блестели, как у мышки, глядевшей на огонь. — Где ты пропадал? Садись с нами! Вот твой котелок. Твой заботливый Чибисов принес!

— Спасибо, — ответил Кузнецов и, поправив воротник шинели, полулег возле подвинувшегося Давлатяна; после темноты на брызжущее пламя бензина больно было смотреть. — Где свободная кружка?

— Из любой, — сказал Нечаев и подмигнул карим глазом Зое. — Все в полном здравии, как штыки.

— Вот моя, Кузнецов,— предложил Давлатян и, тоже глянув на Зою, подал тоненькими, измазанными в земле пальцами кружку, наполненную водкой.— Мне сейчас не хочется что-то, знаешь. Потом наверняка разбавленная водка, какой-то ерундой пахнет. Даже керосином, кажется.

— Точно,— сказал Нечаев с шевельнувшейся ухмылкой под усиками.— Смесь. Вода с разбавленным одеколоном. Только для девушек.

Стараясь сдержать дрожь в руке, Кузнецов пригубил кружку, почувствовал ее запах, но, перебарывая себя, подумал, что сейчас озноб пройдет, зажжется в теле облегчающее тепло, и натянуто сказал:

— Ну что ж... Смерть немецким оккупантам!

Уже насилуя себя, выпил отдающую сивухой, ржавым железом жгучую жидкость и закашлялся. Он ненавидел водку, никак не мог привыкнуть к ней, к этой каждодневной фронтовой порции.

— Ужасная бурда! — воскликнул Давлатян.— Невозможно пить. Самоубийство! Я же говорил...

— Суп-пюре для закуски, товарищ лейтенант.— Нечаев усмехнулся, пододвинул котелок.— Бывает. Не в то горло пошло.

— Видимо,— почти неслышно ответил Кузнецов, но к котелку не притронулся, взял с брезента осколочек ржаного сухаря и, прислонясь к стене спиной, стал жевать.

— Скажите, Нечаев,— не подымая головы, сказала Зоя.— Где вы взяли этот альбом? Зачем он вам? Ужасный альбом...

«Почему она здесь, а не с Дроздовским? — подумал Кузнецов, как бы отдаленно вслушиваясь в голос Зои, чувствуя разлившееся в животе тепло.— Непонятно все это».

— Не верите вы мне никак, Зочка, хоть вешайся от недоверия. Думаете, я бульварный пижон. Клешник-трепач? — с веселой убедительностью произнес Нечаев.— Разрешите данные представить. Выменял на формировке за пачку табаку у одного фронтовика. Тот говорил: у убитой немки под Воронежем в штабной машине взял. Любопытно все-таки. Для интереса сохранил. Не немка, а царь-баба была. Вы посмотрите дальше.

— Странно,— сказала она, задумчиво листая альбомчик.— Очень странно...

— Что же странно, Зочка? — Нечаев придвинулся на локтях ближе к Зое.— Любопытно очень.

— Какая красивая немка! Лицо, фигура... Вот здесь, в купальнике. У нее был какой-то чин? — проговорила Зоя, разглядывая фотографии.— Смотрите, как она гордо носила форму. Как в корсет затягивалась.

— Эсэсовка,— подтвердил Нечаев.— Выправка — грудь вперед! Вот это грудь, Зочка.

— Вам что, нравится?

— Не так чтоб очень. Но ничего. Экземпляр.

Лейтенант Давлатян с выступившими яркими пятнами на щеках, выгибая шею, скашивал сливовые свои глаза в альбом. Кузнецов же, отклонясь к стене, из тени смотрел на Зою, на ее освещенное пламенем бензина наклоненное лицо и с необъяснимым напряжением памяти отыскивал в длинных полосках ее бровей, в ее опущенных глазах, в этом обтянутом замшей альбомчике что-то неуловимо знакомое, бывшее когда-то, где он видел ее, Зою, в неправдоподобно теплой тишине, в часы вечернего снегопада за окном, в уютно натопленном на ночь доме, за столом, покрытым к празднику чистой белой скатертью; раскрытый семейный альбом на скатерти, и чьи-то милые лица освещены настольной лампой, а позади, за светом — бархатный полумрак комнаты, пахнувший вымытым полом, с темным прямоугольником старого трюмо, с поблескивающими в таинственной глубине его никелированными шарами на высокой спинке старомодной кровати. Но никелированная кровать и это старинное трюмо были в московской квартире на Пятницкой, и он мог видеть так близко, так покойно и родственно только мать или сестру и никогда не мог видеть в той комнате наклоненное лицо Зои за столом рядом с сестрой и матерью, рядом с тем роскошным и смешным, пожелтевшим от времени столетним трюмо, единственной гордостью матери и памятью об отце — это трюмо в день свадьбы купил он, кажется, у какого-то нэпмана, чрезвычайно довольный своим роскошным подарком...

— Видно, она из богатой семьи. Как вы думаете, Кузнецов? Что вы притихли?

— Нет, я не притих.— Кузнецов стряхнул мягкую дремоту оцепенения; Зоя смотрела на него с вопросительной улыбкой.— Вы... о немке?..— спросил он.

— Да.

Эти фотографии убитой немки он видел раньше: в эшелоне альбомчик ходил по рукам; от нечего делать Нечаев показывал его всему взводу. И сейчас, услышав вопрос Зои, Кузнецов без особого интереса взглянул на фотографии. Молодая белокурая немка в облитом по талии мундире смеялась в объектив, вызывающе счастливая в окружении улыбающейся семьи, полукругом рассевшейся в плетеных креслах за низким столиком, среди сказочно яркой зеленой лужайки перед чистым, аккуратным дачным домиком. На другой фотографии — золотистый пляж, слепяще-снежные в морской сини паруса яхт, на берегу белые тенты, и шоколадно-загорелая немка в купальнике стоит картинно и гордо, обняв за плечи свою подругу с кукольно-нежным личиком, в накинутом на голое тело цветном халатике, с распущенными по плечам пышными волосами. Потом множество

напряженных и строгих женских лиц, множество обтянутых по выпирающим грудям мундиров на фоне казарменного здания. Затем еще одна фотография на море: надутый парус накренившейся яхты, влажные от брызг сильные бедра этой белокурой немки, мужественно подтягивающей снасть над головой пышноволосой подруги, испуганно обнявшей ее полные ноги под брызгами вздыбленной волны.

— Эта беленькая... наверно, нравилась мужчинам,— сказала Зоя, не подымая глаз.— Все-таки красива... А вам нравится она, Давлатян?

Лейтенант Давлатян, занятый супом, не ожидая вопроса, сделал торопливый глоток и проговорил сердито:

— Ужасно недосаливает суп наш уважаемый повар. В горло не лезет. Подавиться можно... Отвратительное лицо! — заявил он, скользнув краешком глаза по фотографии.— Что здесь может нравиться? Эсэсовка и дурища наверняка. Улыбается, как кошка. Ненавижу эти фашистские морды! Как она может улыбаться?

«Да, он прав,— подумал Кузнецов.— Почему у меня тоже, когда вижу что-нибудь из Германии, сразу подкатывает что-то к горлу?»

— Насчет вкусов не спорят, Зочка! — сказал, захохотав, Нечаев.— Тут я выдрал в конце. Посмотрели бы, что у нее за картинки были — умереть можно! Разный разврат. Особенно женский. Знаете, такая поэтесса Сафо была? В Риме...

— Ну и что? — Зоя удивленно повела на него длинными бровями.— Только не в Риме, а в Греции. И что же?

— Вы опять начинаете? О каком таком разврате вы говорите Зое, Нечаев? — краснея, одернул Давлатян.— У вас бзик какой-то! Или вы лишних сто граммов выпили?

— Сто свои, товарищ лейтенант. Трезв, как молодая монашка.

— Давлатян, вы меня защищаете? — сказала Зоя ласково и положила ладонь ему на плечо, тихонько погладила.— Какой вы чудесный мальчик! Ни о чем не знаете?... А я уже видела эту гадость в одном немецком блиндаже под Харьковом... Когда вырывались из окружения. Оклеен был весь блиндаж.

Давлатян в растерянности вывернул плечо из-под ее снисходительно и нежно глядящих пальцев и, взъерошенный, проговорил:

— Оставьте, пожалуйста, товарищ санинструктор, свои неуместные замечания! Я не мальчик. И не гладьте меня, пожалуйста. Я не люблю...

— Ну, хорошо, хорошо. Не буду.

«Нет, он действительно прекрасный парень, этот Давлатян,— подумал Кузнецов, чувствуя благостно разлившееся по

всему телу тепло выпитой водки и не вступая в разговор.— Он всегда мне нравился».

— Зочка! — сказал Нечаев и, играя улыбкой, снял шапку, наклонил ладную, красивую черноволосую голову.— У лейтенанта Давлатяна невеста, а я один как перст. И мама во Владивостоке. Холостяк. Погладьте, буду терпеть. Я люблю это терпеть.

— Бессмысленно, Нечаев,— шутливо ответила Зоя, пожимая плечами.— Ну, что это вам даст? Вы всё не так поймете. Потом во Владивостоке вы были в окружении королев-балерин... Нет, неужели, Давлатян, у вас невеста? — спросила она ласково.— А я не знала...

— Милая Зочка, я буду тише травы,— взмолился наполовину серьезно, однако с навязчивой страстностью Нечаев, еще ниже склоняя голову.— Прикоснитесь пальчиками... Или брезгуете? Вот убьют завтра — и не испытаю, какие у вас нежные пальчики!

— При чем здесь невеста?.. Глупистика какая-то! — возмущился Давлатян и часто заморгал на Нечаева.— Прекратите эти неуместные бульварные пошлости, сержант! На месте Зои я сплошные пощечины вам отвешивал бы! Да, да!

— Спасибо, лейтенант...

Зоя засмеялась, в то же время сдерживая смех, ее суженные глаза лучисто светились, устремленные на смущенного Давлатяна.

А Нечаев, надев шапку, явно раздосадованный тем, что ему помешали в приятной, развлекающей его игре, изобразил обиду на фатоватом, с бархатными родинками лице, сказал:

Напрасно, товарищ лейтенант. Испытать Зочку хотел, а вы уж!.. Играет она: и вроде замужем была, и вроде ей тридцать лет, и все знает, а сама... одуванчик!..

Но тотчас умолк, попав в луч ее взгляда.

— То, что испытала я, еще не испытали вы, Нечаев! — смело заговорила Зоя.— Полейте мне на руки мою водку,— приказала она таким тоном, словно имела право приказывать Нечаеву.— Пальцы стали отвратительно липкими после вашего альбома. Спрячьте его. И когда захотите себя испытать в трудную минуту, смотрите на эту обнаженную немочку!

Нечаев, защитно похохатывая, приподнялся на локте, нашел ее кружку и с мстительной щедростью вылил всю до капли водку на ковшиком сложенные ладони Зои.

— Жаль, конечно, водку, но ради вас, Зочка...

— Ради меня ничего не надо. Спасибо.— Зоя сдвинула колени, на которые кругло натянута была пола полушубка, поднесла руки к шипящему пламени гильзы, взглянула на Кузнецова: — Вы что, спите, товарищ лейтенант? Странно, когда один

человек молчит. Как трезвый среди пьяных. У вас что, аппетита нет?

— Я не сплю,— отозвался Кузнецов, неподвижно сидя в тени.— Просто согреваюсь...

Он действительно наслаждался благодатным теплом землянки, ее влажной духотой, живым светом самодельной лампы, звуками голосов, угловатыми тенями по стенам; внутренняя зябкая дрожь прошла; потный, он все же основательно промерз на ветреном берегу, мокрые ремешки холода еще прислонялись к лопаткам, но ему не хотелось менять положения, не было сил пошевелиться. «Она была в окружении под Харьковом? Она воевала? Какое у нее удивительное лицо,— смутно думал он, глядя на Зою.— В общем некрасива. Только глаза. И выражение лица меняется. Но она нравится и Нечаеву, и Уханову, и мне... Что у нее с Дроздовским? Непонятно как-то все...»

— Послушай, Кузнецов! — перебил спокойное течение его мыслей Давлатян.— Почему не ешь? Суп остыл!

— Кто говорит, что суп остыл? — раздался за пологом землянки начальственный басок.— Суп как огонь! Можно к вам?

— Давай, давай, старшина, всовывайся! — проговорил снаружи голос Уханова.— Всовывайся!

Тяжелые ноги завозились у входа, с шорохом скатывая вниз комья земли, кто-то шарил по занавеси и, найдя край, оттолкнул ее в сторону. И высунулось из-за брезента узкое, набрякшее, ошпаренное морозом лицо Скорика, несколько хищно, по-птичьи посаженные глаза замерцали.

— Вы не заблудились, старшина? — спросил Кузнецов, по одному виду надвинутой на брови новенькой шапки вспомнив запоздалый его приезд.— Что хотите?

— Очень вы строги, товарищ лейтенант. Строже, можно сказать, чем сам комбат! — заговорил старшина с достойной его неуязвимого положения колкостью и прибавил: — Вот! Доппак положенный получите. И приказ вам и лейтенанту Давлатяну — к комбату... И санинструктору. От комбата я...

— Оставьте доппак здесь. И идите.

— Вещмешок не могу оставить. Потом никаких следов не найдешь. А другой на земле не валяется.

— Входите быстро — и освобождайте мешок!

Старшина втиснулся в землянку, внеся холод, поставил вещмешок с продуктами на брезент, подчеркнуто солидно вынимая галеты, масло, сахар, табак в пачках — целое богатство, к которому Кузнецов был сейчас равнодушен: обманчивую какую-то сытость чувствовал он после выпитой водки и съеденного сухаря.

— На двоих! — напомнил старшина.— На лейтенанта Давлатяна и вас.

— Идите,— приказал Кузнецов.— Как-нибудь разберемся. Или вы еще хотите что сказать?

— Ясно-понятно...

Старшина свернул вещмешок, крепко прижимая его к груди, задом выдвинулся из землянки, напружив шею, неодобрительным птичьим взором окинул напоследок примолкнувшую в минуту его появления Зою, полог задернул яростно, тщательно, недвусмысленно намекая этим на нежелательность Зоиногo присутствия здесь. Затем возле входа снова слышался голос Уханова:

— Ох, и люблю я тебя, старшина! Не знаю почему, души в тебе не чаю, родной наш отец и каптенармус. За аккуратность тебя уважаю, за ласку к батарее.

— Что ба-алтаете, старший сержант? — раскатил за брезентом командирский басок старшина.— Как разговариваете? Чего улыбаетесь? Встать как положено!

— Тихо, тихо, старшина! — засмеялся Уханов.— Зачем так громко! Где встать как положено?

— Р-разболтали командиры взводов младших командиров, нету никакого порядка! Доберусь я до вас, старший сержант! — отчитываяще гремел за брезентом старшина, и похоже было — выговаривал это не одному Уханову, но заодно и обоим лейтенантам, которые должны были слышать его в землянке.— По струнке ходить будете!.. Не таким рога обламывал! Разболтанной разгильдяйщины в батарее не допущу!..

— Давай только не на басах, пока я тебя случайно, старшина, богом и мамой не приласкал! — посоветовал превесело Уханов.— За отеческую заботу, старшина... Ты, золотой наш, строевой подготовкой с поварами позанимайся. Они поймут в момент. Все сказано.

Через минуту, зашуршав брезентом, Уханов вошел в землянку, с виду невозмутимо спокойный. Стянул замазанные землей рукавицы, начал тереть над огнем руки, оглядывая всех дерзкими, как бы все время сопротивляющимися глазами. Это выражение дерзости особенно придавал ему стальной передний зуб, холодно сверкавший, когда старший сержант говорил или улыбался.

— Работы к концу, лейтенант, осталось часа на два,— доложил он между прочим Кузнецову.— Что, завтрак, обед и ужин — вместе? Великое дело! Если думаете, что я сыт,— глубокое заблуждение. Где мой огромный котелок, Нечаев?

Сразу стало в землянке теснее от большого, сильного тела Уханова, от его голоса, от его тени, затемнившей половину стены, от горьковатого запаха инея, которым пропитана была каждая ворсинка его шинели: с начала работы он не был в тепле.

— Главное, старший сержант, фронтовые остыли.— Неча-

ев щедро налил водку из котелка в кружку.— Долго ждали.

— Я пойду, родненькие мальчики,— сказала Зоя, застегивая крючки полушубка.

— Знаете, Зоя...— Уханов сел около нее, расположился поудобнее перед продуктами на брезенте.— Плюньте на все и переходите в мой расчет. Лично обещаю — в обиду никому не дадим. У нас терпимые ребята. Выроем вам отдельную землянку.

— Я не против,— сказал Кузнецов и тут же поднялся. Он не знал, почему сказал так, почему эта фраза вырвалась у него, и, чтобы замять неловкость, принялся одергивать отвисшую кобуру на ремне, спросил: — Вы к комбату идете, Зоя?

Она изумленно посмотрела на обоих.

— От кого вы меня хотите защищать? От немцев? Я сама могу. Даже без оружия. Вот какие у меня острые ногти! — И принужденно заулыбалась, поцарапала ногтями руку Уханова.

Он не отстранил руку, весело поблестел стальным зубом.

— Ноготки для маникюра! Что вы ими сделаете?

— Ну, это еще как сказать!

— Ах, Зочка, храбрая вы очень,— не без вкрадчивости вставил Нечаев, как-то заметно потускневший с приходом Уханова.— Что ваши ноготки, если кто черное дело задумает? Будете царапаться? Кусаться? Смешно будет выглядеть!

— Опять? — насторожился Давлатян с выражением человека, потерявшего всякое терпение.— Опять ерунду дурацкую говорите! Зоя, пожалуйста...

Он придержал брезент над входом в землянку, пропуская Зою вперед.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Они вышли в ночь, заполненную стуком лопат, кирок, сыпучим шорохом отбрасываемой земли. Кухня еще темнела на льду под обрывом берега, но жарок забыто потух в ней, не гремел черпак повара: вокруг не было никого; продрогшая лошадь переступала ногами, отфыркиваясь, жевала из торбы.

Небо над откосом горело заревом. Белый отблеск лежал на кромке бугров. И опять Кузнецову стало не по себе от этой глубоко распространенной в ночи тишины, от этой безмолвной затаенности в стороне немцев. Он молчал. Молчали Давлатян и Зоя. Слышно было, как похрустывал, ломался ледок под валенками.

«Значит, Зое тоже приказано к комбату»,— думал Кузнецов. Он знал независимые санинструкторские обязанности Зои в батарее, ее свободное положение, позволяющее находиться в

любом взводе, и досадовал, что она покорно шла сейчас в землянку Дроздовского, который, казалось, имел на нее особое подчиняющее право...

— Зоя... вы, конечно, пошутили тогда? — не вытерпел Кузнецов. — Насчет мужа?

Они поднялись по льду в потемки обрыва, голубеющего отливом снега, шли теперь близко друг к другу по натопанной солдатами тропе вдоль основания откоса

— Нет, серьезно! — Голос ее дрогнул, точно она оступилась на скользком уступе берега. — Я не пошутила...

— Зачем вы нас обманываете? Совершенно не так! — заявил Давлатян и, задержавшись позади Зои, воскликнул: — Смотри, Кузнецов, здесь река как противотанковый ров. Прекрасно! Если танки прорвутся, здесь застрянут. А по льду не пойдут — не выдержит! В каком направлении сейчас Сталинград? На север?

— Километров сорок пять на северо-восток, — сказал Кузнецов. — Если они на тот берег прорвутся, то это слишком далеко... не хотел бы!

Зоя остановилась. Белый ее полушубок, ее лицо сливались в тени с глубокой синевой снега на крутом откосе, и очень темными были глаза, поднятые к светлеющей полосе зари над берегом.

— Если прорвутся... — повторила она и, подождав Давлатяна, спросила без всякой видимой связи: — А вы, Давлатян, совсем не боитесь умереть?

— Почему я должен бояться умереть?

— У вас невеста. И вы, наверное, похожи на свою невесту. Она такая же милая, как вы? Милая кошечка? Правда?

— Это не имеет значения! — насупился Давлатян. — Совершенно не имеет... Для чего вы говорите, что я милый? Я вовсе не милый... и при чем здесь кошечка? Я не люблю кошек. У нас не было дома кошек. Никогда.

— А вы где жили — в Армении? Там учились в школе?

— В Свердловске. У меня отец армянин, мама — русская. Ни разу, к сожалению, не был в Армении. Язык даже не знаю.

— А скажите, Давлатян, если это можно, как же звать вашу невесту? Наверно, Наташа или Зина? Я не угадала?

— Мурка. Кошка Мурка. Кыс, кыс, кыс. Вот и все.

— Зачем вы сердитесь, Давлатян? Честное слово, я не хотела вас обидеть. — Она грустно улыбнулась. — Мне просто приятно говорить с вами. Вот Кузнецов тоже как-то странно смотрит на меня. Зачем вы на меня сентябрем смотрите, мальчики? Неужели я это заслужила?

— Это ваша фантазия, Зоя, — смягчившись, сказал Давлатян. — Мы сентябрем не смотрим!

— Кажется, пришли,— прервал разговор Кузнецов.— Чувствуете, дымом пахнет. Печка у них, кажется. Откуда у них печка?

— Стой, кто идет? — лениво окликнули впереди, из-за навалов грунта: и там, размытая темнотой, завиднелась в трех шагах фигура часового.— Санинструктор, никак?

— Командиры взводов и санинструктор,— ответил Кузнецов.— Комбат здесь?

— Ждет. Вот сюда проходите.

Блиндаж был уже полностью отрыт, в бугры грунта воткнуты лопаты, валялись кирки; сбоку деревянной двери торчало из стены изогнутое колено жестяной трубы, развеивая по откосу пахучий, домашний, теплый на морозе дымок. Весь этот комфорт был, по-видимому, раздобыт разведчиками и связистами в станице.

«Да, даже печка»,— подумал удивленно Кузнецов.

Маленькая дверь по-деревенски скрипнула, и они вошли в просторное, в рост, убежище, наполненное душной сыростью, запахом горячего железа (печка в углу была накалиена до малинового свечения), с большой керосиновой лампой, с земляными нарами, уютно застланными соломой, с земляным столом, покрытым брезентом,— все выглядело чисто, опрятно, не по-фронтовому удобно. В углу, рядом с печкой, связист устанавливал на снарядном ящике аппарат, продувал трубку.

За столом в окружении трех разведчиков сидел над картой лейтенант Дроздовский в незастегнутой шинели. Светлые, соломенного оттенка волосы причесаны, как после умывания; близко освещенное лампой красивое лицо строго, тени от его не по-мужски длинных густых ресниц темно лежали под глазами, устремленными на карту.

— Командир первого взвода по вашему приказанию прибыл,— доложил Кузнецов, выдерживая уставный тон, каким решил на марше разговаривать с Дроздовским: так было яснее и проще для обоих.

— Командир второго взвода по вашему приказанию явился! — произнес радостным вскриком Давлатян и, изумленный роскошной обстановкой землянки, засмеялся: — Просто дворец у вас, товарищ лейтенант, целая батарея поместится!

— Карьер тут был, вроде пещеры... малость расширили, — сказал один из разведчиков.— Не надо теряться.

— Во-первых,— заговорил Дроздовский и вскинул от карты прозрачно-холодный, как чистый ледок, взор, — является только черт с того света, лейтенант Давлатян. Командиры же прибывают по приказанию. Во-вторых,— он с ног до головы обвел глазами Кузнецова,— полчаса назад я обошел огневые. Небрежно оборудовали ходы-сообщения между орудиями. Почему всех

людей перебросили на землянки? Из землянок танков не увидишь. Уханов, может быть, взводом командует, а не вы?

— Землянки тоже нужны,— возразил Кузнецов.— Кстати, Уханов мог бы командовать и взводом, если уж так. Не хуже других. Закончил, как и мы, военное училище. А то, что он звания не получил, так это...

— К счастью, не получил,— перебил Дроздовский.— Знаю, Кузнецов. Знаю ваши панибратские отношения со старшим сержантом Ухановым!

— В каком смысле?

Зоя присела к печке, пышущей по железу искрами, сняла шапку, тряхнула волосами — они рассыпались по белому воротнику полушубка,— молча улыбнулась посматривающему на нее связисту, и тот незамедлительно широко заулыбался ей. Дроздовский, не изменяя строгого выражения лица, на секунду остановил внимание на Зое, повторил:

— Все знаю, лейтенант Кузнецов.

— При чем здесь панибратство? — поднял плечи Давлатян, и остренький нос его воинственно нацелился в Дроздовского.— Я, например, был бы рад, если бы у меня во взводе был такой командир орудия. Потом мы все из одного училища все-таки.

Дроздовский наморщил лоб, выказывая этим нежелание выслушивать Давлатяна, и, не дав ему закончить, сказал:

— Об Уханове поговорим как-нибудь потом. Прошу подойти к столу и вынуть карты!

«Значит, что-то новое,— подумал Кузнецов.— Значит, ему что-то известно».

Они вынули из полевых сумок карты, развернули их на столе под неровным керосиновым светом. Наступила тишина. Кузнецов, глядя на карту, почувствовал виском жарок горячего стекла и так необычно подробно увидел вблизи Дроздовского, как не видел, пожалуй, ни разу,— самолюбиво-упрямую складку губ, красивые маленькие уши, твердые зрачки его никогда не улыбающихся глаз, в озерную прозрачность которых неодолимо тянуло смотреть.

— Час назад мне позвонили с капэ полка,— заговорил Дроздовский четко.— Как известно, положение впереди нас неустойчивое. Немцы, вероятно, прорвались, как я понял, в районе шоссе. Вот здесь — правее станицы — на Сталинград.— Он показал на карте, его нервные руки были не совсем чисто вымыты, на узких ногтях — мальчишеские заусеницы.— Но точных данных пока нет. Четыре часа назад из стрелковой дивизии выслана разведка. Это ясно?

— Почти,— ответил Кузнецов, не отрывая взгляда от заусениц на пальцах Дроздовского.

— Почти — это, знаете, лейтенант, мишура и поэзия Тютчева или как там еще... Фета, — сказал Дроздовский. — Слушать далее. В конце ночи, если все будет в порядке, разведка вернется. Ее выход на ориентир — мост. Вот по этой балке, восточнее станицы. Это в районе нашей батареи. Предупреждаю: наблюдать и не открывать огня по этому району, даже если начнут немцы. Теперь все понятно?

— Да, — полушепотом проговорил Давлатян.

— Все, — ответил Кузнецов. — Один вопрос: каким образом немцы могут открыть огонь, когда их впереди в станице еще нет?

Глаза Дроздовского окатили его холодком.

— Сейчас нет, а через пять минут не исключено, — произнес он с подозрительностью, точно хотел оценить, был ли этот вопрос Кузнецова сопротивлением его приказу или же вполне естественным уточнением. — Ясно, Кузнецов? Или еще не ясно?

— Теперь — да. — Кузнецов свернул карту.

— Вам, Давлатян?

— Абсолютно, товарищ комбат.

— Можете идти. — Дроздовский выпрямился за столом. — Через час буду на батарее, проверю все.

Командиры взводов вышли. Трое разведчиков из взвода управления, стоявшие около стола, переглядывались, затылками ощущая присутствие здесь Зои, понимали, что в блиндаже они сейчас лишние, пора идти на НП. Но, против обыкновения, Дроздовский не торопил их, молча всматривался в незримую точку перед собой.

— Разрешите идти на энпэ, товарищ лейтенант?

— Идите. И вы. — Он кивнул связисту. — Передайте Голованову — ровики копать в полный профиль. Ступайте. Пока я здесь, дежурить у аппарата нет смысла. Когда потребуетесь — вызову.

Распахнутая в темноту, проскрипела, закрылась дверь, протопали по берегу шаги разведчиков и связиста, отдаляясь, канули в безмолвную пустынность ночи.

— Как тихо стало! — сказала Зоя и вздохнула. — Слышишь, фитиль трещит?..

Теперь они были вдвоем в этой блиндажной тишине, сдавленной толщей земли, в теплых волнах нагретого печкой воздуха, с звенящим потрескиванием фитиля в накаленной лампе. Не отвечая, Дроздовский все всматривался в незримую точку перед собой, и бледное тонкое лицо его становилось внимательным и злым. Он вдруг проговорил, неприязненно отсекая слова:

— Чем же это кончится, хотел бы я знать!

— Ты о чем? — спросила она осторожно. — Что, Володя?

Зоя сидела боком к нему на пустом снаряжном ящике, держала руки над раскаленной до багровости железа печкой,

прислоняла обогретые ладони к щекам, из полутьмы блиндажа улыбаясь ему предупреждающе-ласково.

— Интересно, где ты так долго была? — спросил Дроздовский ревнивым и одновременно требовательным тоном человека, который имел право спрашивать ее так. — Да, я хочу, — проговорил он, когда она в ответ слабо пожала плечами, — хочу, чтобы ты не очень уж подчеркивала на батарее нашу близость, но ты это делаешь слишком! Я тебя нисколько не ревную, но мне не нравятся твои отношения со взводом этого Кузнецова. Могла бы выбрать, по крайней мере, Давлатяна!

— Володя...

— Представляю, что было бы, если бы не я, а Кузнецов командовал батареей! Очень хорошо представляю!..

Он быстро и гибко встал, подошел к ней, весь спортивно подобранный, прямой, золотисто-соломенные волосы зачесаны надо лбом, открытым, чистым, даже нежным от цвета волос, и, засунув руки в карманы, искал в ее напрягшемся, поднятом лице, в ее виноватой улыбке то, что подозрительно настораживало его. Она поняла и, сбросив с плеч накинутый полушубок, поднялась навстречу, качнулась к нему и обняла его под расстегнутой шинелью, щекой потерлась о прохладные металлические пуговицы на гимнастерке. Он стоял, не вынимая рук из карманов, и она, прижимаясь щекой, слышала, как ударяло его сердце и сладковато-терпко пахла потом его гимнастерка.

— Мы с тобой равны, — сказала Зоя. — Ты не видел меня три часа? И я тебя... Но мы не равны в другом, Володя. И это ты знаешь.

Она говорила не сопротивляясь, не осуждая, смотрела мягкими, отдающимися его воле глазами в непорочную, без единой морщинки белизну его лба под светлыми волосами; эта юношеская чистота лба казалась ей по-детски беззащитной.

— В чем же? А, понимаю!.. Не я придумал войну. И я ничего не могу с этим поделать. Я не могу с тобой обниматься на глазах у всей батареи!

Дроздовский расцепил ее руки, с нерассчитанной силой дернул книзу и, брезгливо запахивая шинель, отступил на шаг с поджатым ртом. Она сказала удивленно:

— Какое у тебя брезгливое лицо! Тебе что — так нехорошо? Зачем ты так больно сжал мне руки?

— Перестань! Ты все прекрасно понимаешь, — заговорил он и нервно заходил по землянке; тень его заскользила, изламываясь на стене. — Никто в полку не должен знать о наших с тобой отношениях. Может быть, это тебе неприятно, но я не хочу и не могу! Я командир батареи и не хочу, чтобы обо мне ходили всякие глупейшие разговоры и сплетни! Некоторые

только злорадствовать будут, если я покачнусь, только ждут! Почему эти сопляки крутятся вокруг тебя?

— Ты боишься? — спросила Зоя. — Почему ты боишься, что о тебе не так подумают? Почему же я не боюсь?

— Перестань! Ничего я не боюсь! Но здесь все это выглядит знаешь как! Думаешь, в батарею мало наушников, которые с радостью сообщат в полк или в дивизию о наших с тобой... Отлично! — Он неприятно засмеялся. — Война — а они там на нарах валяются! Голубки! Фронтовые любовники!..

— Я не хочу с тобой валяться на нарах, как ты сказал, — умиротворяюще проговорила Зоя и накинула на плечи полушубок, будто ей зябко стало. — Но мне не стыдно, и я не побоюсь, если это так кого-нибудь интересует, сказать и командиру полка, и командиру дивизии о наших с тобой... — Она, стремясь не раздражать его, повторила его слова. — Не это главное, Володя. Просто ты меня мало любишь и... странно. Не знаю, почему тебе нравится меня мучить какой-то подозрительностью. Ты не замечаешь, но ты даже целуешь меня как-то со злостью. За что ты мне мстишь?

Дроздовский перестал ходить, остановился подле нее; пахнуло ветерком, сырым запахом шинели; губы его покривились.

— Тоже нашла мучение! — проговорил он непримиримо. — Что ты называешь мучением? Не смей меня! За что я могу тебе мстить? Целую не так? Значит, не научился, не научили иначе!

— Я не могу научить тебя, правда? — примирительно сказала Зоя и улыбнулась ему. — Я сама, наверно, не умею. Но разве это главное? Прости меня, пожалуйста, Володя.

— Чепуха! — Он отошел к столу и оттуда заговорил с насмешливой ожесточенностью: — Первым поцелуюм, если хочешь знать, меня учила глупая и сумасшедшая баба в тринадцать лет! До сих пор тошнит, как вспомню жирные тела этой бабищи!

— Какая баба? — угасающим шепотом спросила Зоя и опустила голову, чтобы он не видел ее лица. — Зачем ты это сказал? Кто она?

— Это не важно! Дальняя родственница, у которой я жил два года в Ташкенте, когда отец погиб в Испании... Я не пошел в детдом, а жил у знакомых и пять лет, как щенок, спал на сундуках — до самого окончания школы! Этого я никогда не забуду!

— Отец погиб в Испании, а мать тогда уже умерла, Володя?

Она с замирающим лицом, с острой жутью любви и жалости глядела на его белый лоб, не решаясь взглянуть в пронзительно заблестевшие глаза.

— Да. — Его глаза промелькнули по Зое. — Да, они умерли!

И я любил их. А они меня — как предали... Ты понимаешь это? Сразу остался один в пустой московской квартире, пока из Ташкента за мной не приехали! Боюсь, что и ты предашь когда-нибудь!.. С каким-нибудь сопляком!..

— Дурак ты какой, Володя. Я тебя никогда не предаю. Ты меня уже знаешь больше месяца. Правда?

Зоя не очень понимала его в минуты необъяснимой подозрительности, жестокой ревности к ней, когда они бывали вместе, когда не было смысла и малого повода говорить об этом, хотя она ежедневно, ежеминутно ощущала, видела знаки внимания всей батареи и отвечала на них той мерой выбранной ею игры, которую считала формой самозащиты. И может быть, он сознавал это, но все равно в приступах его подозрительности было что-то от бессилия, постоянного неверия в нее, точно она готова была изменить ему с каждым в батарее.

— Нет! Это неправда! — проговорил он, не соглашаясь. — Я не верю тебе!..

И Зоя со страхом подумала, что сейчас не сможет ничего доказать, ничем оправдаться. Она не хотела, у нее не было сил, желания оправдываться, и, предупреждая упрямые его возражения, она ласково смотрела на его гладко-чистый, беззащитный своей открытостью лоб, который ей хотелось погладить.

— Нет, я люблю тебя, — сказала она. — Ты не представляешь даже как. Почему ты не веришь мне?

Он шагнул к ней, вынимая руки из карманов.

— Докажи, докажи, что ты меня любишь! Ты не хочешь этого доказать! — сказал он и с исступленной нежной злостью рванул Зою за плечи к себе. — Это должно быть! Уже полтора месяца!.. Докажи, что ты меня любишь!

Он схватил ее подавшуюся спину, притиснул сильно, жестко, стал целовать ее рот торопливыми, душащими поцелуями. Она, застонав, зажмурясь, как от боли, послушно обняла его под расстегнутой шинелью, прижалась коленями, в то же время пытаясь освободить губы из его душащего рта.

Он оторвался от нее.

— Я сейчас потушу лампу, — хрипло проговорил он. — Сюда никто не войдет. Не бойся! Ты слышишь, никто не войдет. Мы будем одни...

— Нет, нет, я не хочу... Прости, пожалуйста, меня, — говорила она, закрыв глаза и задыхаясь. — Нам не надо этого делать...

— Я не могу так!.. Понимаешь, не могу!

— Но я люблю тебя, — сопротивляясь, стуча зубами, шептала она ему в грудь. — Только не надо... Иначе мы возненавидим друг друга. Я не хочу, чтобы мы возненавидели друг друга.

Он опять коротким рывком притянул ее за плечи.

— Почему? Почему?

— Я тебе говорила. У нас же было раз... Мы потом не сможем смотреть в глаза, Володя... Пойми же меня, этого не надо, Володя. Я прошу тебя. Сейчас не могу, мне нельзя, понимаешь? Ну, прости, прости меня...

И, умоляя глазами, голосом, она заплакала и, будто прося прощения у него, виновато, быстро целовала его подбородок, шею холодными дрожащими прикосновениями.

— Идиотство!.. Я тебя возненавижу! Мне надоело так! Надоело!..

Он со злым лицом отстранил ее и, надев шапку, выбежал из блиндажа, так ударив дверь, что мигнул огонь лампы под закопченным стеклом.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Он поднялся по вырубленным в откосе ступеням и на высоте берега, немного охлажденный хлынувшим навстречу морозным ветром, выговорил вслух сквозь зубы:

— Дура, дура! Идиотство!

Вызывая в самом себе брезгливость и ненависть к своему бессилию, к ее глупой боязни, к ее несогласию быть до конца близкой, как тогда, в дни формирования на медпункте, где дежурила она одна, он испытывал к ней почти оскорбительную злость, желание вернуться, мстительно ударить ее. И, презирая себя, он мучился тем, что не в состоянии был подавить в душе недавнее: его руки, его тело имели свою, самостоятельную память — после тех ее прикосновений на медпункте, ее закрытых глаз, дрожащих коленей, робких движений ее гибкого тела эта память почему-то соглашалась сейчас на любую унижающую его нежность, лишь бы только была она...

«Нет, с этим все, все! — зло решал Дроздовский, вспоминая то, что особенно могло возбудить, непрощающе усилить отвращение к ней, — ее большой рот, испуганное выражение лица, слишком маленькую грудь и слишком полные икры, будто плотно вбитые в узкие голенища валенок; он хотел найти в ней то, что оттолкнуло бы его и невозможно было бы примирение. — Да что я нашел в ней? Была бы уж красивой — и этого нет... Ничего нет! Что у нас за идиотские отношения? Все надо прекратить раз и навсегда!» И, разгоряченный, он глубоко дышал; ожигало холодом, пар оседал инеем на ворсе шинели.

Между тем воздух и снег посветлели, приобрели морозную сухость, декабрьские созвездия по вечному своему кругу перестроились, семействами горели царственно ярко, пульсируя в

ледяных высотах. А на земле придвинулись ближе крыши станицы, черно выделились; два зарева над ними побледнели, срослись полукругом, заполнили за станицей южную часть неба.

И показалось — на концах этого полукружия ходили по горизонту за балкой, за высотами какие-то светы, какие-то легкие зарницы, похожие на отблески далеких фар. Затем почудилось ему, что ветер принес оттуда смешанные звуки моторов, танковых выхлопов, буксующих колес, — неужели это было движение вошедшей в прорыв немецкой армии?..

Он жадно закурил, сделал глубокую затяжку, вслушиваясь. Ветер гнал, катил поземку по берегу на позиции батареи; вверху колючей проволокой корябались друг о друга ветви голых ветел, тенями мотающиеся на краю речного обрыва. И звуки моторов, невидимого движения исчезли.

«Психоз», — подумал Дроздовский и пошел к наблюдательному пункту — к высотке, видной в редющем воздухе, где дятлами долбили землю кирки, и лицо его приняло холодное выражение решимости.

На высотке командир взвода управления старшина Голованов, широкогрудый, рослый, устанавливал у бруствера стереотрубу. Первым заметив в траншее Дроздовского, он с завидной легкостью подбежал к нему, доложил:

— Товарищ лейтенант, только что звонил вам. Санинструктор сказала: вышли! Пять минут назад в район моста прибыл «виллис» командира дивизии. Непокойно что-то... Дивизионная разведка не прошла еще...

— Почему докладываете так поздно? — произнес Дроздовский гневно. — Почему не позвонили пять минут назад?

— Я звонил, — зарокотал Голованов. — Как раз я звонил. Ваша жена, товарищ лейтенант... то есть санинструктор, ответила...

— Замолчать, Голованов! Спятели, нет? Какая жена?.. — оборвал Дроздовский, отлично поняв прямолинейность Голованова, поняв, почему сейчас трое разведчиков, как глухие, заведенно кидали через бруствер лопатами в соседнем ровике. — Кто это распространяет обо мне слухи? — понизив голос, заговорил Дроздовский. — Вы, Голованов? Или кто? Нет, я все-таки узнаю, старшина!.. Кто приехал из дивизии?

— Три «виллиса», товарищ лейтенант. Один узнал — полковника Деева.

— Все надо знать, разведчик мне тоже!

Размашистым шагом Дроздовский двинулся в направлении орудий, мимо прижавшихся к стенкам траншеи разведчиков с лопатами, а из головы не выходило: «Ваша жена...» — и он, покривясь, подумал, что, вероятно, вся батарея открыто говорит об этом.

Уже спустившись с высоты и побежав к орудиям, врытым левее НП по гребню берега, Дроздовский еще издали в рассветной голубоватости воздуха увидел три «виллиса» и метрах в двухстах от них — группу людей, скопленную на огневой позиции крайнего орудия. Солдаты, долбящие кирками ходы сообщения между огневыми, поглядывали туда, и один из них — маленький, в кургузой шинели — Чибисов, с мокрым подшлемником под носом, обратив к пробежавшему Дроздовскому треугольное щетинистое личико заморенного зверька, сообщил:

— Товарищ лейтенант, полковник и главный генерал тамочки, с палочкой... Чего-то ждут. Кажись, начинается!

— Подшлемник у вас... весь мокрый! Приведите себя в порядок... Стыдно смотреть. Как курица моченая! — проговорил Дроздовский. — Где Кузнецов? Где Давлатян?

— Тамочки все, — хлюпая носом, пробормотал Чибисов.

Привычным скольжением пальцев проверив пуговицы на шинели, Дроздовский подбежал к первому орудью и, выискивая в этой группе командиров старшего по званию, вздернул руку к виску, узнав среди незнакомых людей полковника Деева и командующего армией генерала Бессонова. Выговорил, сдавливая дыхание:

— Товарищ генерал, командир первой батареи лейтенант Дроздовский!..

Бессонов, в полушубке без знаков различия, обернулся, невысокий, сухощавый, неприметной фигурой своей совсем не похожий на генерала; колючие, жесткие глаза его с чуть припухлыми веками вопросительно впились в застывшее бледное лицо Дроздовского. Полковник Деев, в солдатской шапке, в ремнях, краснолицый, по-молодому пышущий здоровьем, приподнял досадливо рыжие брови, проговорил сочным баритоном:

— Где пропадаете, комбат?

— Был на энпэ, товарищ полковник, — ответил Дроздовский, чеканя слова. — Заканчиваются последние работы по оборудованию ровиков.

«По какой причине они приехали? — с тревогой подумал он. — Ждут разведку? Или проверяют батарею? Но это — сам командующий армией».

— Дроздовский? — скрипучим голосом повторил Бессонов. — Знакомая фамилия... Как будто встречалась эта фамилия.

С рассеянным выражением он смотрел сквозь Дроздовского с усилием восстановить, поймать давнюю веку чего-то ускользающего, но вспомнил, видимо, не то, что хотел, — и, нахмурясь, выпустил из поля зрения Дроздовского, обратился к Дееву:

— Так где же, наконец, запропала ваша разведка, полковник?

Все, кто был здесь с Бессоновым — усталый подполковник, начальник разведки дивизии с развернутой картой на планшете,



и длинноногий, в очках, член Военного совета Веснин, и смешно конопатый, курносый майор Черепанов, командир стрелкового полка, чьи батальоны занимали по берегу оборону,— все поглядели на Дроздовского, когда заговорил с ним Бессонов, и все мигом выпустили его из поля зрения, как только командующий заговорил о разведке. Все смотрели в направлении зарева, где волнами то возникал, то опадал неопределенный гул, приносимый порывами ветра.

— Кое-что ясно и без разведки,— сказал Бессонов.— Как думаете, Виталий Исаевич?

— По-моему, тоже,— ответил Веснин.— Более или менее ясно.

— Трудно поверить, товарищ командующий, в неудачу,— негромко проговорил полковник Деев.— В поиск пошли очень опытные ребята.

Дроздовский стоял выжидательно, так стиснув зубы, что заболели челюсти. Он был уверен, что генералу, служившему и до войны в кадровой армии, не может быть незнакома его фамилия, но он, как видно, не нашел нужным спрашивать, имеет ли Дроздовский отношение к известной в прошлом военной фамилии. А лейтенанты Кузнецов и Давлатян, оба вытянувшись, объединенные общей ответственностью командиров одной батареи, солидарно поглядывали на Дроздовского,— предчувствие надвигающегося боя уравнивало, сближало их невольно. Дроздовский же в те секунды, предполагая и взвешивая все, что привело командующего армией и командира дивизии на его батарею, не замечал ни Кузнецова, ни Давлатяна, вместе с тем мысленно говорил себе то, о чем думали и они: «Да, скоро начнется, может быть, сейчас...»

— Товарищ генерал! — громко заговорил Дроздовский тем особо чеканным голосом, в котором была непоколебимая готовность выполнить любой приказ.— Разрешите доложить?

Бессонов с прежним вспоминающим выражением оглянулся на стройную, по-уставному подтянутую, напряженную к действию фигуру молоденького и бледного лейтенанта, безразлично разрешил:

— Слушаю вас.

— Батарея готова к бою, товарищ генерал!

— К бою? — переспросил Бессонов, не спуская внимательных глаз с Дроздовского.— В счастливую судьбу верите, лейтенант?

— Я не верю в судьбу, товарищ генерал.

— Вот как? — проговорил Бессонов, вкладывая в эти слова свой смысл, испугавший Дроздовского непонятным значением.— В ваши годы я верил и в бессмертие... Отдаете себе отчет,

лейтенант, что ваша батарея стоит на танкоопасном направлении, а позади Сталинград.

— Мы будем здесь до последнего, товарищ генерал! — произнес Дроздовский убежденно. — Хочу заверить вас, что артиллеристы первой батареи не пожалеют жизни и оправдают оказанное нам доверие! Мы готовы умереть, товарищ генерал, на этом рубеже!..

— Почему же умереть? — нахмурился Бессонов. — Вместо слова «умереть» лучше употребить слово «выстоять». Не стоит так решительно готовиться к жертвенности, лейтенант.

Дроздовский отвечал Бессонову чересчур решительным тоном; слушая его, глядел в глаза прямо и преданно, как глядят при докладе влюбленные в старшего командира курсанты в училище. И в то же время он чутко ощутил, что генералу не понравилось что-то в этой его решительной готовности к бою, словно бы не до конца естественной. Однако полковник Деев довольно-таки поощрительно подмигнул ему, смеживая рыжие ресницы, член Военного совета Веснин разглядывал Дроздовского с интересом.

— С какой стати вы собрались умирать, товарищ лейтенант? — спросил Веснин, не очень точно отгадывая причину чрезмерной решимости этого с курсантской выправкой командира батареи. — Жизнь-то одна, и второй не будет. Верно? Так лучше настроиться сохраниться, а? По-моему, товарищ лейтенант, смысл каждого боя — это не стать добычей шести пород могильных червей, что и без борьбы возможно. Бой-то идет против смерти, как это ни парадоксально. Разве не это истина?

Но лейтенант Дроздовский не лгал и не притворялся. Он давно и прочно внушил себе, что первый бой много будет значить в его судьбе или станет для него последним. В возможность своей смерти он не верил, как не верит в нее никто, не побывав на краю жизни, не осознав чужую смерть, как собственную, отраженную в другом. И Дроздовский ответил:

— Товарищ дивизионный комиссар, лично я умереть не задумаюсь...

— Вы комсомолец? — спросил Веснин. — Наверно, не ошибаюсь...

— Не один я, товарищ дивизионный комиссар. Все командиры взводов и больше половины расчетов. Комсорг батареи — лейтенант Давлатян...

— Тем более, — сказал Веснин, с улыбкой кивнув Давлатяну, по-детски засиявшему ответной улыбкой. — Вся жизнь у вас впереди. Позавидовать вам искренне можно. Не вечность война продлится. — И отошел к брустверу, где стояли в молчании начальник разведки и командир дивизии.

Теперь никто не обращал внимания на Дроздовского. Пол-

ковник Деев, теряя терпение, пошевелив могучими плечами, глянул на ручные часы, затем на южную часть станицы, повел настороженными глазами в сторону Бессонова.

Бессонов сидел на снарядных ящиках, положив руки на палочку, глаза были устало полуприкрыты. Он прислушивался к этому неровному, то далекому, то близкому гудению, которое носил над светлеющей степью рассветный ветер, и на лбу его прорезались две продольные складки, пугающие Деева выражением недовольства.

— Так где ваша разведка, полковник? — спросил Бессонов. — Где она?

— Думаю, что надо возвращаться на энпэ, — ответил Деев, насколько возможно снижая свой звучный баритон. — С разведкой явно что-то неладное, товарищ командующий. Затрудняюсь объяснить...

— Как вы сказали?

По тону командующего можно было безошибочно определить, что вопрос его не обещал ничего хорошего, но Деев договорил:

— Пожалуй, нет смысла, товарищ командующий, ждать здесь разведку.

— Я и не жду ее, — желчно произнес Бессонов. — За такую разведку несут ответственность, полковник, да будет вам известно!

— Рассветает, — сказал Веснин.

Взяв бинокль у пожилого начальника разведки дивизии подполковника Курышева, он с любопытством водил им по зареву, по хорошо видной сейчас станице впереди. Но и без бинокля предметы приобретали объемную очерченность. На батарее — в отдалении и вблизи — проступали лики людей, плоские, серые от бессонной ночи, как маски, и орудия, и бугры земли на бруствере, и кусты над снегом, трещащие на ветру оголенными сучьями. Была зыбкая пора переломного декабрьского рассвета, переходившего в раннее утро, слабо налитое розовостью на востоке.

И вдруг отчетливо задрожал, начал нарастать вибрирующий по всему горизонту гул, как будто катился по степи гигантский чугунный шар. В тот же миг из зарева взмыли над станицей серии двухцветных ракет — одна за другой, по полукругу — каскад красных и синих светов.

«Вот чего мы ждали!.. — подумал возбужденно Дроздовский. — Это — сигналы немцев... Разве они так близко? И почему они так близко? И что это за гул?..»

А этот новый гул прочно встал и встал в пространство между небом и землей. Он уже не напоминал раскатившийся чугунный шар, а гремел издали то слитными обвалами грома,

то распадался мощными отзвуками в глубоком русле реки, все надвигаясь и надвигаясь спереди неминуемо и страшно.

Казалось, стала подрагивать живым телом земля. И, точно подавая знаки этому гулу, без конца сполახивались полукругом над станицей серии красных и синих ракет.

«Что это — танки или самолеты? Сейчас начнется?.. Уже началось? Надо подавать команду «к бою»? Я должен действовать немедленно!..

Усилием воли еще сохраняя спокойствие, не подавая команды, Дроздовский видел, как хмуро провел по небу глазами генерал Бессонов, как сдвинул брови полковник Деев, как остановился в руках Веснина бинокль, наведенный на зарево. Потом Веснин отдал бинокль начальнику разведки, снял неизвестно для чего очки, и, когда обернулся к Бессонову, лицо его, обезоруженное без очков, имело торопливое, веселое выражение человека, сообщавшего неотвратимую новость:

— Идут, Петр Александрович. Черт-те сколько...

Там, среди зарева, что-то засверкало розово и густо, какая-то туча в небе. Она приближалась, шла прямо сюда, на станицу, накатываясь соединенным в сплошной гул звуком моторов, и в туче этой начали выделяться очертания тяжело нагруженных «юнкерсов». Они шли с юга, заслонив зарево, огромными вытянутыми косяками; их было столько, что Дроздовский не смог бы сразу сосчитать. И чем яснее, определеннее видно было, что эти самолеты идут именно сюда, в направлении станицы, на батарею, чем заметнее приближались они, тем жестче, беспощаднее становилось лицо Бессопова — оно почти окаменело. Близорукие глаза члена Военного совета Веснина пристально и угадывающе смотрели не на небо, а на командующего, и его голые пальцы (забыл надеть перчатки, они торчали из кармана полушубка) ненужно терли и гладили о мех воротника очки.

И Дроздовский подумал: «Почему они стоят и не подают команду? Что я должен делать при них?»

Тут в орудийный дворик соскользнул, как на коньках, по брустверу майор Божицко в длинной щегольской новой шинели и крикнул Бессонову с энергичной настойчивостью адъютанта, которому по неписаному уставу позволено было напоминать, а подчас и требовать:

— Товарищ командующий! Нужно ехать, товарищ командующий!

— Может, стоило бы переждать бомбежку здесь, товарищ генерал,— произнес Деев, следя из-под рыжих бровей за косяками самолетов.— Сомневаюсь, чтобы мы успели на энпэ до начала...

— Убежден: успеем, товарищ командующий! — заверил Бо-

жичко и объяснил Дееву: — Три километра по спидометру. Проскочим...

— Разумеется, проскочим! — Веснин, загораясь, надел очки, соизмеряя расстояние от затмивших зарево косяков самолетов до кругло проступавшей высоты за рекой, где был НП дивизии. — Да, четыре километра, Божичко, — уточнил он и обратился взволнованно к Дееву: — Вы уверены, полковник, что они будут бомбить здесь? Не исключена возможность, что они идут на Сталинград.

— Не уверен, товарищ член Военного совета...

Бессонов усмехнулся, сказал без сомнения:

— Они будут бомбить здесь. Именно здесь. Передний край. Это абсолютно. Немцы не любят рисковать. Не наступают без авиации. Ну, поехали. Три километра или четыре — все равно. — И он, похоже было, случайно вспомнил про Дроздовского, стоявшего в позе выжидания. — Что ж... Всем в укрытие, лейтенант. Как говорят, пережить бомбежку! А потом — самое главное: пойдут танки. Так, значит, лейтенант, ваша фамилия Дроздовский? — спросил он, восстанавливая что-то в памяти. — Знакомая фамилия. Запомню. И надеюсь еще услышать о вас, лейтенант Дроздовский! Ни шагу назад! И выбивать танки. Стоять — и о смерти забыть! Не думать о ней ни при каких обстоятельствах! Ваша батарея многое тут может сделать, лейтенант. Надеюсь на лучшее.

И, поднявшись на бруствер, хромая, Бессонов пошел к «виллисам»; за ним — адъютант Божичко и полковник Деев. Начальник разведки дивизии задержался на огневой. Он медлил и не убирал планшет с картой, не выпускал бинокль из рук, ошаривая линзами пустое пространство перед станицей. Он не хотел так просто, так свободно уходить отсюда, не дождавись возвращения разведки. Тогда Веснин легонько коснулся его плеча, и молчаливый подполковник поплелся понуро к ходу сообщения. А метрах в пяти от орудия, взбираясь на бугор берега, Веснин приостановился, сказал Дроздовскому не без задора в голосе, заглушаемом нависающим гулом самолетов:

— Ну, комбат, жаркое время начинается! Не страшно в первый раз?

— Нет, товарищ дивизионный комиссар!

— Тогда командуй, комбат!..

Дроздовский выдержал несколько секунд бездействия, застыв, ослепленный, посмотрел в почерневшее и сверкающее небо, в котором все несло, ревело, двигалось, и срывающимся криком подал команду:

— Бат-таря, в укрытие!..

И побежал к наблюдательному пункту мимо замелькавших белых лиц у орудий, мимо согнутых спин солдат, под гремящим небом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мощный рев моторов нависал над головой, давил все звуки на земле, дрожал, колотился в ушах.

Первый косяк самолетов начал заметно менять конфигурацию, растягиваться, перестраиваться в круг, и Кузнецов видел, как фонтанами красных и синих светов вставали немецкие ракеты за домами станицы. Ответная ракета, прорисовав дымную нить, красной вспышкой отделилась от головного «юнкерса» и, обесцвеченная сверканием множества плоскостей, быстро спала, угасла в розовеющем воздухе. Немцы сигналили с земли и воздуха, уточняя район бомбежки, но Кузнецов уже не пытался сейчас определить, рассчитать, где они будут бомбить: это было ясно. «Юнкерсы» один за другим выстраивались в огромный круг, очерчивая, захватывая в него станицу, северный берег, пехотные траншеи, соседние батареи,— вся передовая замкнулась этим плотным воздушным кольцом, из которого теперь, казалось, невозможно было никуда вырваться, хотя на том берегу засветилась перед восходом солнца свободная степь, по-утреннему покойно пламенели высоты.

— Воздух! Воздух!..— бессмысленно и надрывно кричали на батарее и где-то внизу, под берегом.

Кузнецов стоял слева от орудия, в ровике, вместе с Ухановым и Чибисовым,— ровик был тесен для троих. Они ощущали ногами дрожание земли; осыпались твердые комья с бруствера от слитного рева моторов, сотрясающего воздух. Совсем близко видел Кузнецов разверстые ужасом черные, как влажный графит, глаза Чибисова на поднятом к небу треугольном лице с придавленным, ошеломленным выражением, видел рядом задранный подбородок, светлые, в движении, упорно, зло считающие глаза Уханова,— и все тело туго сжималось, подбиралось, точно в тяжком сне, когда не можешь сдвинуться с места, а тебя настигает неотвратимое, огромное. Он почему-то вспомнил о том котелке пахучей, ломающей зубы воды, принесенной Чибисовым из проруби, и вновь почувствовал жгущую жажду, сухость во рту.

— Сорок восемь,— сосчитал наконец Уханов с каким-то облегчением и перевел точки зрачков на Чибисова, толкнул плечом в его съеженное плечо.— Ты что, папаша, дрожишь как лист осиновый? Страшнее смерти ничего не будет. Дрожи не дрожи — не поможет...

— Да разве не сознаю я...— сделал судорожную попытку улыбнуться Чибисов.— Да вот... само собой лезет... Кабы мог я... не могу совладать, горло давит...— И показал на горло.

— А ты думай о том, что ни хрена не будет. А если будет, то ничего не будет. Даже боли,— сказал Уханов и, уже не гля-

дя на небо, зубами стянул рукавицу, достал кисет.— Насыпай. Успокаивает. Сам успокоюсь. Давай и ты, лейтенант. Легче станет.

— Не хочу.— Кузнецов отстранил кисет.— Котелок бы воды... пить хочу.

— Сюда они! На нас!..

Этот возглас и рыскающие, опустошенные глаза Чибисова заставили Кузнецова на миг поднять голову. И будто широко пахнуло в лицо огненным запахом несущейся с неба судьбы. Что-то сверкающее, огромное, с ярко видимыми черно-белыми крестами — неужели это головной «юнкерс»? — на секунду остановилось, споткнулось в воздухе и, хищно вытягивая черные когти, оглушая визжащим звуком зазубренного железа по железу, стало отвесно падать на батарею, ослепляя блеском мчащегося вниз многотонного металла, под кровавыми лучами еще не поднявшегося над горизонтом солнца. Из-под этого сверкания и рева выпали, отделились черные продолговатые предметы и тяжело, освобожденно пошли к земле, в растаявшем пронзительном визге в рев «юнкерса».

Бомбы неслись неумолимо, шли на батарею, к земле, ежесекундно увеличиваясь на глазах, тяжело покачиваясь в небе полированными бревнами. А следом за первым и второй «юнкерс» из сомкнутого кольца вошел в пике над берегом. С холодной дрожью в подтянутом животе Кузнецов опустил в окоп, увидев, как толчками пригибает голову Уханов, неохотно оседая по земляной стене.

— Ложи-ись! — Кузнецов не услышал в настигающем визге своего голоса, одними пальцами почувствовал изо всей силы дернутую вниз полу ухановской шинели.

Уханов, упав на него, загородил небо, и тотчас черным ураганом накрыло ровик, ударило жаром сверху; ровик тряхнуло, подкинуло, сдвинуло в сторону, почудилось, он встал на дыбы, и почему-то рядом оказался не Уханов (тяжесть его тела сбросило с Кузнецова), а серое, землистое, с застывшими глазами лицо Чибисова, его хрипящий рот: «Хоть бы не сюда, не сюда, господи!..» — и до отдельных волосков видимая, вроде отставшая от серой кожи щетина на щеках. Наваясь, он обеими руками упирался в грудь Кузнецова и, вжимаясь плечом, спиной в некое узкое несуществующее пространство между Кузнецовым и ускользящей стеной ровика, вскрикивал молитвенно:

— Дети!.. Дети ведь... Нету мне права умирать. Нету!.. Дети!..

Кузнецов, задохнувшись чесночной гарью, под давящими руками Чибисова, хотел освободиться, глотнуть свежего воздуха, крикнуть: «Замолчите!» — но от химического толового яда закашлялся с режущей болью в горле. Он с трудом отцепил руки

Чибисова, сбросил их с груди. Ровик забило удушающим густым дымом — и не стало видно неба. Оно кипело чернотой и грохотом, смутно и нереально просверкивали в нем наклоненные плоскости пикирующих «юнкерсов» — нацеленно падали из дыма черные кривые когти, и в обвалах разрывов ровик изгибалось, корежило, и везде разнотонными, и ласковыми, и грубыми голосами смерти прорезали воздух осколки, обрушивалась пластами земля, перемешанная со снегом.

«Сейчас это кончится,— внушал себе Кузнецов, ощущая хруст земли на зубах, закрыв глаза: так, ему казалось, быстрее пройдет время.— Еще несколько минут... Но орудия... как же орудия? Они приведены к бою... Осколками разобьет прицелы?..»

Он знал, что нужно немедленно подняться, посмотреть на орудия, что-то сделать сейчас, но отяжелевшее тело было вжато, втиснуто в окоп, болело в груди, в ушах, а пикирующий вой, горячие удары воздуха со свистом осколков все сильнее придавливали его к зыбкому дну ровика. С той же бьющейся в голове мыслью, что нужно что-то сделать, он открыл глаза и увидел на откосе бруствера бритвенно срезанный осколком край земли. И какие-то живые серые комочки падали по земляной стене, рассыпая из узких пор пшеничные зерна, сбегали в ровик, сновали, металась по горбам выгнутой спине лежавшего ничком Чибисова.

Кузнецов знал, что это за серые комочки, но никак не мог вспомнить их названия, вспомнить, где он их еще так ясно когда-то видел,— и тут же прорвался сквозь грохот крик Уханова: он тоже смотрел на спину Чибисова с изумленно-пристальным выражением.

— Смотри, лейтенант, мышей к дьяволу разбомбило! А ну давай спасайся! Дав-вай!

Большая рука Уханова в заскорузлой рукавице стала ловить, хватать эти серые, вдруг злобно оскалившие зубы комочки со спины Чибисова, выбрасывать их из ровика в дым.

— Чибисов, шевелись, мыши сожрут! Чуешь, папаша?

— Панорамы, Уханов! Слышишь, прицелы! — не обращая внимания на Чибисова, крикнул Кузнецов и мгновенно подумал, что хотел и мог приказать Уханову — имел на это право — снять панорамы, то есть властью командира взвода заставить выскочить его сейчас под бомбежкой к орудиям из спасительной земли, сам оставаясь в ровике, но не смог этого приказать.

«Я имею и не имею права,— мелькнуло в голове Кузнецова.— Потом никогда не прощу себе...»

Сейчас все между ними сравнялось и все измерялось одним — огромным, окончательным, случайным, простым: несколькими метрами ближе или дальше, зоркостью пикирующих

со своего смертельного круга «юнкерсов» в этой беззащитной и чудовищной пустынности целого мира, без солнца, без людей, без доброты, без жалости, до невыносимого предела суженного в одном ровике, подталкиваемого разрывами от края жизни к краю смерти.

«Я не имею права так! Это отвратительное бессилие... Надо снять панорамы! Почему я боюсь умереть? Я боюсь осколка в голову?.. Где Дроздовский?.. Уханов знает, что я готов приказать... Черт с ними, с прицелами! У меня не хватает сил выскочить из ровика... Готов приказать, а сам сидеть здесь. Если выскочу из ровика, ничто не будет защищать. И — раскаленный осколок в висок?.. Что это, бред?»

Железный треск, разваливающийся над головой, круто сдвинул вбок ровик, толкнул клубящуюся наволочь черного дыма в лицо, и Кузнецов закашлялся — его душило ядовитостью тола.

Когда дым рассеялся, Уханов, вытирая рукавом землю с губ, потряс головой — с шапки ссыпались комки грязного снега, — странно посмотрел на надсадно кашляющего Кузнецова и, блеснув стальным зубом, прокричал, как будто оба были глухие: — Лейтенант!.. Дыши в платок — легче будет!

«Да, я наглотался толовой гари. Я забыл и вдохнул ее ртом. Запах горелого чеснока и железа. Впервые я почувствовал этот запах в сорок первом. И запомнил на всю жизнь... Какие могут быть еще платки? Только вот грудь выворачивает, болит от кашля. Воды бы, воды бы холодной глотнуть...»

— А-а!.. Ерунда! — крикнул, глотая кашель, Кузнецов. — Уханов!.. Слушай... Нужно снять прицелы! Раскокошит ко всем чертям! Непонятно, когда это кончится?

— Сам думаю, лейтенант! Без прицелов останемся как голые!..

Уханов, сидя в окопе, подтянув ноги, ударил рукавицей по шапке, надвигая ее плотнее на лоб, уперся рукой в дно ровика, чтобы встать, но сейчас же Кузнецов остановил его:

— Стой! Подожди! Как только они отбомбят по кругу, выскочим к орудиям. Ты — к первому, я — ко второму! Снимем прицелы!.. Ты — к первому, я — ко второму! Ясно, Уханов? По моей команде, ясно? — И, насилу сдерживая кашель, тоже подтянул ноги, чтобы легче было встать.

— Надо сейчас, лейтенант. — Светлые глаза Уханова из-под надвинутой на лоб шапки смотрели, сощурясь, в небо. — Сейчас...

По звукам выходящих из пике самолетов они оба одновременно почувствовали: завершился очередной круг бомбежки. Метельные круговороты жаркого дыма несло из-за бруствера. «Юнкерсы», поочередно выходя из пике над берегом, выстраивались в круг, в эту непрерывную небесную карусель, заходя

над степью выше клубящейся черноты. Впереди и сзади за рекой горела огромным пожаром станица, бегущее по улицам пламя сталкивалось, перекручивалось; обрушивались кровли, выбрасывая в небо раскаленные тучи пепла и искр, лопались, выстреливали стекла: на околице пылало несколько исковерканных осколками автомашин, не успевших уйти в укрытие. Узкими ручейками стекал по откосу к реке и горел бензин. Над батареей, над берегом, над пехотными траншеями траурной завесой переваливался сгущенный дым.

Кузнецов, выглянув из ровика, увидел все это, слыша выровненный звук моторов вновь заходивших за дымом на бомбежку «юнкерсов», скомандовал:

— Уханов!.. Успеем! Пошли!.. Ты — к первому. Я — ко второму...

И с зыбкой невесомостью во всем теле выскочил из ровика, перепрыгнул через бруствер огневой позиции первого орудия, побежал по черному от гари снегу, по радиально разбрызганной от воронок земле ко второму орудю, откуда донесся чей-то крик:

— Лейтенант! Сюда! К нам!

Вся огневая позиция, ниши, ровики были закрыты тяжелой стеной стоячего дыма, везде комья подпаленного, выброшенного разрывами грунта, везде темный снег и земля: на брезентовом чехле орудия, на казеннике, на снарядных ящиках. Но панорама была цела, и Кузнецов, кашляя, задыхаясь, лихорадочными пальцами стал отсоединять ее, оглядываясь на ровики, откуда поднялась и пропала чья-то голова круглой тенью в дыму.

— Кто там? Вы, Чубариков? Все живы?

— Товарищ лейтенант, к нам!.. К нам прыгайте!

Из левого ровика за нишей со снарядами высовывалась голова в косо державшейся на одном ухе засыпанной землей шапке. Голова покачивалась на длинной шее, выпуклые глаза мерцали возбуждением, призывом — это был командир второго орудия младший сержант Чубариков.

— Товарищ лейтенант, к нам! Разведчик у нас!..

— Что? — крикнул Кузнецов. — Почему прицелы не сняли? Без прицелов думали стрелять?

— Товарищ лейтенант, раненый он. Разведчик тут в ровике! Оттуда пришел... Раненый он...

— Какой разведчик? Вы что, контужены, Чубариков?

— Нет... Чуток ухо свербит. Оглушило вроде... А так — ничего... Разведчик к нам прибежал!

— А-а! Разведчик? Из дивизии? Где разведчик?

Кузнецов глянул на небо — гигантская карусель «юнкерсов» сомкнулась кольцами над степью — и, перескочив нишу, спрыгнул в ровик, сунул панораму в грудь Чубарикову. Тот схватил

ее, заморгав как тушью нарисованными ресницами, и стал за-
талкивать панораму за пазуху.

— Забыли, Чубариков, про панораму? Где разведчик?

В длинном ровике, насколько можно вжимаясь в стены, сидели, с торопливой ненасытностью куря толстые цигарки, пожилой, с седыми висками, наводчик Евстигнеев и два человека из расчета в извоженных глиной шинелях. Здесь же были не успевшие уйти к лошадям ездовые Рубин и Сергуненков. Оба молчаливо-угрюмые, оба напряженные, смотрели в одном направлении. Там, куда смотрели они, в конце ровика полулежал мелово-бледный парень в маскхалате, с откинутым капюшоном, без шапки; в цыганских курчавых волосах забился вперемешку с землей снег, в округленных глазах — боль, узкие скулы стянуты желваками. Левый набухший кровью рукав маскхалата и телогрейки был располосован до плеча финкой, воткнутой в землю возле ног. Парень, перекосив рот, мертвенно-синими, перепачканными в крови пальцами неловко перетягивал бинтом индивидуального пакета предплечье, скрипел зубами:

— Ах, гады, гады!.. Командира дивизии мне!.. Полковника мне!..

— Помогите ему, быстро! — крикнул Кузнецов Чубарикову, голова которого все моталась из стороны в сторону на длинной шее, будто он вытряхивал из ушей попавшую туда воду. — Что стоите? Сделайте перевязку!

— Не дается, — мрачно отозвался ездовой Рубин, плюнул на заскорузлую ладонь, в плевке погасил цигарку, а окурок сунул за отворот шапки. — Разве-едчик, вишь ты, сам с усам! Куда там — гонор! Не подступись! Орет на всех, как психовой!.. Разве-едчик!..

— Тут гремит все, огонь по степу... света не видать, товарищ лейтенант, — ломким голосом заговорил Сергуненков, с выражением изумления и доказательности возводя на Кузнецова детские голубые глаза, — а он... ну, ровно бешеный какой... идет, качается, кричит что-то... ввалился потом... весь в крови. Командир дивизии ему нужен. Из разведки он...

— Верим все на слово, лопухи! Куды там, «из разведки»! — передразнивая Сергуненкова, выговорил Рубин, обратив свое квадратное коричневое лицо к разведчику, который, вероятно, ни слова не слышал из разговора, все упорнее натягивая на предплечье соскальзывающий бинт. — Документы у него надо строго проверить!.. А что? Может, из совсем другой разведки.

— Глупость! Чушь мелете, Рубин, — оборвал Кузнецов и протиснулся между солдатами к разведчику, резко сказал: — Дайте бинт, помогу!.. Откуда? Один вернулись?

Разведчик, пытавшийся зубами затянуть бинт, яростно сорвал его с предплечья, угольно-черные бешеные глаза всверлились в

пространство над ровиком, в уголках губ закипела пена, и сейчас, вблизи, заметил Кузнецов тонкие струйки крови, засохшие на мочках его ушей. Он был, видимо, контужен.

— Не трожь! Отойди, лейтенант! — застонав, выкрикнул разведчик и, оскалась, заговорил взхлеб: — К командиру дивизии меня надо, понял? К полковнику меня... Чего, как на бабу, уставился? Из поиска я, из дивизионной разведки, понял? К полковнику... звони, лейтенант! Чего глядите, сволочи? Потеряю сознание — и хана!.. Сознание потеряю!.. Понял, лейтенант? — И из злых глаз его покатались слезы боли.

Запрокинув голову, он здоровой рукой обезумело рванул под маскхалатом пуговицы телогрейки, пуговицы гимнастерки, окровавленными пальцами зацарапал ключицы, выступавшие над застиранным морским тельником.

— Быстрее, давай быстрее! Пока в сознании я, понял? Звони полковнику, Георгиев — моя фамилия. Звони, сказать я ему должен!..

— Отправить бы его надо, товарищ лейтенант, — рассудительно вставил пожилой наводчик Евстигнеев.

А Кузнецов все смотрел на пальцы разведчика, царапающие ключицы, теперь хорошо понимая, что этот морячок — один из той разведки, которую ожидали на рассвете и не дождались.

— В голову он контуженный, видать, и кровью изошел, — сказал младший сержант Чубариков. — Как же его... в дивизию-то, товарищ лейтенант? Кончиться по дороге может...

— На себе не поволокешь! А чего он в разведке узнал-то!.. — вставил Рубин прокуреным злобным голосом. — После драки кулаками... Моряк! На кораблях плавал, небось один шоколад жрал и белой булкой закусывал. А мы лаптем щи... Раз-ве-едчик!..

— А может, Рубин, и поволокешь! — обрезал Кузнецов, видя близко широкое и багровое лицо Рубина. — Кто здесь будет командовать? Вы, Рубин?

— С умом надо, товарищ лейтенант...

— С вашим? Или с чьим? — крикнул Кузнецов и повернулся к Чубарикову: — Связь с Дроздовским есть? Работает телефон?

Чубариков только повел головой в сторону задней стенки ровика: связь, мол, должна быть.

— Перебинтуйте его, Чубариков, не давайте ему бинт срывать! Я сейчас соединюсь!..

— Товарищ лейтенант, подождите! На нас идут! Опять!.. — предупреждающим голосом вскрикнул Сергуненков и зажал уши.

А Кузнецов посмотрел в небо, уже выбежав на огневую площадку. Огромная карусель «юнкеров» вращалась над бере-

гом, и опять, сваливаясь из круга, подставляя засверкавшие плоскости невидимому солнцу, скользнул в пике над дальними пехотными траншеями головной «юнкерс», круто пошел к земле.

Когда Кузнецов прыгнул в неприятно мелкий, узкий окопчик связи, телефонист Святов сидел, пригнув голову к аппарату, придерживая одной рукой трубку, привязанную тесемочкой к голове. И, втиснувшись в тесный ровик, вынужденный прижаться своими коленями к коленям Святова, Кузнецов на миг испугался этого случайного прикосновения: он не сразу понял, чьи колени дрожали — его или связиста, — и попытался отодвинуться как можно дальше к стенке.

— Связь есть с энпэ? Не перебило? Дайте трубку, Святов!

— Есть, товарищ лейтенант, есть. Только никто...

Святов, прижав колено к колену, чтобы не дрожали, закивал остреньким, белесым, до пупырышек замерзшим деревенским личиком, потянулся к тесемке, однако не развязал, отдернул пальцы, клюнул личиком в аппарат.

— Танки!.. — крикнул кто-то на батарее, но крик этот задало, смяло оглушительным громом самолетов.

Вместе с этим звуком, стремительно приближаясь к батарее по берегу, с обложным бомбовым землетрясением, с хрястом стало взрываться, вздыбливаться все; окопчик подкинуло — и, вытолкнутый из земли, увидел Кузнецов, как над вставшими вдоль берега разрывами неслись крестообразные туловища «юнкерсов», слепя зазубренным пламенем пулеметов. Скрученные толстые трассы, впиваясь в берег, шли по пехотным траншеям прямо на батарею — и в следующее мгновение появились перед глазами шепчущие что-то губы, трясущиеся колени Святова, его развязавшаяся обмотка, кончик которой подрагивал и змейкой полз по дну окопа.

— Танки! Танки! — шептали лиловые губы связиста. — Слышали? Команда была...

Кузнецову хотелось крикнуть: «Замотайте сейчас же обмотку!» — и отвернуться, чтобы не видеть эти его колени, этого неодолимого его страха, который вдруг остро вонзился и в него при этом возникшем где-то слове «танки», и, пытаясь не поддаваться и сопротивляясь этому страху, он подумал: «Не может быть! Кто-то ошибся, вообразил... Где танки? Кто это крикнул?.. Я сейчас, сейчас вылезу из окопа!..»

Но он не смог вылезти из ровика: над головой косо и низко, перечеркивая узенькую полоску неба огненно-кромешной тьмой, с неубирающимися кривыми шасси, обдавая горячим железом захлебывающихся крупнокалиберных пулеметов, один за другим проносились «юнкерсы».

— Святов! — крикнул сквозь треск пулеметных очередей Кузнецов и потряс за плечо спрятавшего лицо в колени свя-

зиста.— С энпэ свяжитесь!.. С Дроздовским! Что там? Быстро!

Вскинув окоченевшее личико с раскосившимися глазами, суетливо задвигался Святлов, завозясь над телефонным аппаратом, дуя в трубку, крича: «Энпэ, энпэ! Да почему же?..» Но до предела накаленный звук пикирующего самолета пригнул их обоих к земле — огромное и темное наклонно неслоь сверху на окопчик. Грубо ударил бой очереди над самой головой, градом застучали комья по стенам, по телефонному аппарату. И в то же время почти злорадная мысль мелькнула у Кузнецова, ожидавшего удара в спину, в голову: «Мимо, мимо!»

Рука Святлова мелкими толчками стряхивала с аппарата разбитые комочки земли, а губы приоткрывались, прерывисто обдавая паром дыхания трубку: «Энпэ... энпэ... Не побилло вас?» И вдруг его глаза опять раскосились и замерли.

— Танки-и! — пронесся надрывный крик над бруствером.

Губы Святлова вышептывали, мяли обрывистые слова:

— Товарищ лейтенант... подошли к аппарату. Связь есть... Дроздовский на проводе. Команда: танки, танки идут. К бою!.. Вас, вас!.. Комбат! — И смахнул помятую шапку, сорвал бечевку с белесой мальчишеской головы, протянул вместе с этой мотавшейся петелечкой трубку Кузнецову.

— Слушаю. Лейтенант Кузнецов у аппарата!

В трубке — дыхание Дроздовского, как после длительного бега; оно вырывалось из мембраны, горячо покалывало ухо:

— Кузнецов!.. Танки прямо! Орудия к бою! Потери есть? Кузнецов!... Люди, орудия?

— Пока еще точно не могу сказать.

— Где вы там сидите?.. Знаете, что у Давлатяна?

— Сижу там, товарищ комбат, где положено, — возле орудий, — ответил Кузнецов, прерывая свистящее в мембране дыхание. — С Давлатяном пока не связывался. «Юнкерсы» ходят по головам.

— У Давлатяна прямым попаданием вывело из строя орудие, — засвистел голос Дроздовского. — Двое убито. Пятеро ранено. Весь четвертый расчет.

«Вот оно... уже началось! — жарко ударило в голове Кузнецова. — Значит, у Давлатяна уже потери, семь человек. И одно орудие. Уже!»

— Кто убит? — спросил Кузнецов, хотя знал только по лицам и фамилиям этот четвертый расчет и не знал жизни ни одного из них.

— Танки... — задышал в трубку Дроздовский. — К бою, Кузнецов! Танки идут!

— Понял, — проговорил Кузнецов. — Хочу доложить вот о чем. К моим орудиям вышел раненый разведчик.

— Какой разведчик?

— Из тех, кого ждали. Требуется, чтобы отправили в штаб дивизии.

— Немедленно! — крикнул Дроздовский. — Ко мне его на энпэ!

Кузнецов вскочил в окопчике, глядя вправо, где были орудия Давлатяна. Там горела машина, нагруженная снарядами, дым сваливался над берегом, накрывал позиции, стекая к реке, мешаясь с огнем пожаров окраинных домов станицы. В машине трещали, рвались боеприпасы, фейерверком взметались в небо параболы бронебойных снарядов.

Карусель самолетов сдвинулась, крутилась теперь в тылу, за рекой, «юнкеры» ныряли над степными дорогами за высотами. Отбомбив, часть самолетов с усталым, булькающим звуком уходила в латунном небе на юг над горящей станицей.

И несмотря на то что «юнкеры» еще бомбили тылы и там кто-то умирал, Кузнецов почувствовал короткое облегчение, точно вырвался на свободу из противоестественного состояния подавленности, бессилия и унижения, что называют на войне ожиданием смерти.

Но в ту же минуту он увидел ракеты — красную и синюю, поднявшиеся впереди над степью и дугами упавшие в близкие пожары.

Весь широкий гребень и пологий скат возвышенности перед балкой слева от станицы, затянутые сизой дымной пеленой, смещались, двигались, заметно меняли свои очертания от какого-то густого и медленного шевеления там серых и желтоватых квадратов, как бы совсем не опасных, слитых в огромную тень на снегу, освещенном мутным во мгле солнцем, вставшим над горизонтом утренней степи.

Кузнецов понял, что это танки, однако еще со всей остротой не ощущая новой опасности после только что пережитого налета «юнкеров» и не веря в эту опасность.

Острота опасности пришла в следующую секунду: сквозь обволакивающую пепельную мглу в затемненных низинах внезапно глухо накатило дрожащим низким гулом, вибрацией множества моторов, и яснее выступили очертания этих квадратов, этой огромной, плотно слитой тени, соединенной в косо вытянутый треугольник, основание которого уходило за станицу, за гребень высоты.

Кузнецов увидел, как тяжело и тупо покачивались передние машины, как лохматые вихри снега стремительно обматывались, крутились вокруг гусениц боковых машин, выбрасывающих искры из выхлопных труб.

— К орудиям! — крикнул Кузнецов тем голосом отчаянно звенящей команды, который ему самому показался непреклонно страшным, чужим, неумолимым для себя и других. — К бою!..

Везде из ровиков вынырнули, зашевелились над брустверами головы. Выхватывая панораму из-за пазухи, первым выкарабкался на огневую позицию младший сержант Чубариков; длинная шея вытянута, выпуклые глаза с опасением оглядывали небо за рекой, где оставшиеся «юнкеры» еще обстреливали из пулеметов тыловые дороги в степи.

— К бою!..

И, выталкиваемые этой командой из ровиков, стали бросаться к орудиям солдаты, механически срывали чехлы с казенников, раскрывали в нишах ящики со снарядами; спотыкаясь о комья земли, заброшенные на огневые бомбежкой, тащили ящики поближе к раздвинутым станинам.

Младший сержант Чубариков, сдернув рукавицы, быстрыми пальцами вставлял в гнездо панораму, торопя взглядом возившийся со снарядами расчет, и старательно-торопливо начал протирать наводчик Евстигнеев резиновый наглазник прицела, хотя в этом сейчас никакой не было надобности.

— Товарищ лейтенант, фугасные готовить? — крикнул кто-то из ниши запыхавшимся голосом. — Пригодятся? А? Фугасные?

— Быстрее, быстрее! — торопил Кузнецов, незаметно для себя ударяя перчаткой о перчатку так, что больно было ладоням. — Отставить фугасные! Готовить бронебойные! Только бронебойные!..

И тут краем зрения поймал две головы, надоедливый препятствием торчавшие из ровика. Это ездовые Сергуненков и Рубин стояли в рост, не вылезая, смотрели на расчет: Сергуненков — с нерешительностью, облачко рвущегося дыхания выдавало волнение; Рубин — исподлобья, чугунно-тяжелым взглядом.

— Что? — Кузнецов поспешно шагнул к ровику. — Как с разведчиком?

— Перевязали его... Кровью он, видать, истек, — сказал Сергуненков. — Умрет. Затих...

— Не умрет! Чего ему умирать? — загудел Рубин с равнодушием человека, которому это надоело. — Все бредил, вроде там перед немцами еще семь человек осталось. Ерои!.. Сходили, называется, в разведку. Смехи!

Разведчик по-прежнему полулежал в ровике, запрокинув голову, с закрытыми глазами; весь маскхалат был в темных пятнах; предплечье уже забинтовано.

— А ну-ка оба — взять разведчика! И на энпэ к Дроздовскому! — приказал Кузнецов. — Немедленно!

— А как же кони, товарищ лейтенант? — вскрикнул Сергуненков. — К коням мы должны... Не разбомбило бы их. Одни кони...

— Танки, значит, прут? — поинтересовался Рубин. — Дадут

теперь дрозда! Вот те и разведка! — И грубо толкнул Сергуnenкова квадратным плечом. — Кони! Молчи в тряпочку. За-ладил, пупырь! На том свете тебе кони потребуются, в раю, у бога!..

Кузнецов не успел ответить Рубину: то, что он успел и мог подумать о судьбе разведчиков, о злобе Рубина, мгновенно вытолкнуло из сознания какое-то незнакомое, с надеждой обращенное к нему, ищущее что-то лицо Чубарикова. Потом увидел облепивший станины расчет, казенник орудия, крепко притиснутые к коленям снаряды, согнутые под щитом спины и паром дыхания согреваемые на механизмах пальцы пожилого наводчика Евстигнеева. Во всем этом была и жалкая незащищенность до первого выстрела, и вместе сжатая до предела готовность к первой команде, как к судьбе, которая одинаково и равно надвигалась на них вместе с катящимся по степи танковым гулом.

— Товарищ лейтенант! Чего они не стреляют?.. Почему молчат? Идут на нас!..

И повышенный звук моторов, ищущее лицо Чубарикова, его голос, придавленность в позах солдат и готовая вырваться из пересохшего горла команда открыть огонь (только не ждать, только не ждать!), морозный озноб, неотступно навязчивая мысль о воде — все это будто сдавило Кузнецову грудь, и через силу он крикнул Чубарикову:

— Не торопиться!.. Начинать огонь только на постоянном прицеле! Слышите, на постоянном!.. Ждать! Ждать!..

А уже густо заполненное дымом пространство слева от горящей станицы было затемнено таранно вытянутым острием вперед огромным треугольником танков, появлялись и пропадали во мгле их желто-серые квадраты, покачивались над полосой дыма башни. Метель, поднятая гусеницами, вставала над степью, вихри, разносимые скоростью, пронизывались соединенными выхлопами искр. Железный лязг и скрежет, накаляясь, приближались, и теперь заметнее было медленное покачивание танковых орудий, пятна снега на броне.

Но там, в приближающихся танках, у прицелов, терпеливо выжидали, не открывали огня, зная наверное силу своей начатой атаки, заставляя наши батареи первыми обнаружить себя. Над этой катящейся с гулом массой машин неожиданно вырвалась в небо, сигналя, красная ракета, и треугольник начал распадаться на танковые зигзаги. Пронизывая пелену мглы, по-волчьи стали вспыхивать и гаснуть фары.

— Зачем фары зажгли? — крикнул, обернув ошеломленное лицо, Чубариков. — Огонь вызывают? Зачем, а?..

— Волки, — с придыханием выговорил наводчик Евстигнеев, стоя на коленях перед прицелом. — Чисто звери окружают!..

Кузнецов видел в бинокль: дым пожаров, растянутый из станицы по степи, странно шевелился, дико мерцал красноватыми зрачками; вибрировал рев моторов; зрачки тухли и зажигались, в прорехах скопленной мглы мелькали низкие и широкие тени, придвигаясь под прикрытием дыма к траншеям боевого охранения. И все до окаменения мускулов напряглось, торопилось в Кузнецове: скорей, скорей огонь, лишь бы не ждать, не считать смертельные секунды, лишь бы что-нибудь делать!

— Товарищ лейтенант!..— Чубариков, не выдержав, отодвигаясь на животе по брустверу от наползающих огненных зрачков, обернул молодое озябшее лицо, голова задвигалась на тонком стебле шеи.— Девятьсот метров... товарищ лейтенант... Что же это мы!..

— Мне танков не видно, младший сержант! Мне дым застит!..— крикнул Евстигнеев, отклоняясь от прицела.

— Еще, еще двести метров,— ответил с хрипотцой Кузнецов, убеждая и себя, что нужно во что бы то ни стало вытерпеть эти двести метров, не открывать огня, и в то же время удивляясь точности глазомера Чубарикова.

— Товарищ лейтенант! Комбат вас... Спрашивает: «Почему не открываете огонь? Что случилось? Почему не открываете?»

Связист Святов, привстав, возник из окопчика; шапка еле держалась на белесой голове, сдвинутая тесемкой от трубки; зажимая ее рукавицей, он словно бы ртом хватал команды по телефону, речитативом повторял:

— Приказ открыть огонь! Приказ открыть огонь!

«Нет, подождать. Еще бы подождать! Что он там — не видит? Не знает, что такое первые выстрелы?.. Сразу откроем себя — и всё!»

— Дайте-ка, дайте, Святов! — Кузнецов кинулся к ровику, оторвал трубку от розового уха связиста и, улавливая горячо толкнувшуюся из мембраны команду, крикнул: — Куда стрелять? В дым? Заранее обнаружить батарею?

— Видите танки, лейтенант Кузнецов? Или не видите? — взорвался в трубке голос Дроздовского.— Открыть огонь! Приказываю: огонь!..

— Я лучше вижу отсюда! — ответил шепотом Кузнецов и бросил трубку в руки Святова.

Но едва он бросил трубку с прежней, решенной, мыслью — «если мы не выдержим и заранее откроем батарею, нас разобьют здесь», — едва он подумал это, справа на батарее зарницей и грохотом рванул воздух. Трасса снаряда скользнула над степью и вошла, угаснув, в волчье мерцание впереди. Это открыло огонь одно орудие Давлатяна. И тотчас справа, где стреляло орудие, трескучим эхом лопнул ответный танковый

разрыв; за ним текучую мглу раскололо красными скачками огня — несколько танков тяжелыми силуэтами стали выдвигаться из дыма; фары их, хищно мигая, повернулись в сторону огневых позиций Давлатяна, и крайнее его орудие исчезло, утонуло в огненно-черном кипении разрывов.

— Товарищ лейтенант!.. Никак, второй взвод накрыло!.. — донесся чей-то крик из ровика.

«Зачем он так рано открыл огонь?» — зло подумал Кузнецов, видя эти танки, решительно пошедшие в стык его орудий и взвода Давлатяна, и все-таки не поверил, что так быстро накрыло там всех. И он увидел лежащий под бруствером расчет, прижатый к земле огнем, секущими над головой осколками, и неожиданно услышал пронзительно отдавшийся в ушах собственный голос:

— По танкам справа... наводить в головной! Прицел двенадцать, бронебойным... — В ту же краткость секунды, с невыносимым чувством своей открытости перед тем, как выкрикнуть «огонь», он понимал уже, что не выдержал дистанции, которую хотел выдержать, что сейчас заранее обнаружит танкам орудия, но ему теперь не дано было права ждать. И Кузнецов выдохнул последнее слово команды: — Ог-гонь!..

В уши жаркой болью рванулась волна выстрела.

Он не уловил точного следа трассы первого снаряда. Трасса, сверкнув фиолетовой искрой, погасла в серой шевелящейся, как сцепленные скорпионы, массе танков. По ней невозможно было скорректировать, и он торопливо подал новую команду, зная, что промедление подобно гибели. А когда вторая трасса ушла, раскаленно ввинчиваясь в дым, все там, впереди, одновременно и неистово замерцало, засветилось, спутанно замельтешило вспышками других трасс. Со всего берега почти вместе и вслед за Кузнецовым ударили соседние батареи, воздух гремел, разбиваясь, скручиваясь и дробясь. Бронебойные трассы выносились и исчезали в красных встречных рывках огня: ответно били танки.

И с охватившим его сумасшедшим восторгом разрушенного одиночества, с клочкавшим в горле криком команд Кузнецов слышал только выстрелы своих орудий и не слышал близких разрывов за бруствером. Горячий ветер хлестнул в лицо. Вместе с опаляющими толчками свист осколков взвился над головой. Он едва успел пригнуться: две воронки, чернея, дымились в двух метрах от щита орудия, а весь расчет упал на огневой, уткнувшись лицами в землю, при каждом разрыве за бруствером вздрагивая спинами. Один наводчик Евстигнеев, не имевший права оставить прицел, стоял на коленях перед щитом, странно потираясь седым виском о наглазник панорамы, а его руки, точно окаменев, сжимали механизмы наводки. Он сбоку воспаленным

глазом озира́л лежащий расчет, немо крича, спрашивая о чем-то взглядом.

— Младший сержант...

Младший сержант Чубариков, вынырнув головой из командирского ровика, выскочил оттуда, сгибаясь, осыпанный землей,— бинокль мотался на груди,— упал на колени возле орудия, подполз к Евстигнееву, затормошил его за плечо, точно разбудить хотел.

— Евстигнеев, Евстигнеев!..

— Оглушило? — крикнул Кузнецов, тоже подползая к наводчику.— Что, Евстигнеев? Наводить можете?

— Могу я, могу...— выдавил Евстигнеев, трясая головой.— В ушах заложило... Громче мне команду давайте, громче!..

И рукавом вытер алую струйку крови, выползающую из уха, и, не посмотрев на нее, приник к панораме.

— Встать! Все к орудию! — подал команду Кузнецов с злым нетерпением, готовый руками подталкивать солдат к орудию, чувствуя что-то удушающе острое в горле.— Встать всем! Встать!.. К орудию!.. Все к орудию!.. Заряжай!..

Гигантский зигзаг танков выходил, выкатывался по всему фронту к переднему краю обороны, обтекая справа окраину горящей станицы, охватывая ее. По-прежнему мигали среди дыма фары. Огни трассирующих снарядов перекрещивались, сходились и расходились радиальными конусами, сталкиваясь с резкими и частыми взблесками танковых выстрелов.

В сплошной орудийный грохот стали деревянно-сухо вкрапливаться слабые щелчки противотанковых ружей в пехотных траншеях. Слева танки миновали балку, выходили к берегу, ползли на траншею боевого охранения. Соседние батареи и те батареи, что стояли за рекой, били навстречу им подвижным заградительным огнем, и еще видно было: впереди, за станицей, беззвучно проходили в дымном небе группы наших штурмовиков, атакуя с воздуха пока невидимую вторую волну танков. Но то, что было не перед батареей, отражалось сейчас в сознании лишь как отдаленная опасность. Первая волна танков зигзагообразным движением охватывала полукольцом береговую оборону, и свет их фар бил теперь направленнo в глаза, в упор шел на орудия. И Кузнецов совсем ясно различил в дыму серые туловища двух передних машин прямо перед огневыми позициями взвода и, выкрикнув команду кинувшемуся к орудию расчету, тотчас после выстрела поймал в объективе бинокля мгновенный пунктир трассы ниже выдвинувшихся из мглистого кипения квадратов.

— Выше! Под срез, под срез!.. Быстрее!.. Евстигнеев! Под срез! Огонь!..

Однако уже не нужно было торопить людей. Он видел, как

мелькали над казенником снаряды, чьи-то руки рвали назад рукоятку затвора, чьи-то тела с мычанием, со стоном наваливались на станины в секунды отката. Младший сержант Чубариков, ловя команды, повторял их, стоя на коленях возле Евстигнеева, не отрывавшегося от наглазника прицела.

— Три снаряда... беглый огонь!..— выкрикивал Кузнецов в злом упоении, в азартном и неистовом единстве с расчетом, будто в мире не существовало ничего, что могло бы еще так родственно объединить их.

В ту же минуту ему показалось: передний танк, рассекая башней дым, вдруг с ходу неуклюже натолкнувшись на что-то своей покатой грудью, с яростным воем мотора стал разворачиваться на месте, вроде бы тупым гигантским сверлом ввинчивался в землю.

— Гусеницы!..— с изумлением, с радостью вскрикнул Чубариков, мотая головой на длинной шее, и по-бабьи хлопнул себя рукавицей по боку.— Товарищ лейтенант!

— Четыре снаряда, беглый огонь! — хрипло скомандовал Кузнецов, слыша и не слыша его и только видя, как вылетали из казенника дымящиеся гильзы, как расчет при каждом выстреле и откате наваливался на прыгающие станины.

А танк все вращался на месте, распуская плоскую ленту гусеницы. Башня его тоже вращалась, рывками поводя длинным стволом орудия, нацеливая его в направлении огневой. Ствол плеснул косым огнем, и вместе с разрывом, с раскаленным взвизгом осколков магнием забрызгало слепящее свечение на броне танка. Потом проворными ящерицами заскользили на нем извивы пламени. И с тем же исступленным азартом восторга и ненависти Кузнецов крикнул:

— Евстигнеев!.. Молодец! Так!.. Молодец!..

Танк сделал слепой рывок вперед и в сторону, по-живому вздрагивая от жалившего его внутренность огня, дергаясь, встал перед орудием наискось, белея крестом на желтой броне. В тот момент поле боя, на всем своем пространстве заполненное лавиной танковой атаки, стрельба соседних батарей — все исчезло, отодвинулось, все соединилось, сошлось на этом одном головном танке, и орудие безостановочно било по подставленному еще живому боку с белым крестом, по этому смертельно опасному, чудилось, огромному пауку, пришедшему с другой планеты.

Кузнецов остановил огонь только тогда, когда второй танк, ныряюще выдвигаясь из дыма, в течение нескольких секунд вырос, погасив фары, позади задымившейся головной машины, сделал поворот вправо, влево, этим маневром ускользая от орудийного прицела, и Кузнецов успел опередить его первый выстрел:

— По второму, бронебойным!..

Ответный танковый выстрел громом рванул землю перед

бруствером. С мыслью, что танк вблизи засек орудие, Кузнецов упал на огневой, подполз к расчету в угарно текшей с бруствера пороховой мути, не сразу разглядел повернутые к нему измазанные копотью аспидно-черные лица, застывшие в страшном ожидании следующего выстрела, увидел Евстигнеева, отшатнувшегося от прицела, выдохнул с хрипом:

— Наводить! Не ждать!.. Евстигнеев! Чубариков!..

Младший сержант Чубариков лежал боком на бруствере, двумя руками тер веки, повторяя растерянно:

— Что-то не вижу я... Песком глаза забило... Сейчас я...

Следующий танковый разрыв окатил раздробленными комьями земли, чиркнул осколками по щиту, и Кузнецов задохнулся в навалившемся тошнотном клубе толовой гари, никак не мог передохнуть, выполз на бруствер, чтобы увидеть танк, но лишь выглянул — жгучим током пронзила мысль: «Конец! Все сейчас будет кончено... Неужели сейчас?»

— Евстигнеев, огонь! Огонь!..

Расчет, светясь маслено-черными лицами, копошился в дыму, заряжая лежа, наваливаясь на станины; показалось: даже перестали двигаться, замерли на маховиках огромные красные руки Евстигнеева, приросшего одним глазом к прицелу. Ему мешала шапка. Он все сдвигал и наконец сдвинул ее резиновым наглазником прицела. Шапка упала, скользнув по спине, с его потной головы. Евстигнеев посунулся на коленях, от его напряженного широкого затылка, от слипшихся волос шел пар. Потом задвигалось плечо. Правая рука плыла в воздухе, гладящими рывками нащупывала спуск. Она двигалась неправдоподобно замедленно. Она искала спуск с неторопливой нежностью, как если бы не было ни боя, ни танков, а только надо было тихонько пощупать его, удостовериться, погладить.

— Евстигнеев!.. Два снаряда!.. Огонь!..

Пулеметные очереди резали по брустверу, сбивая землю за щит. С выхлопами над самой головой оглушающий рев мотора, лязг, скрежет вползали в грудь, в уши, в глаза, придавливали к земле, головы невозможно было поднять. И на миг представилось Кузнецову: вот сейчас танк с неумолимой беспощадностью громадой вырастет над орудием, железными лапами гусениц сомнет навал бруствера, и никто не успеет отползти, отбежать, крикнуть... «Что это я? Встать, встать, встать!..»

— Евстигнеев, два снаряда, огонь!..

Два подряд выстрела орудия, сильные удары в барабанные перепонки, со звоном, с паром вылетевшие из казенника гильзы в груды стреляных, уже остывающих гильз — и тогда, отталкиваясь от земли, Кузнецов выполз на кромку бруствера, чтобы успеть засечь свои трассы, скорректировать.

В лицо его опаляюще надвигалось что-то острое, огненное,

брызжащее, и мнилось: огромный точильный камень вращался перед глазами. Крупные искры жёлгали, высекались из брони танка — чужие трассы неслись к нему сбоку и слева, оттуда, где стояло орудие Уханова, и взрыв сотряс, толкнул танк назад, пышный фонтан нефтяного дыма встал над ним.

И Кузнецов с какой-то пронзительной верой в свое легкое счастье, в свое везение и узнанное в то мгновение братство вдруг, как слезы, почувствовал горячую и сладкую сдавленность в горле. Он увидел и понял: это слева орудие Уханова добивало прорвавшийся танк после двух точных снарядов, в упор выпущенных Евстигнеевым.

Все впереди пульсировало темно-кроваво-красным, весь левый берег охватывало очагами пожаров, непрекращающаяся стрельба батарей выбивала в этом огне черные бреши — беглые разрывы, дымы полыхающей станицы мешались с тяжелыми жирными дымами, встававшими среди огромного танкового полукруга, соединялись над степью густым навесом, а из-под этого навеса, подсвеченного огнями горевших машин, не приостановленные, упорно выползали и выползали танки, суживая полукольцо вокруг обороны южного берега. Танковая атака не захлебнулась, не ослабла под непрерывным огнем артиллерии, она лишь несколько замедлилась на вершине полукольца и усилила, сконцентрировала одновременные удары по флангам. Там одна за другой стремительно взвивались сигнальные ракеты, и машины вытянутыми косяками поворачивали вправо, за высоту, где был батарейный НП, и влево — к мосту, перед которым стояли соседние батареи.

— Танки справа! Прорвались!..

Этот крик вонзился в сознание Кузнецова, и он, не веря еще, увидел то, чего не ожидал.

— Танки на батарее!.. — опять крикнул кто-то.

Дым над степью заволок небо, задавливая, заслонил солнце, ставшее тусклым медным пяточком, везде впереди раздирался выстрелами, кипел огненными валами, словно по-адски освещенными из-под земли, полз на батарею, подступал к брустверам, и из этого кипящего месива появились неожиданно огромные тени трех танков — справа перед позицией Давлатяна. А орудие Давлатяна молчало.

«Там никого нет? Живы там?» — едва подумал Кузнецов, и следующая мысль была совершенно ясной: если танки выйдут в тыл батареи, то раздавят орудия по одному.

— По танкам справа!.. — Он передохнул, захлебываясь криком, понимая, что ничего не сумеет сделать, если Давлатян сейчас не откроет огонь. — Разворачивай орудие!.. Вправо, вправо! Быстрее! Евстигнеев! Чубариков!..

Он бросился к расчету, который, наваливаясь плечами на

колеса, на щит, выдыхая ругательства, изо всех сил дергал, передвигал станины: пытались развернуть орудие на сорок пять градусов вправо, тоже увидев там танки. Суетливо двигались руки, переступали, елозили, скользили валенки по грунту; промелькнули налитые напряжением чьи-то выкаченные глаза, возникло набрякшее, в каплях пота лицо Евстигнеева; упираясь ногами в бруствер, он всем телом толкал колесо орудия, а ниточка крови по-прежнему непрерывно стекала из его уха на воротник шинели. Видимо, у него была повреждена барабанная перепонка.

— Еще!.. — сипел Евстигнеев. — Ну, ну! Дав-вай!

— Вправо орудие!.. Быстрее!

— Еще!.. Ну, ну!

Танки, прорвавшись к батарее, надвигались из красного тумана пожаров, шли на огневую Давлатяна, дым с их брони смывало движением.

— Неужто все убиты там? Чего не стреляют? — крикнул кто-то злобно. — Где они?

— Да быстрее же! Навались! Все разом!

— Еще вправо!.. Еще! — осипло повторил Евстигнеев.

Уже орудие было повернуто вправо, уже подбивались бревна под сошники, и ствол быстро пополз над бруствером, движимый механизмами, маховики которых поспешно вращал Евстигнеев; набухли желваки на его облитых потом, грязных скулах. Но сейчас, казалось, невозможно было выдержать бесконечные, как вечность, секунды наводки. В те убегающие секунды Кузнецов слышал одну свою команду: «Огонь! Огонь! Огонь!» — и эта команда, оглушавшая его самого, толкала расчет в спины, в затылки, в плечи, в их судорожно работающие руки, которые не успевали опередить продвижение танков.

«Неужели сейчас мы все должны умереть? — возникла мысль у Кузнецова. — Танки прорвутся на батарею и начнут давить расчеты и орудия!.. Что с Давлатяном? Почему не стреляют! Живы там?.. Нет, нет, я должен что-то сделать!.. А что такое будет смертью? Нет, нужно только думать, что меня не убьют, — и тогда меня не убьют! Я должен принять решение, что-то сделать!..»

— Доворота... доворота не хватает, товарищ лейтенант! — толкнул в сознание вскрик Чубарикова. Он, словно плача красными слезами, тер веки пальцами и мотал головой, глядя на Кузнецова.

— Огонь! Огонь! Огонь по танкам! — выкрикнул Кузнецов и внезапно, словно что-то выпрямило его, вскочил, кинулся к мелкому, недорытому ходу сообщения. — Я туда!.. Во второй взвод! Чубариков, оставайтесь за меня! Я к Давлатяну!..

Он бежал по недорытому ходу сообщения к молчавшим

орудиям второго взвода, продираясь меж тесных земляных стен, еще не зная, что на позициях Давлатяна сделает, и что может сделать, и что сумеет сделать. Ход сообщения был ему по пояс — и перед глазами дрожала огненная сплетенность боя: выстрелы, трассы, разрывы, крутые дымы среди скопищ танков, пожар в станице. А справа, покачиваясь, три танка шли в пробитую брешь, свободно шли в так называемом «мертвом пространстве» — вне зоны действенного огня соседних батарей; они были в двухстах метрах от позиции Давлатяна, песочно-желтые, широкие, неуязвимо-опасные. Потом длинные стволы их сверкнули пламенем. Разрывы на бруствере отбросили рев моторов — и тотчас над самой головой Кузнецова спаренными трассами забили пулеметы.

И в отчаянии оттого, что теперь он не может, не имеет права вернуться назад, а бежит навстречу танкам, к своей гибели, Кузнецов, чувствуя мороз на щеках, закричал призывно и страшно:

— Давлатя-ан!.. К орудию!.. — И, весь потный, черный, в измазанной глиной шинели, выбежал из кончившегося хода сообщения, упал на огневой, хрипя: — К орудию! К орудию!

То, что сразу увидел он на огневой Давлатяна и что сразу почувствовал, было ужасно. Две глубокие свежие воронки, бугры тел между станинами, среди стреляных гильз, возле брустверов; расчет лежал в неестественных, придавленных позах — меловые лица, чудилось, с наклеенной чернотой щетиной уткнуты в землю, в растопыренные грязные пальцы; ноги поджаты под животы, плечи съезжены, словно так хотели сохранить последнее тепло жизни; от этих скрюченных тел, от этих застывших лиц исходил холодный запах смерти. Но здесь были, видимо, еще и живые. Он услышал стоны, всхлипы из ровика, однако не успел заглянуть туда.

Он смотрел за посеченное осколками колесо орудия: там под бруствером копошились двое. Медленно поднималось от земли окровавленное широкоскулое лицо наводчика Касымова с почти белыми незрячими глазами, одна рука в судороге цеплялась за колесо, впивалась черными ногтями в резину. По-видимому, Касымов пытался встать, подтянуть в орудие свое тело и не мог — его пальцы скребли по разорванной резине, срывались; но, выгибая грудь, он вновь хватался за колесо, приподымаясь, бессвязно выкрикивал:

— Уйди, сестра, уйди! Стрелять надо... Зачем меня хоронишь? Молодой я! Уйди... Живой я еще... Жить буду!

Сильное его тело было как бы переломлено в пояснице, что-то красное текло из-под бока, затянутого бинтами, а он был в той горячке раненого, в том состоянии беспамятства, которое обманчиво отдаляло его от смерти.

— Зоя!..— крикнул Кузнецов.— Где Давлатян?

Рядом с Касымовым лежала под бруствером Зоя и, удерживая его, раздирая в стороны полы ватника, спеша накладывала чистый бинт прямо на гимнастерку, промокшую на животе красными пятнами. Лицо было бледно, заострено, с темными полосками гари, губы прикушены, волосы выбились из-под шапки — чужое, лишенное легкости, некрасивое лицо с незнакомым выражением.

Услышав крик Кузнецова, она быстро вскинула глаза, полные зова о помощи, зашевелила потерявшими жизнь губами, но Кузнецов не расслышал ни звука.

— Уйди, уйди, сестра! Жить буду!..— выкрикнул в бессознании Касымов.— Зачем хоронишь? Стрелять надо!..

И оттого, что Кузнецов не услышал ее голоса, а слышал крик Касымова, метавшегося в горячке, оттого, что ни она, ни Касымов не видели, не знали, что прорвавшиеся танки идут прямо на их позицию, Кузнецов снова испытал ощущение нереальности, когда надо было сделать над собой усилие, тряхнуть головой — и он вынырнет из бредового сна в летнее, спокойное утро, с солнцем за окном, с обоями на стене и вздохнет с облегчением оттого, что виденное им — ушедший сон.

Но это не было сном.

Он слышал над головой оглушающе-близкие выхлопы танковых моторов, и там, впереди, перед орудием, распарывал воздух такой пронзительный треск пулеметных очередей, будто стреляли с расстояния пяти метров из-за бруствера. И только он один осознавал, что эти звуки были звуками приближающейся гибели.

— Зоя, Зоя! Сюда, сюда! Заряжай! Я — к панораме, ты — заряжай! Прошу тебя!.. Зоя...

Валики прицела были жирно-скользкими, влажно прилип к надбровью резиновый наглазник панорамы, скользили по рукам маховики механизмов — на всем была разбрызгана кровь Касымова, но Кузнецов лишь мельком подумал об этом — черные ниточки перекрестия сдвинулись вверх, вниз, вбок; и в резкой яркости прицела он поймал вращающуюся гусеницу, такую неправдоподобно огромную, с плотно прилипающим и сейчас же отлетающим снегом на ребрах траков, такую отчетливо близкую, такую беспощадно-неуклонную, что, казалось, затемнив все, она наползла уже на самый прицел, задевала, корябала зрачок. Горячий пот застилал глаза — и гусеница стала дрожать в прицеле, как в тумане.

— Зоя, заряжай!..

— Я не могу... Я сейчас. Я только... оттащу...

— Заряжай, я тебе говорю! Снаряд!.. Снаряд!..

И он обернулся от прицела в бессилии: она оттаскивала

от колеса орудия напрягшееся тело Касимова, положила его вплотную под бруствер и тогда выпрямилась, как бы еще ничего не понимая, глядя в перекошенное нетерпением лицо Кузнецова.

— Заряжай, я тебе говорю! Слышишь ты? Снаряд, снаряд!.. Из ящика! Снаряд!..

— Да, да, лейтенант!..

Она, покачиваясь, шагнула к раскрытому ящику возле станин, цепкими пальцами выдернула снаряд и, когда неловко толкнула его в открытый казенник и затвор защелкнулся, упала на колени, зажмурилась.

А он не видел всего этого — огромная, вращающаяся чернота гусеницы лезла в прицел, копошилась в самом зрачке, высокий рев танковых моторов, давя, прижимал его к орудю, горячо и душно входил в грудь, чугуно гудела, дрожала земля. Ему чудилось, что это дрожали колени, упершиеся в бугристую землю, может быть, дрожала рука, готовая нажать спуск, и дрожали капли пота на глазах, видевших в эту секунду то, что не могла увидеть она, зажмурясь в ожидании выстрела. Она, быть может, не видела и не хотела видеть эти прорвавшиеся танки в пятидесяти метрах от орудия.

А перекрестие прицела уже не могло поймать одну точку — неумолимое, огромное и лязгающее заслоняло весь мир.

Он нажал на спуск и не услышал танковых выстрелов в упор.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Со страшной силой Кузнецова ударило грудью обо что-то железное, и с замутненным сознанием, со звоном в голове он почему-то увидел себя под темными ветвями разросшейся около крыльца липы, по которой шумел дождь, и хотел понять, что так больно ударило его в грудь и что это так знойными волнами опалило ему волосы на затылке. Его тянуло на тошноту, но не выташнивало — и от этого ощущения мутным отблеском прошла в сознании мысль, что он еще жив, и тогда он почувствовал, что рот наполняется соленым и теплым, и увидел, как в пелене, красные пятна на своей измазанной землей кисти, поджатой к самому лицу. «Это кровь? Моя? Я ранен?»

— Лейтенант!.. Миленький! Лейтенант!.. Что с тобой?..

Выплывавая кровь, он поднял голову, стараясь понять, что с ним.

«Почему шел дождь и я стоял под липой? — подумал он, вспоминая. — Какая липа? Где это было? В Москве? В детстве?.. Что мне померещилось?»

Он лежал грудью на открытом снарядном ящике между станинами, на два метра откинутый взрывной волной от щита

орудия. Правая сторона щита разорванно торчала, с неимоверной силой исковерканная осколками. Правую часть бруствера начисто смело, углубило воронкой, коряво обуглило, а за ним в двадцати метрах было объято тихим, но набравшим силу пожаром то лязгавшее, огромное, железное, что недавно неумолимо катилось на орудие, заслоняя весь мир.

Второй танк стоял вплотную к этому пожару, развернув влево, в сторону моста, опущенный ствол орудия; мазутный дым длинными, извивающимися щупальцами вытекал из него на снег.

В первом танке с визжащими толчками рвались снаряды, сотрясало башню, гусеницы, скрежеща, подрагивали, и отвратительный, сладковатый запах жареного мяса, смешанный с запахом горевшего масла, распространялся в воздухе.

«Это я подбил два танка? — тупо подумал Кузнецов, задыхаясь от этого тошнотворного запаха и соображая, как все было.— Когда меня ранило? Куда меня ранило? Где Зоя? Она была рядом...»

— Зоя! — позвал он, и его опять затошнило.

— Лейтенант... миленький!

Она сидела под бруствером, обеими руками рвала, растегивала пуговицы на груди, видимо оглушенная, с закрытыми глазами. Аккуратной белой шапки не было, волосы, забитые снегом, рассыпались по плечам, по лицу, и она ловила их зубами, прикусывала их, а зубы белели.

— Зоя! — повторил он шепотом и сделал попытку подняться, оторвать непослушное тело от снарядного ящика, от стальных головок бронебойных гранат, давивших ему в грудь, и не мог этого сделать.

Движением головы она откинула волосы, снизу вверх посмотрела на него с преодолением страдания и боли и отвернулась. Сквозь тягучий звон в ушах он не расслышал звук ее голоса, только заметил, что взгляд ее был направлен на тихо скребущую ногтями землю руку Касимова, вытянутую из-за колеса орудия.

И он увидел темный бугор неподвижного тела, ткнувшегося головой в край бруствера. Касымов уже лежал лицом вниз, ватник его был посечен осколками, кучки выброшенной разрывом земли, порохового снега чернели на его спине, валенки подвернуты носками внутрь. Но жила еще одна рука. И Кузнецов видел эти скребущие пальцы.

Глотая солоноватую влагу, заполнявшую рот, он хотел крикнуть Зое, что снаряд разорвался на бруствере, их обоих контузило, оглушило, а Касымов умирает и надо отнести его в нишу позади орудия, немедленно отнести, скорее отнести. Он не понимал, почему им нужно сделать это скорее и почему Зоя

медлит, когда нельзя медлить ни секунды, потому что их двое осталось здесь...

— Зоя,— шепотом позвал он и, сплюнув кровь, отдышавшись, сполз со снарядного ящика под бруствер, взял ее двумя руками за плечи с надеждой и бессилием.— Зоя! Тебя оглушило! Зоя, слышишь? Ты ранена?.. Зоя!..

Ее плечи не сопротивлялись под его руками, сопротивлялись ее глаза, ее сомкнутые губы под прядями волос; она вдруг обратной стороной рукавицы вытерла ему подбородок, и он различил кровь на этой рукавице.

— Это ерунда... меня оглушило, ударило о ящик! — крикнул он ей в лицо.— Зоя, посмотри, что с Касымовым! Слышишь? Быстро! Мне — к орудию!.. Кажется, Касимова...

Он с трудом встал, шатаясь от мутного головокружения, и шагнул к станинам, готовый броситься к ящику со снарядами, к прицелу, но тут увидел, как Зоя вдоль бруствера поползла к колесу орудия, и дошел ее голос:

— Лейтенант, миленький, помоги!..

Они вдвоем оттащили Касимова в нишу для снарядов, и Зоя, стоя на коленях, наклонясь, стала ощупывать руками его иссеченную на груди телогрейку, грязные повязки на животе, набухшие бурой влагой, разорванные осколками.

Опустив руки, наконец выпрямила спину, глядя на Касимова все понявшими глазами. И Кузнецов понял: Касымов был убит осколками в грудь, видимо, в тот момент, когда он еще хотел подняться, когда последний снаряд разорвался на бруствере...

Сейчас под головой Касимова лежал снарядный ящик, и юношеское, безусое лицо его, недавно живое, смуглое, ставшее мертвенно-белым, истонченным жуткой красотой смерти, удивленно смотрело влажно-вишневыми полуоткрытыми глазами на свою грудь, на разорванную в клочья, иссеченную телогрейку, точно и после смерти не постиг, как же это убило его и почему он так и не смог встать к прицелу. В этом невидящем прищуре Касимова было тихое любопытство к непрожитой своей жизни на этой земле и вместе спокойная тайна смерти, в которую его опрокинула раскаленная боль осколков, ударившая ему в грудь в тот самый момент, когда он пытался подняться к прицелу.

«Природа у нас хороший»,— вспомнил Кузнецов и в дохнувшем ледяном запахе смерти испытал какое-то необъяснимое чувство неподчиненности самому себе. Мысль о том, что его тоже могло сейчас убить и он потерял бы способность двигаться, а только лежал бы в беспомощности, в неподвижности, ничего не видя, ничего не слыша уже, вызвала в нем ненависть к возможному этому бессилию. И вид двух горящих танков за бруствером, переkreщенные по всей степи косяки огня, сплош-

ная, подвижная, кипящая масса дыма, где возникали и пропадали скорпионно-желтые бока танков перед балкой, горячие толчки накаливаемого воздуха, которые он чувствовал лицом, грохот в заложенных ушах — всё разжигало в нем не подчиненную разуму неистовую злость, одержимость разрушения, нетерпеливую, отчаянную, похожую на бред, незнакомую ему раньше.

«Стрелять, стрелять! Я могу стрелять! В этот дым, по танкам. В эти кресты! В эту степь! Только бы орудие было цело, только бы прицел не задет...» — кружилось в его голове, когда, он, как пьяный, встал и шагнул к орудю. Он осмотрел, поспешно ощупал панораму, заранее боясь найти на ней следы повреждения, и то, что она была цела, нигде не задета осколками, заставило его бешено заторопиться: его руки задрожали от нетерпения.

Он скомандовал без голоса: «Снаряд, снаряд!» — и, зарядив, так вожаденно, так жадно припал к прицелу и так впился пальцами в маховики поворотного и подъемного механизма, что слился с поползшим в хаос дыма стволом орудия, которое по-живому послушно было ему и по-живому послушно и родственно понимало его.

— Огонь!..

«Я с ума схожу», — подумал Кузнецов, ощутив эту ненависть к возможной смерти, эту слитость с орудием, эту лихорадку бредового бешенства и лишь краем сознания понимая, что он делает.

Его глаза с нетерпением ловили в перекрестии черные разводы дыма, встречные всплески огня, желтые бока танков, железными стадами ползущих вправо и влево перед балкой. Его вздрагивающие руки бросали снаряды в дымящееся горло казенника, пальцы нервной, спешащей ощупью надавливали на спуск. Резиновый, влажный от пота наглазник панорамы бил в надбровье, и он не успевал поймать каждую бронебойную трассу, вонзавшуюся в дым, в движение огненных смерчей и танков, не мог твердо уловить попадания. Но он уже не в силах был подумать, рассчитать, остановиться и, стреляя, уверял себя, что хоть один бронебойный найдет цель. В то же время он готов был засмеяться, как от счастья, когда, бросаясь к казеннику и заряжая, видел ящики со снарядами, радуясь тому, что их хватит надолго.

— Сволочи! Сволочи! Ненавижу! — кричал он сквозь грохот орудий.

В какой-то промежуток между выстрелами, вскочив от панорамы, он в упор наткнулся на останавливающие его, схватившие его взгляд глаза Зои, широкие, изумленные на незнакомом подсеченном лице. И он даже не понял в первую секунду, зачем она здесь, зачем она сейчас с ним.

— Ты что? Уходи в землянку! Слышишь? Немедленно! Приказываю!..— И он выругался внезапно, как не ругался никогда в ее присутствии.— Уходи, я говорю!

— Я помогу... Я с тобой, лейтенант...

Она придвигалась к нему на коленях, она пристально смотрела, не узнавая его, всегда сдержанного, городского лейтенанта, а обе руки ее держали снаряд, прижав к груди. И она насильно усмехнулась.

— Не надо... Не надо тебе ругаться, лейтенант!

— Уходи в землянку! Тебе нечего здесь делать! Уходи, говорю!

А она все смотрела на него удивленно, и ее взгляд, ее лицо, ее голос отбирали у него часть злобы, часть ненависти, такой необходимой, такой понятой им, нужной ему, чтобы чувствовать свою разрушительную силу, которую он никогда в жизни столь сильно не ощущал.

— В землянку!.. Слышишь? — крикнул Кузнецов.— Я не хочу видеть, как тебя убьют!

И опять в чудовищно приближенном к глазу калейдоскопе ринулись в перекрестие прицела сгущенные дымы, пылающие костры машин, тупые лбы танков в разодранных разрывами прорехах... Но когда он нажал ручной спуск, посылая снаряд туда, в это видимое им движение неостановленных танков, резкий блеск молнии сплошь рассек небо, полыхнул в прицел вместе с бьющим жаром сгоревшего тола. Ударом сбоку Кузнецова отбросило от панорамы, прижало к земле, комья земли обрушились на спину. А когда он уже лежал, в голове мелькнула злорадно-счастливая мысль, что и сейчас его не убило, и другая мысль — вспышкой в мозгу:

— Зоя! В ровик! В ровик!

И он поднялся, чтобы увидеть, где она, но его ослепило вторично разорвавшейся молнией.

Зоя упала около него на бок, цепко, двумя руками схватила за борта шинели, дыша в потное его лицо, прижимаясь к нему так тесно и плотно, что он почувствовал боль и увидел ее прижмуренные глаза, ее веки, черные, в какой-то траурной гари, ищущее защиты ее тело замерло, вжавшись в его тело.

— Только бы не в живот, не в грудь. Я не боюсь... если сразу. Только бы не это!..

А он едва слышал, что говорит она, губами почти касаясь его губ, слабо улавливая этот заклиняющий шепот под вращающимися жерновами грохота. При каждом разрыве ее тело вдавливалось еще плотнее в его тело — и тогда он, стиснув зубы, обнял ее с инстинктивной последней защитой перед равной судьбой, соединившей их, простившей все, с последней помощью, как взрослый ребенка, притиснул ее голову к своей потной шее.

И так, накрепко обняв, ждал крайней секунды, чувствуя, как взрывной волной кидало ему в лицо Зоины волосы, удушая горячим запахом сгоравшего тола, и перед этим обрывом секунды, ощущая ее грудь, ее круглые колени, ее холодные губы на своей шее, он с ужасом думал, как внезапно обмякнет в руках Зоино тело от удара осколка в спину. «Сюда, к колесу орудия... прижать ее спиной к колесу! Оно защитит от осколка, если... И он хотел пошевелиться, придвинуть ее к колесу орудия, но тут поплыл в ушах звон, вползая из грохота; прижавшая их к орудию молниями рвущаяся грозовая туча уходила за бруствер, оседала за огневой. И хотя разогретый толлом воздух, земля с гулом колыхались, потрясаемые боем, звенящая и острая щелочка тишины свежим воздухом прорезала огневую, вошла в эту сжатую тесноту между их телами.

Это была не тишина, а облегчение. Зоя откинула голову, открыла поразившие его своей темной глубиной глаза в черных, очерненных гарью ресницах. Затем медленно высвободилась из его рук, прислонилась спиной к станине орудия.

И так же медленно, одергивая полушубок на коленях, темных от налипшей глины, тыльной стороной грязных пальцев откинула волосы, которые секунду назад бросало разрывами ему в лицо. Он еле выговорил:

— Все...

— Лейтенант, лейтенант,— прошептала она между мелким вдохом и выдохом.— Ты, наверное, обо мне не так подумал... Послушай... Если меня ранят в грудь или в живот, вот сюда,— она показала рукой на офицерский ремень, так стягивающий талию, что Кузнецову показалось, ее можно было измерить двумя ладонями,— то я прошу тебя, если сама не смогу... вот здесь, в сумке, немецкий «вальтер». Мне подарили его давно. Ты понимаешь? Если сюда... не нужно делать перевязку...

А он, еще мгновение назад в страхе представляя, как осколок в спину мог ранить, убить ее, молчал, не понимая, зачем она так откровенно говорит ему о том неестественном, что могло случиться и не случилось. Ее пугала рана в грудь или в живот, она боялась слабости, унижения, стыда перед смертью, боялась, что на нее будут смотреть, трогать руками обнаженное тело, накладывать бинты мужские руки.

— Ясно,— шепотом проговорил Кузнецов.— О чем ты меня просишь? Ты ошиблась: я не похоронная команда! Кто приказал тебе быть возле орудия? Ты не должна находиться здесь! Бой еще не кончился, а ты...

Он не успел договорить: обманчивая щелочка минутной тишины взорвалась за бруствером — разрывы чернó встали левее орудия. Кузнецов подполз на коленях к панораме, расплавленной иглой толкнулся в зрачок огонь выстрела, казалось в

центр перекрестия прицела, и Зоя, ее волосы на щеке, ее «вальтер», ее странная просьба — все исчезло, сразу вытеснилось из его головы, и мир опять стал предельно реальным, жестоким, без доброты, без надежды на доброту, без сомнений.

«Самоходка, — думал он, хватаясь за маховики, — стреляла где-то рядом... Нашупать бы ее... Где она?»

Но, вращая маховики, он почувствовал тупое сопротивление механизма, какое-то несоответствие между прицелом и стволом орудия и оторвался от наглазника панорамы. Ствол орудия всей массой сползал назад. Коричневая жидкость из накатного устройства пульсирующей струей выбрызгивалась на исковерканный щит, на раскаленный ствол орудия.

— Сволочь!.. Это самоходка из укрытия! Как назло!.. — крикнул Кузнецов, готовый заплакать в бессилии, и ударил кулаком по сползавшему казеннику: накатник был пробит осколком.

Два танка горели перед орудием, спаренный бойкий огонь облизывал их башни; справа, на самом краю балки, вываливал боковой дым из третьего танка. И из-за этого жирного чада выскакивало треугольное пламя выстрелов, влево по фронту батареи — туда, где стояли орудия Чубарикова и Уханова. Прикрываясь дымовой завесой, самоходка стреляла сбоку по орудиям с расстояния двухсот метров.

Там, дальше, в полутора километрах слева, на подступах к переправе, танки подымались из балки, переваливаясь в дыму, шли мимо неохотно горевших, как мокрые стога, машин, и соседние батареи в районе моста, и два орудия его взвода, и противотанковые ружья из пехотных траншей вели одновременный огонь: трассы бронебойных снарядов, разрывы тяжелых гаубиц, фосфорические росчерки танковых болванок, огненные струи игравших с того берега «катюш» слились, скрестились над переправой, смешались там.

А самоходка, в укрытии за танком, выбирая цели, спокойно и методично била сбоку, во фланг, и Кузнецов видел это.

— Лейтенант!.. — услышал он крик Зои. — Что ты стоишь? Видишь?..

Но Кузнецов ничего не мог сделать теперь.

Самоходка была беглым огнем по орудию Чубарикова. Орудие перестало стрелять, исчезло в багрово взлетающей мгле, а на эти взлеты мглы надвигался, шел, скоростью сбрасывая с брони низкие языки пламени, вырвавшийся откуда-то слева танк. Он, по-видимому, был зажжен бронебойным снарядом Чубарикова до того момента, пока самоходка не засекла и не накрыла позицию. И сейчас у орудия, как забором окруженного разрывами, никто не видел его. А танк, все увеличивая скорость, все сильнее охватываемый широко мотающимся по

броню огнем, тараном вонзился, вошел в эту тьму, сомкнувшую орудие, стал поворачиваться вправо и влево на одном месте, как бы уминая, уравнивая что-то своей многотонной тяжестью. Затем взрыв сдвинул воздух. Черный гриб дыма вместе с огнем вырвался из башни, и танк замер, косо встав на раздавленном орудии. Во вспыхнувший костер сбоку вонзались одна за другой трассы, мелькая вдоль фронта батареи, — это вело огонь по танку орудие Уханова, стоявшее крайним.

Кузнецов был потрясен, подавлен бешеным тараном горящего танка, и его сознание уже не воспринимало ничего, кроме отчетливо-пронзительной ясности, что немцы атакуют насмерть на левом фланге, во что бы то ни стало пытаются прорваться к берегу, к мосту, что расчет Чубарикова погиб, раздавленный, — ни один человек не отбежал от огневой — и что там, слева, осталось единственное орудие из батареи — Уханова.

— Зоя... приказываю — в землянку! Уходи отсюда, слышишь? Я туда, к Уханову! — прохрипел Кузнецов и в ту же минуту увидел: Зоя, прикусив вспухшие губы, отбросив санитарную сумку на бедро, боком пошла, потом кинулась к недокрытому ходу сообщения, соединяющему орудия.

— Мне к Чубарикову, к Чубарикову! Может быть, кто еще жив! Не верю, что все... — И она, мотнув волосами, канула в ходе сообщения, не расслышав приказа Кузнецова.

И он в отчаянии выбежал из огневой площадки, оглядываясь на горящие по краю балки танки, на шевелившуюся за ними самоходку, против которой был бессилен.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

— Сто-ой! Куда? Назад, Кузнецов!

К орудию по высоте берега скачками бежал Дроздовский; густо осыпанные снегом валенки его летели меж сугробов; на белом лице зиял раскрытый криком рот:

— Наза-ад!..

За ним, прыгая через воронки, бежали ездовые Рубин и Сергуненков; оба они с суетливой торопливостью озирались на горящие перед батареей танки, на пожар в станице, и Сергуненков то и дело нырял к земле при близких разрывах на берегу.

— Куда?.. Назад! Назад, Кузнецов! Драпать? Орудие бросил? — накаленно взвился крик Дроздовского. — Почему прекратили огонь? Отходить? Сто-ой!

Вскидывая пистолет над головой, Дроздовский подбежал, глаза с мутным, безумным блеском, ноздри раздувались, злая бледность разительно выделяла его щетинку, отросшую на щеках за эти сутки.

— К орудию! — скомандовал Дроздовский, и левая его рука клещами вцепилась в плечо Кузнецова, рванула его к себе. — Ни шагу назад!.. Поч-чему бросил оружие? Ку-уда?

— Ты — ослеп?.. — Кузнецов с силой стряхнул руку Дроздовского с плеча, быстро взглянул на пистолет, подрагивающий в его правой руке, выговорил: — Спрячь пистолет! Спятил? Посмотри туда! — и указал в сторону орудия Чубарикова, где на огневой позиции, разбрасывая снопы искр, пылал прорвавшийся танк. — Не видишь, что там?..

Блеснувшим веером низкая очередь прошла по сугробам: из самоходки, укывшейся за подбитыми танками, заметили, видимо, людей на бугре, оттуда забил по берегу прицельным огнем ручной пулемет.

— Не стоять!.. Ложись! — предупредил Кузнецов, не ложась, однако, сам, и с удовлетворенной мстительностью увидел, как Дроздовский пригнулся, а ездовой Рубин, оборотив грубое свое лицо в сторону пулемета, грузно присел на крепких коротких ногах; худенький же, длинношей Сергуненков по этой команде бросился под сугроб и по-пластунски пополз к огневой позиции, под укрытие бруствера, загребая карабином снег.

— Что ползаешь, как щенок? — выругался Дроздовский и, выпрямься, ударил его ногой по валенку. — Встать! Все к орудию! Стрелять!.. Где Зоя? Где санинструктор?

И, сделав шаг к орудию, снова рванул за плечо Кузнецова, недоверчиво впился прозрачными, показалось даже, белыми глазами в его лицо.

— Куда послал? Здесь она только что была!

— Побегла она, — откашливался густо Рубин. — Черти унесли!..

— К орудию, Кузнецов! Стрелять!..

Они вбежали на огневую, оба упали на колени у орудия с пробитым накатником и щитом, с уродливо отползшим назад, разверстым черной пастью казенником, и Кузнецов выговорил в порыве неостывающей злости:

— Теперь смотри! Как стрелять? Видишь накатник? А самоходка из-за танков бьет! Все понятно? Зоя пошла к Чубарикову! Может, там остался кто...

С поспешностью вталкивая пистолет в кобуру — длинные ресницы трепетали от возбуждения, — Дроздовский громко спросил:

— Кто стрелял по танкам? Где Касымов?

— Убит. Там, в нише. И трое из расчета.

— Ты стрелял по танкам? Ты подбил?

— Может быть...

Кузнецов отвечал и видел Дроздовского будто через холодное стекло, с ощущением невозможности это преодолеть.

— Если бы не самоходка... Укрылась в дыму за подбитыми танками. Бьет по Уханову с фланга... Надо к Уханову, ему плохо видно ее! Здесь нам нечего делать!

— Подожди! Что в панику бросился?

Упираясь локтем, Дроздовский быстро выглянул из-за изрытого, раскромсанного снарядами бруствера с вколотыми в обожженную землю отполированными осколками — и опять, прорезая звуки боя, пулеметные очереди прозвенели над огневой.

Синие искры разрывных просверкали позади орудия в гребнях сугробов. Дроздовский, садясь под бруствер, обводил поле боя сощуренными, торопящими глазами, все лицо его мигом сузилось, подобралось, спросил прерывисто:

— Где гранаты? Где противотанковые гранаты? На каждое орудие было выдано по три гранаты! Где они, Кузнецов?

— На кой черт сейчас гранаты! Самоходка в ста пятидесяти метрах отсюда — достанешь ее? Пулемет тоже не видишь?

— А ты что думал, так ждать будем? Быстро гранаты сюда! Сюда их!.. На войне везде пулеметы, Кузнецов!..

На бескровном, обезображенном судорогой нетерпения лице Дроздовского появилось выражение действия, готовности на все, и голос его стал до пронзительности звенящим:

— Сергуненков, гранаты сюда!

— Вот, в нише они. Товарищ лейтенант...

— Гранаты сюда!..

И когда ездовой Сергуненков отполз к ровику, вынул там из ниши две облепленные землей противотанковые гранаты и, тут же полый шинели очистив их, протерев, положил эти две гранаты перед Дроздовским, тот скомандовал, привставая над бруствером:

— Ну!.. Сергуненков! Тебе `это сделать! Или грудь в крестах, или... Понял меня, Сергуненков?..

Сергуненков, подняв голову, смотрел на Дроздовского немигающим, остановленным взглядом, потом спросил неверяще:

— Как мне... товарищ лейтенант? За танками стоит. Мне... туда?..

— Ползком вперед — и две гранаты под гусеницы! Уничтожить самоходку! Две гранаты — и конец гадине!..

Дроздовский говорил это непререкаемо; вздрагивающими руками он неожиданно резким движением поднял с земли гранаты, подал их Сергуненкову, а тот машинально подставил ладони и, беря гранаты, едва не выронил их, как раскаленные утюги.

Он, видимо, еще ни разу в жизни не брился, на юношеских щеках, над верхней пухлой губой золотился пушок, показавшийся тогда темным, колючим от меловой бледности, и Куз-

нецов особенно близко увидел нездешнюю голубизну его глаз, мальчишески нежный подбородок, тонкую и тоже нежную, вытянутую из просторного воротника шею. Затем услышал шепот его:

— За танками ведь она, товарищ лейтенант... Далеко стоит...

— Взять гранаты!.. Не медлить!

— Понял я...

Сергуненков искательно-слепыми тычками засовывал гранаты за пазуху, а эта ясная голубизна глаз его скользила по решительному, изменившемуся лицу Дроздовского, по лицу Кузнецова, по круглой, равнодушной спине Рубина, который, полулежа между станинами, тяжело сопел, с замкнутой сосредоточенностью уставясь в бруствер.

— Слушай, комбат! — не выдержал Кузнецов. — Ты что — не видишь? Сто метров по открытому ползти надо! Не понимаешь это?..

— А ты думал как?! — произнес тем же звенящим голосом Дроздовский и стукнул кулаком по своему колену. — Будем сидеть? Сложь руки!.. А они нас давить? — И обернулся круто и властно к Сергуненкову: — Задача ясна? Ползком и перебежками к самоходке! Вперед! — ударила выстрелом команда Дроздовского. — Вперед!..

То, что происходило сейчас, казалось Кузнецову не только безвыходным отчаянием, но чудовищным, нелепым, без надежды шагом, и его должен был сделать Сергуненков по этому приказанию «вперед», которое в силу железных законов, вступавших в действие во время боя, никто — ни Сергуненков, ни Кузнецов — не имел права не выполнить или отменить, и он почему-то внезапно подумал: «Вот если бы целое орудие и один бы лишь снаряд — и ничего бы не было, да, ничего бы не было».

— Сергуненков, слушай... только ползком, прижимаясь к земле... Вот там много кустиков, в ложбинке, вправо ползи. В полосу дыма, слышишь? Осторожней только. Головы не поднимать!..

Кузнецов подполз к Сергуненкову, полуприказывая, сдерживающе сжимая его локоть, глядел ему в зрачки, утонувшие в светло-небесной глубине и не воспринимающие ничего. А Сергуненков кивал, улыбаясь слабой, согласной, застывшей улыбкой, и неизвестно зачем все похлопывал рукавицами по оттопыренной гранатами шинели на груди, как будто гранаты жгли ему грудь и он хотел охладить это жжение.

— Товарищ лейтенант, вас очень прошу, — прошептал он одними губами, — ежели со мной что... мамаше сообщите: без вести, мол, я... У ней боле никого...

— Из головы выкинь! — крикнул Кузнецов. — Слышишь, Сергуненков? Только ползком, ползком! В снег зарывайся!

— Давай, Сергуненков! — Дроздовский махнул рукой от бруствера. — Не медлить! Вперед!..

— Готов я, товарищ комбат, сейчас я...

Сергуненков облизнул пересыхающие губы, заглотнул воздух, осторожно зачем-то ощупал гранаты под шинелью и выполз на бруствер, осыпая валенками на огневую обугленную недавними разрывами землю. Вытянувшись на бруствере, словно забыв у орудия что-то, оглянулся из-за плеча, отыскал своими нездешними глазами поднятое к нему замершее в угрюмой неподвижности лицо Рубина, с усмешкой сказал очень просто и даже спокойно:

— А ежели ты, Рубин, коней мучить будешь, на том свете найду. Прощайте пока...

Кузнецов прижался грудью к брустверу. Сергуненков прополз метров пять в сторону кустиков в черные созвездия воронок впереди орудия, зарываясь в снег, перемешанный с выброшенной разрывами землей. Видно было, как двигалось его извивающееся худенькое тело среди оголенных кустиков, наполовину срезанных осколками, — и все в Кузнецове ждало опережающего сверкания пулеметных очередей, пущенных по Сергуненкову из-за танков. Самоходка вела огонь вправо, в направлении моста, в сторону орудия Уханова, где темно и багрово буйствовало пламя, обволакивая атакующие танки, и тот, кто стрелял из пулемета, не видел сейчас Сергуненкова. А он полз меж воронок и кустиков, исчезал за сугробами, нырял и выныривал, расталкивая локтями, головой снег, и уже заметно сокращалось расстояние между ним и двумя дымившими громадами танков, за которыми стояла самоходка.

«Поскорей бы войти ему в полосу дыма, — думал с надеждой Кузнецов, лежа стучащим сердцем на бруствере, отсчитывая метры пространства до невидимой за танками самоходки, — поскорее бы в дым...»

— Что медлит? Бегом! Броском! — обрывисто говорил Дроздовский, хватая обтянутыми перчаткой пальцами зачерствевшие комья земли, кроша их на бруствере, в ожидании этого последнего броска к самоходке.

— Ка-акой «бегом»! Сердце небось зашлось, как у воробья, — выцедил ездовой Рубин, и слова его расплылись, увязли в горячем тумане.

— Замолчите, Рубин! Слышите?

И Кузнецов почти с ненавистью увидел сбоку ждущий трепет длинных ресниц Дроздовского и рядом с ним тяжелый профиль Рубина, плашмя легшего своим широким телом на бруствер, так что вся толстая, бурая его шея ушла в воротник, вспомнил его попытку пристрелить сломавшую ногу лошадь тогда на марше и, вспомнив, увидел еще, как Рубин в ожесточении сплюнул через

бруствер; маленькие сверлящие его глаза, обращенные к Дроздовскому, стали мрачны, нелюдимы.

— Мне б приказ отдали, товарищ лейтенант. Все одно мне. За жизнь не держусь! Мне, вишь ты, некого вспоминать... По мне никто не заплачет!

И опять слова его сгорели, увязли в горячем тумане.

А Кузнецов наблюдал, уже ничего не слыша, за пространством перед горевшими танками, за этой самоходкой позади них. Серый извивающийся червячок полз все медленнее, все осторожнее и потом затих, плоско приник к земле в десяти метрах от танков. Было не очень ясно видно, что делал там Сергуненков; затем показалось: он чуть приподнялся, глядя снизу, с земли, на самоходку, а одно плечо его задвигалось, и задвигалась рука; заторопившись, она дергала, вырывала из-за пазухи гранату. Но издали это, вероятно, представлялось только воображением, и Кузнецов не поймал зрением тот момент, когда он выдернул чеку и бросил первую гранату.

В общем грохоте боя граната треснула со слабым, задавленным звуком расколотого грецкого ореха. Оранжевый грязный клубок оттолкнулся от земли, впитался нависшим чадом танков, откуда по-прежнему стреляла самоходка в сторону моста.

— Мимо!..— выдохнул Рубин и опять сплюнул через бруствер, кулаком вытер губы, и красные веки его сошлись в щелки.

— Что он? Что медлит?..— Пальцы Дроздовского все давили комья земли, все искали какой-то опоры в бруствере.— Вперед, к самоходке... Вторую бросай!..

Самоходка перестала стрелять. Потом из-за дымивших танков прояснилось прямоугольное и широкое, выдвигаясь, тяжело повернулось в жирном чаду. И сейчас же серый червячок прополз несколько метров вперед меж чернеющих впадин воронок, тотчас сжался на снегу в пружинку, весь подобрался — и в следующий миг ничтожно маленькая серая фигурка вскочила с земли и, взмахнув рукой, бросилась, не пригибаясь, к неуклюжему и громоздкому шевелению в дыму, возникшему за подбитыми танками.

В ту же секунду короткие молнии вылетели навстречу, стремительно и косо сверкнули, остановив эту фигурку, на бегу вытянутую вперед, с поднятой рукой, и фигурка споткнулась, круто запрокинув голову, упираясь грудью в раскаленные копы молний, и исчезла, соединилась с землей...

Граната клочковатым облачком лопнула около недвижимого серого бугорка на снегу. Дым снесло в сторону. И вновь ручной пулемет заработал сверху; и долгими очередями разрывных Сергуненкова, уже, вероятно, мертвого, подталкивало, передвигало по земле; и видно было: задымилась шинель на его спине.

— Эх, малец, малец, ядрена мать! На рожон попер!.. Убило, а?

Кузнецов, глотая спазму, не мог выговорить ни слова, с судорожной неистовостью рвал крючок на воротнике шинели, чтобы освободиться от жаркой тесноты. «Кто это сказал — убило? Рубин, кажется?» Кузнецов не знал, что сейчас сделает, не совсем еще поверив, но увидев эту чудовищно-обнаженную смерть Сергуненкова возле самоходки. Он, задыхаясь, взглянул на Дроздовского, на его болезненно искривленный рот, еле выдавливавший: «Не выдержал, не смог, зачем он встал?..» — и дрожа, как в ознобе, проговорил ссохшимся, чужим голосом, поражаясь тому, что говорит:

— Не смог? Значит, ты сможешь, комбат? Там, в нише, еще одна граната, слышишь? Последняя. На твоём месте я бы взял гранату — и к самоходке. Сергуненков не смог, ты сможешь! Слышишь?..

«Он послал Сергуненкова, имея право приказывать... А я был свидетелем — и на всю жизнь прокляну себя за это!..» — мелькнуло туманно и отдаленно в голове Кузнецова, не до конца осознающего то, что говорит; он уже не понимал меры разумности своих действий.

— Что? Что ты сказал? — Дроздовский схватился одной рукой за щит орудия, другой за бровку окопа и стал подниматься, вскинув белое, без кровинки лицо с раздувающимися тонкими ноздрями. — Я что, хотел его смерти? — Голос Дроздовского сорвался на визг, и в нем зазвучали слезы. — Зачем он встал?.. Ты видел, как он встал?..

В тот миг, глядя в глаза Дроздовского, растерянные, ошеломленные, Кузнецов словно оглох и не слышал ни выстрелов батареи, ни низкого гудения атакующих слева танков, ни разрывов на берегу, лишь не выходили из памяти задымившаяся шинель на Сергуненкове, его тело, мешком переворачиваемое на снегу пулеметными очередями: то, что произошло с Сергуненковым, не было похоже на смерть Касимова, даже на гибель расчета Чубарикова, раздавленного танком у орудия.

— Видеть тебя не могу, Дроздовский!..

Как в горячей темноте, Кузнецов двинулся к ходу сообщения, пошел в ту сторону, где должно было стоять крайним слева орудие Уханова; его била нервная дрожь, и он шел, опираясь на края брустверов, потом побежал, заглатывая морозный воздух, и появилась толкающая его всего безумная и спасительная отрешенность.

Он не определял для себя, что с ним произошло. Но после того как он снова, как тогда, когда стрелял по танкам, ощутил в себе неудержимую злость, ненависть боя, он вроде бы осознал особую и единственную ценность своей жизни, значительность

которой теперь даже не тайно от других мог бы взвесить с надеждой на случайное и счастливое везение. Он потерял чувство обостренной опасности и инстинктивного страха перед танками, перед всем этим стреляющим и убивающим миром, как будто судьбой была неосторожно дана ему вечная жизнь и вечная ненависть в этой страшной степи...

Когда он выбежал из полузаваленного хода сообщения и выскочил на огневую позицию Уханова, орудие бегло стреляло, откатываясь и выбрасывая из казенника гильзы, люди сновали, ползали вокруг станин, и, не разобрав в дыму лиц расчета, Кузнецов упал на бруствер, затрудненно дыша:

— Уханов! Все живы?..

Со звоном и паром выскакивали стреляные гильзы меж станин.

— Лейтенант! Снаряды!.. Пять штук бронебойных осталось!.. Где снаряды? Снаряды, лейтенант!..

Это кричал Уханов, но, слыша его голос, Кузнецов едва узнал командира орудия. Уханов, в одном ватнике, лежал на бруствере, смотрел на него; сощуренные глаза горели на черном, потном лице, ватник расстегнут на груди, раздернут ворот гимнастерки; на грязной шее веревкой надулась жила от крика; на веках и на бровях — лохмотья толовой гари.

— Снаряды, лейтенант! Снаряды, мать их так!.. Танки обходят! Снаряды!..

Он не спросил у Кузнецова, как у тех орудий, живы ли там: видно, догадывался, представлял случившееся на батарее, потому что несколько минут назад, стреляя по танкам, прорвавшимся к тем орудиям, сам видел все и потому кричал только о снарядах, без которых и он и люди с ним были беспомощны.

— Слушай, Уханов! Весь расчет... весь расчет за снарядами! К тем орудиям... там остались. Все снаряды сюда! Все до одного! Рад, что ты жив, Уханов!..

— Пуля для меня еще не отлита! — И Уханов, приподнявшись на бруствере, на секунду опять глянул острыми зрачками в глаза Кузнецова, жила на шее, исполосованной струйками пота, набрякла туже. — Значит, там... все? Мы одни остались, лейтенант?

— За снарядами, я сказал! Всех живых за снарядами!..

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

К концу дня по неослабевающему упорству и накалу боя, по донесениям, поступавшим из корпусов и дивизий, со всей очевидностью стало ясно, что главный танковый удар немцев направлен в стык бессоновской армии с правым соседом, ~~не~~

выдерживающим натиска, и в полосе правофланговой дивизии полковника Деева к исходу дня положение складывалось тяжелое. В полдень, после непрерывных атак, немцы захватили югобережную часть станицы, и здесь танки пытались форсировать реку в двух местах с целью выйти на северный берег Мышковой, двумя клиньями врезаться в глубину, расчленить и окружить наши войска, обороняющиеся на этом рубеже.

Бессонов сидел в жарко натопленном блиндаже НП армии, глядя на карту, разложенную на столе, и выслушивал по телефону очередной доклад генерала Яценко, когда вошел явно взволнованный член Военного совета Веснин, шагнул длинными ногами через порог; лицо покрыто красными пятнами, глаз не видно — в стеклах очков отсвет заката, багровевшего за окном блиндажа. Веснин быстро снял перчатки, раздумчиво пожевал губу, подошел к железной печи.

«Странное дело, в нем есть что-то мальчишеское... — подумал Бессонов и, почти поняв то, что Веснин готов был сказать, прервал разговор с Яценко. — С чем он приехал на энпэ?»

— Я вас слушаю, Виталий Исаевич.

— Танки прорвались на северный берег, Петр Александрович! Захватили несколько улиц в северобережной части станицы. Это хорошо видно с энпэ Деева. Бой начался на этой стороне, — стоя около печки, сказал Веснин. — Собственно, юго-западнее нас, километрах в десяти. Деев решил контратаковать, ввел в дело отдельный танковый полк Хохлова. Но пока никаких положительных результатов...

— Как только танковый и механизированный корпуса придут в район сосредоточения, немедленно жду сообщения, Семен Иванович. — Бессонов опустил трубку на аппарат и добавил: — Представитель Ставки встревожен положением у нас. Кроме танкового, нам придан еще и механизированный корпус. Из резерва Ставки.

— Есть о чем встревожиться, — сказал Веснин. — Положение в высшей степени... Жмут с бешеной силой.

Веснин потер руки, подергал сутуловатыми плечами, побил ногу о ногу; верно, не согревшись в машине, он так оттаивал в тепле после морозного ветра на НП дивизии Деева, где пробыл часа два.

— Значит, прорвались на северный берег? — повторил Бессонов.

В соседней половине блиндажа гудели голоса операторов, бесперебойно зуммерили телефоны — все еще было, казалось, по-прежнему, а в этом маленьком отсеке НП стало мгновенно тихо. Пышноусый старшина-связист с осторожностью покрутил ручку аппарата, давая отбой после разговора командующего со штабом армии. Радист, подававший в эфир позывные право-

флангового корпуса, кашлянул и перешел на шепот: майор Божичко, рассеянно протиравший тряпочкой кассету ТТ, устроившись в углу на топчане, оценивающим взглядом взглянул на Веснина, на Бессонова, вщелкнул до блеска отполированный магазин с патронами в рукоятку пистолета, вбросил ТТ в кобуру. Энергично застегнул ее, всем своим видом показывая Бессонову: готов к выполнению приказаний. Но Бессонов не обратил внимания на Божичко, непроницаемо молчал.

— Совсем ясно,— проговорил он наконец, не отводя усталых глаз от покрытого пятнами лица Веснина. Затем спросил: — Хотите сказать, Виталий Исаевич, что Деев не очень рассчитывает на успешную контратаку Хохлова? Полагаю, об этом был разговор с Деевым?

— Пожалуй, и об этом, Петр Александрович,— ответил, чуть улыбнувшись, Веснин, дуя в ладони, шевеля пальцами перед вытянутыми губами; веселость его была, несомненно, наигранной, но стало понятно и другое: полковник Деев был более доверителен и откровенен с Весниным, чем с ним, Бессоновым, опасаясь выявлять тревогу перед новым командующим, и высказал ее Веснину.

— Пока вы были на энпэ, Виталий Исаевич,— сказал скрипучим голосом Бессонов,— из штаба фронта сообщили, что немецкая авиация участила полеты в окруженную группировку, сбрасывает боеприпасы. Похоже, что активно готовятся к прорыву навстречу Манштейну. Что думаете по этому поводу, Виталий Исаевич?

— Наверно, все будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства здесь,— сказал Веснин.— От переднего края нашей обороны до Сталинграда сорок километров. Один переход в случае прорыва.

— Для подвижных соединений,— уточнил Бессонов.— Если они войдут в прорыв. В этом случае — да.

— Разрешите войти, товарищ командующий?

Плащ-палатка, закрывавшая вход в соседнюю половину, отдернулась, там горели аккумуляторные лампочки — и из этого яркого света, ударившего в проем, вошел заместитель начальника оперативного отдела Гладилин, серьезный, лет сорока майор; белый, высокий лоб его был потен. В то время как Гладилина по-человечески порывало сказать с тревогой: «Танки противника уже в станице, товарищ командующий!» — он заговорил с подчеркнутой штабной выдержанностью опытного человека, отлично понимавшего, кому и что докладывает:

— Товарищ командующий... из только что полученных устных донесений семьдесят второго и триста тридцать шестого полков стало известно, что немецкие танки полчаса назад форсировали реку, вклинились...

— Знаю, майор,— прервал Бессонов, несколько сейчас раздраженный и этим запоздалым сообщением оперативного отдела, и этим бесцветным голосом майора, его фальшивым, безжизненным спокойствием, как будто он, командующий армией, вынуждал людей к осторожности и неестественности одним личным своим присутствием здесь. Всякий раз он раздражался, когда чувствовал в общении эту форму самозащиты вышколенных и осторожных штабных командиров и свое незримое другим одиночество, вызванное его властью над людьми, его особым, подчиняющим людей положением. Барабаня пальцами по карте, он отвернулся к оконцу в блиндаже — неподвижной каленой стеной пылали пожары по всему юго-западу, от приблизившегося боя стол ощутимо подрагивал под рукой; отточенный карандаш подсказывал на карте.

«Так... прорвались на северный берег,— подумал Бессонов и прикрыл ладонью карандаш.— Значит, вышли?»

Веснин сунул отогретые руки в карманы полушубка и, подняв узкие плечи, слегка покачиваясь взад-вперед, задумчиво смотрел на заместителя начальника оперативного отдела. Майор Гладилин, прерванный на полужизне, стоял тихо, выжидательно около стола, и Бессонов оторвал глаза от оконца.

— Дальше, майор. То, что танки прорвались на северный берег,— это, кажется, ясно. Что можете еще добавить? Не слышал, а хотел бы услышать главное, майор.

— Час назад вступил в дело отдельный полк Хохлова, товарищ командующий, танки начали бои, но противник не приостановлен, вгрызается в нашу оборону,— проговорил майор Гладилин, и капельки пота заметнее обозначились на его высоком, бледном лбу.

— Вгрызается, вгрызается... Экие красивые слова! — недовольно сказал Бессонов.— Я спрашиваю, сколько танков? Рота, батальон? Или два танка? Сколько же?

— Есть предположение, товарищ командующий,— ответил Гладилин,— что немцы ввели в бой во второй половине дня свежую танковую дивизию. По-моему, прорвалось до двух батальонов, судя...

— Немедленно уточните ваши предположения! — передвинув карандаш на карте, опять прервал Бессонов, хотя замечание Гладилина о введении немцами свежей танковой дивизии совпадало с его собственным предположением.— Прошу впредь не торопиться с докладами, не уточнив все. Слишком часто поддаемся эмоциям. Идите, майор.

Майор тихонько вышел на негнувшихся ногах; его седоватый затылок и спина выражали беспрекословную подчиненность; задерживая плащ-палатку, он аккуратно оправил ее край, взглянув при этом на Бессонова мерклым взором робеющего в

его присутствии человека. И Бессонов подумал, что этот заместитель начальника оперативного отдела Гладилин, немолодой майор, слишком долго задержался в своем звании, не соответствующем его ответственной штабной должности, что он весьма не глуп, с чутьем, но мягкость манер и робость майора невольно вызывали чувство досады.

Помолчав, Бессонов ощупью потянулся к палочке, прислоненной к краю лавки, оперся на нее, встал. И мигом вскочил Божичко, секунду назад безмятежно рассматривавший свои ногти, снял с гвоздя возле двери в блиндаж полушубок Бессонова. Веснин, натягивая перчатки, пошутил среди общего молчания:

— Я давно в боевой готовности, Петр Александрович.

И посмотрел на Бессонова, на то, как он с кряхтеньем всовывал руки в рукава полушубка, поданного адъютантом.

Сильнее подрагивал от разрывов земляной пол блиндажа, красный карандаш от сотрясений стола перемещался, скользил по карте.

— На энпэ к Дееву.— И Бессонов едва заметно кивнул Веснину: — В моей машине поедете, Виталий Исаевич?

— Пожалуй... В одной машине удобней.

— Разрешите сказать Титкову, товарищ командующий? — Божичко взял со скамьи автомат.

— Охрану не брать. Пусть остается здесь. Нечего ей там делать.

Бессонов пошел к двери блиндажа.

Десять километров до НП Деева проехали быстро.

В минуты, когда вышли из машины, пересекли улочку станицы, вытянутую по берегу, и начали подыматься по ходу сообщения на крутую высоту, где находился НП дивизии, Бессонов не увидел в подробностях поле боя на том берегу, но и то, что он охватил взглядом справа в станице по этому берегу, объяснило ему серьезность создавшегося положения. На западе ярко, жгуче пламенела щель морозного заката, северо-бережная часть станицы пылала, дымилась в этом пронизывающем свете, разрозненными очагами колыхались над улочками пожары, возникшие от зажигательных пуль; ядовито алел снег, ало набухали между домами частые разрывы; внизу ревели невидимые танки, по всей окраине звонко хлопали противотанковые орудия.

Видно стало: справа, на берегу, обволакиваясь розовеющим дымом, горели подожженные четыре наших «тридцатьчетверки», но Бессонов сначала не разглядел, откуда атаковали немецкие танки. Потом он увидел и это. Выплывая огонь, машины поочередно выползали из-за обрыва берега, подставляя броню

пронзительным лучам заката, обходили горящие «тридцатьчетверки», исчезали меж домов станицы.

— Смотрите, товарищ генерал! — крикнул шагавший впереди Божичко с азартом и возбуждением от этой начавшейся везде заварухи, от этой зримой опасности. — «Катюши» видите, товарищ генерал? За домами... — и указал вниз на улочку, справа от высоты, извивами растянутую вдоль северного берега.

Бессонов промолчал, а Веснин спросил:

— Что вы там увидели, Божичко?

Они уже были на середине ската высоты, отсюда сверху открывалась вся станица, бегло стреляющие орудия противотанковых батарей на перекрестках дорог, полосы траншей с искрами выстрелов, наши «тридцатьчетверки», стоявшие за углами домов, из окон которых шили по берегу пулеметы, площадь с дивизионом «катюш», приведенных к бою. В это время две крайние машины тронулись, выехали на перекресток улочек позади пехоты и залпом с режущим, прерывистым скрипом вытолкнули в небо круглые тучи оранжевого дыма. Не было видно, по ком они стреляли. Только в пролете улочки закрубилось, поднялось пламя над крышами.

Столб ответного танкового разрыва вырос неподалеку от одной из «катюш». Блеснул огонь. Вторая «катюша» дала задний ход, развернулась, помчалась на площадь. Вихри разрывов взвились по дороге, настигая ее; но первая «катюша» недвижимо, как-то сиротливо-мертво осталась стоять на перекрестке. Расчет отбегал от нее мимо плетней.

— Неужто подбили? — произнес Божичко с досадливым непониманием. — Ах, бабушку твою мотать!..

— Не останавливайтесь, Божичко, — поторопил сзади Бессонов, — идите вперед.

— Есть, товарищ генерал!

И Божичко зашагал вперед по ходу сообщения, придерживая ремень автомата, и по его легкой и устремленной фигуре заметно было, что он еще раз хотел оглянуться в сторону немецких танков и этой подбитой «катюши» у пехотных окопов.

«Что ж, Деев прав, — думал между тем Бессонов, мучаясь одышкой от крутого подъема, — у Хохлова двадцать одна машина — отдельный танковый полк... Вряд ли он сумеет сдержать натиск, переломить обстановку. Хотя бы сковать их на час, на два! Все равно легче не станет, когда подойдут танковый и механизированный корпуса. Что бы ни было, держать их до последнего предела. В резерве держать. Для контрудара держать. Беречь как зеницу ока. Только бы не раздергать по бригадам, затыкая бреши! А Хохлову контратаковать, если даже у него останется одна машина...

— Петр Александрович!

Веснин шел впереди, споро вышагивая журавлиными ногами в узком ходе сообщения, и, когда остановился, Бессонов едва не натолкнулся на него. Молодое встревоженное лицо Веснина выразило желание сказать что-то, он будто вынырнул из состояния беспокойства, и Бессонов своим введливым опытом почти точно оценил его состояние: да, член Военного совета ясно сознавал реальную угрозу, нависшую над дивизией Деева в северобережной части станицы. И Веснин заговорил:

— Петр Александрович! Хочется быть оптимистом! Но кто знает, как оно все сложится! Если они, паче чаяния, прорвут на всю глубину и соединятся со сталинградской группировкой, ведь это значит свести на нет успех ноябрьского контрнаступления, и к черту надежды на поворот в войне, как мы уже стали говорить после ноября! Опять все сначала? Представить не могу... и не хочу! Как вы на все это смотрите?

— Пока большого оптимизма не испытываю — не хочу быть провидцем. В танках и авиации у Манштейна явный перевес, — ответил Бессонов. — И все-таки думаю, что Сталинград имеет для немцев первостепенное значение только потому, что на Кавказе дела у них неважны стали. Опасаются быть отрезанными. Поэтому вот эта операция для них — камень преткновения.

— Петр Александрович, я толкую о нашей армии! — с жаром сказал Веснин. — Простите, не думал сейчас о Кавказе почему-то! А вот, кроме полка Хохлова, стоило бы пустить в контратаку хотя бы одну бригаду из нашего мехкорпуса? Как вы полагаете? Ведь это очень существенно!

— Не уверен, не могу распылять танки. Немцы должны увязнуть, а чем, скажите, воевать дальше будем? — твердо возразил Бессонов, хотя и понимал, что подталкивало Веснина на это предложение.

Он также понимал, что ни командиры дивизий, ни командиры корпусов, а только он, командующий армией, и, в силу своей должности, Веснин должны будут равно ответить полной мерой в случае роковой неудачи, в случае провала операции, независимо ни от чего и ни от кого. И это странно соединяло их одной судьбой, несколько смягчало Бессонова и вместе с тем вызывало подозрение: смог ли бы этот молодой член Военного совета в самом безвыходном положении оставаться с ним и нести ответственность одинаково с ним? Бессонов сказал:

— Не чересчур ли уж внимательно вы вникаете в оперативные вопросы, Виталий Исаевич?

— Не понимаю, — пробормотал Веснин и поправил дужку очков на переносице. — Почему чересчур?

— Полагаю, что вас в большей степени должны беспокоить вопросы, так сказать, морального порядка.

— Странные у нас отношения, Петр Александрович, — тихо

и с сожалением проговорил Веснин.— Вы меня не подпускаете к себе ни на миллиметр. Почему? Какой же смысл? Понимаю, можно разбить головой стеклянную стену, пораниться, но ватную... Ватная стена между нами, Петр Александрович, да, да! Сначала мы с вами были на «ты», потом перешли на «вы»... И как-то незаметно вы это сделали.

— Не совсем согласен. Но, может быть, так удобней, Виталий Исаевич. И вам и мне... Не пробивать головой стену. Тем более голова-то у каждого одна. Ложись, комиссар!..— И Бессонов, пригнувшись, сильно дернул за рукав Веснина.

С животным, задыхающимся мычанием где-то справа за высотой «сыграли» шестиствольные немецкие минометы, заблестали по горизонту хвосты реактивных мин, рассекая огненно-дымный закат. Разрывы раскаленными спиралями закрутились на вершине высоты. Высота хрястнула, тяжело вздрогнула. Навстречу ударило визжащим ветром осколков.

Бессонов и Веснин упали на дно хода сообщения и лежали так несколько секунд, защищенные землей и одновременно незащищенные перед судьбой и случайностью. Кто знал, на сколько делений мог изменить прицел немецкий наводчик? Бессонов чувствовал, что лежит неудобно, придавив больную ногу, и с отвращением к самому себе, к своему телу, которое испытывало боль и страх перед вторичной возможностью боли, он заворачивался на земле под чужим взглядом. Веснин, сдернув очки, близоруко смотрел на него с тем изумленно-вопросительным выражением, которое говорило: «А вы тоже боитесь умереть, генерал? Оказывается, все одинаково слабы перед смертью». Морщась от боли в ноге, от унижения, которое испытывал каждый раз, «целуясь с землей», Бессонов закричал со стиснутым ртом, хотел сказать в ответ на этот взгляд Веснина: «Нет, милый комиссар, умереть я не боюсь, к жизни меня, дорогой мой, привязывают тоненькие ниточки. Боюсь только бессмысленных страданий, с меня их хватит после осколка, перебившего кость в ноге». Но он знал, что ничего подобного не скажет члену Военного совета: эта откровенность была бы тоже бессмысленной, как ранение или смерть в этом ходе сообщения.

— Теперь не с юга, а с запада бьют, Петр Александрович,— проговорил Веснин и подышал на стекла очков, протер их перчаткой.— Обходят все-таки.

— С запада, с запада,— ответил Бессонов. С шапки его сыпалась земля.— Встать! Пошли,— сказал он сам себе и тряхнул головой.

Дым разрывов желтой мутью стлался по скатам высоты, спереди донесся тревожный зов Божичко:

— Товарищ командующий! Товарищ дивизионный комиссар! Никого не задело?

Майор Божичко бежал к ним по ходу сообщения.

— Живы, живы,— ответил брюзгливо Бессонов с недовольством на самого себя, взял палочку, поднялся и, не дожидаясь Веснина, решительно захромал навстречу подбегавшему Божичко.— Не кричите, майор, так громко. В этом нет надобности.

— Слава богу, думал, накрыло вас, товарищ командующий,— сказал облегченно Божичко.— Больно густо кидал! И вроде с тыла ударил!..

Полковник Деев был на НП, на самой вершине высоты, стоял с группой командиров возле стереотрубы, смотрел на поле боя за рекой, все багровое, залитое меркнувшим закатом, все раздробленное, разнообразно расцвеченное вспышками разрывов, огнями выстрелов. Но как только Бессонов вошел в глубокую траншею наблюдательного пункта и командиры вытянулись перед ним, а связисты, сидя над телефонами, подняли головы, Деев по чьему-то предупреждению за спиной: «Командующий»,— быстро оторвался от стереотрубы, на полный вдох развел грудь под портупеей на полушубке, чтобы докладывать.

Жесткий ветер гудел по высоте, рвал, разносил звуки стрельбы. Все лица, красные от заката, нахлестанные ветром, выражали тревожное ожидание и одновременно еле уловимую вину за сложившуюся обстановку в полосе дивизии. Вскользь пробежав взглядом по лицам, Бессонов задержал глаза на Дееве.

— Товарищ командующий! — молодым баритоном стал докладывать Деев (его крепкая медная шея выпирала из мехового воротника полушубка, и Бессонов про себя отметил, что этот высокий рыжеватый полковник, с налитой шеей, с плечами атлета, по-молодому здоров, никогда еще не был ранен, вероятно, ни разу в жизни не болел).— Час назад немцы подавили выдвинутые вперед батареи на том берегу, прорвали первую траншею, силою до двух танковых батальонов форсировали реку восточнее и западнее высоты, появились на северобережной окраине станицы... Против них задействована истребительная противотанковая бригада. Введен танковый полк...— Деев внезапно замаялся.— Создалось серьезное положение на флангах дивизии, товарищ командующий.

— Знаю, полковник,— сказал Бессонов.— Только договаривайте до конца. Создается опасное положение охвата или обхода с тыла? Так, по-видимому? Фланги подрезают? Такой, кажется, терминологии учили в академии?

— Не кончал академии, товарищ командующий.

— Не кончали? Напрасно. А впрочем...— Бессонов по неожиданной ассоциации вспомнил, казалось сейчас, очень давний разговор в Ставке о своих годах учебы в академии, вопросы о генерале Власове и, воткнув палочку в землю, шагнул к стереотру-

бе.— Впрочем, это сейчас не так важно, полковник.— И он обернулся к молча стекавшимся из разных концов траншеи командирам.— Что ж... решение принято, Деев. Танковому полку Хохлова контратаковать, сбивать с плацдарма танки. Вызвать сюда же весь полк реактивных минометов. И доведите мой личный приказ до командиров стрелковых полков.— Бессонов опять поглядел на Деева, словно свинцово вбивая взглядом каждое слово.— Полкам драться в любых обстоятельствах. До последнего снаряда. До последнего патрона. Главное — сковать немцев и уничтожать танки. Всеми средствами! Без моего личного приказа ни шагу назад! Отходить права не даю! Это прошу помнить ежесекундно! Ясно, полковник Деев?

Он не хотел успокаивать, оправдывать, обманывать самого себя — он шел на высоту с этим обдуманым, готовым приказом, уже весь полагаясь на сознательную беспощадность его как единственно возможного решения в сложившейся на сейчас обстановке, заранее представляя потери в полках, хотя можно, казалось, было бы, рискуя следующим часом, отдать другой приказ — ввести в бой силы второго эшелона корпуса или армейский резерв. Но ни Бессонов, ни кто другой не способен был предвидеть, как сложится переменчивое положение через час, через два, то есть то положение для всей армии, когда уже представлялось бы невозможным исправить что-либо.

Подобно тому как человек под ударами жизни тратит последние оставшиеся деньги, зная, что запасов больше нет, так и Бессонов, вводя в дело резерв, каждый раз испытывал какую-то незащищенность будущего, беспомощно открывшееся пространство за спиной. Все тогда казалось зыбким, в руках оставалась пустота. И поэтому со странной жадностью он берег резервы до последней, предельной возможности, до того невыносимо рискованного положения, которое напоминало натянутую струну, готовую вот-вот гибельно и непоправимо оборваться. Раньше ему это удавалось. Раньше ему везло. И Бессонов договорил:

— Это пока все, полковник. До конца боя буду у вас на энпэ. Стоять на занимаемых рубежах до последнего. Для всех без исключения объективная причина ухода с позиций может быть одна — смерть...

Он произнес это тем своим голосом, который был знаком Веснину, слышан им на марше при встрече с танкистами, тем непреклонным и несильным даже голосом, от которого словно бы исходила смертельная волна приказов, и при этой его интонации хотелось Веснину отвести глаза, не видеть жесткого его лица, болезненно-серого, с колючим ртом.

«Так вон он как! Значит, я не ошибся. Вот почему еще до его приезда в армию распространились слухи о его жесто-

кости», — подумал Веснин, поглядев на Деева, покорно откозырявшего после приказа Бессонова. И в оправдание подумалось еще: «Нет, возможно, он и не должен вдаваться в подробности. Да, он хочет заявить, что будет беспощаден ко всем, в том числе и к самому себе...»

И тогда Веснин, смягчая этот отдающий железным холодом приказ Бессонова, чуть улыбнулся Дееву.

— Идите, товарищ полковник. И исполняйте свои обязанности, если все ясно.

— Все понял, товарищ член Военного совета, — грудным баритоном ответил Деев, коснувшись кончиком перчатки рыжеватого виска под примятой набок шапкой.

Потом разошлись, рассосались по своим местам и другие командиры. Траншея опустела.

— Наверное, нужно было как-то поделикатнее, Петр Александрович... — с укоризной сказал Веснин, когда они остались один на один.

— Не нахожу нужным искать другую форму, ибо содержание одно. А иным быть не могу, Виталий Исаевич! Считаю, что от нас с вами зависит не только исход этой операции, как вы правильно сказали, а гораздо большее. Тут не до леденцов!

Бессонов стал у стереотрубы, и Веснин снова увидел его отчужденное, холодное, не подпускающее к себе лицо.

Майор Божичко — в двух шагах от него — следил за командующим с видом покорной готовности к сиюминутному выполнению любого приказа — по малейшему жесту Бессонова, по его кивку или слову; он еще на марше почувствовал твердую силу хозяина и тогда же усвоил соответствующую манеру поведения. И от этого тоже было не по себе Веснину, знавшему Божичко не первый день и выделявшего его среди адъютантов за легкий, общительный нрав.

Бессонов между тем, вобрав голову в воротник, долго смотрел вниз на поле боя перед высотой. Все пространство за розоватыми извивами реки с оспенной чернотой льда, искромсанного бомбами и снарядами, высокий берег, откуда непрерывно вели огонь наши батареи, пологие скаты высот за широкой балкой слева от станицы, где в растянутом по фронту дыму взблескивали выстрелы танков, — все было в кровавом свечении заката, все смещалось, двигалось, сплеталось малыми и большими огнями, затягивалось траурными косыми шлейфами горевшего железа, горевшего масла, бензина на земле, и чудилось, от пожаров и от заката пылал снег.

Этот хаос, эта путаница трассирующих снарядов вблизи берега и неподалеку перед высотой НП дивизии — вся видимая обстановка боя и в дыму плохо различимая позади высоты, в северной части станицы, куда прорвались немецкие танки, по

которым недавно стреляли «катюши», представилась Веснину настолько определенно-ясной, не вызывающей никаких сомнений, что было просто непонятно, почему вот сейчас Бессонов молчал, а худощавое, лиловое от заката лицо его выражало странную брезгливость. И Веснин тоже не говорил ничего, взволнованный не опасностью окружения, а тем, что мнилось, ни Бессонов, ни Божичко не чувствовали и не видели в эту минуту того, что видел и чувствовал он.

А Веснин видел, как за рекой, охватывая слева и справа степь перед высотой, немецкие танки продвигались к берегу, переправлялись слева, ползли во тьме дыма все дальше и дальше в глубь обороны дивизии, как стреляла по ним с северного берега противотанковая артиллерия и на южном берегу несколько орудий, обойденных с тыла, развернувшись на сто восемьдесят градусов, били по ним сзади. Танки продвигались, малиново-серыми тенями выползали из освещенной мглы, переправлялись на северный берег через полуразрушенный мост левее высоты. Потом покраснел, расползся огонь на мосту — немецкий танк загорелся на середине пролета, но тотчас другой танк, следом вползший на мост, с ходу ударил лобовой частью подожженную машину, и та стальной тяжестью обрушилась с пролета на лед реки, погружаясь в огромную продавленную полынью, чернея башней, а другие танки шли и шли по освобожденному мосту.

Тогда Веснин, полуобернувшись и увидев опять освещенную закатом, выбритую до гладкой синевы щеку Бессонова, молча стоявшего у стереотрубы, сказал с нескрываемым беспокойством:

— Петр Александрович, посмотрите на мост! Не понимаю — саперы не успели взорвать? Или немцы восстановили?

В сторону моста скользнул обламывающий свинцовый взгляд Бессонова, который, как только пришли на НП, подавлял и будто отталкивал всех от себя; голос же его прозвучал утомленно:

— Вот тоже стою и думаю: почему все-таки не взорвали мост? Можно это было сделать? Бога войны прошу ко мне!

— Командующего артиллерией к генералу, — передали по траншее.

Командующий артиллерией дивизии, скромного роста полковник с дородным, интеллигентным лицом, приблизился к Бессонову, прижал руки к бокам, сторожко поглядел на Веснина, с которым знаком был с формирования, и Веснин на этот вопросительный взгляд произнес скороговоркой, избегая подробных объяснений:

— На вас сейчас вся надежда, бог войны! Дайте же огонь по мосту! Уничтожьте, сожгите этот мост! Вы видите, что там происходит?

— К сожалению, пресловутые авось и небось — еще не окончательно повергнутые столпы. С чем распрощаться надо было еще в сорок первом, — проговорил Бессонов так же утомленно, обращаясь к командующему артиллерией. — Все-таки можно было раньше разрушить переправу артиллерией, если саперы не успели? Как думаете, полковник? Или это — за гранью вашей фантазии?

— Товарищ генерал, — заговорил командующий артиллерией, стараясь с достоинством знающего свое дело человека ответить Бессонову, — мост все время под нашим огнем, но немцы его восстанавливают. Посмотрите, пожалуйста, на переправу. Наша стопятидесятидвухмиллиметровая ведет огонь. И надеюсь...

Но Бессонов прервал его:

— Если танки продвигаются, полковник, значит, мост абсолютно цел. Верю тому, что вижу. — Он палочкой ткнул в направлении затянутого дымом моста. — Закон рассеивания? Малая вероятность попадания? Почему же у немцев закон рассеивания...

Он не закончил фразу. Воюющие, скрежещущие звуки шестиствольных минометов задавили, смяли все человеческие звуки на высоте. Кометные хвосты мин зажгли, загородили закатное небо на западе. Высоту раскололо землетрясение, стремительно завращало по скатам махающие жаром огненные карусели. И в тот же миг кто-то тяжело и защищающе притиснул Бессонова к затрясшейся стене траншеи: это был майор Божичко.

— Товарищ генерал, ложитесь!..

И тотчас Бессонов заметил мимолетное внимание всех, кто был здесь, в траншее, их взгляды, обращенные на него, спрашивали: «Ляжет или не ляжет? Если ляжет, мы тоже. При высоком начальстве поспешное целование с землей может обернуться невыгодно».

А командующий артиллерией ни на шаг не отодвинулся от бруствера, упорно глядел в сторону моста, даже не присев и головы не пригнув; потом пошел по траншее к телефонам с полным внешним безразличием к гремевшим на высоте разрывам.

— Полковник! — с укором крикнул Веснин. — Как мальчишка из училища, под огнем ходите! — И нагнулся к бровке траншеи.

Досадуя в эти секунды на себя и еще больше — на выжидающих командиров, на командующего артиллерией, при мысли о том, что они не решались спешить укрыться в его присутствии, Бессонов легким толчком отстранил Божичко, морщась, с кряхтеньем присел на дно траншеи, устало полуприкрыл глаза, приказал:

— Не стоять! Всем в укрытие!

Он не знал, была ли услышана его команда в ломающемся грохоте над высотой, но все легли. Бессонов смотрел из-под век в одну точку перед собой — на валенок Божичко, привалившегося у его ног, и странная, раздражающая мысль не выходила из головы: «Почему мы подчас в такие вот моменты боимся искренности чувств? Почему нередко хотим выглядеть в неестественном свете глупого бесстрашия, пускаем пыль в глаза? Почему скрываем нормальное, человеческое? Что они думают обо мне? Машина власти без сердца и нервов? От моего мнения зависит военное счастье каждого и даже опасность смерти не может нас уравнивать? Так они думают обо мне?»

Но, задавая себе эти вопросы, он сознавал, что сам никогда и никому не позволил бы излишней суеты на НП и этого излишнего ныряния в землю во время огневых налетов и не простил бы этого, как и непозволительной нерасторопности в бою, на которую не способен был смотреть сквозь пальцы, — он не сумел бы быть другим.

Валенок Божичко, вымазанный землей, двигался при каждом разрыве по дну траншеи, лез в глаза, зачем-то устраиваясь поудобнее. И, вновь подумав о неразрушенном мосте, Бессонов не смог подавить приступ досады, похожий на раздражение, проговорил негромко:

— Полковника Деева ко мне.

Этот его голос заставил Божичко вскочить — валенок, вывоженный в глине, мгновенно исчез из поля зрения. Затем Божичко опять сел на дно окопа, доложил поспешно: «Все в порядке, товарищ командующий», — и сейчас же полковник Деев, сгибаясь, подбежал из отвилки траншеи к Бессонову, опустился на землю — примятая шапка обсыпана землей, красная, тугая шея выпирает из воротника полушубка, рыжие брови сдвинуты. Деев не поспешил сказать: «слушаю, по вашему приказанию прибыл, товарищ генерал», — что было бы нелепым в полулежачем положении, и Бессонов опередил его.

— Вот приходит мысль, полковник, — заговорил он, едва разжимая губы, чтобы не слышали рядом, — немцам почему-то не мешают законы рассеивания довольно точно накрывать высоту. Не думаете ли вы, что если бы немцы сидели на этом энпэ, а наши танки шли бы там, внизу, то мост они как-нибудь разрушили бы? Вы не думали об этом?

— Мелькала мысль, товарищ командующий, но дело в том...

Рвущиеся кольца закручивались по скатам высоты, чугунным звоном наливало голову, сверху обрушивалась на траншею раздробленная земля, колотила камешками по плечам Бессонова, и грязные струйки текли по бараньему воротнику Деева, по его груди, и он хмуро стряхивал с полушубка комья темного снега.

— Продолжайте.

— Товарищ командующий,— выговорил наконец Деев,— дело в том, что немцы на танках саперов подвезли. И переправа восстанавливается ими, как только наша артиллерия накрывает мост.— Он сделал паузу.— Остается одно, товарищ командующий: вызвать на прямую пару «катюш», если, конечно, их в станице не разобьют по дороге прорвавшиеся танки.

— А если «катюши» сейчас не смогут подойти? — спросил Веснин, старательно протирая стекла очков, на которые налипала сгустками летевшая в траншею горячая грязь.— Как тогда?

— Да, мы можем потерять их, товарищ член Военного совета. Рисуем «катюшами»...

— Рискуйте,— оборвал, не повышая голоса, Бессонов.— Даю вам одну минуту на обдумывание этого риска! Вы свободны.

Однако и одной минуты было много полковнику Дееву. Он отполз от Бессонова к ближнему телефону, и оттуда послышался его густой баритон:

— Запоминай, бог войны! Плохому донжуану, простите меня, всегда пуговицы мешают! Вызывайте к мосту на прямую наводку пару «катюш». Будем рисковать! Им там виднее, как проехать под носом у танков! Вы меня поняли? Чтоб через двадцать минут и в помине этого моста не было! И духу чтоб от него не осталось! Ясно? Слышать о нем больше не хочу,— уточнил азартно и грозно Деев, а Бессонов отвернулся, чтобы не видеть его надувшейся от крика сильной, молодой шеи, его рыжего затылка, и с неприятным ощущением оттого, что, позволяя резкость себе, никак не терпел ее у других, подумал: «Неужели Деев подделывается под меня?»

— Ну и голосок у нашего Деева, легко перекричит сотню граммофонов и любой артналет,— заметил Веснин с шутливым удивлением и стал изучающе разглядывать северную стенку траншеи, по которой скатывались струйки грунта.

И Бессонов увидел на его лице острое прислушивающееся выражение, точно Веснин улавливал или хотел уловить то, чего не слышал Бессонов в раскалывающемся над траншеей визге и грохоте играющих за рекой шестиствольных минометов.

— Хохлов! — крикнул Веснин, показывая своими близорукими глазами на северную стенку окопа.— Наши «тридцатьчетверки» в станице хлопают. По звуку слышу! Ох, трудненько сейчас им приходится!..

«Да, двадцать один танк»,— подумал Бессонов, представив контратаку полка среди улочек станицы, и не ответил. То, что танковый полк Хохлова вступил в бой, не могло, конечно, существенно изменить обстановку, устранить, ликвидировать реальную угрозу нависшего окружения дивизии, опасность на правом фланге армии. И он не хотел самоуспокоительно лгать

себе: контратака Хохлова была в силах только на какое-то время сковать прорвавшиеся на северный берег немецкие танки, заставить их увязнуть в уличных боях — не больше. Но и это было облегчением. И от этого уже зависело многое. Как в игре с немногими данными, Бессонова неотступно мучила неизвестность — точно ли ввели немцы во второй половине дня свежую танковую дивизию из резерва, и если ввели, то чем они еще располагали, чего еще можно ожидать от них, чем они собираются козырнуть? «Что там решают сейчас у этого Манштейна?» — подумал Бессонов, глядя на Божичко, выковыривающего землю из-за голенищ валенок, и, вспомнив с сожалением о невернувшейся дивизионной разведке, поднял отяжелевшие веки на задумчивое лицо Веснина, который с полным вниманием и как бы доверием ловил новые звуки боя в станице, где полк Хохлова пытался приостановить, сдержать продвижение вышедших на северный берег танков.

«Сколько длится этот налет? Пять минут? Десять минут? Совсем не жалеют мин...»

— Командующего к аппарату! — пронеслись голоса по траншее, мгновенно подхваченные Божичко. — Товарищ командующий, вас!..

«Яценко! — сообразил Бессонов и с тревогой пошевелился. — Долго не было связи. Что скажет сейчас Яценко?»

Стараясь не надавливать на замлевшую раненую ногу, он встал, а майор Божичко при этом как-то сверхзаботливо поддерживал его под локоть, и Бессонов сказал, усмехнувшись:

— Хотел бы предупредить вас, Божичко, не ухаживайте за мной чересчур, как за старой дамой, и не принимайте меня за дряхлеющего старика.

— Да что вы, товарищ командующий! — отозвался бодрым голосом Божичко, и ясно было: адъютант солгал: по движениям Бессонова, по морщинам усталости, по скрипучему голосу, по сухости болезненного лица двадцатисемилетний майор, конечно же, считал его стариком — и с этим ничего нельзя было поделать: между ними разделяюще пролегла не одна только разница лет.

Подойдя к блиндажу связи, Бессонов остановился и пристально посмотрел через бруствер, надеясь поймать изменения на поле боя. Над степью схлестывались пожары, мешались с неостывающим по горизонту заревом заката. И там, далеко, в этом зареве и над ним, возбужденной стаей комариков падал вниз и возносился в небо, переплетаясь очередями, посверкивающий клубок наших и немецких истребителей. Протягивались черными перекрестиями дыма — шел всегда малопонятный с земли воздушный бой. А ниже боя группами и попарно проходили наши штурмовики, ныряли, казалось, над краем света.

Вблизи же, перед высотой и по скатам балок, медленным

широким полукольцом танки все теснее охватывали берег. Слева моста не было видно в сплошном частоколе разрывов, в закипях аспидного тумана. Перед подожженным мостом уже скопилось около десятка танков. На окраине станицы горели две наши «катюши», те, наверно, которые вызваны были... Танки расползлись и снова сползались к месту переправы под прямым огнем с северного берега выдвинутых сюда противотанковых дивизионов, а с южного берега, с самого его гребня, бегло стреляло одно орудие, развернутое от фронта на сто восемьдесят градусов, и ответные разрывы застилали его. Оно исчезало, это орудие, оно растворялось в черноте и вновь оживало там, откуда вспыхивали выстрелы.

И Бессонов подумал, что он ведь был в конце ночи именно на той батарее, откуда стреляло единственное орудие, и хотел вспомнить такую знакомую фамилию командира батареи.

Но не вспомнил, не стал напрягать память. Другая мысль охватывала его целиком: чувствуя успех, немцы до наступления темноты торопились углубить и расширить прорыв. И подумал еще, что, по-видимому, наступило то почти критическое положение, то состояние наивысшей точки боя, когда натянутая стрела напряглась до предела, готовая вот-вот оборваться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В блиндаже под тремя накатами было все приглушено — звуки боя проникали сюда сквозь толщу бревен и земли заметно ослабленными. Здесь нормально звучала человеческая речь, по-ночному горели две «летучие мыши». Подобно маятникам, фонари однообразно раскачивались под толстыми накатами, желто освещая небритые лица, карты, телефонные аппараты на двух столах.

Командующий артиллерией, разговаривавший с командиром полка реактивных минометов, опустив трубку на карту, сделал полуоборот от стола, намеренный доложить. Но Бессонов кивком остановил его — знал, что он будет докладывать о подожженном «катюшами» мосте, — и под следящими взглядами операторов прошел в дальний отсек, где были телефоны и рация, державшие связь со штабом армии.

Божичко, по воспитанности опытного адъютанта, не вошел в отсек, закрыл за Бессоновым дверь и, исполняя роль охраны, встал у входа. С развеселым видом свойского парня он подмигнул молоденькому младшему лейтенанту-связисту, глядевшему на него с нескрываемым любопытством. Энергично потер ладонь о ладонь, затем извлек из кармана шинели роскошную пачку «Пушек», выщелкнул папиросу.

— Младший лейтенант, закуривай,— сказал Божечко с дружелюбной и вместе с заговорщической интонацией, переходя на панибратское «ты».— Как живешь-то?

— Ничего, товарищ майор. А что? — Младший лейтенант взял не очень ловко папиросу, еще не понимая причину начатого разговора: — Спасибо, товарищ майор.

— Брось своего майора. Что значит «майор»? — шепотом сказал Божичко.— Всю жизнь, думаешь, был майором? Человеческое имя мое — Геннадий... В цирк ходил когда-нибудь? Видел, нет? Смотри сюда.

Божичко, загадочно улыбаясь, сделал плавный взмах рукой и растопырил пальцы вблизи лица растерянно заморгавшего младшего лейтенанта — пачка папирос исчезла, потом вторичный ловящий взмах в воздухе — пачка папирос возникла на ладони. Младший лейтенант не знал, что Божичко истомился, изнемог в бездействии и рад был развлечься. Связист почему-то сконфузился.

— Вы артист, товарищ майор? Вы, наверно, фокусником были?

— Пустяки. Дилетантство. Все в прошлом,— небрежно сказал Божичко и, подкинув в воздух зажигалку, чиркнул ею, подставил огонек под папиросу.— Слушай, младший лейтенант, у вас, есть новые анекдоты? Или все столетней свежести? Последний, про Еву Браун и Геббельса в раю, дошел до вас?

— Н-нет,— снова сконфузился младший лейтенант.— Про какую Еву? Та, что... Та, что в Библии, товарищ майор?

— Чудачок ты! Библия!.. Прозябаете тут, мальчики, в необразованности. Ну вот, слушай. Рай, кущи, солнышко, фиговые листочки...— начал шепотом, развлекаясь в бездействии, Божичко, довольный тем, что нашел нежданного и непросвещенного собеседника. Внезапно он смолк, поймав слухом из-за двери голос Бессонова, после этого подмигнул дружески младшему лейтенанту, похлопал его по плечу: «Потом, потом»,— и, поправив портупею, сложил руки на груди, стал перед дверью с папиросой в зубах.

...Бессонов не ошибся: звонил начальник штаба генерал-майор Яценко. Здесь, в отсеке блиндажа, где была установлена рация и линейная связь со штабом армии и корпусами, находился начальник разведки дивизии подполковник Курышев. Начальник разведки стоял возле столика, темное от забот и переутомления умное лицо его было серьезно. Он разговаривал по телефону с Яценко, повторяя однотонно: «Да, товарищ пятый. Понял, товарищ пятый»,— и желтыми, прокуренными пальцами перекатывал карандаш по карте. Радист, незаметный в тени, сидел в углу тихонько, склонившись над рацией, казалось,

спиной, затылком вслушивался в этот разговор с командным пунктом армии.

— Вас, товарищ командующий,— сказал подполковник Куршев и протянул трубку.

— Благодарю.

Строевой бас Яценко звучал, как обычно, отчетливо, и хотя в целях принятой в телефонных разговорах предосторожности он докладывал сложившуюся к исходу дня обстановку на замысловатом армейском аргю, Бессонов легко переводил его доклад на обычный язык. Немцы по-прежнему атакуют на южном и северном крыле армии при массированной поддержке с воздуха. Атаки не прекратились, но ослабли к вечеру, и сильным ударом более шестидесяти танков им удалось несколько потеснить левофланговую дивизию; идут ожесточенные бои в глубине первой полосы обороны, немцы вклинились в нее на полтора-два километра. Пришлось ввести в дело одну мотострелковую и одну танковую бригады 17-го механизированного корпуса, прикрывающего левый фланг, но положение пока не восстановлено. В центре обороны армии положение можно считать устойчивым. Резерв Ставки — 1-й танковый и 5-й механизированный корпуса — еще не прибыл в районы сосредоточения. Несколько часов назад разведкой фронта перехвачена радиограмма из немецкой группы армии «Дон», штаб которой, надо полагать, уже в Новочеркасске; незашифрованный текст за подписью самого Манштейна, посланный в штаб Паулюса: «Держитесь, победа близка, мы идем на помощь. Будьте готовы к рождественскому сигналу о погоде». Что означает последняя фраза, сказать пока трудно, возможно, речь идет о встречном ударе окруженной группировки Паулюса для соединения с танками Манштейна. Очень заметно активизировалась немецкая транспортная авиация — сбрасывает Паулюсу горючее и боеприпасы, несмотря на то что наша авиация энергично блокирует немецкие аэродромы. В окруженной группировке заметно передвижение танков к юго-западной части «котла», в район Мариновки.

Бессонов ни разу не перебил этот педантично подробный доклад генерала Яценко — прислонив палочку к краю стола, стоял молча, опершись рукой на аппарат. Только когда в голосе начальника штаба появились заключительные интонации, Бессонов расстегнул крючок воротника, присел к столу, помедлив, спросил:

— У вас все?

И, спросив, представил себе грузного, бритоголового Яценко сидящим под ярчайшими аккумуляторными лампочками на КП над картой в окружении работников оперативного отдела,— до блеска кожи побрит, чистый подворотничок, тщательно вымытые крупные руки. И, заранее угадывая ответ его, Бессонов сказал:

— Яснее ясного, что главный удар они наносят здесь, а левее — вспомогательный.

— Я тоже убежден, что хотят пробить коридор к Паулюсу через боевые порядки Деева. Думаю, что Манштейн не изменит своей тактики — будет таранить нашу оборону на одном узком участке и там, где поближе к цели.

— Согласен.

— Постараюсь выяснить подробнее, что сейчас у Паулюса. Каково положение его подвижных войск? Способен ли он все-таки к прорыву навстречу Манштейну? Это немаловажно сейчас, Петр Александрович.

— Это более чем важно, — подтвердил Бессонов и добавил: — Меня интересует также, когда придут наконец первый и пятый. Поторопите!

— Все время тороплю, Петр Александрович, — забасил Яценко с одышкой, выдававшей его волнение и досаду оттого, что приданные армии танковый и механизированный корпуса еще не прибыли в назначенный им район сосредоточения. — Когда вас ждать у нас?

— Пока не ждать. Здесь, как говорят, точка преткновения, Семен Иванович.

Яценко выдержал паузу.

— Но, судя по обстановке, вам не следовало бы особенно задерживаться у Деева, подвергать себя... — Яценко шумно задышал в трубку. — Не имею права в данном случае советовать, но, может быть, благоразумнее было бы переехать вам на эн-пэ армии.

— Вот что, Семен Иванович, — перебил Бессонов, не слушая и морщась. — Прошу вас полностью озаботиться левым флангом, уж коли я здесь. Контратаковать без передышек!

Он провел пальцами левой руки по лбу, пальцы были влажны, дрожали от усталости, чувствовалось подергивание и боль в немеющей ноге, которую он неудобно подвернул, упав на дно хода сообщения во время налета шестиствольных минометов.

Положив трубку, Бессонов долго сидел в задумчивой рассеянности, осторожно распрямляя под столом ногу, — ожидал, когда боль пройдет и он сможет встать, но боль не проходила.

— Тот разведчик, который сумел выйти, нового ничего не сообщил? Он в сознании? Где он? — спросил Бессонов Курышева, пытаясь отвлечься от горячего подергивания в голени.

Глядя на испещренную пометками карту, подполковник Курышев заговорил, не выражая голосом чрезмерного утомления издерганного длительным беспокойством человека:

— Когда его принесли с батареи, был в полусознании,

товарищ командующий. Из его слов можно было понять, что остальные разведчики при возвращении из поиска были обнаружены немцами, приняли бой и застряли вместе со взятым «языком» где-то перед окопами боевого охранения. Вернувшийся отправлен в медсанбат, но вряд ли он покажет что-либо новое... Да, я несу за разведку всю полноту ответственности.

— Прекратите.— Бессонов легонько хлопнул ладонью по столу.— Прекратите самобичевание, это бессмысленно и совершенно некстати, подполковник. Это не поможет ни вам, ни мне. Пленных нет — и сейчас быть не может,— немцы наступают, а мне нужен серьезный, порядочный и хорошо осведомленный немец. Ну, что будем делать, подполковник?

— Разрешите подумать, товарищ командующий?

Бессонов видел, как подполковник Курышев неспешно и аккуратно, точно крошки хлеба, сгребал с карты комочки земли, текущей из-под накатов. Это представлялось Бессонову неестественным, ненужным, как неудавшаяся разведка, как горячая, ломящая боль в ноге, и он вдруг подумал: «Водки бы выпить, голова стала бы ясной, отпустила бы боль, легче стало бы!» Но тотчас удивился такому неожиданному желанию, этой мысли об облегчении, переживая раскаленную боль в голени, мешавшую ему сосредоточиться и злившую его.

Шестиствольные минометы прекратили обстрел НП, но блиндаж, как плот в темноте, плыл среди качавших его орудийных выстрелов и разрывов, среди пулеметных волн, бесперебойно хлещущих впереди по этой темноте. И в приглушенных накатами звуках Бессонов почему-то особенно выделял гудение танков и разгоряченно-частую дробь автоматов, на слух с севера и юга охватывающих высоту, казалось, уже отрезанную от армии, от корпусов, от дивизии — от всего окружающего мира.

— А я тебе сказал,— хоть сам из пистолета стреляй, дошло? Пропускай через себя танки, а стой, ясно?

Бессонов поднял голову, и лицо его передернулось, выразило страдание. Во второй половине блиндажа зуммерили, звенели, перебивая друг друга, телефоны, прорывались надрывные голоса, и явственно покрывал этот шум баритон Деева, выкрикивающий команды попеременно с руганью и угрозами:

— Отойдешь на миллиметр — лучше сам себе семь граммов пусти в лоб, Черепанов! Дошло? Вся артиллерия у тебя там, все противотанкисты — плюнуть негде! Знаю, что окружают, так что — «караул» кричать? Стоять, как... хоть душа из тебя вон!.. Откуда еще танки, когда переправа разрушена? Бредишь?..

Бессонов слышал это и понимал, что командир стрелкового полка Черепанов докладывал о том, что обойден с флангов танками, дерется в полуокружении, просил поддержки, но Деев, не обещая помощи, отвечал на это словами гнева и в обстановке

смерти советовал избавление смертью, если не выдержит... А Бессонов сидел здесь, в отдельном отсеке, и не имел права вмешаться. Деев выполнял приказ, который он отдал, — стоять до последнего, и было бы нечеловечески трудно посмотреть ему в глаза, тоже ожидающие помощи, хотя полковник и знал бесповоротную значимость приказа своей дивизии, принявшей страшный танковый удар, положенный судьбой, как это бывает на войне, где нет выбора.

— Ты мне, Черепанов, лазаря не пой! — кричал в нервной взвинченности Деев, срываясь на отчаянные нотки. — Я что — не понимаю? Сказано — все! Завяжи пупок тремя узлами — и стой! Артиллерия тебя на полный дых поддерживает! Не видишь, а я вижу! Что плачешься — терпи! Стой, как девица невинная, кусайся, царапайся, а держись! Больше не звони с этим! Слышать не хочу!..

«Деев выполняет мой приказ, но что он все-таки думает, отдавая эти команды?» — опять мелькнуло в голове Бессонова.

На секунду он встретился глазами со взглядом начальника разведки. Тот уже не стряхивал с карты крошки земли. Но тихое, невысказанное осуждение и вместе просьба о помощи были в умном и утомленном взгляде подполковника Курышева. Он отлично понимал обстановку, сложившуюся в дивизии, понимал по этим звукам боя, по этим командам Деева в другом отсеке блиндажа. И Бессонов потер ладонью лоб, сказал не то, что хотел сказать, и не то, что думал:

— Говорите, подполковник. Я вас слушаю.

— Товарищ командующий, — ровно начал Курышев, — кажется, обозначилось окружение дивизии...

— Уверены?

— Да, по-моему, и энпэ обходят танки, товарищ командующий.

Бессонов посидел с минуту и, как бы очнувшись, устало посмотрел на начальника разведки, затем встал, проговорил с жестким любопытством:

— Не договаривайте. Хотели сказать, что мы сами можем превратиться в «языков»? Так, по-видимому, подполковник?

— Я говорю об объективной обстановке, товарищ командующий, — прежним ровным голосом объяснил подполковник. — Через некоторое время немцы могут перерезать связь. И тогда мы потеряем нити управления.

— Благодарю за объективность, подполковник. Но пока нити управления еще существуют, — сказал Бессонов. — И приказа об «языке» я не отменял. Даже если нас с вами возьмут в плен. Что весьма неприятно.

Он снял телефонную трубку.

— Командующего артиллерией... Работает связь? Ну, вот и отлично. Дайте Ломидзе.

Потом, узнав в трубке несколько гортанный голос генерала Ломидзе, заговорившего с акцентом: «Совсем взбесились у вас фрицы, товарищ первый...» — перебил его вопросом:

— Есть возможность использовать сорок второй полк реактивных минометов на направлении Деева?

— Отдаю приказ, Петр Александрович. Использовать против танков? Так я понял вас?

— Вы правильно поняли.

В другой половине блиндажа, прокуренной до сизого тумана, в котором передвигались фигуры офицеров, трещали телефоны, Бессонов не задержался. Лишь заметил среди работников оперативного отделения высокую фигуру полковника Деева, не сказал ни слова и, палочкой толкнув дверь, вышел из блиндажа. Майор Божичко последовал за ним.

— Товарищ командующий! — из непрерывного звона телефонов за спиной прозвучал охриплый баритон Деева.

Бессонов вышагнул в траншею.

Еще не стемнело совсем, а мороз к вечеру неистово окреп. Колюче ошпаривающим ветром дуло со стороны темно-малиновой, придавленной к земле щели заката, и ветер из стороны в сторону мотал над высотой гремющую пальбу боя. Сильно несло сметаемой с брустверов ледяной крошкой; как битое стекло, колело в губы. И от сигнальных ракет, круто сносимых ветром вокруг НП, появилось ощущение, что высота сдвигалась куда-то над огнями и пожарами, разверзшимися внизу.

Мощными кострами горела станица на берегу, а везде по багровому снегу, будто по окрашенной скатерти, рассыпано ползли, останавливаясь, ощупывали что-то хоботами орудий черные с белыми крестами ядовитые, огрузшие пауки, разбрасывая впереди себя огненную паутину. Огненная паутина зигзагами оплетала, стягивала кольцом далеко видимый сверху берег, а в этом кольце — красные оскалы наших батарей; автоматные трассы взметались веером над высотой.

Майор Божичко, навалясь на бруствер, с недоверием вглядывался в низину перед рекой, явно стремясь убедиться, как близко бой подошел к НП. Задушенные ветром ракеты падали на скатах высоты, пули птичьими голосами цвикали над бруствером — автоматчики уже были на этом берегу реки.

— Товарищ командующий, разрешите обратиться?

Бессонова физической болью коснулся сорванный, хриплый голос полковника Деева, заставил его обернуться. Несколько секунд он стоял, не торопя доклад Деева, догадывался, о чем тот скажет.

Силуэт Деева казался неподвижно огромным, загородившим проход в траншее; при взлете ракет возникало его лицо, молодое, с горячечными в отчаянии глазами, ищущими что-то в лице Бессонова — помощи, облегчения для своей дивизии, надежды, и едва свет ракет опадал и темнота омывала это невыносимое выражение, Бессонов испытывал такое чувство, точно чьи-то пальцы на горле отпускали его.

— Все вижу, полковник Деев,— сказал Бессонов.— Что хотите добавить?

— Товарищ командующий,— заговорил Деев неестественно низким голосом,— полк Черепанова, два артдивизиона и танковый полк Хохлова дерутся в полном окружении, на исходе боеприпасы... в ротах большие потери... подошла немецкая пехота в бронетранспортерах.— Взрывший каскад ракет снова проявил это ждущее от Бессонова облегчения лицо Деева, и он, с хрипом выдохнув воздух из выпуклой груди, договорил: — В полку майора Черепанова танки атаковали капэ. Майор Черепанов, кажется, ранен. Связь оборвалась только что.— Передохнув, Деев тяжело шагнул к Бессонову.— Товарищ командующий, в сложившейся обстановке... очень опасаясь, что полк Черепанова не выстоит и часа, сомнут... Простите, товарищ командующий, прошу лично вашего разрешения...

— На что именно? — уточнил Бессонов.

Деев проговорил вздрагивающим упрямым голосом:

— Прошу вашего разрешения оставить на час энпэ дивизии, навестись в полк Черепанова, самому выяснить все в полку и принять решение на месте, товарищ командующий.

Быстрые малиновые огоньки — отблески трассирующих пуль — светились в глазах Деева, на красном его лице. Бессонов посмотрел внимательно.

— Каким образом вы это сделаете? Прорветесь в окруженный полк? Так, по-видимому?

— До батальонов Черепанова от высоты километра два, товарищ командующий.— Деев показал вниз.— Прорвусь с автоматчиками. Три броска — и там. Это полдела, товарищ генерал.

И, испытывая вдруг незнакомый укол нежности к Дееву, такой внезапный, что опять спазмой сдавило горло, Бессонов не мог отказать ему сразу. «Что ж, вот судьба подарила мне командира дивизии», — подумал Бессонов и, снизу вверх глядя на мелькание отсветов в отчаянных глазах Деева, повторил:

— Значит, прорветесь с автоматчиками?

— Я еще недавно командовал батальоном, товарищ генерал. В сорок первом. На Брянском. Еще не отвык.

— Сколько вам лет? — глухо спросил Бессонов.

— Двадцать девять, товарищ командующий.

— Хочу, чтобы вам исполнилось тридцать,— сказал Бессо-

нов и сделал отсекающий жест.— Идите и исполняйте обязанности командира дивизии, а не командира батальона!

— Товарищ командующий...— почти просяще выговорил Деев,— прошу вас мне разрешить...

Но Бессонов прервал его тихо и непрекаемо:

— Вы меня не поняли? Я сказал: идите и исполняйте обязанности командира дивизии. Послать немедленно людей на связь с Черепановым. И передайте от меня лично: надеюсь на его терпение. Выстоять, вытерпеть этот натиск, Деев. Нельзя думать, что у них резервы неисчерпаемы.

— Товарищ командующий, я хотел бы...

— Идите, полковник. Заставляете повторять.

— Слушаюсь, товарищ командующий,— упавшим, обреченным голосом произнес Деев, и огромная фигура его, загородившая проход траншеи, повернулась чересчур медленно, и Деев зашагал в потемки траншеи, исчез в блиндаже.

— Вот ведь как, товарищ генерал! — восторженно воскликнул Божичко, с завистью глядя в сторону блиндажа.— Деев — это все-таки полковник не зря! Расстроился ведь... А действительно, три броска — и там!

Бессонов не посмотрел вслед Дееву, ибо знал, что не отменит своего решения. Однако он тоже подумал, что этот, в сущности, очень молодой командир дивизии подавлен, обескуражен сейчас, ибо не сомневался, что получит разрешение командующего прорваться немедля к окруженному полку, с надеждой, как ему представлялось, спасти сжатый в танковых тисках полк от разгрома или позора.

— А действительно не так далеко до Черепанова,— сказал Божичко.— Рискнуть бы!

Бессонов молчал, наблюдая за спутанными выплесками встречного огня батарей по северному берегу, куда были выдвинуты истребительно-противотанковые дивизионы и где проходил рубеж обороны двух полков — стрелкового и танкового, за неясным шевелением розоватых квадратов наших и немецких танков на улочках северобережной части станицы. Черепановские батальоны и отдельный танковый полк Хохлова упорно и отчаянно вели бой, но все-таки не сумели сдержать натиск прорвавшихся немцев. «Что ж, значит, пора вводить второй эшелон — триста пятую дивизию. Вводить, пока не поздно».

А над головой свистело, хлестало, загоралось небо трассами, косматыми искрами сносимых на скаты высоты ракет, и было похоже, что немецкие автоматчики обошли НП с запада, просочились из станицы к подножию высоты.

— Ползают они где-то под носом!..— сказал Божичко с раздумчивой подозрительностью.— Прочесать бы высоту, что ли, товарищ генерал? Обнаглели, гады, вконец!

— Если бы, конечно, три броска — и разомкнуть кольцо вокруг полка Черепанова, — слышался рядом голос Веснина, и, обернувшись, Бессонов увидел его в двух шагах. — Эх, Петр Александрович, я печенками понимаю Деева! Никак невозможно видеть, как на глазах гибнет полк Черепанова.

Тоже высокий, но по сравнению с глыбообразным Деевым легкий, в белеющем полушубке, крест-накрест стянутый портупьями, Веснин крутил в пальцах очки, и, показалось, сине блестели его зубы, прикусившие нижнюю губу.

— Положение Черепанова действительно катастрофическое, — продолжал Веснин, подходя к Бессонову ближе. — Потери в батальонах огромные. И незаметно, чтобы немцы скоро выдохлись... Наседают и наседают. Не пора ли привлечь на помощь Дееву триста пятую? Честное слово, пора!

— Наденьте очки, Виталий Исаевич, — сказал вдруг Бессонов и чугуной ношей почувствовал всю тяжесть своего сдерживающего опыта и эту завидную молодую легкость эмоционального Веснина. И прибавил: — По высоте автоматчики ползают. Так и случайно смерть можно не увидеть... А насчет триста пятой вы не ошибаетесь — пора. Да, пора. И будем надеяться, Виталий Исаевич...

— Живу надеждой, Петр Александрович, — сказал Веснин и повторил: — Нет, не скоро они здесь выдохнутся. Для них тут: или — или...

— Для нас также, — медлительно проговорил Бессонов.

А высота гудела под нахлестами ветра, под накатами боя, то будто взлетала к освещенному небу, пышно иллюминированная рассыпчатым ливнем ракет, то опадала в темноту; быстрые светлы и тени ходили по ней, шевелились в траншее, озаряя лица, гасли, бросая черноту в глаза.

— Товарищ генерал! Прошу вас в блиндаж! Прошу в блиндаж! — крикнул Божичко и сорвался с места, бросился к ходу сообщения, предупреждая кого-то свирепым окликом: — Сто-ой! Кто такие?

Там, внизу, в ходе сообщения, явственно возник шум движения, донеслись тревожные оклики часовых, потом сгрудились тени в узком проходе, и Божичко, подбежав к повороту траншеи, с автоматом наизготове, опять окликнул с неистовостью угрозы:

— Сто-ой! Стрелять буду! Кто такие?

Все смолкло внизу, тени перестали двигаться, одиночный голос часового сообщил:

— Из штаба армии. К командующему. Пропустить?

— Подожди! — остановил Божичко и, сбегав вниз, вгляделся.

— Кто это еще командует? Что это еще за «подожди»? —

откликнулся другой голос в ходе сообщения.— Вы это, майор Божичко? Чего на своих орете, как с гвоздя сорвались? Где командующий?

— А, товарищ полковник! — протяжно сказал Божичко и засмеялся.— А я-то думал, фрицы ползают! Что это вы к нам, товарищ полковник? Соскучились?

— Давно по вас скучаю, майор Божичко. С вашим зверским голосом не в адъютантах бы вам ходить, а в командирах стрелкового взвода. Генерал здесь? Член Военного совета?

— Каким мать родила, товарищ полковник. Можно и взвод — не пропаду... Здесь они. Проходите.

Из хода сообщения, небрежно отряхиваясь, вышел в траншею начальник контрразведки армии полковник Осин, быстро стал оправлять ремень, кобуру пистолета, полевую сумку. Все сбилось на нем, будто бежал и падал, долго ползал по сугробам; и адъютант его, вооруженный автоматом, с головы до ног вывалившийся в снег, маленький, пухлый, отпыхиваясь, наклоняя голову при взвизгах очередей, стоял сзади и осторожно помогал ему — очищал налипшие белые пласты со спины, с боков Осина. Божичко не без заинтересованности оглядывал их и слегка улыбался. Позади в траншее, тоже отдуваясь, топтались еще трое: коренастый, с железной фигурой борца майор Титков и двое рослых, дюжих автоматчиков — из охраны Бессонова, оставленной им на НП армии.

— И вы туточки, ребята? — спросил с удивлением Божичко.— Вас вызывали?

— Что за любопытство? Много лишнего хотите знать, Божичко! — прекратил расспросы Осин и, справившись наконец с дыханием, оттолкнул услужливо скребущую по полушубку руку адъютанта.— Все, Касьянкин, все! Лоб от старания расшибешь! Со мной не ходить, ждать здесь! Находиться с охраной.— И кивком показал в глубину траншеи.— Майор Божичко, проводите-ка меня к члену Военного совета. Где его блиндаж?

— Он вместе с командующим, товарищ полковник. На энпэ.

— Ведите, майор! — приказывающе уронил Осин и двинулся вслед за Божичко с твердостью в крупной походке, с достоинством знающего себе цену человека, несуетливо и серьезно выполняющего долг. Незнакомые командиры из дивизии, встречаясь в траншее, провожали его взглядами, стараясь угадать, кто он и с каким приказом прибыл в этот час.

Когда подошли к Бессонову, ссутуленному возле окуляров стереотрубы, и Божичко почему-то с веселым полуудивлением доложил о прибытии начальника контрразведки, неширокая спина Бессонова зашевелилась лопатками, он повернулся, опершись на палочку, внимательно посмотрел в крепкощекое, лос-

нящееся потом лицо Осина, подождав несколько, произнес недоверчиво:

— Н-не понимаю... Собственно, вы зачем здесь, полковник?

— Хотелось посмотреть, что у вас тут, товарищ командующий! — ответил Осин текучим говорком, смягченным приятным северным оканьем, и заулыбался простодушно и широко, ладонью стер пот со щек. — Все об обстановке у Деева говорят — и я не вытерпел. Сначала на машине, а тут в станице — ползком, перебежками... С приключениями добрался. Стреляют со всех сторон, но обошлось!

— Вы прямо из штаба армии? — спросил Бессонов.

— Из штаба заезжал на энпэ армии. Оттуда прямо сюда. — Осин проследил за россыпью трасс над высотой, улыбка истаяла на крупно очерченных губах его. — Немцы-то что делают! Неужто надеются прорваться к Паулюсу, товарищ командующий?

Бессонов, не расположенный к объяснениям, все еще не понимая причину приезда малознакомого ему полковника Осина, который совершенно не нужен был здесь, ответил коротко:

— Не ошиблись, полковник.

— Это вы, товарищ Осин? — спросил Веснин, также озадаченный неожиданным появлением начальника контрразведки, и вышел к нему из темноты траншеи, потрогал пальцем дужку очков, поднял брови. — У вас какие-то дела на энпэ? Что-нибудь важное?

— Товарищ член Военного совета...

Осин не закончил фразу, его здоровое круглое лицо выразило серьезность, и, предупредительно глянув через плечо назад, на командиров в траншее, на Божичко, который, опираясь одним локтем на бровку, с независимым видом играл, пощелкивал ремнем автомата, он произнес, не договаривая мысль до конца:

— Товарищ член Военного совета, понимаю, что я редкий гость на энпэ, но все-таки... Не хочу мешать командующему, разрешите поговорить с вами? Разговор буквально на три минуты.

Бессонов поморщился: служебные дела полковника Осина мало интересовали его, гораздо важнее было выяснить другое — каким образом он добрался сюда через станицу, в которой везде шел бой.

— Как ехали, полковник?

— Через северо-западную окраину станицы, — ответил Осин. — Единственная дорога, по которой еще можно проехать, товарищ командующий. Проверил на себе.

— Совсем напрасно рисковали, полковник, — безразлично и холодно проговорил Бессонов и, прислонив палочку к стене траншеи, склонился к стереотрубе, показывая этим, что разговор

окончен, а про себя усмехнулся: «Не из робкого десятка оказался этот Осин».

Божичко поднес руку к губам и прикрыл ею улыбку. Полковник Осин стоял навтыжку, глядя в спину Бессонова.

— Пойдемте, товарищ Осин, прошу вас за мной,— поторопил Веснин, не выражая удовольствия, но тоном своим смягчая обижающую холодную безразличность Бессонова.— Тут блиндаж.

Он потянул за локоть Осина, изумленно оглянувшегося назад, в сторону Бессонова, неподвижная фигура которого темнела подле стереотрубы, сливаясь со стеной траншеи.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Здесь, в маленьком блиндаже, вырытом наскоро артиллеристами в тупике траншеи, было пусто, пахло стылой землей, светила «летучая мышь», прицепленная крючком к наголовнику. Крошки земли, стекая из-под накатов, позванивали о стекло лампы, легонько покачивали ее.

Веснин сел за стол, сделанный из оружейных ящиков, бросил на доски пачку папирос и, доставая папиросу, сказал:

— Слушаю вас, товарищ Осин. Объяснить конкретнее прошу, если можно.

Полковник Осин мельком оглядел блиндаж, его темные углы, рукой потрогал на нарах кучей брошенный возле чехлов от буссоли и стереотрубы брезент, затем задернул плащ-палатку над входом; лишь тогда сел к столу, снял шапку, освободил верхний крючок полушубка — ему было жарко, он был потен после перебежек и ползания в снегу,— заговорил, снизив голос:

— Товарищ член Военного совета, простите за вопрос: как вы лично оцениваете положение дивизии в данный момент?

— Разве не ясно? — Веснин размял папиросу, зажег спичку, прикурил.— Вы сами, вероятно, убедились, как сложилась обстановка в дивизии к вечеру. А в связи с чем этот вопрос?

Полковник Осин выпрямился за столом.

— Самолично убедился, товарищ член Военного совета...

— Я вас слушаю, слушаю.— Веснин затянулся папиросой и не то чтобы прервал Осина, но поторопил его и, выпуская дым к огню «летучей мыши», кивнул ему, на самом деле по-прежнему не понимая причину приезда начальника контрразведки: присутствие на НП во время боя не входило в его прямые обязанности.— Да, продолжайте. Зачем, собственно, вы приехали? Это меня интересует. Сами понимаете, что это выглядит не очень привычно.

Полковник Осин, раздумывая, провел кулаком по влажному

лбу, его светлые кудрявые волосы слиплись; выступающие, хорошо выбритые скулы казались кирпичными. Он втянул носом воздух, проговорил окрепшим голосом:

— Наверное, мой приезд выглядит странно, товарищ член Военного совета. Но не только я встревожен положением в дивизии Деева в данный момент. Я слышал мнение и генерала Яценко, и члена Военного совета фронта Голубкова.

— Так в чем же дело? — Веснин поднял брови. — Что вы сказали о Голубкове? Он — в штабе армии? Вы виделись с ним?

— Да, он приехал... И тоже высказал опасение насчет относительно сложного положения дивизии. Голубков находится сейчас не в штабе, а на энпэ армии. Хотел вас видеть, товарищ член Военного совета, но вы здесь...

Полковник Осин погладил вправо и влево шершавые доски стола, извинительно улыбнулся Веснину голубоватыми, неуклюже цепляющимися за его глаза глазами. В них не было того выражения защитного деревенского простодушия, какое было, когда разговаривал с Бессоновым; в них просвечивало желание деликатно не обидеть, желание не переступить определенных субординацией граней.

— Разговор шел о том, что вам и командующему армией удобнее было бы для руководства боем сейчас находиться там, где нет все-таки такой угрозы вашей безопасности. На энпэ армии, например.

— То есть? Переехать с энпэ дивизии на энпэ армии? Сейчас?

— На энпэ армии еще возможно проехать через северо-западную окраину станицы. Я проехал именно этим путем. Там еще сравнительно спокойно. Другой дороги уже нет. Своими глазами видел немецкие танки на улицах. Но и эту дорогу с часу на час могут перерезать...

— Переехать на энпэ армии, вы сказали? Разве эта забота входит в ваши обязанности? — спросил Веснин и пожал плечами.

— Товарищ член Военного совета, — с некоторой обидой и упреком, удивляясь наивной прямоте дивизионного комиссара, ответил Осин, — в данном случае, как я сказал, это не мое личное мнение. Но нередко некоторые превратности боя заставляют проявлять беспокойство и меня.

— Ах да, да-а, — протянул Веснин. — Да, да, беспокойство... Но я тоже обеспокоен, товарищ Осин. И командующий — не менее меня. Это же естественно. Думаю, что и ему известно, что пехота — это руки, танки — ноги, а полководец — голова... Потеряешь голову — потеряешь все. Бессонов не из тех, кто теряет голову, рискует без надобности.

Намеренно сказав это, он несколько секунд с пытливым

интересом разглядывал кудрявые, слегка примятые шапкой белокурые, еще влажные волосы Осина, его широкий лоб, немного крючковатый нос, его округлое здоровой полнотой лицо от природы сильного, с крепким током крови и крепкими нервами человека и вроде бы впервые разглядел прямые белые ресницы и льдистые искорки упорства в голубоватых глазах полковника, который в то же время был мягок в каждом своем слове. И щеки Веснина начали гореть, покрываться пятнами, и что-то неприязненное, как разочарование, подымалось в нем против Осина — против его спокойного и прочного здоровья, покато просторного лба, белых ресниц, против этих его, казалось безобидных, полусоветов и этой сдержанности и вежливости, за которой была скрыта осторожная и деликатная принадлежность к особой охранительной власти, что в силу многих обстоятельств нужна была, существовала рядом, в одной армии с Весниным, выполняя необходимые функции, никогда не вмешиваясь в обстановку боя, и Веснин, подавляя раздражение, поднялся от стола.

— Значит, товарищ Осин, — сказал Веснин и с пятнами на щеках, засунув руки в карманы полушубка, прошелся по блиндажу, — значит, в связи с обстановкой в дивизии генералу Бессонову и мне нужно оставить этот энпэ? Но в конце концов вы же знаете, что на войне никто, нигде и никогда не гарантирован ни от осколков, ни от пули. Ни на энпэ армии, ни на энпэ дивизии. — Веснин вдруг увидел белокурый затылок Осина, его круглую подбритую шею, плоские уши, внимательные и чуткие, и продолжал с прорвавшимся в голосе раздражением: — Что за вздор? О чем вы мне говорите? Не могу понять этого. Кто вам посоветовал его — Голубков? Не верю, чтобы он мог посоветовать подобное! Никак не верю!

— Товарищ дивизионный комиссар, простите, пожалуйста, но мистификации не в моих правилах. И потом, кроме поручения Голубкова, у меня есть еще одно дело к вам. Несколько другого порядка...

Этот внушительно-тихий голос полковника Осина задержал Веснина перед столом; поднятый навстречу выверяющий взгляд и засветившаяся под огнем «летучей мыши» льдистая голубизна в глазах начальника контрразведки охладили его на миг. И тогда он, подойдя к столу, оперся пальцами о доски, спросил требовательно:

— Что еще у вас?

Из поднятых к огню лампы глаз выматывалась какая-то стеклянная паутинка, толкалась в лицо Веснина, но Осин молчал, точно бы взглядом этим одновременно настороженно измерял что-то в самом себе и в Веснине, пока не решаясь сказать, переступить нечто останавливающее его.

— Говорите же! — потребовал Веснин.

Осин встал, подошел к входу в блиндаж, постоял там с минуту, потом снова сел к столу; скрипнули доски под его плотным телом. И опять стеклянная паутинка коснулась Веснина, обволакивая его сниженным голосом Осина.

— Поймите меня правильно, товарищ член Военного совета. Зачем забывать вам и командующему армией об осторожности, если можно не забывать? Я знаю характер командующего, который бы и слушать меня не захотел, поэтому говорю с вами, авторитетным представителем партии, совершенно откровенно.

— Так. Продолжайте, — сказал и ниже наклонился над столом Веснин, глядя в зрачки Осина и все-таки не вполне угадывая нечто недосказанное начальником контрразведки из привычной, должно быть, сдержанности или из опасения перед ним, членом Военного совета, наделенным несравненно большей властью.

— Товарищ дивизионный комиссар. — Выверяющее выражение глаз не исчезло, а светлые брови Осина чуть изогнулись. — Для вас нет секретных данных, вы знаете отлично, какие роковые события произошли на Волховском фронте в июне этого года. Вы помните, конечно?

— То есть? — И Веснин порывисто оттолкнулся пальцами от стола, засунув руки в карманы полушубка, сделал несколько шагов по блиндажу, сразу озябнув и не вынимая рук из кармана. — Не очень, в конце концов, понимаю! Вы хотите сказать о Второй ударной армии?

— Да, о событиях во Второй ударной армии. Забыть этого невозможно. Именно... — значительно подтвердил Осин и посмотрел на накаты блиндажа: они хрустнули от близких разрывов на высоте, заскрипела, закачалась над головой «летучая мышь». — Смотрите как! Танки по энпэ бьют...

Веснин резким движением сел к столу, резким движением вытащил руки из карманов и потянулся к пачке папирос, на которую струилась с потолка земля, но тут же оттолкнул папиросы, потер виски, утишая головную боль, и взглянул на Осина изумленно и прямо. В Веснине дернулось что-то, он почувствовал, что вспылит, ударит сейчас кулаком по столу, и он выговорил гневно:

— Так какое отношение к нам имеет все это?.. Вы что же, товарищ Осин, беспокоитесь... боитесь, что если возникнет полное окружение дивизии, то с Бессоновым и со мной черт-те что произойдет? Откуда у вас появилась такая осторожность?

— Зачем вы так, товарищ член Военного совета?

Осин опустил белые ресницы, заговорил искренне и обиженно:

— Зачем это вы так? Я знаю мужество генерала Бессонова и знаю вас и не могу себе объяснить, почему вы, простите,

считаете меня за совершенного глупца, товарищ член Военного совета? Я не хотел быть неправильно понятым.

— То есть как понятым?

— Я говорю о случайностях. Вам еще неизвестно о трагической судьбе сына командующего — младшего лейтенанта Бессонова?

Разрывы снарядов толкнули блиндаж, опять замоталась лампа под затрещавшими накатами, застучали мелкие крошки земли по доскам стола. Кто-то, тяжело топая, крича команды, пробежал по траншее мимо блиндажа, слышались невнятные ответные голоса, но Веснин не обращал внимания на возникший в траншее шум.

— Нет, — ответил он. — Впрочем, знаю, что сын командующего пропал без вести на Волховском фронте. А вы что знаете?

Осин, повернув голову к входу в блиндаж, прислушался к разрывам на высоте, к голосам в траншее, потом не совсем решительно положил на стол пухлую свою полевую сумку, новенькую, непокорябанную, расстегнул ее. Под его перебирающими пальцами зашуршали бумаги.

— Познакомьтесь, товарищ дивизионный комиссар, с последним фактом. Эту листовку я только что получил и решил немедленно вас проинформировать. Познакомьтесь...

По-мышиному зашуршавшая маленькая листовка, аккуратно вынутая Осиним из пачки бумаг в сумке и через стол протянутая Веснину, легла желтым прямоугольником на нестроганные доски перед ним. Пятном бросилась в глаза, зачернела плохо вышедшая на дешевой газетной бумаге фотография и жирные буквы под ней: «Сын известного большевистского военачальника на излечении в немецком госпитале». На фотографии — худой, словно перенесший изнурительную болезнь мальчик, стриженный наголо, в гимнастерке с кубиком младшего лейтенанта, почему-то с расстегнутым воротом — виден свежий, криво подшитый подворотничок, — сидит в кресле за столиком в окружении двух немецких офицеров, с фальшивой улыбкой обернувших к нему лица. Мальчик тоже странно, вымученно улыбается, глядит на высокие рюмки посреди столика, возле подлокотника кресла виден прислоненный костылек.

— Это что, не фальшивка? Это действительно сын генерала Бессонова? — проговорил Веснин, сопротивляясь, не веря, не соглашаясь с тем, что этот изможденный, стриженный мальчик может быть сыном Бессонова, и, спросив, перевел глаза на Осина, уже молча предупреждая его, что ошибки не простит.

— Все сверено, товарищ дивизионный комиссар, — ответил Осин с серьезным и строгим выражением человека, знающего, за что он несет ответственность. — В смысле фотографии ошибка

абсолютно исключена. Познакомьтесь и с текстом, товарищ член Военного совета.

И Осин отклонился назад, заскрипев ящиком, выпустил воздух носом.

Веснин пробежал глазами по короткому тексту под фотографией, с трудом и не сразу понимая смысл, по несколько раз перечитывая фразы, знакомо ядовитые, источающие чужой запах, острую въедливую ложь обычной листовочной фашистской пропаганды, а внимание все время отрывалось от текста, не могло сосредоточиться, и, переставая читать, он смотрел на эту выступающую пятном фотографию, на вымученную улыбку остриженного мальчика, на костылек, прислоненный к подлокотнику кресла, на чистый, косо подшитый подворотничок расстегнутого ворота и эту жалкую, исхудавшую юношескую шею сына генерала Бессонова. Внимание Веснина задержалось на первых фразах: «Сын видного советского военачальника Бессонова, который, как известно, командует одной из групп соединений с начала войны, заявил представителям немецкого командования, что его малообученную, плохо вооруженную роту, которой он командовал, бросили на убой. Последний бой был невыносим... Младший лейтенант Бессонов, получивший тяжелое ранение, храбро, почти фанатично сражавшийся, заявил также: «Я был очень удивлен, что меня поместили в госпиталь и вылечили. В госпитале я увидел много советских пленных. Им оказывается полное лечение. Советско-комиссарская пропаганда распространяет слухи о каких-то зверствах немцев, что не соответствует действительности. Здесь, в госпитале, у меня было время, чтобы понять: немцы — это высокоцивилизованная, гуманная нация, которая хочет установить свободу в России после свержения большевизма...»

— Познакомились, товарищ член Военного совета? — прозвучал серьезный голос Осина, который следил за долгим чтением Веснина. — Разрешите, я возьму листовку?

«Значит, это сын Бессонова, он жив, и это теперь очевидно, — подумал Веснин, не в силах оторваться от нечеткой, серой фотографии этого истощенного мальчика с кубиками младшего лейтенанта. — Бессонов не знает об этом. Может быть, догадывается, но не знает. Что же это такое? Текст явно фальсифицирован. Несомненная фальшивка, каких было немало. Кто-нибудь из мерзавцев, попавших в плен вместе с ним, указал немцам: вот, мол, комроты — сын генерала. Да, так, наверное. Скорее всего так. Не может быть иначе. И после этого был помещен в госпиталь. На первом же допросе сфотографировали, придумали текст. Иначе быть не может! Ведь школьник, мальчишка, воспитанный комсомолом, Советской властью! Нет, другому я не верю, не могу поверить!»

— Товарищ член Военного совета, листовка, вы сами понимаете, не для оглашения. То есть... Очень не хотел бы, чтобы это стало известно командующему.

— Подождите.

«Да, Бессонов, Бессонов... Он сказал, что ему сообщили только, что сын пропал без вести. В списках убитых и раненых нет... А каким числом датирована листовка? 14 октября 1942 года. Около двух месяцев назад».

— Товарищ член Военного совета, простите. Листовку верните мне. Случаем войдет сюда командующий. Мы не имеем права травмировать его морально...

«Знали об этом в Москве или не знали, когда был там Бессонов? «Листовка, вы сами понимаете, не для оглашения...» «Не имеем права травмировать». Значит, кто-то так или иначе ограждает командующего от истинной трагедии, постигшей его сына. Но зачем? Какой смысл?»

— Скажите, товарищ Осин, вы верите этой листовке? — спросил Веснин вполголоса. — Верите, что этот мальчик... предал, изменил?..

— Не думаю, — ответил Осин и пренебрежительно махнул рукой. Затем поправился: — Но... на войне все возможно. Абсолютно все, это я тоже знаю.

— Также знаете? — повторил Веснин и, стараясь не выказывать дрожь пальцев, сложил листовку вчетверо и, расстегнув полушубок, засунул ее в нагрудный карман. — Листовка останется у меня, как вы сказали — «не для оглашения». — Веснин положил сжатые кулаки на стол. — Теперь вот вам мой совет: немедленно уезжайте отсюда! Уезжайте с энпэ сию минуту. Так будет лучше. — И, упершись кулаками в стол, Веснин поднялся.

Осин тоже встал, но излишне порывисто, качнув стол коленями; мгновенная белизна согнала здоровый ток крови с его полноватого лица, кожа на щеках натянулась.

— А если уж что произойдет в окружении, полковник Осин... — договорил Веснин с расстановками, — если что произойдет, то безопасность... вот она. — И он провел рукой по ремню, похлопал по кобуре пистолета на боку. — Вот она...

Некоторое время они стояли молча, у разных концов стола. Танковые разрывы долбили высоту, казалось, сдвигали куда-то в сторону блиндаж; ручейки земли бежали из-под накатов по стенам, шуршали на нарах, от качки под потолком «летучей мыши» потемнело, закоптилось стекло. И, уже готовый выйти из блиндажа в траншею, где были люди, раздавались команды, живые голоса, на морозный воздух после этого разговора, Веснин видел, как еле улыбались крупные губы Осина и совсем не улыбались его голубые глаза, и проговорил с отвращением к самому себе за свою резкость:

— Бессонов не узнает об этом разговоре ни слова!

Осин вежливо молчал. Он ни на минуту не забывал о высокой власти Веснина, о его хороших отношениях с членом Военного совета фронта Голубковым, не забывал о его праве, непосредственной связи с Москвой и думал в то же время о Веснине как о человеке слишком горячем, недальновидном, неосторожном, даже мягкотелом, — такие не внушали веры в прочность их положения. Осин знал о нем все: знал, что Веснин не из кадровых, а из штатских, из преподавателей Высшей партийной школы и Политакадемии; хорошо помнил, что у него вторая жена — преподавательница, армянка по национальности, и десятилетняя дочь Нина от первой жены, родной брат которой был осужден в конце тридцатых годов, вследствие чего Веснину был вписан строгий выговор и снят лишь перед войной; знал, что в сорок первом году, будучи комиссаром дивизии, он вырвался из окружения под Ельней и вывел почти целый полк; знал и помнил многое, о чем сам Веснин, по всей вероятности, давно забыл. Но, как бы взвешивая все это в своей цепкой и емкой памяти, Осин по привычке прикрывался ничего не выражающей улыбкой. И с такою же неопределенностью ответил Веснину:

— Я лично ни на чем не настаивал, товарищ дивизионный комиссар. Я только выполнял свой долг... Служебный и партийный.

— А поскольку ваш долг выполнен, — проговорил Веснин сумрачно, — делать вам больше здесь нечего. Повторяю еще раз: уезжайте с энпэ немедленно и не опасайтесь случайностей! Бессмысленнее вашей осторожности ничего нельзя придумать! Неужели одно понятие «окружение» вызывает мистические страхи?

Веснин подошел к столу, блеснул очками на полковника Осина, схватил со стола обсыпанную землей пачку папирос и, согнувшись в дверях блиндажа, вышагнул в мерцающую ракетами темноту, в гул автоматных очередей, в выстрелы, разносимые ветром над бруствером траншеи.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Выйдя из блиндажа, Веснин не сразу нашел в траншее Бессонова, ослепленный красно-зелеными вспышками ракет, оглушенный звонко, над ухом стучащими очередями. В изгибе хода сообщения он заметил на брустверах нескольких человек, они стреляли из автоматов куда-то вниз, и Веснин на ходу поинтересовался машинально:

— Что обнаружили? Куда стреляете?

— Ползают гады по скатам! — ответил ему кто-то с бруствера. — Просачиваются, б...! — И, прострочив длинной очередью, крикнул весело: — Виноват, товарищ дивизионный комиссар!

Веснин узнал майора Божичко; шапка едва держалась на затылке, открывая его ранние залысины, лицо светилось веселым азартом.

— Не красная девица. Вины не вижу, — сказал Веснин и усмехнулся. — Наоборот, благодарю, как говорят за бодрость духа. Где командующий?

— Дальше чуть. По траншее. С Деевым, — ответил Божичко и, любопытствуя, спросил: — А Осин-то! Он-то где? Ну, прямо герой — на вьпэ, можно сказать, с боем прорвался! Только зачем он? Орден, что ли, собирается схлопотать на грудь за участие в боях? Касьянкин вот тоже не знает, военную тайну не выдает! Молодец!

Божичко, разгоряченный стрельбой, говорил нестеснительно, не скрывая свою обычную доверительность в общении с Весниным, и, сказав о Касьянкине, толкнул кого-то, темным бугром лежащего рядом на бруствере, и засмеялся:

— Вот убеждаю Касьянкина, как нужно согласно стихам хоть одного оккупанта убить, чтобы после войны рассказывать, товарищ дивизионный комиссар, а он мне — стихи, мол, не уважаю. Ничего, я тебя воспитаю, Касьянкин, не все тебе штаны в тылу протирать. Извините за грубость, товарищ дивизионный комиссар... Учись, Касьянкин, пока я жив! Давай туда короткими!

— Оставьте меня в покое, товарищ майор! — огрызнулся растерянным голосом Касьянкин. — Товарищ член Военного совета, майор Божичко не имеет права мною командовать и упрекать тылом...

— Вы еще здесь, Касьянкин? — проговорил Веснин. — Почему именно здесь?

Всегда расположенный к простоте и легкой иронии общительного Божичко, он не остановил внимания на его ерничестве, а после разговора с Осиным, после мучительной новости, внезапно и резко оголившей судьбу сына Бессонова, увидев Касьянкина, подумал только о том, что Осин еще не уехал с НП. И когда Касьянкин сполз на животе с бруствера, обиженно поддергивая ремень, отряхиваясь, Веснин сказал непривычным тоном приказа:

— Слушайте внимательно, Касьянкин. Немедленно — к полковнику. Он ждет вас в артиллерийском блиндаже. В конце траншеи. И немедленно назад, в штаб армии. Идите. Бегом!

— Есть бегом, товарищ дивизионный комиссар! — явно обрадованный, воскликнул Касьянкин. Он воспринял этот приказ

как спасительное облегчение и, козырнув, неуклюже бросился в озаренный ракетами ход траншей.

— Что в самом деле стряслось, товарищ дивизионный комиссар? — посерьезнев, произнес Божичко. — Или секрет?

Веснин сказал:

— Ваш юмор, Божичко, могу понять я, потому что знаю вас. Но не очень надейтесь, что поймут все. Известно ли вам, что есть люди, которые воспринимают шутки слишком серьезно?

— Спасибо, товарищ дивизионный комиссар. Но мне чихать на этих серьезных, простите! Моя анкета чиста, как стеклышко! — бедово сказал Божичко. — Один на белом свете как гвоздь. И прекрасно. Терять абсолютно нечего, кроме шпал в петлице. А Касьянкин — лапоть и лопух, работает как колун, даже смех берет. Рассчитывает на родственность адъютантских душ.

— То есть? — не понял и нахмурился Веснин. — Именно?

— Ба-альшой сундук, товарищ дивизионный комиссар, — засмеялся Божичко. — Но с любопытством... Он мне: «Как живете с командующим, ничего генерал-то, сапоги не заставляет снимать? Водку втихаря не глушит?» А я ему: «Ты стихи про «Убей немца» знаешь? Автомат умеешь держать? Как оружие приспособляют — под мышкой или ниже поясицы?» Он опять: «Мрачноват очень генерал-то, как с комиссаром-то, дружки или в контрах?» Прелестно и откровенно поговорили, товарищ дивизионный комиссар!

— Бессонов там? — спросил Веснин, глядя в ту сторону, где возникали и истаявали при опадающем свете ракет фигуры людей, и пошел по траншее, но, против воли, он замедлял шаги и вдруг остановился в нише для буссоли, потому что не в силах был сказать Бессонову то, что знали полковник Осин и он, член Военного совета, то, о чем Бессонов никак не подозревал: о противоестественно страшной судьбе того остриженного, с вымученной улыбкой мальчика, его сына, который не был убит, а жил в плену уже несколько месяцев.

«Он может спросить о причине приезда Осина. Что я отвечу? Подойти сейчас и в глаза ему лгать? — думал Веснин. — Каковы же будут тогда наши отношения дальше? Нет, не могу подойти к нему и делать вид, что ничего не произошло. Между нами должна быть абсолютная искренность и честность... Но язык не повернется сказать ему сейчас о сыне, не могу...»

Веснин чувствовал, что именно непроходящие непростота и натянутость в отношениях с Бессоновым не давали ему никакого права дипломатично изворачиваться, он не должен был что-либо смягчать, уходить от главного — и, так стоя в нише для буссоли, он испытывал отвратительно жгучий стыд в душе.

— Петр Александрович! — Веснин неожиданно для себя вы-

шагнул из ниши, быстро подошел к Бессонову, окруженному возле стереотрубы офицерами.— Петр Александрович...

— Вот вы мне и нужны, Виталий Исаевич,— сказал Бессонов и выпрямился у стереотрубы, носовым платком вытер исколотое снежной крошкой лицо.— Триста пятая вступила в бой. Посмотрим теперь, как сложится. Но главное вот что...— Он все обтирал лицо носовым платком с видом рассеянной раздумчивости.— Главное теперь — танковый и механизированный корпуса. Поторопить их, всеми силами поторопить! Попросил бы вас, Виталий Исаевич, поехать навстречу танковому корпусу в район сосредоточения и, если не возражаете, пока оставаться там для более успешной координации действий. Считаю это необходимым. Вы, кажется, любите танкистов, насколько я помню?

И Веснин, с подкатившим к горлу клубком, еле сумел ответить:

— Я все сделаю, Петр Александрович... Выеду немедленно...

— Поезжайте. Только почаще оглядывайтесь в станице: положение на северном берегу не восстановлено.

...Когда Веснин подошел к тому месту в траншее, где только что встретил майора Божичко, тот, по-прежнему лежа на бруствере, стрелял; от автоматных очередей ходило его плечо, съезжала на затылок шапка.

— Майор Божичко, вы мне нужны!

Божичко обернулся на оклик, примял на затылке шапку ударом руки, выкрикнул с радостным азартом:

— Плотненько окружают фрицы! Подъезжают на бронетранспортерах и расползаются, как клещи! Слушаю, товарищ дивизионный комиссар!

Веснин стоял в траншее, наклонив голову.

— Послушайте меня, Божичко, я сию минуту должен ехать в танковый корпус. Не забывайте об одном: как зеницу ока берегите командующего. Советую быть поближе к нему.

— Ясно, товарищ дивизионный комиссар.— И Божичко, опустив автомат, переспросил: — Сейчас едете? Простите, но не очень ли будет сейчас!.. По высоте-то вроде отовсюду лупят...

— Со мной поедет полковник Осин и охрана.— Веснин легонько потряс Божичко за плечо.— Пустяки. Тем же путем, которым Осин проехал. Все будет как надо, Божичко. Похуже бывало...

— Ни пуха ни пера, товарищ дивизионный комиссар!

Тогда Веснин улыбнулся, махнул рукой.

— К черту, к черту, ко всем чертям, Божичко!

Полковник Осин и Касьянкин сидели в артиллерийском блиндаже за столом и оба, вслушиваясь в стрельбу, ждали чего-то в хмуром молчании. Веснин, переступив порог и не вы-

казывая спешки, с изучающей неторопливостью оглядел мгновенно вскочившего Осина, сказал незнакомо властным тоном:

— Мне с вами по дороге, полковник Осин. В станицу Григорьевскую. Где стоит машина? Возьмите охрану!

— Я рад, товарищ дивизионный комиссар... очень рад. Спасибо. Машины замаскированные, стоят в сарае, под высотой, спасибо...— заговорил удовлетворенно Осин, взял со стола кожаную полевую сумку, спросил не без осторожности: — А как... генерал Бессонов? Он как же? Остается здесь?

Веснин не выдержал:

— Вы что, так и убеждены, что я еду с вами в целях личной безопасности? Неужели вы в этом уверены?

— Товарищ дивизионный комиссар,— Осин обиженно смежил белые ресницы,— напрасно вы на меня сердитесь. Думаю, вы застанете члена Военного совета фронта на энпэ армии. И он сам выскажет вам свое беспокойство.

— Не медлите, Осин. Ведите к машине!

— Поедем через северо-западную окраину, на проселок,— сказал Осин.— Там пока свободно.

Только внизу, под высотой, когда машины по команде Осина развернулись по улочке станицы и разом набрали скорость, помчались к северо-западной окраине, Веснин подумал, насколько все-таки непрочное и зыбкое было положение дивизии Деева. Сверху, с НП, обстановка на этом берегу представлялась несколько иной, не такой серьезной, не такой предельно обостренной. Тугие удары вплотную приближенного боя непрерывными толчками врывались в уши. Северобережная часть станицы была охвачена увеличившимися вблизи пожарами — все корежилось, рушилось, изгибалось, двигалось в огне, вздымаемом среди дымов разрывами снарядов; пулеметные очереди выбивали из пылающих чердаков рассыпчатые космы искр; горький и едкий жар раскаленного воздуха чувствовался и в машине. Этот жар, смешанный с дымом, слезил, разъедал глаза. Запершило и стало саднить в горле. Шофер то и дело кашлял, наваливаясь при этом грудью на баранку. В дальнем конце улочки Веснин увидел неясно танки, они скользнули красным отблеском за домами. Мелькнули и исчезли, удаляясь от машины, вернее, машина удалялась от них, и невозможно было различить, чьи это были танки.

— Жми на всю железку! За Титковым, он знает дорогу! На окраине сразу направо! — крикнул Осин с возбуждением человека, принявшего на себя всю ответственность, и обернул к Веснину круглое, крепкое лицо.— Проскочим, товарищ дивизионный комиссар!

— Не сомневаюсь.

— Проскочим в полном порядке,— подтвердил Осин и пре-

рывисто втянул воздух через ноздри.— Километра три опасных...

Ему хотелось общения, но Веснину этого никак не хотелось.

Он сидел сзади, рядом с Касьянкиным, безмолвно вжавшимся в спинку сиденья; на коленях адъютанта трясся, на ухабах толкал в бок Веснина автомат, взгляд блуждающе перебегал с сотрясаемого кашлем затылка шофера на снежную дорогу, сплошь озаренную пылающими домами. При словах Осина Касьянкин вздрогнул, вообразив эти три километра, повел испуганно глазами вправо и влево, и Веснин подумал: «Экий несуразный парень. Трусит не в меру, что ли?»

— Держите автомат покрепче, Касьянкин. Или дайте его мне,— сказал Веснин.— Божичко так и не научил вас обращаться с оружием, к сожалению.

— Я держу... держу, товарищ дивизионный комиссар,— прыгающим голосом ответил Касьянкин и искательно закивал: — Простите меня, пожалуйста.

— Ух, Касьянкин! Учу уму-разуму, учу...— с мягкой досадой произнес Осин и, поиграв желваками, скосился на адъютанта, заговорил примирительно, обращаясь к Веснину: — Спасибо вам, товарищ дивизионный комиссар, что правильно меня поняли... Зачем так безрассудно рисковать? Сами прекрасно видите, осталась относительно свободной единственная дорога. Единственная, которую держат...

— Я вас правильно понял, товарищ Осин,— ответил Веснин намеренно спокойно.— Настолько правильно, что разговаривать нам сейчас не о чем. Оставим разговор на потом.

— Ясно, товарищ дивизионный комиссар,— тотчас согласился Осин с притворным и вроде бы тоже успокоенным пониманием и нарочито неспешно отвернулся, прочно устроился на сиденье.

Справа проблескивали поредевшие пожары, впереди улочка станицы, кажется, кончилась. Машина неслась вдоль берега, круглая высота с НП дивизии маячила уже сзади, а слева, над крышами домиков, за рекой, широко и багряно хлынуло и встало горячее зарево боя, расцвеченное сполохами ракет, космато брызгающими в раскаленном небе разрывами бризантных — с той стороны накатило разнозвучным и плотным гулом.

Машина, залитая багровым светом, уходила вправо от этого зарева, от боя за рекой, подымалась в гору за околицу станицы мимо последних домиков, и Веснин, невольно испытывая облегчение, некую освобожденность, теперь видел впереди машину охраны, на всей скорости выскочившую по зеркальному наезженному подъему на возвышенность за околицей, где кончалась граница огня. Там мягко краснела темнота ночи. Даже по утробному реву мотора, по тряске от скорости машины, по этой

свободной мгле впереди над степью, где стояла ничем не тронутая ночь, Веснин ощущал, что лишь сейчас миновала опасность, лишь сейчас осталась позади зона боя, немецкие танки в станице, река, НП дивизии над берегом; и вдруг с особой реальной ясностью представил холодное, усталое лицо Бессонова, выслушивающего доклады командиров там, на высоте. И, не без встревоженности подумав об этом, опять увидел облитое заревом переднее стекло, прочную спину Осина, над мехом воротника его красное, маленькое, наполовину прижатое шапкой ухо и совсем четко — край напряженного глаза, зорко и вопросительно устремленного на шофера. А шофер нервно кашлял, наваливаясь на баранку, судорожно, припадочно сотрясаясь, хотя запаха гари в машине не было.

— Ты очумел? Почему сбавил скорость? — крикнул внезапно Осин и притиснулся телом к шоферу. — Что? Что?.. В чем дело?

— Товарищ полковник!.. Смотрите! — с трудом сквозь безостановочный кашель выдавил из себя шофер. — Смотрите, смотрите туда!..

— Титков... Титков, кажется, разворачивается... — тоненько сообщил Касьянкин, вытянув к шоферу шею, привстав, вцепившись двумя руками в спинку переднего сиденья; автомат его сполз, упал с коленей на трясущийся пол машины, запрыгал на ногах Веснина.

— Танки!.. — прохрипел шофер, сумасшедше озираясь. — Немцы впереди!..

— Где? Какие немцы? — закричал Осин. — Откуда? Наши «тридцатьчетверки»? Вперед!.. Ты, чудака, спятил? Дай газу!..

Автомат все убыстренней колотил по ногам Веснина.

«Держите автомат в конце концов!» — хотел сказать Касьянкину Веснин, но не сказал ни слова, потому что увидел то, что происходило впереди.

Машина, завывая на подъеме, вынеслась на возвышенность за околицей. Раскрылась и стеной встала розоватая мгла степи до черного горизонта, и среди этой разжиженной заревом темноты, превращенной в сумерки, там, на возвышенности, поспешно, хаотичными толчками взад и вперед, разворачивалась перед какими-то огромными силуэтами, похожими на стога сена, передняя машина с охраной; она наконец развернулась и, подсккивая на ухабах, помчалась навстречу по берегу. Дверца справа от шофера была открыта, из нее по пояс высунулась фигура майора Титкова, он, похоже было, кричал что-то, вскидывая вверх автомат. Потом выпустил в небо очередь.

— И сейчас уверены, что это «тридцатьчетверки», Осин? — выговорил Веснин так неожиданно для этого момента спокойно, что сам почти не различил своего голоса.

В ту же минуту силой резкого торможения его больно ткнуло грудью в спинку переднего сиденья, но он успел уловить, как черные силуэты на мутно-лиловом зареве неба сыпали искры на снег, донесся оттуда слитный гул танковых моторов. И тотчас красной зарницей вылетело впереди пламя, рванулось громом. Широкий огненный конус встал перед машиной с охраной, отбросил ее в сторону, поставил боком на возвышенности. Из машины выскочил только один человек и, петляя и падая, побежал вниз по дороге. Он, чудилось, кричал что-то, вскидывая над головой автомат.

— Назад!..— бешено скомандовал Осин и, отбросившись на сиденье, ударил по плечу шофера.— Разворачивай! Быстро! Вниз! В станицу!

— Немцы! Немцы!.. Да как же это!..— вскрикивал Касьянкин, заваливаясь в угол машины, зачем-то пытаюсь подтянуть колени к животу, и от этих нелепых движений, от его перехваченного ужасом голоса что-то колюче-острое, как страх, передалось, толкнулось в душе Веснина.

— За-мол-чите, Касьянкин! — Он с гневом и отвращением оттолкнул его поднятое трясущееся колено, повторил: — За-мол-чите вы! Держите себя в руках!

— Рядом ведь они, рядом! Напоролись мы!..— рыдающе вскрикивал Касьянкин.— Что же это?..

— За-мол-чите, я вам сказал!

Веснин слышал команды Осина — «Назад, быстрее! Разворачивай! Жми на всю скорость!» — слышал судорожно-припадочный кашель, бьющий шофера, видел, как он резкими рывками рук и плеч крутил руль и как Осин, весь по-звериному подавшись вперед, в нетерпении бил кулаком по железу над щитком приборов. Веснин сквозь боковое стекло хотел увидеть танки и в следующий миг с ощущением, что машина наконец развернулась и как-то косо, визжа шинами, скатывается, скользит вниз, точно ослеп от опаляющего огня второй зарницы, вылетевшей в упор. В глазах вздыбилась гремящая тьма, зазвенело стекло, пахнуло удушающим жаром раскаленной печи. Страшным толчком Веснина подкинуло в машине, бросило в сторону на нечто живое, мягкое, пронзительно закричавшее и завозившееся под ним. С неистовой попыткой высвободиться из роковой неожиданности, случившейся с ним, он подумал еще четко: «Только бы сознание сейчас не потерять! Кто так кричит, Касьянкин? Его ранило! Почему он так кричит?»

Но от сильного вторичного удара головой о металлическое и жесткое он, наверно, на минуту потерял сознание. Очнулся же Веснин в сером тумане, от крика, оттого, что кто-то дергался под ним, и не сразу понял, что неестественно придавленным лежит на ком-то, дверца машины не справа, а над головой;

смутно догадался: машина, опрокинутая, лежала на боку под бугром. Все расплывалось в обморочной пелене: очков не было. И тут, не совсем соображая, обеими руками шаря очки, Веснин неясно увидел прикинувшую щекой к вжатой в сугроб нижней дверце неподвижную голову шофера, без шапки; переднее стекло выбито, загнуто торчала часть капота — морозный воздух с непонятным близким грохотом врывался в машину, а этот грохот заглушал стоны, глухие вскрики Касьянкина, к которому притиснуло Веснина, и это окончательно вернуло память.

— Касьянкин, ранило вас? Что вы так кричите? — выговорил, слабо слыша себя, Веснин.

— Нога... Нога! — бился в ушах голос Касьянкина.

— Товарищ дивизионный комиссар, не ранило? Быстрее вылазьте, быстрее! Товарищ дивизионный комиссар!..

Кто-то, затемнив широким телом свет зарева, с торопливой силой рвал, дергал, пытался открыть дверцу над головой, и, когда открылась она, две руки втиснулись, схватили за плечи Веснина, с решительным упорством потянули вверх — перед глазами появлялось и пропадало белое лицо Осина, он командовал сдавленным голосом:

— Быстрее, быстрее, товарищ дивизионный комиссар, уходить надо, уходить!.. Прошу быстрее! Не ранило? Двигаться можете?

— Осин... Помогите лучше Касьянкину, кажется, ранен, — проговорил шепотом Веснин и вылез из дверцы, спрыгнул на снег, потом схватился за машину из-за легкого головокружения.

— Касьянкин! — яростно закричал Осин, перевешиваясь в дверцу. — Ранен? Ранен или симулируешь? Вылазь мгновенно! Понял? Вылазь, хоть полуживой! Где автомат? Где автомат?

В этот момент кто-то подскочил к Веснину, жарко, со свистом задышал рядом: «Товарищ дивизионный комиссар!» — и, не договорив, железными пальцами схватил, нажал на плечи, командовал задохнувшимся криком:

— Ложитесь за машину, сюда! Ради бога, не стойте в рост, товарищ дивизионный комиссар!.. Напоролись! Непонятно, откуда здесь танки? Откуда они здесь? Не было их!..

Это был майор Титков, начальник охраны, и Веснин вспомнил, что ведь он бежал к ним от подбитой машины, когда разорвался первый снаряд после его предупреждения очередью. И когда сейчас Титков, защищающе толкнув Веснина к машине, грудью и локтями упал на капот, выбросил автомат на левую подставленную под диск руку, вглядываясь в кромку бугра, откуда распространялся, зависал над головой рокот моторов, Веснин остановил его:

— Не открывать огонь, Титков! Ждать, пока пройдут танки!

Не горячитесь! Что вы против танков из автомата!.. Ждать!..

— Виноват перед вами, товарищ дивизионный комиссар, — заговорил вздохнув Титков. — За жизнь вашу отвечаю...

— Прошу прекратить оправдываться! — оборвал Веснин. — Я сам за свою жизнь отвечаю.

— Вон, вон они... Станицу слева обходят! — выговорил Титков. — Если бы не заметили... Штук двенадцать. С бронетранспортерами.

А Веснин без очков не мог подробно разобрать всего, что видел по-кошачьи Титков. Расплывчато-огромные силуэты танков, заглушая бой ревом моторов, выталкивая из выхлопных труб завывающие искры, медленно двигались по темному среди зарева очертанию бугра в малиновую мглу степи, шли в ста метрах от низины, где лежала перевернутая машина. И Веснин с каким-то острым бессилием подумал, что там, на НП, Бессонов и Деев, вероятно, еще не знают об этих танках, прорвавшихся здесь, на северо-западной окраине станицы.

Но когда он подумал об этом, трассирующая пулеметная очередь молниеносным скачком пролетела над верхом машины, и майор Титков первый увидел то, чего не мог видеть близорукий Веснин. Человек десять немцев спускались с бугра по направлению к дороге: очевидно, разведка, посланная проверить, не остался ли кто цел в машине.

Немцы с опаской сходили по скату; двое из них задержались с ручным пулеметом на бугре — стреляли стоя: один пригнулся, другой положил сзади ствол пулемета ему на спину, как на подставку. Титков, который секунду назад еще надеялся, что немцы пройдут мимо, почти с отчаянием оглянулся на Веснина с ненужным желанием крикнуть: «Сюда идут, сюда!» Но Веснин молча, сдернув перчатки, вырвал пистолет из кобуры; догадался уже, что не миновало — немцы приближались к машине.

— Уходить, уходить! Товарищ дивизионный комиссар, бегите к домикам! Бегите отсюда! Мы прикроем! Касьянкин, уводи комиссара! Касьянкин, встать!.. Встать, приказываю!..

Полковник Осин, вытащивший Касьянкина из машины, сильным толчком правой руки пытался прислонить своего адъютанта спиной к капоту, в левой сжимал его автомат. А Касьянкин, сползая по капоту, корчась, старался сесть на снег, вскрикивал просяще и тонко:

— Товарищ полковник... миленький... ногу, ногу мне вывихнуло... Не могу я, не могу! — и барахтался, отталкивал руку Осина, мотал из стороны в сторону искаженным плачем лицом.

Веснина передернуло.

— Оставьте его! — сказал Веснин, чувствуя холод на спине от этого полного ужаса крика, от этой мольбы, в которой звучала сама смерть.

Тогда Осин с злобной брезгливостью отпустил обмякшее мешком тело Касьянкина и весь вскинулся, дернулся к Титкову, к Веснину, с осиплой задышкой скомандовал:

— Товарищ дивизионный комиссар, немедленно уходите к домикам! Бегом, ползком к домикам! Там укроетесь! Двести метров до домиков! Титков! Мы с тобой тут! На Касьянкина надежды нет...

А предсмертный вопль Касьянкина все еще звенел в ушах Веснина, хотя тот лишь стонал, всхлипывая, темным комом забиваясь под днище машины.

— Нет, Осин,— ответил Веснин, стоя за машиной, и отвел предохранитель пистолета:— Никуда я отсюда не побегу. Это не выход, Осин.

— Вы понимаете, товарищ дивизионный комиссар! — крикнул Осин.— Понимаете, что это?..— И белое лицо его приблизилось к лицу Веснина.

— Понимаю... Примем бой здесь, Осин.

Веснин все понимал с той оголенной трезвостью, в которой уже не было никакой надежды, понимал, что он не добежит до домиков — двести метров по освещенной заревом низине,— понимал, что нет выхода, что случилось в его жизни невероятное, неожиданное, раньше случавшееся с другими, то, во что было трудно поверить, как в бредовом сне, когда перед тобой одна за другой захлопываются намертво двери. Понимал, что немцы идут, спускаются по бугру к машине и что этот бой без надежды, который он в силу безвыходности решил принять, не будет долгим. Но он все-таки не представлял, что может умереть через полчаса, через час, что мир сразу и навсегда исчезнет и его не станет.

Близоруко щурясь, он стоял, положив руку с пистолетом на крыло машины, чувствовал мертвенный холод железа не в руке, а в груди и вместе ощущал жестоко стиснувшие его с двух сторон плечи майора Титкова и Осина.

Сотрясая землю, танки со скрежетом, с грохотом обходили со степи станицу, рассыпанные по бугру тени автоматчиков спускались по скату к машине, ручной пулемет теперь не стрелял. По-видимому, немцы только попытались прощупать начальными выстрелами, есть ли кто живой здесь, и поэтому шли в рост, успокоенно перекликаясь меж собой невнятными голосами.

— Ог-гонь! — с ожесточением выругавшись, скомандовал Осин и, животом лежа на крыле машины, выпустил первую, страшную в своей открытости очередь по этим силуэтам; в клокочущих выбросах огня вспыхивала его каменно-твердая скула с выпуклым бугорком желвака.— Ог-гонь, Титков! Бить сволочей, не подпускать!.. В бога, в душу мать!..

И Титков полоснул длинной очередью слева от Веснина.

Веснин, рассчитывая патроны, выстрелил два раза по расплывчатым силуэтам на фоне красноватого бугра — силуэты слились с землей. В следующую секунду, режуще взвизгнув, огненные струи густо засверкали из снега, ударили по верху машины; брызнули по дороге синие огоньки разрывных. Немецкий пулемет пока молчал, а автоматы били так близко, что чудилось, ветер зашевелил шапку на голове. Потом чужой голос, ломающий слова, донесся откуда-то, напряженно выкрикнул речитативом: «Рус, не стреляй, не стреляй!» — и на размытую точку прицельной мушки, которую искал Веснин, поднялся из сугроба силуэт, плеснул краткой предупредительной очередью в воздух, затем твердо дошло до сознания: «Рус, капут, сдавайся!» Но Веснин опять дважды выстрелил в этот ломаный, чужой, этот ненавистный, обещающий пощаду голос, выстрелил, сдерживая дыхание, целясь тщательно, а в ушах, из туманной отдаленности, взвивался, сверлил крик Осина:

— Хрен тебе в сумку, «капут»! Не выйдет, фашистская сволочь, не выйдет!

Когда ручной пулемет забил прямыми очередями, в двадцати метрах от машины, по ту сторону дороги, сознание Веснина еще не соглашалось с тем, что немцы приблизились вплотную. Его сознание тогда сопротивлялось, отвергало надвигающуюся неизбежность, и, ощущая в руке отдачу пистолета, он тогда верил, убеждал себя, что эта неизбежность надвинется не сейчас, нет, не сейчас, а через несколько минут, когда кончатся все патроны у Осина и Титкова и когда у него останется последний... «Сколько же у меня осталось? Сколько?.. — подсознательно задерживая нажим пальца на спусковом крючке, подумал он. — Нет, надо бы спокойно, не торопиться, только бы рассчитать... У Титкова должны быть запасные патроны, должны быть...»

— Майор Титков, у вас...

И вдруг он задохнулся — горячий, жесткий удар в грудь оттолкнул его, резко качнул назад, и то, что успел уловить Веснин, подавившись от этого удара невыговоренными словами, были повернутые к нему, немо кричащие о каком-то невозможном несчастье глаза майора Титкова. И толкнулся со стороны другой голос:

— Товарищ комиссар!.. Товарищ комиссар!

«Что он увидел на моем лице? — мелькнуло у Веснина, и, удивленный этим выражением отчаяния и изумления в глазах Титкова, он той рукой, в которой был зажат пистолет, прикоснулся к груди, обессиленно отстраняя то неизбежное, что случилось с ним. — Неужели? Неужели это?.. Неужели так быстро настигло это?» — подумал Веснин и с облегчением от внезапной,

непоправимой и уже пришедшей понятости случавшегося сейчас с ним хотел посмотреть на руку, чтобы увидеть, различить на ней кровь... Но не увидел крови.

— Товарищ дивизионный комиссар!.. Вас ранило? Куда ранило? Куда?..— звучал знакомый и совершенно незнакомый голос, потухая и потухая, отдаваясь в глухую пустоту, а багровые волны шли перед глазами, накатывали на что-то необъятно-огромное, мерцающе-черное, похожее не то на горячую выгоревшую пустыню, не то на южное, низкое, ночное небо. И мучительно стараясь понять, что́ это, он до пронзительной ясности увидел себя и дочь Нину в черной тьме южной ночи на берегу моря под Сочи, куда увез ее, разведясь с женой, в тридцать восьмом году. Он почему-то в белых брюках, в черном траурном пиджаке стоял на песке пустынного пляжа с темными пятнами влажных и одиноких лежаков, стоял с горьким и душным комом вины в горле, зная, что здесь же, на этом пляже, он после дневных прогулок с дочерью встречался с той женщиной, которая должна была стать его второй женой. А Нина, догадываясь о чем-то, плакала, теребила его, хватала за белые брюки и, подняв к нему мокрое от слез лицо, просилась в Москву, к матери, умоляла отвезти ее: «Папочка, я здесь не хочу, папочка, я хочу домой, я хочу к маме, отвези меня, пожалуйста...»

И, ощущая дрожащие, цепляющиеся руки дочери, ее слабое тельце, толкавшееся ему в ноги, он хотел сказать ей, что ничего не случилось, что все будет хорошо, но ничего не мог ни сказать, ни сделать — прочность земли уходила из-под ног...

Пулеметная очередь, убившая его, смертельной силой заставила сделать два шага назад — и в те секунды, когда зажатый в пальцах пистолетом Веснин прикрыл место острого и неожиданного удара в грудь, он лежал на спине в снегу, кровь шла у него горлом.

— Титков!.. Что с комиссаром? Что?!

Веснин не слышал и не видел, как Осин прекратил стрелять и, сгибаясь, огромными прыжками подскочил к нему, когда уже майор Титков, упав на колени в снег, с ужасом на лице пытался ощупать его, тыкался руками в разорванную клочками темно-вязкую шинель на его груди; не слышал и короткого ответа Титкова, и того, как Осин прохрипел яростно и дико:

— В душу фрицев мать!.. Майор Титков! Хоть мертвым комиссара вынести! Хоть мертвым!.. Ясно? Тащи! К домикам! По кювету! Я догоню тебя!..

И Титков, кусая в кровь губы, взвалил растерзанное пулеметной очередью тело Веснина на свою железную спину, потащил его на себе. Осин несколько минут лежал возле машины и стрелял длинными очередями по немцам, выкрикивая страш-

ные ругательства, а когда немецкий пулемет смолк, он вскочил, ударил прикладом по крылу машины и в бешенстве закричал под темное днище, откуда пробивались, в обморочном беспмятстве, глухие, стонущие звуки;

— Касьянкин, трусливая сволочь, людей убивают, а ты еще жив? Перед немцами на коленях думаешь ползать? Жизнь сохранить? Нога тебе стрелять помешала? Вылезай, подлец! Вылезай!

— Товарищ полковник, миленький, товарищ полковник!.. Не надо! Не виноват я!.. — зашелся взвизгивающими рыданиями Касьянкин, не вылезая из-под машины. — Миленький, убейте меня! Убейте!..

— Замолчи-и! — крикнул Осин, не разжимая зубов. — Пулю на тебя жалко! Вылезай, трус! Беги за Титковым!.. Ну! Пока не передумал!..

И рывком выволок из-под днища машины нечто бесформенное, расплывшееся, трясущееся, с окостенелыми глазами, что повторяло одно и то же голосом Касьянкина:

— Товарищ полковник, товарищ полковник...

— Замолчать, мразь! Беги!..

Потом, пригибаясь, скачками бросился в сторону от машины, к кювету, догоняя Титкова, который бежал и полз — все тащил на себе уже остывающее тело комиссара Веснина.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Единственное и, казалось, чудом уцелевшее орудие Уханова стояло в полутора километрах от обгоревшего, изуродованного снарядами моста и прекратило свою жизнь в поздний час вечера, когда были израсходованы все боеприпасы, принесенные от трех разбитых орудий.

Ни Кузнецов, ни Уханов не могли определенно знать, что танки армейской группы генерал-полковника Гота в двух местах успешно форсировали реку Мышкова на правом крыле армии и, не ослабляя натиска, к ночи углубились в оборону дивизии Деева, рассекли ее, сжали в тиски полк Черепанова в северо-бережной части станицы. Но они хорошо знали, что часть танков — трудно было подсчитать сколько — в конце дня подавила соседние батареи, смяла впереди и слева оборону стрелковых батальонов, и, выйдя на артпозиции, в том числе на батарею Дроздовского, переправилась через мост на тот берег, после чего мост этот был полуразрушен и подожжен «катюшами».

Непонятнее всего было то, что с наступлением темноты бой стал отдаляться, постепенно стихать за спиной, там поднялось

зареву, набухло краснотой на протяжении всего северного берега, который еще недавно целиком являлся тылом. Здесь же, на южном берегу, перед страшной, изрытой танками первой пехотной траншеей, раздавленными огневыми позициями батареи — непостижимо умом — бой тоже затихал, прекратились атаки, хотя земля оставалась подвижно-огненной — везде островами пылал синтетический бензин, горели и догорали одинокие и толпой сгрудившиеся на буграх танки, чернела прожженная, развороченная снарядами броня транспортеров, пламя облизывало железные скелеты грузовых «оппелей», которых не видел в бою Кузнецов, а они шли за танками.

Ветер ворошил на краю балки, раздувал у машин снопы искр, удушаемых в низине поземкой, до слез жгло глаза и этой колючей снежной крошкой, и этими тихими и зловещими огнями в степи. Три танка дымили перед самой огневой позицией батареи, по обугленной броне жирный дым сваливало к земле, и отовсюду угарно пахло раскаленным железом, сладковатой резиной, горелым человеческим мясом.

Кузнецов очнулся, когда его затошнило от забившего ноздри приторного запаха. Его мутило долго, и он, лежа, перегнувшись через бруствер, давился, кашлял, но желудок был пуст, не было облегчения, от позывных судорог саднило грудь и горло. Потом он вытер губы, сполз с бруствера, совершенно не стесняясь того, что Уханов и расчет могли видеть его слабость: это не имело сейчас никакого значения.

Все, что теперь думал, чувствовал и делал Кузнецов, вроде бы думал и делал не он, а некто другой, потерявший прежнюю меру вещей, — все изменилось, перевернулось за день, измерялось иными категориями, чем сутки назад. Было ощущение какой-то пронзительной обнаженности.

— Не могу, — наконец шепотом выговорил Кузнецов. — Все-го выворачивает...

Еще не воспринимая расползавшуюся вокруг батареи тишину, он растирал надсаженную напрасными потугами грудь, оглядывался на расчет, почти оглохнув в бою.

Старший сержант Уханов сидел на огневой позиции, в безмерном изнеможении откинув голову на бровку бруствера, неподвижные глаза приоткрыты, он, похоже было, спал, не смыкая век. Полчаса назад, после того как Нечаев крикнул, что кончились снаряды, он, странно засмеявшись, опустился на землю около орудия и так сидел с бессмысленной усмешкой, с биноклем на распахнутом ватнике, отупело уставясь на запылавшее зарево, на редкие трассы по ту сторону реки, куда передвинулся бой.

Ствол орудия, раскаленный стрельбой, светился в темноте синеватыми искорками, снежная крошка позванивала по щиту.

— Уханов!.. Слышишь? — не в полный голос позвал Кузнецов.

Плохо расслышав окрик — тоже потерял слух в бою, — Уханов оторвал от зарева равнодушный взгляд, долго глядел на Кузнецова, затем вяло поднял одну руку, обвел в воздухе кольцо — и Кузнецов кивнул пьяно гудевшей головой.

— Возможно, — ответил он. И медленно покосился на расчет, намереваясь узнать по лицам, понимают ли они, чем все-таки кончится бой.

А весь расчет — остались из семи человек лишь двое, Нечаев и Чибисов, обессиленные вконец, утратившие в многочасовом бою чувство реальности, в состоянии крайней физической опустошенности, не спрашивали ничего, не слышали их. Наводчик Нечаев, так и не встав от прицела, стоял перед ним на коленях, уткнувшись лбом в согнутую в локте руку, неумная нервная зевота раздирала его рот. «Ах-ах-ах-а...» — выдыхал он. По другую сторону казенника полулежал замковый Чибисов, скорчась, уйдя с головой в шинель, из-под воротника и подшлемника видна была часть сизой, покрытой грязной щетиной щеки, однотонно и стонуше вырывались у него усталые всхлипывания, он не мог отдышаться.

— О, господи, господи, силов моих нет...

Кузнецов смотрел на Чибисова, повторявшего это невнятное, как молитву в беспамятстве, и почувствовал, что начал замерзать: мокрое от долгого возбуждения тело со слипшимся бельем и гимнастеркой быстро теряло тепло, ветер продувал шинель насквозь. И стало сводить челюсти от задушливой зевоты Нечаева, от порывов пронизывающего холода, смешанного с исчезающим сладковатым запахом горелого мяса. С отвращением сглотнув слюну, он подошел к Чибисову, спросил шепотом:

— Вы, Чибисов, не заболели? Как вы? — и отогнул воротник шинели на его лице.

Округленный во внезапном испуге глаз затравленно глянул вверх, но затем моргнул, узнал, принял осмысленное выражение, и донеслись насильно ободряющие самого себя выкрики Чибисова:

— Здоров я, здоров, товарищ лейтенант! Я на ногах. Не сумлевайтесь, за-ради бога! Встать мне? Встать? Стрелять я могу...

— Нечем стрелять, — проговорил Кузнецов, затуманенно вспомнив Чибисова в бою — движение его рук, рвущих назад рукоятку затвора, оторопелые, как в последнем жизненном свершении, лицо в обводе подшлемника, который он не снимал с марша, и вместе с тем спину его, съезженную, по виду обреченную, приготовленную к страшному. Он был, пожалуй, не хуже и не лучше других заряжающих, но эта спина его, попадая

на глаза Кузнецову, высекала в душе вспышку ядовитой жалости, и подмывало закричать: «Что ежитесь, зачем?» — но память не выпускала того, что Чибисов в два раза старше, что у него пятеро детей...

— Пока кончилось, Чибисов, отдыхайте, — сказал Кузнецов и отвернулся, мучительно замер в глухой пустоте...

Нет, это одно-единственное уцелевшее орудие, что осталось от батареи, без снарядов, и их четверо, в том числе и он, были награждены улыбнувшейся судьбой случайным счастьем пережить день и вечер нескончаемого боя, прожить дольше других. Но радости жизни не было. Так очевидно стало, что немцы прорвали оборону, что бой идет в тылу, за спиной; впереди — тоже немецкие танки, прекратившие к вечеру атаки, а у них ни одного снаряда. После всего, что надо было пережить за эти сутки, он, как в болезни, перешагнул через что-то — и это новое, почти подсознательное, толкало его к тому разрушительному, опьяненному состоянию ненависти, наслаждения своей силой, какое испытывал он, когда стрелял по танкам.

«Это — бред. Что-то случилось со мной, — подумал удивленно Кузнецов. — Я вроде жалею, что кончился бой. Если я уже не думаю, что меня могут убить, вероятно, меня действительно убьют! Сегодня или завтра...»

И он усмехнулся, еще не в силах справиться с этим новым чувством.

— Лейтенант... А лейтенант! Жить будем, лейтенант, или окоченевать, как цуцки? Жрать хочется, — как из пушки! Умираю от голода. Что затихли, заснули все? Ты чего умолк, лейтенант?

Это окликнул старший сержант Уханов. Он сорвал, сдернул с шеи ненужный бинокль, кинул его на бруствер и, запахивая ватник, поднялся, косолапо переваливаясь, постучал валенком о валенок. Потом бесцеремонно пнул ногой в валенок Нечаева, который по-прежнему заходил в судорогах зевоты, сидя у прицела, уткнув лоб в согнутую на казеннике руку.

— Чего раззевался, морячок? Кончай бесполезное занятие!

Но Нечаев не оторвал лба от руки, не ответил, не перестал зевать: он пребывал в глубоком забытии, в ушах его настойчиво гудели двигатели танков, кровавознойные вылеты пламени, опалая зрачок, достигали из темноты перекрестия прицела, плохо видимого сквозь пот на веках, и при каждом выстреле, вызывая на себя смерть, руки его торопились, охватывая, лаская, ненавидя маховики наводки. За много часов, проведенных возле прицела, он наглотался пороховых газов — и теперь ему не хватало воздуха.

— Рассказать бы ему сейчас, хрену дальневосточному, про баб что-нибудь, сразу бы во все стороны усики растараканил, —

беззлобно выговорил Уханов и сильнее пнул его в валенок.— Чуешь меня, Нечаев, нет? Подъем. Бабы вокруг табунами ходят!

— Не тронь, его, Уханов,— проговорил Кузнецов устало.— Пусть. Никого не тронь. Побудь здесь.— И он машинально передвинул на боку кобуру с пистолетом.— Я сейчас. Пройду по батарее. Если там немцы не ползают. Хочу посмотреть.

Уханов похлопал рукавицами, подергал вислыми плечами.

— Хочешь посмотреть, что осталось? Ноль целых ноль десятых. Мы дырка. А вокруг бублик. Из немецких танков. Мы здесь, а они вон где. Справа и слева прорвались. Дела, лейтенант: немцы под Сталинградом в окружении, нас тут в колечко зажали. Веселый денек был, как? Говорят, что ада нет. Брежут! А в общем, лейтенант, нам крупно повезло! — сказал Уханов, вроде бы веселея от этого везения.— Молиться надо.

— Кому молиться? — Кузнецов устало оглядел застывшие за разными концами станин фигуры Нечаева и Чибисова, добавил: — Если танки двинут ночью, передавят нас тут без снарядов за пять минут. А отходить куда? Молись судьбе, чтобы не двинули...

— Именно,— хохотнул Уханов и спросил быстро: — Что предлагаешь, лейтенант?

— Пойду посмотрю те орудия. Потом решим.

— Решим? Со мной решать будешь? А где Дроздовский? Где комбатик наш? Где связь с эмпэ?

— С тобой будем решать. С кем же еще! — подтвердил Кузнецов.— Что смотришь? Не ясно?

— Пошли к орудиям.— Уханов перекинул через плечо ремень автомата.— Побачимо. Хоть и ясно: смотри не смотри — колечко. Только вот это туманно. Впереди метров на семьсот до станицы, похоже, немцев нет.

— Заняли станицу, что им в голой степи делать? И что для танков семьсот метров! Наверно, думают, никого тут не осталось. Тем более на тот берег вышли.

— А ты все же странный парень, лейтенант, но ничего. С тобой воевать терпимо.

— Приятно слушать. Еще что-нибудь скажи! Еще комплимент — и растаю...

— Ладно. Принято. Кстати, что с нашей девкой? Где она? Жива?

— Да. В землянке с ранеными. Таскала раненых от твоего же орудия. Не заметил?

— Кроме танков, ничего не видел. И ничего не соображал...

А когда отошли от огневых позиций и зашагали по ходу сообщения, полновесная до глухоты тишина плотно стиснула их в узком проходе, тяжелая, давящая на голову, грозная тишина. Кузнецов первый остановился, показалось, как в воде,

заложило барабанные перепонки, потряс головой — противный звон плыл в ушах. Мгновенно сзади остановился и Уханов. Шорох одежды, звук шагов окончательно стихли. Потом, подчеркивая это тяжелое, неправдоподобное безмолвие, одиноко простучала, осеклась за спиной пулеметная очередь. И все онемело, омертвело в ночи. Только в зудящем звоне ошаривающий тишину голос Уханова:

— Что почуял, лейтенант? Немецкий пулеметик в тылу?

— В ушах у тебя звенит, Уханов? — Кузнецов нерешительно снял шапку, уже подумав, что оглох совсем. — Что-нибудь слышишь?

— В башке кузнечики, лейтенант. После стрельбы это...

— Больше ничего?

— Слышу, что там кончилось, на том берегу. Неужто глубже прорвали?

— Везде затихло.

— Намертво, — сказал Уханов. — Похоже, жиманули наших до Сталинграда, прорвали фронт, а мы одни тут... Глянь на северо-восток, лейтенант. Это над Сталинградом горит. Километров тридцать отсюда.

— Подожди!.. Послушай!.. — Кузнецов, подавшись к брустверу, настороженно вытянулся. — Вроде впереди кто-то кричит... Или это в ушах?

Ему послышался человеческий вскрик где-то за пехотными траншеями на холмах, слабо замолкший в тишине краснеющих снегов. С затаенным дыханием, не надевая шапки, Кузнецов вслушивался сквозь тонкий звон в ушах, глядел на зарево, вспухавшее в непонятном безмолвии над тем берегом, на слабое свечение неба на северо-востоке, где был Сталинград, на разбросанные по степи смрадные костры из железа на протяжении всего этого берега и перед батареей — огонь, ветер, снежная крошка, смутно-зловещие силуэты сгоревших бронетранспортеров и танков на холмах.

— Не может быть, чтобы они прорвались к Сталинграду, — тихо сказал Кузнецов.

Ему, видимо, почудился человеческий вопль. И он передохнул наконец. Нигде ни выстрела. Ни движения. Ни звука. Как будто вся земля умерщвлена была до последнего живого дыхания — и, холодея на диких ветрах, лежала в неживом, пустынном зареве, а они двое и там те, оставшиеся у орудия за их спиной, измученные, обессиленные — всего четверо, остались в мире посреди смерти и пустоты. Стало не по себе от этой стылой неподвижности мертвенной декабрьской ночи, и Кузнецов с кривой улыбкой проговорил:

— Показалось... — И надел шапку. — Ты прав: в ушах сверчит.

Они опять зашагали по ходу сообщения. Опять звучали шаги, шуршала одежда — это были признаки жизни.

— Если нам стало мерещиться, лейтенант, — засмеялся Уханов, — дела наши неважные. Впрочем, может, раненый фриц кричал. Или кто-нибудь из нашей пехоты...

— Думаю, из боевого охранения мало кто остался. Танки целый день утюжили. Сходить бы надо туда...

— Учтено, лейтенант. А тебе бы связаться с энпэ. Может, у Дроздовского какая-нибудь связь с начальством.

— Осмотрим батареи, потом сообразим, что и как, — сказал Кузнецов и, придвинувшись на несколько шагов по ходу сообщения, произнес чужим голосом: — Орудие Чубарикова... Чего не пойму: как они этот танк не заметили?

— Тоже не пойму. Я открыл по нему огонь, когда увидел его уже перед бруствером, — вслух подумал Уханов. — Ранило, похоже, тут всех — до тарана.

— Я видел, когда ты открыл огонь.

Они подошли ближе.

Это место раньше называлось огневой второго орудия, той позицией младшего сержанта Чубарикова, на которой Кузнецов, застигнутый первой танковой атакой, начал бой утром. Но сейчас ее невозможно было назвать позицией. Черно-угольная, сгоревшая широкая громада танка, подмяв, сдвинув с площадки покореженное, косо сплюснутое стальными гусеницами орудие, чуждо и страшно возвышалось здесь, среди развороченных брустверов, торчащих из земли валенок, клочков шинелей, ватников, разломанных в щепки снарядных ящиков. Никто не успел отбежать от орудия...

Все было исковеркано, опалено, неподвижно, мертво, и густо несло горьким запахом окалины, вьевшегося в землю и снег пороха, обгоревшей краски. Ветер одиноко свистел, играя, копошился в пробоинах давно выстуженного морозом, полусорванного, закрученного спиральными кольцами щита, который, прикасаясь к обмотанной какими-то грязными тряпками гусенице, осторожно скрежетал, вызывая одиноким железным дребезжанием озноб в спине.

И от накалившегося морозом черного металла танка, от раздавленного орудия дохнуло жестким холодом смерти.

«Как здесь все произошло? Почему они не успели выстрелить?»

Кузнецов с перехваченным удушьем горлом, с ощущением своей вины — зачем он ушел от орудия? — хотел понять, как сложились в смерть те гибельные секунды, когда он вместе с Зоей стрелял по танкам на позиции Давлатяна, силился представить, пытались ли они стрелять в те последние секунды перед

смертью, представить их лица, их движения в момент нависшей над бруствером пылающей громады танка.

А он лишь издали видел гибель расчета. И ничего не мог сделать. Те молниеносные секунды мгновенно стерли с земли всех, кто был здесь, людей его взвода, которых он по-человечески не успел узнать: младшего сержанта Чубарикова, с наивно-длинной, как стебель подсолнуха, шеей, с его детским жестом, когда он поспешно протирал глаза: «Землей вот запоорошило»; и деловито точного наводчика Евстигнеева со спокойно-медлительной спиной, с извилистой струйкой крови, запекшейся возле уха, оглушенного разрывом: «Громче мне команды, товарищ лейтенант, громче!..»

Он еще помнил их взгляды, голоса, они звучали в нем, как будто гибель их обманывала его и он должен был опять услышать их, увидеть их... И это, казалось, должно было произойти потому, что он не успел сблизиться с ними, понять каждого, полюбить...

У Кузнецова замерзло лицо, замерзли руки, и с почти самоуничтожающим осуждением того, что произошло, того, что не в силах был тогда предотвратить, остановить, он хотел знать это последнее, что случилось здесь, что объяснило бы все.

Но то, что он видел на огневой,— оставшееся от его расчета, лишь угадываемое, неясное, темное, заваленное землей, то, что не нужно было уже хоронить,— окатывало его смертным молчанием. Никто не мог ответить, кроме них. А их уже не было... Только под ветром чуть слышно позванивало, дребезжало: загнутый кольцами щит орудия прикасался и отталкивался от железной гусеницы танка.

Кузнецов поднял озябшее лицо. Внезапно за спиной раздался визгливо-скребущий звук лопаты. Звук был четок, резок в тишине. Уханов, темнея фигурой среди зарева, сгибался и разгибался в нише для снарядов, ударял лопатой в землю.

Кузнецов тихо подошел, посмотрел. Уханов откапывал в навале земли ничком распростертое в нише, вдавленное человеческое тело, цепко обхватившее руками что-то под собой; шинель на спине разорвана в клочья: наверно, пулеметная очередь из танка сразила его в упор.

— Кто? — глухо спросил Кузнецов. — Кто это, Уханов?

Уханов молча взял за плечи отвердевшее тело, и оторвав его от чего-то плоского и серого, повернул лицом вверх. Лица убитого невозможно было узнать. Корка земли примерзла к нему. Плоское и серое было снарядным ящиком.

— Подносчик снарядов, — сказал Уханов и с горловым хканьем вонзил лопату сбоку ящика. — Очередью в спину... Видно, когда снаряды брал. Одного не соображу, лейтенант: как же они его проворонили? Или до этого ранило всех? — Он мотнул

головой в сторону танка.— Еще снаряды были! Снаряды ведь были у них! А Чубариков и Евстигнеев стреляли, как боги! Танк-то горел уже!..

Кузнецова поразила злость, какое-то отрицание, жестокое несогласие в тоне Уханова, словно они, кто не мог ответить ему, виноваты были в самой своей смерти, а он, Уханов, никак не хотел простить гибели целого расчета, раздавленного танком. Кузнецов сказал с хрипотцой:

— Мы не знаем, что здесь произошло. Кого винить?

— Простить себе не могу.— Уханов выдернул снарядный ящик из земли, с силой бросил его на бруствер.— Надо было мне вторым снарядом лупануть! Но на меня самого семь штук перли! А видел, видел я его как на ладошке, бок мне ясенько подставил этот чубариковский!...— Он вылез из ниши, взглянул на темное, распластанное на земле тело подносчика снарядов.— Спасибо, братцы, хоть за снаряды! Где похоронить его, лейтенант?

— В нише,— ответил Кузнецов.— Я схожу к орудиям Давлатяна.

На позиции второго взвода тоже все было раздолбано, истерзано, завалено, везде воронки, зияющие чернотой ямы, вывороченные бомбами, хруст осколков под ногами — позиции уже не существовало: только распаханые брустверы дворики, разметанные гильзы и одно орудие с пробитым накатником, из которого стрелял Кузнецов, обозначали огневую, пустынно-заброшенную, безнадежно покойную. Ровик связи позади орудия, куда во время бомбежки прыгнул Кузнецов к телефонисту Святову, был наполовину скошен разрывом снаряда. Проходя, Кузнецов задел ногой за оборванный провод и вдруг так остро, так обнаженно ощутил безвольную неупругость потянувшегося за ним, никому не нужного теперь провода, что в груди сдавило.

Самое страшное, что в эту минуту осознавал он, было не в прожитом за весь сегодняшний бой, а в этой подошедшей пустоте одиночества, чудовищной тишине на батарее, будто он ходил по раскопанному кладбищу, а в мире не осталось никого.

Он возвращался к орудью Чубарикова, убыстряя шаги — надо было скорее увидеть, услышать Уханова, надо было решить с ним, что дальше и в какой последовательности делать: перенести снаряды, попробовать связаться с НП, найти Зою, узнать, как она, что там в землянке с ранеными, как Давлатян, как остальные...

На огневой позиции, загроможденной обугленной громадой танка, и возле ниши Уханова не было. Здесь играючи посвистывал в пробоинах металла ветер, и жутким знаком одиночества

наискось торчала лопата из рыхлого бугра земли в нише — из могилы подносчика снарядов чубариковского орудия.

— Уханов!..

Ответа не было. Кузнецов позвал решительней:

— Уханов, слышишь?..

Потом ответный оклик откуда-то издали:

— Лейтенант, сюда! Ко мне!

— Где ты, Уханов?

На всякий случай расстегнув кобуру, Кузнецов взобрался на бруствер, пошел на оклик меж углублений частых воронок. Тихо было. Не взлетело ни одной ракеты. Степь перед батареей, усеянная очагами огня, уходила за балку, мнилось, к краю земли; ветер наносил прогорклым жаром каленого железа, и не верилось, что начиналось за бруствером пространство, не занятое никем. Впереди, на слабо светящемся снегу, еле заметно выступала, двигалась фигура Уханова, исчезала и вновь вырастала около силуэтов трех подбитых танков.

— Что там, Уханов?

— Погляди-ка на мертвых фрицев, лейтенант!..

Мела снежная крупа по ногам, широкие продавленности танковых гусениц были затянуты по краям белым ее налетом. И здесь, совсем недалеко от своих орудий, разглядел Кузнецов несколько трупов немцев, застигнутых смертью в разных позах, видимо, уже в те мгновения боя, когда пытались они отползти, отбежать от подожженного танка. Трупы эти розово отсвечивали в зареве, обледенелыми вмерзшими бревнами бугрились в снегу; можно было различить на них черные комбинезоны.

Кузнецов сделал еще несколько шагов и с непонятным самому себе упорным и необоримым любопытством поглядел в лицо первого убитого. Немец лежал на спине, неестественно выгнув грудь, притиснув двумя руками ремень на комбинезоне, под руками было что-то черное, глянцевито смерзшееся — как потом догадался Кузнецов, окровавленный кожаный шлем; обнаженная голова убитого откинута до предела назад так, что задран острым клином подбородок, покрытый коркой льда, длинные волосы нитями примерзли к снегу, вытянутое к небу белое юношеское лицо окостенело в гримасе удивления, точно губы готовились в непонимании вскрикнуть, а левая, не запорошенная снегом сторона этого твердо-гипсового лица была чисто-лиловой, в глубине раскрытого в последнем ужасе глаза точкой горел стеклянный огонек — отблеск зарева.

Судя по узким серебристым погонам, это был офицер. В трех шагах от него проступала на снегу воронка; осколки разорвавшегося снаряда попали ему в живот.

«Кто убил его: я или Уханов? Чей это был снаряд? Мой или его? Что он думал, на что надеялся, когда шел на таран?» —

спрашивал себя Кузнецов, разглядывая застывшее в ужасе удивления лицо мальчика-немца, испытывая едкое ощущение неприступности чужой, неразгаданной тайны, почувствовав вблизи сухой, металлический запах смерти. Этот немец, по-видимому, умирал мучительно, но кобура пистолета на его боку была застегнута.

Не раз в первых боях под Рославлем Кузнецов представлял себя вот так вот убитым, мысленно видел, как его тело безразлично и грубо трогает сапогом какой-нибудь подошедший немец, и, думая об этом, желал тогда одного — удара в голову, в висок. Он больше всего боялся, что при смертельном ранении останется на лице, не исчезнет гримаса страдания, нечеловеческий оскал страха, как это часто бывало на лицах убитых, чем-то унижая их смерть. И, как в спасение, как в помощь, верил в последний патрон, который с того времени всегда берег в пистолете почти суеверно. Так было спокойней.

«После тарана он выскочил из танка,— представил Кузнецов, глядя на убитого.— Значит, он еще не поверил в смерть, надеялся выжить. Даже когда разорвался в трех шагах снаряд и осколки были в животе, он еще думал, чувствовал боль и зажал шлемом рану».

С тем же неотступным ощущением неудовлетворенного любопытства к вечной, необъяснимой загадке смерти Кузнецов не без колебания, не сняв шерстяную перчатку, нагнулся и стал расстегивать крепко-каменную черную кобуру парабеллума, отполированную снегом. Пальцы не подчинялись, неосяземо скользили по ледяной корке. Невозможно было нащупать кнопку, а когда она поддалась наконец и с хрустнувшим звуком кожи он вынул плотно сидевший в кобуре парабеллум,— почувствовал живой запах застывшего масла, напоминавший запах человеческого пота.

«Еще утром и этот немец, и Чубариков жили... Потом немец повел танк в атаку, убил Чубарикова и весь расчет. Потом осколок моего или ухановского снаряда убил этого немца. Никто из нас утром не знал, что мы так убьем друг друга. Когда я стрелял, я ненавидел эти танки, ненавидел всех, кто сидел в них... А он, немец?»

С задержанным дыханием Кузнецов еще раз взглянул на убитого и, преодолевая безразличность, сунул парабеллум в карман: что ж, это было оружие. Потом он мельком покосился на двух других убитых немцев, очевидно, из того же экипажа, выскочившего из танка вслед за офицером, но не стал рассматривать их.

«Что это? Опять мерещится?»

До его слуха явственно дошел завывающий звук мотора, отдаленный развалистый лязг гусениц где-то впереди батареи

на холмах, затем смолкло все — и сейчас же из тишины тревожно прозвучал голос Уханова:

— Лейтенант, сюда! Быстро! Сюда!..

Кузнецов бросился вперед, к трем силуэтам подбитых танков, где был Уханов, перемахивая через выброшенную снарядами промерзлую землю, и, подбежав, увидел очерченную дальними пожарами тень Уханова возле крайнего танка. Спросил, унимая дыхание:

— Что?.. Что заметил, Уханов?

— Похоже, живые там, лейтенант...

Теперь вполне ясно можно было разглядеть Уханова, автомат, изготовленно положенный на широкие траки гусениц; у ног его стоял круглый кожаный, непонятно откуда взявшийся чемоданчик, напоминавший немецкий ранец. Уханов, заложив рукавицы за борт ватника, дул на пальцы, отогревая их, быстро глянул на Кузнецова, сказал:

— Посмотри вперед, вон туда. И послушай... Вот туда, лейтенант, смотри — на два подбитых бронетранспортера на бугре. Ничего не видишь? Проясняется?

— Ни черта не вижу! Может, послышалось: мотор.

— Во-во... Смотри, смотри!.. Фонарик мигнул... Видел?

Фонарик ли мигнул, или блеснул огонек зажигалки — нельзя было определить, но короткая вспышка искрой мелькнула впереди, между двумя мертвыми контурами бронетранспортеров на бугре перед балкой, и там смутно зашевелилось несколько фигур, размытых в сумерках ночи, пошли по степи гуськом, неся от бронетранспортеров нечто длинное, темное; силуэты их все более проявлялись в отсветах зари.

— Да, немцы, — шепотом сказал Уханов.

— Смотри, смотри, — выдохнул над ухом Уханов. — Что-то маракуют, стервы.

Опять тайно, скоротечно пробрезжил огонек, и в ответ на этот сигнал возник в балке рокот мотора, скрипнули гусеницы, и черным проявившимся пятном тихо выползла к двум обгорелым бронетранспортерам гусеничная машина, остановилась, мотор смолк. И сразу же несколько фигур направились к ней, неся темное и длинное, завозились возле машины, потом пошли цепочкой левее бронетранспортеров, разошлись вокруг железных остовов танков на некоторое расстояние друг от друга, то сливаясь с землей, то вновь возникая на бугре, но фонарик теперь не мигал.

— Слушай, лейтенант, что-то они маракуют, — холодком задышал Уханов в ухо Кузнецова. — Понять не могу. Что будем делать?.. У меня полный диск, целехонький. Автомат работает, как часики. — И в полутьме глаза Уханова ртутно скользнули

по лицу Кузнецова.— Подпустим малость — и срежем к ядерной матери всех! Их вроде человек десять.

— Не стрелять! — Кузнецов предупреждающе отвел руку Уханова с автоматом.— Подожди! Смотри, что они делают... Или санитары, или похоронная команда. Кажется, своих собирают...

Снова слабенько посигналил в степи перед балкой загороженный чем-то огонек; приглушенно заработал мотор, и прямоугольная тень машины, поскрипывая гусеницами, поползла по вершине бугра влево, остановилась; неясные фигуры замаячили впереди бесшумно, цепочкой понесли что-то к машине, стали грузить в нее.

Облокотясь на гусеницу, Уханов смотрел в степь и одновременно дыханием согревал ладони.

— Похоже, фрицевские помощники смерти. Своих собирают,— уже без сомнения проговорил он и спросил: — Ну и что будем делать, лейтенант?

Кузнецов, хмурясь, прислушивался: ни мотора, ни голосов не стало слышно. До машины и немцев было метров триста.

— Нет, не стрелять,— не очень убежденно повторил Кузнецов и добавил: — Санитары или похоронщики — не танки. Пусть собирают.— Он помолчал, раздумывая.— Черт с ними! Не будем начинать бой раньше времени. Пошли к орудию.

— Напрасно! Не подозревают фрицы, что мы с тобой тут. Две очереди — и конец! Позиция у нас прекрасная. Как, а? Лупанем? — сказал Уханов и сощурился.— Чтоб не ползали...

— А я сказал, не будем открывать огонь по похоронщикам, ясно? Ухлопаешь двух — и что, бой выиграешь, что ли? Нам и без того патронов не хватит. Думаешь, все кончилось? Посмотри туда. Вон туда, в станицу. И еще за спину!

— Ну, не агитируй, лейтенант...

Выдернув рукавицы из-за пазухи, Уханов даже не глянул туда, куда указал Кузнецов,— ни в сторону полусожженной югобережной части станицы впереди и справа, ни в сторону северного берега, тоже занятого немцами,— надел рукавицы, примирительно сказал:

— Ладно, принято. Трофеи видел, нет? — Он похлопал по широкому ремню с двумя парабеллумами, опоясавшему ватник, подхватил круглый чемоданчик с земли.— В разбитом транспорте взял. Раскрыл — копченой колбасой пахнет. Совсем не помешает. А это тебе, лейтенант... за храбрость. Держи подарок от командира орудия.

Уханов расстегнул ремень, сдергивая с него массивную глянцебитую кобуру с парабеллумом, но Кузнецов остановил его.

— Отдашь кому-нибудь в расчете. У меня есть. Трофеи, знаешь, тыловым писарям дарят. Ну, пошли.

Уханов усмехнулся.

— Ей-богу, до сегодня считал: мимоза ты, интеллигентик... Даже иногда краснеешь, похоже. А ты, брат, коленкор рвешь! Откуда такие дровишки? Десять кончил? И все?

— Повторяешься, Уханов. Надоело. Биографию рассказать?

— А ты ответь: десять кончил? Или из института? В училище в разных батареях были, издали тебя видел.

— Десять кончил. Но и ты, кажется...

— Не-ет, лейтенант, семь классов, остальные — коридор. Похоже, года на три я старше.

— То есть?

— Ушел из школы. Начитался Ната Пинкертон и Шерлока Холмса — и повезло, работал в уголовном розыске в Ленинграде. Родной дядя помог, он там тоже работал. В общем, веселая была жизнь. Вот этот зуб мне в одной малине при налете выбили.

— Вижу, веселая жизнь.

— Не удивляйся. Редкая профессия. Имел дело с блатниками, ворами и прочей швалью. Для тебя это темный лес. Ходил по острию ножа, но нравилось. Ты эту жизнь не знаешь.

— Не знаю. Что у тебя стряслось в училище? Почему не присвоили звание?

Уханов засмеялся.

— Хочешь — верь, хочешь — не верь, перед выпуском ушел в самоволку, а возвращался — и наткнулся на командира дивизиона. Нос к носу. Знакомо окно в первом гальюне возле проходной? Только влез в форточку, а майор передо мной, как лист перед травой, орлом на толчке сидит...

— Угроздило тебя уйти в самоволку перед выпуском!

— Это уж детский вопрос, лейтенант. Было дело — кончено. Но уразумел, в чем комедия? Всунулся я в окно и, вместо того чтобы сразу деру дать, смеху сдержать не смог при виде майора в таком откровенном положении. Вылупил он на меня глаза, а я стою перед ним дурак дураком, и смех разрывает, ничего не могу с собой поделать. Стою на подоконнике — и ржу идиотом. Потом, конечно, крик и гром, поднял из горизонтального состояния Дроздовского, образцового во всех смыслах помкомвзвода, — и шагом марш на гауптвахту. Веришь, нет?

— Нет.

— Ну это — дело хозяйское, — сказал Уханов, и передний стальной зуб его померцал открытой улыбкой.

На северном берегу, где постепенно угасало, бледнело зарево, прогремело подряд несколько выстрелов, следом зашла немецкая автоматная очередь — и все смолкло. В ответ с южного берега ни звука.

— Откуда еще стрельба? — насторожился Кузнецов и, помолчав, спросил: — Скажи, что ты думаешь о Дроздовском? Действительно, был образцовым помкомвзвода...

— Выправка у него, лейтенант, как у бога. Исполнительный и умный мальчик. А почему спросил? Что у тебя с ним?

Сильный ветер причесывал, трепал около ног сухие, жесткие стебли травы, дул в спину из степи от холмов, где работала похоронная команда. Кузнецов, замерзая, хмуро поднял воротник.

— Знаешь, как погиб Сергуненков? Глупо! Идиотски! Думать об этом не могу! Забыть не могу!

— А именно?

— Дроздовский прибежал к орудию, когда уже самоходка разбила накатник, и приказал ему гранатой уничтожить самоходку. Понимаешь, гранатой! А метров сто пятьдесят по открытой местности ползти надо было. Ну, и пулеметом, как мишень, скосило...

— Яс-сно! Гранатами воевать вздумал, мальчик! Хотел бы я знать, что могла сделать эта пукалка. Гусеницу чуть ущипнуть! Стой, лейтенант, прихватим снаряды...

Они задержались на бывшей огневой Чубарикова, и здесь опять густо и внятно дохнуло на них горелым металлом и повеяло тоской, гибелью, смертным одиночеством от однообразно-унылого дребезжания на ветру искореженного орудийного щита под вздыбленной лапой гусеницы, от неподвижной громады танка, от одинокой лопаты, воткнутой в бугор там, где в нише похоронен был подносчик снарядов, которого они так и не опознали по лицу. Снежная крупа намела здесь белые островки, но еще не прикрыла черную наготу земли, разверстующими провалами. Из-за поднятого воротника Кузнецов смотрел на скольжение поземки по раздавленной станине, увидел неправдоподобно четкие свежие следы, оставленные валенками Уханова вокруг этой ниши, в тех местах, где нанесло уже снег, и поразился равнодушной, беспощадной белизне.

Уханов с криканьем вскинул на спину ящик со снарядами. Молча пошли к орудию.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Возле орудия слышался испуганный оклик из ровика:

— Стой, кто ходит? Стрелять буду!..

— Жарь, только сразу, — насмешливо отозвался Уханов и сбросил с плеч снарядный ящик между станинами орудия. — А кричать надо, Чибисов, следующим образом: «Стой, кто

идет?» И покрепче рывкать, чтоб коленки замандражировали. А ну-ка, голосни еще разик!

— Не могу я... Не могу, товарищ сержант... стреляют, они стреляют,— оправдываясь, забормотал из ровика Чибисов жалким, всхлипывающим голосом.— Прикуривал давеча, зажег, а над головой — свись — и в бруствер. Ка-ак они пульнули из автомата!..

— Откуда? Где стреляют? — строго спросил Кузнецов, не видя Чибисова и подходя к ровику.

Одинокое темнело на огневой, словно бы давно брошенное расходом, орудие, прикрытое чьей-то хлопающей на ветру плащ-палаткой, груда стреляных гильз меж раздвинутых станин, снежок в земляных морщинах брустверов — все показалось одичалым, лиловатым от близкого зарева на том берегу. А этот как озябший от холода голос Чибисова выборматывал из темноты:

— Пригнулись бы вы, пригнулись... заметил он орудие, бьет...

Чибисов не вылезал из ровика, был не виден в нем, сливался с его краями, и Кузнецов проговорил с раздраженной командной интонацией:

— Что вы, как крот, зарылись в землю, Чибисов? В стереотрубу вас не увидишь! Выйдите сюда. Где Нечаев?

Но было отчего-то стыдно и неловко после своей грубоватой команды смотреть, как завожился в ровике Чибисов, как выполз он боком на огневую и ныряюще пригнулся, сев на станину, с предосторожностью озираясь на противоположный берег; кургузая шинель топорщилась колоколом, выглядывало из подшлемника треугольное, приготовленное к опасности, небритое личико; карабин держал будто палку. «Странно, каким образом перенес он этот бой? — подумал Кузнецов, припомнив Чибисова то время бомбежки, когда упал он, а мыши с писком прыгали на его спину из нор под бровкой ровика, стесанной осколком.— Что он тогда говорил? А, да... «Дети, ведь дети у меня».

— Наблюдаю я, товарищ лейтенант. А Нечаев в землянке... там они... Санинструктор туда пришла, Зоя... Рубин еще, ездовой. Чего-то они говорят. А тут с того берега стреляют. Кресалом чиркнул, а пуля — свись в бруствер. Нагнулись бы, не ровен час...

— Откуда стреляют? Из какого именно места? — спросил Кузнецов.

— С того берега, товарищ лейтенант. Близенько они в домах сидят, орудие наше видят...

Это несмелое, заискивающее объяснение Чибисова, его маленькое, в неопрятной щетине личико, обращаваемое то к нему, то к Уханову, это его какое-то глупое или мудрое беспокой-

ство, его предупреждение — казались чуждыми, из другой жизни, и не было прежней жалости к Чибисову.

— Снайперов заметили на том берегу, а перед носом ничего не видите, — раздраженно сказал Кузнецов. — Наблюдатель называется!

— А? — весь подался на станине, всполошился Чибисов. — О чем говорите, товарищ лейтенант?

— Наблюдайте повнимательнее за холмами — там немецкая санитарная машина. Убитых собирают. Не все время в тыл смотрите, но и вперед. Из-под носа немцы орудие утащат. Поняли?

— Насчет снайперов сейчас проверим, что тебе мерещится, Чибисов, — сказал Уханов и, подождав, неторопливо и добродушно приказал: — Пригнись за бруствер, лейтенант. Чибисов, ныряй в ровик. В момент, ну! На огонек, говоришь, с того берега стреляют? Проверим.

С шутливым видом он вынул из кармана зажигалку и, подкидывая ее на ладони, сделал знак Чибисову; тот, порывисто задышав, сорвался со станин, засуетившись, как зверек перед норой, втиснулся в ровик, затих в нем. Кузнецов стоял, едва сообразив, зачем все это нужно было Уханову.

— Пригнись, лейтенант, на всякий случай. — Уханов нажал на плечо Кузнецова, пригибая его к брустверу, после пригнулся сам, поднял руку, тотчас чиркнул зажигалкой над головой. И в тот же миг на том берегу треснул винтовочный выстрел, фосфорически-жестко сверкнул огонек. Свиста пули не было слышно, но в двух шагах справа посыпались крошки земли с бруствера.

— Оказывается, не мерещилось Чибисову, — сказал Кузнецов.

— Очень близко сидят, стервы, — ответил Уханов. — Где-то в первых домах... Ближе некуда.

— Пожалуй, Уханов, к рассвету надо бы засечь их, и два снаряда — туда, — произнес Кузнецов, выпрямляясь. — Заметили движение у орудия. Стрелять не дадут.

— Говорил вам я, говорил! — отозвался из ровика утверждающий несчастье голос Чибисова. — Как в мешке мы. Впереди они, с тылу они рядом... Отрезали нас, лейтенант!..

— Наблюдать, Чибисов! — приказал Кузнецов. — Только не дно ровика, поняли? Если что — сигнал, выстрел из карабина, и немедленно в землянку! Повторите.

— Если что, из карабина стрелять, товарищ лейтенант...

— И не спать! Пошли в землянку, Уханов.

Они стали спускаться по выдолбленным в откосе земляным ступеням — речной лед внизу гладко багровел, залитый заревом.

Вход в землянку был завешен плащ-палаткой, из-за нее

пахнуло живым дыханием, донеслись неразборчивые голоса, и среди них сразу узнал Кузнецов голос Зои. И с мгновенным ознобом он вспомнил, как она с зажмуренными глазами прижалась к нему своим ищущим защиты телом — у нее были тогда грязные коленки — в те, мнилось, предсмертные секунды, когда их засекла самоходка и когда он полусознательно, почти инстинктивно прикрывал ее своим телом и готов был умереть так, защищая ее от осколков. Но и теперь он плохо сознавал, что в тот миг произошло с ним и особенно с ней. Может быть, это пришло из глубины веков; может быть, тогда мужчина в силу неодолимого инстинкта так жертвенно и самозабвенно оберегал женщину для продолжения рода на земле.

Помедлив у входа, Кузнецов подумал, какое будет у нее сейчас лицо, выражение глаз, после того как войдет он с Ухановым, и, сдвинув брови, отдернул плащ-палатку.

Голоса смолкли. Кто-то кашлянул простуженно.

— Плащ-палатку аккуратней бы... Снайпера лупят!

В землянке было сыро, холодно, из артиллерийской гильзы синевато светило бензиновое пламя, озаряя мокрые стены. Здесь были трое — Зоя, Рубин и Нечаев; они, согреваясь, теснились около высокого огня потрескивающей самодельной лампы, и все повернули головы к входу. Сержант Нечаев, полулежавший возле Зои, локтем своим касаясь ее колен, — шинель расхристана на груди, так что виден тельник, — испытующе глянул на нее; вспыхнула под усиками эмалевая улыбка:

— Вот, Зочка, и лейтенанта дождались!

А сидевший на пустом снаряжном ящике ездовой Рубин вдруг заерзал, с преувеличенной занятостью стал хватать заскорузлыми большими пальцами брызжущие из гильзы языки огня. Зоя так быстро вскинула голову к Кузнецову, что блеснули, залучились тревогой зрачки, и тихо, с облегчением улыбнулась. Лицо ее ничем не напоминало то недавнее, что было подле орудия; оно сильно осунулось, похудело, в подглазьях обозначились полукруглые тени, губы почернели, казались искусанными, шершавыми. «Нет, — мелькнуло у Кузнецова, — никто бы не смог ее поцеловать в эти черные губы. Что у нее с губами? И почему так смотрит на нее Нечаев?»

— Ну вот, слава богу, что вы пришли, родненькие! — сказала Зоя, улыбаясь с откровенной радостью. — Я очень ждала вас, мальчики. Хотела увидеть живыми. Слава богу, пришли. Где вы были?

— Недалеко. В гостях у фрицев, Зочка. Вот с лейтенантом немецкие посты проверяли, — ответил Уханов и, стоя с нагнутой головой, бросил к огню лампы кожаный круглый саквояжик, совсем домашний, с никелированными, заиндевевшими на морозе

застежками.— Принимай, братцы, трофеи. Нечаев, расстели брезент! Небось жрать все хотите, как лошади? Нашему родному старшине — боевой привет. Сидит, видать, коровья морда, в тылу где-нибудь на своем котле и медалями, старый сортир, храбро позвякивает, страдает о нас!

Нечаев засмеялся, а Зоя снизу смотрела на Кузнецова, покусывая губы, теперь уже не улыбаясь, а Рубин, суровая багровым лицом, скашивался исподлобья на Зою, громко сопел.

— Лейтенант,— позвала Зоя, скорее не голосом, а огромными глазами на исхудалом лице, и закивала ему.— Сядьте, пожалуйста, со мной. Мне нужно поговорить с вами. Нет,— покусав губы, поправилась она,— вот возьмите записку. Это от Давлатяна. Он просил меня вам ее передать. Вечером я не смогла. Невозможно было отойти от раненых. Хорошо, что Рубин мне помогал. Скажите, лейтенант, мы в окружении разве?

Он взял протянутую записку, не ответив на ее вопрос. Спросил:

— Зоя, как он? В сознании?

— То на том свете, то на этом,— мрачно прогудел Рубин.— Вас все звал. Говорит, сказать что-то надо...

Кузнецову известно было о положении лейтенанта Давлатяна, тяжело раненного еще в начале боя, известно было, что он почти обречен; бросив взгляд не на Рубина, а на Зою, Кузнецов понял, что состояние Давлатяна по-прежнему безнадежно, и осторожно развернул записку, на которой было крупно накорябано химическим карандашом:

«Лично лейтенанту Кузнецову от лейтенанта Давлатяна. Коля, не оставляй меня здесь раненым. Не забудь про меня. Это моя просьба. А если больше не увидимся, в левом кармане комсомольский билет, фотокарточка с надписью и адреса. Мамы и ее. Возьмешь и напишешь. А как — сам знаешь. Только без сантиментов. Все! Ничего у меня не вышло. Я — неудачник. Обнимаю тебя. Давлатян».

Зоя встала, морщинка судороги, похожей на улыбку, тронула ее губы.

— Будьте живы, родненькие мальчики. Мне — к раненым. Я и так у вас долго.

— Зоя,— хмуро сказал Кузнецов и, сунув в карман записку, шагнул за ней к выходу.— Я с вами пойду. Проводите меня к Давлатяну.

— Как, славяне, дышите пока? — спросил Уханов.— Паники не наблюдается?

Сержант Нечаев, внимательно проследивший карими, в красноватых от усталости жилах глазами за тем, как колыхнулся перед отдернутой плащ-палаткой Зоин полушубочек над ее

полными, будто вбитыми в короткие, перепачканные глиной валенки ногами, вдруг лег на спину не то с выдохом, не то со стоном; весь он потерял прежнюю щеголеватую и броскую яркость, — темнел заросший подбородок, усики и косые бачки выделялись неаккуратно, — поскреб ногтями тельник на груди; сказал с шутливым сожалением:

— Эх, жизнь-индейка! Что бы я попросил, кореш, у господ бога, если судьба нам здесь?.. Хотел бы я, товарищ бог, перед смертью какую-нибудь девку до полусознания зацеловать!.. Ничего в Зойке нет, может, глаза и ноги одни, а прижаться на одну ночку бы, братцы, и потом хоть грудью на танк! Смотрю, Кузнецов не теряется. Как, Рубин? Наверно, ты в своей деревне шастал к девкам? Много девок-то перепортил?

— Рас-смотрел, бабник... ничего нет, — передразнил Рубин. — Глазами ты мастак. Зойку-то... А вот глаза и ноги ее не про тебя. Соображаю, это дело тебя в темечко стукнуло. Бесился после шоколада во флоте-то!

— Нет, Рубин, а мне по роже твоей видно, что ты через плетни тихой сапой шастал! Здоров ты, бугай! Об шею рельсу сломать можно.

— Ша, славяне! С кем Зойка, не наше дело! — прикрикнул Уханов. — Вообще, Нечаев, люблю я тебя, но кончай травить морскую баланду насчет санинструктора. Мне лично осточертело. Смени пластинку! И ты, Рубин, осадь коренных! — Уханов с обозначившейся угрозой на лице обождал тишину в землянке, затем сказал, смягчаясь, добродушно: — Вот так, люблю мир в семействе. Держи, Нечаев, награду за подбитые танки! В бронетранспортере пару взял. Вместе с чемоданчиком. Один дарю!

Уханов снял с ремня большую кобуру с парабеллумом, кинул небрежно к ногам Нечаева. Нечаев, хмыкнув, не без любопытства отстегнул кнопку, вытянул массивный, воронено отливающий полированным металлом пистолет, взвесил его на ладони.

— Офицерский, сержант? Сильная тяжесть...

Рубин покосился на чужое оружие — личное оружие убитого немца, который несколько часов назад стрелял по ним, кричал команды на своем языке, ненавидел, жил, надеялся жить, — проговорил мрачно:

— Солидная штука парабел. А вот не имеем мы права немецким воевать.

— Начхать! Этого? — мотнул головой Нечаев на саквояжик, который вертел в руках Уханов, трогая застёжки. — Офицерский? Его?

— Похоже, его. Без ошибки — чемоданчик со жратвой. Поэтому и взял. Посмотрим. Не гранаты в чемоданчиках возят.

Уханов дернул никелированные застёжки на аккуратном,

туго набитом, мирного вида саквояжке, раздвинул края, потрянул его над брезентом.

Из саквояжа посыпались на брезент пара нового шелкового белья, бритвенный прибор, колбаса и буханка хлеба в целлофане, пластмассовая мыльница, плоский флакончик одеколona, зубная щетка, два прозрачных пакетика с презервативами, фляжка в темном шерстяном чехле, дамские часики на цепочке. Потом упали на брезент карты в атласном футляре, на котором почему-то нарисован был знак вопроса над берегом голубого озера, где мускулистый мужчина в узких плавках догонял нагую толстую светловолосую женщину, — от всего этого запахло сладковато и пряно, вроде чужим запахом пудры.

Бросились в глаза эти странные, интимные предметы далекой и непонятной жизни неизвестного убитого немца — следы его недавней жизни, обнаженной и преданной этими вещами после его смерти.

— Зря Зочка ушла, — сказал Нечаев, разглядывая дамские часики на своей ладони. — Разреши ей преподнести подарок, старший сержант? На ее ручке эти часики заиграют. Можно взять?

— Бери, если примет подарок.

— Смотри ты, какое дело с собой возят! — проговорил Рубин, засопел. — Гондон даже в запасе.

— А, одни шмотки! — сказал досадливо Уханов и откинул саквояж в угол землянки. — Не те трофеи. Ладно. Половину жратвы нам, половину Зое на раненых.

Брезгливым движением руки он отшвырнул в сторону все, кроме фляжки, бритвы, колбасы и хлеба в целлофане, потом сорвал целлофан, вынул финку из ножен.

— Шелковое, чтоб воши не держались, — сказал Рубин, хозяйственно щупая грубыми пальцами немецкое белье, и широкое лицо его изобразило ожесточение. — Вот оно как, а!..

— Ты о чем, Рубин? — спросил Уханов.

— Вот он как готовился — белье шелковое, все учел. А мы — все легко думали!.. По радио: разобьем врага на его территории. Территория! Держи карман...

— Дальше, дальше, Рубин, — поднял светлые глаза Уханов. — Говори, что замолчал? Давай, давай, не стесняйся!

— А ты, Рубин, видать, нытик и паникер, — вскользь заметил Нечаев и тут же прыснул смехом. — Это что еще за картинки? — Взял футляр с картами, пощелкал по футляру — атласные карты выскользнули на ладонь. — Салака ты, Рубин. Скрипкой ноешь. Что ты в своей деревне видел? Коровам хвосты крутил?

— Врешь! Не хвосты крутил, конюх я колхозный, — озлобляясь, поправил Рубин. — А в жизни я то видел, что тебе и в зад не кольнуло! Когда ты на лодках своих клешами мотал,

меня до смерти об войну ударило! За один раз всю мою жизнь свихнуло. Зверем ревел, ногтями двух дочек своих махоньких после бомбежки из земли откапывал... да поздно! В петлю лез, да злоба помешала!..

Уханов вприщур взглянул на Рубина, финкой разрезая копченую колбасу. Нечаев бросил на брезент карты. Здесь были парные голые валеты и обнаженные парные дамы в черных чулках, в черных перчатках, тесно сплетенные в непристойных, противоестественных позах: бородатые, мускулистые, как борцы, короли держали на коленях прижавшихся к ним нежных мальчиков с ангельскими ликами и ангельскими улыбками. Это не могло быть картами, но это были все-таки карты, несколько захватанные, затертые по краям, тем не менее невозможно было представить, что в них играли за столом.

— Тьфу, мозги набекрень! После этого ничего не захочешь — бред бешеной медузы! Хорошо, что Зочка вовремя вышла. Не для женских глазок. С ума сойти, что делается!

— Все бабы у тебя в голове! — Рубин побагровел. — Кому война, а кому мать родна!

Нечаев собрал карты, кинул их в угол, вытер ладони о шинель, точно очищаясь от чего-то липкого, скользкого, потом взял парабеллум, откинулся спиной к стене землянки, сказал:

— Ты, Рубин, можешь считать меня хоть чертом, люблю баб... Но у меня тоже к себе счет есть. Братишку моего старшего в сорок первом убило. Под городом Лида. Я и тогда думал: война неделю продлится. Нажмем — и в Берлине во главе с маршалом Ворошиловым на белом коне. Оказалось... до самой Москвы шпангоуты нам на боках пересчитывали. — Нечаев поиграл парабеллумом. — Согласен — второй год потеем. Но Сталинград, Рубин, — это вещь. Пять месяцев фрицы наваливались, наверняка уже шнапс за победу пили, а мы им шпангоуты мять начали.

— Начали! — передразнил Рубин. — Начали, да не кончили! А сегодня что он сделал: у нас не прорвал, так стороной танками обошел! Значит, опять его силу не учли? И сидим тут — ровно мыши отрезанные, а он небось на танках к своим в Сталинград прет и над тобой похохатывает!

— Брось, брось, похохатывать ему не приходится, — обиделся Нечаев. — Мы тоже танков его нащелкали — зарыдаешь! Носовых платков не хватит. Кальсоны на платки придется драть.

— Сам ты кальсоны! По какой такой причине обрадовался немецкой железке? — крикнул Рубин Нечаеву. — Трофею обрадовался?

— А что? — сказал Нечаев. — Парабеллум у немцев — будь здоров!

Рубин встал, коротконогий, квадратный, обегая землянку налитыми кровью глазами, страшный в раскрытой злобе ко все-

му — к войне, к этому шелковому немецкому белью, к этому бою, к окружению, к Нечаеву. И, порываясь к выходу из землянки, подхватив с земли карабин, прибавил крикливо в сторону Уханова:

— Чтоб трофеи я эти ел? С голода околею — в рот не возьму!..

— А ну, Рубин, вернись и сядь!

Уханов, сказав это, прекратил отпиливать финкой кусочки замороженной, твердой копченой колбасы с белыми точками жира, сильным ударом вонзил финку в буханку хлеба. И тотчас Нечаев перестал играть парабеллумом — по тому, как Уханов резко вонзил финку в хлеб, по тому, как переменялось выражение его взгляда, почувствовалось недоброе. Остановленный этой командой «сядь!» и этим взглядом, Рубин, не остыв, круто нагнул шею, приготавливаясь сопротивляться, но показалось — на веках его блеснули слезы.

— Запомни, Рубин, я тоже от границы топаю, знаю, почем фунт пороха. Но даже если мы все до одного поляжем здесь, истерик не допущу! — сказал Уханов внушительно и спокойно. — Немцев-то все же мы зажали возле Волги, или это не так? Война есть война — сегодня они нас, завтра мы их! Ты когда-нибудь на кулачках дрался, приходилось? Если тебе первому в морду давали, звон в чердаке был, искры из глаз летели? Наверняка небо с овчинку казалось. Главное — суметь подняться, кровь с морды вытереть и самому ударить. И мы их ударили, Рубин! Другая драка пошла. Не обручальное колечко фрицам подарили на память. Ладно. Мне наплевать на болтовню! Будь тут какой-нибудь хмырь, он бы, гляди, припаял тебе паникерство. А я не то слышал. Сядь. Хлебни из этой фляжки. И нервишки в узду возьми. Все! Больше ни слова!

— Вот-вот... Паникерство. Слово такое больно грозное. Чуть что — паникерство! — выговорил едко Рубин. — А мне, сержант, умереть — легче воды выпить. Страшнее того, как я дочек своих ногтями выкапывал, не будет. Как хочешь обо мне думай...

— Думаю как надо. Лошадей твоих побили — пойдешь ко мне в расчет. Рядом умирать будем. — Уханов усмехнулся. — Веселее... А может, еще и попляшем!

— Куда уж!..

И, не закончив фразу, Рубин поставил карабин в темный угол землянки, сел там в тени, незаметно стряхнул злые слезы с глаз, достал кисет, стал сворачивать цигарку корявыми, скачущими пальцами.

— Зоя, как Давлатян? С ним можно поговорить?..

— Сейчас нет. Я хотела тебе сказать... Когда он приходит

в сознание, все спрашивает, жив ли ты, лейтенант. Вы из одного училища?

— Из одного... Но есть надежда? Он выживет? Куда его ранило?

— Ему досталось больше всех. В голову и в бедро. Если немедленно не вывезти в медсанбат, с ним кончится плохо. И с остальными тоже. Ничем уже не могу помочь им. Обмываю, что скоро придут повозки. Но, по-моему, мы совсем отрезаны от тылов. Куда вывезти? Кто знает, где медсанбат?

— Скажи, на энпэ связь есть с кем-нибудь?

— Связи нет. Без конца настраивают рацию. Это знаю. Связисты там, с Дроздовским. Где ты был, лейтенант, после того, как я побежала к орудию Чубарикова? Ты видел тот танк, который раздавил орудие?

— Я не знал, что ты...

— Забудь то, лейтенант. Я ничего не помню. Было жуткое чувство, даже дрожали коленки. Ах да, кажется, я тебя просила насчет моего «вальтера». Это, конечно, смешно. Хочу жить сто лет, нарожу назло себе и всем десять детей. Ты представляешь, десять очаровательных мордочек за столом, у всех белые головки и измазанные кашей рты? Знаешь, как на коробке «Корнфлекса»?

— Не знаю... Зоя, ты, кажется, замерзла? Пойдем. Не будем стоять.

— Лейтенант, тогда под Харьковом пришлось оставить раненых. Я помню, как они кричали...

— Это не Харьков, Зоя. Мы не будем и нам некуда прорываться. У нас осталось еще семь снарядов. Никто никого не будет бросать. Даже думать об этом нечего.

Они остановились шагах в двадцати от землянки на узкой, протоптанной валенками вдоль кромки берега тропке. Острым первобытным холодом дуло с речного льда, окатывало густым паром из дымящихся внизу огромных прорубей, образованных утренней бомбежкой. Зарево над противоположным берегом ослабло, снизилось; в эти часы ночи его будто душило накалившимся до железной крепости морозом. Стояло над впадиной реки неколебимое ночное безмолвие, и обоим было трудно говорить, дышать на жестоком холоде. И Кузнецов не смог бы объяснить себе, зачем успокаивал он Зою в этой неопределенно зыбкой, не понятной никому обстановке, когда неизвестно, что может случиться через час, через два этой ночью, кто из них проживет до утра, но он не лгал ни себе, ни ей — убежден был: отходить, прорываться отсюда некуда — впереди и сзади чужие танки, а дальше за ними, за спиной тоже немцы, сжатые в котле, куда нацелено было сегодня наступление, показавшееся целым

годом войны. Что в Сталинграде? Почему немцы сделали передышку на ночь? Куда они продвинулись?..

— Чертов холодище, — проговорил он. — Ты тоже, кажется, замерзла?

— Нет, это так, нервное. Я-то знаю, что никуда не уйду от них. Ты сказал — некуда?..

Сдерживая стук зубов, она подняла воротник полушубка, смотрела мимо Кузнецова на зарево, на противоположный, занятый немцами берег; белое лицо ее, суженное бараньим мехом, длинные полосы бровей, странно темные, отрекающиеся от чего-то глаза выражали усталое, углубленное в себя страдание.

— Не хочу второй раз оставлять раненых. Не хочу... Ужаснее ничего нет.

Кузнецов, чувствуя всем телом озноб, живо представил, как немцы, окружив батарею, крича на бегу друг другу команды, врываются с автоматами в землянку с ранеными, а она, не успев вынуть «вальтер», отходит в угол, прижимается спиной и руками к стене, как распятая. И он спросил, сбавляя голос:

— Скажи, ты умеешь обращаться с оружием — с пистолетом, с автоматом?

Она поглядела на него и непонятно засмеялась, уткнув губы в мех воротника, видны были вздрогнувшие черточки бровей.

— Очень плохо!.. А ты скажи, почему возле орудия, когда я струсил, ты меня как-то очень странно обнимал — защищал, да? Спасибо тебе, лейтенант. Я здорово струсил.

— Не заметил.

— Подожди!.. — Она отвела воротник от губ, брови ее уже перестали вздрагивать от этого неожиданного смеха. — А что было, когда я ушла к орудию Чубарикова?

— Там погиб Сергуненков.

— Сергуненков? Это тот застенчивый мальчик — ездовой? У которого лошадь ногу сломала? Подожди, я сейчас вспомнила. Когда шли сюда, Рубин мне сказал одну жуткую фразу: «Сергуненков и на том свете свою гибель никому не простит». Что это такое?

— Никому? — переспросил Кузнецов и, отворачиваясь, ощутил инистую льдистость воротника, как влажным наждаком окорябавшего щеку. — Только зачем он тебе это говорил?

«Да, и я виноват, и я не прощу себе этого, — возникло у Кузнецова. — Если бы у меня хватило тогда воли остановить его... Но что я скажу ей о гибели Сергуненкова? Говорить об этом — значит говорить о том, как все было. Но почему я помню это, когда погибло две трети батареи? Нет, не могу почему-то забыть!..»

— Я не хочу говорить о гибели Сергуненкова, — решительно ответил Кузнецов. — Нет смысла сейчас говорить.

— Господи,— шепотом сказала она,— как мне жаль вас всех, мальчиков...

А он, слушая ее голос, в котором звучали страдание и жалость ко всем, а значит, и к нему, думал между тем: «Неужели она любит Дроздовского? Неужели ее губ, неприятно искусанных, распухших, мог касаться он? И неужели она не могла заметить, что у Дроздовского холодные, безжалостные глаза, в которые неприятно смотреть?»

— Что ты так на меня смотришь, лейтенант, родненький? — мягко-волнистым, как слышалось ему, шепотом спросила она.— Смотришь и смотришь, будто ни разу меня не видел...

Он глухо ответил:

— Я зайду к Давлатяну. И не называй меня родненьким. Ты и меня жалеешь? Я еще не ранен и не убит. Тем более не хочу умирать бессмысленно и глупо.

— А разве смерть бывает умной, лейтенант? Хочу, чтобы ты, миленький, остался живым. Чтоб ты долго жил. Сто пятьдесят лет. У меня счастливое слово. Ты будешь жить сто пятьдесят лет. И у тебя будет жена и пятеро детей. Ну, прощай. Я к раненым... Нет, почему ты так смотришь на меня, лейтенант? Наверно, я тебе нравлюсь немного? Да? Вот не знала! — Она придвинулась к нему, отогнула одной рукой мех воротника от губ, взглянула с пытливым удивлением.— Ой, как все это глупо и странно, кузнечик!

— Почему «кузнечик»?

— Кузнецов, кузнечик... А ты разве не любишь кузнечиков? Когда я их слышу, становится очень легко. Представляю почему-то теплую ночь, сено в поле и такую красную луну над озером. И кузнечики везде...

Несло холодом от речного льда, и этот ледяной, низовой ветер шевелил полу ее полушубка. Ее глаза, улыбаясь, поблескивали, темнели над меховым воротником, отогнутым книзу ее рукой в белой варежке; белеющим инеем обросли полосы бровей, мохнато торчали, отвердели кончики ресниц, и Кузнецову опять показалось, что зубы ее тихонько постукивали и она чуть-чуть вздрагивала плечами, как будто замерзла вся. И совершенно явно представилось ему, что зубы так постукивали не у нее и говорила сейчас не она, а кто-то другой и другим голосом, что нет ни берега, ни зарева, ни немецких танков,— и он стоит с кем-то около подъезда в декабрьскую ночь после катка; вьюжный дым сносит с крыш, и фонари над снежными заборами переулка в сеющейся мгле... Когда это было? И было ли это? И кто был с ним?

— Хочешь поцеловать меня?.. Мне показалось, что ты хочешь... У тебя нет сестры? Нас ведь обоих могут убить, кузнечик...

— Слушай, зачем это? За мальчика меня принимаешь? Кокетничаешь?

— Разве это кокетство? — Она заглушила смех воротником, закрыв им половину лица. — Это совсем другое... Возле орудия ты меня защищал как сестру, лейтенант. У тебя ведь есть сестра?

«Возле орудия... шли танки. Мы стреляли, убило Касымова. Она была рядом, потом побежала к орудию Чубарикова, когда танк пошел на таран. Потом пулеметной очередью несколько раз перевернуло Сергуненкова перед самоходкой... Задымилась на спине шинель. И перекошенное, ошеломленное лицо Дроздовского: «Разве я хотел его смерти?..»

— Ты ошибаешься!

«Дроздовский! Не могу представить — ты и Дроздовский!» — едва не сказал он, но ее поднятое к нему, настороженно наблюдающее лицо внезапно резко озарилось красным сполохом, так разительно высветив широко раскрывшиеся глаза, губы, иней на тонких бровях, что он в первый миг не понял, что случилось.

— Лейтенант... — зашептали ее губы. — Немцы?..

В ту же секунду где-то наверху, за высотой берега, рассыпались автоматные очереди, снова встали ракеты. И он, взглянув вверх, туда, где было орудие, тотчас хотел крикнуть ей, что началось, что немцы начали, и это, наверно, последнее, завершающее, но крикнул срывающимся голосом не то, что прошло в его сознании:

— Беги в землянку!.. Сейчас же! Запомни — у меня нет сестры! У меня нет сестры! И не говори глупостей! Не было и нет!..

И, почему-то мстя ей ложью и сам ненавидя себя за это, он почти оттолкнул ее, двинувшись по тропке, а она отшатнулась, сделала шаг назад с жалким, изменившимся лицом, выдавила шепотом:

— Ты меня не так понял, лейтенант! Не так, кузнечик...

А он уже бежал по кромке берега к землянке расчета, слыша ноющий, длительный звук автоматов вверху, и слева в скачках ракетного света речной лед то приближался к ногам, то стремительно соскальзывал, нырял в потемки. Потом наверху, где было орудие, хлопнул выстрел из карабина, другой; донесся сверху тонкий заячий, зовущий крик. Это был сигнал Чибисова.

«Значит, атака... Значит, сейчас!.. У нас осталось семь снарядов, только семь...»

Кузнецов подбежал к землянке, рванул вбок плащ-палатку, увидел фиолетовый огонь лампы, на брезенте нарезанный хлеб, направленные на него, все понявшие глаза Уханова, Рубина, Нечаева и подал команду в голос:

— К орудию!..

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Он ждал, когда они вылезут из землянки, а над берегом расталкивали ночь, соединялись в небе частые взмахи света. Там, возле орудия, в третий раз испуганно ахнул выстрел из карабина, слитно и разгульно затрещали автоматы, стоя пуль, светясь, пронеслась над берегом.

— Быстро! Быстро! — командовал нетерпеливо Кузнецов. — К орудию! Наверх!..

В землянке, как отдавшееся эхо, прогудела повторная команда Уханова, и, мигом вытолкнутые этой командой, Нечаев и Рубин выскочили на тропку, торопливо жуя. Сам Уханов, погасив лампу, появился из землянки последним, вскинул автомат за плечо, крепко выругался:

— Пожрать не дали, раскурдяи! Держи, лейтенант, колбасу, пожуешь хоть! — и сунул в руку Кузнецова какой-то корявый комок. — К орудию! Шевелись, как молодые!

— Наверх! Бегом!

Кузнецов машинально втолкнул корявый комок в карман шинели, первый побежал по берегу к земляным ступеням, ведущим наверх, а за спиной всплыл прокуренный, густой бас Рубина:

— На том свете пожрем, сержант, у бога в гостях!

И в ответ въедливый голос Нечаева:

— А ты как думал, безмен колхозный, сто лет жить?

— Дурак-моряк, зад в ракушках! Пустозвон!

Кузнецову хотелось остановиться, крикнуть в лицо Рубину с вспыхнувшей злостью: «Прекратить идиотские разговоры!» — но на высоте берега ветер кинул в глаза колючую снежную крошку, замерцали впереди низкие трассы автоматов, из этого мерцания, сплетенного над орудийной позицией, рванулся навстречу истошный крик:

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!

Это был зов Чибисова. Загорающиеся в небе фонари ракет так по-дневному, выпукло освещали орудие, площадку, ровик, что Кузнецов метров за десять увидел под бровкой огневой площадки темную, склоненную к земле фигурку, а в двух шагах от нее, за бруствером, бугорком проступало распластанное на снегу человеческое тело, лежавшее животом вниз.

«Немец! Дополз сюда? Атаковали орудие?» — толкнулось в голове Кузнецова, и, еще ничего не сообразив, он, пригнувшись, подбежал к Чибисову, упал рядом у колеса орудия.

— Что? Чибисов!..

Чибисов лихорадочно дрожал, сидя под бруствером, карабина при нем не было; и, задирая голову, он выкрикнул рыдающе:

— Убил я его!.. Товарищ лейтенант!.. Бежал он сюда.

Я в ровике, окоченел весь. А он сюда!.. Немцы стреляют, а он к орудию... Кричит: «Свой, русский!» А я — как поверить?.. Немцы начали огонь.

Кузнецов схватил Чибисова за плечо, тряхнул с силой.

— Спокойней! Слышите? Объясните как следует!

— Убил я его, убил! — возя рукавицами по груди, повторял Чибисов, глаза его моргали потрясенно. — Бежал он, кричал: «Свой, русский!» А я... Как поверить? Убил я его!

— Смотри, лейтенант, наш автомат, — сказал Уханов и, встав коленями на бровку, потянул из-за бруствера автомат с круглым диском, показал его Кузнецову. — В самом деле, откуда славянин?

— Наш, — согласился Кузнецов, разглядев покрытый изморозью автомат. — Сюда его, Уханов! Только осторожно! Не выскакивай на бруствер!

— Попробуем, лейтенант.

Упершись коленями в землю, Уханов подался вперед, лег на бруствер, двумя руками схватил за плечи лежащее без движения, распростертое человеческое тело, показавшееся на вид каменным, с усилием, медленно вытянул его на оружейную площадку, а когда стал поворачивать, чтобы прислонить удобнее к брустверу, голова человека, кругло обтянутая черным танкистским шлемом, широким в висках, немецким, откинулась назад, к кромке бровки, и он, не раскрывая глаз, слабо, протяжно застонал, узкой полоской засветились сцепленные зубы. Наклоняясь к его лицу, Уханов полуутвердительно произнес:

— Живой, никак.

Все, сгрудившись вблизи орудия, с подозрительностью глядели то на застонавшего человека, то на всполохи ракет, то на всплески автоматных выстрелов впереди. Кузнецов молчал, толком не понимая, что здесь произошло, но уже уверившись, что это, конечно, не немец — можно было хорошо различить молодое курносое лицо под черным немецким шлемом, русское широкоскулое лицо, искаженное болью; обросший подбородок, кадык на вытянутой шее облеплены снегом, ватник сплошь в заледенелой корке, руки без варежек скрючены на груди, как у мертвеца, валенки по-неживому отвернуты носками в сторону. Похоже было, что он много часов пролежал на морозе в снегу.

— Как он в немецком шлеме оказался, этот танкист? — спросил Нечаев. — Ранен? Видать, вконец замерз...

— Стрелял я в него, стрелял! — всхлипывал за его спиной Чибисов. — Бежал он, кричал, а я...

— Прекратить ныть, Чибисов! — оборвал Кузнецов. — Ни одного слова!

— Откуда он появился? Откуда танкист? Впереди никого на-

ших... Парень! — позвал Уханов и чуть-чуть похлопал человека по щеке.— Слышь, парень? Ты чего-нибудь слышишь?

Человек скрипнул зубами, кадык сполз, сдвинулся на горле, и опять процедился сквозь зубы протяжный стон.

— Посмотри, Уханов, есть ли у него документы,— приказал Кузнецов.— Проверь карманы.

— С какой радости, дурья голова, ты в него стрелял? — осуждающе забасил Рубин, обращаясь к Чибисову.— Ежели он кричал, что русский, чего ж ты по-глупому палил. В штанах тяжело было?

— Не знал я, не знал!..

— Рубин! Мгновенно за Зоей,— принял решение Кузнецов.— Зою сюда!

— Есть,— не очень охотно откликнулся Рубин.— Приведем, ежели поможет...

— Бегом за Зоей, Рубин, слышали?

Сидя на корточках, Уханов расстегнул ватник на груди человека, обшарил, вывернул наизнанку карманы его гимнастерки, его ватных брюк, озадаченно сообщил: «Пусто!» — и не без укоряющей злости бросил Нечаеву:

— Быстро фляжку сюда с немецким ромом! У тебя на ремне. Давай.

Потом горлышком фляжки он раздвинул парню зубы, тот со стоном отклонил голову, бессознательно, как под пыткой, сопротивляясь, но, одной рукой придерживав его голову, Уханов решительно и даже грубо влил ему в рот несколько глотков, говоря при этом:

— Сейчас, сейчас, братец ты мой...

Все ждали. Парень, захлебнувшись, задышал ртом, закашлялся, выгнулся всем телом и долго терся затылком о кромку бруствера. Веки его приоткрылись, мутные, провалившиеся глаза поразили неосмысленным выражением, какое бывает в полусознании у тяжелобольных; сведенные руки дернулись в сторону, где должен быть автомат. И тогда Кузнецов спросил его:

— Слушай, парень, кто ты такой? Откуда бежал? Мы русские! Ты кто?

Взгляд парня метался по лицам; вероятно, он не слышал ничего и не осознавал, где он и что с ним; наконец послышался сип:

— Шлем... шлем... сними...

— Видно, не слышит, лейтенант. Шлем немецкий откуда-то у него. Ну, славянин!

Уханов стянул с его головы шлем, подложил под затылок ему. Парень замычал, вытянул ноги, обвел глазами небо, разрезанное беспокойными светом ракет, затем посмотрел на ору-

дие, на Кузнецова, на Уханова — и что-то осмысленное прошло по его лицу.

— Братцы... артиллеристы! — засипел он. — Батарея?.. К вам бежал!.. Георгиев где?.. Георгиев?.. Утром...

Он замолк, спрашивая одним взглядом, и Кузнецов вдруг с ожегшей его догадкой при слове «утром» вспомнил бомбежку, ровик в расчете Чубарикова, контуженного разведчика, в беспомысленности требовавшего полковника, командира дивизии: да, тот разведчик тогда сообщил об оставшихся там, впереди...

Еще минуту назад этот парень очень напоминал беглеца из плена или заблудившегося по какой-то причине пехотинца из боевого охранения, но и сейчас осенившая Кузнецова мысль о том, что это один из застрявших в поиске разведчиков, о которых говорил тот первый, утренний разведчик, тот, что сумел выйти к батарее в начале боя, казалась невероятной и невозможной. Каким образом он остался в живых? Где же он был во время боя? Там, впереди, прошли десятки танков, измяли, изрыли всю степь, целый день каждый метр земли кромсали снаряды...

— Уханов, дай ему еще рому, — сказал Кузнецов. — Ему трудно говорить.

— По-моему, он весь обморожен, лейтенант. До ногтей промерз, — ответил Уханов, вливая в рот парня еще несколько глотков рома из фляжки.

Тот, едва отдышавшись, отвалил назад голову, и тут Кузнецов раздельно и громко спросил его:

— Можешь говорить? Я буду задавать вопросы, ты отвечай. Так легче. Георгиев — разведчик? Утром вышел к нам на батарею. Ты тоже разведчик?

Парень потерся затылком о шлем, губы его разжались:

— Братцы... там двое в воронке... наши с немцем. Уже полуживой немец... Ранены. Обморожены все. Целый день мы с немцем. Взяли на рассвете. На шоссе. Из машины. Важный немец... Георгиева послали... сказать...

— Так. — Уханов переглянулся с Кузнецовым. — Ты понял, лейтенант? Тот разведчик, что утром у Чубарикова? Тот самый? Бывает же! Вот, славяне, ядрена мама! Так что те ребята, из разведки?

— Те, — ответил Кузнецов и тронул за плечо парня, который сидел, безжизненно привалясь к брустверу, закрыв глаза. — Где остальные, далеко отсюда? Ты ранен? И немец, говоришь, с ними? По тебе стреляли?

Парень не открывал глаза, но до него дошел смысл вопросов. Он застонал, и Кузнецов, вглядываясь в его разлепившиеся губы, уловил:

— Метров пятьсот... впереди. Перед балкой. Я мог двигать-

ся. Решили: мне сюда. Побежал. А там немцы везде. Две машины. Стрелять не мог. Руки обморожены, как култышки. А по мне стреляли... Взять надо их, ребята, взять! Двое наших там... Немец больно важный!..

— Метров пятьсот? Но где именно? — переспросил Кузнецов и выглянул из-за бруствера.

Давящий в лицо сухой, морозный ветер рвал утихающие очереди автоматов, бил нахлестами поземки из степи. Вся степь переменчиво обнажилась под светом ракет, змеилась, белой рябью напознала из-за черных груд сожженных танков, за которыми стеной вырастало низкое небо в моменты темноты. Ветер с поземкой усилился к этому дикому часу декабрьской ночи, разбросал, погасил последние пожары боя. И невозможно было поверить, что где-то там, в умерщвленной танками, выжженной морозом степи, еще могли быть люди, оставались двое наших разведчиков... Кузнецов хотел понять, куда стреляли немцы, хотел засечь направление трасс, но мешали угрюмые громады сгоревших танков.

— Метров пятьсот? — снова спросил он и склонился к лицу разведчика. — А точнее? Можешь сказать точнее?

Разведчик дышал, поднеся к подбородку скрюченные, сведенные, как сучья, пальцы, пытаясь отогреть их, пошевелить ими, но пальцы не разгибались. Не опуская рук от подбородка, он сделал движение ногой, чтобы встать, но мгновенно ослаб в этой попытке, откинулся на кромку бруствера, прошептал:

— Подняли бы, братцы!.. Ноги у меня тоже... Два бронетранспортера... прямо перед балкой... Скорей бы вы, артиллеристы!..

— Зоя где? — спросил Кузнецов. — Где Рубин?

— Сдается, лейтенант, останется парень без рук. Растереть бы надо снегом, — сказал Уханов и оглянулся по сторонам. — Чибисов! Быстро в котелок снега — и ко мне! Только чистого снега, без пороха. За огневой набереи. Понял?

Чибисов, затаившийся подле орудия в эти минуты разговора с разведчиком, вскинул на Уханова пришибленный взгляд зверька; потом из-под его подшлемника, заросшего сосульками на рту у подбородка, проник вместе с паром тихий, скулящий звук. И так, тоненько поскуливая, он, как раздавленный, пополз на коленях от орудия, елозя валенками, распластав по земле полы шинели — и во всем этом было нечто отвратительное, жалкое, словно он уже не воспринимал ничего, потерял способность по-человечески передвигаться, понимать что-либо.

— Чибисов, вы что? — удивился Кузнецов. — Что с вами такое? Встаньте — и бегом!

Но Чибисов со всхлипыванием, с бессвязным бормотанием дополз на коленях до ровика, канул в его темноту. Нечаев,

обкусывая иголки инея на будто обсахаренных усиках, проговорил вслед:

— Замерз он вконец. А дуриком в парня стрелял. Видно, очумел. Я схожу, старший сержант.

— Сиди! — остановил Уханов. — Пусть побегает — полезно! Потри-ка щеки, Нечаев. Тоже полезно будет — напудрился, попка. — И он легким похлопыванием рукавицы повернул лицо Нечаева к себе. — Три сильнее, а то амба щечкам!

Окрепший до предела мороз пронизывал и Кузнецова, стали неметь в перчатках руки, ноги в валенках, все жестче корябало когтями, раздирало лицо, и, глядя на разведчика, на его скрюченные возле подбородка пальцы, на их холодную костяную твердость, отчетливо вообразил, как тот бежал пятьсот метров до батареи, не стреляя, — его пальцы, наверное, не сумели стронуть, нажать спусковой крючок автомата... А волосы парня густо седали от застрявшей в них снежной крупы, густой иней налипал на ноздрах, ледком спаивал ресницы, и с клубами пара из его рта выдавливался шепот:

— Скорее бы, артиллеристы!.. Пятьсот метров отсюда!.. Двое наших. С немцем. За бронетранспортерами. Бомбовая воронка...

— Надень ему шлем, Уханов, — приказал Кузнецов, сел на станину, подождал, пока Уханов натянет на голову разведчика шлем, сказал вполголоса: — Что, Уханов, будем делать? Пятьсот метров... Слева немцы, похоронная команда. А если нас пойдет четверо, с четырьмя автоматами?.. Возьмем гранаты. Нечаева оставим возле орудия, на всякий случай. Надо идти. Как считаешь?

Он знал, куда им придется идти, и в то же время понимал, что они не имеют права не пойти, не имеют права не сделать попытку прорваться к этим двум раненым разведчикам, о которых сообщил парень. Он понимал, что никому из них — ни ему, командиру взвода, ни Уханову — нельзя будет спокойно жить потом, если они оба не примут такого решения, — другого выхода не было. Он ожидал ответа Уханова, доверяя его трезвости и опыту больше, чем себе.

— Это — мое предложение. Давай решать, Уханов. Разведчики ведь на нашу батарею вышли... Попытаемся?

Уханов молча и сильно дул в снятые рукавицы, нагоняя туда тепло дыхания, затем надел их, похлопал ими по коленям и с неприязненной досадой из-под белой наледи на бровях глянул на Кузнецова.

— А что другое умное придумаешь? Ни хрена не придумаешь, лейтенант! Хотя пятьсот метров не пять метров. Главное, смазка бы в автоматах не замерзла! Послушай-ка, лейтенант. Затихли фрицы.

Все затихло, все застыло впереди, ни одной трассы, ни единого выстрела, ни одной ракеты; везде сереющие контуры сгоревших танков, извивающиеся меж ними змеи поземки, ее перебаты по брустверу.

— Чибисов! — крикнул Уханов. — Чибисов, где ты ползаешь? Молнией ко мне! Где снег? Какого дьявола!

Маленькая фигурка Чибисова в нелепой спешке выползла из-за бруствера; глаза — провалы страха в искрящемся панцире подшлемника; шмурыгая валенками, волоча по земле набитый снегом котелок, на четвереньках скатился к орудию, безголосо вскрикивая:

— Бежит кто-то, бежит!.. По берегу бежит! Сюда!..

— Кто бежит? — Уханов вырвал из его рук котелок. — Заговариваться начал? Нечаев, дай-ка ему хлебнуть из фляжки, в себя придет!

— Там бегут... сюда они, не разобрал я... — повторял шепотом Чибисов и, шепча, с робостью отползал задом от парня, который громко застонал, когда Уханов окунул его руку в котелок со снегом.

Кузнецов теперь сам услышал топот бегущих ног, приближающийся визг снега правее орудия, и с окликом: «Кто идет?» — схватил автомат разведчика, но из полутьмы выделились на свету два силуэта, ответный крик хлестнул оттуда:

— Свои! Не узнали?

И он узнал обоих. Это были Дроздовский и командир взвода управления старшина Голованов. Оба вбежали на огневую позицию, и Дроздовский, загнанно переводя дух, выговорил:

— Кто стрелял?

И остро колющий нервный ток почувствовал в себе Кузнецов при одном звуке его властного голоса и со стиснутым на груди автоматом присел на станину, сжатыми губами, молчанием давая понять, что не забыл то, что было между ними.

— Что здесь? Старший сержант Уханов, что вы тут делаете? Раненый? Откуда он?

На ходу задавая вопросы, Дроздовский порывисто прошел мимо Кузнецова, обдав запахом мерзлой шинели, и, чтобы удостовериться самому, нагнулся над Ухановым, над разведчиком, включил карманный фонарик. Свет пронзил, заclubив в плоском лучике желтый туманец, выхватил крепко сомкнутые зубы на запрокинутом к брустверу перекошенном курносом лице парня, сверкнули на скулах льдистые комочки, образовавшиеся от слез боли.

— Артиллеристы!.. Артиллеристы!.. В бомбовой воронке они... Шлем зачем надели, не слышу я...

— Гаси фонарь, комбат! С какой это радости? — Уханов,

продолжая оттирать снегом руки парня, обозленно отодвинул плечом фонарик.

В тот же миг на другом берегу дважды прокатились как бы ожидавшие знака выстрелы, скользнули огоньки над бруствером, и Дроздовский, слегка наклонив голову, пряча погашенный фонарик, но нисколько не удивленный, процедил иронически:

— Весело живете, дальше некуда! — И спросил со знакомой требовательностью: — Кто этот парень? Как он попал к вам?

— Рубина хорошо за смертью посылать, ядрена бабушка! — проговорил Уханов и излишне лениво ответил Дроздовскому: — Этот парняга — разведчик, комбат. Из той разведки, что ночью ушла и не вернулась. Если помнишь, первый утром к нам во время бомбежки пришел — Георгиев его фамилия. Это второй. А там, оказывается, еще в живых два. Двигаться не могут... Говорит: обморожены и ранены. Да еще в компании с «языком». Целые сутки. Вот такая картинка, комбат.

— Двое разведчиков? С «языком»? — повторил Дроздовский. — Это — точно?

— Кто с «языком»? По какому случаю заливаешь, Уханов? — махнул рукой, опустившись на корточки, неуклюже огромный старшина Голованов, приглядываясь к тихонько постанывающему разведчику. — Он сообщил? Он без сознания — бред у него. Там землю танки с дерьмом смешали. Где разведчики?

— Бывает, и девушка рожает. Не слыхал такого?

— Бреду, Уханов, веришь? Да откуда парень появился?

— Помолчите, Голованов, если не соображаете! — возвысил голос Дроздовский и выпрямился так резко, гибко, словно в нем пружина разогнулась. — Забыли того разведчика, которого отправили в дивизию? Забыли, что разведку ждали здесь из армии? Память девичья? Командир взвода управления называется! Вот что! Двух связистов ко мне! Кровь из носа, но вы мне свяжитесь со штабом дивизии. Уяснили, Голованов? На все даю десять минут. Повторите приказ.

Старшина Голованов с непредполагаемой легкостью вытянулся во весь неуклюжий рост, повторив приказ, проворно вспрыгнул на бруствер, по-слоновьи затопал от огневой к НП батареи.

Сжимая терявшими осязаемость пальцами приклад автомата, положенного на колени, Кузнецов сказал наконец:

— Слушай, Дроздовский, ты, как всегда, немного опоздал. Мы с Ухановым приняли решение идти. И можешь успокоиться. Настраивай рацию, сообщай...

— Где здесь раненый, родненькие?

Кузнецов недоговорил: со скрипом снега, прерывистым сопеньем на огневую позицию не вбежал, а вкатился на коротких

своих ногах Рубин, следом пятном забелел, мелькнул мимо полушубок Зои. Ее голосок стеклянным речитативом прозвенел в студеном воздухе и оборвался. Потом белое пятно полушубка зашевелилось левее орудия, и вновь возник голос Зои:

— Оставьте котелок, Уханов. Он же ранен. Дайте мне финку... Вот подержите так его ногу, я разрежу валенок. Осторожней, держите за пятку, видите, набух от крови.

«Неужели Чибисов попал в него?» — подумал, представив возможную нелепость, Кузнецов и стиснул до боли зубы. Он уже знал, что сейчас сделает, какую подаст команду, потому что нельзя было ждать — холод драл наждаком лицо, коченели спина, руки на автомате, — и надо было действовать, рискнуть, надо было просто двигаться, несмотря ни на что.

Он все-таки уверен был, что под прикрытием сожженных танков перед батареей они пройдут пятьсот метров до двух подбитых бронетранспортеров, за которыми где-то была бомбовая воронка с двумя разведчиками. Но живы ли они?.. Почему вдруг прекратилась впереди стрельба?

Даже не взглянув на Дроздовского, он ударил кулаком по диску автомата, поднялся и шагнул к ровику с легкой пустотой в груди, позвал негромко и хрипло:

— Уханов, Рубин, Чибисов, взять гранаты и автоматы — и ко мне!

В ответ услышал из темной щели ровика тихое, невнятное, собачье поскуливание, и почудилось: там кто-то придушенным голосом выл, затыкая себе рот. Кузнецов подошел. В углу ровика полулежал на боку Чибисов; заслышав шаги, он отпрянул в глубину укрытия, ноги его заело, словно опору искали, чтобы плотнее вжаться в землю.

— Чибисов, встаньте! — приказал Кузнецов. — Что с вами? Где ваш карабин? Оставьте его здесь. Возьмите автомат Нечаева.

— Товарищ лейтенант, Зоя-то сказала: валенок, мол, в крови. Я стрелял... не думал я. Неужто знал я? В парнишку-то...

— Встаньте, Чибисов!

Чибисов выкарабкался из темноты, его лицо в мокром инее выступало из подшлемника, плачуще искажалось; и, чтобы задушить голос, он кусал покрытую льдом рукавицу, а другой рукавицей ослабленно шоркал по снежной бровке, по-слепому пытался нащупать карабин на бруствере; наконец нащупал, потянул к себе, но едва не выронил: заочевшие руки не подчинялись ему.

— Замерзли? Вы замерзли, Чибисов? — Кузнецов подхватил карабин, всунул его в колом торчащие рукавицы Чибисова, и тот нелепо прижал локоть к груди, так что ствол уперся в щеку

— Заочевел я — ничем не владею... ни рук, ни ног...

Слезы покатались из моргающих глаз Чибисова по неопрятно-грязной щетине его щек и подшлемнику, натянутому на подбородке, и Кузнецова поразило в его облике выражение какой-то собачьей тоски, незащищенности, непонимания того, что произошло и происходит, чего от него хотят. В ту минуту Кузнецов не сообразил, что это было не физическое, опустошающее душу бессилие и даже не ожидание смерти, а животное отчаяние после всего пережитого Чибисовым в течение нескончаемо долгих суток — после бомбежки, танковых атак, гибели расчетов, после прорыва немцев куда-то в тылы, что походило на окружение, — и это было отчаяние перед тем, чего никак не принимало сознание: надо куда-то идти и делать что-то... Наверно, то, что в слепом страхе он стрелял в разведчика, было последним, что окончательно сломило его.

— Не могу я!.. — заплакал Чибисов, зажимая рукавицей рот и давясь. — Товарищ лейтенант!.. В голове у меня стряслось. Не понимаю я приказы...

— Возьмите себя в руки, Чибисов! Перестаньте! — крикнул Кузнецов шепотом, в сострадании глядя на Чибисова. — Лучше подвигайтесь, согрейтесь! Слышите, Чибисов? Иначе — конец!

— Товарищ лейтенант... Оставьте меня тут, за-ради бога!..

— Не могу, Чибисов! Поймите, людей нет! Кем я вас заменю, кем? Нечаев — наводчик, он должен оставаться у орудия. Вы не справитесь, если стрелять будет нужно! Понимаете?

А Уханов и Рубин, чьи фамилии он назвал, уже стояли около него в ровике, о закаменелую землю корябали, шуршали шинели — оба сосредоточенно и молча затакивали в карманы гранаты, и Рубин, рассовав гранаты, круглые рубчатые «лимонки», перебросив ремень автомата через плечо, выговорил со злобной недоброжелательностью: «Тьфу в душу, бога мать! Пули таким мало!» — и, отхаркиваясь, сплевывая, потоптался, точно землю валенками уминал. Уханов же, дыханием согревая железо автоматного затвора, проверил его ход, поднял взгляд на жалкое, сморщенное задвленным плачем и тоской лицо Чибисова, сказал сочувственно:

— Если бы людей у нас побольше, с чистой совестью послать тебя нужно было в землянку к раненым, там помогать. А так что делать?

— Не живой, обмерз я... — И Чибисов в припадке отчаяния умоляюще подался как бы под защитную силу Уханова, повторяя: — Закоченел, всего меня трясет! Чую, случится со мной... силов никаких нет, сержант...

— Дошло, — спокойно согласился Уханов. — Давай-ка, Чибисов, вот что сделаем, если не возражаешь. Разотру я тебе снегом руки — станет теплее, будет как надо. Сначала замерзают руки, потом замерзаешь целиком. Давно известно. — Он поблестел

стальным зубом, вроде улыбнулся.— Сейчас, лейтенант, пару минут. Разреши! А то сосулькой станет. Отойдем, Чибисов, чтобы глаза не мозолить.

— Подождем две минуты, Уханов,— ответил Кузнецов со смешанным чувством жалости и презрения, стараясь не глядеть, как покорно заковылял Чибисов по ходу сообщения, как тряслась его голова в беззвучном плаче.

То, что случилось с Чибисовым, было знакомо ему в других обстоятельствах, в том своем крещении под Рославлем, и с другими людьми, из которых тоской перед нескончаемыми страданиями выдергивалось, точно стержень, все сдерживающее, и это было предчувствием смерти. Таких заранее не считали живыми, на таких смотрели как на мертвецов; и он с омерзением к человеческой слабости боялся тогда, чтобы похожее когда-нибудь не коснулось и его.

— Навоюем с такой бабой мармеладной! Сопли распустил до пупа! Убить мало!

— Прекратите, Рубин,— повернулся к нему Кузнецов.— Откуда у вас эта злоба на всех? Не пойму. У вас-то руки действуют? Спусковой крючок можете нажимать? Если нет, вам-то я не поверю! Запомнили?

— Добрый вы ко мне, лейтенант. Ох, какой добрый! Не то что к Чибисову. Старое помните?

— Думайте что хотите,— сказал Кузнецов, нахмуренно посмотрел туда, где темнела за щитом орудия прямая фигура Дроздовского, и не без вызова подумал, что, в сущности, безразлично, слышал он или не слышал разговор с Чибисовым.

— Лейтенант Кузнецов! Кто здесь причитал? Чибисов? Что он? Отказывается идти?

Дроздовский быстро подошел, стал в одном шаге от него, как всегда весь натянутый струной, весь в готовности к действию, подобранный, обдающий холодом, такой же, как прежде в эшелоне и на марше; по его виду можно было судить, что он не сомневается ни в чем, спокоен, уверен, ничего с ним не случилось и не случится, и Кузнецов сухо ответил:

— У тебя слуховые галлюцинации, комбат. За Чибисова отвечаю я.

— Положим... Но вот что, Кузнецов,— заговорил Дроздовский утверждающе и решительно.— К разведчикам надо идти большой группой. Три человека не сумеют вынести троих. Я тоже пойду. С двумя связистами. Пойду вслед за вами. Правее двух сожженных бронетранспортеров.

— Можешь не беспокоиться, комбат,— с холодной отчужденностью ответил Кузнецов.— Если там кто-нибудь остался в живых, сумеем уж вынести.

— Не беспокоюсь, Кузнецов, не беспокоюсь! Но я пойду

за вами! — проговорил Дроздовский и, дрогнув ноздрями, смел его взглядом с головы до ног, потом отстранил с пути независимо молчавшего в ровике Рубина, крупными шагами пошел к орудию, где под бруствером Зоя с помощью Нечаева перебинтовывала разведчика.

«Если меня убьют сегодня, значит, так должно и быть, — стискивая приклад автомата, подумал Кузнецов, но тут же отогнал эту мысль: — Почему я подумал об этом?»

— Товарищ лейтенант, готовы!.. Всё — как на свадьбе!

Из хода сообщения в ровик вошел Уханов, а позади него маленький, тихий, виновато-понурый Чибисов, вдавивший голову в плечи; карабин был прижат к его боку ненужной мешающей палкой.

— Вот и прекрасно... Оставьте карабин Нечаеву, возьмите его автомат, — приказал Кузнецов и кивнул Уханову: — Пойдете рядом с ним. Я — с Рубиным. Ну, все. Вперед.

В это время у орудия зашевелились, замаячили фигуры на площадке, и сбоку Зоя и Нечаев на руках пронесли к берегу разведчика с немыслимо утолщенными, забинтованными ногами, и ветерком повеяло на Кузнецова еле различимым шепотом:

— Счастливо, мальчики! Возвращайтесь!.. Ни пуха вам ни пера!

Кузнецов не ответил ей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— Вперед!

Это была последняя команда Кузнецова, услышанная Чибисовым, когда вскарабкались на бруствер, и здесь, за бруствером, через десять шагов все отодвинулось, ушло назад, перестало защищать — землянки под берегом, ровики, орудия, ходы сообщения, — и мгновенно охватило ощущение собственной открытости, оторванности от людей, от того, что было своим. Чибисов на подкашивающихся ногах ковылял за Ухановым, то и дело проваливаясь в глубокие воронки и в страхе вырываясь из них, с застрявшим в горле криком: «Куда мы идем?» — мотался из стороны в сторону.

А спереди ближе и ближе надвигалось что-то из затаенной неизвестности степи, в которой была дикая ночь, заставленная силуэтом недавнего боя; степь леденела в змеином шелесте поземки, в безмолвии зарева за спиной, и порой казалось: тихие, забеленные снегом тени поджидающе выползают навстречу, бесшумно извиваются меж неподвижных громад танков, еле побрякивает железом и поднимаются впереди белые головы с рога-

тыми очертаниями квадратных касок... И Чибисов падал на землю, по-пьяному тыкаясь пальцами в спусковую скобу автомата: «Немцы! Немцы!»

Но выстрелов не было. Уханов не падал в снег, не подавал команды, шел, наклонясь к ветру, переступая через эти извивающиеся под поземкой тени. Тогда Чибисов, едва отпуская дыхание, отдирал иней на мокрых веках: вокруг виднелись вмерзшие в снег трупы, запорошенные с утра,— наверно, те немцы, которые успели выскочить из подожженных танков.

«Мертвецы это, слава богу! — билось в сознании Чибисова вместе со стучащим где-то в висках сердцем.— По мертвецам к живым идем... Господи, куда мы идем? Неужто Уханов не боится так к немцам зайти? Здесь они живые таятся!.. Неужто второй раз в плен? Окружат в одночасье, закричат...»

И, мертвея от страха, слабея до дрожи в мускулах живота, судорожно озираясь вправо, он хотел увидеть, где идут Кузнецов и Рубин. Но не было видно их. «Не перетерплю второй раз, убью себя!.. Господи, пожалей меня и моих детей! Не злой ведь я человек, ни кошку чужую, ни собаку даже — никого в жизни не обижал!.. Пальцем ни жену, ни детей не тронул! В парнях еще тихим, смирным называли, смеялись, никаких драк не любил... С разведчиком, с парнишкой не по умыслу было! С испугу я... окоченел весь! За это наказание мне?» — мысленно шептал Чибисов, с мольбой обращаясь к кому-то, кто распоряжался его жизнью, его судьбой, и уже смутно видел, куда идет,— толчками колыхались перед закрытыми глазами очертания танков в светло-лиловой пустоте.

— Стой, Чибисов! Ложись! — прозвучала, как удар по голове, команда Уханова.— Немцы!..

Оглохнув от молотообразных ударов крови в затылке, Чибисов споткнулся двумя ногами обо что-то твердое, точно капустный лист хрустнувшее, упал лицом вниз, в поземку, суматошно приподнялся, ничего не соображая: впереди какой-то свет, расплываясь пятном, мигнул, замельтешил сквозь влагу век. А там, на бугре, над степью выросли невнятные белые фигуры и зыбко закачался темный силуэт машины.

Потом, охолонув его всего, донесся откуда-то испуганно-грозный оклик на чужом языке:

— Вер ист да? Хальт!¹

«Вот они!» — вспышкой мелькнуло в сознании Чибисова, и, отползая, он обезумело рванул неощутимый пальцами затвор автомата, но мигом чья-то рука клещами схватила его за плечо, и в ухо — свистящий шепот:

¹ — Кто там? Стой!



— Стой! Не стрелять! Сюда! За танк! Куда раком пополз? Вправо, вправо, ну?

Уханов, лежа рядом, изо всей силы толкал его в плечо. Тогда он послушно пополз на животе куда-то вправо, всхлипнув горлом, опасаясь взглянуть вверх, загребая в валенки, в рукавицы снег, и тут снова пронзил слух чужой оклик:

— Хальт!

И оглушающе прогремела автоматная очередь, взвизгнула в ушах, сверкнула резкими огнями. Затем разящий, всеоголяющий свет встал беспощадно над степью. Несколько секунд пышно развернувшийся этот свет плыл в поднебесье, и в течение нескольких секунд одно и то же повторялось в мозгу Чибисова: «Видят нас, видят!.. Сейчас подбегут — и выстрелить не успеем!»

— Лежи, тихо! Что бормочешь? Псалмы поешь, что ли? — как через толстую подушку дошел до него голос Уханова.

— Немцы!..

— Лежи, говорят! Ты что лазаря запел, папаша?

Снег нестерпимо сиял. Чибисов с тоской, обмирая, поджал ноги. Там, за ногами, упавшая ракета догорала на снегу, в десяти метрах позади танка, за которым, оказывается вплотную лежали они. Ракета, шипя, разбрызгивалась возле ног бенгальским огнем, осыпая искрами серую броню танка, застывшую уродливую толщу гусениц, синевато освещала короткое обледенелое бревно с торчащим вверх сучком с фосфорической искоркой на нем — бревно виднелось как раз на том месте, где споткнулся и упал на хрустнувшее Чибисов: это был труп немца-танкиста.

— Смотри, Чибисов, часы у фрица, — чуть подтолкнув локтем, зашептал Уханов. — Добро пропадает. Ты что, как козлий хвост, трясешься? Опять замерз? Пощупай спусковой крючок, чуешь? В общем, папаша, главное — не робей. Хуже смерти ничего не будет. Сколько тебе лет? А? За тридцать, похоже?

— Сорок восемь мне было. Зазяб я весь, сержант...

— Да, не мальчик. Шевели пальцами, крепче шевели. Теперь малость потерпеть осталось. Успокоятся они — и вперед. Проползем правее — и броском к двум бронетранспортерам перед балкой. Ничего. Обойдется, папаша!..

Ракета погасла, стало вокруг темнее, чем было, а из навалившейся темноты, которую не перебороло дальнее зарево, подозрительно мигнул на бугре фонарик; налетевший ветер с поземкой разорванно донес сверху чужой разговор, словно бы ободряющий смех; и опять повторной искоркой посигналил над степью среди, казалось, зазыбившихся теней.

— Сюда они!.. Сюда идут!.. Стреляй, сержант, стреляй!.. — выдавил Чибисов, неудержимо вызванивая зубами, и, как в безумии, схватился за автомат, каждой клеточкой своего тела

сопротивляясь ужасу того, что может произойти, с затемненным сознанием от этого ужаса и ненависти к донесшимся голосам, к смеху немцев, которые тенями шли по бугру в сотне шагов от них, нащупал и дернул спусковой крючок автомата.

И в то мгновение Уханова опалило близким пламенем, всполохнулись обрывки каких-то криков впереди, пробили ответные автоматные очереди, высекая над головой звон по броне танка; брызнуло снегом в лицо, а рядом — бредовый голос: «Бей их, сержант! Стреляй их, сержант!..» Еще не понимая, что произошло, он увидел в распадающемся свете ракеты Чибисова, лежащего на боку; тот, трясясь как в тике, одной рукой зажимал предплечье, другой тянул к себе автомат, выбитый, отброшенный в сторону какой-то силой, — и Уханов крикнул яростным шепотом:

— Не ори! Заткнись, ни звука! — и подполз к Чибисову вплотную, отнял его рукавицу от предплечья. — Почему орешь? Ранило? Что плечо зажимаешь?

— Вот... рука онемела, стрелять не могу, сержант...

— Не рука онемела, а задело малость! Не чуешь? Дай-ка посмотрю! — Уханов тщательно ощупал, осмотрел тронутый пулей край чибисовской шинели, уже слегка увлажненный кровью, выругался в сердцах: — Зачем стрелял, чертов папаша? Я подавал команду? На кой дьявол, спрашивается, стрелял?

— Сержант, прости ты меня!.. Не могу я лопотание их слышать... не вытерпел я, прости ты меня...

Некоторое время Уханов глядел на Чибисова с укоризненной жалостью, потом приподнял его с земли, скорченного, дрожащего, видно, вгорячах еще не чувствовавшего ранения, прислонил спиной к гусенице, выговорил зло:

— Плен, что ли, вспомнил? Везет тебе, папаша, как утопленнику! Сразу пулю поймал! — Он отщелкнул диск с автомата Чибисова, повесил автомат ему на шею, потом, охлаждая себя, провел заостренелой на морозе рукавицей по своему лицу, проговорил: — Давай, папаша, ползи назад! Возле кухни тебе пшенку давно варить надо, а не здесь... Прижимайся к земле, а то добавит. В тыл, папаша, Зоя перевязку сделает! Мотай назад!

Он толкнул его; и, после того как боком, нелепо подволакивая тело, Чибисов пополз, заелозил между воронками, стал отдаляться назад, Уханов упал грудью на снег, зубами хватая пресную, пропахшую порохом влагу — жажда мучила его.

— Уханов, Уханов!

Он оторвался от земли, расслышав вблизи тревожный оклик справа, где проходила траншея боевого охранения, и глянул туда — вытянутыми вперед тенями бежали к нему Кузнецов и Рубин; окатив ветром, оба с бега легли возле Уханова, удерживая

живая рвущееся дыхание, и тогда, опережая вопросы, он выговорил сиплой скороговоркой:

— Чибисова ранило, не шибко, в руку. Назад его послал. Обойдемся, лейтенант.

— Так и знал! — Кузнецов поморщился. — Ладно. Может быть, к лучшему. — И быстро заговорил, подползая ближе: — Представь, Уханов, я ребят из боевого охранения встретил. С каким-то пулеметчиком усатым разговаривал. Собирают патроны по всей траншее. В пулеметах смазка замерзла. Отогревают. Думал, уж никого нет, а оказалось, сидят. Несколько человек. Хотя ни одного командира в живых. Сказали, что отсюда до двух подбитых бронетранспортеров метров сто пятьдесят. Подождем, пока немцы успокоятся, и двинем дальше без выстрелов.

— Легко отвоевался, хвост моржовый, скажи ты! — с угрюмым разочарованием произнес Рубин. — Небось рад-радешенек мужичонка: выжил, мол!..

— Без выстрелов, лейтенант? — переспросил Уханов, сплевывая от мерзкого толового вкуса во рту, и с невозмутимым лицом потянулся к автоматному диску Чибисова, затолкал его за пазуху. — Согласен. Эти похоронники только для остратки пуляют. Уверен, проскочим, лейтенант.

Взывающие звуки танковых двигателей, железорежущие, с перебоями, как бывает на холостом ходу, донеслись справа, из станицы, и эхом раздробили темноту ночи, ее секундное затишье.

— Прогревают, значит, моторы, — сказал Кузнецов, прислушиваясь. — Совсем рядом. Ну что ж!..

Рубин заерзал на животе, хищно обнажил мелкие зубы, мгновенно поднятый резкой командой:

— Вперед! Проскочим!

Сто пятьдесят метров, это узкое пространство степи, оставшееся до двух бронетранспортеров на краю балки, преодолевали короткими перебежками; потом, выжидая, лежали в снегу, переползали среди множества в этом месте воронок. Похоронная команда немцев, собиравшая трупы в машину, прекратила огонь и осталась слева, несколько позади. Однако впереди, над окраиной южнобережной станицы, где гудели прогреваемые танковые моторы, то и дело в разных ее концах стали вздыматься серии ракет, беспокойно иллюминируя степь каждые пять секунд.

Там, впереди и справа, немцы, очевидно, были потревожены стрельбой на берегу, с двух направлений наблюдая за степью, но сами огня не открывали, опасаясь вблизи задеть своих. Так, по крайней мере, представлялось Кузнецову, когда после перебежек подползли наконец к двум бронетранспортерам и, обес-

силенные, распластались на снегу. Рубин сапно дышал, заглатывая ртом воздух, у Кузнецова вконец одеревенело исхлестанное поземкой лицо, сердце билось, захлебываясь, сдвоенными ударами. Минуты две лежали без движения: подняться было невозможно. Уханов, первым отдышавшись, прикладом автомата уперся в землю и встал, прислонился к борту бронетранспортера, проговорил охриплым шепотом:

— Похоже, лейтенант, воронка метров пятьдесят вправо. Перед балкой. Опять ползти придется. А светят — как днем. Чуют нас они, собаки!..

Перебросив автомат через руку — пальцы покалывало иголочками, — Кузнецов встал рядом с Ухановым, глядя в ядовито и широко воспламеняющееся за бронетранспортерами пространство, где бугрились беловатые выступы предполагаемой воронки. Справа низкими полукруглыми копнами проступали первые синезаснеженные крыши станицы, на которые, взвиваясь, шрапнельно расколов огнями небо, спадали в освещенном морозном клубящемся тумане рассеянные брызги ракет, и Кузнецову с давящим, щекотным ощущением в груди от неправдоподобной близости к немцам явно показалось, что он различает в проулках и между первыми домами темнеющие башни прогреваемых танков и слышит в треске, в гудении моторов перекликающиеся голоса.

«Не может быть! Не может быть, что разведчики в воронке, так близко от немцев! Вероятно, где-то есть другие два бронетранспортера, не эти!..»

И, подумав, что они ошиблись направлением, не туда пришли, что все сейчас, в таком упорном отчаянии сделанное ими, напрасно, бессмысленно, Кузнецов, испытывая то же исчезающее щекотное ощущение в груди, никак не решаясь отдать команду на последний бросок в сторону воронки, с усилием над собой приказал:

— Уханов, ползком вперед — и узнать. Эта ли воронка, черт ее знает. А то напóлзаем под носом у фрицев.

— Похоже, она, лейтенант.

— Проверь. Будем ждать здесь...

— Узнаем, лейтенант.

Уханов не сказал больше ничего, но как только пополз от бронетранспортеров и стала медленно растворяться, сливаться со снегом широкая его спина в рябящих переливах накатываемой поземки, Кузнецов наготове, с притиснутым под мышкой прикладом автомата, сдернув рукавицу, нашел почти бесчувственным пальцем спусковую скобу, нащупал твердость спускового крючка, плечо плотнее уперлось в борт бронетранспортера.

«Если мы ошиблись, — прошло в сознании Кузнецова, — ос-

тавлю Рубина и Уханова здесь, а сам найду воронку... Я их повел сюда. Не имею права рисковать ни одним человеком!..

Эти заметные впереди выбросы забеленной земли могли оказаться бруствером первых окопов боевого охранения немцев, и Кузнецов в предельном напряжении каждого мускула не отрывал взгляда от ползущего в вихрях снега Уханова, готовый при первом выстреле из немецких окопов прикрыть его автоматным огнем. На долю минуты в темном, как ослепление, промежутке между двумя ракетами он потерял его из поля зрения и даже вздрогнул: остро ударила по нему непонятная тишина; потом новое сияние над крышами станицы — вокруг ровная, озаренная гладь снега, мотание на низовом ветру кустов по степи, без шевелящегося впереди белого бугра. Танковые моторы в станице смолкли.

— Рубин, видишь Уханова? Видишь или нет?

— Лейтенант, чего тихо стало? Нету его, нету, как провалился куда, — задышал Рубин, привставая на корточках, вытягивая к Кузнецову свое большое озябшее тревожное лицо. — Не залапали его? А? Лейтенант...

Но сейчас же спереди, из шелестящей в стеблях кустов зыби снега, из непроглядной тьмы, сомкнутой после химически окрасившего степь света, не то возглас, не то зов, обрывистый, торопящий:

— Сюда!.. Сюда!

— Рубин, вперед! — скомандовал Кузнецов и, уже не сознавая меру опасности или облегчения, с шершавым ознобом в спине, бросился вперед, на зов Уханова в спасительной пятисекундной темноте.

Рубин вскинул автомат, рванулся за ним, тяжело сопя за плечом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Огромная бомбовая воронка, метрах в ста от балки, оказалась именно той воронкой, в которой вынуждены были укрыться дивизионные разведчики при запоздалом возвращении из поиска, врасплох застигнутые боем. Тогда, в начале боя, она, видимо, страшно и разверсто черная, дымилась после бомбежки в солнечной белизне степи, и танки, атакуя из балки, поднявшись на возвышенность, обходили ее, потом два бронетранспортера прошли мимо в нескольких метрах, а орудия батареи вели огонь по ним на дальности прямого выстрела, быстро подожгли их...

Когда же Кузнецов вместе с Рубиным броском достигли края воронки, обозначенной вывороченной, покрытой снегом землей,

и сверху увидели в смутно-сизой глубине Уханова, делавшего что-то на самом дне ее, Кузнецов был озабочен одним: уцелели еще кто-нибудь из разведчиков, и, сбегая вниз по крутому скату, едва выдохнул:

— Живы?

— Здесь. Двое...— ответил Уханов.

Эти двое, чуть белеющие в сумраке, лежали на дне воронки, намертво сцепленные. Присев на корточки, Уханов с тщетными усилиями пытался расцепить, разодрать их тела, словно впаянные одно в другое, дергал за плечи и тормозил обоих, к удивлению, еще подававших слабые признаки жизни; у одного из них, одетого в маскхалат, из-под лохмато обведенного инеем капюшона рвался пар дыхания, и, еле угадываемые, перекаты-вались на Уханова в густых наростах изморози глаза, толстыми, пушистыми гусеницами сжимались и разжимались брови, из горла выталкивался нечленораздельный сип.

— Расцепи руки, расцепи, парень, руки!.. Свой мы, русские! Чуешь, нет? — говорил убеждающе Уханов.— А ну, взгляни-ка на меня, парень!..

— Ты ска-ажи на милость, наш этот, в халате-то, а тот — немец, никак? — произнес Рубин недоуменно.— Смотри, дышат ведь! Дела-а, бабушка твоя тетя!

— Второй — фриц,— сообщил Уханов.— Лейтенант, погляди!

Только теперь Кузнецов с трудом отличил одного от другого — двоих людей, лежавших сцепленно на дне воронки в окоченелом объятии. Это были наш разведчик и довольно крупный плотный немец в меховой шапке и шинели, сплошь седых от въевшейся в ворс, как крупная соль, снежной крошки. Руки немца в кожаных перчатках загнуты за спину, белое, костяное лицо наполовину скрыто меховым воротником, во рту не было кляпа, и он, почуяв около себя людей, хрипел, мычал, не разжимая крутых, бульдожьих челюстей, елозя щекой по снегу. Из раздувающихся широких ноздрей его длинными, мокрыми усиками торчали иголки.

— Эй, парень, отпусти же руки!.. Свой мы, понял? К вам пришли...

Уханов не без труда высвободил наконец немца из охвативших его обручем рук разведчика, застонавшего чуть слышно,— не один час, вероятно, он обнимал так пленного со спины, стараясь сохранить последнее тепло в себе и в нем,— и, оттянув разведчика немного в сторону, сказал Кузнецову:

— Живуч фриц! А парню — хана. Какого дьявола он не снял с этого бульдога шинель? На меху подкладка, смотри, лейтенант! Нянчился, что ли, с этой драгоценностью! Что, развязать этому лапки? Теперь никуда не убежит...

— Где третий? Не вижу третьего,— сказал, торопясь, Кузнецов.— Тот парень говорил: здесь двое разведчиков. Быстро, Рубин, наверх. Может, выполз туда? Осмотрите вокруг воронки.

Кузнецов глядел на разведчика, без звука лежавшего на спине; капюшон, надвинутый до закрытых глаз, заиндевел сахарной маской, маскхалат на груди и животе изодран в клочья, ремня не было, снег в прорехах халата пластырем намерз на ватнике. Ноги, казавшиеся бревнообразными от ватных брюк, с налипшей на валенки перемешанной со снегом землей, раздвинуты. Одна нога выделялась особенно: возле колена несколько раз замотана была чем-то, и нечто скрученное и тонкое, похожее на мерзлый ремень, языком свешивалось в снег. Действительно, это был поясной ремень, жгутом наложенный ниже колена, над неумелой перевязкой, давно и второпях сделанной прямо поверх ватных брюк. Наверно, валенок он не снимал и брюк не разрезал, а так, жгутом хотел задержать кровь.

Все они, по-видимому, застигнутые ранним утром в станице, в упор напоролись на немцев и едва доползли сюда, когда началась бомбежка. Но где оружие? Сколько их всего спаслось?

Оружия разведчика здесь, в воронке, не было. Виднелась на скате воронки одна чужая, массивная кобура с ремнем, снятая, надо полагать, с немца,— ее полузасыпало, она краем торчала из наметенного сугробика. Кузнецов выдернул ее из снега. Кобура была пуста. И он отбросил ее. Потом наклонился к разведчику, попробовал слегка отвести края капюшона с лица его, но это не удалось. Все смерзлось на лице, все было в жестяном покрове, хрустело — и он отдернул руку.

— Слушай, парень,— заговорил Кузнецов с нетвердой надеждой, что разведчик услышит его.— Мы свои, русские... Вас было здесь двое. Где второй? Куда ушел второй?

Но то, что он смог угадать в натужном сипе сквозь капюшон, никак не складывалось ни в какое разумное слово, сип этот выдавливался двусложно:

— Не-ме... не-ме...

«Немец? — скользнула догадка у Кузнецова.— Он что-то хотел сказать о немце? Или принимает меня за немца?»

— Ну, начнем выносить, лейтенант? — слышался голос Уханова.— Этого дурындаса тоже придется на плечах волоочь? Глянь-ка, лейтенант, что фриц делает — тронулся или озверел? Дать ему раз промеж глаз, чтоб успокоился?

Кузнецов сначала не понял, что с немцем. Развязанный Ухановым, он белым бревном катался по дну воронки, неистово колотил меховыми своими сапогами и руками по снегу, вскидывал эпилептически головой, выгибался, бился грудью о землю, издавая рыдающее, звериное подвывание; синели оскаленные в беззвучном смехе зубы, истерично были выпучены глаза. Он

не то обезумел от холода, не то согревался, может быть испытывая какую-то звериную радость оттого, что кончилось это страшное лежание в воронке в закаменелых объятиях русского разведчика в ожидании смерти.

— Ферфлюхтер, ферфлюхтер!..¹ — выборматывал, хрипя, немец с закипевшей пеной в углах рта. — Рус..: рус!!! Ферфлюхтер!..

— Похоже, немчишка — какой-то чин, — проговорил Уханов, со снисходительным любопытством наблюдая за немцем. — Ругается, лейтенант? Психует?

— Похоже, — ответил Кузнецов.

Потом немец обмяк, лег на бок, а руки его в меховых перчатках начали толкаться где-то внизу живота, откидывать полу шинели; спина напряжилась, потом внезапно он закинул голову, заводя за лоб глаза, и лающе не то заплакал, не то завыл, суетливо колотя меховыми сапогами по снегу.

— Дуй в штаны, фриц, теплее будет, — насмешливо сказал, уяснив этот жест, Уханов. — Ширинки тут расстегивать некому. Потерпишь, гитлеровская зануда. Денщика с ночным горшком нет.

— Ферфлюхтер, рус, ферфлюхтер!.. Их штербе, рус...²

— Штейт ауф!³ — вдруг произнес команду Кузнецов, мучительно вспоминая знакомые еще по школе немецкие слова, и подошел к затихшему на дне воронки немцу. — Штейт ауф! — приказал он снова. — Встать!

Глаза немца, остекленев на костяном лице, нацелились снизу вверх в его сторону, и Кузнецов, толкнув его автоматом в плечо, повторил резче:

— Штейт ауф, шнель!⁴ Шнель, говорят!

Тогда немец оторопело сел, тут же попытался встать, но не удержался на ногах и неуклюже повалился на бок на скате воронки; затем с kloкочущим всхлипом оперся руками, поднялся на четвереньки и с расстановками, медленно выпрямился. А выпрямившись, стоял непрочной, шатающейся, — был на голову выше Кузнецова, очень крупный, плотный в теле, чрезмерно утолщенный в своей подбитой мехом теплой шинели, и так близко виден был этот чужой взгляд немца — взгляд, ждущий удара, настороженный и в то же время через силу намеревающийся еще быть высокомерным.

— Будешь сопровождать его, Уханов. Сволочь, видно, основательная! — сказал Кузнецов с едким щекотным чувством оттого, что перед ним стоит вблизи живой, ненавистный даже

¹ — Проклятый, проклятый!..

² — Проклятый, проклятый русский!.. Я умираю...

³ — Встать!

⁴ — Встать, быстро!

в воображении гитлеровцев. Да, он их всех вот такими и представлял и поэтому сейчас ни на минуту не сомневался, что в душе этого пленного не оставалось ничего человеческого, собственного нормальным людям.

Между ними были пропасть страданий, кровь, отчужденная и непонятная друг другу жизнь, непримиримые, враждебные друг другу понятия. Между ними была война и приготовленное к стрельбе оружие.

— И отвечаешь за него! — зло бросил Кузнецов.

— Доведу, лейтенант. Будет шагать как шелковый, — пообещал Уханов и, подойдя, грубовато и бесцеремонно похлопал по карманам немца, вынул зажигалку, вместе с ней смятую пачку сигарет, нестеснительно расстегнул шинель, достал из зазвеневшего орденами мундира портмоне, после чего отогнул рукав его затвердевшей на морозе шинели, проговорил полувопросительно:

— Смотри ты, как нянчились с ним разведчики, все оставили... Взять часы, лейтенант?

— Оставь их к черту! И зажигалку, и сигареты! И это все! — быстро и гадливо выговорил Кузнецов. — Брат у вшивой фашистской сволочи!..

— Не видно, что вшив. — Уханов с усмешкой отпустил рукав немца, раскрыл портмоне. — Глянь-ка, лейтенант, какие-то фотографии... У всех немцев на фотографиях дети как ангелы, особенно девочки, замечал, нет? И в белых чулочках.

— Не замечал. Отдай всё, — приказал Кузнецов, не выказав ни малейшего любопытства к фотографиям.

— Ответь мне, лейтенант: на кой хрен мы всегда с ними церемонимся?

А немец, видимо, что-то понял. При повторяющемся слове «лейтенант» в глазах его тотчас исчезло натужно-высокомерное выражение, переменилось на выражение неуверенной просьбы, и он качнулся в сторону Кузнецова, этого русского, насупленного, зло приказывающего мальчика, выхрипнул:

— Сигаретен... майне сигаретен... герр лейтенант!.. Раухен, раухен. Их виль раухен, герр лейтенант! Раухен!¹

Он опять не устоял на ногах, осел задом в снег, снизу глядя на Кузнецова и подергивая шеей, судорожно глотал слюну.

— Отдай ему. Хочет курить, видишь? — сказал Кузнецов презрительно.

С нахмуренными бровями он подошел к разведчику. Разведчик все в том же неизменном положении лежал на спине, ноги раздвинуты, парок рваным облачком пульсировал над стянутым на лице капюшоном. Его сейчас нужно было выносить отсюда,

¹ — Сигареты... мои сигареты... господин лейтенант!.. Курить, курить. Я хочу курить, господин лейтенант! Курить!

и невозможно было представить, как сделать это, не задевая и не тревожа его раненую и перетянутую жгутом ногу.

«Но где может быть второй разведчик? Возможно, ошибся тот парень! Где Рубин?»

Весь верх воронки от края до края густо и вьюжно дымился в проносящихся токах поземки, сверху подсвечиваемой методичными вспышками ракет, невидимых отсюда, из глубины. Внизу, по скатам, скребущий шорох залетавшей снежной крупы, а там, вверху, вольное степное гудение низового ветра над воронкой, над ночной степью и в двухстах шагах немцы — их танки, их посты с наблюдателями на окраине станицы. Рубина не было.

«Пора идти! Невозможно ждать... Вернуть Рубина — и идти назад! Больше нельзя рисковать!» — подумал Кузнецов и в мгновенном приступе обеспокоенности хотел сказать Уханову, что надо немедленно выносить разведчика, но опоздал сказать.

Будто над ухом простучавшая пулеметная очередь заставила его инстинктивно броситься вверх по скату воронки. Он успел лишь приказывающе махнуть рукой Уханову — оставайся пока здесь, — и, когда выкарабкался наверх, в мутный и завивающийся дым снежка, первая мысль была: Рубин напоролся на немцев!

Гулко и учащенно дудукал с окраины станицы крупнокалиберный пулемет; сливаясь, трассы летели левее воронки над контурами сожженных бронетранспортеров. Все мерцало, светилось в поднятой по всей окраине метели ракет, но никого не было видно слева от воронки, куда стреляли немцы.

— Рубин! — позвал Кузнецов, поднявшись на локтях. — Рубин, ко мне!

В ту же минуту силуэты человеческих фигур неотчетливо возникли из сугробов метрах в пятидесяти левее двух бронетранспортеров, пробежали несколько шагов к воронке, одновременно упали, зарылись в снег, и крупнокалиберные трассы сдвинулись, молниеносно засветились там, где только что бежали они.

«Дроздовский! — сообразил Кузнецов. — Но только почему он влево за бронетранспортеры зашел? Не ясно разве было?»

— Правее, правее! Ползком сюда! — крикнул Кузнецов, выше приподнимаясь на локтях, чтобы увидеть их.

Они ползли к воронке, а пулеметные очереди снижались над степью, перемещались за ними в одном узком секторе между бронетранспортерами и воронкой, не давали поднять головы. Метрах в десяти от края воронки передний, вскинувшись, откликнулся:

— Лейтенант! Мы это...

И Кузнецов различил впереди, в поземке, Рубина, его мощные, облепленные снегом плечи, потом заметил тонкой, проворной ящерицей ловко подползавшего к воронке Дроздовского с

двумя связистами из взвода управления, а рядом с ними под белой шапкой странно забелело чье-то неправдоподобно знакомое и незнакомое лицо, не имеющее права быть здесь, странно оживленное преодоленной опасностью,— лицо Зои.

«Зачем ее взяли? Кому она сейчас поможет? Для чего она?» — подумал Кузнецов, скорее не удивленный, а раздосадованный необязательностью ее прихода сюда, и, увидев, как Зоя с возбужденным выражением проводила глазами трассы над головой, он скомандовал, махнув автоматом:

— Быстрее, быстрее! В воронку!

— Товарищ лейтенант! — удушливо выкрикнул Рубин, подползая.— Искал... вокруг искал, все на пузе облазил. Нету второго нигде... Каждый метр опóлзал! А вдруг смотрю, наши бегут. Да левее взяли, не туда. Кинулся к ним, а эти заметили, начали кутерьму!

— А вы как думали, Рубин, домой пришли, чтобы бегать тут?! — отрезал Кузнецов, с неприязненной твердостью выделяя слова «бегать тут». — Устроили концерт! Вниз! Все вниз!

На краю воронки заворочались, прерывисто задышали оснеженные, торопливо подползшие тела, разом стали скатываться, сбегать вниз, слышался перехваченный волнением голос Дроздовского:

— Кузнецов, здесь разведчики?

Отвечать не было смысла, и Кузнецов, не спускаясь в воронку, раздраженный этим, своими же вызванным огнем немцев, глядел в сторону берега на радиальные прострелы очередей, сверкавших левее бронетранспортеров, мимо которых надо было возвращаться к орудию, и, зрительно запоминая, рассчитывая сектор обстрела, внезапно почувствовал: кто-то задержался на краю воронки, подполз к нему — частое близкое дыхание и шепот над ухом:

— Кузнечик, родненький!.. Ты жив? Слава богу, что это ты... Здравствуй, посмотри на меня, кузнечик!

— Мы виделись,— поворачиваясь, ответил он недоброжелательно.— В чем дело?

Зоя села возле, опустив ноги в воронку. Шапка у нее была сбита набок, волосы и тонкие брови в снегу, от колюче-отвердевшего инея на кончиках ресниц ее глаза с косинкой, отливая темным, показались неестественно вопросительными, раздвинутыми волнением — нечто мальчишеское, вызывающее было в этой ее сдвинутой набок шапке, в этих улыбающихся губах.

— Здравствуй, кузнечик! — все так же ласково повторила она, с радостным удовольствием произнося это выдуманное ею, какое-то легкое, игрушечно-детское слово, и оглядела его нарочито хмурое, не желавшее понимать лицо.— Уж и не думала увидеть тебя живым!.. Мне раненый Чибисов сказал, что вы

сразу натолкнулись на немцев, я сама слышала стрельбу... И я пришла. Уханов не ранен? Ты слышишь меня, кузнечик?

— Какой я еще «кузнечик»? Уханов цел и здоров! И я цел и здоров, разве не ясно? Чибисов наговорит! Нечего тебе здесь делать! — И спросил чересчур грубо: — Ты, кажется, пришла выносить нас, раненых? Что за бессмыслица! Кто просил тебя ползти сюда пятьсот метров?

— Не кричи на меня, кузнечик. — Припухлые губы опять дрогнули в улыбке. — Я как-никак санинструктор, а не твоя нелюбимая жена. Нет, кузнечик, ты вовсе не хочешь кричать на меня, правда? А почему-то кричишь! Ты стал мною командовать, кузнечик. Я разве тебе подчиняюсь?

— Вниз! — приказал он. — Там раненый разведчик. Но перевязку сейчас делать бессмысленно! Его сначала надо вынести! Вниз — и сейчас будем уходить! — Он с неприступным видом подождал, пока Зоя спустится в воронку, и позвал: — Рубин, ко мне!

— Сейчас уходить будем, товарищ лейтенант? — подвигаясь к нему, засомневался Рубин, кашлянув густым паром. — Не обождашь? Больно уж они всполошились...

— Именно подождем, когда стихнет. Поэтому наблюдайте!

Отдав этот приказ, Кузнецов сполз с края воронки, на скамье стал и, перекинув на грудь автомат, сошел вниз.

Здесь все молчали. Лежа на снегу, унимая дыхание после миновавшей опасности, два связиста в завязанных на подбородках шапках то и дело беспокойно косились на раненого разведчика, на Зою, на пленного немца, который сидел подле Уханова, низко склонив к ногам голову в высокой шапке, запустив руки в перчатках за борта своей подбитой мехом шинели. Спиной к ним, опустившись на колени, Зоя бережно прикасалась к безобразно толстым раскинутым ногам разведчика, но санитарная сумка не была расстегнута, не передвинута с бедра — Зоя, видимо, не решалась делать второпях перевязку, она прислушивалась к бесперебойному стуку пулемета.

Дроздовский, оправляя портупею со сбитой назад кобурой, стоял между раненым разведчиком и немцем, в нерешительности взглядывал то на одного, то на другого; в неживом полусвете бледное, взволнованное лицо его выражало нетерпение.

При виде Кузнецова, спустившегося на дно воронки, он шагнул к нему, спросил требовательно:

— Где разведчик? Их должно быть двое с немцем, как я понял! Где второй!

— Кто может сказать — где! Искали вокруг воронки, но не нашли, — ответил Кузнецов, обращаясь не к Дроздовскому, а к Уханову, который, сидя близ немца, с углубленным старанием оттирал рукавом ватника изморозь с затвора автомата. —

Думаю, к немцам не ушел! Пополз, наверное, к нам, но сил не хватило. Или застрял на полпути. Или дополз до окопов боевого охранения. Одно из двух.

— Надо искать! Обязательно искать! — с придыханием выговорил Дроздовский. — И найти его, Кузнецов! Я связался по радию с капэ дивизии и доложил, что мы идем сюда. За ними. Так вот что мне приказали: как только вынесем, не медля ни секунды доставить обоих на капэ. Вместе с «языком». К начальнику разведки! Да, искать, Кузнецов... Во что бы то ни стало! Пока не найдем второго, мы не имеем права уходить отсюда!

— Надо не здесь искать, а всех уводить отсюда! Пока не рассвело! Пока мы всех до одного не оставили в этой ловушке! — перебил его Кузнецов. — Не ясно разве, от воронки двести метров до немцев! Все и без бинокля просматривается из станицы. Как только затихнет, всем быстро назад — к двум бронетранспортерам — и перебежками за танками — к орудию! Здесь надо было раньше искать, а не бегать дуриком по степи! Двух бронетранспортеров найти не могли!

— Согласен, лейтенант, — спокойно сказал Уханов, очищая рукавом затвор автомата.

Кузнецов намекал на ошибку Дроздовского, на то, что он со связистами запоздало пришел сюда, отклонился в сторону от бронетранспортеров и, таким образом, некстати вызван был огонь немцев, устроена никому не нужная кутерьма в тот момент, когда надо было выносить разведчика.

Дроздовский с минуту безмолвно покусывал губы, затем произнес с непрекословной убежденностью:

— Пока я жив, я отвечаю за батарею! Отвечаю я, Кузнецов. В том числе и за твою жизнь...

— Вот даже как! Нет, не за меня, комбат! Как-нибудь отвечу за себя и своих сам, если повезет!.. — несдержанно ответил Кузнецов и сразу осекся. Он не хотел продолжать разговор в присутствии Зои и связистов, не хотел проявлять при них открытую свою неприязнь к Дроздовскому. — Прекратим на этом, комбат! — сказал он. — Говоришь, искать?

Крупнокалиберный пулемет на окраине станицы методичным огнем прошивал, сек пустынную степь левее воронки, и густой свист пуль не отдалялся, а будто застыл на месте, не сдвигаясь в найденном секторе.

— Значит, комбат, хочешь, чтоб мы искали? — повторил Кузнецов.

Связисты с тревогой поворачивали к нему головы, и, оторвав от коленей костяное, в сизых пятнах обморожения лицо, настороженно и исподлобья вникал в звуки его слов пленный немец, и Зоя поднялась, с беспомощным вопросом в округленных

бровях глядела сплошь темными под белой шапкой глазами.

«Что она так всматривается в меня?» — подумал Кузнецов, отворачиваясь.

— Ну, так решено! — с непонятным противоестественным спокойствием проговорил Кузнецов. — Я останусь здесь с Рубиным. Еще раз осмотрим местность. А вы, как только стихнет, к черту, к черту отсюда! Уханов, поведешь их! А то опять заплутаются в трех соснах!

«Сумасшествие какое-то, безумие какое-то, — подумал он, внутренне трезво сознавая непоследовательность в своих решениях. — Что со мной происходит? Я перестал владеть собой? Я знаю, что бессмысленно искать разведчика, но соглашаюсь, сам хочу сделать это?..»

— Да, искать. Отдайте, Кузнецов, приказ Рубину тщательно осмотреть местность. А мы подождем!

Дроздовский нервно подергал ремень на своей узко-девичьей талии, отошел в сторону и долго стоял на скате, прямой, непроницаемый, опасный, как бы непогрешимый в приказах, в непоколебимом упорстве. Сказал:

— Не мог второй разведчик далеко уйти. Мы не имеем права докладывать в дивизию, что оставили его, не имеем права уходить без него! Возьмите с собой еще связистов, Кузнецов!

— Лишнее, — ответил Кузнецов. — Хватит нас двоих! На кой черт вчетвером будем немцам глаза мозолить?

— Комбат...

Зоя осторожными шагами прошла так близко мимо Кузнецова, что задела полый полушубка его шинель, стала перед Дроздовским, заговорила тихим, просительным голосом:

— Надо уносить хотя бы этого разведчика, с ним очень плохо. Он обморожен, большая потеря крови. Не знаю, найдем ли мы в живых второго, но надо этого...

— Встать, сапог фрицевский! — скомандовал Уханов и сильным толчком руки поднял немца с земли, по-медвежьи встал сам, закинул автомат за плечо. — Давай потопчись, попляши, сволочь, пошевели ногами, а то окочуришься раньше времени! Двигай, двигай, как молодой!

Он резко потолкал, поводил по дну воронки немца и вдруг, отпустив его, косолапо загребая валенками, всей грузной фигурой придвинулся к Дроздовскому, слегка отстранив Зою, но при этом с добродушной ленцой заулыбался, выказывая стальной зуб.

— Ты о себе всю правду знаешь, комбат? Никогда об этом не думал? А ну-ка, Зоя, отойди, умоляю, а то застесняюсь...

— Уханов... Уханов! — Она не отходила, а, чуть выставив грудь, почему-то с испугом заслонила Дроздовского своей то-

ненькой, напрягшейся фигуркой, защищающе отстраняя глазами Уханова. — Что вы хотите? Зачем?

— Отойди, Зочка. Что я могу с ним сделать? Смысл? Не вижу. Я сержант, он лейтенант. А уставы мы с комбатом назубок еще в училище вы зубрили. Так вот...

Уханов тихонько отодвинул ее и тут же, наклонясь к прямому, как у гимнаста, плечу Дроздовского, сказал ему что-то неуловимо и кратко, потом добавил отчетливее:

— ...а если тебе начхать на всех, кто остался из твоей батареи, то все равно головкой, головкой, а не задним местом соображай. И тогда докладывай в дивизию по-умному.

— Что ты сказал?.. — Дроздовский, некрасиво искривив лицо, порывисто, едва не упав на крутом скате, отклонился назад, повторяя пронзительным голосом: — Как ты сказа-ал?

— Тихо, тихо, комбат! — успокоил, улыбаясь одними глазами, Уханов. — Мы сейчас можем по душам поговорить. Не строевые занятия в училище. До бога — очень близко. Всевышний — свидетель. И никакого нарушения устава. Твой приказ не обсуждают. Но просто знай, что я думаю о тебе, комбат. На ус намотай, когда-нибудь пригодится!..

— Перестань, Уханов! Хватит! — с решимостью вмешался Кузнецов и, подойдя, дернул за ремень Уханова. — Хватит перед немцем!.. Посмотри-ка на него. Что с фрицем — с ума сходит?

Дроздовский стоял, вытянувшись, с побелевшим, истончившимся до худобы лицом. А немец, как заведенный, замедленно и тупо покачивался на одном месте, перебирая меховыми сапогами, неистово бил себя кулаками по толстым предплечьям, а его вслушивающиеся глаза, ловя звуки чужой речи, становились дикими, остекленелыми, перебегали с Уханова на Кузнецова, решив, очевидно, что речь между ними шла о нем, о его судьбе, и, как в сердечном приступе, широко разевая рот, дышал все убыстренней, но неожиданно шатнулся вбок, подкошенно повалился в снег, выхрипывая какие-то нечленораздельные слова, из которых можно было понять только: «Рус, швайн, их штербе, эс ист кальт»¹.

— Симулирует, гад! — определил Уханов. — В плен не хочет. Ошалел от холода. Что он, Кузнецов, сказал — швайн?

— Встать! — приказал Кузнецов и сделал знак немцу стволом автомата. — Штейт ауф! Шевелись! Штейт ауф, ну! Двигайся!

Немец не вставал, конвульсивно поджимая к подбородку колени, он яростно хрипел из торчмя поднятого меха воротника, и тут Уханов, вроде бы удивленно примеряясь, двинулся к не-

¹ «Русский, свинья, я умираю, холодно».

му, взял его за шиворот и с такой озлобленностью дернул вверх, что затрещал воротник, а когда затряс его, приговаривая: «Я тебе покажу «швайн»!» — немец закричал мутным, предсмертным голосом. И, как тисками обхватив его, Уханов рукавицей зажал ему рот, а немец по-дурному замычал, извиваясь в его руках.

— Ах ты, гитлеровская морда! Забудешь, что такое «швайн»! Ты у меня папу-маму забудешь!

— Уханов, отпустите его! Вы же задушите его!.. Что вы делаете, мальчики? Мальчики, родненькие!.. — в растерянности, едва не плача, говорила Зоя, поворачиваясь то к одному, то к другому. — Почему вы такие злые? Я вас не узнаю, мальчики... — Она повернулась к Дроздовскому, умоляюще схватила его за рукав шинели. — Володя, хоть ты запрети!

— Уйди-и! Что ты вмешиваешься?.. — Он сорвал ее пальцы со своего рукава и отступил на шаг, презрительным оскалом забелели его зубы. — Ненавижу, когда вмешиваются фронтовые... Вон Кузнецова лучше успокой! Он добренький, и ты добренькая!.. Оба Иисусы Христовы! Только пусть все твои мальчики знают, особенно Кузнецов, ни с кем из них спать не будешь! Не надейся, сестра милосердия! После боя уйдешь из батареи в медсанбат! Ни дня в батарее не останешься! Немедленно уйдешь!

Его лицо, измененное гадливой гримасой, стало некрасиво отталкивающим, он отступил еще на шаг и, с злой непреклонностью качнув плечами, так поспешно зашагал вверх по скату, что из-под ног его покатались комья земли.

На самом краю воронки он остановился, постоял несколько секунд и, вырывая пистолет из кобуры, срывающимся голосом прокричал команду:

— Связисты! Взять пленного немца и бегом за мной!

И, не дожидаясь никого, вскарабкался на земляные навалы, исчез за ними в темноте.

Громкая команда Дроздовского сверху прозвучала неумолимо ясно, и связисты вскочили разом, бочком обходя Кузнецова и Уханова, ткнулись неуклюже к немцу, вытянув руки, как если бы с двух сторон зайца ловили.

— Назад! — решительно остановил их Кузнецов, загородив немца. — Взять разведчика — и наверх, за Дроздовским! Немца поведет Уханов! Взять раненого разведчика! — И для убедительности подтолкнул обоих связистов к разведчику. — Вот его не донесете — ответите головой! Зоя!

Он должен был ей сказать, что она пойдет рядом с Ухановым, что именно с ним безопаснее будет идти назад к орудию, но наткнулся на ее взгляд — и замолчал. Она не замечала его, не слышала, хотя смотрела на него, теребя варежку на пальцах,

а глаза были сухи, нестерпимо огромны, брови изумленно выгнуты, точно она прислушивалась к незнакомой боли в себе, еще не зная, где появилась эта боль.

— Фриц, знаешь, что такое стометровка? Посмотрю, как ты...

Уханов вывел немца на скат и пощелкивал ремнем автомата, поигрывая им, но не говорил Зое ничего, не торопил ее, ожидая.

— Зоя,— выговорил Кузнецов с хрипотцой,— тебе надо идти. Пока тихо. Надо идти. Вместе с Ухановым пойдешь! Слышишь?

— Да, я иду, я сейчас иду.— Зоя, вздрогнув, низко наклонила лицо, пряча его в воротнике полушубка, заговорила со связистами излишне бодро, присев к разведчику: — Пожалуйста, несите осторожно, левая нога ранена. Не сжимайте ее. Пожалуйста, мальчики...

Связисты подняли разведчика и щупающими движениями перехватывали его тело поудобней.

— Вперед,— сказал Кузнецов.— Я догоню вас с Рубиным, если успею...

— Ради бога, не попадись к немцам... оставайся жив. Догоняй нас, кузнечик,— попросила Зоя, как-то незащищенно и слабо улыбнувшись ему из-за плеча, и он многое отдал бы, чтобы не видеть этой ее насильственной улыбки.

— Ну, фриц, покажи геройство, под руки пойдём. Шпрехен, швайн?¹ — сказал Уханов, с угрозой притискивая к себе немца.— Покеда, лейтенант.

— Вперед, Уханов. Осторожней там.

Кузнецов проводил их до края воронки и лег рядом с Рубиным, следя за ними до тех пор, пока не исчезли они за силуэтами двух бронетранспортеров.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

— Вы все внимательно осмотрели, Рубин?

— Почему не верите, товарищ лейтенант? Все оползал на брюхе вокруг воронки. Всю шинель извозил. Замело небось его поземкой, ежели убило. Где искать?

— Ясно, Рубин. Пока молчат, осмотрим еще раз в стороне балки. Возможно, когда выполз, потерял ориентировку, двинул в обратном направлении. Хотя трудно и это представить. По ракетам мог понять, где наши.

— С балкой поосторожней бы. И немцы тут погуливать могут, коль не дрыхнут. Тьфу, напасть! Засыпаю я прямо

¹ Говоришь, свинья?

на ходу, товарищ лейтенант. Наплывает на меня что-то. Сам в холоде, а на веках ровно гири.

— Разотрите снегом лицо. Потрите сильнее.

— Уж без удержу тру. Всю рожу как рашпилем надрал, товарищ лейтенант. Сутки не спамши. Часа два прикорнул за ночь.

Они лежали на краю опустевшей воронки, а вокруг уже поредел и побелел в степи воздух; густая тишина сломленной к утру декабрьской ночи наплывала на обоих застылой неподвижностью непреодолимого сонного часа. И, постепенно охватываемый обманчивостью растворяющего безмолвия, предрассветного покоя, сладкой тяжестью окутывающего мозг, Кузнецов почувствовал, что сознание против воли перестает сопротивляться этой успокаивающей расслабленности в измержшемся теле — и испугался темного мгновенного забытья.

— Пошли к балке, Рубин! — Он встал и, встав, понял, что не сможет сделать и пяти шагов — после всей бессонной ночи отпустившее вдруг нервное напряжение отстранило опасность, окунуло его в теплый туман секундной дремы. — Пошли! — повторил Кузнецов упрямее и громче и, чтобы как-нибудь вернуть недавнее ощущение реальности, подвигал в перчатках тронутыми обмороженными пальцами, поколотил ими о приклад автомата. — Пошли, пошли! — в третий раз сказал он, звуком своего голоса убеждая самого себя и Рубина в том, что идти им так или иначе придется, что они должны идти к этому краю балки.

— Сейчас я, лейтенант... — Рубин, через силу отрывая квадратное тело от земли, наконец поднявшись на ноги, заглянул в лицо Кузнецову, криво усмехаясь. — Не поймей обиду, лейтенант, на ветру ты шатаешься, а двужилый... Вроде ты завинченный. Над душой насильничаешь? Или себе доказать чего хочешь, лейтенант?..

— Пошли! Ерунду говорите, Рубин, ерунду. Пошли. Да, пошли. Надо идти, нельзя ждать. Надо идти.

— Не поймей обиду, лейтенант. Иду я...

Снег проваливался под их ногами, и Кузнецов, шагая, слышал неотступное сопение Рубина за плечом и похрустывание снежного наста под его валенками и, глядя в холодную пустыньность затихшей ночи, подумал, что все, что он делает сейчас, делает не он, а кто-то другой, и он сам и Рубин выполняют эти приказы в необходимом обоим успокоении. И в длинных волнообразных переливах поземки по степи, в покачивающейся перед глазами тихой пустынности не подсвечиваемого ракетами снега было тоже смутное успокоение, счастливое, короткое безмолвие давно свершившегося и теперь ушедшего — и теплая, вязкая пелена наплывала, обнимала его мягко. Но в эту кротость отдыха, в мягкую скорлупу забытья проклевывалось солнце,

металось беспокойно в стороне и потом расплавлялось, горело золотистыми искорками, поблескивало сквозь липы в голубых лужах после летнего дождя в каком-то далеком и милом переулке,— что это был за переулок? — и чьи-то брови, похожие на выгнутые полосы, на знакомом лице, и чей-то голос звучал в солнечном утре: «Кузнечик, родненький!.. Ты знаешь, куда идем? Над душой насильничаешь?» «Какой я кузнечик? Что это за детское, игрушечное слово?.. Нет, куда мы идем? Куда мы так долго идем? Куда?»

И Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг — тишина, снег и хруст шагов в ушах...

Он огляделся в испуге, вблизи услышав равномерное движение Рубина, ужасаясь дремотному беспамятству, и остановился.

Рубин тоже остановился. Переглядываясь, они молчали. Рубин свистяще дышал.

— Рубин,— еле ворочая языком, проговорил Кузнецов,— идите метрах в десяти правее. Там смотрите, а то...

Он не уточнил, что значит «а то», оно означало ясное обоим: «А то придем в траншеи к немцам».

— Не соображаем мы в дреме ничего, товарищ лейтенант,— покорно произнес Рубин и, утопая ногами в сугробах, зашагал вправо от него, а Кузнецов, снова боясь забыться, стараясь не терять ощущение опасности, отрезвившее его, подумал:

«Почему он сказал, насильничаешь над душой? Да, да, Рубин, больше всего боюсь показаться слабым, больше всего перед тобой и перед другими боюсь показаться слабым, и все делаю не я, а кто-то другой, а я не знаю, кто этот другой во мне. Я не знаю его и не хочу знать, пусть будет так!.. Рубин, пойми меня, я тоже ничего сейчас не соображаю, но мы дойдем до балки и успокоимся — сделали все... Хотя я уверен, что это совсем бессмысленно! И поэтому понимаю, что виноват перед тобой, Рубин!..»

Сухие строчки просекли за спиной тишину ночи — и эти звуки качнули Кузнецова вперед. И еще в зыбком полусне, в полуяви он моментально определил, что стреляли сзади, и с первой мыслью, что незаметно прошли боевое охранение немцев, он, толчком инстинкта брошенный на землю, сдернул с шеи ремень автомата, крича:

— Рубин, назад!

Но тут же увидел: Рубин со всех ног бежал к нему от края балки.

— Лейтенант, лейтенант, наши что-то!.. Глянь! Назад погляди!..

— Рубин, туда... за мной! — скомандовал Кузнецов, уже слыша разрозненное шитье автоматов позади, звонко грохнувшие там один за другим разрывы гранат; он кинулся назад, к во-

ронке, в направлении двух бронетранспортеров, куда ушла группа Дроздовского, на бегу соображая: «Что они? Напоролись на немцев? Неужели не смогли пройти?»

Потом из-за спины с окраины станицы гулко и грубо задудукал, всколыхнул степь крупнокалиберный пулемет — вся степь ожила огнями, торопливо расширялась и суживалась, выскакивали над самой головой светы, расталкивали, раздвигали темноту неба, и вкось скакали перед Кузнецовым и Рубиным собственные тени, на которые бежали они, наступали и которые бестелесным скольжением уходили от них.

— Рубин, к бронетранспортерам, правее! — выкрикнул Кузнецов, заметив бомбовую воронку и справа затемневшие бронетранспортеры, где пунктирно просекалась выстрелами поземка.

Опять с рассыпчатым аханьем лопнули разрывы гранат впереди, зашпешил тонкий клекот смешанных очередей, и Кузнецов, задыхаясь, подбежав к бронетранспортеру, увидел отсюда все.

Какие-то люди цепочкой отбегали от подбитых немецких танков к двум гусеничным машинам на бугре, до деталей выпукло освещенным ракетами, а в пространстве за подбитыми бронетранспортерами, близ кладбища немецких танков в низине, темнели, ползали по снегу несколько человеческих фигур, и от туда басовито частили наши автоматы по двум машинам, по отбегающим к ним немцам. Одна машина, с повисшими на бортах телами, заработала мотором, тронулась с места, начала разворачиваться, поползла с бугра; другая по-прежнему стояла, и от нее лихорадочно отделялись вспышки — немцы простреливали автоматным огнем низину.

— Рубин! По машинам!.. Бей по ним! — крикнул Кузнецов, с бешеным злорадством впиваясь онемевшим пальцем в спусковой крючок — приклад автомата отдачей заколотил в плечо, и степь ослепленно качнулась в этом огне. Неимоверным усилием он остановил себя, чтобы не выпустить целый диск одной строчкой.

— Гадюки! Змеи!.. — хрипел возле плеча Рубин. — Душить вас мало, руками душить!..

— Рубин, гранаты!.. Рубин, кидай в машину!.. Быстрее! В пламени очередей плясал сбоку багровый блеск крепких зубов Рубина, его большое, злобное лицо, опьяненное, притиснутое скулой к ложе автомата. Но в первый миг Рубин не слышал, видимо, команды, и Кузнецов, ударив его в плечо, закричал неистово и разгоряченно: «Гранаты! Гранаты!» И лишь после того срезанно оборвалась автоматная очередь — правая рука Рубина стала рвать, выворачивать карман шинели, потом, отскочив на два шага от бронетранспортера, он, скосо-

бочась, выдернул чеку, с хрипящим горловым выдохом швырнул гранату в сторону бугра. И, сразу выхватив вторую гранату, с сумасшедшим замахом бросил ее следом. Два разрыва, один за другим, красным плеснули по скату бугра — гранаты не долетели до машин.

— А-а, стервы ползучие!

Рубин, крича, хватаясь за автомат, лег рядом с Кузнецовым под гусеницы бронетранспортера, хлестнул по машинам длинными очередями. Понимая, что они оба быстро расстреляют все патроны — ни одного запасного диска не было, — Кузнецов подумал тотчас: надо продвигаться туда, к низине, где под огнем лежала в снегу группа Дроздовского, хотя и ясно уже было, что он и Рубин отвлекают на себя внимание немцев. Но одновременно с сознанием этого слух его улавливал поредевшие ответные выстрелы наших автоматов из низины. И, оторвав палец от податливой упругости спускового крючка, он приподнялся на локтях, крикнул:

— Рубин! Оставайся здесь!.. Отвлекай на себя! Я туда, к ним! Понял меня? Слышишь меня? Береги патроны, рассчитывай!.. Я к ним...

— Беги, лейтенант, быстрее. Тут я буду, — выдавил ожесточенно Рубин, и нечеловеческий оскал его лица сдвинулся, изобразил подобие улыбки. — Полежу тут!.. Еще бы пару дисков, лейтенант, я бы их, гнусняков, как клопов расклевал!

— Держи парабеллум! Полностью заряженный! — Кузнецов, вспомнив и ощутив угловатую тяжесть трофейного пистолета, выхватил его из кармана, бросил Рубину. — У меня свой «тэтэ», заряженный! Рассчитывай точно патроны, слышишь, Рубин!

Сзади, с окраины станицы, громоподобно и густо покрывая захлебывающийся лай автоматов, резал по низине крупнокалиберный пулемет, из окон левых домов заработали, заторопились еще три или четыре пулемета, трассы их проносились чуть сбоку бронетранспортеров, исчезая, зарывались в сугробы.

Падая и вставая, проваливаясь в воронки, Кузнецов пробежал метров пятьдесят в сторону низины, куда под разверзающимся светом ракет сверху стреляли от машины немцы. И вдруг все отяжелело в нем, стало свинцовым, как будто сжала дыхание непомерная настигшая тяжесть. Он несколько раз с ходу падал на колени, выпуская короткие очереди по бугру, а сердце, задохнувшись, звонкими молоточками барабанило в ушах, заглушая внешние звуки, глаза искали основания вспышек, мелькающих вокруг машины на бугре, и вместе со звонкими молоточками в ушах выстукивала в сознании одна и та же настойчивая мысль: «Почему они не уходят к танкам? Почему они не двигаются? Почему лежат под огнем? Надо вперед, вперед, за танки!»

Первый, кого увидел Кузнецов, добежав до пологого ската в низину перед сожженными немецкими танками, был Уханов. Уханов лежал за сугробом, шагах в ста пятидесяти от подножия бугра, втиснув пленного немца в снег, сверху навалился на него грудью, бил расчетливыми очередями по одной оставшейся на бугре машине. После каждой очереди он отползал влево, к танкам, матерясь, сильными рывками подтягивал немца за собой, снова втискивал его в снег и наваливался на него.

— Уханов! К танкам, бегом! — еле смог выкрикнуть Кузнецов, вконец задохнувшись, падая с размаху на землю. — Бегом к танкам!.. Не задерживаться ни минуты! К танкам бегом!.. Уханов, слышишь?

Уханов обернул азартно-бешеное, совершенно чужое, отрешенное лицо к Кузнецову, и красно блеснул передний стальной зуб.

— Лейтенант!.. К комбату... К Зое беги! Связиста послал, да толку мало! Ранило, кажется! Давай к ним!..

— Кого ранило? Что?

— Давай к ним, лейтенант! К Зое, к Зое беги! — опять дошел до Кузнецова сорванный до неузнаваемости голос Уханова, и, вдавливая немца в снег, он припал к автомату, целясь по машине на бугре.

«Зоя? Ее ранило? Не может быть! Этого не может быть!»

С ледяным ознобом, облившим спину, не очень понимая, что делает, Кузнецов, не пригибаясь, бросился, словно на ватных ногах, к разбросанным шевелящимся телам в глубине низины. Сознавал лишь одно: там случилось то, чего он не хотел, что не имело права произойти, не должно было случиться. И с тем же неверием, с дикой злостью, уже сбежав на дно низины, он яростно оттолкнул кого-то, сутулого, наклонившегося подле сугроба, что-то непонятное делающего руками возле рта.

Неотчетливо понял, что это связист раздирал зубами индивидуальный пакет, и тогда, под скатом сугроба, увидел, как сквозь волнистую пелену, знакомый белый полушубок, белые валенки, санитарную сумку, сплошь облепленную снегом.

— Что вы здесь возитесь, черт вас возьми!

— Ранило ее... перевязку надо бы! — испуганным вскриком отозвался связист. — Да вон видите, как ее...

Зоя лежала на боку, свернувшись калачиком, зажмурясь, подтянув ноги, будто ей было холодно, руки сомкнуты на животе, маленький «вальтер» валялся около ее неподвижно круглых поджатых колен, и что-то темное, ужасающее Кузнецова, расплывалось на снегу, под нею.

Но он сначала подумал, что это ужасное и темное на снегу не было кровью, не смог представить, что это кровь Зои, что он видит ее кровь, и сейчас же попытался внушить себе, сказать

себе, что ничего непоправимого не случилось, она не может быть смертельно ранена или убита и не может так пугающе страшно прижимать руки к животу.

— Зоя... Что ты, Зоя?

— Молчит она, лейтенант... Автоматной очередью ее... В живот, видать... Сперва говорила: отойдите, мол, я сама. Не дала перевязывать... А теперь ничего уж не говорит,— просочилось точно из-за тридевяти земель бормотание связиста.— Все было тихо, а когда зашли в низину, они как дадут сверху. И началось...

— Где Дроздовский? — не слыша своего голоса, беззвучно спросил Кузнецов.— Где он?

— Да не видите где? Вон, в снегу сидит... ранило тоже его. Немцы гранаты кидали.

— Где он? — шепотом повторил Кузнецов и, повернувшись, неясно различил в пяти метрах от сугроба Дроздовского, без шапки сидевшего на снегу.

Дроздовский в левой руке держал пистолет, а правую, в перчатке, то и дело прикладывал к шее и, поднося к глазам, выговаривал что-то отрывистое, невнятное. Второй связист, изогнувшись, силился поднять Дроздовского, со спины неловко охватывал его под мышки; чей-то раскаленный автомат лежал вблизи бугром сереющего маскхалата обмороженного разведчика.

Сопrotивляясь связисту, вырываясь, Дроздовский заговорил горячно, с одержимым упорством контуженого:

— Перевязку мне!.. Где Зоя? Перевязку!.. Ранило меня, пусть она перевязку! Уйди-и!..

Еще не зная зачем, механически расстегивая пудовую шинель, Кузнецов так же механически шагнул к нему; наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха, ледяными губами проговорил:

— Дроздовский! Ты слышишь меня? На ногах можешь стоять? Ноги целы? Тебя царапнуло! Встать, встать, Дроздовский!

— Где Зоя? Где Зоя, Кузнецов? Где? Перевязку мне!..

— Встать, Дроздовский, встать!

Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу; вместе с Дроздовским они переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Но он не мог взглянуть на нее; его трясло, как в приступе малярии. Дроздовский шел впереди, обморочно и рыхло покачиваясь, его всегда прямые плечи были сгорблены, руки, вывернутые назад, держали край шинели; чужеродной белизной выделялся бинт на его ставшей короткой шее, бинт сползал на воротник. Иногда спина его напрягалась, и не то стон, не то какой-то мычащий кашель выдавливался

из его горла — и этот странный, сдавленный звук оглушал Кузнецова разрывающей грудь болью.

Раз, когда вошли в полосу подбитых немецких танков, куда не долетали автоматные очереди, Дроздовский попросил шепотом:

— Отдохнем... не могу. Прощу тебя, Кузнецов...

Они опустили Зою на снег. И опять Кузнецов не нашел силы взглянуть на нее — острый комок спазмы не давал ему дышать. Он стоял, прижимаясь плечом к оплавленной броне немецкого танка, ноги подламывались, было желание сесть в снег, закрыть глаза, не двигаться, не думать ни о чем. Теперь ему было все равно, все потеряло цену, в одну секунду стало бессмысленным, не имеющим значения: и обмороженный разведчик, и пленный немец, и ночь после боя, и холод, и воронка перед балкой — все стало чудовищной, нечеловеческой несправедливостью, нужной лишь для того, чтобы случилось это...

«Ее ранило в живот, — в исступлении объяснял он сам себе, с тщетной логичностью восстанавливая, как могло случиться это. — А сначала, когда вошли в низину, она отстреливалась из «вальтера»? А потом?.. Но почему именно ее? Почему именно она?»

— Кузнецов...

Он, как во сне, механически взялся за край шинели и пошел, так и не решаясь посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло тихой, холодной, смертельной пустотой: ни голоса, ни стопа, ни живого дыхания. Но нет, было еще обманчиво живым ощущение в руках тяжести ее тела на шинели, и это — все, что чувствовал он в те минуты.

Когда они донесли ее до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева — со спрашивающим, дурным выражением он, выскочив из оружейного дворика навстречу им, зашагал рядом, испуганно глядя на Зою, потом долго растерянным, останавливающим взглядом обводил Дроздовского и Кузнецова, ожидая, что они объяснят, как это произошло, как случилось. Но они не говорили ни слова.

Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на нее. Не смотрел и когда положили Зою в нишу, не помнил, кто именно посоветовал положить ее туда, чтобы поземка не заметала лицо. Он стоял, опустив к земле автомат, и не сразу расслышал далекий бесплотный голос; похожий на голос Нечаева, шепчущий ему: «Замерзли вы, товарищ лейтенант, зачленеете вы вконец». И тут увидел на бруствере ниши свою шинель с темными пятнами на полах и подумал почему-то, что никогда уже не сможет надеть на себя эту шинель со следами ее крови, со следами ее смерти.

— Зачем вы взяли мою шинель? — шепотом выдавил Кузнецов. — Оставьте ее в нише...

— Дрожите вы ведь в ватнике, товарищ лейтенант... — тоже шепотом отозвался сбоку Нечаев. — Как же Зою, а? Как же ее?

Кузнецова была крупная дрожь, у него выстукивали дробь зубы, заledenело все тело, и не отпускало желание сесть, зажмуриться, ни о чем не думать — только так, мнилось, могло прийти облегчение.

Он бросил автомат к ногам, сел на бруствер против ниши — не было сил дойти до станин орудия — и, дрожа, зачем-то стал вытирать грязной перчаткой лицо, тискать и разглаживать горло.

«Кузнечик... — явственно и тихо слышалось ему. — Дого-няй нас. Оставайся жив, кузнечик!»

Он застонал в перчатку и первый раз решился посмотреть в нишу, на нее.

Зоя лежала там на подстеленной Нечаевым плащ-палатке, краем ее прикрытая по грудь, сейчас он не видел той ужаснувшей его крови. Без шапки — наверно, осталась где-то там, в низине, — она лежала на боку, по-детски туго собравшись калачиком, как будто спала, замерла во сне; ветер шевелил легкие волосы на ее лице, мраморно-белом, потерявшем милую живость, с особенно четкими бровями, чуть сжатыми тихой мгновенной мукой; и брови, и затвердевшие ресницы ее, казалось, тоже тихонько подрагивали, шевелились; их трогала, белила мелкая, сухая крупа текущей с бруствера поземки. И Кузнецов так быстро отвернулся, закрыв глаза, так стиснул пальцами подбородок и губы, что свело болью кожу под шершавой перчаткой. Он боялся, что не выдержит сейчас, сделает нечто яростно-сумасшедшее в состоянии отчаяния и невыносимой своей вины, точно кончилась жизнь и ничего не было теперь.

Эти ее легкие волосы жаркими ударами разрывов кидало ему в губы, в глаза, когда она обняла его, ища помощи, прижалась к нему на огневой Давлатяна, и он притискивал ее тогда к колесу орудия, инстинктивно защищая от осколка в спину, — тогда живой холодок ее губ, тепло дыхания касались его потной шеи, его щеки... Разве мог он знать в те секунды, что случится после? Разве мог знать, что ее ранит в низине и она вынет «вальтер» из санитарной сумки?

Кто-то накинул сзади на его плечи шинель, а он по-прежнему сидел на бруствере, не двигаясь, не отвечая на чей-то голос, кажется, опять Нечаева:

— Товарищ лейтенант, дрожите вы очень. Уйти вам... Лучше в землянку вам, к раненым. У них печка горит... Все пришли, слава богу. Посмотрите... Вы слышите меня, товарищ лейтенант? Отогреться бы вам надо. Все вернулись, говорю...

— Все?.. Пришли? — сквозь застрявший ком в горле проговорил Кузнецов, внезапно ударенный словами «все пришли, слава богу», и увидел вблизи совершенно потерянное выражение на посинелом лице, в прикушенных усиках Нечаева и прошептал едва различимо:

— Накройте Зое лицо... Поземка ведь. Накройте сейчас же...

С робостью Нечаев сошел в нишу, потянул край плащ-палатки и, осторожно накрыв Зою, отошел к брустверу.

Так было немного легче, и Кузнецов попробовал встать, а ноги не слушались, и он бессильно опустил на бровку бруствера. Шинель, накинутая Нечаевым, сползла с его плеч, свалилась за спину.

Все, что держало его эти сутки в неестественном напряжении, заставляло делать то, что невозможно было делать, вдруг расслабилось в нем. Теперь он даже не пытался подняться, а только растирал, щупал горло, перехваченное острой петлей. И если бы сейчас начали атаку немецкие танки или приблизились к орудию автоматчики, он, наверно, не пересилил бы себя, не сдвинулся с места, чтобы подать команду стрелять...

«Почему они молчат и смотрят на меня? Что они думают. Они видели, как случилось это? Где был Дроздовский? Он ведь был рядом с ней...»

По бугру мимо ниши двое связистов несли обмороженного разведчика, несли, как понял Кузнецов, в землянку с ранеными, шли молча, недоверчиво скособочив головы туда, где лежала накрытая плащ-палаткой Зоя. Потом один сказал: «Все с сестренкой», — и они остановились в неуверенности, вроде ждали, что она сможет откинуть плащ-палатку, ответить им улыбкой, движением, ласковым, певучим голосом, знакомым всей батарее: «Мальчики, родненькие, что вы на меня так смотрите? Я жива...» Но чуда не происходило, а они стояли, сверху вопрошающе и отупело уставясь на плащ-палатку в нише, переминались, неудобно держали глухо мычавшего разведчика.

— Несите! Какого дьявола топчетесь? — слышалась раздраженная команда Уханова, и затем — негромко: — Нечаев, ты тоже чего столбом стоишь? Накинь на лейтенанта шинель. Или ты, Рубин, помоги...

— Товарищ лейтенант, шинель наденьте, — снова прозвучал голос Нечаева, и сзади набросили на его плечи шинель.

— Встать бы вам, товарищ лейтенант, — мрачно прогудел над головой Рубин. — Закоченеете на земле-то.

— Оставьте в покое шинель. Не надо, я сказал. Пусть здесь лежит. Оставьте...

И он все-таки встал, он смутно понял по этой настойчивости Нечаева и Рубина: они что-то замечали в нем со стороны, замечали что-то новое, пугающее, необычное, чего не видели

раньше. Его знобило. У него по-прежнему стучали зубы, и он делал глотательные усилия, но никак не мог преодолеть забившую дыхание спазму.

А вокруг уже предметно выявлялось утро в разреженном синем сумраке, и уже висело над огневой, над степью, над обгорелыми танками тугое предутреннее безмолвие. Уханов и Рубин, с ног до головы белые от вьевшегося в одежду снега, но с черными от пороховой гари лицами, сидели на станинах, положив на колени еще горячие автоматы, грели пальцы, не снимая рукавиц, и оба неотрывно смотрели на Кузнецова.

В двух шагах от них, на орудийном дворике, лежал на боку немец, тоже весь в снегу, со связанными ремнем руками за спиной. Выгибая голову, он жалобно сипел — похоже, просил о чем-то, но его не слышали, не замечали. Его страх, его страдания не имели сейчас никакого значения, никакой цены. И Кузнецов бегло удивился, почему он жив, почему он еще сипит и живуче выгибает голову здесь, рядом с нишей, где лежала накрытая плащ-палаткой Зоя. «Его-то уберегли! — подумал он с приступом бешенства. — Если бы я знал, все было бы не так! Дроздовский видел, как ее ранило?..»

— Комбат!.. — позвал Кузнецов и, нетвердо ступая, пошел к ровику. — Слышишь, комбат?

Дроздовский стоял спиной к нему в конце ровика, не подымая головы; бинт, второпях намотанный в низине связистом, чуждо белел на его шее, утолщая ее, скрадывая плечи; лопатки горбато проступали под шинелью, руки безвольно висели.

— Что ты от меня хочешь? — тихо спросил он.

— Ты шел с Зоей?

— Я шел с ней.

— Ты видел, как ее ранило?

— Нас вместе.

— А когда она вынула «вальтер»? Она стреляла, комбат?

— «Вальтер»? Какой «вальтер»? Что спрашиваешь? — Он повернулся, на белом овале лица круглились его синие влажные глаза. — Что у тебя было с ней, Кузнецов?.. Я догадывался... Я знал, чего ты хотел! Но ты напрасно надеялся, напрасно!..

У Дроздовского тряслась, прыгала челюсть, он был контужен и произносил эти обрывистые слова в каком-то безумии подавленности и ревности, такой невыносимой теперь, что Кузнецов прислонился к стенке ровика, зажмурился: невозможно было видеть стоячий, больной взгляд Дроздовского, этот сползавший бинт на его шее, эти пятна крови на воротнике. Еще секунду назад Кузнецов готов был понять, простить, забыть многое, что было между ними, но оттого, что Дроздовский, раненный вместе с ней, не видел, как погибла Зоя, и от этой его ревности, на которую никто не имел права, он передернулся, сказал хрипло:

— Лучше не отвечай, комбат! — и пошел прочь, чтобы не спрашивать, погасить в душе вспышку против него, не слышать, не видеть его, не продолжать разговор.

— Все из-за этой гадины! Все из-за него!.. Из-за этой мрази она погибла!

Тупой удар локтя с силой отстранил Кузнецова к стене ровика, и, рванувшись из ровика, Дроздовский, как в припадке искривив рот, подскочил к лежащему под бруствером немцу.

— А-а, сволочь!..

Его плечо угловато дергалось, раскачивалась спина, рука движениями поршня силилась вырвать из кобуры неподдававшийся ТТ, и Кузнецов, поняв значение этого жеста, бросился за ним.

— Стой! Назад!.. — И еле успел перехватить кисть Дроздовского, оттолкнуть его, налитого дикой, одержимой силой; тот порывисто выпрямился с искаженным белым лицом.

— Отойди, Кузнецов! Отойди-и!..

С двух сторон Уханов и Рубин кинулись к Дроздовскому, прижали его к углу ровика, а он вправо и влево нырял головой, мотая развязавшимся бинтом, и, не сдерживая слез бессилия, обезумело выкрикивал:

— Из-за него!.. Из-за него она!..

— На безоружного, комбат? — внушительно встряхивая Дроздовского за плечи, говорил Уханов. — Это и дурак сможет! А ну остынь, остынь, комбат! Контужен? При чем тут фриц? Опомнись! Фриц-то при чем?

И Дроздовский сразу потух, сник и, в изнеможении сделав несколько судорожных вдохов и выдохов, проговорил:

— Да, я контужен. В голове звенит. Глотать больно, душит... — Потом добавил разбито и слабо: — Сейчас пройдет. Я на энпэ...

— Бинт у тебя развязался, комбат, — сказал Уханов. — Рубин, проводи комбата на энпэ и поправь ему как следует перевязку.

— Пойдемте, товарищ лейтенант, — пригласил Рубин и, на супленный, двинулся за Дроздовским по ходу сообщения.

Немец ерзал под бруствером, тягуче сипел.

А Нечаев, изменившийся лицом, незаметный, будто чужой, сидел в проходе ниши, прикованно глядел на аккуратные золотые часики с тоненькой змейкой цепочки, круглые, трогательно маленькие на его рукавице, и молчал непроницаемо.

— А ты что притих? — спросил сурово Уханов. — На время смотришь? К чему? Что тебе время?

— Те, из саквояжа... трофейные... помнишь, сержант, — ответил Нечаев, покусав усики, тоскливо и горько улыбнулся. — Подарить некому. Что делать с ними? Зое хотел... И вот думаю: зеленая я трава. Зачем ей всякие штуки про себя вкручивал:

мол, все бабы мои были. Баланда. Баланду травил, сержант. Ни одной настоящей не было...

— Выбрось часы — и хватит! Вон туда, за бруствер! Чтоб не видел я эту трофейщину!

Отвернувшись от Нечаева, от этой тихой и горькой его улыбки, Уханов вынул смятую пачку сигарет, отобранных у немца, понюхал зачем-то пачку, брезгливо поглядел на этикетку, где по желтому песку шел мимо египетских пирамид караван верблюдов, сказал:

— Солома, видать,— и, вытолкнув сигареты, протянул Кузнецову: — Давай...

Кузнецов отрицательно покачал головой.

— Не могу. Не хочу курить. Слушай, Уханов... Немца надо отправить. В дивизию. Кого с ним пошлем?

Уханов, изгибаясь в три погибели под бруствером, загородил полый расстегнутого ватника зажигалку и, прикурив, сощурился на противоположный берег.

— Спят там или не спят фрицы? — смакуя первую затяжку, в раздумье сказал он и сплюнул.— Тьфу, дьявол, трава какая-то! Отрава!

— Кого с немцем пошлем, Уханов? — повторил Кузнецов.— Рубина или Нечаева? Или этих связистов?

Уханов глубоко затянулся, через ноздри выдохнул дым.

— Решать особенно нечего, лейтенант. Фрица в дивизию отправить надо. Тут ничего не попишешь. На кой тогда нянчились с ним? Оставайся у орудия с Нечаевым и Рубиным. Может, стрелять придется. Сам доведу как-нибудь. Ты только вот что, лейтенант...— Уханов втоптал в землю до ногтей докуренную в несколько затяжек сигарету, с медленным, страдальческим каким-то вниманием посмотрел в сторону ниши.— Ладно, все, лейтенант, сам понимаешь. Война, мать ее растак! Сегодня одного, завтра другого. Послезавтра тебя.

— Возьми с собой Рубина,— глуховато посоветовал Кузнецов.— Иди с ним. На той стороне осторожней: не напоритесь на немцев. Я зайду в землянку к раненым.

— Ну, мужских поцелуев не люблю, прощаться не будем, лейтенант! — И Уханов размашисто закинул автомат за плечо, усмехнулся одними глазами.— Будь жив, лейтенант! Рубина возьму.

Эта успокаивающая усмешка Уханова после его слов о том, что все-таки «языка» надо отправить на КП дивизии, готовность отвести, переправить немца на противоположный берег, рискуя в который раз за одни сутки, приступ мстительной ненависти, вырвавшейся у Дроздовского, потрясенность Нечаева, замороженно разглядывавшего крохотные дамские часики на своей огромной рукавице,— все было из чужой, виданной в больном

жару, нереальной жизни, а настоящая жизнь, с обычным солнцем, обычными звуками, ясным и покойным светом, отдалась в неизмеримый часами мрак этой ночи, и хотелось сесть на станину орудия или обессиленно лечь на снег, закрыть глаза и молчать.

«Да, мне идти к раненым. Там Давлатян... Жив ли он? Я должен сходить к раненым. Сейчас сходить!..» — стал внушать себе Кузнецов и, как непомерную тяжесть, подняв с земли автомат, держа его стволом вниз в опущенной руке, невольно посмотрел в нишу.

Поземка морщила, трогала края плащ-палатки, прикрывавшей лицо Зои, и Кузнецов испугался, что ветер внезапно сорвет плащ-палатку, вновь обнажит беспощадно ее, неживую, беззащитную, калачиком сжавшуюся в этой холодной снарядной нише. И, задевая стволом автомата за сугробы, дрожа от озноба, ссутулясь, он побрел к выбитым в обрыве берега ступеням.

На пороге блиндажа кислая, железистая духота, тяжелый воздух, пропитанный запахом пота, нечистых бинтов, нагретых шинелей, ударил ему в нос из мутно освещенного двумя чадающими керосиновыми лампами подземелья. Это был угарный запах человеческой беспомощности, но в нем пока чувствовалась жизнь и надежда на жизнь.

Весь блиндаж был заполнен: раненые лежали на земляных нарах, на полу, в разных углах — те, кого приносили сюда в течение дня, начиная с бомбежки и первой танковой атаки.

Паром от дверей потянуло понизу, холодная струя пробила спертую духоту, и в полутьме заворочались на полу тела под шинелями, слышались вздохи, стоны, голоса, тихие, раздавленные долгой борьбой с болью:

— Кто пришел-то? Сестра?.. Подойди-ка, опять у меня намокло, течет и течет... Ремнем бы затянуть ногу, плаваю, ровно в луже.

— Зоенька, а Зоенька, на батарее-то есть кто живой? Чего стреляли и тихо стало?

Кузнецов стоял в этом душном шевелении голосов, и его будто покачивало на горячих волнах: никто из лежавших здесь еще ничего не знал. И шепотом прошло по блиндажу — как легкие толчки в грудь:

— Не Зоя, братцы, лейтенант пришел.

— Какой лейтенант, наш?

— Командир первого взвода. Ранило его, видать. Еле стоит. Никак, последний остался? А Зоя где же?

Кузнецов молчал.

Лишь двое в блиндаже были на ногах — раненный в плечо связист Святов, тот самый белесый мальчик, неловко скрывав-

ший свой первый испуг на войне, когда Кузнецов во время бомбежки прыгнул к нему в ровик, и Чибисов с перебинтованной рукой, висевшей на грязной марлевой перевязи.

Чибисов, работая здоровой рукой, ломал снарядные ящики подле раскаленной докрасна печки, на которой бурлили котелки с растопленным снегом. Увидев Кузнецова, нетвердо стоявшего, в ватнике, с черными кругами смертельной усталости под глазами, он робко втянул голову в плечи, заморгал с ожиданием удара, окрика, прошептал несвязно и оправдательно:

— Товарищ лейтенант... не стерпел я, не совладал... Детишки у меня, товарищ лейтенант...

— Где Давлатян? — вполголоса спросил Кузнецов, бросил автомат к стене, эту чугунную обременяющую его ношу, и, дернув ворот, коснулся горла холодной перчаткой, — Лейтенант Давлатян... где?

— Здесь, товарищ лейтенант, здесь, на нарах, сюда, пожалуйста, идите, — донесся призывный шепот из полутьмы блиндажа. — Живой он... Вас он просил.

Связист Святос перевязывал на полу раненого — заулыбался Кузнецову по-мальчишески светло, точно облегчение тот принес в блиндаж. И в том, как Святос посмотрел и сказал, была нескрытая радость человека, оставшегося в живых:

— Товарищ лейтенант, вот туточки командир второго взвода.

Кузнецов, перешагивая через раненых, подошел к нарам и здесь, в тени, по неестественно горячему блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал Давлатяна.

— Гога, жив? — проговорил Кузнецов. — Вот я пришел к тебе, Гога. Раньше не мог...

Давлатян лежал неподвижно в непривычной госпитальной белизне: кроме головы, пухло перебинтовано и бедро; ноги прикрыты шинелью, а в ногах шапка, брезентовая сумка, выданная на формировке, пустая кобура с ремнем, котелок со снеговой водой.

— Коля, — прошелестел шепот Давлатяна. — Пришел, да? Ты не знаешь, как я рад, Коля, что ты пришел. Я Зою просил, чтобы она сказала тебе. Я даже записку писал!

Увеличенные глаза Давлатяна огромно, сухо и черно высвечивались на его лице, бледном, маленьком, детском в окантовке бинтов, утратившем смуглость, обычную жизненную подвижность; запекшиеся, искушенные до кровоподтеков губы проговаривали слова, но в новой интонации его голоса не было того чистого, трогательного воспоминаниями о чем-то мирном, солнечном, довоенном, что так поражало и удивляло раньше Кузнецова. И, не зная зачем, подсознательно желая услышать то прежнее, школьное, успокаивающее, он спросил:

— Тебе лучше, Гога?

— Да, мне лучше, лучше,— зашептал, чуть поворачивая голову и торопясь, Давлатян,— теперь я буду жить, я уверен... Теперь только боль, знаешь! Кончился дурацкий бред. Но ерунда, ерунда... Жаль, я не могу встать, будь проклят этот осколок!.. Я не могу себе простить, мне жалко своих ребят. Все началось с бомбежки... Как там наверху, Коля? Расскажи мне...

— Ничего, Гога. Бой кончился. Ночью. Не думай об этом. Все кончилось.

— Кончилось... Ты сколько подбил танков? Расскажи...

— Не знаю. Не считал. Танков шло много. Было несколько атак. Отходили в балку и снова...

— Большие потери? Да? Ты говори правду! Пожалуйста... Ты все расскажи! Если, конечно, можешь.

— Да, потери.

— Почему ты так отвечаешь? Не хочешь?

— Нет, Гога. Потом... Не могу. Устал.

Стало тихо в блиндаже — сдержаннее прорывались стоны, прекратилось, затихло беспокойное шуршание соломы на полу, раненые вслушивались в негромкий разговор лейтенантов: те, кто был еще в силах приподняться, напрягались поймать слухом слова облегчения и дуновение надежды от нежданно пришедшего с батареи лейтенанта, наделенного завидной, счастливой судьбой говорить нормальным голосом, ходить, чувствовать свое целое тело. Даже то, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен, рождало надежду на избавление: значит, батарея еще жила, значит, еще там, наверху, были люди. Но никто не вмешивался в разговор, не прерывал, лишь тяжелораненые, не приходя в сознание, стонали в углах.

«Они ждут от меня чего-то,— подумал Кузнецов.— Но я сам не знаю, что будет через час. Не знаю, когда появится возможность всех их отправить в медсанбат, не знаю, где сейчас медсанбат».

А Давлатян, затянутый до глухоты в ушах бинтами, не слышал, должно быть, осторожно наступившего затишья в блиндаже, его раздвинутые на половину лица глаза с нездоровым, жарким огнем возбуждения блуждали по потолку, по лбу Кузнецова, находили его глаза и стыдливо спрашивали, что он думает о нем: осуждает, жалеет, сочувствует? И Давлатян заговорил горячо и не совсем внятно:

— Ты пойми меня, Коля, мне не повезло второй раз... Я несчастливый. Тогда, под Воронежем, заболел этой идиотской болезнью, а теперь ранило... Ну, что же это такое? Мне не повезло, не повезло! А я так мечтал попасть на передовую, я так хотел подбить хоть один танк! Я ничего не успел. Вот тебя не ранило, тебе очень повезло. А мой взвод... Начиная с



К стр. 315

бомбежки... Ты понимаешь меня, Коля? Бессмысленно, бессмысленно случилось со мной! Почему мне не везет? Почему я невезучий, Коля?

Кузнецов молчал. По завлажневшим глазам, по срывающемуся голосу Давлатяна он понял, что тот может сейчас заплакать от рокового несчастья, от невезения, от досады, и смутное чувство собственной взрослости охватывало Кузнецова. Они были объединены и вместе с тем разделены бесконечностью лет. Давлатян был где-то в мягкой, прозрачной и приятной дали, в прежнем и прошлом, в том наивном, детском — в училище, на марше, в ночи перед боем, — он остался там. Нет, он не видел ни смерти наводчика Касимова, ни смерти Сергуненкова, ни гибели расчета Чубарикова под гусеницами танка, ни пленного немца, ни разведчика в воронке, ни в той смертельной низине сжавшейся калачиком на снегу Зои, под боком которой расплывалось темное пятно и валялся маленький, игрушечный «вальтер». Одни сутки, как бесконечные двадцать лет, разделяли их, и счастье Давлатяна было несчастьем Кузнецова, потому что память его не освобождалась, держала все.

«Он сказал: бессмысленно? Бессмысленно... Но может быть, в бессмыслии того, что было, и есть смысл? Это так, и этого не знает Давлатян. Нет, нет, не может быть бессмысленно! Почему, зачем тогда все? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я ненавижу их, убивал, я поджигал танки, и я хотел этого смысла! И когда пошли к воронке — тоже. Да, был смысл, я знаю. Но смерть Зои — это бессмыслие, невозможное бессмыслие! Почему она? И смысл и бессмыслие?.. Да, да. Я не могу почему-то сказать об этом Давлатяну. Если бы он видел, как она лежала на снегу, в низине, сжавшись калачиком, а руки были на животе!..

— Я завидую тебе, Гога,— с трудом выговорил Кузнецов и встал с онемелой полуулыбкой, он никогда не улыбался так.— Может, тебе и повезло... Война не кончилась, Гога. В госпитале подлечат — и все танки твои...

Зачем он говорил это и успокаивал Давлатяна?

— Ты сказал, что мне повезло? — вскрикнул петушиным фальцетом Давлатян и заворочал забинтованной головой.— Для чего ты сказал? Для чего ты это говоришь? Как назло, как назло, меня... Я выстрелил четыре раза!.. Я ничего не успел, я не хотел такого везения! Ты меня не понимаешь, я не хочу такого везения! Это судьба такая!

— Выздоровливай, Гога... Прости, мне к орудию,— сказал Кузнецов.— Я зайду еще. Надеюсь, утром всех отправят в медсанбат. Всех! — добавил он тверже, чтобы как-нибудь ответить на эти из разных углов тоскливо-терпеливые взгляды не прерывавших их разговор раненых, и, сказав, пошел к вы-

ходу, потому что других обнадеживающих слов не доставало ему в душе.

— Коля! — умоляющим голосом крикнул с нар Давлатян.— Я тебя жду, очень жду!.. Коля, пойми, так с ума сойти можно! Хоть бы в медсанбат скорей! И Зою, Зою пошли к нам. Скажи, возле орудия ранило кого-то, да?

— Я зайду, Гога. Да, я зайду. Потом... Всех отправим в медсанбат. Как только придут машины.

Около двери стояли, касаясь друг друга, как бы накрепко объединенные одной судьбой жить, Святов и Чибисов; юное, не умеющее ничего скрывать, омытое внутренней радостью лицо связиста Святова, длинная шея его, высоко вытянутая из ворота ватника, напоминали чем-то Сергуненкова. Да, все в Святове говорило о непотаенной надежде жить, о том, что, слава богу, его легко ранило, поэтому он готов с охотой, с добротой ходить, ухаживать за всеми, перевязывать и услужливо выполнять любые распоряжения Кузнецова. Но Кузнецов никаких распоряжений не давал — шел к выходу из блиндажа; неясно видя, пошарил рукой внизу стены, нащупал автомат, раскрыл дверь и вышел.

— Товарищ лейтенант...

За спиной скрип двери, движение, шаги чьи-то, похожие на топот собачьих лап по снегу.

— Что? Вы, Чибисов?

В белесоватом воздухе рассвета Чибисов, вышедший за ним, виден был размыто, нечетко: прижав стянутую бинтами руку к груди, переваливался с ноги на ногу и страдальчески дрожал бровями, всем грязным своим маленьким личиком, точно мука съедала его, и, не стерпев, не вынеся, он решился тайно высказать ее Кузнецову именно здесь, а не в блиндаже.

— Что, Чибисов? Что вы хотели сказать?

— Товарищ лейтенант... извините вы меня, за-ради бога...— заговорил Чибисов с обрывающими дыхание слезами в голосе.— Не совладал я с собой, не совладал... Совестно мне... Что ж делать-то мне? Товарищ лейтенант, не хотел я. Страх был, страх, го-осподи!

И он схватил за рукав Кузнецова, ткнулся в него губами, по-собачьи мелко подергиваясь.

— Что вы? Сейчас же перестаньте! — сказал Кузнецов и вырвал руку.— Идите в блиндаж и ухаживайте за ранеными. Идите, Чибисов, идите...

— Совестно мне, совестно. Век вас буду помнить, товарищ лейтенант. Убить меня мало, убить на месте! Не совладал я...

«Что он? Скорей бы он уходил, скорей!»

— Идите в блиндаж. Идите, я сказал... что вы?

Снова шаги, хруп снега позади. Стукнула дверь. Тишина в

блиндаже. Тишина на берегу. Нигде ни единого выстрела. Белой зыбью скользила, приплясывала поземка по иссиня-бледному катку стылой реки с черными впадинами огромных прорубей — в близких полыньях, пробитых снарядами, мнилось, позванивали, сталкивались, терлись друг о друга острые на слух осколки льдинок, как тогда, когда Зоя вызвала его из землянки расчета и он провожал ее по берегу и не дошел до блиндажа.

Ах, какая тоска и пустота декабрьской ночи были в этой без единого выстрела тишине, в этом заснеженном берегу, без единого солдата, в этой поземке, позванивании льдинок, в этих корявых ветвях ветел, врезанных в сумрак уже предрассветного воздуха, неживого, серого, недвижимого, и было невыносимо больно дышать на этом сковавшем все холоде! Он стоял, закрыв глаза, опустив автомат к земле.

«Почему она сказала тогда: «Поцелуй меня, как сестру. У тебя ведь есть сестра?» И что ответил я? «У меня нет сестры!..» Зачем я так сказал?»

Он подумал это, и показалось ему, что Зоя где-то здесь, рядом, что она жива и ничего не было этой ночью, что вот сейчас она выйдет из сумрака, перетянутая, почти переломленная своим офицерским ремнем по талии, в полушубке, подымет глаза, чернота их блеснет из-за бахромы инея на ресницах, губы и тонкие брови дрогнут в улыбке, и она скажет шепотом: «Кузнечик, тебе и мне приснилось, что я погибла. Ты меня будешь жалеть хоть немножко?»

Но было пустынно и мертвенно-тихо вокруг.

Спотыкаясь, он поднялся по ступеням на берег, вошел в ход сообщения и, не доходя до орудия, вдруг упал грудью на бровку траншеи, в тупом отчаянии прижался лбом к холодным шершавым перчаткам, и что-то жарко и горько сдвинулось в его горле; он сморщился, стиснув зубы, и долго терся губами и лбом об эту ледяную, шершавую и жесткую шерсть перчаток, молча, с острым сладострастием глотая слезы. Он плакал так одиноко и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника был горячим от его слез.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Уже поздним вечером для Бессонова стало очевидным, что, несмотря на ввод в бой отдельного танкового полка и резервной 305-й стрелковой дивизии, несмотря на быстроту и самоотверженность действий Отдельной истребительно-противотанковой бригады, несмотря на интенсивный огонь двух вызванных полков реактивных минометов, немцев не удалось столкнуть с захваченного ими к исходу дня северобережного плацдарма,

выбить их танки из северной части станицы, но тем не менее, хоть и с огромным трудом, удалось разжать клещи, намертво сжимавшие фланги деевской дивизии, пробить узкий коридор к окруженному полку майора Черепанова, истекавшему кровью в круговой обороне.

К полуночи в полосе армии бои постепенно прекратились везде.

В этот час Бессонов с недоверием к затишью, но и несколько удовлетворенный донесениями о действиях 305-й дивизии, прорубившей коридор к полку Черепанова, сидел в своем блиндаже и утомленно выслушивал доклад об обстановке заместителя начальника оперативного отдела майора Гладилина. Доклад был деловито сух; Бессонов ни разу не перебил его. От нервного перенапряжения приступами болела нога, особенно после того, как он на высоте Деева упал в траншее, неудобно подвернув ступню, при огневом налете шестиствольных минометов. От этих приступов сухое лицо Бессопова стало еще суше, осунулось, посерело; временами его бросало в знойкий пот, и он вытирал его с шеи, с висков носовым платком, избегая неотступного внимания майора Божичко, давно заметившего, что с командующим не очень ладно.

— Не ясно, майор, — выслушав доклад, сказал Бессонов и разогнул под столом ногу, находя для нее удобное положение.

Замечание «не ясно» относилось не к докладу, не к сложившейся в корпусах обстановке, но Гладилин поджарой своей фигурой, нестройной выправкой тихого, уравновешенного, пожилого человека, привыкшего докладывать объективные данные по возможности без эмоций, выразил секундное замешательство, точно забыл отметить существенное, то, чего не имел права не отметить.

— Простите, товарищ командующий, не понял. — Высокий лоб Гладилина стал нежно-розовым, заметнее забелела сахарная седина аккуратно и гладко зачесанных назад волос.

— Вчера ночью, — договорил Бессонов своим скрипучим голосом, — они ни на час не прекращали действий. Сегодня, введя резерв, по нашим данным, и даже удобный плацдарм захватив, затихли. Не кажется ли это вам алогичным, майор? Непоследовательным, так сказать?

— Думаю, что это связано с действиями наших соседей на Среднем Дону, товарищ командующий. С действиями Юго-Западного и Воронежского фронтов. Правда, начало их наступления сегодня не было очень успешным, но так или иначе...

— Возможно, — перебил Бессонов.

После целых суток успешного натиска немцев, торопливого наращивания удара — их спешка к цели чувствовалась — немцы,

конечно, приостановили атаки в полосе армии не из-за наступления ночи, не из-за перерыва на горячий кофе с галетами для проголодавшихся танкистов, не из-за насморка, подхваченного командующим ударной группой генералом Готом на своем КП (Бессонов усмехнулся, подумав об этом), а из-за причин, несомненно, других, непредопределенных, весомо-существенных, новых. И как это было ни рискованно, он склонялся к мысли, что противник, введя в действие главный резерв на правом фланге его армии и продвинувшись здесь на несколько километров, к ночи исчерпал свои возможности. От этой же новой реальности зависело время обусловленного с командующим фронтом контрудара, который наносить надо было не позже и не раньше — в тот момент, когда явными становились признаки использованности всех резервов противника, усталости наступления.

Но многое окончательно могло проясниться лишь в течение ближайших часов, возможно, ближе к утру: начнут немцы снова или не начнут? И не будет ли вторичный натиск в непоследовательной торопливости к цели направлен по левому флангу армии, где днем немецкой танковой группе удалось сбить боевое охранение, а к вечеру выйти к южному берегу и также вклиниться в нашу оборону? Однако в перемену направления главного удара Бессонов интуитивно не верил, кроме того, не поступило никаких данных о перегруппировке сил противника против левого крыла армии. Где же истина во всем этом? Где твердая истина?

— Товарищ командующий, вы просили чай. Извините, сколько ложек сахара?

— Да... Две ложки. Благодарю.

Майор Божичко налил из вскипяченного на железной печке чайника полную кружку дымящегося чая, распространяя запах заварки; подумав, насыпал три ложки сахара, поставил кружку на стол перед Бессоновым.

А вокруг в блиндаже голоса связистов то порхали сквозняковым шорохом стрекоз, вызывая триста пятую, танковый полк Хохлова, отдельную артиллерийскую бригаду, то по-мышинному шуршали в душно-теплом, нагретом сыром воздухе, повторяя вслух последние телефонограммы из дивизий, из корпусов о потерях, о подбитых танках, о пополнении боеприпасами; и покачивалось на обгоревших фитилях пламя в четырех ярких лампах, до видимости морщин обливая светом землистые, бессонные лица офицеров-операторов, склонившихся над картой, серебристые волосы, высокий лоб Гладилина, тоже не отрывавшегося от карты на столе, округлую спину старшины-радиста в углу, стоявшего с чайником Божичко.

Но это было чуть в стороне от восприятия Бессонова, хотя

он слышал и видел все, что делалось в блиндаже, рассеянно помешивая ложечкой в кружке.

«Так что же, выдохлись и затихли? — думал Бессонов, глядя перед собой в ярчайшее сияние ламповых огней.— Или еще не исчерпано у них, и снова начнут?» Нет, точного ответа не могло быть, а он знал, что если немцы не использовали весь резерв и завтра, то есть утром, начнут новое наступление против правого крыла армии, здесь, на плацдарме, в полосе дивизии Деева, то он вынужден будет ввести в дело последние средства — иначе не выстоять,— бригады танкового и механизированного корпусов, приданные для наступления из резерва Ставки, прибывавшие и уже сосредоточиваемые в десяти — пятнадцати километрах за передовой. В результате распылятся подвижные силы, предназначенные для контрудара,— распылив их, он нанесет ответный удар не тугим кулаком, но растопыренными пальцами, что никогда еще не приносило успеха, хоть делалось не раз. Так на его памяти командира корпуса было прошлой осенью под Москвой, когда под нажимом танков Гудериана суматошно раздергали по частям целый Резервный фронт, затыкая бреши, но так и не сдержав натиска.

Бессонов вынул горячую ложечку из кружки с круто заваренным чаем, спросил:

— Когда будет наконец связь со штабом фронта? Где начальник связи?

— По всей видимости, товарищ командующий,— ответил майор Гладилин,— танковый корпус при выдвижении в темноте на рубежи повалил шесты... Исправлена будет с минуты на минуту. Начальник связи давно выехал на линию.

— Меня не интересуют причины повреждения. Мне нужна связь!

Бессонов потрогал кружку — горяча ли, отпил несколько глотков (густой этот чай имел все-таки привкус жести и, кажется, пороха) и, отставив кружку, обтер носовым платком сразу выступившую испарину на висках и шее. Весь выжатый этими сутками, бесконечными сообщениями с КП армии, донесениями из корпусов, заботами о расширении узкого коридора, пробиваемого силами 305-й дивизии к окруженному полку Черепанова, Бессонов не переставал чувствовать жжение в ноге; нога отяжелела, мешающе распухла, и тогда, чтобы отвлечься от боли, забыть ее тревожные сигналы, он почему-то вспоминал, как несколько месяцев назад в таких случаях помогало ему в госпитале одно — неумное курение. Курить же ему после операции настрого запретили, нарушение запрета было равносильно добровольной отдаче ноги под нож хирурга; да, его предупредили в госпитале, что при слабом пульсе сосудов на правой ноге многолетняя привычка становилась теперь для него губительной.

Но сейчас при воспоминании об успокаивающем и всегда так возбуждавшем его раньше никотине Бессонов вновь поглядел на голубовато-снежную пленительную пачку «Казбека»: забытые кем-то — начальником разведки или Весниным — папиросы, лежащие на столе, к которым при нем, некурящем командующем, никто не прикасался.

И как бы в раздумчивости потянулся он к коробке, раскрыл ее, взял твердую папиросу, вдохнул сухой запах табака с незабытым, вожделенным наслаждением.

«Выкурить одну... Раньше я не мог без этого. Попробовать. Одну папиросу... Тем более что здесь нет Веснина», — сказал себе Бессонов, представляя, что это открытие приятно изумило бы члена Военного совета, заядлого курильщика, который, наверно, снял бы очки и, подняв брови, спросил: «Вы, Петр Александрович, разве курите?»

— Вы разве курите, товарищ командующий? — не без робкого недоумения спросил майор Гладилин, хватая со стола коробок спичек, чтобы дать прикурить; и Божичко, и операторы, и замолчавшие на миг связисты зорко взглянули на него.

Заметив общее внимание, Бессонов потискал мундштук папиросы, недовольный собой, раздраженный этими взглядами: вероятно, о его склонностях и привычках, о его слабостях уже было известно и в штабе армии, и здесь, в дивизии Деева: предупреждали друг друга, дабы не попасть впросак, не вызвать лишнее замечание или выражение неудовольствия.

— Так вот... мне крайне интересно было бы знать: когда будет связь со штабом фронта? — Бессонов подавил раздражение в голосе, зазвучавшем с чрезмерной вежливостью, и, побряхтев, выпрямил под столом огрузшую ногу, заговорил, обращаясь не к одному Гладилину: — Мне также крайне интересно, почему до сих пор неизвестно, прибыл ли в район сосредоточения армейских резервов член Военного совета. Где он? Запросите еще раз танковый и механизированный корпуса. Пора ему быть. Почему так долго?

Майор Гладилин ответил:

— Мне известно, товарищ командующий, что член Военного совета не заезжал в штаб армии. Возможно, что Виталий Исаевич по дороге в танковый корпус задержался где-нибудь в войсках первого эшелона.

— Запросите корпуса, триста пятую, полк Хохлова... И прошу, прошу связь с фронтом! Я жду.

Бессонов с сердцем вложил размятую папиросу в коробку, забарабанил пальцами по столу. В этом положении неопределенного затишья ему необходима была, как ток крови в жилах, прямая связь со штабом фронта, и вместе с тем, наконец, ему нужно было знать, где находится член Военного совета Веснин,

в течение трех часов не сообщивший о себе; это беспокоящее его обстоятельство, не высказанное им вслух, казалось сверх меры необъяснимым.

— Я только что разговаривал с триста пятой, товарищ командующий.

Майор Гладилин, однако, взял у телефониста трубку, тихий, сдержанный, бесцветное лицо помято бессонницей, усталостью, движения бесшумны, старательны — исполнительный человек, привыкший к работе с картой, к штабной педантичной обязательности. Между вопросами, ответами и повторными вопросами Гладилина пробивался в паузах голос радиста, вызывающего штаб фронта, а Бессонову больше всего хотелось услышать доклад о прибытии Веснина в танковый корпус или хотя бы в 305-ю и вытеснить из сознания беспокойство о нем.

Вызывая штаб фронта, старшина-радист покорно склонился над рацией — опыт постоянного общения с начальством лишал его избыточной многоречивости, внешней заметности; он, радист, словно растворился в углу блиндажа, был незрим, отсутствовал, но жил однотонный голос:

— «Антенна», «Антенна»!.. Я — «Высота», я — «Высота»! Даю настройку: раз-два-три.

Бессонов вслушивался в позывные, испытывая даже легкую жалость к бессильным потугам радиста, мял и поглаживал под столом ногу; изнуряющая боль расползлась по голени к бедру.

— Так что с «Антенной», старшина? Что у них, радиостанция не работает?

— Непонятное в атмосфере, товарищ командующий. Ловлю, а не слышим друг друга... Немецкие и румынские радиостанции влезают. Что-то очень разговорились. Вот послушайте...

Разряды в радиостанции, стреляющий треск в эфире ворвались в теплый и сырой воздух блиндажа — радист перешел на прием, мягкой шерстистой змейкой вплелась в электрический треск быстрая румынская речь и пропала, наплыла и юркнула жесткая немецкая команда, произнесенная речитативом, точно диктовали радиogramму, ее заглушило атмосферными разрядами, смыло писком торопящейся морзянки — велись чужие переговоры, где-то в штабах и на командных пунктах слишком много работало в этот час немецких и румынских радиостанций, чего не бывало обычно перед серьезной подготовкой к наступлению, когда радиостанции молчат и в эфире кажущийся мир и спокойствие.

Теперь же эфир был необычно оживлен, и, утомленно опустив веки, слушая незнакомые шифры, тщетно разгадывая причину чужих радиопереговоров, Бессонов думал:

«В связи с чем у них началась карусель? Готовятся к утру? Почему заработали румынские радиостанции?»

Голоса, шаги, шум в соседнем отсеке блиндажа, где поме-

щался Деев с дивизионными операторами, затем громкий стук в дверь — эти звуки выхватили Бессонова из состояния раздумья.

— Разрешите, товарищ командующий?

Вошел без шапки, согнувшись в дверях по причине своего внушительного роста, полковник Деев, массивной фигурой занял треть блиндажа: светло-рыжие брови его весело как-то круглились. В течение многих часов общаясь с ним на НП, познакомясь вблизи и не забыв ту уколывшую нежность к Дееву в минуту попытки его прорваться к окруженному Черепанову, Бессонов спросил сухо, не показывая расположенность к этому самому молодому в корпусе командиру дивизии:

— Что, полковник, новости? Слушаю вас.

— Товарищ командующий, разрешите доложить? — заговорил Деев сочным, полновесным баритоном, и нечто восхищенное, победное переливалось в голосе, в рыжевато-золотистых глазах его. — Разрешите?.. Артиллеристы из двести четвертого артполка, товарищ командующий, полтора часа назад вынесли, можно сказать, из-под носа у немцев нашего раненого разведчика и добытого прошлой ночью «языка». Пленного уже привели на эмпэ. Это работа той моей разведки, что не вернулась!.. — И Деев, совсем уж не сдержав удовлетворенности и восхищения, просиял, заулыбался во весь белозубый рот. — Немец, правда, здорово обморожен. Но языком шевелит и еще кое-что сообщает. Оказали медицинскую помощь, вызван переводчик. Не подвели мои хлопцы, не подвели! Нет, на моих ребят можно положиться! Что прикажете, товарищ командующий?

Все в блиндаже — и телефонисты, и операторы, и тихий майор Гладилин — обернулись к Дееву; от его баритона, от сильной фигуры исходила свежая, искрящаяся волна прочной молодости; в докладе его и даже в вопросе «что прикажете?» сквозило нескрываемое довольство и дивизионной разведкой, и тем, что немец оказался живучим, и тем, что сам он, командир дивизии, не лыком шит. И Бессонову вдруг вспомнилось, как Деев на разъезде перед разгрузкой в первый раз представлял ему свою дивизию — было в нем нечто гусарское, эдакое залихватское мальчишество, бесхитростно-хвастливая уверенность в людях, которыми командовал он, удачливый, везучий, молодой полковник, из недавних командиров батальона.

«У полковника Деева защитное качество молодых — преувеличенная до хвастовства честь мундира», — подумал он мельком и, почему-то легко простив эту наивную, не лукавую слабость, уже никак не предполагавший вновь услышать о той неудачной разведке, посланной в поиск прошлой ночью, спросил не без удивления:

— Каким образом «языка» доставили сюда артиллеристы? Какие? Кто?

— Артиллеристы с южного берега, те, что на прямой наводке. Пришли на энпэ, можно сказать, из окружения.— Деев глядел поверх лампы на Бессонова пронизанными светом, торжествующими глазами в соломенных, веселых, как летние солнечные лучики, ресницах.

— Где эти артиллеристы?

— Ушли обратно на батарею. Кстати, немец подтвердил, товарищ командующий...

— Что подтвердил?

— Вчера введена в бой свежая танковая дивизия.

— Посмотрим, что за «язык»... Запоздалый, правда. Но так или иначе — «язык».

Бессонов подобрал ногу под столом, чтобы удобнее было встать, оперся на палочку, чувствуя колющие мурашки в голени. Несколько мгновений он послушал позывные радиста: «Антенна!.. Антенна!» — и, накинув на плечи поданный Божичко полушубок, захромал к двери, распахнутой полковником Деевым.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Пленный немец сидел перед столом начальника разведки; длинная, подбитая мехом, с меховыми отворотами шинель, на коленях перебинтованная кисть левой руки; костяного оттенка, отечные одутловатые щеки с сизо-темными пятнами; далеко посаженные от переносицы, гноящиеся в уголках глаза; сидел в позе безразличия ко всему, на опущенной голове свалывшиеся волосы прикрывали пяточок лысины. По команде переводчика встав при появлении в блиндаже Бессонова, найдя на его петлицах знаки различия, немец чуть вскинул тяжелый щетинистый подбородок, выжал из себя скомканные звуки, и Бессонову перевели:

— Рад, что его будет допрашивать русский генерал. Просит об одном — или госпиталь, или расстрел. После тех мучений, которые он перенес, ему ничего не страшно.

— Пусть сядет,— сказал Бессонов.— Ему ничего не угрожает. Война для него кончилась. Будет отправлен в госпиталь. Для военнопленных.

— Майор Эрих Диц, офицер связи штаба шестой танковой дивизии, пятьдесят седьмого танкового корпуса,— доложил начальник разведки дивизии подполковник Курышев.

В течение этих суток, переволновавшись за судьбу дивизионной разведки, не вернувшейся из поиска, Курышев, всегда сдержанный, припустил огня в двух керосиновых лампах, скрупулезно, как человек, знающий свою нелегкую, нервную, многоопасную на войне службу, заглянул в развернутую на столике

тетрадку с пометками, по-видимому, начатого до прихода Бессонова допроса. Потом, устало и педантично читая из тетрадки, пояснил командующему, что майор Диц из Дюссельдорфа, сорока двух лет, награжден Железным крестом второй степени за бои под Москвой, член нацистской партии с тридцать девятого года, и добавил пониженным голосом, что, согласно этим данным, калач, надо думать, тертый, взят был вчера на рассвете разведчиками прямо из машины на шоссе, когда возвращался с поручением из штаба корпуса в штаб дивизии.

Подробным объяснением Курышев упреждающе подсказывал командующему, что при допросе следовало бы иметь в виду возможность дезинформации, однако Бессонов, казалось оставив без внимания со значением подчеркнутые детали из биографии пленного, в задумчивости походил, разминая ногу, по блиндажу, на ходу обратился к переводчику — розовощекому капитану:

— Он показал, что шестая дивизия вчера введена в бой?

— Нет, товарищ командующий. По его словам, вчера вступила в бой семнадцатая танковая дивизия. Из резерва группы армий «Дон».

Стало тихо. Пахло в блиндаже каким-то лекарством, холодным ворсом чужой шинели, чужим потом; пламя бурлило в раскрытой дверце печки, по ее накалившему железу пробегали вишневые искорки. Молоденький капитан-переводчик, кричаще выделяясь здесь выпавшимися, бойкими, ловящими глазами, сверх необходимости подтянутый, с вымытым одеколоном целлулоидным подворотничком, сверкавшим на шее при поворотах головы то в сторону Бессонова, то в сторону немца, до ушей зарделся оттого, наверно, что Бессонов томительно долго не задавал никаких вопросов, только скрипел в тишине палочкой, прихрамывая по блиндажу, в накинутом на плечи полушубке, изредка взглядывая на немца сквозь опухлые красноватые веки.

«Так что это за немец? Из кадровых? Воевал под Москвой? Начал с сорок первого...»

А немец по-прежнему не менял выбранной позы: безучастный ко всему, потухший взор мертво впаян в угол блиндажа, правая рука в неснятой меховой перчатке поддерживала свежеперебинтованную кисть левой руки; он еще стремился сохранить достойный вид обезоруженного, попавшего в плен и тем не менее совершенно равнодушного к своей судьбе немецкого офицера, каким должны были представлять его русские; но то, как он трепетно и глубоко хватал расширявшимися ноздрями воздух, безошибочно говорило Бессонову, к чему приготовил себя немец.

С сорок первого года одно и то же чувство неудовлетворенного и тайного интереса испытывал Бессонов при случайном или не случайном допросе пленных. Кроме желания узнать необходимое, что важно было ему узнать, в тех или иных

деталей, о намечающихся действиях чужой армии, против которой он более года воевал, каждый раз появлялось особо острое желание уточнить и всецело познать истину, умонастроение той, враждебной стороны: кто же вы такие, немцы, захватившие почти всю Европу, ведущие бои в Африке и начавшие войну против нас? Что скажет и что думает в данную минуту этот физически сильный, плотный в теле майор с обмороженной рукой, обмороженными щеками, взятый прошлой ночью из штабной машины?

Но, удерживаясь задать вопрос, что думает немецкий майор о прошлых боях под Москвой и о нынешних боях под Сталинградом, Бессонов спросил:

— Когда шестая танковая дивизия прибыла в состав группы армий «Дон» под Сталинград? Откуда прибыла?

Краснощекий капитан бойко перевел.

Немец с неизбывным равнодушием стал отвечать, скупороня слова, снизу поддерживая меховой перчаткой перебинтованную кисть, а капитан-переводчик беспричинно счастливо улыбнулся Бессонову, начал переводить с видимым удовольствием от прекрасно понятого ответа пленного:

— Полторы недели назад дивизия из Франции прибыла в Котельниково. Нас не повезли через Париж, а направили круглым путем. В Берлине остановки не было. В Барановичах мы почувствовали, что близко ваши партизаны, — вагоны и локомотивы валялись под откосом. Нигде не было нормального света. Электростанции не работали. Брянск утопал в снегах. Проехали через Курск и Белгород, потом начались степи. Бескрайние дикие степи. Мы догадывались, что едем под Сталинград.

— Из Франции? — переспросил Бессонов.

— Во Франции дивизия пополнялась и перевооружалась после боев под Москвой... Бескрайние степи зимой показались нам десятками Франций. Пустые степи и беспредельные снега. И такой же холод под Сталинградом, как под Москвой.

«Да, десятки Франций, — согласился с горечью Бессонов, как на карте отмерив это мертво-оцепенелое, в снегах, лесах и степях пространство, колоссальную глубину захваченной немецкими войсками земли, и, как бывало всегда, когда сознанием возвращался к этому, подумал еще: — Но что чувствуют они? Страх перед огромностью захваченного пространства? Перед тем, что они не удержат такую территорию и им придется рано или поздно отступить? Почему этот майор так подробно вспомнил путь следования в Россию?»

— Спросите его, — походив по блиндажу, обратился к переводчику Бессонов, — что его так раздражает при воспоминании о пути из Франции.

— Сигаретен, майне сигаретен! — ознобно стуча челюстями,

заговорил немец и впервые отцепился взглядом от угла блиндажа, мутные заскользившие глаза его зашарили по столу, он глотал слюну, говоря что-то возмущенно и долго. Переводчик молчал.

— Что он? — спросил Бессонов.

Краснощекий капитан, сконфуженный, пунцовый до самой полоски целлулоидного подворотничка, пожал одним плечом, стал переводить, запинаясь:

— Ваши солдаты отобрали у меня французские сигареты и зажигалку. Главное, меня лишили сигарет. Вы взяли меня в плен и можете со мною делать, что хотите. Но я прошу очень маленького милосердия: дайте мне всего одну сигарету. Во Франции даже преступнику дают перед смертью сигарету и вина. Конечно, Франция... Франция — это солнце, юг, радость... А в России горит снег. Но я не курил целые сутки в той яме, где ваши солдаты меня продержали много часов, как жалкую, связанную веревками свинью. Прошу ничтожного милосердия на пять минут. На одну сигарету...

«Милосердия...— внутренне усмехнулся Бессонов этому давнему, добропорядочному понятию, разрушенному самим этим гитлеровским майором более года назад.— Он просит милосердия? После солнечной Франции...

— Дайте ему сигареты,— сказал Бессонов недовольным голосом.— Он просил уже, видимо? Где его сигареты? Почему не отдали, подполковник?

— Впервые попросил, товарищ командующий. Когда привели и делали перевязку, зубами только скрежетал и ругался. Немец, как видите, не из простых, товарищ командующий. Все его вещи перед ним.

И начальник разведки еще сильнее припустил огня в лампе, ненужно перекладывая с места на место занимавшие часть стола вещи и документы пленного: раскрытое портмоне с письмами и фотокарточками, медальон, миниатюрный перочинный ножик на цепочке — то, что вручили артиллеристы, приведя пленного; сигарет не передавали. Переутомленный бессонной ночью, с пятнистой желтизной на вдавившихся висках, с мешками под глазами, Курышев сурово уставился на медальон майора, вздохнул, вид его говорил Бессонову: «Мои ребята погибли, товарищ командующий. Но если б они были живы-здоровы, наказал бы я их за неаккуратность!» Немец суровость эту и вздох Курышева оценивал, очевидно, иначе: в краях крупного обметанного синевой рта его изгибались две усмешки — злость на себя и ненависть к русским, заставившим его унижаться, целые сутки страдать от холода, мочиться под себя там, в воронке.

— Ну, быстро, быстро дайте ему,— сказал Бессонов.

— Можно мне, товарищ генерал? — спросил капитан-пере-

водчик и с охотой извлек из кармана шинели пачку «Пушек», сначала намереваясь было протянуть ее пленному, чтобы тот сам выбрал папиросу, но передумал, вытряхнул папиросы, положил пачку на стол, улыбнулся стесненно.

Немец, клонясь вперед, звучно сглотнул слюну, толкнулся неразгибающимися пальцами к раскрытой пачке, неосяземо тупо ухватил папиросу, произнес что-то при этом.

— Огня просит. Зажигалку у него тоже отобрали,— смущенно сказал краснощекий капитан и, не без колебания вынув свою зажигалку, тоже немецкую, вычиркнул огонь, поднес прикурить, пробормотал: «Битте зеер»¹.

— Мои ребята знали инструкцию,— сказал начальник разведки, все изучая на столе медальон пленного.— Наверняка артиллеристы посвоевольничали, товарищ командующий.

«Милосердие,— подумал, раздражаясь, Бессонов.— Нет, у нас слишком много милосердия. Мы слишком добры и отходчивы. Чрезмерно».

— Так что же, следовательно, русские солдаты оскорбили вас? Жестоко и зло отобрали сигареты у доброго немецкого офицера, прибывшего из Франции в Россию с самыми лучшими целями? К сожалению, они не знали, что право выше силы,— проговорил Бессонов с иронией, не считая нужным высказывать неодобрение действию своих не знавших инструкции солдат, на которых так или иначе легонько досадовал педантичный в таких делах подполковник Курышев.— Молитесь богу, вам повезло, господин майор.

Краснощекий капитан заторопился переводить, а крупное, породистое лицо майора, обволакиваясь дымом, распустилось от глубокой и жадной первой затяжки, он через ноздри долго процеживал дым; но едва молоденький капитан перевел слова Бессонова, немец внезапно смял папиросу, не докурив, и в злом исступлении бросил под ноги; полуистерический смешок забулькал в его груди.

— Нет, мне не повезло, господин генерал. Ваши солдаты, которые не убили меня в воронке, а держали, как свинью, на холоде и сами замерзали,— фанатики. Они беспощадны к самим себе! Я их просил, чтобы они убили меня. Убить меня — было бы актом добра, но они не убили. Это не загадка славянской души, это потому, что я добыча. Не так ли? Вы считаете нас злыми и жестокими, мы считаем вас исчадием ада... Война — это игра, начатая еще с детства. Люди жестоки с пленок. Разве вы не замечали, господин генерал, как возбуждаются, как блестят глаза у подростков при виде городского пожара? При виде любого бедствия. Слабенькие люди утвер-

¹ «Пожалуйста».

ждаются насилием, чувствуют себя богами, когда разрушают... Это парадокс, чудовищно, но это так. Немцы, убивая, поклоняются фюреру, русские тоже убивают во имя Сталина. Никто не считает, что делает зло. Наоборот, убийство друг друга возведено в акт добра. Где искать истину, господин генерал? Кто несет божественную истину? Вы, русский генерал, тоже командуете солдатами, чтобы они убивали!.. В любой войне нет правых, есть лишь кровавый инстинкт садизма. Не так ли?

— Хотите, чтобы я вам ответил, господин майор? — спросил сухо Бессонов, останавливаясь перед немцем. — Тогда ответьте мне: в чем смысл вашей жизни, если уж вы заговорили о добре и зле?

— Я нацист, господин генерал... особый нацист: я за объединение немецкой нации и против той части программы, которая говорит о насилии. Но я живу в своем обществе и, к сожалению, отношусь, как и многие мои соотечественники, к мазохистскому типу, то есть я подчиняюсь. Я не всадник, я конь, господин генерал. Я зауздан...

— Очень любопытное соотношение, — усмехнулся Бессонов, устало опираясь на палочку. — Парадоксальное соотношение коня и всадника. Нацист, пришедший с насилием в Россию, против насилия, но выполняет приказания, грабит и жжет чужую землю. Действительно — парадокс, господин майор! Ну, так как вы мне задали вопрос, господин майор, я вам отвечу. Мне ненавистно утверждение личности жестокостью, но я за насилие над злом и в этом вижу смысл добра. Когда в мой дом врываются с оружием, чтобы убивать... сжигать, наслаждаться видом пожара и разрушения, как вы сказали, я должен убивать, ибо слова здесь — пустой звук. Лирические отступления, господин майор!..

Бессонов не дослушал до конца розовощекого капитана, переводившего его ответ немцу, — дверь в блиндаж с шумом распахнулась, из хода сообщения влился холод.

— Товарищ командующий, разрешите?..

В блиндаж, не дожидаясь разрешения, поспешно вошел Божичко; и по тому, как, вытянувшись, он вторично произнес сбитым голосом «товарищ командующий», по тому, как его энергичное, улыбающееся лицо было сейчас омыто бледностью, по тому, как он, пусто зыркнув в сторону немца, тотчас же вышел из блиндажа, Бессонов нырнувшим сердцем ощутил: случилось нечто необычное.

— Продолжайте по существу, — бросил Бессонов начальнику разведки, встревоженно посмотревшему на него, и захромал к выходу. — Без лукавых философий, — добавил он на пороге.

За спиной его упала тишина.

Божичко мялся в ходе сообщения, ногой нервно разбивал

невидимые комья земли, и здесь, с глазу на глаз с адъютантом, охваченный предчувствием случившейся беды, Бессонов поторопил его:

— Что молчите, Божичко, докладывайте! В чем дело?

— Веснин... товарищ командующий...

— Где? Не может быть! Объясните по-человечески! Где он?

— Товарищ командующий... только что на энпэ прибыл майор Титков, раненый... сообщил, что члена Военного совета...

— Что? Ранен? Убит?

Божичко, уронив голову, давил каблуком комья земли под ногами, и Бессонов, в горячей испарине, с жарко всполыхнувшей пронзительной болью в ноге, в первый раз за это время поднял на него голос, перестав владеть собой:

— Я вас спрашиваю: ранен или убит? Что вы, онемели? Убит?

— Да, товарищ командующий... По дороге напоролся на немцев. Вас ждет Титков в блиндаже связи,— сказал Божичко.— Лично вам хочет доложить.

«Веснин убит? По дороге напоролся на немцев? Где? В станице? Что такое говорит Божичко? Как случилось?» — отталкивал Бессонов разумом это внезапное, непредвиденное, точно обвал, сообщение о несчастье, сомневаясь еще, что это действительно случилось и что вот через несколько секунд, неопровержимым доказательством гибели Веснина, он увидит майора Титкова, начальника охраны, заранее разгневанный на него и за то, что произошло, и за то, что сам Титков мог быть таким доказательством.

— Что ж, пошли, Божичко,— проговорил Бессонов.— Пошли...

Огни ламп, телефонные аппараты, рация, карта на столе, лица зыбились, смутноплыли в тихом и теплом воздухе блиндажа: все замолкли при появлении Бессонова, потом неясная, короткая, обрубленная тень человеческой фигуры колыхнулась сбоку, и, овеянный запахом свершившейся беды, слабым бестелесным звуком «товарищ генерал...», Бессонов сел к столу и, вынув носовой платок, обтер подбородок, шею, чтобы пропустить минуту, не разжаться сразу, не обрушить душивший его гнев на этот исходивший от тени безжизненно-плоский, серого, гибельного цвета голос, который должен был сообщить ему о смерти Веснина. И, обтирая испарину, спросил после долгого, выдержанного им молчания:

— Где напоролся на немцев, майор Титков?

— На северо-западной окраине станицы, товарищ командующий... машина с охраной шла впереди...

Стоило усилий повернуть голову, взглянуть в сторону этого одиноко и оправдательно, как на суде, звучащего в блиндаже

голоса, ставшего теперь каким-то буро-мглистым; захотелось вдруг увидеть Титкова всего — его лицо, глаза, — проникнуть мимо слов в истину случившегося, представить те последние минуты, которым был он свидетелем и очевидцем.

Майор Титков, тенью шатаясь у двери блиндажа, был неузнаваем: круглая голова обмотана бинтом до переносицы, низкорослая, подобная железной глыбе, широкогрудая фигура его облачена в лохмотья полушубка, полы надорваны, истерзаны; разворочен, видимо разрывной пулей, левый рукав, оттуда наружу безобразно торчал клочками мех; под серой шапкой нечистого бинта — отчаявшиеся кровавые глаза; и опять тот же исполненный отчаяния голос:

— Немецкая разведка шла к машинам. Товарищ член Военного совета отказался отходить к домам. До них было метров двести. Открытое место... Приказал принять бой...

— Как погиб?.. — прервал Бессонов. — Как погиб Веснин?

— Минут десять отстреливались мы. Потом обернулся я, вижу: товарищ член Военного совета на спине лежит подле машины, руку с пистолетом к груди прижал, а кровь из горла хлещет...

— Потом? — против воли поторопил Бессонов, точно главное в этой гибели хотел уяснить для себя, но оно ускользало, не определялось с полной ясностью, не постигалось сознанием: ему докладывали, что Веснин погиб, а он не видел его смерти и не представлял его мертвым, потому что ничего не было непостижимее этой неожиданности, ничего не было, казалось, невыясненнее сложившихся отношений между ними — двумя людьми в армии, равно отвечавшими за все, — тех недолгих взаимоотношений, которые по вине его, Бессонова, в силу его подозрительной нерасположенности ко второй власти рядом с собой выглядели не такими, как хотел Веснин и какими они должны были быть. Возможно, нежелание спорить, мягкость Веснина, легкие, вроде бы между прочим, советы его, нежелание подчеркнуто выказывать свое место рядом с ним, командующим армией, были той ступенькой, которую Веснин, по своему опыту, стремясь не задеть самолюбия, незаметно подкладывал под ноги Бессонову для утверждения его в новой армии, среди людей, незнакомых в деле. Так ли это было? Если и не так, то все, что могло быть между ними, сдерживал он, а не Веснин...

А откуда-то издали, из света ламп, из теплого банного воздуха звучал надтреснутый голос майора Титкова:

— ...то полковник Осин, то я на спине товарища члена Военного совета несли. Полковника Осина в станице уже в плечо ранило. Разрывной кость раздробило. Как дошли до наших танков, какую-то машину из боепитания поймали и доехали потом до медсанбата триста пятой дивизии. Ордена и документы

товарища члена Военного совета... вот они... у меня они. Полковника Осина в медсанбат положили, вам, сказал, документы в целости и сохранности передать. Что мне делать теперь, товарищ генерал?.. Куда мне теперь?..

Майору Титкову, в каждом слове которого тряско зыбилась мука бессилия перед случившимся, не нужно было, вероятно, показывать ордена и документы Веснина. Этот положенный на стол кровавый комок в слипшемся носовом платке был неумолимой и неотвратимой реальностью, как удар по глазам, утверждающий со всей жестокостью истины гибель Веснина. И Бессонов непроизвольно, одной рукой загородившись от яркого света ламп, от взглядов, обращенных на него, зачем-то дотянулся другой рукой до влажного корешка личного удостоверения Веснина, долго не в силах был раскрыть его — странички разбухли от крови, склеились, потемнели.

Но Бессонов осторожно раскрыл удостоверение, и то первое, что увидел он, была вложенная между страничками маленькая любительская фотография, тоже вся в бурых потеках, однако разглядеть ее было можно. Веснин был снят, видимо, с дочерью. Он в белой рубашке, белых летних брюках, совсем по-довоенному молодой, улыбающийся кому-то заразительной мальчишеской улыбкой, так что нос весело наморщился, сидел за веслами шлюпки в солнечном заливе, на берегу которого виднелось среди кипарисов белое здание санатория; а на корме лодки — худенькая, загорелая до темноты девочка лет семи, белые, выгоревшие волосы спадают на щеки из-под панамки, детски слабенькие ключицы торчат из-под выреза сарафанчика, перегнулась через борт, по заказу окунула тоненькую руку в воду, а в тени панамки настороженные глаза скошены в ту же сторону, куда смотрит и улыбается далекий, незнакомый в своей молодости Веснин, и уголки губ девочки чуть капризно круглятся — не хочет улыбаться, отказывается улыбаться кому-то чужому, но тот, кто снимает, командует ей настойчиво: «Улыбнись же!»

На уголке фотокарточки белыми буквами: «Сочи, 1938 год».

«Почему он сохранял именно эту фотокарточку? Значит, девочка — его дочь? Есть ли в документах фотокарточка его жены? А что это добавит, объяснит? Нет, не могу смотреть, не могу узнавать подробности его жизни после его смерти! Почему мы всегда хотим узнать о человеке после его смерти больше, чем знали при жизни?»

— Товарищ командующий...

Он отнял руку от лба — басовито трещал в блиндаже зуммер высокочастотного аппарата, телефонист, сняв трубку, смотрел на Бессонова несмело приглашающими глазами, говоря шепотом:

— Вас, товарищ командующий, из штаба фронта.

— Да, да... Сейчас. Да, да...

Его локоть дернулся по столу, он на ощупь поискал палочку, прислоненную к краю, оперся и под взглядами находившихся в блиндаже встал в вяжущей и густой, как тина, тишине, палочка при его движении к аппарату скрипнула; трубка, нагретая ладонью телефониста, была теплой, живой, но в ней вибрировали, шуршали тихие звуки пространства, беспредельно текущей пустоты, и Бессонов с необоримым желанием разбить это молчание и в блиндаже и в трубке заговорил:

— У телефона пятый.

— Одну минуту, товарищ пятый. Передаю товарищу первому.

На том конце разделенного ночью пространства трубку быстро передали, и затем другой голос, наполненный крепостью жизненных соков здорового и занятого неотложными делами человека, произнес с возбуждением:

— Петр Александрович, здравствуй! Ну как, лапти приготовил? Бороду отрастил? Зипун кушаком подпоясал?

Это был командующий фронтом: мягкий украинский акцент, мягкое «г», южная певучесть в произношении — Бессонов узнал его. Они не были еще на «ты», и это новое, неофициальное обращение по телефону несколько стеснило Бессонова, оно простотой своей что-то отнимало у него, лишало некой независимости хотя бы в начальном общении, а командующий фронтом, легко с ним заговорив, будто с давним однокашником, вопросом своим в полушутку намекал, что армия Бессонова считалась на положении «окружаемой».

Но Бессонов, ни в коей степени не расположенный в ту минуту даже к полушутке и не сумев перейти на «ты», ответил:

— Бритву, по старой привычке, вожу с собой, товарищ первый. А лаптями и зипуном начальник тыла не обеспечил. О положении нашем имел возможность донести вам, товарищ первый, два часа назад.

— Знаю, изучил, одобряю! — засмеялся раскатисто командующий, не восприняв сухость и официальность тона Бессонова. — Так вот какие дела, Петр Александрович! Теперь, считаю, легче вздохнешь. Северо-западнее тебя соседями введены в прорыв четыре танковых корпуса, успешно продвигаются с целью уничтожения оперативных резервов, выходят во фланг и тыл группы армий «Дон»... Вот как все складывается. Твои соображения одобряю. Если с лапками увязли — пришло время. Начнешь после уточнений. Приказ получишь. А за то, что выстояли, от души жму руку тебе и Виталию Исаевичу! Кстати, обрадую тебя: вечером был звонок от «гэко», интересовался положением твоей армии, удовлетворен и торопил...

В штабе фронта еще ничего не знали. В штабе фронта Веснин еще жил и был нужен. Юго-Западный и Воронежский наконец

прорвали после неудачной попытки оборону немцев и ввели в прорыв танковые корпуса. В Ставке интересовались, были удовлетворены и торопили. Он предполагал, что положением армии будут интересоваться...

Бессонов держал трубку, влипшую во влажные пальцы, и, мнилось, еще вдыхал солоновато-железистый запах крови, исходивший от влажного бурого комка орденов и документов в носовом платке, от любительской фотокарточки, на которой капризно круглились губы худенькой девочки.

— Что замолчал, Петр Александрович? Чем обеспокоен? Возражай, коли другие соображения есть, послушаю. Что у тебя? Просить чего-нибудь хочешь? Твой дотошный Яценко уже все выпросил. Загребущий мужик у тебя Яценко!

— Разрешите вас прервать, товарищ первый,— сказал Бессонов ссохшимся голосом.— Не имею права не доложить вам... Член Военного совета Виталий Исаевич Веснин три часа назад убит по дороге в танковый корпус.

— Ка-ак так убит? Да ты что? Что ты мне говоришь? — всколыхнулся крик командующего на том конце провода и тотчас сполз до шепота: — Каким образом? Что ты мне докладываешь?

Бессонов повторил:

— Я докладываю, товарищ первый, что Виталий Исаевич Веснин убит в станице по дороге в танковый корпус.

— Убит? Веснин? Значит, не уберегли члена Военного совета! Разве ты не знал, что он непременно в каждое пекло лезет?.. Не знал? Сдерживать его надо было, смотреть в оба глаза! Какого золотого человека потеряли, а!.. Вот чего уж не ожидал, никак не ожидал! Как снег на голову! Да что у тебя за охрана? Куда смотрели?

— Прошу не упрекать меня, товарищ первый. К сожалению, это уже не поможет. Ни вам, ни мне.— Бессонов помолчал.— Разрешите коротко доложить дополнительные соображения к моему донесению?

— Каким же это образом, Петр Александрович, произошло такое? Убил ты меня! Насмерть убил!..

— Разрешите, товарищ первый? Прошу меня выслушать.

— Да, говори. Докладывай. Слушаю тебя.

Бессонов жестко переключился, ушел от разговора о Веснине — не доставало душевных сил повторять подробности его гибели. И он стал докладывать, не считая нужным объяснить то, что к исходу дня в связи с обстановкой в дивизии Деева, рассеченной немецкими танками, он готов был к круговой обороне, более всего опасался этого (как и Веснин, который, в отличие от него, не скрывал опасения), но все-таки не рискнул бы и тогда решительно «пошевелить» и распылить по бригадам

танковый и механизированный корпуса, предназначенные для контрудара. Он сказал только, что пришла пора подвижных соединений, вчера Гот использовал свои резервы — это подтвердил пленный немецкий майор, офицер связи, — и наносить контрудар надо сегодня же утром, до того, как они возобновят активность на северном берегу. Не упустить время, не дать им передышки и сначала внезапным контрударом танкового и механизированного корпусов без обычной артподготовки сбить немцев с плацдармов, пока не перегруппировались...

— Почему без артподготовки? Чего достигаешь? — спросил командующий. — В артиллерию, что ли, не веришь?

— Немцы хорошо знают, что артподготовка — это своего рода предупреждение о наступлении. Артиллерия скажет свое слово, когда танки уже выйдут на рубеж атаки.

— Обсудим, — сказал командующий. — Добро. Посоветуюсь с представителем Верховного. Получишь приказ... Так что же это Веснина, а? Каким образом? Вконец расстроил ты меня, Петр Александрович, своим сообщением. Вот и один теперь принимаешь решение. Без члена Военного совета. Очень верил он в тебя, знаю, хотя и... не прост ведь ты, скажем прямо, Петр Александрович! Ох, не просто с тобой одну кашу есть!

«Да, Веснин... — думал Бессонов, прикрывая глаза отяжелевшими веками. — Да, теперь я один. Никто сейчас не заменит мне Веснина. Он верил мне. А я боялся раскрыться перед ним, замыкался. Эх, дорогой мой Виталий Исаевич, век живи, век учись, поздно мы, поздно начинаем ценить истинное! Если можешь, прости за холодность, за черствость мою. Сам страдаю от этого, но вторую натуру выбить из себя не могу».

Этого Бессонов не сказал командующему фронтом — это было его личное, чего он никому не хотел бы открывать, выносить на суд других, как и болезненно-мучительные воспоминания о сыне, о жене.

Бессонов долго стоял перед аппаратом «ВЧ», окончив разговор со штабом фронта; стоял, опустошенный, среди осторожных голосов, перезвонов по линиям связистов, среди исподтишка наблюдающих за ним лиц и сам чувствовал свое серое от усталости, постаревшее за эти сутки, не принимающее никого лицо. В то же время он хорошо понимал, о чем думают сейчас и сдержанный, исполнительный майор Гладилин, внимательно согнувшийся над картой, и остальные операторы, и связисты, и адъютант Божичко, и начальник охраны Титков, который в нечеловеческом напряжении ждал решения своей участи — вместе с ним этого ждали и все. Черной тенью маячил он близ двери; белым шаром покачивалась его перебинтованная голова. Не выдержав, Титков напомнил о себе шепотом:

— Что теперь мне... товарищ командующий? Куда мне?

— В госпиталь,— жестко проговорил Бессонов.— Отправляйтесь в госпиталь, майор Титков.

Потом в сумрачном оцепенении Бессонов лежал на топчане в натопленном блиндаже Деева, не меняя положения, глядя в накаты, влажные от испарений; временами слышал тихое и вкрадчивое покашливание Божичко, его возню с чайником на железной печи, волглый шорох его шинели, но ничем не отвечал на это. Глухо доходили сквозь землю звуки из соседнего блиндажа, а ему хотелось молчать и думать под беспечно ровный клекот пламени в печи, сохранить внешнее равновесие, то спокойствие, которое так необходимо было перед утром, но которое начинало изменять ему после известия о гибели Веснина. С потугой забыть хотя бы на минуту о докладе майора Титкова Бессонов старался думать о предстоящем контрударе корпусов, о своем докладе командующему фронтом, но снова возвращался к мыслям о Веснине, о непростительной, как злая бессмысленность, недоговоренности между ними, о темном комке орденов и документов, в носовом платке положенных Титковым на стол, о слабой капризной улыбке девочки на любительской фотографии, вложенной в удостоверение Веснина. И, думая об этом, возвращался памятью к тому, как, едва познакомясь, они вместе ехали из штаба фронта в штаб армии, обгоняя колонны дивизий на марше, и нащупывали друг друга — по жесту, по фразе, по молчанию; а в памяти почему-то вставал тот растерявшийся нетрезвый парень-танкист из соседней армии, кажется, командир роты, обязанный жизнью Веснину. Да, в его душе, наверно, было меньше ожесточения к отчаявшимся, независимо от причин потерявшим волю к сопротивлению людям, чем в душе Бессонова, который после трагедии первых месяцев сорок первого года намеренно выжег из себя снисхождение и жалость к человеческой слабости, сделав раз и навсегда один вывод: или — или. Так это было либо не совсем так, но, подумав о танкисте, о своей замкнутости и подозрительности в первоначальном общении с Весниным, что, несомненно, было противопоставлено мягкой его интеллигентности, Бессонов с предельной яркостью вспомнил непостижимые разумом слова Титкова: «Член Военного совета приказал принять бой, не захотел отходить».

«Не захотел отходить»,— вертелось в голове Бессонова, пораженного тем, что Веснин отдал такой приказ, когда в его положении члена Военного совета не обязательно было принимать заведомо обреченный бой, а надо было отходить, не подвергать жизнь риску в тех обстоятельствах; но Веснин принял бой, и случилось то, что случилось три часа назад.

— Товарищ командующий, выпейте чаю...

Запах заварки. Мягкие шаги. Еле слышное пофыркивание чайника на плите, позвякивание ложечки о кружку.

— Товарищ командующий, вам бы уснуть с полчаса... здесь никто не мешает. Выпить чаю — и уснуть. За полчаса ничего не произойдет. Я не дам беспокоить...

— Спасибо.

Бессонов открыл глаза, но не вставал. А между тем говорил себе, что нужно встать, взять кружку с приготовленным для него чаем, выпить чай и прежним, уже привычным всем, войти в соседний блиндаж, где сейчас ждали его последних перед утром распоряжений, где был знакомый аккумуляторный свет, карты, телефоны, рация, позывные, — ибо давно знал: немилосердный удар вечности, опаляющий душу, не прекращает ни войны, ни страданий, не отстраняет живых от обязанности жить. Так было и после известия о судьбе сына. И, собирая волю, чтобы подняться, он спустил ноги с топчана, сел, поискал палочку.

— Да, я сейчас. Спасибо, майор. — И горько усмехнулся краями губ, глубоко подрезанных морщинами смертной усталости. — Что вы так смотрите, Божичко?

Божичко, шапкой сняв горячий чайник с печи, нацеливая в жестяную кружку коричневую перекрученную струю, разносившую запах крепкой заварки, смеженными ресницами спрятал скорбные, с желтыми блестками глаза. Сказал:

— Я так, товарищ командующий. Документы Виталия Исачевича... Я передам.

Он никогда в жизни не осмелился бы сказать Бессонову, что в документах Веснина, положенных им в сумку для передачи в штаб, нашел скомканную, слипшуюся в крови листовку — то самое страшное, чего нельзя было знать Бессонову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Спустя сорок минут после того, как Бессонов приказал дать сигнал для атаки танковому и механизированному корпусам, бой в северобережной части станицы достиг переломной точки.

С НП виден был этот развернувшийся на улочках станицы, на окраине ее, танковый бой, сверху в темноте казавшийся ошеломляюще чудовищным по своей близости, смешанности, неистовому упорству и, может быть, особенно потому, что нигде не было видно людей. По всей окраине взблескивали прямые выстрелы орудий, меж домов кучно бушевали вихревые разрывы «катюш»; сцепившись во встречном таране, пылали танки на перекрестках: по берегу среди начавшегося пожара сползались розоватые, как бы потные, лоснящиеся железные тела, с короткого расстояния били в упор, почти вонзаясь друг в друга стволами орудий, гусеницами руша дома и сарай, разворачива-

лись во дворах, отползали и вновь шли в повторные атаки, охватывая плацдарм. Немцы сопротивлялись, вцепившись в северный берег, но бой уже сползал к реке, уже что-то изменилось на сороковой минуте, сконцентрированный гул, вой моторов расколотыми отзвуками наполняли речное русло, немцы кое-где начали отходить к переправам. И Бессонов вдруг посмотрел не на северный, а на южный берег, боясь ошибиться, поторопиться в выводах.

Там, по ту сторону реки, куда медленно оттягивались немецкие танки и где, казалось, в течение вчерашних суток все было смято, раздавлено, разбито, разворочено бомбежками, танковыми атаками, артиллерийскими налетами, где степь представлялась намертво выпаленной, совершенно пустынной, без единого живого дыхания, теперь в разных концах ее рождались снопики винтовочных выстрелов, горизонтально вылетали широкие багровые лоскуты пламени нескольких орудий и узкие, колючие языки огня противотанковых ружей. Потом из тех мест, где вчера проходили пехотные траншеи, заработали разом три пулемета, забили в степи красными бабочками, запорхали внизу, над окопами. То, что считалось мертвым, уничтоженным, начинало слабо шевелиться, подавать признаки жизни, и невозможно было вообразить, как сохранилась эта жизнь, как с начала и до конца боя теплилась она там, в этих окопах, на тех орудийных позициях, через которые прошли или которые обошли танки, отрезав их, клещами замкнув к концу вчерашнего дня южный берег.

Ветер еще темного утра острыми ударами бил по брустверу НП, сек по глазам, мешая смотреть, выдавливая слезы; Бессонов достал носовой платок, вытер лицо, глаза и потом приник к окулярам стереотрубы.

Он окончательно хотел убедиться в том, во что трудно было поверить, но что не вызывало уже никакого сомнения. Там, на южном берегу, в раздавленных танками траншеях, на разгромленных позициях батарей, начали вести огонь, вступали в бой те оставшиеся в окружении, отрезанные от дивизии, кто, по всем расчетам, никак не должен был уцелеть и не числился в живых.

— Мои, мои хлопцы! Товарищ командующий, видите! Дышат, оказывается! Расчудесные мои ребятки! Молодцы! Оч-чень молодцы! — растроганно и взволнованно говорил где-то рядом крепкий молодой голос Деева среди ветреного гула на НП, захлестывающего брустверы, среди криков связистов, оживления вокруг.

И эта прорвавшаяся ликованием нежность Деева и вместе молодая хвастливость его теми, своими ребятками из первых траншей, казалось давно обреченными, но вот же продолжав-

шими бороться,— эта открытая его размягченность, слабость не раздражали Бессонова, а наоборот: услышав возгласы Деева, он, не обернувшись, с горькой судорогой в горле опять подумал, что судьба все-таки благодарно наградила его командиром дивизии.

Сумрак декабрьского утра разверзался багряными щелями танковых выстрелов, гремел перекатами эха, соединенными волнами грома над степью, все слитнее клекотал моторами, пронзался стремительными светами беспорядочно то там, то тут распарывающих небо немецких ракет. Немецкие танки, как разбуженные, поднятые облавой звери, злобно огрызаясь, в одиночку и сбитыми в отдельные стаи группами отползали от берега под натиском наших «тридцатьчетверок», с ходу захвативших две переправы, по донесению, пять минут назад полученному Бессоновым. Выбравшись на южный берег, «тридцатьчетверки» шли наискось, ускоряя движение, наперерез, охватывали справа и слева неприкрытые фланги вплотную сгрудившихся и будто тершихся друг о друга немецких танков.

Из этого скопища машин, железно и страшно редевших затравленной стаей, приостановленной перед балкой, откуда наступали они утром, поминутно стрелявших назад по северному и южному берегу, стали отрываться, не выдержав остановки, одиночные танки, расползаясь в разные стороны. Затем над сгрудившимися на той стороне машинами стремительно и высоко взмыла сигнальная ракета, погорела в небе, зеленым дождем осыпалась в степь. И сейчас же чуть сбоку и впереди немецких танков на высоте перед балкой зачастило, заморгало пламя, замелькали под углом к небу пулеметные трассы — малиновые пунктиры в темноту степи, в тыл немцам. Но на высоте не могли быть наши. Стрелял, оказывается, немецкий крупнокалиберный пулемет — по трассам видно было, с НП.

— Чего это они, товарищ командующий? Опупели? По своим лупасят? — сказал Божичко, переминаясь возле Бессонова в азартно-радостном возбуждении от боя, оттого, что отходили немцы, оттого, что не ослабевал натиск наших танков, и захохотал даже.— Ну дают гастроли, товарищ генерал!

Бессонов отпрянул от стереотрубы, приглядываясь к несмещающимся по горизонтали очередям пулемета на высоте над балкой, сначала озадаченный не менее Божичко. Но, различив задвигавшуюся по берегу в сторону непрерывных трасс массу танков, понял, что немецкий пулемет направлением очередей указывал в темноте танкам путь отхода по шоссе за балкой.

Он не объяснил этого Божичко, потому что всякие объяснения отвлекали от главного, были излишними, могли нарушить что-то в нем самом, так обостренное сейчас, что-то сжатое, горячее, как ощущение ошеломляющего успеха, разгаданности

чужой тайны, удовлетворенности мыслью, что случилось предполагаемое, что введенные в бой корпуса, поддержанные артогнем в самом начале атаки, внезапным ударом сбили немцев с плацдармов, захватили переправы, вышли на южный берег и теперь, продвигаясь по той стороне, охватывали немцев с флангов, а немцы откатывались на юг — в направлении пулеметных трасс. Он всегда боялся легкого везения на войне, слепого счастья удачи, фатального покровительства судьбы, он отрицал и пустопорожний максимализм некоторых однокашников, сладостно-прожектерские мечтания в кулуарах штабов о Каннах в каждой намеченной операции. Бессонов был далек от безудержных иллюзий, потому что за неуспех и за успех на войне надо платить кровью, ибо другой платы нет.

«Подождать! — думал он. — Подождать из корпусов следующих донесений! И не торопиться с подробным докладом в штаб фронта...»

Но когда, после вчерашних суток немецкого натиска, поставившего всю оборону на волосок от катастрофы, после прорыва немцев на северный берег, после потерь, напряжения, рассечения дивизии Деева, когда он видел сейчас подоженные пехотные «оппели» на дороге в степи, отходившие на юг немецкие танки, вспышки орудийных выстрелов, кинжальные язычки ПТР вслед этим отползавшим к балке танкам, все жарко, до испарины на спине сжалось в Бессонове, и он, сясь сдержат себя, выслушивая с непроницаемым лицом свежие донесения по радиции, сильнее втискивал в землю палочку завлажневшими в меховой перчатке пальцами.

«Подождать, подождать еще», — останавливал он неумеренные толчки порыва сию секунду пойти в блиндаж и, не спеша в радости, донести командующему фронтом, которому полчаса назад докладывал о начале контрудара. Донести, что немцы откатываются назад, что танковый и механизированный корпуса развивают успех и им отдан приказ полностью занять южнобережную часть станицы, продвигаться вперед, перерезать шоссе южнее станицы.

А по южному берегу занимались везде пожары, перебрасывались над крышами станичных домов лохмы огня, подымались и сталкивались заверти разрывов на улочках, где теперь шел танковый бой.

Он подождал несколько минут, внешне спокойный, принимая из корпусов доклады, окруженный знобким ветерком команд, всеобщего возбуждения на НП, громких голосов, победных улыбок, довольного смеха. И уже кое-где неприкрыто, с облегчением закуривали, то там, то тут щелкали портсигары, затлели искорки в потемках траншей, будто фронт отодвинулся на десятки километров, и командиры вдыхали вместе с папиросным

дымом запах наконец-то пойманной удачи. Слыша и видя это возникшее на НП ликование, Бессонов, против воли еще сопротивляясь ему, сказал тихо и сухо:

— Прошу на энпэ не курить, а всем заниматься своими обязанностями. Бой не кончился. Далеко не кончился.

Сказал и почувствовал брюзгливую бессмысленность замечания, ненужную охладительность тона; и, нахмурившись, мысленно браня старчески трезвую, многоопытную сдержанность свою, поспешно пошел к блиндажу связи мимо штабных командиров, прячущих папиросы в рукава.

Минут через десять, доложив подробно командующему о продвижении корпусов и поговорив с начштаба Яценко, Бессонов снова вышел из покойно освещенного лампами блиндажа в траншею — ледяную, ветреную, серую — и вдруг уловил, что за эти минуты что-то заметно изменилось, перешло в новое состояние, сместилось в небе и на земле.

Раздрабаливаемый боем, ревом танковых моторов, воздух прояснел, поредел, по-утреннему наливался фиолетовой, холодно-прозрачной синью вокруг высоты, прорезанной яркими кострами горевших за рекой танков, веселыми и игривыми при свете наступающего дня. Приблизилась раскрытым пожаром южно-бережная часть станицы, по окраине которой со стороны степи, видимые теперь глазом, ползли и ползли, переваливаясь, вздымая выюжные космы, «тридцатьчетверки», а следом шли и ехали на покрашенных под снег ЗИСах стрелковые подразделения. Вдали же, в запредельном краю, нежно и тихо пробивалась осторожная светлая полоса на востоке, поджигая белым пламенем по горизонту снега, по извечным законам напоминая об иных человеческих чувствах, забытых давно и Бессоновым, и всеми остальными, кто был с ним в траншее НП.

«Да, утро».

Бессонов, выйдя на ветер, бушевавший на вершине высоты, и ощутив, что наступало утро, морозное, декабрьски ясное, обещающее солнце, очищенное небо, подумал об открытости танков в голой степи, о немецкой и своей авиации; и, наверно, об этом также подумал прибывший на НП в конце ночи представитель воздушной армии, узколицый, с огромным планшетом, в летных унтах, компанейского нрава полковник, с плексигласовым наборным мундштуком в улыбчивых губах. На взгляд Бессонова, в котором был вопрос — где штурмовики? — он ответил тут же, что все будет в порядке, туманца, слава богу, нет, через пятнадцать минут штурмовики пройдут над энпэ, и, ответив, погрыз мундштук, обнадеживающе улыбнулся.

— Добро, коли так, — сказал Бессонов, подавив желание заметить, что для немецкой авиации тоже туманца нет.

— Смотрите, товарищ командующий, что славяне делают, ожили-таки! Никак, кухня? — сказал с грустной веселостью Божичко, не отходивший от Бессонова с начала боя ни на шаг, и указал рукавицей на полуразрушенный мост.

— Что? — спросил Бессонов, думая об авиации, и рассеянно поднял бинокль, скользкий в изморози, поправил резкость.

За высотой, на южном берегу реки, левее станицы, на том пространстве перед балкой, вчера отрезанном немцами, где недавно ожили несколько орудий, несколько противотанковых ружей и три пулемета, трясась по воронкам, проскочив мост, летела вдоль ходов сообщения кухня, нещадно дымя в сумраке утра, струей рассыпая за собой по снегу горошины рдяных искр. Неслась с бешенством одержимости, лавируя между минометными разрывами, алыми маками, распускаясь по высоте. Какой-то отчаянный старшина вырвался на тот берег следом за танками, спешил на передовую. Видно было, как из левофланговых пехотных траншей поднялись человек пять-шесть, призывно махали винтовками, но кухня проскакивала мимо них, прыгала по ямам воронок, неслась неудержимо к артиллерийским огневым позициям справа от моста. И там остановилась, как врытая. Мгновенно с козел спрыгнул человек, побежал к только что стрелявшему орудью, распластывая по ветру длинные полы комсоставской шинели.

— А ведь это, не иначе, та батарея. Та, где мы были, — сказал утвердительно Божичко, облокотясь на бровку бруствера. — Помните, товарищ командующий, тех ребят? У них еще комбат... такой мальчик... лейтенант, Дроздов, кажется?

— Не помню, — пробормотал Бессонов. — Дроздов?.. Точнее напомним, Божичко.

Божичко подсказал:

— Там, где вы разведку ждали. Те, что немца вынесли. Двое из них его сюда приволокли. Семидесятишестимиллиметровая батарея.

— Батарея? Вспомнил. Только нет, не Дроздов... Похожая, но другая фамилия... Кажется, Дроздовский. Да, верно! Дроздовский...

Бессонов резко опустил бинокль, подумав, как выстояла с начала боя эта 76-миллиметровая батарея, которой командовал тот удививший его вчерашним утром синеглазый, по-училищному вышколенный, весь собранный, будто на парад, мальчик, готовый не задумываясь умереть, носивший известную в среде военных генеральскую фамилию, и представил на миг, что выдержали люди там, около орудия, на главном направлении танкового удара. И, с нарочитой медлительностью вытирая носовым платком исколотое снеговой крошкой лицо, чувствуя

волнением и холодом стянутую кожу, выговорил наконец с усилием:

— Хочу сейчас пройтись по тем позициям, Божичко, именно сейчас... Хочу посмотреть, что там осталось... Вот что, возьмите награды, все, что есть тут. Всё, что есть,— повторил он.— И передайте Дееву: пусть следует за мной.

Божичко в каком-то изумлении посмотрел, как маленькая рука Бессонова мяла, тискала, комкала носовой платок, не падая в карман полушубка, кивнул, сорвался с места, побежал за полковником Деевым.

Бессонов считал, что не имеет права поддаваться личным впечатлениям, во всех мельчайших деталях видеть подробности боя в самой близости, видеть своими глазами страдания, кровь, смерть, гибель на передовой позиции выполняющих его приказания людей, уверен был, что непосредственные, субъективные впечатления расслабляюще въедаются в душу, рождают жалость, сомнения в нем, занятом, по долгу своему, общим ходом операции, в иных масштабах и полной мерой отвечающем за ее судьбу. Страдание, мужество, гибель нескольких людей в одном окопе, в одной траншее, в одной батарее могли стать настолько трагически невыносимыми, что после этого оказалось бы не в человеческих силах твердо отдавать новые приказы, управлять людьми, обязанными выполнять его распоряжения и волю.

Убедился он в этом не вчера и не сегодня, а с того сложного, незапамятного сорок первого года, когда на Западном фронте приходилось самому среди крови, криков и зовов санитаров, среди стонов раненых подымать на прорыв из окопов людей с задавленным в душе состраданием к их бессилию перед большими и малыми охватами не остановленных на границе танков, перед немецкой авиацией, ходившей по головам.

Но в это морозное утро своего контрудара, в тридцати пяти километрах юго-западнее Сталинграда, при обозначившемся успехе своей армии, Бессонов изменил себе.

...Когда по льду перешли реку и поднялись на берег, зло обдуваемый пронизывающим до костей ветром, и потом по неглубокому ходу сообщения вошли в полузаваленную траншею, когда Бессонов только воображением восстановил, что тут были первые пехотные окопы, он замедлил шаг от боя сердца, сорвавшего дыхание.

Здесь, на южном берегу, где танковые атаки не прекращались много часов и танки проходили в разных направлениях много раз — так изрыв, исполосовав, разворочав гусеницами окопы, до этого изуродованные бомбовыми воронками, что сплюснутые пулеметы в гнездах, клочья, обрывки ватников, лохмотья морских тельников, перемешанных с землей, расщепленные ложи винтовок, лепешки противогозов и котелков, завален-

ные грудами почернелых гильз, засыпанные снегом тела — это не сразу было отчетливо увидено Бессоновым. Останки оружия и недавней человеческой жизни, как гигантским плугом, были запаханы, полураскрыты завалами, образовавшимися повсюду от бомбовых воронок, от многотонного давления танковых гусениц.

Все осторожнее пробираясь через земляные навалы в траншее, перешагивая через выступавшие под ногами кругло и плоско оснеженные бугры, Бессонов шел, стараясь не наступать, не задеть их палочкой, угадывая под этими буграми трупы убитых еще утром. И уже без надежды найти здесь кого-либо в живых, подумал с казнящей горечью, что он ошибся: ему лишь показалось с НП слабое биение жизни тут, в траншеях.

«Нет, здесь никого не осталось, ни одного человека,— говорил себе Бессонов.— Пулеметы и противотанковые ружья били из левых окопов, левее батарей. Да, идти туда, туда!..»

Но тотчас из-за поворота траншеи донесся металлический звук. И будто бы слышались голоса. Бессонов с тугими ударами сердца вышагнул из-за поворота.

Навстречу ему из пулеметного гнезда белыми привидениями подымались двое, с головы до ног косматые от снега. Обмороженные лица их были сплошь затянуты в стеклянный лед подшлемников, а из подшлемников — глаза, воспаленные морозом и ветром, в густых кругах изморози, устремлены на Бессонова, выражая одинаковую оторопелость — не ожидали, по-видимому, увидеть здесь, в омертвевшей траншее, живого генерала в сопровождении живых офицеров.

Матово поблескивали прямоугольные морские пряжки. На порванной, прожженной плащ-палатке, расстеленной по бровке окопа,— куча дисков ручного пулемета, собранных со всей позиции; рядом с пулеметом — на сошках противотанковое ружье. Везде валялись свежестреляные гильзы: на бруствере, на дне окопа. Видимо, оставшись вдвоем, пулеметчик и пэтээровец некоторое время вели огонь из одного гнезда, соединенные в последнем усилии, локоть о локоть. Судя по морским пряжкам, были эти двое из дальневосточных моряков, ставших пехотой месяц назад на формировке армии, сохранивших памятью о прошлом тельники и матросские пряжки.

Оба они оторопело встали перед Бессоновым, ничем не отличимые друг от друга, в толстых и жестяных от снега и инея шинелях; и заостенелые в твердую форму рукавицы их неуверенно ползли к шапкам. Обрывисто дышали оба, слова не выговорив, точно не верили чему-то никак, обнаруживши рядом с собой генерала и офицеров позади него.

Тогда огромный Деев, нарушая неписанные законы сдержанности в присутствии командующего, первый ступил в пулемет-

ный окоп пехотинцев, крепким объятием притиснул к себе одного, другого; надломленно прозвучал его растроганный, напрасно отыскивающий твердость голос:

— Выстояли, ребятки? Выжили? Товарищ командующий, вторая рота...— И, не договорив фразу, посмотрел Бессонову в глаза с выражением умиления и потрясенности.

Слова, которые должен был сказать в ту минуту Бессонов, тенями скользили в сознании, не складывались в то, что чувствовал он, показались ему никчемными, мелкими, пустопорожними словами, не отвечающими безмерной сути увиденного им, и он с трудом произнес:

— Кто-нибудь из командиров жив?..

— Никого... Никого, товарищ генерал.

— Раненые где?

— Человек двадцать на тот берег переправили, товарищ генерал. Мы из роты одни...

— Спасибо вам!.. Спасибо вам от меня... Как ваши фамилии, хочу знать! — Он еле расслышал их фамилии, обернулся к Божичко, в молчании разглядывавшему двух счастливцев с завистливым и мучительным удовольствием человека, понимающего, что такое после вчерашнего боя остаться в живых, воюя в боевом охранении; и, когда Бессонов через силу, глуховато сказал: «Дайте два ордена Красного Знамени. Вам, полковник Деев, сегодня заполнить наградные листы», — Божичко с радостью вынул из вещмешка, подал Бессонову две коробочки, а тот, прислонив палочку к стенке траншеи, шагнул к этим двоим, окаменевшим, неочнувшимся, вложил им в несгибающиеся рукавицы ордена и, отвернувшись, вдруг скрывая нахмуренными бровями сладкую и горькую муку, сжавшую грудь, передернувшую его лицо, захромал по траншее, не оглядываясь. А ветер наваливался с севера, перебрасывал за пылающую станицу звуки боя справа, за балкой, порывами нес с берега колкой снежной пылью, выжимал слезы в уголках глаз Бессонова; и он ускорял шаги, чтобы сзади не увидели его лица. Он не умел быть чувствительным и не умел плакать, и ветер помогал ему, давал выход слезам восторга, скорби и благодарности, потому что живые люди здесь, в окопах, выполняли отданный им, Бессоновым, приказ — драться в любом положении до последнего патрона, и они дрались и умирали здесь с надеждой, не дожив лишь нескольких часов до начала контрудара.

«Все, что могу, все, что могу,— повторил он про себя.— А что я могу сделать для них, кроме этого спасибо?»

— Кухня!.. Артиллеристы, товарищ командующий. Батарея. Та самая!..— крикнул Божичко, догнав его, и запнулся, удивленный, почему-то избегая глядеть на мокрое, неузнаваемое лицо Бессонова, какого не видел ни разу, и, тотчас же отстав, зашагал

сзади к обрыву берега, где, слабо дымя, стояла сиротливо-одинокая полевая кухня.

Эта кухня, появившаяся на южном берегу вслед за нашими танками, была батарейной кухней, которую привел сюда старшина Скорик.

Когда за спиной на захваченном немецком плацдарме бой достиг наивысшей точки и потом начали выползать оттуда через переправы правее и левее батареи немецкие танки, Дроздовский прекратил тщетные попытки связываться по радию с КП артполка — и без того ясно стало, что произошло. И в течение получаса Кузнецов, не дожидаясь никакой команды, выпустил по переправившимся на южный берег танкам все оставшиеся семь снарядов и, выстрелив все, отдал расчету приказ — взять автоматы, уйти в ровики и встретить огнем начавшую отход пехоту. На тяжелых, крытых брезентом вездеходах и «оппелях» немецкая пехота отступала по проселку стороной, далеко слева, и там, на левом фланге, вели огонь по ней несколько одиночных орудий, оставшихся от соседних батарей, и два каким-то чудом уцелевших станковых пулемета впереди.

Они четверо — расчет Уханова, остатки взвода, — замерзшие, обессиленные, опустошенные событиями прошлой ночи, еще полно не осознавая, как это началось на северном берегу, почему так спешно оставляют свои позиции немцы, заняли места в ровиках, то и дело дыханием отогревая руки и затворы автоматов, чтобы не застыла смазка. Кузнецова знобило. Уханов постукивал по предплечьям рукавицами. Нечаев и Рубин подчищали лопатами бровку перед бруствером. Работали молча: думать, говорить не было сил. Так прошло более часа. И в тот момент, когда в фиолетовом полусвете утра следом за нашими танками, слева на бугор, как сама невозможность, выскочила галопом полевая кухня, понеслась, сумасшедше подскакивая в выемках воронок, к батарее, в те секунды, когда старшина Скорик с озверелым лицом остановил кухню в десяти шагах от орудия, матерясь на носившую боками лошадь, соскочил с козел и побежал к ним, путаясь в длинных полах комсоставской шинели, сознание еще не постигало реальную радость случившегося. Даже когда старшина зашелся криком: «Хлопцы, к вам я... продукты!..» — и прибытие, и крик его не воспринимались земной действительностью, а были слабыми отблесками другого мира, отстраненного, неосязаемого почти. Никто не ответил ему.

— Люди ж где?.. Неужто четверо вас, четверо?..

Старшина забежал глазами по безлюдным позициям батареи, по обугленным подбитым немецким танкам, затоптался на огневой в щегольских комсоставских валенках, издал невнятный, мычащий звук, кинулся обратно к кухне. Взял на спину термос, два вещмешка, набитые, по виду, буханками хлеба

и сухарями, бросился на полусогнутых ногах опять к орудию, свалил вещмешки на кучу стреляных гильз между станинами, бормоча:

— На всю батарею... и хлеб, и сухари, и водка. Да неужто вас четверо всего?.. Куда ж мне продукты, товарищ лейтенант? Дроздовский где? Комбат?

— На энпэ. Там трое. Еще в землянке — раненые. Зайдите к ним, старшина, — ответил Кузнецов неворочающимся языком и сел на станину, дрожа в ознобе, равнодушный и к этому обилию продуктов, и к этим возгласам старшины.

— Костер бы маломальский развести, лейтенант, — сказал Уханов. — Окочурился без огня. Ты тоже вон дрожишь как лист. Ящики от снарядов есть. Слава богу, водки до хрена таянем, лейтенант! Кажется, наши даванули.

— Водки? — безразлично ответил Кузнецов. — Да, всем водки...

Без старшины, резво побежавшего в землянку к раненым, пока Нечаев и Рубин ломали ящики и разводили костер на оружийном дворике, Уханов сдвинул в сторону груды гильз, постлал брезент под казенником и распорядился термосом с водкой, невиданным богатством продуктов: налил водку в единственный котелок, найденный в ровике, развязал мешок с сухарями. Потом опустился рядом с Кузнецовым на станину, пододвинул к нему котелок.

— Согревайся, лейтенант, а то хана нам, в статуи превратимся, пей — поможет.

Кузнецов взял котелок двумя руками, почувствовал едкий сивушный запах и, не дыша, торопясь, отпил несколько глотков с жадностью, с надеждой, что водка снимет озноб, согреет, расслабит стальную пружину, стиснутую в нем. Ледяная водка ожгла его огнем, мгновенно оглушила горячим туманом, и, грызя каменный сухарь, Кузнецов вспомнил, как очень и очень давно, в той бесконечной сверкающей под солнцем степи, на марше, Уханов угощал водкой Зою, а она, закрыв глаза, с отвращением отпив из фляжки, смеялась и говорила, что у нее лампочка в животе зажглась, а ей было нехорошо от этой водки... Когда это было? Лет сто назад, так давно, что не под силу помнить человеческой памяти. Но он помнил, будто все было час назад; в лицо ему, снизу вверх, блестели влажным блеском ее глаза, и тихий ее смех звучал еще в ушах так явно, будто ничего не случилось потом... А потом все приснилось ему, целая огромная жизнь, целых сто лет? Приснилось, чего никогда не было... Ведь ничего не произошло, она уехала в медсанбат за медикаментами и вернется сейчас на батарею в белом своем, туго перетянutom ремнем аккуратном полушубке, как тогда в эшелоне: «Мальчики, милые, вы плохо жили без меня?»

Но в то же время краем затуманенного сознания он понимал, что обманывает себя, что она ниоткуда не вернется, ни из какого медсанбата, что она здесь — рядом, за спиной, здесь — возле орудия, зарыта на исходе ночи в нише им, Ухановым, Рубиным и Нечаевым; прикрыта там плащ-палаткой, лежит там навсегда одна, вся завалена землей, а на полукруглом бугре белеет ее санитарная сумка, уже полузаметенная снежком.

То, что осталось от нее, сумку эту положил Рубин на свежий холмик, угрюмо и знающе сказав: «Потом написать надо: «Зоя, мол, Елагина, санинструктор». А с Нечаевым тогда происходило нечто необычное: в те минуты, пока забрасывали нишу землей, он воткнул внезапно лопату в бруствер, согнувшись, отошел на три шага и, со злобой вырвав что-то из кармана шинели, швырнул под ноги себе, вдавил в снег валенками так, что захрустело. Никто не спрашивал, что он делает и зачем. Это были те дамские часики с золотистой цепочкой, найденные в трофейном саквояжике...

Теперь вокруг Кузнецова, родственно сближенные за эту ночь, трое оставшихся из его взвода сидели на станинах около потрескивающего костра. Горьковато-теплый дымок разносило от жидкого огня. И, уже веселея, согретые выпитой водкой и огоньком, жевали сухари и громче, возбужденнее говорили о драпе немцев, поглядывали на пожар в станице, слушая грохот боя за ней, заметнее уходивший глубже и глубже в степь, на юг.

Полновластно и решительно хозяйничая, Уханов намазывал сухари комбижиром, посыпал сверху сахаром, подливал в котелок водку из термоса, с неограниченной щедростью угощая всех не по норме; сам, не пьянея, только бледнел, оглядывая несколько оживившийся сейчас свой расчет — Рубина и Нечаева. Кузнецову водка не помогала, не распрямляла в нем стальную пружинку, озноб не проходил, хотя, захлебываясь от сивушного запаха и отвращения, он пил, по совету Уханова, большими глотками.

— Лейтенант, кажись, начальство к нам! — Уханов первый заметил движение группы людей справа на огневых батареях. — По брустверам ходят... Глянь, лейтенант!

— Никак, сюда идут, — подтвердил Рубин, захмелевший, багрово-свекольный, и на всякий случай корявой рукой задвинул котелок с водкой за колесо орудия. — Генерал вроде тот, с палочкой...

— Да, я вижу, — сказал Кузнецов неестественно спокойно. — Не надо прятать котелок, Рубин.

А Бессонов, на каждом шагу наталкиваясь на то, что вчера еще было батареей полного состава, шел вдоль огневых — мимо срезанных и начисто сметенных, как стальными косами, бру-

стверов, мимо изъязвленных осколками разбитых орудий, земляных нагромождений, чёрно разъятых пастей воронок, мимо недвижимого, стальной тяжестью навалившегося на развороченную огневую Чубарикова немецкого танка — и теперь ясно восстановил в памяти вчерашний приезд сюда перед началом бомбежки и краткий разговор с командиром батареи, стройно-подтянутым, словно на училищных строевых занятиях, решительным мальчиком, носившим знакомую генеральскую фамилию.

«Значит, с этих огневых стреляла по танкам батарея, та, которой командовал тот мальчик?»

И, по непостижимой связи он подумал о сыне, о последней встрече с ним в госпитале, о непрощающем упреке жены после возвращения из госпиталя, упреке в том, что он, Бессонов, не настоял, ничего не предпринял, чтобы взять его служить в свою армию, что было бы обоим лучше, безопаснее, надежнее. И, на мгновение представив сына командиром роты в тех пехотных траншеях с двумя оставшимися в живых или здесь, на артиллерийской батарее, где на каждом метре земля до неузнаваемости была истерзана буйно пронесшимся железным ураганом, зашагал медленнее, чтобы немного отдышаться. Горькое теснение не отпускало в груди, и он стал отстегивать крючки на воротнике полушубка, душившие его.

«Сейчас я отдышусь... Сейчас пройдет, только не думать о сыне», — упорно внушал себе Бессонов, все тяжелее опираясь на палочку.

— Смирно! Товарищ генерал...

Он остановился. Кинулось в глаза: четверо артиллеристов, в донельзя замурзанных, закопченных, помятых шинелях, вытягивались перед ним около последнего орудия батареи. Костерок, угасая, тлел прямо на орудийной позиции — тут же на разостланном брезенте термос, два вещмешка; пахло водкой.

На лицах четверых — оспины вьевшейся в обветренную кожу гари, темный, застывший пот, нездоровый блеск в косточках зрачков; кайма порохового налета на рукавах, на шапках. Тот, кто при виде Бессонова негромко подал команду: «Смирно!», хмуро-спокойный, невысокий лейтенант, перешагнул станину и, чуть подтянувшись, поднес руку к шапке, готовясь докладывать. И тогда Бессонов, с пытливым изумлением вглядываясь, едва припомнил, узнал. Это был не тот юный, запомнившийся по фамилии командир батареи, а другой лейтенант, тоже раньше виденный им, встречавшийся ему, кажется, командир взвода, тот самый, который искал на разъезде командира орудия во время налета «мессершмиттов», тот, который в растерянности не знал, где искать.

Прервав доклад жестом руки, узнавая его, этого мрачно-сероглазого, с запекшимися губами, обострившимся на исхудалом

лице носом лейтенанта, с оторванными пуговицами на шинели, в бурых пятнах снарядной смазки на полах, с облетевшей эмалью кубиков в петлицах, покрытых слюдой инея, Бессонов проговорил:

— Не надо доклада... Все понимаю. Вас видел на станции. Помню фамилию командира батареи, а вашу забыл...

— Командир первого взвода лейтенант Кузнецов...

— Значит, ваша батарея подбила вот эти танки?

— Да, товарищ генерал. Сегодня мы стреляли по танкам, но у нас оставалось семь снарядов... Танки были подбиты вчера...

Голос его по-уставному силился набрать бесстрастную и ровную крепость; в тоне, во взгляде — сумрачная, немальчишеская серьезность, без тени робости перед генералом, точно мальчик этот, командир взвода, ценой своей жизни перешел через что-то, и теперь это понятное что-то сухо стояло в его глазах, застыв, не проливаясь. И с колючей судорогой в горле от этого голоса, взгляда лейтенанта, от этого будто повторенного, схожего выражения на трех грубых, сизо-красных лицах артиллеристов, стоявших между станинами позади своего командира взвода, Бессонов хотел спросить, жив ли командир батареи, где он, кто из них выносил разведчика и немца, но не спросил, не смог... Ожигающий ветер неистово набрасывался на огневую, загибал воротник, полы полушубка, выдавливал из его воспаленных век слезы, и Бессонов, не вытирая этих благодарных и горьких, ожигающих слез, уже не стесняясь внимания затихших вокруг командиров, тяжело оперся на палочку, повернулся к Божичко. И потом, вручая всем четверым ордена Красного Знамени от имени верховной власти, давшей ему великое и опасное право командовать и решать судьбы десятков тысяч людей, он насилу выговорил:

— Все, что лично могу... Все, что могу... Спасибо за подбитые танки. Это было главное — выбить у них танки. Это было главное...— И, надевая перчатку, быстро пошел по ходу сообщения в сторону моста.

Еще хмурясь, сжимая коробочку с орденом обмороженными пальцами, еще пораженный слезами на глазах командующего армией, новым, чего не ожидал он от генерала, вчера на станции и затем утром на батарее запомнившегося своей пронзительностью внимания, своим скрипучим, холодным голосом, Кузнецов молчал.

В это время старшина Скорик и лейтенант Дроздовский появились на высоте берега и, оттуда, заметив на позиции орудия начальство, побежали к батарее.

Не достигнув огневых, старшина Скорик сообразительно повернул назад, стал карабкаться по высоте к кухне, а Дроз-

довский подбежал к группе командиров, успевшей уже отойти метров сто по берегу, и, стоя перед Бессоновым навтыжку в наглухо застегнутой, перетянутой портупеей шинели, тонкий, как струна, с перебинтованной шеей, мелово-бледный, четким движением строевика бросил руку к виску. Не слышно было, что он докладывал. Но с огневой было видно, как генерал обнял его и передал поданную адъютантом такую же коробочку, какие вручил четверым у орудия и двоим в траншее.

— Всех оделили поровну! — садясь на станину, беззлобно засмеялся Уханов, но Рубин так многословно, мастерски выругался, что Уханов заинтересованно прищурился на него. — Ну и завернул, ездовой, похоже на коренника! Это по какой же причине?

— Так, с сердца сошло, сержант! Схватило в груди вот...

— Ну что ж, братцы, — сказал Уханов, — обмоем ордена, как полагается. За то, что наши фрицев жиманули! За то, что черта лысого им вышло! Хрена им! Верно, лейтенант? Как ты? Садись со мной. Рубин, давай котелок! Ладно, лейтенант... Перемелется — мука будет. Нам приказано жить.

— Мука? — тихо спросил Кузнецов, и лицо его дрогнуло.

— Что-то не так с нашим комбатом, — проговорил Нечаев, пощипывая усики, глядя на бугор. — Идет, вроде слепой...

Генерал и сопровождавшие его командиры удалялись по степи к мосту; а на высоте берега — к обрыву, к ступеням в землянку с ранеными — шел Дроздовский, совершенно непохожий на того стройного, прямого, привычно подтянутого комбата; ему, видимо, стоило огромных усилий подбежать к генералу и еще с прежней легкостью кинуть руку к виску, доложить; шел он разбито-вялой, расслабленной походкой, опустив голову, согнув плечи, ни разу не взглянув в направлении орудия, точно не было вокруг никого.

— После смерти Зои с ним действительно что-то... — сказал Уханов. — Ладно. Не будем сейчас вспоминать. А обмывают, братцы, ордена, наверно, вот так.

И он поставил котелок на середину брезента, налил в него наполовину водки из термоса, раскрыл коробочку с орденом и, вроде кусочек сахара, двумя пальцами опустил его на дно котелка, затем последовательно проделал то же самое с орденами Рубина, Нечаева и Кузнецова.

Все стали пить по очереди. Кузнецов взял котелок последним. Между тем Дроздовский, как пьяный, ослабленно покачиваясь, спустился вниз по ступеням, его непривычно согнутой, узкой фигуры не было видно на бугре. Ветер дул с русла реки, и тут слышалось Кузнецову: снежной крупой прошуршало сзади, будто по плащ-палатке в глубине ниши, когда положили туда Зою, и в его руках задрожал котелок, льдинками зазвенели

на дне ордена; продолжая пить, он вопросительными глазами оглянулся назад, туда, на белеющий бугорок запорошенной поземкой санитарной сумки, поперхнулся, подавился, отбросил котелок и встал, пошел от орудия по ходу сообщения, потирая горло.

— Лейтенант, что ты? Куда, лейтенант? — окликнул сзади Уханов.

— Так, ничего... — шепотом ответил он. — Сейчас вернусь. Только вот... пройду по батарее.

Над головой, раскатывая низкий гул, проходили группы штурмовиков, снижаясь за станицей. Они розовато сверкали плоскостями, снизу омытые холодным пожаром восхода, разворачивались по горизонту, пикировали над невидимыми целями, пропарывая утренний воздух сухими очередями. И там, впереди, за крышами пылающей станицы, небо широко и аспидно кипело черным с багровыми проблесками дымом, протянутым к западу, где истаивал в пустоте неба прозрачный ущербленный месяц.

1965—1969

ВЛАДИМИР БОГОМОЛОВ

И В А Н

Повесть





1

В ту ночь я собирался перед рассветом проверить боевое охранение и, приказав разбудить меня в четыре ноль-ноль, в девятом часу улегся спать.

Меня разбудили раньше: стрелки на светящемся циферблате показывали без пяти час.

— Товарищ старший лейтенант... а товарищ старший лейтенант... разрешите обратиться...— Меня с силой трясли за плечо. При свете трофейной плашки, мерцавшей на столе, я разглядел ефрейтора Васильева из взвода, находившегося в боевом охранении.— Тут задержали одного... Младший лейтенант приказал доставить к вам...

— Зажгите лампу! — скомандовал я, мысленно выругавшись: могли бы разобраться и без меня.

Васильев зажег сплюснутую сверху гильзу и, повернувшись ко мне, доложил:

— Ползал в воде возле берега. Зачем — не говорит, требует доставить в штаб. На вопросы не отвечает: говорить, мол, буду только с командиром. Вроде ослаб, а может, прикидывается. Младший лейтенант приказал...

Я, привстав, выпростал ноги из-под одеяла и, протирая глаза, уселся на нарах. Васильев, ражий детина, стоял передо мной, роняя капли воды с темной, намокшей плащ-палатки.

Гильза разгорелась, осветив просторную землянку, — у самых дверей я увидел худенького мальчишку лет одиннадцати, всего посиневшего от холода и дрожавшего; на нем были мокрые, прилипшие к телу рубашка и штаны; маленькие босые ноги по щиколотку были в грязи; при виде его дрожь пробрала меня.

— Иди стань к печке! — велел я ему. — Кто ты такой?

Он подошел, рассматривая меня настороженно-сосредоточенным взглядом больших, необычно широко расставленных глаз. Лицо у него было скуластое, темновато-серое от въевшейся в кожу грязи. Мокрые, неопределенного цвета волосы висели клочьями. В его взгляде, в выражении измученного, с плотно сжатыми, посиневшими губами лица чувствовалось какое-то внутреннее напряжение и, как мне показалось, недоверие и неприязнь.

— Кто ты такой? — повторил я.

— Пусть он выйдет, — клацая зубами, слабым голосом сказал мальчишка, указывая взглядом на Васильева.

— Подложите дров и ожидайте наверху! — приказал я Васильеву.

Шумно вздохнув, он, не торопясь, чтобы затянуть пребывание в теплой землянке, поправил головешки, набил печку короткими поленьями и, так же не торопясь, вышел. Я тем временем натянул сапоги и выжидающе посмотрел на мальчишку.

— Ну что же молчишь? Откуда ты?

— Я Бондарев, — произнес он тихо с такой интонацией, будто эта фамилия могла мне что-нибудь сказать или же вообще все объясняла. — Сейчас же сообщите в штаб, пятьдесят первому, что я нахожусь здесь.

— Ишь ты! — Я не мог сдержать улыбки. — Ну а дальше?

— Дальше вас не касается. Они сделают сами.

— Кто это «они»? В какой штаб сообщить и кто такой пятьдесят первый?

— В штаб армии.

— А кто это пятьдесят первый?

Он молчал.

— Штаб какой армии тебе нужен?

— Полевая почта вз-чэ сорок девять пятьсот пятьдесят...

Он без ошибки назвал номер полевой почты штаба нашей

армии. Перестав улыбаться, я смотрел на него удивленно и старался все осмыслить.

Грязная рубашонка до бедер и узкие короткие порты на нем были старенькие, холщовые, как я определил, деревенского пошива и чуть ли не домотканые; говорил же он правильно, заметно акая, как говорят в основном москвичи и белорусы; судя по говору, он был уроженцем города.

Он стоял передо мной, поглядывая исподлобья, настороженно и отчужденно, тихо шмыгая носом, и весь дрожал.

— Сними с себя все и разотрись. Живо! — приказал я, протягивая ему вафельное не первой свежести полотенце.

Он стянул рубашку, обнажив худенькое, с проступающими ребрами тельце, темное от грязи, и нерешительно посмотрел на полотенце.

— Бери, бери! Оно грязное.

Он принялся растирать грудь, спину, руки.

— И штаны снимай! — скомандовал я. — Ты что, стесняешься?

Он, так же молча повозившись с набухшим узлом, не без труда развязал тесьму, заменявшую ему ремень, и скинул портки. Он был совсем еще ребенок, узкоплечий, с тонкими ногами и руками, на вид не более десяти-одиннадцати лет, хотя по лицу, угрюмому, не по-детски сосредоточенному, с морщинами на выпуклом лбу, ему можно было дать, пожалуй, и все тринадцать. Ухватив рубашку и портки, он отбросил их в угол к дверям.

— А сушить кто будет — дядя? — поинтересовался я.

— Мне все привезут.

— Вот как! — усомнился я. — А где же твоя одежда?

Он промолчал. Я собрался было еще спросить, где его документы, но вовремя сообразил, что он слишком мал, чтобы иметь их.

Я достал из-под нар старый ватник ординарца, находившегося в медсанбате. Мальчишка стоял возле печки спиной ко мне — меж торчавшими острыми лопатками чернела большая, величиной с пятиалтынник, родинка. Повыше, над правой лопаткой, багровым рубцом выделялся шрам, как я определил, от пулевого ранения.

— Что это у тебя?

Он взглянул на меня через плечо, но ничего не сказал.

— Я тебя спрашиваю, что это у тебя на спине? — повысив голос, спросил я, протягивая ему ватник.

— Это вас не касается. И не смейте кричать! — ответил он с неприязнью, зверовато сверкнув зелеными, как у кошки, глазами, однако ватник взял. — Ваше дело — доложить, что я здесь. Остальное вас не касается.

— Ты меня не учи! — раздражаясь, прикрикнул я на него. — Ты не соображаешь, где находишься и как себя вести. Твоя фамилия мне ничего не говорит. Пока ты не объяснишь, кто ты, и откуда, и зачем попал к реке, я и пальцем не пошевелю.

— Вы будете отвечать! — с явной угрозой заявил он.

— Ты меня не пугай, — ты еще мал! Играть со мной в молчанку тебе не удастся! Говори толком: откуда ты?

Он закутался в доходивший ему почти до щиколоток ватник и молчал, отвернув лицо в сторону.

— Ты просидишь здесь сутки, трое, пятеро, но, пока не скажешь, кто ты и откуда, я никуда о тебе сообщать не буду! — объявил я решительно.

Взглянув на меня холодно и отчужденно, он отвернулся и молчал.

— Ты будешь говорить?

— Вы должны сейчас же доложить в штаб пятьдесят первому, что я нахожусь здесь, — упрямо повторил он.

— Я тебе ничего не должен, — сказал я раздраженно. — И пока ты не объяснишь, кто ты и откуда, я ничего делать не буду. Заруби это себе на носу!.. Кто это пятьдесят первый?

Он молчал, сбычась, сосредоточенно.

— Откуда ты?.. — с трудом сдерживаясь, спросил я. — Говори же, если хочешь, чтобы я о тебе доложил!

После продолжительной паузы — напряженного раздумья — он выдавил сквозь зубы:

— С того берега.

— С того берега? — Я не поверил. — А как же попал сюда? Чем ты можешь доказать, что ты с того берега?

— Я не буду доказывать. Я больше ничего не скажу. Вы не смеете меня допрашивать — вы будете отвечать! И по телефону ничего не говорите. О том, что я с того берега, знает только пятьдесят первый. Вы должны сейчас же сообщить ему: Бондарев у меня. И все! За мной приедут! — убежденно выкрикнул он.

— Может, ты все-таки объяснишь, кто ты такой, что за тобой будут приезжать?

Он молчал.

Я некоторое время разглядывал его и размышлял. Его фамилия мне ровно ничего не говорила, но, быть может, в штабе армии о нем знали? — за войну я привык ничему не удивляться.

Вид у него был жалкий, измученный, однако держался он независимо, говорил же со мной уверенно и даже властно: он не просил, а требовал. Угрюмый, не по-детски сосредоточенный и настороженный, он производил весьма странное впечатление; его утверждение, будто он с того берега, казалось мне явной ложью.

Понятно, я не собирался сообщать о нем непосредственно в штаб армии, но доложить в полк было моей обязанностью. Я подумал, что они заберут его к себе и сами уяснят, что к чему; а я еще сосну часика два и отправлюсь проверять охранение.

Я покрутил ручку телефона и, взяв трубку, вызвал штаб полка.

— Третий слушает,— я услышал голос начальника штаба капитана Маслова.

— Товарищ капитан, восьмой докладывает! У меня здесь Бондарев. Бон-да-рев! Он требует, чтобы о нем было доложено «Волге»...

— Бондарев?..— переспросил Маслов удивленно.— Какой Бондарев? Майор из оперативного,веряющий, что ли? Откуда он к тебе свалился? — засыпал вопросами Маслов, как я почувствовал, обеспокоенный.

— Да нет, какой там веряющий! Я сам не знаю, кто он: он не говорит. Требует, чтобы я доложил в «Волгу» пятьдесят первому, что он находится у меня.

— А кто это пятьдесят первый?

— Я думал, вы знаете.

— Мы не имеем позывных «Волги». Только дивизионные. А кто он по должности, Бондарев, в каком звании?

— Звания у него нет,— невольно улыбаясь, сказал я.— Это мальчик... понимаете, мальчик лет двенадцати...

— Ты что, смеешься?.. Ты над кем развлекаешься?! — заорал в трубку Маслов.— Цирк устраивать?! Я тебе покажу мальчика! Я майору доложу! Ты что, выпил или делать тебе нечего? Я тебе...

— Товарищ капитан! — закричал я, ошарашенный таким оборотом дела.— Товарищ капитан, честное слово, это мальчик! Я думал, вы о нем знаете...

— Не знаю и знать не желаю! — кричал Маслов запальчиво.— И ты ко мне с пустяками не лезь! Я тебе не мальчишка! У меня от работы уши пухнут, а ты...

— Так я думал...

— А ты не думай!

— Слушаюсь!.. Товарищ капитан, но что же с ним делать, с мальчишкой?

— Что делать?.. А как он к тебе попал?

— Задержан на берегу охранением.

— А на берег как он попал?

— Как я понял...— Я на мгновение замялся.— Говорит, что с той стороны.

— «Говорит»! — передразнил Маслов.— На ковре-самолете? Он тебе плетет, а ты и развесил уши. Приставь к нему

часового! — приказал он. — И, если не можешь сам разобраться, передай Зотову. Это их функции — пусть занимается...

— Вы ему скажите: если он будет орать и не доложит сейчас же пятьдесят первому, — вдруг решительно и громко произнес мальчик, — он будет отвечать!..

Но Маслов уже положил трубку. И я бросил свою к аппарату, раздосадованный на мальчишку и еще больше на Маслова.

Дело в том, что я лишь временно исполнял обязанности командира батальона, и все знали, что я «временный». К тому же мне был всего двадцать один год, и, естественно, ко мне относились иначе, чем к другим комбатам. Если командир полка и его заместители старались ничем это не выказывать, то Маслов — кстати, самый молодой из моих полковых начальников — не скрывал, что считает меня мальчишкой, и обращался со мной соответственно, хотя я воевал с первых месяцев войны, имел ранения и награды.

Разговаривать таким тоном с командиром первого или третьего батальона Маслов, понятно, не осмелился бы. А со мной... Не выслушав и не разобравшись толком, раскричаться... Я был уверен, что Маслов неправ. Тем не менее мальчишке я сказал не без злорадства:

— Ты просил, чтобы я доложил о тебе, — я доложил! Приказано посадить тебя в землянку, — приврал я, — и приставить охрану. Доволен?

— Я сказал вам доложить в штаб армии пятьдесят первому, а вы куда звонили?

— Ты «сказал»!.. Я не могу сам обращаться в штаб армии.

— Давайте я позвоню. — Мгновенно выпростав руку из-под ватника, он ухватил телефонную трубку.

— Не смей!.. Кому ты будешь звонить? Кого ты знаешь в штабе армии?

Он помолчал, не выпуская, однако, трубку из руки, и вымолвил угрюмо:

— Подполковника Грязнова.

Подполковник Грязнов был начальником разведотдела армии; я знал его не только понаслышке, но и лично.

— Откуда ты его знаешь?

Молчание.

— Кого ты еще знаешь в штабе армии?

Опять молчание, быстрый взгляд исподлобья и сквозь зубы:

— Капитана Холина.

Холин — офицер разведывательного отдела штабарма — также был мне известен.

— Откуда ты их знаешь?

— Сейчас же сообщите Грязнову, что я здесь, — не ответив, потребовал мальчишка, — или я сам позвоню!

Отобрав у него трубку, я размышлял еще с полминуты, решившись, крутанул ручку, и меня снова соединили с Масловым.

— Восьмой беспокоит. Товарищ капитан, прошу меня выслушать, — твердо заявил я, стараясь подавить волнение. — Я опять по поводу Бонд рева. Он знает подполковника Грязнова и капитана Холина.

— Откуда он их знает? — спросил Маслов устало.

— Он не говорит. Я считаю нужным доложить о нем подполковнику Грязнову.

— Если считаешь, что нужно, — докладывай, — с каким-то безразличием сказал Маслов. — Ты вообще считаешь возможным лезть к начальству со всякой ерундой. Лично я не вижу оснований беспокоить командование, тем более ночью. Несolidно!

— Так разрешите мне позвонить?

— Я тебе ничего не разрешаю, и ты меня не впутывай... А впрочем, можешь позвонить Дунаеву. Я с ним только что разговаривал, он не спит.

Я соединился с майором Дунаевым, начальником разведки дивизии, и сообщил, что у меня находится Бондарев и что он требует, чтобы о нем было немедленно доложено подполковнику Грязнову...

— Ясно, — прервал меня Дунаев. — Ожидайте. Я доложу. Минуты через две резко и требовательно зазуммерил телефон.

— Восьмой?.. Говорите с «Волгой», — сказал телефонист.

— Гальцев?.. Здорово, Гальцев! — Я узнал низкий, грубоватый голос подполковника Грязнова; я не мог его не узнать: Грязнов до лета был начальником разведки нашей дивизии, я же в то время был офицером связи и сталкивался с ним постоянно. — Бондарев у тебя?

— Здесь, товарищ подполковник!

— Молодец! — Я не понял сразу, к кому относилась эта похвала: ко мне или к мальчишке. — Слушай внимательно! Выгони всех из землянки, чтобы его не видели и не приставали. Никаких расспросов и о нем — никаких разговоров! Вник?.. От меня передай ему привет. Холин выезжает за ним; думаю, часа через три будет у тебя. А пока создай все условия! Обращайся по деликатней, учти: он парень с норовом. Прежде всего дай ему бумаги и чернила или карандаш. Что он напишет — в пакет и сейчас же с надежным человеком отправь в штаб полка. Я дам команду, они немедля доставят мне. Создашь ему все условия и не лезь с разговорами. Дай горячей воды помыться, накорми, и пусть спит. Это наш парень. Вник?

— Так точно! — ответил я, хотя мне многое было неясно.

— Кушать хочешь? — спросил я прежде всего.

— Потом,— промолвил мальчик, не подымая глаз.

Тогда я положил перед ним на стол бумагу, конверты и ручку, поставил чернила, затем, выйдя из землянки, приказал Васильеву отправляться на пост и, вернувшись, запер дверь на крючок.

Мальчик сидел на краю скамейки спиной к раскалившейся докрасна печке; мокрые порты, брошенные им ранее в угол, лежали у его ног. Из заколотого булавкой кармана он вытащил грязный носовой платок, развернув его, высыпал на стол и разложил в отдельные кучки зернышки пшеницы и ржи, семечки подсолнуха и хвою — иглы сосны и ели. Затем с самым сосредоточенным видом пересчитал, сколько было в каждой кучке, и записал на бумагу.

Когда я подошел к столу, он быстро перевернул лист и посмотрел на меня неприязненным взглядом.

— Да я не буду, не буду смотреть,— поспешно заверил я.

Позвонив в штаб батальона, я приказал немедленно нагреть два ведра воды и доставить в землянку вместе с большим казаном. Я уловил удивление в голосе сержанта, повторявшего в трубку мое приказание. Я заявил ему, что хочу мыться, а было половина второго ночи, и, наверно, он, как и Маслов, подумал, что я выпил или же мне делать нечего. Я приказал также подготовить Царивного — расторопного бойца из пятой роты — для отправки связным в штаб полка.

Разговаривая по телефону, я стоял боком к столу и уголком глаза видел, что мальчик разграфил лист бумаги вдоль и поперек и в крайней левой графе по вертикали выводил крупным детским почерком: «...2... 4,5...». Я не знал и впоследствии так и не узнал, что означали эти цифры и что он затем написал.

Он писал долго, около часа, царапая пером бумагу, сопя и прикрывая лист рукавом; пальцы у него были с коротко обгрызенными ногтями, в ссадинах; шея и уши — давно не мытые. Время от времени останавливаясь, он нервно покусывал губы, думал или же припоминал, посапывал и снова писал. Уже была принесена горячая и холодная вода — не впустив никого в землянку, я сам занес ведра и казан,— а он все еще скрипел пером; на всякий случай я поставил ведро с водой на печку.

Закончив, он сложил исписанные листы пополам, всунул в конверт и, послунив, тщательно заклеил. Затем, взяв конверт побольше размером, вложил в него первый и заклеил так же тщательно.

Я вынес пакет связному — он ожидал близ землянки — и приказал:

— Немедленно доставьте в штаб полка. По тревоге! Об исполнении доложите Краеву.

Затем я вернулся, разбавил воду в одном из ведер, сделав ее не такой горячей. Скинув ватник, мальчишка влез в казан и начал мыться.

Я чувствовал себя перед ним виноватым. Он не отвечал на вопросы, действуя, несомненно, в соответствии с инструкциями, а я кричал на него, угрожал, стараясь выпытать то, что знать мне было не положено: как известно, у разведчиков имеются свои, недоступные даже старшим штабным офицерам тайны.

Теперь я готов был ухаживать за ним как нянька; мне даже захотелось вымыть его самому, но я не решался: он не смотрел в мою сторону и, словно не замечая меня, держался так, будто, кроме него, в землянке никого не было.

— Давай я спину тебе потру,— не выдержав, предложил я нерешительно.

— Я сам! — отрезал он.

Мне оставалось стоять у печки, держа в руках чистое полотенце и бязевую рубашку — он должен был ее надеть,— и помешивать в котелке так кстати не тронутый мною ужин: пшенную кашу с мясом.

Вымывшись, он оказался светловолосым и белокожим; только лицо и кисти рук были потемней от ветра или же от загара. Уши у него были маленькие, розовые, нежные и, как я заметил, асимметричные: правое было прижато, левое же топырилось. Примечательным в его скуластом лице были глаза, большие, зеленоватые, удивительно широко расставленные; мне, наверно, никогда не доводилось видеть глаз, расставленных так широко.

Он вытерся досуха и, взяв из моих рук нагретую у печки рубашку, надел ее, аккуратно подвернув рукава, и уселся к столу. Настороженность и отчужденность уже не проглядывали в его лице; он смотрел устало, был строг и задумчив.

Я ожидал, что он набросится на еду, однако он зацепил ложкой несколько раз, пожевал вроде без аппетита и отставил котелок; затем так же молча выпил кружку очень сладкого — я не пожалел сахара — чаю с печеньем из моего допайка и поднялся, вымолвив тихо:

— Спасибо.

Я меж тем успел вынести казан с темной-темной, лишь сверху сероватой от мыла водой и взбил подушку на нарах. Мальчик забрался в мою постель и улегся лицом к стенке, подложив ладошку под щеку. Все мои действия он воспринимал как должное; я понял, что он не первый раз возвращается с «той стороны» и знает, что, как только о его прибытии станет

известно в штабе армии, немедленно будет отдано приказание «со ать все условия»... Накрыв его двумя одеялами, я тщательно подоткнул их со всех сторон, как это делала когда-то для меня моя мать...

2

Стараясь не шуметь, я собрался — надел каску, накинул поверх шинели плащ-палатку, взял автомат — и тихонько вышел из землянки, приказав часовому без меня в нее никого не пускать.

Ночь была ненастная. Правда, дождь уже перестал, но северный ветер дул порывами, было темно и холодно.

Землянка моя находилась в подлеске, метрах в семистах от Днепра, отделявшего нас от немцев. Противоположный, возвышенный берег командовал, и наш передний край был отнесен в глубину, на более выгодный рубеж, непосредственно же к реке выставлялись охраняющие подразделения.

Я пробирался в темноте подлеском, ориентируясь в основном по дальним вспышкам ракет на вражеском берегу, — ракеты взлетали то в одном, то в другом месте по всей линии немецкой обороны. Ночная тишина то и дело всплескивалась отрывистыми пулеметными очередями: по ночам немцы методично — как говорил наш командир полка, «для профилактики», — каждые несколько минут обстреливали нашу прибрежную полосу и самую реку.

Выйдя к Днепру, я направился к траншее, где располагался ближайший пост, и приказал вызвать ко мне командира взвода охранения. Когда он, запыхавшийся, явился, я двинулся вместе с ним вдоль берега. Он сразу спросил меня про «пацана», быть может решив, что мой приход связан с задержанием мальчишки. Не ответив, я тотчас завел разговор о другом, но сам мыслями невольно все время возвращался к мальчику.

Я вглядывался в скрываемый темнотой полукилометровый плес Днепра, и мне почему-то никак не верилось, что маленький Бондарев с того берега. Кто были люди, переправившие его, и где они? Где лодка? Неужто посты охранения просмотрели ее? Или, может, его спустили в воду на значительном расстоянии от берега? И как же решились спустить в холодную осеннюю воду такого худенького, малосильного мальчишку?..

Наша дивизия готовилась форсировать Днепр. В полученном мною наставлении — я учил его чуть ли не наизусть, — в этом, рассчитанном на взрослых, здоровых мужчин наставлении было сказано: «...если же температура воды ниже $+15^{\circ}$, то переправа вплавь даже для хорошего пловца исключительно трудна, а

через широкие реки невозможна». Это если ниже $+15^{\circ}$, а если примерно $+5^{\circ}$?

Нет, несомненно, лодка подходила близко к берегу, но почему же тогда ее не заметили? Почему, высадив мальчишку, она ушла потихоньку, так и не обнаружив себя? Я терялся в догадках.

Между тем охранение бодрствовало. Только в одной вынесенной к самой реке ячейке мы обнаружили дремавшего бойца. Он «кемарил» стоя, привалившись к стенке окопа, каска сползла ему на глаза. При нашем появлении он схватился за автомат и спросонок чуть было не прошил нас очередью. Я приказал немедленно заменить его и наказать, отругав перед этим вполголоса и его самого, и командира отделения.

В окопе на правом фланге, закончив обход, мы присели в нише под бруствером и закурили с бойцами. Их было четверо в этом большом, с пулеметной площадкой окопе.

— Товарищ старший лейтенант, как там, с огольцом разобрались? — глуховатым голосом спросил меня один; он дежурил, стоя у пулемета, и не курил.

— А что такое? — поинтересовался я, настораживаясь.

— Так. Думается, не просто это. В такую ночь последнего пса из дома не выгонят, а он в реку полез. Какая нужда?.. Он что, лодку шукал, на тот берег хотел? Зачем?.. Мутный оголец — его хорошенько проверить надо! Его прижать покрепче, чтоб заговорил. Чтоб всю правду из него выдавить.

— Да, мутность есть вроде, — подтвердил другой не очень уверенно. — Молчит и смотрит, говорят, волчонком. И раздет почему?

— Мальчишка из Новоселок, — неторопливо затянувшись, соврал я (Новоселки было большое, наполовину сожженное село километрах в четырех за нами). — У него немцы мать угнали, места себе не находит... Тут и в реку полезешь.

— Вон оно что!..

— Тоскует, бедолага, — понимающе вздохнул пожилой боец, что курил, присев на корточки против меня; свет цигарки освещал его широкое темное, поросшее щетиной лицо. — Страшней нет, чем тоска! А Юрлов все дурное думает, все гадкое в людях выискивает. Нельзя так, — мягко и рассудительно сказал он, обращаясь к бойцу, стоявшему у пулемета.

— Бдительный я, — глухим голосом упрямо объявил Юрлов. — И ты меня не укоряй, не переделаешь! Я доверчивых и добрых терпеть не могу. Через эту доверчивость от границы до Москвы земля кровью напоена!.. Хватит!.. А в тебе доброты и доверия под самую завязку, одолжил бы немцам чуток, души помазать!.. Вы, товарищ старший лейтенант, вот что скажите: где одежда его? И чего он все ж таки в воде делал? Странно все это; я считаю — подозрительно!..

— Ишь, спрашивает, как с подчиненного,— усмехнулся пожилой.— Дался тебе этот мальчишка, будто без тебя не разберутся. Ты бы лучше спросил, что командование насчет водочки думает. Стылость, спасу нет, а погреться нечем. Скоро ли давать начнут, спроси. А с мальчишкой и без нас разберутся...

...Посидев с бойцами еще, я вспомнил, что скоро должен приехать Холин, и, простившись, двинулся в обратный путь. Провожать себя я запретил и скоро пожалел об этом; в темноте я заблудился, как потом оказалось, забрал правее и долго блукал по кустам, останавливаемый резкими окриками часовых. Лишь минут через тридцать, прозябнув на ветру, я добрался к землянке.

К моему удивлению, мальчик не спал.

Он сидел в одной рубашке, свесив ноги с нар. Печка давно утухла, и в землянке было довольно прохладно — легкий пар шел изо рта.

— Еще не приехали? — в упор спросил мальчик.

— Нет. Ты спи, спи. Приедут — я тебя разбужу.

— А он дошел?

— Кто он? — не понял я.

— Боец. С пакетом.

— Дошел,— сказал я, хотя не знал: отправив связного, я забыл о нем и о пакете.

Несколько мгновений мальчик в задумчивости смотрел на свет гильзы и неожиданно, как мне показалось, обеспокоенно спросил:

— Вы здесь были, когда я спал? Я во сне не разговариваю?

— Нет, не слышал. А что?

— Так. Раньше не говорил. А сейчас — не знаю. Нервеность во мне какая-то,— огорченно признался он.

Вскоре приехал Холин. Рослый темноволосый красавец лет двадцати семи, он ввалился в землянку с большим немецким чемоданом в руке. С ходу сунув мне мокрый чемодан, он бросился к мальчику:

— Иван!

При виде Холина мальчик вмиг оживился и улыбнулся. Улыбнулся впервые, обрадованно, совсем по-детски.

Это была встреча больших друзей — несомненно, в эту минуту я был здесь лишним. Они обнялись, как взрослые; Холин поцеловал мальчика несколько раз, отступил на шаг и, тиская его узкие, худенькие плечи, разглядывал его восторженными глазами и говорил:

— ...Катасоныч ждет тебя с лодкой у Диковки, а ты здесь...

— В Диковке немцев — к берегу не подойдешь,— сказал мальчик, виновато улыбаясь.— Я плыл от Сосновки. Знаешь,

на середке выбился да еще судорога прихватила — думал, конец...

— Так ты что — вплавь?! — изумленно вскричал Холин.

— На полене. Ты не ругайся — так пришлось. Лодки наверху и все охраняются. А ваш тузик в такой темноте, думаешь, просто сыскать? Враз застукают! Знаешь, выбился, а полено крутится, выскальзывает, и еще ногу прихватило, ну, думаю: край! Течение!.. Понесло, понесло... не знаю, как выплыл.

Сосновка был хутор выше по течению, на том, вражеском берегу, — мальчика снесло без малого на три километра. Было просто чудом, что ненастной ночью, в холодной октябрьской воде, такой слабый и маленький, он все же выплыл...

Холин, обернувшись, энергичным рывком сунул мне свою мускулистую руку, затем, взяв чемодан, легко поставил его на нары и, щелкнув замками, попросил:

— Пойди подгони машину поближе, мы не смогли подъехать. И прикажи часовому никого сюда не впускать и самому не заходить — нам соглядатаи ни к чему. Вник?..

Это «вник» подполковника Грязнова привилось не только в нашей дивизии, но и в штабе армии: вопросительное «Вник?» и повелительное «Вникни!».

Когда минут через десять, не сразу отыскав машину и показав шоферу, как подъехать к землянке, я вернулся, мальчишка совсем преобразился.

На нем была маленькая, сшитая, как видно, специально на него, шерстяная гимнастерка с орденом Отечественной войны, новенькой медалью «За отвагу» и белоснежным подворотничком, темно-синие шаровары и аккуратные яловые сапожки. Своим видом он теперь напоминал воспитанника — их в полку было несколько, — только на гимнастерке не было погон; да и выглядели воспитанники несравненно более здоровыми и крепкими.

Чинно сидя на табурете, он разговаривал с Холиным. Когда я вошел, они умолкли, и я даже подумал, что Холин послал меня к машине, чтобы поговорить без свидетелей.

— Ну, где ты пропал? — однако сказал он, выказывая недовольство. — Давай еще кружку и садись.

На стол, застеленный свежей газетой, уже была выложена привезенная им снедь: сало, копченая колбаса, две банки консервов, пачка печенья, два каких-то кулька и фляжка в суконном чехле. На нарах лежал дубленый мальчиковый полушубок, новенький, очень нарядный, и офицерская шапка-ушанка.

Холин «по-интеллигентному», тонкими ломтиками нарезал хлеб, затем налил из фляжки водку в три кружки: мне и себе до половины, а мальчику на палец.

— Со свиданьем! — весело, с какой-то удалью проговорил Холин, поднимая кружку.

— За то, чтоб я всегда возвращался,— задумчиво сказал мальчик.

Холин, быстро взглянув на него, предложил:

— За то, чтобы ты поехал в суворовское училище и стал офицером.

— Нет, это потом! — запротестовал мальчик.— А пока война — за то, чтоб я всегда возвращался! — упрямо повторил он.

— Ладно, не будем спорить. За твое будущее. За победу!

Мы чокнулись и выпили. К водке мальчишка был непривычен: выпив, он поперхнулся, слезы проступили у него на глазах, он поспешил украдкой смахнуть их. Как и Холин, он ухватил кусок хлеба и долго нюхал его, потом съел, медленно разжевывая.

Холин проворно делал бутерброды и подкладывал мальчику; тот взял один и ел вяло, будто неохотно.

— Ты ешь давай, ешь! — приговаривал Холин, закусывая сам с аппетитом.

— Отвык помногу,— вздохнул мальчик.— Не могу.

К Холину он обращался на «ты» и смотрел только на него, меня же, казалось, вовсе не замечал. После водки на меня и Холина, как говорится, «едун напал» — мы энергично работали челюстями; мальчик же, съев два небольших бутерброда, вытер платком руки и рот, промолвив:

— Хорош.

Тогда Холин высыпал перед ним на стол шоколадные конфеты в разноцветных обертках. При виде конфет лицо мальчика не оживилось радостно, как это бывает у детей его возраста. Он взял одну не спеша, с таким равнодушием, будто он каждый день вдоволь ел шоколадные конфеты, развернул ее, откусил кусочек и, сдвинув конфеты на серединку стола, предложил нам:

— Угощайтесь.

— Нет, брат,— отказался Холин.— После водки не в цвет.

— Тогда поехали,— вдруг сказал мальчик, поднимаясь и не глядя больше на стол.— Подполковник ждет меня, чего же сидеть?.. Поехали! — потребовал он.

— Сейчас поедem,— с некоторой растерянностью проговорил Холин. В руке у него была фляжка, он собирался, очевидно, налить еще мне и себе, но, увидев, что мальчик встал, положил фляжку на место.— Сейчас поедem,— повторил он невесело и поднялся.

Меж тем мальчик примерил шапку.

— Вот черт, велика!

— Меньше не было. Я сам выбирал,— словно оправдываясь, пояснил Холин.— Но нам только доехать, что-нибудь придумаем...

Он с сожалением оглядел стол, уставленный закусками,

поднял фляжку, поболтал ею, огорченно посмотрел на меня и вздохнул:

— Сколько ж добра пропадает, а!

— Оставь ему! — сказал мальчик с выражением недовольства и пренебрежения. — Ты что, голодный?

— Ну что ты!.. Просто фляжка — табельное имущество, — отшутился Холин. — И конфеты ему ни к чему...

— Не будь жмотом!

— Придется... Эх, где наше не пропадало, кто от нас не плакал!.. — снова вздохнул Холин и обратился ко мне: — Убери часового от землянки. И вообще посмотри. Чтоб нас никто не видел.

Накинув набухшую плащ-палатку, я подошел к мальчику. Застегивая крючки на его полушубочке, Холин похвастал:

— А в машине сена — целая копна! Я одеяла взял, подушки, сейчас завалимся — и до самого штаба.

— Ну, Ванюша, прощай! — Я протянул руку мальчику.

— Не прощай, а до свидания! — строго поправил он, сунув мне крохотную узенькую ладошку и одарив меня взглядом исподлобья.

Разведотдельский «додж» с поднятым тентом стоял шагах в десяти от землянки; я не сразу разглядел его.

— Родионов, — тихо позвал я часового.

— Я, товарищ старший лейтенант! — слышался совсем рядом за моей спиной хриплый, простуженный голос.

— Идите в штабную землянку. Я скоро вас вызову.

— Слушаюсь! — Боец исчез в темноте.

Я обошел кругом — никого не было. Шофер «доджа» в плащ-палатке, одетой поверх полушубка, не то спал, не то дремал, навалившись на баранку.

Я подошел к землянке, ощупью нашел дверь и приоткрыл ее.

— Давайте!

Мальчик и Холин с чемоданом в руке скользнули к машине; зашуршал брезент, слышался короткий разговор вполголоса — Холин разбудил водителя, — заработал мотор, и «додж» тронулся.

3

Старшина Катасонов — командир взвода из разведроты дивизии — появился у меня три дня спустя.

Ему за тридцать, он невысок и худощав. Рот маленький, с короткой верхней губой, нос небольшой, приплюснутый, с крохотными ноздрями, глазки голубовато-серые, живые. Симпатич-

ным, выражающим кротость лицом Катасонов походит на кролика. Он скромн, тих и неприметен. Говорит, заметно шепелявя,— может, поэтому стеснителен и на людях молчалив. Не зная, трудно представить, что это один из лучших в нашей армии охотников за «языками». В дивизии его зовут ласково: «Катасоныч».

При виде Катасонова мне снова вспоминается маленький Бондарев — эти дни я не раз думал о нем. И я решаю при случае расспросить Катасонова о мальчике: он должен знать. Ведь это он, Катасонов, в ту ночь ждал с лодкой у Диковки, где «немцев столько, что к берегу не подойдешь».

Войдя в штабную землянку, он, приложив ладонь к суконной с малиновым кантом пилотке, негромко здоровается и становится у дверей, не сняв вещмешка и терпеливо ожидая, пока я распекаю писарей.

Они зашились, а я зол и раздражен: только что прослушал по телефону нудное поучение Маслова. Он звонит мне по утрам чуть ли не ежедневно и все об одном: требует своевременного, а подчас и досрочного представления бесконечных донесений, сводок, форм и схем. Я даже подозреваю, что часть отчетности придумывается им самим: он редкостный любитель писанины.

Послушав его, можно подумать, что, если я своевременно буду представлять все эти бумаги в штаб полка, война будет успешно завершена в ближайшее время. Все дело, выходит, во мне. Маслов требует, чтобы я «лично вкладывал душу» в отчетность. Я стараюсь и, как мне кажется, «вкладываю», но в батальоне нет адъютантов, нет и опытного писаря: мы, как правило, запаздываем, и почти всегда оказывается, что мы в чем-то напутали. И я в который уж раз думаю, что воевать зачастую проще, чем отчитываться, и с нетерпением жду: когда же пришлют настоящего командира батальона — пусть он отдувается!

Я ругаю писарей, а Катасонов, зажав в руке пилотку, стоит тихонько у дверей и ждет.

— Ты чего, ко мне? — оборачиваясь к нему, наконец спрашиваю я, хотя мог бы и не спрашивать: Маслов предупредил меня, что придет Катасонов, приказал допустить его на НП¹ и оказывать содействие.

— К вам,— говорит Катасонов, застенчиво улыбаясь.— Немца бы посмотреть...

— Ну что ж... посмотри,— помедлив для важности, милостивым тоном разрешаю я и приказываю посыльному проводить Катасонова на НП батальона.

Часа два спустя, отослав донесение в штаб полка, я отправ-

¹ Наблюдательный пункт.

ляюсь снять пробу на батальонной кухне и кустарником пробираюсь на НП.

Катасонов в стереотрубу «смотрит немца». И я тоже смотрю, хотя мне все знакомо.

За широким плесом Днепра — сумрачного, щербатого на ветру — вражеский берег. Вдоль кромки воды — узкая полоска песка; над ней террасный уступ высотой не менее метра, и далее отлогий, кое-где поросший кустами глинистый берег; ночью он патрулируется дозорами вражеского охранения. Еще дальше, высотой метров в восемь, крутой, почти вертикальный обрыв. По его верху тянутся траншеи переднего края обороны противника. Сейчас в них дежурят лишь наблюдатели, остальные же отдыхают, укрывшись в блиндажах. К ночи немцы расползутся по окопам, будут постреливать в темноту и до утра пускать осветительные ракеты.

У воды на песчаной полоске того берега — пять трупов. Три из них, разбросанные порознь в различных позах, несомненно, тронуты разложением — я наблюдаю их вторую неделю. А два свежих усажены рядышком, спиной к уступу, прямо напротив НП, где я нахожусь. Оба раздеты и разуты, на одном — тельняшка, ясно различимая в стереотрубу.

— Ляхов и Мороз, — не отрываясь от окуляров, говорит Катасонов.

Оказывается, это его товарищи, сержанты из разведроты дивизии. Продолжая наблюдать, он тихим шепелявым голосом рассказывает, как это случилось.

...Четверо суток назад разведгруппа — пять человек — ушла на тот берег за контрольным пленным. Переправлялись ниже по течению. «Языка» взяли без шума, но при возвращении были обнаружены немцами. Тогда трое с захваченным фрицем стали отступать к лодке, что и удалось (правда, по дороге один погиб, подорвавшись на mine, а «язык» уже в лодке был ранен пулеметной очередью). Эти же двое — Ляхов (в тельняшке) и Мороз — залегли и, отстреливаясь, прикрывали отход товарищей.

Убиты они были в глубине вражеской обороны; немцы, раздев, выволокли их ночью к реке и усадили на виду, нашему берегу в назидание.

— Забрать их надо бы... — закончив немногословный рассказ, вздыхает Катасонов.

Когда мы с ним выходим из блиндажа, я спрашиваю о маленьком Бондареве.

— Ванюшка-то?.. — Катасонов смотрит на меня, и лицо его озаряется нежной, необыкновенно теплой улыбкой. — Чудный малец! Только характерный, беда с ним! Вчера прямо баталия была.

— Что такое?

— Да разве ж война — занятие для него?.. Его в школу посылают, в суворовскую. Приказ командующего. А он уперся — и ни в какую! Одно твердит: после войны. А теперь воевать, мол, буду, разведчиком.

— Ну, если приказ командующего, не очень-то повоюет.

— Э-э, разве его удержишь! Ему ненависть душу жжет!.. Не пошлют — сам уйдет. Уже уходил раз... — Вздохнув, Катасонов смотрит на часы и спохватывается: — Ну, заболтался совсем. На НП артиллеристов я так пройду? — указывая рукой, спрашивает он.

Спустя мгновения, ловко отгибая ветви и бесшумно ступая, он уже скользит подлеском.

* * *

С наблюдательных пунктов нашего и соседнего справа третьего батальона, а также с НП дивизионных артиллеристов Катасонов в течение двух суток «смотрит немца», делая заметки и кроки в полевом блокноте. Мне докладывают, что всю ночь он провел на НП у стереотрубы, там же он находится и утром, и днем, и вечером, и я невольно ловлю себя на мысли: когда же он спит?

На третий день утром приезжает Холин. Он вваливается в штабную землянку и шумно здоровается со всеми. Вымолвив: «Подержись и не говори, что мало!» — стискивает мне руку так, что хрустят суставы пальцев и я изгибаюсь от боли.

— Ты мне понадобишься! — предупреждает он, затем, взяв трубку, звонит в третий батальон и разговаривает с его командиром капитаном Рябцевым.

— ...к тебе подъедет Катасонов — поможешь ему!.. Он сам объяснит... И покорми в обед горяченьким!.. Слушай дальше: если меня будут спрашивать артиллеристы или еще кто, передай, что я буду у вас в штабе после тринадцати ноль-ноль, — наказывает Холин. — И ты мне тоже потребуешься! Подготовь схему обороны и будь на месте...

Он говорит Рябцеву «ты», хотя Рябцев лет на десять старше его. И к Рябцеву и ко мне он обращается как к подчиненным, хотя начальником для нас не является. У него такая манера; точно так же он разговаривает и с офицерами в штабе дивизии, и с командиром нашего полка. Конечно, для всех нас он представитель высшего штаба, но дело не только в этом. Как и многие разведчики, он, чувствуется, убежден, что разведка — самое главное в боевых действиях войск и поэтому все обязаны ему помогать.

И теперь, положив трубку, он, не спросив даже, чем я со-

бираюсь заниматься и есть ли у меня дела в штабе, приказным тоном говорит:

— Захвати схему обороны, и пойдем посмотрим твои войска...

Его обращение в повелительной форме мне не нравится, но я немало слышал от разведчиков о нем, о его бесстрашии и находчивости, и я молчу, прощая ему то, что другому бы не смолчал. Ничего срочного у меня нет, однако я нарочно заявляю, что должен задержаться на некоторое время в штабе, и он покидает землянку, сказав, что обождет меня у машины.

Спустя примерно четверть часа, просмотрев поденное дело¹ и стрелковые карточки, я выхожу. Разведотдельский «додж» с кузовом, затянутым брезентом, стоит недалеко под елями. Шофер с автоматом на плече расхаживает в стороне. Холин сидит за рулем, развернув на баранке крупномасштабную карту; рядом — Катасонов со схемой обороны в руках. Они разговаривают; когда я подхожу, замолкнув, поворачивают головы в мою сторону. Катасонов поспешно выскакивает из машины и приветствует меня, по обыкновению стеснительно улыбаясь.

— Ну ладно, давай! — говорит ему Холин, сворачивая карту и схему, и также вылезает. — Посмотрите все хорошенько и отдохайте! Часика через два-три я подойду...

Одной из многих тропок я веду Холина к передовой. «Додж» отъезжает в сторону третьего батальона. Настроение у Холина приподнятое, он шагает, весело насвистывая. Тихий, холодный день; так тихо, что можно, кажется, забыть о войне. Но она вот, впереди: вдоль опушки свежестрытые окопы, а слева спуск в ход сообщения — траншея полного профиля, перекрытая сверху и тщательно замаскированная дерном и кустарником, ведет к самому берегу. Ее длина более ста метров.

При некомплекте личного состава в батальоне отрыть ночью такой ход (причем силами одной лишь роты!) было не так-то просто. Я рассказываю об этом Холину, ожидая, что он оценит нашу работу, но он, глянув мельком, интересуется, где расположены батальонные наблюдательные пункты — основной и вспомогательные. Я показываю.

— Тишина-то какая! — не без удивления замечает он и, став за кустами близ опушки, в цейсовский бинокль рассматривает Днепр и берега — отсюда, с небольшого пригорка, видно все как на ладонке. Мои же «войска» его, по-видимому, мало интересуют.

Он смотрит, а я стою сзади без дела и, вспомнив, спрашиваю:

— А мальчик, что был у меня, кто он все-таки? Откуда?

¹ Дело, куда в батальоне подшиваются все приказы, распоряжения и приказания штаба полка.

— Мальчик? — рассеянно переспрашивает Холин, думая о чем-то другом. — А-а, Иван!.. Много будешь знать — скоро состаришься! — отшучивается он и предлагает: — Ну что ж, давай опробуем твое метро!

В траншее темно. Кое-где оставлены щели для света, но они прикрыты ветками. Мы двигаемся в полутьме, ступаем чуть пригнувшись, и кажется — конца не будет этому сырому, мрачному ходу. Но вот впереди светает, еще немного — и мы в окопе боевого охранения, метрах в пятнадцати от Днепра.

Молодой сержант, командир отделения, докладывает мне, искоса разглядывая широкогрудого, представительного Холина.

Берег песчаный, но в окопе по щиколотку жидкой грязи, верно, потому, что дно этой траншеи ниже уровня воды в реке.

Я знаю, что Холин — под настроение — любитель поговорить и побалагурить. Вот и теперь, достав пачку «Беломора», он угощает меня и бойцов папиросами и, прикуривая сам, весело замечает:

— Ну и жизнь у вас! На войне, а вроде ее и нет совсем. Тишь да гладь — божья благодать!..

— Курорт! — мрачно подтверждает пулеметчик Чупахин, долговязый, сутулый боец в ватных куртке и брюках. Стянув с головы каску, он надевает ее на черенок лопаты и приподнимает над бруствером. Проходит несколько секунд — выстрелы доносятся с того берега, и пули тонко посвистывают над головой.

— Снайпер? — спрашивает Холин.

— Курорт, — угрюмо повторяет Чупахин. — Грязевые ванны под присмотром любящих родственников...

...Той же темной траншеей мы возвращаемся к НП. То, что немцы бдительно наблюдают за нашим передним краем, Холину не понравилось. Хотя это вполне естественно, что противник бодрствует и ведет непрерывное наблюдение, Холин вдруг делается хмурым и молчаливым.

На НП он в стереотрубу минут десять рассматривает правый берег, задает наблюдателям несколько вопросов, листает их журнал и ругается, что они якобы ничего не знают, что записи скудны и не дают представления о режиме и поведении противника. Я с ним не согласен, но молчу.

— Ты знаешь, кто это там, в тельняшке? — спрашивает он меня, имея в виду убитых разведчиков на том берегу.

— Знаю.

— И что же, не можешь их вытащить? — говорит он с недовольством и презрительно. — На час дела! Все указаний свыше ждешь?

Мы выходим из блиндажа, и я спрашиваю:

— Чего вы с Катасоновым высматриваете? Поиск, что ли, готовите?

— Подробности в афишах! — хмуро бросает Холин, не взглянув на меня, и направляется чащобой в сторону третьего батальона. Я, не раздумывая, следую за ним.

— Ты мне больше не нужен! — вдруг объявляет он, не оборачиваясь. И я останавливаюсь, растерянno смотрю ему в спину и поворачиваю назад, к штабу.

«Ну, подожди же!..» Бесцеремонность Холина раздражила меня. Я обижен, зол и ругаюсь вполголоса. Проходящий в стороне боец, поприветствовав, оборачивается и смотрит на меня удивленно.

А в штабе писарь докладывает:

— Майор два раза звонили. Приказали вам доложиться... Я звоню командиру полка.

— Как там у тебя? — прежде всего спрашивает он своим медлительным, спокойным голосом.

— Нормально, товарищ майор.

— Там к тебе Холин приедет... Сделай все, что потребуется, и оказывай ему всяческое содействие...

«Будь он неладен, этот Холин!..» Меж тем майор, помолчав, добавляет:

— Это приказание «Волги». Мне сто первый звонил...

«Волга» — штаб армии; «сто первый» — командир нашей дивизии полковник Воронов. «Ну и пусть! — думаю я. — А бегать за Холиным я не буду! Что попросит — сделаю! Но ходить за ним и напрашиваться — это уж, как говорится, извини-подвинься!»

И я занимаюсь своими делами, стараясь не думать о Холине.

После обеда я захожу в батальонный медпункт. Он размещен в двух просторных блиндажах на правом фланге, рядом с третьим батальоном. Такое расположение весьма неудобно, но дело в том, что и землянки и блиндажи, в которых мы размещаемся, отрыты и оборудованы еще немцами, — понятно, что о нас они менее всего думали.

Новая, прибывшая в батальон дней десять назад военфельдшер — статная, лет двадцати, красивая блондинка с ярко-голубыми глазами — в растерянности прикладывает руку к... марлевой косынке, стягивающей пышные волосы, и пытается мне доложить. Это не рапорт, а робкое, невнятное бормотание; но я ей ничего не говорю. Ее предшественник, старший лейтенант Востриков — старенький, страдавший астмой военфельдшер, — погиб недели две назад на поле боя. Он был опытен, смел и расторопен. А она?.. Пока я ею недоволен.

Военная форма — стянутая в талии широким ремнем, отутюженная гимнастерочка, юбка, плотно облегающая крепкие бедра, и хромовые сапожки на стройных ногах — все ей очень идет: военфельдшер так хороша, что я стараюсь на нее не смотреть.

Между прочим, она мне землячка, тоже из Москвы. Не будь войны, я, встретив ее, верно б влюбился и, ответь она мне взаимностью, был бы счастлив без меры, бегал бы вечером на свидания, танцевал бы с ней в парке Горького и целовался где-нибудь в Нескучном... Но, увы, война! Я исполняю обязанности командира батальона, а она для меня всего-навсего военфельдшер. Причем не справляющийся со своими обязанностями.

И я неприязненным тоном говорю ей, что в ротах опять «форма двадцать»¹, а белье как следует не прожаривается и помывка личного состава до сих пор должным образом не организована. Я предъявляю ей еще ряд претензий и требую, чтобы она не забывала, что она командир, не бралась бы за все сама, а заставляла работать ротных санинструкторов и санитаров.

Она стоит передо мной, вытянув руки по швам и опустив голову. Тихим, прерывистым голосом без конца повторяет: «Слушаюсь... слушаюсь... слушаюсь», — заверяет меня, что старается и скоро «все будет хорошо».

Вид у нее подавленный, и мне становится ее жаль. Но я не должен поддаваться этому чувству — я не имею права ее жалеть. В обороне она терпима, но впереди форсирование Днепра и нелегкие наступательные бои — в батальоне будут десятки раненых, и спасение их жизней во многом будет зависеть от этой девушки с погонами лейтенанта медслужбы.

В невеселом раздумье я выхожу из землянки, военфельдшер — следом.

Вправо, шагах в ста от нас, бугор, в котором устроен НП дивизионных артиллеристов. С тыльной стороны бугра, у подножия — группа офицеров: Холин, Рябцев, знакомые мне командиры батарей из артполка, командир минометной роты третьего батальона и еще два неизвестных мне офицера. У Холина и еще у двух в руках карты или схемы. Очевидно, как я и догадывался, подготавливается поиск, и проведен он будет, судя по всему, на участке третьего батальона.

Заметив нас, офицеры оборачиваются и смотрят в нашу сторону. Рябцев, артиллеристы и минометчик приветственно машут мне руками; я отвечаю тем же. Я ожидаю, что Холин

¹ Проверка по «форме двадцать» — осмотр личного состава подразделения на вшивость.

окликнет, позовет меня — ведь я должен «оказывать ему всяческое содействие», но он стоит ко мне боком, показывая офицерам что-то на карте. И я оборачиваюсь к военфельдшеру:

— Даю вам два дня. Навести в санслужбе порядок и доложить!

Она что-то невнятно бормочет под нос. Сухо козырнув, я отхожу, решив при первой возможности добиваться ее откомандирования. Пусть пришлют другого фельдшера. И обязательно мужчину.

До вечера я нахожусь в ротах: осматриваю землянки и блиндажи, проверяю оружие, беседую с бойцами, вернувшимися из медсанбата, и забиваю с ними «козла». Уже в сумерках я возвращаюсь к себе в землянку и обнаруживаю там Холина. Он спит, развалясь на моей постели, в гимнастерке и шароварах. На столе записка: «Разбуди в 18.30. Холин».

Я пришел как раз вовремя и бужу его. Открыв глаза, он садится на нарах, позевывая, потягивается и говорит:

— Молодой, молодой, а губа-то у тебя не дура!

— Чего? — не поняв, спрашиваю я.

— В бабах, говорю, толк понимаешь. Фельдшерица подходя-явая! — Пройдя в угол, где подвешен рукомойник, Холин начинает умываться. — Только днем ты к ней не ходи, — советует он, — авторитет подмочишь.

— Иди ты к черту! — выкрикиваю я, озлясь.

— Грубиян ты, Гальцев, — благодушно замечает Холин. Он умывается, пофыркивая и отчаянно брызгаясь. — Дружеской подначки не понимаешь... И полотенце вот у тебя грязное, а могла бы постирать. Дисциплинки нет!

Вытерев лицо «грязным» полотенцем, он интересуется:

— Меня никто не спрашивал?

— Не знаю, меня не было.

— И тебе не звонили?

— Звонил часов в двенадцать командир полка.

— Чего?

— Просил оказывать тебе содействие.

— Он тебя «просит»?.. Вон как! — Холин ухмыляется. — Здорово у вас дело поставлено! — Он окидывает меня насмешливо-пренебрежительным взглядом. — Эх, голова — два уха! Ну какое ж от тебя может быть содействие?..

Закурив, он выходит из землянки, но скоро возвращается и, потирая руки, довольный, сообщает:

— Эх и ночка будет — как на заказ!.. Все же господь не без милости. Скажи, ты в бога веруешь?.. А ты куда это

собираешься? — спрашивает он строго. — Нет, ты не уходи, ты, может, еще понадобишься...

Присев на нары, он в задумчивости напевает, повторяя одни и те же слова:

Эх, ночка тёмна,
А я боюсь,
Ах, проводите
Меня, Маруся...

Я разговариваю по телефону с командиром четвертой роты и, когда кладу трубку, улавливаю шум подъехавшей машины. В дверь тихонько стучат.

— Войдите!

Катасонов, войдя, прикрывает дверь и, приложив руку к пилотке, докладывает:

— Прибыли, товарищ капитан!

— Убери часового! — говорит мне Холин, перестав напевать и живо поднимаясь.

Мы выходим вслед за Катасоновым. Моросит дождь. Близ землянки — знакомая машина с тентом. Выждав, пока часовой скроется в темноте, Холин расстегивает сзади брезент и шепотом зовет:

— Иван...

— Я, — слышится из-под тента тихий детский голос, и через мгновение маленькая фигурка, появившись из-под брезента, спрыгивает на землю.

4

— Здравствуй! — говорит мне мальчик, как только мы заходим в землянку, и, улыбаясь, с неожиданным дружелюбием протягивает руку.

Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим, щеки румянятся. Катасонов отряхивает с его полушубочка сенную труху, а Холин заботливо предлагает:

— Может, ляжешь отдохнешь?

— Да ну! Полдня спал и опять отдыхать?

— Тогда достань нам чего-нибудь интересное, — говорит мне Холин, — журнальчик там или еще что... Только с картинками!

Катасонов помогает мальчику раздеться, а я выкладываю на стол несколько номеров «Огонька», «Красноармейца» и «Фронтовых иллюстраций». Оказывается, что некоторые из журналов мальчик уже видел — он откладывает их в сторону.



Сегодня он неузнаваем: разговорчив, то и дело улыбается, смотрит на меня приветливо и обращается ко мне, как и к Холину и Катасонову, на «ты». И у меня к этому белоголовому мальчишке необычайно теплое чувство. Вспомнив, что у меня есть коробка леденцов, я, достав, открываю ее и ставлю перед ним, наливаю ему в кружку ряженки с шоколадной пенкой, затем подсаживаюсь рядом, и мы вместе смотрим журналы.

Тем временем Холин и Катасонов приносят из машины уже знакомый мне трофейный чемодан, объемистый узел, увязанный в плащ-палатку, два автомата и небольшой фанерный чемодан. Засунув узел под нары, они усаживаются позади нас и разговаривают. Я слышу, как Холин вполголоса говорит Катасонову обо мне:

— ...Ты бы послушал, как шпрехает — как фриц! Я его весной в переводчики вербовал, а он, видишь, уже батальоном командует...

Это было. В свое время Холин и подполковник Грязнов, послушав, как я по приказанию комдива опрашивал пленных, уговаривали меня перейти в разведотдел переводчиком. Но я не захотел и ничуть не жалею: на разведывательную работу я пошел бы охотно, но только на оперативную, а не переводчиком.

Катасонов поправляет дрова и тихонько вздыхает:

— Ночь-то уж больно хороша!..

Он и Холин полушепотом разговаривают о предстоящем деле, и я узнаю, что подготавливали они вовсе не поиск. Мне становится ясно, что сегодня ночью Холин и Катасонов должны переправить мальчика через Днепр в тыл к немцам.

Для этого ими привезена малая надувная лодка «штурмовка», однако Катасонов уговаривает Холина взять плоскодонку у меня в батальоне.

— Клевые тузики! — шепчет он.

Вот черти — пронюхали!.. В батальоне пять рыбацких плоскодонок — мы их возим с собой уже третий месяц. Причем, чтобы их не забрали в другие батальоны, где всего по одной лодке, я приказал маскировать их тщательно, на марше прятать под сено и в отчетности об имеющихся подсобных переправочных средствах указываю всего две лодки, а не пять.

Мальчик грызет леденцы и смотрит журналы. К разговору Холина и Катасонова он не прислушивается. Просмотрев журналы, он откладывает один, где напечатан рассказ о разведчиках, и говорит мне:

— Вот это я прочту... Слушай, а патефона у тебя нет?

— Есть, но сломана пружина.

— Бедненько живешь, — замечает он и вдруг спрашивает: — А ушами ты можешь двигать?

— Ушами?.. Нет, не могу, — улыбаюсь я. — А что?

— А Холин может! — не без торжества сообщает он и обращившись. — Холин, ну-ка покажи — ушами!

— Всегда пожалуйста! — Холин с готовностью подскакивает и, став перед нами, шевелит ушными раковинами; лицо его при этом остается совершенно неподвижным.

Мальчик, довольный, торжествующе смотрит на меня.

— Можешь не огорчаться, — говорит мне Холин, — ушами двигать я тебя научу. Это успеется. А сейчас идем, покажешь нам лодки.

— А вы меня с собой возьмете? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Куда с собой?

— На тот берег.

— Видали, — кивает на меня Холин, — охотничек! А зачем тебе на тот берег?.. — И, смерив меня взглядом, словно оценивая, он спрашивает: — Ты плавать-то хоть умеешь?

— Как-нибудь! И гребу и плаваю.

— А плаваешь как — сверху вниз? по вертикали? — с самым серьезным видом интересуется Холин.

— Да уж, думаю, во всяком случае не хуже тебя!

— Конкретнее. Днепр переплывешь?

— Раз пять, — говорю я. И это правда, если учесть, что я имею в виду плавание налегке в летнее время. — Свободно раз пять, туда и обратно!

— Силе-ен мужик! — неожиданно хохочет Холин, и они втроем смеются. Вернее, смеются Холин и мальчик, а Катасонов застенчиво улыбается.

Вдруг, сделавшись серьезным, Холин спрашивает:

— А ружьишком ты не балуешься?

— Иди ты!.. — раздражаюсь я, знакомый с подвохом подобного вопроса.

— Вот видите, — указывает на меня Холин, — завелся с пол-оборота! Никакой выдержки. Нервишки-то явно тряпичные, а просится на тот берег. Нет, парень, с тобой лучше не связываться!

— Тогда я лодку не дам.

— Ну, лодку-то мы и сами возьмем — что у нас, рук нет? А случ-чего позвоню комдиву, так ты ее на своем горбу к реке припрешь!

— Да будет вам, — вступается мальчик примиряюще. — Он и так даст... Ведь дашь? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да уж придется, — натянуто улыбаясь, говорю я.

— Так идем посмотрим! — берет меня за рукав Холин. — А ты здесь побудь, — говорит он мальчику. — Только не возись, а отдыхай.

Катасонов, поставив на табурет фанерный чемоданчик, открывает его — там различные инструменты, банки с чем-то, тряпки, пакля, бинты. Перед тем как надеть ватник, я пристегиваю к ремню финку с наборной рукоятью.

— Ух, и нож! — восхищенно восклицает мальчик, и глаза у него загораются. — Покажи!

Я протягиваю ему нож; повертев его в руках, он просит:

— Слушай, отдай его мне!

— Я бы тебе отдал, но понимаешь... это подарок.

Я его не обманываю. Этот нож — подарок и память о моем лучшем друге Котьке Холодове. С третьего класса мы сидели с Котькой на одной парте, вместе ушли в армию, вместе были в училище и воевали в одной дивизии, а позже в одном полку.

...На рассвете того сентябрьского дня я находился в окопе на берегу Десны. Я видел, как Котька со своей ротой — первым в нашей дивизии — начал переправляться на правый берег. Связанные из бревен, жердей и бочек плотики миновали уже середину реки, когда немцы обрушились на переправу огнем артиллерии и минометов. И тут же белый фонтан воды взлетел над Котькиным плотиком... Что было там дальше, я не видел — трубка в руке телефониста прохрипела: «Гальцев, вперед!..» И я, а за мной вся рота — сто с лишним человек, — прыгнув через бруствер, бросились к воде, к точно таким же плотикам... Через полчаса мы уже вели рукопашный бой на правом берегу...

Я еще не решил, что сделаю с финкой: оставляю ее себе или же, вернувшись после войны в Москву, приду в тихий переулок на Арбате и отдам нож Котькиным старикам, как последнюю память о сыне...

— Я тебе другой подарю, — обещаю я мальчику.

— Нет, я хочу этот! — говорит он капризно и заглядывает мне в глаза. — Отдай его мне!

— Не жлобься, Гальцев, — бросает со стороны Холин неодобрительно. Он стоит одетый, ожидая меня и Катасонова. — Не будь крохобором!

— Я тебе другой подарю. Точно такой! — убеждаю я мальчика.

— Будет у тебя такой нож, — обещает ему Катасонов, осмотрев финку. — Я достану.

— Да я сделаю, честное слово! — заверяю я. — А это подарок, понимаешь — память!

— Ладно уж, — соглашается наконец мальчик обидчивым голосом. — А сейчас оставь его — поиграться...

— Оставь нож, и идем, — торопит меня Холин.

— И чего мне с вами идти? Какая радость? — застегивая

ватник, вслух рассуждаю я.— Брать вы меня с собой не берете, а где лодки, и без меня знаете.

— Идем, идем,— подталкивает меня Холин.— Я тебя возьму,— обещает он.— Только не сегодня.

Мы выходим втроем и подлеском направляемся к правому флангу. Моросит мелкий, холодный дождь. Темно, небо затянуто сплошь — ни звездочки, ни просвета.

Катасонов скользит впереди с чемоданом, ступая без шума и так уверенно, точно он каждую ночь ходит этой тропой. Я снова спрашиваю Холина о мальчике и узнаю, что маленький Бондарев — из Гомеля, но перед войной жил с родителями на заставе где-то в Прибалтике. Его отец, пограничник, погиб в первый же день войны. Сестренка полутора лет была убита на руках у мальчика во время отступления.

— Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось,— шепчет Холин.— Он и в партизанах был, и в Тростянце — в лагере смерти... У него на уме одно: мстить до последнего! Как рассказывает про лагерь или вспомнит отца, сестренку,— трясется весь. Я никогда не думал, что ребенок может так ненавидеть...

Холин на мгновение умолкает, затем продолжает еле слышным шепотом:

— Мы тут два дня бились — уговаривали его поехать в суворовское училище. Командующий сам убеждал его: и по-хорошему и грозился. А в конце концов разрешил сходить, с условием: последний раз! Видишь ли, не посылать его — это тоже боком может выйти. Когда он впервые пришел к нам, мы решили: не посылать! Так он сам ушел. А при возвращении наши же — из охранения в полку у Шилина — обстреляли его. Ранили в плечо, и винить некого: ночь была темная, а никто ничего не знал!.. Видишь ли, то, что он делает, и взрослым редко удастся. Он один дает больше, чем ваша разведрота. Они лазят в боевых порядках немцев не далее войскового тыла¹. А проникнуть и легализироваться в оперативном тылу противника и находиться там, допустим, пять — десять дней разведгруппа не может. И отдельному разведчику это редко удастся. Дело в том, что взрослый в любом обличье вызывает подозрение. А подросток, бездомный побирушка — быть может, лучшая маска для разведки в оперативном тылу... Если б ты знал его поближе — о таком мальчишке можно только мечтать!.. Уже решено: если после войны не отыщется мать, Катасоныч или подполковник усыновят его...

— Почему они, а не ты?

¹ На театре военных действий тыл подразделений, частей и соединений носит название войскового тыла (или же тактического), а тыл армий и фронтов — оперативного тыла.

— Я бы взял,— шепчет Холин вздыхая,— да подполковник против. Говорит, что меня самого еще надо воспитывать! — усмехаясь, признается он.

Я мысленно соглашаюсь с подполковником: Холин грубоват, а порой развязен и циничен. Правда, при мальчике он сдерживается, мне даже кажется, что он побаивается Ивана.

Метрах в ста пятидесяти до берега мы сворачиваем в кустарник, где, заваленные ельником, хранятся плоскодонки. По моему приказанию их держат наготове и через день поливают водой, чтобы не рассыхались.

Присвечивая фонариками, Холин и Катасонов осматривают лодки, щупают и простукивают днища и борта. Затем переворачивают каждую, усаживаются и, вставив весла в уключины, «гребут». Наконец выбирают одну, небольшую, с широкой кормой, на трех-четыре человека, не более.

— Вериги эти ни к чему.— Холин берется за цепь и, как хозяин, начинает выкручивать кольцо.— Остальное сделаем на берегу. Сперва опробуем на воде...

Мы поднимаем лодку — Холин за нос, мы с Катасоновым за корму — и делаем с ней несколько шагов, продираясь меж кустами.

— А ну вас к маме! — вдруг тихо ругается Холин.— Подайте!..

Мы «подаем»; он взваливает лодку плоским днищем себе на спину, вытянутыми над головой руками ухватывается с двух сторон за края бортов и, чуть пригнувшись, широко ступая, идет следом за Катасоновым к реке.

У берега я обгоняю их — предупредить пост охранения, по-видимому, для этого я и был им нужен.

Холин со своей ношей медленно сходит к воде и останавливается. Мы втроем осторожно, чтобы не нашуметь, опускаем лодку на воду.

— Садитесь!

Мы усаживаемся. Холин, оттолкнувшись, вскакивает на корму — лодка скользит от берега. Катасонов, двигая веслами — одним гребя, другим табаня, — разворачивает ее то вправо, то влево. Затем он и Холин, словно задавшись целью перевернуть лодку, наваливаются попеременно то на левый, то на правый борт так, что, того и гляди, зальется вода, потом, став на четвереньки, ощупывая, гладят ладонями борта и днище.

— Клевый тузик! — одобрительно шепчет Катасонов.

— Пойдет,— соглашается Холин.— Он, оказывается, действительно спец лодки воровать — дрянных не берет! Покайся, Гальцев, скольких хозяев ты обездолил?..

С правого берега то и дело, отрывистые и гулкие, над водой стучат пулеметные очереди.

— Садят в божий свет, как в копеечку,— шепелявя, усме-
хается Катасонов.— Расчетливы вроде и прижимисты, а посмот-
ришь — сама бесхозяйственность! Ну что толку палить всле-
пую?.. Товарищ капитан, может, потом, под утро, ребят выта-
щим? — нерешительно предлагает он Холину.

— Не сегодня. Только не сегодня...

Катасонов легко подгребает. Подчалив, мы вылезаем на берег.

— Что ж, забинтуем уключины, забьем гнезда солидолом, и все дела! — довольно шепчет Холин и поворачивается ко мне: — Кто у тебя здесь в окопе?

— Бойцы, двое.

— Оставь одного. Надежного и чтоб молчать умел! Вник? Я заскочу к нему покурить — проверю!.. Командира взвода охранения предупреди: после двадцати двух ноль-ноль развед-
группа, возможно,— так и скажи ему: возможно! — подчерки-
вает Холин,— пойдет на ту сторону. К этому времени чтобы все посты были предупреждены. А сам он пусть находится в ближ-
нем большом окопе, где пулемет.— Холин указывает рукой вниз по течению.— Если при возвращении нас обстреляют, я ему голову сверну!.. Кто пойдет, как и зачем,— об этом ни слова! Учти: об Иване знаешь только ты! Подписки я от тебя брать не буду, но, если сболтнешь, я тебе...

— Что ты пугаешь? — шепчу я возмущенно.— Что я, ма-
ленький, что ли?

— Я тоже так думаю. Да ты не обижайся.— Он похлопывает меня по плечу.— Я же должен тебя предупредить... А теперь действуй!..

Катасонов уже возится с уключинами. Холин, подойдя к лодке, тоже берется за дело. Постояв с минуту, я иду вдоль берега.

Командир взвода охранения встречается мне неподале-
ку — он обходит окопы, проверяя посты. Я инструктирую его, как сказал Холин, и отправляюсь в штаб батальона. Сделав кое-какие распоряжения и подписав документы, я возвращаюсь к себе в землянку.

Мальчик один. Он весь красный, разгорячен и возбужден. В руке у него Котькин нож, на груди мой бинокль, лицо виноватое. В землянке беспорядок: стол перевернут вверх нога-
ми и накрыт сверху одеялом, ножки табурета торчат из-под нар.

— Слушай, ты не сердись,— просит меня мальчик.— Я не-
чаянно... честное слово, нечаянно...

Только тут я замечаю на вымытых утром добела досках пола большое чернильное пятно.

— Ты не сердишься? — заглядывая мне в глаза, спрашивает он.

— Да нет же,— отвечаю я, хотя беспорядок в землянке и пятно на полу мне вовсе не по нутру.

Я молча устанавливаю все на места, мальчик помогает мне. Он поглядывает на пятно и предлагает:

— Надо воды нагреть. И с мылом... Я ототру!

— Да ладно, без тебя как-нибудь...

Я проголодался и по телефону приказываю принести ужин на шестерых — я не сомневаюсь, что Холин и Катасонов, по-возившись с лодкой, проголодались не менее меня.

Заметив журнал с рассказом о разведчиках, я спрашиваю мальчика:

— Ну как, прочел?

— Ага... Переживательно. Только по правде так не бывает. Их сразу застукают. А им еще потом ордена навесили.

— А у тебя за что орден? — интересуюсь я.

— Это еще в партизанах...

— Ты и в партизанах был? — словно услышав впервые, удивляюсь я. — А почему же ушел?

— Блокировали нас в лесу, ну, и меня самолетом на Большую землю. В интернат. Только я оттуда скоро подорвал.

— Как — подорвал?

— Сбежал. Тягостно там, прямо невтерпех. Живешь — крупу переводишь. И знай зубри: рыбы — позвоночные животные... Или значение травоядных в жизни человека...

— Так это тоже нужно знать.

— Нужно. Только зачем мне это сейчас? К чему?.. Я почти месяц терпел. Вот лежу ночью и думаю: зачем я здесь? Для чего?..

— Интернат — это не то,— соглашаюсь я. — Тебе другое нужно. Тебе бы вот в суворовское училище попасть — было бы здорово!

— Это тебя Холин научил? — быстро спрашивает мальчик и смотрит на меня настороженно.

— При чем тут Холин? Я сам так думаю. Ты уже повоевал: и в партизанах и в разведке. Человек ты заслуженный. Теперь тебе что нужно: отдыхать, учиться! Ты знаешь, из тебя какой офицер получится?..

— Это Холин тебя научил! — говорит мальчик убежденно. — Только зря!.. Офицером стать я еще успею. А пока война, отдыхать может тот, от кого пользы мало.

— Это верно, но ведь ты еще маленький!

— Маленький?.. А ты в лагере смерти был? — вдруг спрашивает он; глаза его вспыхивают лютой, недетской ненавистью, крохотная верхняя губа подергивается. — Что ты меня агитиру-

ешь, что?! — выкрикивает он взволнованно. — Ты... ты ничего не знаешь и не лезь!.. Напрасные хлопоты...

Несколько минут спустя приходит Холин. Сунув фанерный чемоданчик под нары, он опускается на табурет и курит жадно, глубоко затягиваясь.

— Все куришь, — недовольно замечает мальчик. Он любуется ножом, вытаскивает его из ножен, вкладывает снова и перевешивает с правого на левый бок. — От курева легкие бывают зеленые.

— Зеленые? — рассеянно улыбаясь, переспрашивает Холин. — Ну и пусть зеленые. Кому это видно?

— А я не хочу, чтобы ты курил! У меня голова заболит.

— Ну ладно, я выйду.

Холин подымается, с улыбкой смотрит на мальчика; заметив покрасневшееся лицо, подходит, прикладывает ладонь к его лбу и, в свою очередь, с недовольством говорит:

— Опять возился?.. Это никуда не годится! Ложись-ка отдыхай. Ложись, ложись!

Мальчик послушно укладывается на нарах. Холин, достав еще папиросу, прикуривает от своего же окурка и, набросив шинель, выходит из землянки. Когда он прикуривает, я замечаю, что руки у него чуть дрожат. У меня «нервишки тряпичные», но и он волнуется перед операцией. Я уловил в нем какую-то рассеянность или обеспокоенность; при всей своей наблюдательности он не заметил чернильного пятна на полу, да и выглядит как-то странно. А может, мне это только кажется.

Он курит на воздухе минут десять (очевидно, не одну папиросу), возвращается и говорит мне:

— Часа через полтора пойдем. Давай ужинать.

— А где Катасоныч? — спрашивает мальчик.

— Его срочно вызвал комдив. Он уехал в дивизию.

— Как уехал?! — Мальчик живо поднимается. — Уехал и не зашел? Не пожелал мне удачи?

— Он не мог! Его вызвали по тревоге, — объясняет Холин. — Я даже не представляю, что там случилось... Они же знают, что он нам нужен, и вдруг вызывают...

— Мог бы забежать. Тоже друг... — обиженно и взволнованно говорит мальчик. Он по-настоящему расстроен.

С полминуты он лежит молча, отвернув лицо к стенке, затем, обернувшись, спрашивает:

— Так мы что же, вдвоем пойдем?

— Нет, втроем. Он пойдет с нами, — быстрым кивком указывает на меня Холин.

Я смотрю на него в недоумении и, решив, что он шутит, улыбаюсь.

— Ты не улыбься и не смотри как баран на новые ворота.

Тебе без дураков говорят,— заявляет Холин. Лицо у него серьезное и, пожалуй, даже озабоченное.

Я все же не верю и молчу.

— Ты же сам хотел. Ведь просился! А теперь что ж, трусишь? — спрашивает он, глядя на меня пристально, с презрением и неприязнью, так что мне становится не по себе. И я вдруг чувствую, начинаю понимать, что он не шутит.

— Я не трушу! — твердо заявляю я, пытаюсь собраться с мыслями.— Просто неожиданно как-то...

— В жизни все неожиданно,— говорит Холин задумчиво.— Я бы тебя не брал, поверь: это необходимость! Катасоныча вызвали срочно, понимаешь — по тревоге! Представить себе не могу, что у них там случилось... Мы вернемся часа через два,— уверяет Холин.— Только ты сам принимай решение. Сам! И случ-чего на меня не вали. Если обнаружится, что ты самовольно ходил на тот берег, нас взгреют по первое число. Так случ-чего не скули: «Холин сказал, Холин просил, Холин меня травил!..» Чтобы этого не было! Учти: ты сам напросился. Ведь просился?.. Случ-чего мне, конечно, попадет, но и ты в стороне не останешься!.. Кого за себя оставить думаешь? — после короткой паузы деловито спрашивает он.

— Замполита... Колбасова,— подумав, говорю я.— Он парень боевой...

— Парень он боевой. Но лучше с ним не связываться. Замполиты — народец принципиальный: того и гляди, в политдонесение попадем, тогда неприятностей не оберешься,— поясняет Холин, усмехаясь, и закатывает глаза кверху.— Спаси нас бог от такой напасти!

— Тогда Гущина, командира пятой роты.

— Тебе виднее, решай сам! — замечает Холин и советует: — Ты его в курс дела не вводи: о том, что ты пойдешь на тот берег, будут знать только в охранении. Вник?.. Если учесть, что противник держит оборону и никаких активных действий с его стороны не ожидается, так что же, собственно говоря, может случиться?.. Ничего! К тому же ты оставляешь заместителя и отлучаешься всего на два часа. Куда?.. Допустим, в село... Ты же живой человек, черт побери! Мы вернемся через два... ну, максимум через три часа,— подумаешь, большое дело!..

...Он зря меня убеждает. Дело, конечно, серьезное, и, если командование узнает, неприятностей действительно не оберешься. Но я уже решился и стараюсь не думать о неприятностях — мыслями я весь в предстоящем...

Мне никогда не приходилось ходить в разведку. Правда, месяца три назад я со своей ротой провел — причем весьма успешно — разведку боем. Но что такое разведка боем?.. Это,

по существу, тот же наступательный бой, только ведется он ограниченными силами и накоротке.

Мне никогда не приходилось ходить в разведку, и, думая о предстоящем, я, естественно, не могу не волноваться...

5

Приносят ужин. Я выхожу и сам забираю котелки и чайник с горячим чаем. Еще я ставлю на стол крынку с ряженкой и банку тушенки. Мы ужинаем: мальчик и Холин едят мало, и у меня тоже пропал аппетит. Лицо у мальчика обиженное и немного печальное. Его, видно, крепко задело, что Катасонов не зашел пожелать ему успеха. Поев, он снова укладывается на нары.

Когда со стола убрано, Холин раскладывает карту и вводит меня в курс дела.

Мы переправляемся на тот берег втроем и, оставив лодку в кустах, продвигаемся кромкой берега вверх по течению метров шестьсот до оврага — Холин показывает на карте.

— Лучше, конечно, было бы подплыть прямо к этому месту, но там голый берег и негде спрятать лодку, — объясняет он.

Этим оврагом, находящимся напротив боевых порядков третьего батальона, мальчик должен пройти передний край немецкой обороны.

В случае если его заметят, мы с Холиным, находясь у самой воды, должны немедленно обнаружить себя, пуская красные ракеты — сигнал вызова огня, — отвлечь внимание немцев и «любой ценой» прикрыть отход мальчика к лодке. Последним отходит Холин.

В случае если мальчик будет обнаружен, по сигналу наших ракет «поддерживающие средства» — две батареи 76-миллиметровых орудий, батарея 120-миллиметровых минометов, две минометные и пулеметная рота — должны интенсивным артналетом с левого берега ослепить и ошеломить противника, окаймить артиллерийско-минометным огнем немецкие траншеи по обе стороны оврага и далее влево, чтобы воспрепятствовать возможным вылазкам немцев и обеспечить наш отход к лодке.

Холин сообщает сигналы взаимодействия с левым берегом, уточняет детали и спрашивает:

— Тебе все ясно?

— Да, будто все.

Помолчав, я говорю о том, что меня беспокоит: а не потеряет ли мальчик ориентировку при переходе, оставшись один в такой темноте, и не может ли он пострадать в случае арт-обстрела?

Холин разъясняет, что «он» — кивок в сторону мальчика — совместно с Катасоновым из расположения третьего батальона в течение нескольких часов изучал вражеский берег в месте перехода и знает там каждый кустик, каждый бугорок. Что же касается артиллерийского налета, то цели пристреляны заранее и будет оставлен «проход» шириной до семидесяти метров.

Я невольно думаю о том, сколько непредвиденных случайностей может быть, но ничего об этом не говорю. Мальчик лежит задумчиво-печальный, устремив взор вверх. Лицо у него обиженное и, как мне кажется, совсем безучастное, словно наш разговор его ничуть не касается.

Я рассматриваю на карте синие линии — эшелонированную в глубину оборону немцев — и, представив себе, как она выглядит в действительности, тихонько спрашиваю:

— Слушай, а удачно ли выбрано место перехода? Неужто на фронте армии нет участка, где оборона противника не так плотна? Неужто в ней нет «слабины», разрывов... допустим, на стыках соединений?

Холин, прищурив карие глаза, смотрит на меня насмешливо.

— Вы в подразделениях дальше своего носа ничего не видите! — заявляет он с некоторым пренебрежением. — Вам все кажется, что против вас основные силы противника, а на других участках слабенькое прикрытие, так, для видимости! Неужели же ты думаешь, что мы не выбирали или соображаем меньше твоего?.. Да если хочешь знать, тут у немцев по всему фронту напихано столько войск, что тебе и не снилось! И за стыками они смотрят в оба — дурей себя не ищи: глупенькие да-авно перевелись! Глухая, плотная оборона на десятки километров, — невесело вздыхает Холин. — Чудак-рыбак, тут все не раз продумано. В таком деле с кондачка не действуют, учти!..

Он встает и, подсев к мальчику на нары, вполголоса и, как я понимаю, не в первый раз инструктирует его:

— ...В овраге держись самого края. Помни: весь низ минирован... Чаше прислушивайся. Замирай и прислушивайся!.. По траншеям ходят патрули — значит, подползешь и выжидай!.. Как патруль пройдет — через траншею и двигай дальше...

Я звоню командиру пятой роты Гущину и, сообщив ему, что он остается за меня, отдаю необходимые распоряжения. Положив трубку, я снова слышу тихий голос Холина:

— ...будешь ждать в Федоровке... На рожон не лезь! Главное, будь осторожен!

— Ты думаешь, это просто — быть осторожным? — с едва уловимым раздражением спрашивает мальчик.

— Знаю! Но ты будь! И помни всегда: ты не один! Помни: где бы ты ни был, я все время думаю о тебе. И подполковник тоже...

— А Катасоныч уехал и не зашел,— с чисто детской непоследовательностью говорит мальчик обидчиво.

— Я же тебе сказал: он не мог! Его вызвали по тревоге. Иначе бы... Ты ведь знаешь, как он тебя любит! Ты же знаешь, что у него никого нет и ты ему дороже всех! Ведь знаешь?

— Знаю,— шмыгнув носом, соглашается мальчик, голос его дрожит.— Но все же мог забежать...

Холин прилег рядом с ним, гладит рукой его мягкие льняные волосы и что-то шепчет ему. Я стараюсь не прислушиваться. Обнаруживается, что у меня множество дел, я торопливо сучусь, но толком делать что-либо не в состоянии и, плюнув на все, сажусь писать письмо матери: я знаю, что разведчики перед уходом на задание пишут письма родным и близким. Однако я нервничаю, мысли разбегаются, и, написав карандашом с полстранички, я все рву и бросаю в печку.

— Время,— взглянув на часы, говорит мне Холин и поднимается. Поставив на лавку трофейный чемодан, он вытаскивает из-под нар узел, развязывает его, и мы с ним начинаем одеваться.

Поверх бязевого белья он надевает тонкие шерстяные кальсоны и свитер, затем зимнюю гимнастерку и шаровары и облачается в зеленый маскхалат. Поглядывая на него, я одеваюсь так же. Шерстяные кальсоны Катасонова мне малы, они трещат в паху, и я в нерешимости смотрю на Холина.

— Ничего, ничего,— ободряет он.— Смелей! Порвешь — новые выпишем.

Маскхалат мне почти впору, правда, брюки несколько коротки. На ноги мы надеваем немецкие кованые сапоги; они тяжеловаты и непривычны, но это, как поясняет Холин, предосторожность: чтобы «не наследить» на том берегу. Холин сам завязывает шнурки моего маскхалата.

Вскоре мы готовы: финки и гранаты «Ф-1» подвешены к поясным ремням (Холин берет еще увесистую противотанковую — «РПГ-40»); пистолеты с патронами, загнанными в патронники, сунуты за пазуху; прикрытые рукавами маскхалатов, надеты компасы и часы со светящимися циферблатами; ракетницы осмотрены, и Холин проверяет крепление дисков в автоматах.

Мы уже готовы, а мальчик все лежит, заложив ладони под голову и не глядя в нашу сторону.

Из большого немецкого чемодана уже извлечены порыжелый изодранный мальчиковый пиджак на вате и темно-серые, с заплатами штаны, потертая шапка-ушанка и невзрачные на вид подростковые сапоги. На краю нар разложены холщовое исподнее белье, старенькие — все штопанные — фуфайка и шерстяные

носки, маленькая засаленная заплечная котомка, портянки и какие-то тряпки.

В кусок рядна Холин заворачивает продукты мальчику: небольшой — с полкилограмма — круг колбасы, два кусочка сала, краюху и несколько черствых ломтей ржаного и пшеничного хлеба. Колбаса домашнего приготовления, и сало не наше, армейское, а неровное, худосочное, серовато-темное от грязной соли, да и хлеб не формовой, а подовый — из хозяйской печки.

Я гляжу и думаю: как все предусмотрено, каждая мелочь...

Продукты уложены в котомку, а мальчик все лежит не шевелясь, и Холин, взглянув на него украдкой, не говоря ни слова, принимается осматривать ракетницу и снова проверяет крепление диска.

Наконец мальчик садится на нарах и неторопливыми движениями начинает снимать свое военное обмундирование. Темно-синие шаровары запачканы на коленках и сзади.

— Смола, — говорит он. — Пусть отчистят.

— А может, их на склад и выписать новые? — предлагает Холин.

— Нет, пусть эти почистят.

Мальчик не спеша облачается в гражданскую одежду. Холин помогает ему, затем осматривает его со всех сторон. И я смотрю: ни дать ни взять, бездомный отрепыш, мальчишка-беженец, каких немало встречалось нам на дорогах наступления.

В карманы мальчик прячет самодельный складной ножик и затертые бумажки: шестьдесят или семьдесят немецких оккупационных марок. И всё.

— Попрыгали, — говорит мне Холин.

Проверяясь, мы несколько раз подпрыгиваем. И мальчик тоже, хотя что у него может зашуметь?

По старинному русскому обычаю, мы садимся и сидим некоторое время молча. На лице у мальчика снова то выражение недетской сосредоточенности и внутреннего напряжения, как и шесть дней назад, когда он впервые появился у меня в землянке.

* * *

Облучив глаза красным светом сигнальных фонариков (чтобы лучше видеть в темноте), мы идем к лодке: я впереди, мальчик шагах в пятнадцати сзади меня, еще дальше Холин.

Я должен окликнуть и заговорить каждого, кто нам встретится на тропе, чтобы мальчик в это время спрятался: никто, кроме нас, не должен его теперь видеть — Холин самым решительным образом предупредил меня об этом.

Справа из темноты доносятся негромкие слова команды: «Расчеты — по местам!.. К бою!..» Трещат кусты, и слышится тихая ругань — расчеты изготовливаются у орудий и минометов, разбросанных по подлеску в боевых порядках моего и третьего батальонов.

В операции, кроме нас, участвует около двухсот человек. Они готовы в любое мгновение прикрыть нас, шквалом огня обрушившись на позиции немцев. И никто из них не подозревает, что проводится вовсе не поиск, как был вынужден сказать Холин командирам поддерживающих подразделений.

Невдалеке от лодки находится пост охранения. Он был парный, но, по указанию Холина, я приказал командиру охранения оставить в окопе только одного — немолодого толкового ефрейтора Демина. Когда мы приближаемся к берегу, Холин предлагает мне пойти заговорить ефрейтора — тем временем он с мальчиком незаметно проскользнет к лодке. Все эти предосторожности, на мой взгляд, излишни, но конспиративность Холина меня не удивляет: я знаю, что не только он — все разведчики таковы. Я отправляюсь вперед.

— Только без комментариев! — внушительным шепотом предупреждает меня Холин. Эти предупреждения на каждом шагу мне уже надоели: я же не мальчик и сам соображаю, что к чему.

Демин, как и положено, на расстоянии окликает меня; отозвавшись, я подхожу, спрыгиваю в траншею и становлюсь так, чтобы он, обратившись ко мне, повернулся спиной к тропинке.

— Закуривай, — предлагаю я, достав папиросы и взяв одну себе, другую сую ему.

Мы присаживаемся на корточки, он чиркает отсыревшими спичками, наконец одна загорается, он подносит ее мне и прикуривает сам. В свете спички я замечаю, что в подбрустверной нише на слежавшемся сене кто-то спит, успеваю разглядеть странно знакомую пилотку с малиновым кантом. Жадно затянувшись, я, не сказав ни слова, включаю фонарик и вижу, что в нише — Катасонов.

Он лежит на спине, лицо его прикрыто пилоткой. Я, еще не сообразив, приподнимаю его — посеревшее, кроткое, как у кролика, лицо; над левым глазом маленькая аккуратная дырочка: входное пулевое отверстие...

— Глупо получилось-то, — тихо бормочет рядом со мной Демин, его голос доходит до меня будто издалека. — Наладили лодку, посидели со мной, покурили. Капитан стоял здесь, со мной говорил, а этот вылезать стал и только, значит, из окопа поднялся и тихо-тихо так вниз сползает. Да мы и выстрелов вроде не слышали... Капитан бросился к нему, трясет: «Капи-

тоныч!.. Капитоныч!..» Глянули — а он наповал!.. Капитан приказал никому не говорить...

Так вот почему Холин показался мне несколько странным по возвращении с берега...

— Без комментариев! — слышится со стороны реки его повелительный шепот. И я все понимаю: мальчик уходит на задание, и расстраивать его теперь ни в коем случае нельзя — он ничего не должен знать.

Выбравшись из траншеи, я медленно спускаюсь к воде.

Мальчик уже в лодке, я усаживаюсь с ним на корме, взяв автомат на изготовку.

— Садись ровнее, — шепчет Холин, накрывая нас плащ-палаткой. — Следи, чтобы не было крена!

Отведя нос лодки, он садится сам и разбирает весла. Посмотрев на часы, выжидает еще немного и негромко свистит: это сигнал начала операции.

Ему тотчас отвечают: справа из темноты, где в большом пулеметном окопе на фланге третьего батальона находятся командирские поддерживающих подразделений и артиллерийские наблюдатели, хлопает винтовочный выстрел.

Развернув лодку, Холин начинает грести — берег сразу исчезает. Мгла холодной, ненастной ночи обнимает нас.

6

Я ощущаю на лице мерное горячее дыхание Холина. Он сильными гребками гонит лодку; слышно, как вода тихо всплескивает под ударами весел. Мальчик замер, притаясь под плащ-палаткой рядом со мной.

Впереди, на правом берегу, немцы, как обычно, постреливают и освещают ракетами передний край, — вспышки не так ярки из-за дождя. И ветер в нашу сторону. Погода явно благоприятствует нам.

С нашего берега взлетает над рекой очередь трассирующих пуль. Такие трассы с левого фланга третьего батальона будут давать каждые пять — семь минут: они послужат нам ориентиром при возвращении на свой берег.

— Сахар! — шепчет Холин.

Мы кладем в рот по два кусочка сахара и старательно сосем их: это должно до предела повысить чувствительность наших глаз и нашего слуха.

Мы находимся, верно, уже где-то на середине плеса, когда впереди отрывисто стучит пулемет — пули свистят и, выбивая звонкие брызги, шлепают по воде совсем неподалеку.

— «МГ-34», шепотом безошибочно определяет мальчик, доверчиво прижимаясь ко мне.

— Бойшься?

— Немножко,— еле слышно признается он.— Никак не привыкну. Нервеность какая-то... И побираться — тоже никак не привыкну. Ух, и тошно!

Я живо представляю, каково ему, гордому и самолюбивому, унижаться попрошайничая.

— Послушай,— вспомнив, шепчу я,— у нас в батальоне есть Бондарев. И тоже гомельский. Не родственник слушаем?

— Нет. У меня нет родственников. Одна мать. И та не знаю, где сейчас...— Голос его дрогнул.— И фамилия моя по правде Буслов, а не Бондарев.

— И зовут не Иван?

— Нет, звать Иваном. Это правильно.

— Тсс!..

Холин начинает грести тише — видимо, в ожидании берега. Я до боли в глазах всматриваюсь в темноту: кроме тусклых за пеленой дождя вспышек ракет, ничего не разглядишь.

Мы движемся еле-еле; еще миг, и днище цепляется за песок. Холин, проворно сложив весла, ступает через борт и, стоя в воде, быстро разворачивает лодку кормой к берегу.

Минуты две мы напряженно вслушиваемся. Слышно, как капли дождя мягко шлепают по воде, по земле, по уже намокшей плащ-палатке; я слышу ровное дыхание Холина и слышу, как бьется мое сердце. Но подозрительного — ни шума, ни говора, ни шороха — мы уловить не можем. И Холин дышит мне в самое ухо:

— Иван — на месте. А ты вылазь и держи...

Он ныряет в темноту. Я осторожно выбираюсь из-под плащ-палатки, ступаю в воду на прибрежный песок, поправляю автомат и беру лодку за корму. Я чувствую, что мальчик поднялся и стоит в лодке рядом со мной.

— Сядь. И накинь плащ-палатку,— ощупав его рукой, шепчу я.

— Теперь уж все равно,— отвечает он чуть слышно.

Холин появляется неожиданно и, подойдя вплотную, радостным шепотом сообщает:

— Порядок! Все подшито, прошнуровано...

Оказывается, те кусты у воды, в которых мы должны оставить лодку, всего шагах в тридцати ниже по течению.

Несколько минут спустя лодка спрятана, и мы, пригнувшись, крадемся вдоль берега, время от времени замирая и прислушиваясь. Когда ракета вспыхивает неподалеку, мы падаем на песок под уступом и лежим неподвижно, как мертвые. Уголком

глаза я вижу мальчика — одежда его потемнела от дождя. Мы с Холиным вернемся и переоденемся, а он...

Холин вдруг замедляет шаг и, взяв мальчика за руку, ступает правее по воде. Впереди на песке что-то светлеет. «Трупы наших разведчиков», — догадываюсь я.

— Что это? — чуть слышно спрашивает мальчик.

— Фрицы, — быстро шепчет Холин и увлекает его вперед. — Это снайпер с нашего берега.

— Ух, гады! Даже своих раздевают! — с ненавистью бормочет мальчик, оглядываясь.

Мне кажется, что мы двигаемся целую вечность и уже давно должны дойти. Однако я припоминаю, что от кустов, где спрятана лодка, до этих трупов триста с чем-то метров. А до оврага нужно пройти еще примерно столько же.

Вскоре мы минуем еще один труп. Он совсем разложился — тошнотворный запах чувствуется на расстоянии. С левого берега, врезаясь в дождливое небо у нас за спиной, снова уходит трасса. Овраг где-то близко; но мы его не увидим: он не освещается ракетами, верно, потому, что весь низ его минирован, а края окаймлены сплошными траншеями и патрулируются. Немцы, по-видимому, уверены, что здесь никто не сунется.

Этот овраг — хорошая ловушка для того, кого в нем обнаружат. И весь расчет на то, что мальчик проскользнет незамеченным.

Холин наконец останавливается и, сделав нам знак присесть, сам уходит вперед. Скоро он возвращается и еле слышно командует:

— За мной!

Мы перемещаемся вперед еще шагов на тридцать и присаживаемся на корточки за уступом.

— Овраг перед нами, прямо! — Отогнув рукав маскхалата, Холин смотрит на светящийся циферблат и шепчет мальчику: — В нашем распоряжении еще четыре минуты. Как самочувствие?

— Порядок.

Некоторое время мы прослушиваем темноту. Пахнет трупом и сыростью. Один из трупов — он замечен на песке метрах в трех вправо от нас, — очевидно, и служит Холину ориентиром.

— Ну, я пойду, — чуть слышно говорит мальчик.

— Я провожу тебя, — вдруг шепчет Холин. — По оврагу. Хотя бы немного.

Это уже не по плану!

— Нет! — возражает мальчик. — Пойду один! Ты большой — с тобой застукают.

— Может, мне пойти? — предлагаю я нерешительно.

— Хоть по оврагу,— упрашивает Холин шепотом.— Там глина — наследишь. Я пронесу тебя!

— Я сказал! — упрямо и зло заявляет мальчик.— Я сам!

Он стоит рядом со мной, маленький, худенький, и, как мне кажется, весь дрожит в своей старенькой одежке. А может, мне только кажется...

— До встречи,— помедлив, шепчет он Холину.

— До встречи! (Я чувствую, что они обнимаются и Холин целует его.) Главное, будь осторожен! Береги себя! Если мы двинемся — ожидай в Федоровке!

— До встречи,— обращается мальчик уже ко мне.

— До свидания! — с волнением шепчу я, отыскивая в темноте его маленькую узкую ладошку и крепко сжимая ее.

Я ощущаю желание поцеловать его, но сразу не решаюсь. Я страшно волнуюсь в эту минуту. Перед этим я раз десять повторяю про себя: «До свидания», чтобы не ляпнуть, как шесть дней назад: «Прощай!»

И, прежде чем я решаюсь поцеловать его, он неслышно исчезает во тьме.

7

Мы с Холиным притаились, присев на корточки вплотную к уступу, так что край его приходился над нашими головами, и настороженно прислушивались. Дождь сыпал мерно и неторопливо, холодный, осенний дождь, которому, казалось, и конца не будет. От воды тянуло мозглой сыростью.

Прошло минуты четыре, как мы остались одни, и с той стороны, куда ушел мальчик, слышались шаги и тихий невнятный гортанный говор.

«Немцы!..»

Холин сжал мне плечо, но меня не нужно было предупреждать — я, может, раньше его расслышал и, сдвинув на автомате шишечку предохранителя, весь оцепенел с гранатой, зажатой в руке.

Шаги приближались. Теперь можно было различить, как грязь хлупала под ногами нескольких человек. Во рту у меня пересохло, сердце колотилось как бешеное.

— Verfluchtes Wetter! Hohl es der Teufel...¹

— Halte's Maul, Otto!.. Links halten!..²

Они прошли совсем рядом, так что брызги холодной грязи попали мне на лицо. Спустя мгновения при вспышке ракеты мы в реденькой пелене дождя разглядели их, рослых (может, мне

¹ Проклятая погода! И какого черта... (нем.)

² Придержи язык, Отто!.. Принять левее!.. (нем.)

так показалось потому, что я смотрел на них снизу), в касках с подшлемниками и в точно таких же, как на нас с Холиным, сапогах с широкими голенищами. Трое были в плащ-палатках, четвертый — в блестящем от дождя длинном плаще, стянутом в поясе ремнем с кобурой. Автоматы висели у них на груди.

Их было четверо — дозор охранения полка СС, боевой дозор германской армии, мимо которого только что проскользнул Иван Буслов, двенадцатилетний мальчишка из Гомеля, значившийся в наших разведдокументах под фамилией «Бондарев».

Когда при дрожащем свете ракеты мы их увидели, они, остановившись, собирались спуститься к воде шагах в десяти от нас. Было слышно, как в темноте они попрыгали на песок и направились в сторону кустов, где была спрятана наша лодка.

Мне было труднее, чем Холину. Я не был разведчиком, воевал же с первых месяцев войны, и при виде врагов, живых и с оружием, мною вмиг овладело привычное, много раз испытанное возбуждение бойца в момент схватки. Я ощутил желание — вернее, жажду, потребность, необходимость — немедленно убить их! Я завалю их как миленьких, одной очередью! «Убить их!» — я, верно, ни о чем больше не думал, вскинув и доворачивая автомат. Но за меня думал Холин. Почувствовав мое движение, он словно тисками сжал мне предплечье, — опомнившись, я опустил автомат.

— Они заметят лодку! — растирая предплечье, прошептал я, как только шаги удалились.

Холин молчал.

— Надо что-то делать, — после короткой паузы снова зашептал я встревоженный. — Если они обнаружат лодку...

— Если!.. — в бешенстве выдохнул мне в лицо Холин. Я почувствовал, что он способен меня задушить. — А если застукуют мальчишку?! Ты что же, думаешь оставить его одного?.. Ты что: шкура, сволочь или просто дурак?..

— Дурак, — подумав, прошептал я.

— Наверно, ты неврастеник, — произнес Холин раздумчиво. — Кончится война — придется лечиться...

Я напряженно прислушивался, каждое мгновение ожидая услышать возгласы немцев, обнаруживших нашу лодку. Левее отрывисто простучал пулемет, за ним — другой, прямо над нами, и снова в тишине слышался мерный шум дождя. Ракеты взлетали то там, то там по всей линии берега, вспыхивая, искрились, шипели и гасли, не успев долететь до земли.

Тошнотный трупный запах отчего-то усилился. Я отплевывался и старался дышать через рот, но это мало помогло.

Мне мучительно хотелось закурить. Еще никогда в жизни

мне так не хотелось курить. Но единственно, что я мог, — вытаскивать папиросу и нюхать ее, разминая пальцами.

Мы вскоре вымокли и дрожали от холода, а дождь все не унимался.

— В овраге глина, будь она проклята! — вдруг зашептал Холин. — Сейчас бы хороший ливень, чтоб смыл все...

Мыслями он все время был с мальчиком, и глинистый овраг, где следы хорошо сохраняются, беспокоил его. Я понимал, сколь основательно его беспокоило: если немцы обнаружат свежие, необычно маленькие следы, идущие от берега через передовую, за Иваном наверняка будет снаряжена погоня. Быть может, с собаками. Где-где, а в полках СС достаточно собак, выученных для охоты на людей.

Я уже жевал папиросу. Приятного в этом было мало, но я жевал. Холин, верно услышав, поинтересовался:

— Ты что это?

— Курить хочу — умираю! — вздохнул я.

— А к мамке не хочется? — спросил Холин язвительно. — Мне вот лично к мамке хочется! Неплохо бы, а?

Мы выжидали еще минут двадцать, мокрые, дрожа от холода и вслушиваясь. Рубашка ледяным компрессом облежала спину. Дождь постепенно сменился снегом — мягкие, мокрые хлопья падали, белой пеленой покрывая песок, и неохотно таяли.

— Ну, кажется, прошел, — наконец облегченно вздохнул Холин и приподнялся.

Пригибаясь и держась близ самого уступа, мы двинулись к лодке, то и дело останавливаясь, замирали и прислушивались. Я был почти уверен, что немцы обнаружили лодку и устроили в кустах засаду. Но сказать об этом Холину не решался: я боялся, что он осмеет меня.

Мы крались во тьме вдоль берега, пока не наткнулись на трупы наших разведчиков. Мы сделали от них не более пяти шагов, как Холин остановился и, притянув меня к себе за рукав, зашептал мне в ухо:

— Останешься здесь. А я пойду за лодкой. Чтоб случ-чего не всыпаться обоим. Подплыву — окликнешь меня по-немецки. Тихо-тихо!.. Если же я нарвусь, будет шум — плыви на тот берег. И если через час не вернусь — тоже плыви. Ты ведь можешь пять раз сплавать туда и обратно? — сказал он насмешливо.

— Могу, — подтвердил я дрожащим голосом. — А если тебя ранят?

— Не твоя забота. Поменьше рассуждай.

— К лодке подойти лучше не берегом, а подплыть со стороны реки, — заметил я не совсем уверенно. — Я смогу, давай...

— Я, может, так и сделаю... А ты случ-чего не вздумай рыпаться! Если с тобой что случится, нас взгреют по первое число. Вник?

— Да. А если...

— Без всяких «если»!.. Хороший ты парень, Гальцев,— вдруг прошептал Холин,— но неврастеник. А это в нашем деле самая страшная вещь...

Он ушел в темноту, а я остался ждать. Не знаю, сколько длилось это мучительное ожидание: я так замерз и так волновался, что даже не сообразил взглянуть на часы. Стараясь не произвести и малейшего шума, я усиленно двигал руками и приседал, чтоб хоть немного согреться. Время от времени я замирал и прислушивался.

Наконец, уловив еле различимый плеск воды, я приложил ладони рупором ко рту и зашептал:

— Хальт... Хальт...

— Тихо, черт! Иди сюда...

Осторожно ступая, я сделал несколько шагов, и холодная вода залилась в сапоги, ледяными объятиями охватив мои ноги.

— Как там у оврага, тихо? — прежде всего поинтересовался Холин.

— Тихо.

— Вот видишь, а ты боялась! — прошептал он, довольный.— Садись с кормы,— взяв у меня автомат, скомандовал он и, как только я влез в лодку, принялся грести, забирая против течения.

Усевшись на корме, я стянул сапоги и вылил из них воду.

Снег валил мохнатыми хлопьями и таял, чуть коснувшись реки. С левого берега снова дали трассу. Она прошла прямо над нами; надо было поворачивать, а Холин продолжал гнать лодку вверх по течению.

— Ты куда? — спросил я, не понимая.

Не отвечая, он энергично работал веслами.

— Куда мы плывем?

— На вот, погрейся! — оставив весла, он сунул мне в руки маленькую плоскую фляжечку.

Закоченевшими пальцами, с трудом свинтив колпачок, я глотнул — водка приятным жаром обожгла мне горло, внутри сделалось тепло, но дрожь по-прежнему была меня.

— Пей до дна! — прошептал Холин, чуть двигая веслами.

— А ты?

— Я выпью на берегу. Угостишь?

Я глотнул еще и, с сожалением убедившись, что во фляжечке ничего нет, сунул ее в карман.

— А вдруг он еще не прошел? — неожиданно сказал Хо-

лин.— Вдруг лежит, выжидает... Как бы я хотел быть сейчас с ним!..

И мне стало ясно, почему мы не возвращаемся. Мы находились против оврага, чтобы «случ-чего» снова высадиться на вражеском берегу и прийти на помощь мальчишке. А оттуда, из темноты, то и дело сыпали по реке длинными очередями. У меня мурашки бегали по телу, когда пули свистели и шлепали по воде рядом с лодкой. В такой мгле, за широкой завесой мокрого снега обнаружить нас было, наверно, невозможно, но это чертовски неприятно — находиться под обстрелом на воде, на открытом месте, где не зароешься в землю и нет ничего, за чем можно было бы укрыться. Холин же, подбадривая, шептал:

— От таких глупых пуль может согнуть только дурак или трус! Учти!..

Катасонов был не дурак и не трус. Я в этом не сомневался, но Холину ничего не сказал.

— А фельдшерица у тебя ничего! — немного погодя вспомнил он, очевидно желая как-то меня отвлечь.

— Ни-че-го,— выбивая дробь зубами, согласился я, менее всего думая о фельдшерице; мне представилась теплая землянка медпункта и печка. Чудесная чугунная печка!..

С левого, бесконечно желанного берега еще три раза давали трассу. Она звала нас вернуться, а мы все болтались на воде ближе к правому берегу.

— Ну, вроде прошел,— наконец сказал Холин и, задев меня вальком, сильным движением весел повернул лодку.

Он удивительно ориентировался и выдерживал направление в темноте. Мы подплыли неподалеку от большого пулеметного окопа на правом фланге моего батальона, где находился командир взвода охранения.

Нас ожидали и сразу окликнули тихо, но властно: «Стой! Кто идет?..» Я назвал пароль — меня узнали по голосу, и через мгновение мы ступили на берег.

Я был совершенно измучен и, хотя выпил грамм двести водки, по-прежнему дрожал и еле передвигал заочеченными ногами. Стараясь не стучать зубами, я приказал вытащить и замаскировать лодку, и мы двинулись по берегу, сопровождаемые командиром отделения Зуевым, моим любимцем, несколько развязным, но бесшабашной смелости сержантом. Он шел впереди.

— Товарищ старший лейтенант, а «язык» где же? — оборачиваясь, вдруг весело спросил он.

— Какой «язык»?

— Так, говорят, вы за «языком» отправились.

Шедший сзади Холин, оттолкнув меня, шагнул к Зуеву.

— Язык у тебя во рту! Вник?! — сказал он резко, отчетливо выговаривая каждое слово; мне показалось, что он опустил свою увесистую руку на плечо Зуеву, а может, даже взял его за ворот: этот Холин был слишком прям и вспыльчив — он мог так сделать. — Язык у тебя во рту! — угрожающе повторил он. — И держи его за зубами! Тебе же лучше будет!.. А теперь возвращайтесь на пост!..

Как только Зуев остался в нескольких шагах позади, Холин объявил строго и нарочито громко:

— Трепачи у тебя в батальоне, Гальцев! А это в нашем деле самая страшная вещь...

В темноте он взял меня под руку и, сжав ее у локтя, насмешливо прошептал:

— А ты тоже штучка! Бросил батальон, а сам на тот берег за «языком»! Охотничек!

* * *

В землянке, живо растопив печку дополнительными минометными зарядами, мы разделись догола и растерлись полотенцем.

Переодевшись в сухое белье, Холин накинул поверх шинель, уселся к столу и, разложив перед собой карту, сосредоточенно рассматривал ее. Очутившись в землянке, он сразу как-то сник, вид у него был усталый и озабоченный.

Я подал на стол банку тушенки, сало, котелок с солеными огурцами, хлеб, ряженку и флягу с водкой.

— Эх, если бы знать, что сейчас с ним! — воскликнул вдруг Холин, поднимаясь. — И в чем там дело?

— Что такое?

— Этот патруль — на том берегу — должен был пройти на полчаса позже. Понимаешь?.. Значит, или немцы сменили режим охранения, или мы что-то напутали. А мальчишка в любом случае может поплатиться жизнью. У нас же все было рассчитано по минутам.

— Но ведь он прошел. Мы сколько выжидали — не меньше часа, — и все было тихо.

— Что — прошел? — спросил Холин с раздражением. — Если хочешь знать, ему нужно пройти более пятидесяти километров. Из них около двадцати он должен сделать до рассвета. И на каждом шагу можно напороться. А сколько всяких случайностей!.. Ну ладно, разговорами не поможешь!.. — Он убрал карту со стола. — Давай!

Я налил водки в две кружки.

— Чокаться не будем, — взяв одну, предупредил Холин.

Подняв кружки, мы сидели несколько мгновений в безмолвии.

— Эх, Катасоныч, Катасоныч...— вздохнул Холин, насупившись, и срывающимся голосом проговорил: — Тебе-то что! А мне он жизнь спас...

Он выпил залпом и, нюхая кусок черного хлеба, потребовал:

— Еще!

Выпив сам, я налил по второму разу: себе немного, а ему до краев. Взяв кружку, он повернулся к нарам, где стоял чемодан с вещами мальчика, и негромко произнес:

— За то, чтобы ты вернулся и больше не уходил. За твое будущее!

Мы чокнулись и, выпив, принялись закусывать. Несомненно, в эту минуту мы оба думали о мальчике. Печка, став по бокам и сверху оранжево-красной, дышала жаром. Мы вернулись и сидим в тепле и в безопасности. А он где-то во вражеском расположении крадется сквозь снег и мглу бок о бок со смертью...

Я никогда не испытывал особой любви к детям, но этот мальчишка — хотя я встречался с ним всего лишь два раза — был мне так близок и дорог, что я не мог без щемящего сердце волнения думать о нем.

Пить я больше не стал. Холин же без всяких тостов молча хватил третью кружку. Вскоре он опьянел и сидел сумрачный, угрюмо поглядывая на меня покрасневшими, возбужденными глазами.

— Третий год воюешь?..— спросил он закуривая.— И я третий... А в глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали... За тобой батальон, полк, целая армия... А он один! — внезапно раздражаясь, выкрикнул Холин.— Ребенок!.. И ты ему еще ножа вонючего пожалел!..

8

«Пожалел!..» Нет, я не мог, не имел права отдать кому бы то ни было этот нож, единственную память о погибшем друге, единственно уцелевшую его личную вещь.

Но слово я сдержал. В дивизионной артмастерской был слесарь-умелец, пожилой сержант с Урала. Весной он выточил рукоятку Котькиного ножа, теперь я попросил его изготовить точно такую же и поставить на новенькую десантную финку, которую я ему передал. Я не только просил, я привез ему ящичек трофейных слесарных инструментов — тисочки, сверла,

зубила,— мне они были не нужны, он же им обрадовался, как ребенок.

Рукоятку он сделал на совесть — финки можно было различить, пожалуй, лишь по зазубринкам на Котькиной и выгравированным на шишечке ее рукоятки инициалам «К. Х.». Я уже представлял себе, как обрадуется мальчишка, заимев настоящий десантный нож с такой красивой рукояткой; я понимал его: я ведь и сам не так давно был подростком.

Эту новую финку я носил на ремне, рассчитывая при первой же встрече с Холиным или с подполковником Грязновым передать им: глупо было бы полагать, что мне самому доведется встретиться с Иваном. Где-то он теперь? — я и представить себе не мог, не раз вспоминая его.

А дни были горячие: дивизии нашей армии форсировали Днепр и, как сообщалось в сводках Информбюро, «вели успешные бои по расширению плацдарма на правом берегу...».

Финкой я почти не пользовался; правда, однажды в рукопашной схватке я пустил ее в ход, и, если бы не она, толстый, грузный ефрейтор из Гамбурга, наверное, рассадил бы мне лопаткой голову.

Немцы сопротивлялись отчаянно. После восьми дней тяжелых наступательных боев мы получили приказ занять оборону, и тут-то в начале ноября, в ясный холодный день, перед самым праздником, я встретился с подполковником Грязновым.

Среднего роста, с крупной, посаженной на плотное туловище головой, в шинели и в шапке-ушанке, он расхаживал вдоль обочины большака, чуть волоча правую ногу — она была перебита еще в финскую кампанию. Я узнал его издали сразу, как вышел на опушку рощи, где располагались остатки моего батальона. «Моего» — я мог теперь говорить так со всем основанием: перед форсированием меня утвердили в должности командира батальона.

В роще, где мы расположились, было тихо, поседевшие от инея листья покрывали землю, пахло пометом и конской мочой. На этом участке входил в прорыв гвардейский казачий корпус, и в роще казаки делали привал. Запахи лошади и коровы с детских лет ассоциируются у меня с запахом парного молока и горячего, только вынутого из печки хлеба. Вот и сейчас мне вспомнилась родная деревня, где в детстве каждое лето я жил у бабки, маленькой, сухонькой, без меры любившей меня старушки. Все это было вроде недавно, но представлялось мне теперь далеким-далеким и неповторимым, как и все довоенное...

Воспоминания детства кончились, как только я вышел на опушку. Большак был забит немецкими машинами, сожженными, подбитыми и просто брошенными; убитые немцы в различ-

ных позах валялись на дороге, в кюветах; серые бугорки трупов виднелись повсюду на изрытом траншеями поле. На дороге, метрах в пятидесяти от подполковника Грязнова, его шофер и лейтенант-переводчик возились в кузове немецкого штабного бронетранспортера. Еще четверо — я не мог разобрать их званий — лазали в траншеях по ту сторону большака. Подполковник что-то им кричал — из-за ветра я не расслышал что.

При моем приближении Грязнов обернул ко мне изрытое оспинами, смуглое мясистое лицо и грубоватым голосом воскликнул, не то удивляясь, не то обрадованно:

— Ты жив, Гальцев?!

— Жив! А куда я денусь? — улыбнулся я. — Здравия желаю!

— Здравствуй! Если жив, — здравствуй!

Я пожал протянутую мне руку, оглянулся и, убедившись, что, кроме Грязнова, меня никто не услышит, обратился:

— Товарищ подполковник, разрешите узнать: что Иван, вернулся?

— Иван?.. Какой Иван?

— Ну мальчик, Бондарев.

— А тебе-то что, вернулся он или нет? — недовольно спросил Грязнов и, нахмурясь, посмотрел на меня черными хитроватыми глазами.

— Я все-таки переправлял его, понимаете...

— Мало ли кто кого переправлял! Каждый должен знать то, что ему положено. Это закон для армии, а для разведки в особенности!

— Но я для дела ведь спрашиваю. Не по службе, личное... У меня к вам просьба. Я обещал ему подарить... — Расстегнув шинель, я снял с ремня нож и протянул подполковнику. — Прошу, передайте. Как он хотел иметь его, вы бы только знали!

— Знаю, Гальцев, знаю, — вздохнул подполковник и, взяв финку, осмотрел ее. — Ничего. Но бывают лучше. У него этих ножей с десятков, не меньше. Целый сундучок собрал... Что поделаешь — страсть! Возраст такой. Известное дело — мальчишка!.. Что ж... если увижу, передам...

— Так он что... не вернулся? — в волнении проговорил я.

— Был. И ушел... Сам ушел...

— Как же так?

Подполковник насупился и помолчал, устремив свой взгляд куда-то вдаль. Затем низким, глуховатым басом тихо сказал:

— Его отправляли в училище, и он было согласился. Утром должны были оформить документы, а ночью он ушел... И ви-

нить его не могу: я его понимаю. Это долго объяснять, да и не к чему тебе...

Он обратил ко мне крупное рябое лицо, суровое и задумчивое:

— Ненависть в нем не перекипела. И нет ему покоя... Может, еще вернется, а скорей всего к партизанам уйдет... А ты о нем забудь и на будущее учти: о закордонниках спрашивать не следует. Чем меньше о них говорят и чем меньше людей о них знает, тем дольше они живут... Встретился ты с ним случайно, и знать тебе о нем — ты не обижайся — не положено! Так что впредь запомни: ничего не было, ты не знаешь никакого Бондарева, ничего не видел и не слышал. И никого ты не переправлял! А потому и спрашивать нечего. Вник?..

...И я больше не спрашивал. Да и спрашивать было некого. Холин вскоре погиб во время поиска: в предрассветной полутьме его разведгруппа напоролась на засаду немцев — пулеметной очередью Холину перебило ноги; приказав всем отходить, он залег и отстреливался до последнего, а когда его схватили, подорвал противотанковую гранату... Подполковник же Грязнов был переведен в другую армию, и больше я его не встречал.

Но забыть об Иване — как посоветовал мне подполковник — я, понятно, не мог. И, не раз вспоминая маленького разведчика, я никак не думал, что когда-нибудь встречу его или же узнаю что-либо о его судьбе.

9

В боях под Ковелем я был тяжело ранен и стал «ограниченно годным»: меня разрешалось использовать лишь на нестроевых должностях в штабах соединений или же в службе тыла. Мне пришлось расстаться с батальоном и с родной дивизией. Последние полгода войны я работал переводчиком разведотдела корпуса на том же 1-м Белорусском фронте, но в другой армии.

Когда начались бои за Берлин, меня и еще двух офицеров командировали в одну из оперативных групп, созданных для захвата немецких архивов и документов.

Берлин капитулировал 2 мая, в три часа дня. В эти исторические минуты наша опергруппа находилась в самом центре города, в полуразрушенном здании на Принц-Альбрехтштрассе, где совсем недавно располагалась «Гехайме-стаатс-полицай» — государственная тайная полиция.

Как и следовало ожидать, большинство документов немцы

успели вывезти либо же уничтожили. Лишь в помещениях четвертого — верхнего — этажа были обнаружены невесть как уцелевшие шкафы с делами и огромная картотека. Об этом радостными криками из окон возвестили автоматчики, первыми ворвавшиеся в здание.

— Товарищ капитан, там во дворе в машине бумаги! — подбежав ко мне, доложил солдат, широкоплечий приземистый коротыш.

На огромном, усеянном камнями и обломками кирпичей дворе гестапо раньше помещался гараж на десятки, а может, на сотни автомашин; из них осталось несколько — поврежденных взрывами и неисправных. Я огляделся: бункер, трупы, воронки от бомб, в углу двора — саперы с миноискателем.

Невдалеке от ворот стоял высокий грузовик с газогенераторными колонками. Задний борт был откинут — в кузове из-под брезента виднелись труп офицера в черном эсэсовском мундире и увязанные в пачки толстые дела и папки.

Солдат неловко забрался в кузов и подтащил связки к самому краю. Я финкой взрезал эрзац-веревку.

Это были документы ГФП — тайной полевой полиции, — группы армий «Центр»; относились они к зиме 1943/44 года. Докладные о карательных «акциях» и агентурных разработках, розыскные требования и ориентировки, копии различных донесений и спецсообщений, они повествовали о героизме и малодушии, о расстрелянных и народных мстителях, о пойманных и неуловимых. Для меня эти документы представляли особый интерес: Мозырь и Петриков, Речица и Пинск — столь знакомые места Гомельщины и Полесья, где проходил наш фронт, — вставали передо мной.

В делах было немало учетных карточек — анкетных бланков с краткими установочными данными тех, кого искала, ловила и преследовала тайная полиция. К некоторым карточкам были приклеены фотографии.

— Кто это? — Стоя в кузове, солдат, наклонясь, тыкал толстым коротким пальцем и спрашивал меня: — Товарищ капитан, кто это?

Не отвечая, я в каком-то оцепенении листал бумаги, просматривал папку за папкой, не замечая мочившего нас дождя. Да, в этот величественный день нашей победы в Берлине моросил дождь, мелкий, холодный, и было пасмурно. Лишь под вечер небо очистилось от туч и сквозь дым проглянуло солнце.

После десятидневного грохота ожесточенных боев воцарилась тишина, кое-где нарушаемая автоматными очередями. В центре

города полыхали пожары, и если на окраинах, где много садов, буйный запах сирени забивал все остальные, то здесь пахло гарью; черный дым стелился над руинами.

— Несите все в здание! — наконец приказал я солдату, указывая на связки, и машинально открыл папку, которую держал в руке. Взглянул — и сердце мое сжалось: с фотографии, приклеенной к бланку, на меня смотрел Иван Буслов...

Я узнал его сразу по скуластому лицу и большим, широко расставленным глазам — я ни у кого не видел глаз, расставленных так широко.

Он смотрел исподлобья, сбычась, как тогда, при нашей первой встрече в землянке на берегу Днепра. На левой щеке ниже скулы темнел кровоподтек.

Бланк с фотографией был не заполнен. С замирающим сердцем я перевернул его — снизу был подколот листок с машинописным текстом: копией спецсообщения начальника тайной полевой полиции 2-й немецкой армии.

«№... ГОР. ЛУНИНЕЦ. 26.12.43 г. СЕКРЕТНО.
НАЧАЛЬНИКУ ПОЛЕВОЙ ПОЛИЦИИ ГРУППЫ
«ЦЕНТР»...

...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги, чином вспомогательной полиции Ефимом Титковым был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежавший в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калинковичи — Клинск.

При задержании неизвестный (как установлено, местной жительнице Семиной Марии он назвал себя «Иваном») оказал яростное сопротивление, прокусил Титкову руку и только при помощи подоспевшего ефрейтора Винц был доставлен в полевую полицию...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... занимался нищенством... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

При обыске «Ивана» были найдены... в карманах носовой платок и 110 (сто десять) оккупационных марок. Никаких вещественных доказательств, уличавших бы его в принадлежности к партизанам или в шпионаже, не обнаружено... Особые приметы: посреди спины, на линии позвоночника, большое родимое пятно, над правой лопаткой — шрам касательного пулевого ранения...

Допрашиваемый тщательно и со всей строгостью в течение четырех суток майором фон Биссинг, обер-лейтенантом Кляммит и фельдфебелем Штамер, «Иван» никаких показаний, способствовавших бы установлению его личности, а также выяснению мотивов его пребывания в запретной зоне и в расположении 23-го армейского корпуса, не дал.

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55.

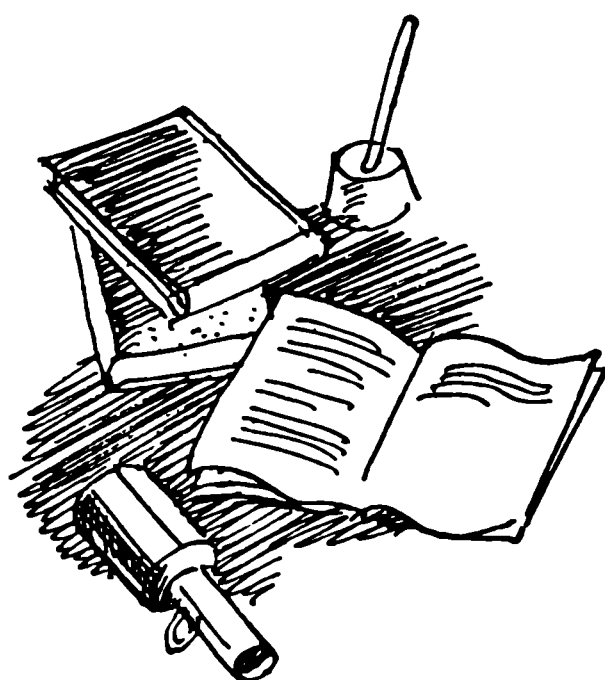
...Титкову... выдано вознаграждение... 100 (сто) марок. Расписка прилагается...»

*Октябрь — декабрь
1957 г.*

ВАСИЛЬ БЫКОВ

ОБЕЛИСК

Повесть



Перевод с белорусского
ГАЛИНЫ КУРЕНЕВОЙ





За два долгих года я так и не выбрал времени съездить в ту не очень и далекую от города сельскую школу. Сколько раз думал об этом, но все откладывал: зимой — пока ослабнут морозы или утихнет метель, весной — пока подсохнет да потеплеет; летом же, когда было и сухо и тепло, все мысли занимал отпуск и связанные с ним хлопоты ради какого-то месяца на тесном, жарком, перенаселенном юге. Кроме того, думал: подъеду, когда станет свободней с работой, с разными домашними заботами. И, как это бывает в жизни, дооткладывался до того, что стало поздно собираться в гости — пришло время ехать на похороны.

Узнал об этом также не вовремя: возвращаясь из командировки, встретил на улице знакомого, давнишнего товарища по работе. Немного поговорив о том о сем и обменявшись несколькими шутивными фразами, уже распрощались, как вдруг, будто вспомнив что-то, товарищ остановился.

— Слышал, Миклашевич умер? Тот, что в Сельце учителем был.

— Как — умер?

— Так, обыкновенно. Позавчера умер. Кажется, сегодня хоронить будут.

Товарищ сказал и пошел — смерть Миклашевича для него, наверно, мало что значила, — а я стоял и растерянно смотрел через улицу. На мгновение я перестал ощущать себя, забыл обо всех своих неотложных делах — какая-то еще не осознанная виноватость внезапным ударом оглушила меня и приковала к этому кусочку асфальта. Конечно, я понимал, что в безвременной смерти молодого сельского учителя никакой моей вины не было, да и сам учитель не был мне ни родней, ни даже близким знакомым, но сердце мое остро защемило от жалости к нему и сознания своей непоправимой вины — ведь я не сделал того, что теперь уже никогда не смогу сделать. Наверно, цепляясь за последнюю возможность оправдаться перед собой, ощутил быстро созревшую решимость поехать туда сейчас же, немедленно.

Время с той минуты, как я принял это решение, помчалось для меня по какому-то особому отсчету, вернее — исчезло ощущение времени. Из всех сил я стал торопиться, хотя удавалось это мне плохо. Дома никого из своих не застал, но даже не написал записки, чтобы предупредить их о моем отъезде, — побежал на автобусную станцию. Вспомнив о делах на службе, попытался дозвониться туда из автомата, который, будто назло мне, исправно глотал медяки и молчал как заклятый. Бросился искать другой и нашел его только у нового здания гастронома, но там в терпеливом ожидании стояла очередь. Ждал несколько минут, выслушивая длинные и мелочные разговоры в синей, с разбитым стеклом будке, поссорился с каким-то парнем, которого принял сначала за девушку — штаны клеш и льняные локоны до воротника вельветовой курточки. Пока наконец дозвонился да объяснил, в чем дело, упустил последний автобус на Сельцо, другого же транспорта в ту сторону сегодня не предвиделось. С полчаса потратил на тщетные попытки захватить такси на стоянке, но к каждой подходившей машине бросалась толпа более проворных, а главное, более нахальных, чем я. В конце концов пришлось выбираться на шоссе за городом и прибегнуть к старому, испытанному в таких случаях способу — голосовать. Действительно, седьмая или десятая машина из города, доверху нагруженная рулонами толя, остановилась на обочине и взяла нас — меня и парнишку в кедах, с сумкой, набитой буханками городского хлеба.

В пути стало немного спокойнее, только порой казалось, что машина идет слишком медленно, и я ловил себя на том, что мысленно ругаю шофера, хотя, на более трезвый взгляд, ехали мы обычно, как и все тут ездят. Шоссе было гладким, асфальти-

рованным и почти прямым, лишь плавно покачивало на пологих взгорках — то вверх, то вниз. День клонился к вечеру, стояла середина бабьего лета со спокойной прозрачностью далей, поредевшими, тронутыми первой желтизной перелесками, вольным простором уже опустевших полей. Поодаль, у леса, паслось колхозное стадо — несколько сот подтелков, все одного возраста, роста, одинаковой буро-красной масти. На огромном поле по другую сторону дороги тарахтел неугомонный колхозный трактор — пахал под зябь. Навстречу нам шли машины, громоздко нагруженные льнотрестой. В придорожной деревне Будиловичи ярко пламенели в палисадниках поздние георгины, на огородах в распаханых бороздах с сухой, полегшей ботвой копались деревенские тетки — выбирали картофель. Природа наполнилась мирным покоем погожей осени; тихая человеческая удовлетворенность просвечивала в размеренном ритме извечных крестьянских хлопот, когда урожай уже выращен, собран, большинство связанных с ним забот — позади, оставалось его обработать, подготовить к зиме и до следующей весны — прощай многотрудное и многозаботное поле.

Но меня эта умиротворяющая благодать природы, однако, никак не успокаивала, а только угнетала и злила. Я опаздывал, чувствовал это, переживал и клял себя за мою застаревшую лень, душевную черствость. Никакие мои прежние причины не казались теперь уважительными, да и вообще были ли какие-нибудь причины? С такой медвежьей неповоротливостью недолго было до конца прожить отпущенные тебе годы, ничего не сделав из того, что, может, только и могло составить смысл твоего существования на этой грешной земле. Так пропади она пропадом, тщетная муравьиная суeta ради призрачного ненасытного благополучия, если из-за него остается в стороне нечто куда более важное. Ведь тем самым опустошается и выхолащивается вся твоя жизнь, которая только кажется тебе автономной, обособленной от других человеческих жизней, направленной по твоему, сугубо индивидуальному житейскому руслу. На самом же деле, как это не сегодня замечено, если она и наполняется чем-то значительным, так это прежде всего разумной человеческой добротой и заботой о других — близких или даже далеких тебе людях, которые нуждаются в этой твоей заботе.

Наверно, лучше других это понимал Миклашевич.

И кажется, не было у него особой на то причины, исключительной образованности или утонченного воспитания, которые выделяли бы его из круга других людей. Был он обыкновенным сельским учителем, наверно, не лучше и не хуже тысяч других городских и сельских учителей. Правда, я слышал, что он пережил трагедию во время войны и чудом спасся от смерти.

И еще — что он очень болен. Каждому, кто впервые встречался с ним, было очевидно, как изводила его эта болезнь. Но я никогда не слышал, чтобы он пожаловался на нее или дал бы кому-либо понять, как ему трудно. Вспомнилось, как мы с ним познакомились во время перерыва на очередной учительской конференции. С кем-то беседуя, он стоял тогда у окна в шумном вестибюле городского Дома культуры, и вся его очень худая, остроплечая фигура с выпирающими под пиджаком лопатками и худой длинной шеей показалась мне сзади удивительно хрупкой, почти мальчишечьей. Но стоило ему тут же обернуться ко мне своим увядшим, в густых морщинах лицом, как впечатление сразу менялось — думалось, что это довольно побитый жизнью, почти пожилой человек. В действительности же, и я это знал точно, в то время ему шел только тридцать четвертый год.

— Слышал о вас и давно хотел обратиться с одним запутанным делом, — сказал тогда Миклашевич каким-то глухим голосом.

Он курил, стряхивая пепел в пустой коробок из-под спичек, который держал в пальцах, и я, помнится, невольно ужаснулся, увидев эти его нервно дрожащие пальцы, обтянутые желтой сморщенной кожей. С недобрый предчувствием я поспешил перевести взгляд на его лицо — усталое, оно было, однако, удивительно спокойным и ясным.

— Печать — великая сила, — шутливо и со значением процитировал он, и сквозь сетку морщин на его лице проглянула добрая, со страдальческой грустью усмешка.

Я знал, что он ищет что-то в истории партизанской войны на Гродненщине, что сам еще подростком принимал участие в партизанских делах, что его друзья-школьники расстреляны немцами в сорок втором и что хлопотами Миклашевича в их честь поставлен небольшой памятник в Сельце. Но вот, оказывается, было у него и еще какое-то дело, в котором он рассчитывал на меня. Что ж, я был готов. Я обещал приехать, поговорить и по возможности разобраться, если дело действительно запутанное, — в то время я еще не потерял охоту к разного рода запутанным, сложным делам.

И вот — опоздал.

В небольшом придорожном леске с высоко вознесшимися над дорогой шапками сосен шоссе начинало плавное широкое закругление, за которым показалось наконец и Сельцо. Когда-то это была помещичья усадьба с пышно разросшимися за много десятков лет суковатыми кронами старых вязов и лип, скрывавшими в своих недрах старосветский особняк — школу. Машина неторопливо приближалась к повороту в усадьбу, и это приближение новой волной печали и горечи охватило меня — я

подъезжал. На миг появилось сомнение: зачем? Зачем я еду сюда на эти печальные похороны, надо было приехать раньше, а теперь кому я могу быть тут нужен, да и что тут может понадобиться мне? Но, по-видимому, рассуждать таким образом уже не имело смысла, машина стала замедлять ход. Я крикнул парнишке-попутчику, который, судя по его спокойному виду, ехал дальше, чтобы тот постучал шоферу, а сам по шершавым рулонам толя подобрался к борту, готовясь спрыгнуть на обочину.

Ну, вот и приехал. Машина, сердито стрельнув из выхлопной трубы, покатила дальше, а я, разминая затекшие ноги, немного прошел по обочине. Знакомая, не раз виденная из окна автобуса, эта развилка встретила меня со сдержанной похоронной печалью. Возле мостика через канаву торчал столбик со знаком автобусной остановки, за ним был виден знакомый обелиск с пятью юношескими именами на черной табличке. В сотне шагов от шоссе вдоль дороги к школе начиналась старая узковатая аллея из широкоствольных, развалившихся в разные стороны вязов. В дальнем конце ее на школьном дворе ждали кого-то «газик» и черная, видимо райкомовская, «Волга», но людей там не было видно. «Наверно, люди теперь в другом месте», — подумал я. Но я даже толком не знал, где здесь находится кладбище, чтобы пойти туда, если еще имело какой-то смысл туда идти.

Так, не очень решительно я вошел в аллею под многоярусные кроны деревьев. Когда-то, лет пять назад, я уже бывал тут, но тогда этот старый помещичий дом, да и эта аллея не показались мне такими подчеркнуто молчаливыми: школьный двор тогда полнился голосами детей — как раз была перемена. Теперь же вокруг стояла недобрая, погребальная тишина — даже не шелестела, затаившись в предвечернем покое, поредевшая, желтеющая листва старых вязов. Укатанная гравийная дорожка вскоре вывела на школьный двор — впереди высился некогда пышный, в два этажа, но уже обветшалый и запущенный, с треснувшей по фасаду стеной старосветский дворец: фигурная балюстрада веранды, беленые колонны по обе стороны парадного входа, высокие венецианские окна. Мне следовало спросить у кого-нибудь, где хоронят Миклашевича, но спросить было не у кого. Не зная, куда деваться, я растерянно потоптался возле машин и уже хотел войти в школу, как из той же парадной аллеи, едва не наехав на меня, выскочил еще один запыленный «газик». Он тут же лихо затормозил, и из его брезентового нутра вывалился знакомый мне человек в измятой зеленой «болонье». Это был зоотехник из областного управления сельского хозяйства, который теперь, как я слышал, работал где-то в районе. Лет пять мы не виделись с ним, да и вообще наше

знакомство было шапочным, но сейчас я искренне обрадовался его появлению

— Здорово, друг,— приветствовал меня зоотехник с таким оживлением на упитанном самодовольном лице, словно мы явились сюда на свадьбу, а не на похороны.— Тоже, да?

— Тоже,— сдержанно ответил я.

— Они там, в учительском доме,— сразу приняв мой сдержанный тон, тише сказал приехавший.— А ну, давай пособи.

Ухвативши за угол, он выволок из машины ящик со сверкающими рядами бутылок «Московской», за которой, видно, и ездил в сельпо или в город. Я подхватил ношу с другой стороны, и мы, минуя школу, пошли по тропке меж садовых зарослей куда-то в сторону недалекого флигеля с квартирами учителей.

— Как же это случилось? — спросил я, все еще не в состоянии свыкнуться с этой преждевременной смертью.

— А так! Как все случается. Трах, бах — и готово. Был человек — и нет.

— Хоть болел перед тем или как?

— Болел! Он всю жизнь болел. Но работал. И доработался до ручки. Пойдем вот да выпьем, пока есть такая возможность.

В старом, довольно обветшалом, с облупившейся штукатуркой флигеле за поредевшими кустами сирени, среди которых свежо и сочно рдела осыпанная гроздьями рябина, слышался приглушенный говор многих людей, по которому можно было судить, что самое важное и последнее тут уже окончено. Шли поминки. Низкие окна приземистого флигеля были настежь раскрыты, между раздвинутых занавесок виднелась чья-то спина в белой нейлоновой сорочке и рядом льняная копна высокой женской прически. У крыльца стояли и курили двое небритых, в рабочей одежде мужчин. Они скупно переговаривались о чем-то, потом умолкли, перехватили у нас ящик и понесли его в дом. По узкому коридорчику мы пошли за ними.

В небольшой комнате, из которой теперь было вынесено все, что можно вынести, стояли сдвинутые впритык столы с остатками питья и закусок. Десятка два сидевших за ними людей были заняты разговорами и куревом — сигаретный дым витыми космами тянулся к окнам. Заметно угасший темп поминок свидетельствовал, что идут они не первый уже час, и я понял, что мое запоздалое появление хуже отсутствия и легко могло быть истолковано не в мою пользу. Но не братья же за шапку, коль уж приехал.

— Садитесь, вот и местечко есть,— скорбным голосом пригласила к столу пожилая женщина в темной косынке, не спрашивая, кто я и зачем пришел: наверно, такое появление тут было делом обычным.

Я послушно сел на низковатую за высоким столом табуретку, стараясь не привлекать к себе внимания этих людей. Но рядом кто-то уже поворачивал ко мне свое отечное, немолодое, мокрое от пота лицо.

— Опоздал? — просто сказал человек. — Ну что ж... Нет больше нашего Павлика. И уже не будет. Выпьем, товарищ.

Он сунул мне в руки явно не допитый кем-то, со следами чужих пальцев стакан водки, сам взял со стола другой.

— Давай, брат. Земля ему пухом.

— Что ж, пусть будет пухом.

Мы выпили. Чьей-то вилкой я подцепил с тарелки кружок огурца, сосед непослушными пальцами принялся вылушивать из помятой пачки «Примы», наверно, последнюю там сигарету. В это время женщина в темном платье поставила на стол несколько новых бутылок «Московской», и мужские руки стали разливать ее по стаканам.

— Тише! Товарищи, прошу тише! — сквозь шум голосов раздался откуда-то из переднего угла громкий, не очень трезвый голос. — Тут хотят сказать.

— Ксендзов, заведующий районо, — густо дохнув сигаретным дымом, прогудел над ухом сосед. — Что он может сказать? Что он знает?

В дальнем конце стола поднялся с места молодой еще человек с привычной начальственной уверенностью на жестком волевом лице, поднял стакан с водкой.

— Тут уже говорили о нашем дорогом Павле Ивановиче. Хороший был коммунист, передовой учитель. Активный общественник. И вообще... Одним словом, жить бы ему да жить...

— Жил бы, если бы не война, — вставил быстрый женский голос, должно быть учительницы в добротной бежевой кофточке, сидевшей рядом с Ксендзовым.

Заврайоно запнулся, словно сбитый с толку этой репликой, поправил на груди галстук. Говорить ему, судя по всему, было трудно, непривычно на такую тему, он с натугой подбирал слова — может, не было у него нужных на такой случай слов.

— Да, если б не война, — наконец согласился оратор. — Если б не развязанная немецким фашизмом война, которая принесла нашему народу неисчислимые беды. Теперь, спустя двадцать лет после того, как залечены раны войны, восстановлено разрушенное войной хозяйство и советский народ добился выдающихся успехов во всех отраслях экономики, а также культуры, науки и образования и особенно больших успехов в области...

— При чем тут успехи? — вдруг грохнуло над моим ухом, и пустая бутылка на столе, подскочив, покатила между тарелок. — При чем тут успехи? Мы похоронили человека!

Заврайоно недобро умолк на полуслове, а все сидевшие

за столом настороженно, почти с испугом начали озира́ться на моего соседа. Немолодые уже глаза того на покрасневшем, болезненно потном лице явно наливались гневом, большой, перебитый набрякшими венами кулак угрожающе лежал на скатерти. Заведующий районо многозначительно помолчал с минуту и спокойно, с достоинством заметил, словно нарушившему порядок школьнику:

— Товарищ Ткачук, ведите себя пристойно.

— Тише, тише. Ну что вы! — озабоченно склонилась к моему соседу сидевшая рядом с ним женщина.

Но Ткачук, по-видимому, вовсе не хотел сидеть тихо, он медленно поднимался за столом, неуклюже распрямляя свое грузное немолодое тело.

— Это вам надо пристойно. Что вы тут несете про какие-то успехи? Почему, вы не вспомните про Мороза?

Похоже, назревал скандал, и я чувствовал себя не очень удобно в таком соседстве. Но я тут был человек посторонний и не считал себя вправе вмешиваться: кого-то успокаивать или за кого-то вступаться. Заведующему районо, однако, нельзя было отказать в надлежащей на такой случай выдержке.

— Мороз тут ни при чем, — со спокойной твердостью остановил он выпад моего соседа. — Мы не Мороза хороним.

— Очень даже при чем! — почти крикнул сосед. — Это Мороза надо благодарить за Миклашевича!

— Миклашевич — другое дело, — согласился заврайоно и поднял до половины налитый стакан. — Выпьем, товарищи, за его память. Пусть его жизнь послужит для нас примером.

За столом началось обычное после тоста оживление, все выпили. Один только помрачневший Ткачук демонстративно отодвинулся от стола и откинулся к спинке стула.

— Мне с него брать пример поздно. Это он с меня брал пример, если хотите знать, — зло бросил он, ни к кому не обращаясь, и ему никто не ответил.

Заведующий районо старался больше не замечать спорщика, а остальные были поглощены закуской. Тогда Ткачук повернулся ко мне:

— Скажи ты про Мороза. Пусть знают...

— Про какого Мороза? — не понял я.

— Что, и ты не знаешь Мороза? Дожили! Сидим пьем в Сельце, и никто не вспомнит Мороза! Которого здесь должен знать каждый... Что вы так на меня смотрите? — совсем уже разозлился он, поймав на себе чей-то укоризненный взгляд. — Я знаю, что говорю. Мороз — вот кто пример для всех нас. Как для Миклашевича был.

За столом притихли. Тут происходило что-то такое, чего я не понимал, но что, должно быть, отлично понимали другие.

После минутного замешательства все тот же заведующий районо произнес с завидной начальственной твердостью в голосе:

— Прежде чем говорить, следует подумать, товарищ Ткачук.

— Я думаю, что говорю.

— Вот именно.

— Ну, хватит! Тимофей Титович! Хватит вам,— с настойчивой кротостью начала успокаивать его молодая соседка.— Лучше съешьте колбаски. Это домашняя. В городе небось такой нет. А то вы совсем не закусываете...

Но Ткачук, видно, не хотел закусывать и, выдавив желваки на морщинистых щеках, только скрежетал зубами. Потом взял недопитый стакан с водкой и залпом выпил его до дна. На какую-то минуту мутные, покрасневшие глаза его страдальчески упрятались под бровями.

За столами стало тише, все молча закусывали, некоторые курили. Я повернулся к соседу справа — молодому парню в зеленом свитере, с виду учителю или какому-то специалисту из колхоза,— и кивнул в сторону Ткачука:

— Не знаете, кто это?

— Тимофей Титович. Бывший здешний учитель.

— А теперь?

— Теперь на пенсии. В городе живет.

Я сел ровнее и внимательнее присмотрелся к гневному моему соседу. Нет, в городе я, кажется, его не встречал, может, он недавно переехал откуда. На вид он уже стал безразличен ко всему тут и отчужденно примолк, с мрачной сосредоточенностью уставясь на клетчатый край скатерти.

— Из города? — вдруг спросил он, вероятно заметив мой к нему интерес.

— Из города.

— Чем приехал?

— Попутной.

— Своей не имеешь?

— Пока нет.

— Ну, пейте, поминайте, я поехал.

— А вы чем поедете?

— Чем-нибудь. Не первый раз.

— Тогда и я с вами,— вдруг решил я. Остаться тут, кажется, не имело смысла.

Сейчас мне трудно объяснить, почему я пошел за этим человеком, почему, с трудом добравшись до Сельца, так скоро и охотно расставался с усадьбой и школой. Конечно, прежде всего я опоздал. Того, ради которого я направлялся сюда, уже не было на свете, а люди за этими столами меня занимали мало. Но и мой новый попутчик в то время совсем не казался мне ни интересным, ни чем-нибудь привлекательным. Скорее напротив.

Я видел возле себя изрядно подвыпившего, привередливого пенсионера; от его слов о своем превосходстве над покойным несло обычной стариковской похвальбой, всегда не слишком приятной. Даже если он и говорил правду.

Тем не менее с неясным еще чувством облегчения я встал из-за стола и вышел из комнаты. Ткачук оказался грузноватым, кряжистым человеком, в ботинках и сером поношенном костюме с двумя орденскими планками на груди. Похоже, что он крепко выпил, хотя в этом не было ничего удивительного — пережил на похоронах, немного понервничал в споре, причина которого так и осталась для меня непонятной. Но, видно по всему, он не на шутку разозлился и теперь шел впереди по тропинке, подчеркивая свое нерасположение к какому бы то ни было общению.

Так молча мы миновали усадьбу и прошли в аллею. Не доходя до шоссе, пропустили на нем грузовик, кажется, порожний и шедший в направлении города. Можно было бы крикнуть и немного пробежать, но мой спутник не прибавил шагу, и я тоже не проявил особого беспокойства. У столбика со знаком автобусной остановки никого не было, шоссе в обе стороны лежало пустое, до блеска наглянцованное за день.

Мы дошли до развилки и остановились. Ткачук поглядел в одну сторону дороги, в другую и сел где стоял, опустив ноги в неглубокую сухую канаву. Разговаривать со мной он не хотел, это было очевидным, и, чтобы не докучать ему, я отошел в сторонку, не упуская из виду дорогу. Из-за лесного поворота показалась легковушка, частный «Москвич» с горбатым, навьюченным багажом верхом — обдав нас бензинным запахом, он покатил дальше. В той же стороне шоссе, которая теперь больше всего интересовала нас, было совершенно пусто. Низко над дорогой заходило за тучку вечернее солнце. Его пологие лучи слепили глаза, но всматриваться туда, кажется, не имело большого смысла — машин там не было. Теряя интерес к дороге, я по-над канавой прошел к памятнику.

Это был приземистый бетонный обелиск в оградке из штакетника, просто и без лишней затейливости сооруженный руками каких-то местных умельцев. Выглядел он более чем скромно, если не сказать бедно, теперь даже в селах устанавливают куда более роскошные памятники. Правда, при всей его незатейливости, не было в нем и следа заброшенности или небрежения: сколько я помнил, всегда он был тщательно досмотрен и прибран, с чисто подметенной и посыпанной свежим песком площадкой, с небольшой, обложенной кирпичными уголками клумбой, на которой теперь пестрело что-то из поздней цветочной мелочи. Этот чуть выше человеческого роста обелиск за каких-нибудь десять лет, что я его помнил, несколько раз менял свою окраску: был

то белоснежный, беленный перед праздниками известкой, то зеленый, под цвет солдатского обмундирования; однажды проездом по этому шоссе я видел его блестяще-серебристым, как крыло реактивного лайнера. Теперь же он был серым, и, пожалуй, из всех прочих цветов этот наиболее соответствовал его облику.

Обелиск часто менял свой вид, неизменной оставалась лишь черная металлическая табличка с пятью именами школьников, совершивших известный в нашей местности подвиг в годы войны. Я уже не вчитывался в них, я их знал на память. Но теперь удивился, увидев, что тут появилось новое имя — «Мороз А. И.», которое было не очень умело выведено над остальными белой масляной краской.

На дороге со стороны города вновь показалась машина, на этот раз самосвал, он промчал по пустынному шоссе мимо. Поднятая им пыль заставила моего спутника встать с его не слишком подходящего для отдыха места. Ткачук вышел на асфальт и озабоченно посмотрел на дорогу.

— Черт их дождет! Давай потопаем. Нагонит какая, так сядем.

Что ж, я согласился, тем более что погода под вечер стала еще лучше: было тепло и безветренно, ни один листочек на вязах не шелохнулся, а глянцеvitая лента пустынного шоссе так и манила дать волю ногам. Я перепрыгнул канаву, и мы с давно не испытанным наслаждением пошагали по гладкому асфальту, изредка оглядываясь назад.

— Давно вы знали Миклашевича? — спросил я просто для того, чтобы нарушить наше затянувшееся молчание, которое начинало уже угнетать.

— Знал? Всю жизнь. На моих глазах вырос.

— А я совсем его мало знал, — признался я. — Так, встречались несколько раз. Слышал: неплохой был учитель, детей хорошо учил...

— Учил! Учили и другие не хуже. А вот он настоящим человеком был. Ребята за ним табуном ходили.

— Да, теперь это редкость.

— Теперь редкость, а прежде часто бывало. И он тоже в табуне за Морозом ходил. Когда пацаном был.

— Кстати, а кто этот Мороз? Ей-богу, я ничего о нем не слышал.

— Мороз — учитель. Когда-то вместе тут начинали. Я ведь сюда в ноябре тридцать девятого приехал. А он в октябре эту школу открыл. На четыре класса всего.

— Погиб?

— Да, погиб, — сказал Ткачук, неторопливо, вразвалку шагая рядом.

Пиджак его был расстегнут на все пуговицы, узел галстука небрежно сполз набок, под уголок воротника. По тяжелому, не слишком тщательно выбритому лицу промелькнула тень горечи.

— Мороз был нашей болячкой. На совести у обоих. У меня и у него. Ну да я что... Я сдался. А он нет. И вот — победил. Добился своего. Жаль, сам не выдержал.

Кажется, я что-то начинал понимать, о чем-то догадываться. Какая-то история со времен войны. Но Ткачук объяснял так отрывисто и скупое, что многое оставалось неясным. Наверно, надо было бы расспросить понастойчивей, но я не хотел показаться назойливым и только для поддержания разговора вставлял свои банальные фразы.

— Так уж заведено. За все хорошее надо платить. И порой дорогой ценой.

— Да уж куда дороже... Главное, прекрасная была преемственность... Теперь же столько разговоров о преемственности, о традициях отцов... Правда, Мороз не был ему отцом, но преемственность была. Просто на диво! Бывало, смотрю и не могу нарадоваться: ну словно он брат Морозу Алесю Ивановичу. Всем: и характером, и добротой, и принципиальностью. А теперь... Хотя — не может быть, что-то там от него останется. Не может не остаться. Такое не пропадает. Прорастет. Через год, пять, десять, а что-то проклюнется. Увидишь.

— Это возможно.

— Не возможно, а точно. Не может быть, чтобы работа этих людей пропала зря. Тем более после таких смертей. Смерть, она, брат, свой смысл имеет. Великий, я тебе скажу, смысл. Смерть — это абсолютное доказательство. Самый неопровержимый аргумент. Помнишь, как у Некрасова: «Иди в огонь за честь отчизны, за убеждение, за любовь, иди и гибни безупречно, умрешь не даром: дело вечно, когда под ним струится кровь». Вот! А тут крови пролилось ого сколько. Не может быть, чтобы зря. Да и Мороз доказал это самым красноречивым образом. Хотя ты ведь не знаешь...

— Не знаю, — честно признался я. — Когда-то Миклашевич собирался рассказать...

— Знаю. Он говорил. Он тогда к кому только не обращался. И к тебе хотел. Да вот... не успел.

Слова эти отозвались во мне болезненным укором. Недаром чувствовало мое сердце, что, сам того не желая, я все же допустил здесь ошибку. Но кто знал! Кто мог предполагать, что все это обернется таким печальным образом.

— Ты же из редакции? — искоса глянул на меня Ткачук. — Знаю. Фельетончики пишешь и так далее. За правду-матку воюешь. Вот он тогда и задумал подключить тебя к этому

делу — вступить за Мороза. Да нет, Мороз не осужденный, не пугайся. И не какой-то там прислужник немецкий. Тут дело другое...

— Интересно,— сказал я, когда Ткачук ненадолго смолк.— Знал бы я раньше...

— Теперь уже все сделано, нашлись где надо и заступники. Теперь можно и рассказывать. И написать можно. И нужно бы. Миклашевич добился правды. Только вот сам... У тебя закурить найдется? — спросил он, похлопывая себя по пустым карманам.

Я дал ему сигарету, мы оба закурили, посторонились, пропуская черную, блеснувшую никелем «Волгу», которая шустро проскочила мимо. Наверно, «Волга» шла в город, но теперь ни он, ни я не сделали никакой попытки остановить ее — я предчувствовал, что Ткачук продолжит рассказ, а он как-то сосредоточенно ушел в себя, провожая рассеянным взглядом машину.

— Может, взяла бы? А, шут с ней. Пусть едет. Пойдем потихоньку. Тебе сколько лет? Сорок, говоришь? Ну, молодой еще век, многое впереди. Не все, конечно, но многое еще осталось. Если, конечно, здоровье в норме. У меня вот здоровье не сказать чтоб плохое, иной раз еще и чарку могу взять. Но уже не то, что раньше. Раньше я, брат, этого автобуса редко когда и дожидался. А уж в те давнишние времена так и автобусов никаких не было. Надо в город — берешь палку и айда. Двадцать километров за три с половиной часа — и в городе. Теперь, наверно, больше потребуется, давно не ходил. Ноги еще ничего. Хуже вот — нервы сдают. Знаешь, не могу смотреть кино, если жалостливое какое или про войну. Как увижу то горе наше, хоть и давно уже все пережито и помалу забывается, а, знаешь, что-то сжимает в горле. Да еще музыка. Не всякая, конечно, не джазы какие, а песни, которые тогда пели. Как услышу, ну просто нервы пилкой пилит.

— Подлечиться надо. Теперь ведь нервы неплохо лечат.

— Нет, мои уже не вылечат. Шестьдесят два года, что ты хочешь! Жизнь вдрызг истрепала, веревки вила из моих нервов. А ученые говорят — нервные клетки не восстанавливаются... Да. А когда-то тоже был молодой, неженатый, здоровый, что твой Жаботинский. В тридцать девятом после воссоединения Наркомат просвещения направил в Западную¹ организовать школы. Организовывал школы, колхозы, крутился, мотался, сам в школах работал. Вот и в этом самом Сельце после войны семь лет отгрохал...

— Время идет.

— Не идет, а мчится. Когда-то все думал: ну, год-два поработаю, а потом в Минск подамся, в пединституте учиться

¹ Здесь: в Западную Белоруссию.

хотел. Я ведь до войны только учительский двухгодичный окончил. Ну, а жизнь иначе закомандовала. Война началась, никакого педа не вышло, и вот тут и прикипел на всю жизнь. Раньше райком не отпускал, школа, квартира, а теперь вот, когда можно катиться на все стороны, никуда уже и не тянет. Так, видно, и придется остаться в этой земле вместе с Морозом. Разве что с некоторым опозданием.

Он замолчал. Я докурил сигарету и тоже молчал. Мы уже миновали лесок, дорога бежала в выемке, по обе стороны которой высились песчаные откосы с соснами. Тут уже заметно сгустились вечерние сумерки, и даже вершины елей стояли в тени, только безоблачное небо в вышине еще светилось прощальным отсветом зашедшего солнца.

— Сегодня какое число? Четырнадцатое? Как раз в эту пору первый раз приехал в Сельцо. Теперь уже привычное дело все эти стежки-дорожки, а тогда все было новое, интересное. Усадьба эта, где школа, тогда не была такой запущенной, дом стоял ухоженный, раскрашенный, как игрушка. Пан Габрусь в сентябре дал драпака, бросил все, подался, говорили, к румынам, и тут Мороз школу открыл. На школьном дворе перед парадным высились два раскидистых дерева с какой-то серебристой листвой. Не деревья, а прямо-таки гиганты вроде американских секвой. Теперь такие кое-где еще по бывшим усадьбам остались, доживают век. А тогда их было во множестве. У каждого пана, считай.

В тот первый год я работал в районо заведующим. Школы почти все новые, маленькие, то в осадницких, а то и просто в деревенских хатах. Учебников, инвентаря не хватало, да и с учителями туго было до крайности. В этом Сельце вместе с Морозом работала Подгайская, пани Ядя, как мы ее звали. Пожилая такая женщина, жила тут и при Габрусе в том самом флигеле. Тонная была пани, старая дева. Русским языком почти не владела, белорусский немного понимала, зато что касается остального — ого! Воспитания была самого тонкого.

И вот как-то под вечер сижу я в своем кутке в районо, зарылся в бумаги — отчеты, планы, ведомости: ездил по району, неделю не был на месте, все запустил — жуть! Не сразу и услышал, как кто-то скребется в дверь — заходит эта самая пани Ядя. Маленькая, такая щупленькая, но с лисой на шее и в шикарной заграничной шляпке. «Прошу извинить, пан шеф, я, прошу пана, по педагогическому вопросу». — «Что же, садитесь, пожалуйста, слушаю».

Садится на краешек кресла, поправляет свою великолепную шляпку и начинает сыпать почти сплошь по-польски — едва разбираю. Все манеры изысканно воспитанной паненки, а самой лет за пятьдесят, такое сморщенное, хитренькое личико. Что же

оказывается? Оказывается, имеет конфликт со своим шефом в Сельце, коллегой Морозом. Оказывается, этот Мороз не поддерживает дисциплины, как равный ведет себя с учениками, учит без необходимой строгости, не выполняет программ наркомата и самое главное — говорит ученикам, что не надо ходить в костел, пусть туда ходят бабушки.

Ну, насчет костела я, естественно, не слишком беспокоился, подумал: правильно делает Мороз, если так советует. А вот что касается панибратства, дисциплины, игнорирования наркоматовских программ, это меня встревожило. Но кто этот самый Мороз, понятия не имею, в Сельце ни разу еще не был. Ладно, думаю, при первой же возможности махну, посмотрю, что у него там за порядки.

Случай для этого подвернулся, однако, не скоро, но все же недели через две как-то вырвался, взял у хозяина, у которого квартировал, его велосипед, ровар по-здешнему, и рванул по этому вот шоссе. Шоссе, конечно, было не то что нынче — булыжник. Ехать по нему на подводе или на роваре — все равно кишки вытрясешь. Но поехал. Поднажал как следует на педали и через час прикатил в ту самую аллею под вязами. Хотел попасть на урок, но опоздал — занятия уже закончились. Еще издали вижу: на дворе полно детворы, думаю, игра какая, но нет, не игра, — оказывается идет работа. Заготавливают дрова. Бурей повалило то самое заморское дерево во дворе, вот теперь его пилят, колют и сносят в сарайчик. Мне это понравилось. Дров тогда не хватало, каждый день жалобы из школ насчет топлива, а транспорта в районо никакого — где взять, откуда привезти? А эти вишь сообразили и не ждут, когда там в районе надумают обеспечить их топливом, — сами о себе заботятся.

Слез я с велосипеда, все на меня смотрят, я на них: где же заведующий? «Я заведующий», — говорит один, которого я не сразу и заметил, потому что стоял он за толстенным комлем — пилил его с парнишкой, должно быть переростком, ладным таким мальцом лет пятнадцати. Ну, бросает пилу, подходит. И сразу замечаю: хромает. Одна нога как-то вывернута в сторону и вроде не разгибается, поэтому он здорово на нее припадает и кажется как бы ниже ростом. А так ничего парень — плечистый, лицо открытое, взгляд смелый, уверенный. Наверно, догадывается, кто перед ним, но никакой там растерянности или замешательства. Представляется: Мороз Алесь Иванович. Руку пожимает так, что сразу понимаешь: силен. Ладонь шершавая, твердая, должно быть, такая работа ему не впервой. А напарник его стоит там же и пробует водить пилой. Но пила ни с места — попала на сук, а толщина в комле больше метра. Мороз извинился, вернулся, чтобы закончить

зарез, но и вдвоем, гляжу, не очень управятся — пилу чем дальше, тем сильнее зажимает в распиле. Понятное дело: надо что-нибудь подложить. Чтобы подложить, надо сперва приподнять. Мороз бросил пилу, стал приподнимать комель, да в одиночку разве поднимешь. Тут ребяташки, кто постарше, тоже облепили бревно, а оно ни с места. Короче говоря, положил на траву я свой ровар и тоже за тот комель взялся. Силились, силились, кажется, приподняли, еще бы на сантиметр — и можно палку подсунуть, да этот последний сантиметр, как всегда, самый трудный. И тут, как на грех, из-за угла выплывает та самая пани Ядя. Увидела ровар, меня возле комля да так и остолбенела.

Потом, когда я говорил с ней, понять ничего не могла, все поминала матку боску и недоумевала: что за учителя у Советов, имеют ли они хоть малейшее понятие о педагогическом такте и авторитете старших! Не беда, говорю, пани Ядя, авторитета от того не убавится, а дрова в школе будут. В тепле работать будете. Но это потом. А тогда все же распилили мы эту чертову колоду, и я почти уже забыл, зачем приехал, скинул свой единственный пиджачок и пилил на пару с Морозом, потом кололи. Попотел вволю. Дети перенесли дрова в сарайчик, и Мороз отпустил всех по домам.

Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе, спал на роскошной, в стиле барокко, панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеяла, конечно, не было. На ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем как лечь, поели бульбочки, мать одного ученика ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и крынку простокваши. Ужинали и познакомились. Хотя, пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины, уже пять лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства, долго болела да так и осталась. Я осторожненько завел речь о наших обычных делах: программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то и прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав.

Да, он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не заостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке приставлен специалист-предметник, и каждый добивается наилучших знаний по своей специальности.

И потому, скажем, математичке какой-либо бином Ньютона в сто раз дороже всей поэтики Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять деепричастные обороты — мерило всех достоинств школьника. За эти свои запятые он готов ребенка на второй год оставить и в институт не дать ходу. Математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может, — и наверняка — никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще можно ли быть человеком?

Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко многому прочему, приобвыкли, утратили свежесть восприятия. А тогда все выглядело внове, значительнее, и Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хотя я и был старше его лет на пять, членом партии и заведовал всем районо. И он мне сказал той ночью, когда мы лежали рядом — я на его кушетке, а он на столе, — примерно следующее: «С программами в школе действительно не все в порядке, успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе, многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой, их начальные знания не соответствуют нашим программам. Но вовсе не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они — люди, не быдло, не какие-то там вахлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане. Как все. И они, и их учителя, и их родители, и все руководители в районе — все равные в своей стране, ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общечеловеческой культуры». В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, не послушных зубрил, а прежде всего — людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее это понять, а еще труднее — добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано, часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками.

Наверно, мы все-таки плохо знаем и мало изучаем, чем было наше учительство для народа на протяжении его истории. Духовенство — это известно, здесь еще есть более или менее достоверная картина. Роль попа, ксендза на каждом историческом этапе прослежена. А вот что такое сельское учительство в наших школах, что оно значило для нашего некогда темного крестьянского края во времена царизма, Речи Посполитой, в войну, наконец, до и после войны? Это сейчас спроси любого огольца, кем он станет, как вырастет, — скажет: врачом, летчиком, а

то и космонавтом. Да, теперь есть такая возможность. И в действительности так и бывает, до космонавта включительно. А прежде? Если рос, бывало, смысленный парнишка, хорошо учился, что о нем говорили взрослые? Вырастет — учителем будет. И это было высшей похвалой. Конечно, не всем достойным удавалось достигнуть учительской судьбы, но к ней стремились. Это был предел жизненной мечты. И правильно. И не потому, что почетно или легко. Или заработок хороший — не дай бог учительского хлеба, да еще на деревне. Да в те давние времена. Нужда, бедность, чужие углы, деревенская глушь и в конце — преждевременная могила от чахотки... И тем не менее, скажу тебе, не было ничего более важного и нужного, чем та ежедневная, скромная, неприметная работа тысяч безвестных сеятелей на этой духовной ниве. Я так думаю: в том, что мы сейчас есть как нация и граждане, главная заслуга сельских учителей. Пусть, может, я и ошибаюсь, но так считаю.

И тут, как это часто бывает, не обходится без своих энтузиастов. Мороз был именно одним из тех, кто сделал для людей многое, подчас на свой страх и риск, невзирая на трудности и неудачи. А неудач и разных конфликтов у него хватало.

Помню, как-то поехал в Сельцо инспектор из области — через день возвращается разгневанный и возмущенный. Оказывается, очередной скандал. Не успел товарищ инспектор войти в Габрусеву усадьбу, как в аллее его атаковали собаки. Одна черная, на трех лапах, а вторая злая такая, маленькая и вертлявая (полицай потом в войну их постреляли). Да. Ну, пока инспектор опомнился, собаки и располосовали ему штанину. Морозу, конечно, пришлось извиняться, а пани Ядя зашивала пану инспектору брюки, пока тот сидел в пустом классе в своих не слишком, наверно, свежих подштанниках. Оказывается, собаки были школьные. Именно так. Не сельские, не откуда-то с хутора и даже не лично учителя, а общие, школьные. Ребята где-то подобрали эту непотребщину, родители наказали утопить, но перед тем в классе читали тургеневскую «Муму», и вот Алесь Иванович решил: поселить щенков в школе и по очереди их досматривать. Так в Сельце завелись школьные собаки.

А потом появился и школьный скворец. Осенью отстал от своей стаи, поймали его на лугу, мокрого доходягу, и Мороз тоже поселил его в школе. Сначала летал по классу, а потом смастерили клетку — больше для того, чтобы не съел кот. Ну конечно, был там и кот, жалкое такое слепое создание, ничего не видит, а только мяукает — есть просит.

Тем временем быстро темнело. Серая лента дороги, выгибаясь на пригорках, пропадала в сумеречной дали. Горизонт вокруг тоже утонул в сумерках, вечерней дымкой покрылись

поля, а лес вдали казался тусклой глухой полосой. Небо над дорогой совсем померкло, только закатный краешек его за нашими спинами еще сочился далеким отсветом зашедшего солнца. Машины по шоссе шли с включенными фарами, но, как назло, все из города, нам навстречу. После никелированной «Волги» нас не обогнала ни одна машина. Слушая Ткачука, я время от времени оглядывался и еще издалека заметил две светлые точки быстро приближающихся автомобильных фар.

— Идет какая-то.

Ткачук замолчал, остановился и вгляделся тоже; его хмурый массивный профиль четко обозначился на светлом фоне закатного неба.

— Автобус,— сказал он с уверенностью.

Должно быть, мой спутник был дальнотормозим, я на таком расстоянии не мог отличить легковушки от грузовой. И правда, вскоре мы уже оба увидели на шоссе большой серый автобус, который быстро нагонял нас. Вот он ненадолго исчез в невидимой отсюда ложбинке, чтобы затем еще отчетливее появиться из-за пригорка; ярче засверкали колющие огоньки его фар, и даже стал виден тусклый отсвет салона. Автобус, однако, замедлил ход, мигнул одной фарой и остановился, чуть съехав к обочине. Он не дошел до нас каких-нибудь метров триста, и мы, вдруг обнадеженные возможностью подъехать, бросились ему навстречу. Я несколько поспешно сорвался с места, Ткачук тоже попытался бежать, но тут же отстал, и я подумал, что надо хоть мне успеть, чтобы задержать автобус.

Бежать было легко, под уклон, подошвы гулко стучали по асфальту. Все время казалось, автобус вот-вот тронется, но он терпеливо стоял на дороге. Из него даже вышел кто-то, должно быть водитель, оставив открытой дверцу, обошел машину и чем-то раза два стукнул. Я уже был совсем близко и еще больше напряг силы, казалось — добегу, но тут резко хлопнула дверца, и автобус сорвался с места.

Все еще не теряя надежды, я остановился на асфальте и отчаянно замахал рукой: дескать, стой же, возьми! Мне даже показалось, что автобус притормозил, и тогда я снова бросился к нему чуть ли не под самые колеса. Но на ходу открылась дверца кабины, и сквозь взметенную автобусом пыль на дорогу вылетело:

— Нету, нету остановки. Чеши дальше...

Я остался один посреди гладкой полосы асфальта. Вдали, затихая, гудел мотор комфортабельного «Икаруса», на взгорке смутно маячила одинокая фигура Ткачука.

— Чтоб ты провалился, гад! — вырвалось у меня: надо же так обмануть!

Было обидно, хотя я и понимал, что не такое уж это большое

несчастье. Действительно, разве здесь была остановка? А раз не было, так какая нужда междугородному скоростному экспрессу подбирать разных ночных бродяг — для этого есть автобусы местных линий.

И все-таки вид у меня был, наверно, довольно убитый, когда я добрал до Ткачука. Терпеливо дождавшись меня, тот спокойно заметил:

— Не взял? И не возьмет. Они такие. Раньше бы всех подобрал, чтобы на бутылку сшибить. А теперь нельзя — контроль, ну и жмет. Назло себе и другим.

— Говорит, остановки нет.

— Но ведь останавливался. Мог бы... Да что там. Я уж в таких случаях предпочитаю помалкивать: себе дешевле обойдется.

Может, он и был прав: не надо было надеяться — не было бы и разочарования. Значит, придется помаленьку топать дальше. Правда, ноги уже порядком устали, но раз мой попутчик молчал, то и мне, пожалуй, следовало вести себя сдержаннее.

— Да, так, значит, про Мороза, — начал Ткачук, возвращаясь к прерванному рассказу. — Второй раз наведаясь я в Сельцо зимой. Холода стояли лютые, помнишь же, наверно, зиму сорокового — сорок первого года: сады вымерзли. Мне-то еще повезло, подъехал с каким-то дядькой в санях, ноги зарыл в сено, и то замерзли, думал, отморозил совсем. До школы едва добежал, было поздно, вечер, но в окошке горит свет, постучал. Вижу, будто кто-то глядит сквозь намерзшее стекло, а не открывает. Что, думаю, за напасть, уж не завел ли тут мой Алесь Иванович какие-нибудь шуры-муры. «Открой, — говорю. — Это я, Ткачук, из районо». Наконец открывается дверь, где-то лает собака, вхожу. Передо мной парнишка с лампой в руках. «Ты что тут делаешь?» — спрашиваю. «Ничего, — говорит. — Чистописание пишу». — «А почему домой не идешь? Или, может, Алесь Иванович после уроков оставил?» Молчит. «А где сам учитель?» — «Повел Ленку Удодову с Ольгой». — «Куда повел?» — «Домой». Ничего не понимаю: какая нужда учителю учеников по домам разводить? «А что, он всех домой провожает?» — спрашиваю, а сам уже злюсь за такую встречу. «Нет, говорит, не всех. А этих потому, что маленькие, а через лес идти надо».

Ну что ж, думаю, ладно. Разделся, начал отогреваться, настроение пошло на улучшение. Но вот минул час, а Мороза все нет. «Так сколько до того села будет?» — спрашиваю. Говорит: «Версты три будет». Ладно, что ж делать, сидим, ждем. Парнишка в тетрадке пишет. «А тебя он, наверное, оставил печку топить?» — спрашиваю. — Ты где живешь?» — «Тут и живу, —

отвечает.— Меня Алесь Иванович к себе взял, а то мой татка дерется». Э, вот оно, оказывается, в чем дело. Как бы оно не обернулось новыми неприятностями. И скажу тебе, забегая вперед, так и вышло. Как я предчувствовал, так и получилось.

Часа через три возвращается Мороз. Ни стука, ни шагов, ничего, кажется, не было слышно, только парнишка тот, Павлик... Да, да, ты угадал. Именно Павлик, Павел Иванович, будущий товарищ Миклашевич... Тогда был таким черноглазым, шустрым мальчонкой. Так вот Павлик срывается, бежит через класс и открывает дверь. Вваливается Мороз весь заиндевелый, заснеженный, ставит в угол свою палочку с ручкой наподобие козлиной головы. Поздоровались. Объясняет, почему задержался. Оказывается, довел он этих девчушек домой, а там неприятность: что-то случилось с коровой, не могла растелиться, вот и задержался учитель, помогал матери. А девчушки? Ну, это простая история. Наступили холода, мать забрала их из школы: дескать, обувь плохая и ходить далеко. В ту пору все это было делом обычным, но девчушки, славные такие близнята, хорошо учились, и Мороз понимал, что это означало для матери-вдовы (отец в тридцать девятом погиб под Гдыней). И он уломал бабу, купил девочкам по паре ботинок — стали учиться. Только когда прибыло ночи, забоялись одни ходить через лес, надо было проводить кому-то. Обычно это делал переросток Коля Бородич, тот, что некогда с учителем пилил колоду. А в тот день Бородич почему-то не пришел в школу, дома понадобился, вот и довелось учителю идти в провожатые.

Рассказал это он, я молчу. Черт знает, что ему сказать, педагогично это или нет, тут все наши педпостулаты попутались. Мороз вообще был мастер путать постулаты, и я уже стал привыкать к этой его особенности. А про его квартиранта мы тогда не очень-то и говорили. Он сказал только, что парнишка побудет пока в школе: дома, мол, нелады. Ну что ж, думаю, пусть. Тем более такие холода стоят.

И вот спустя каких-нибудь две недели вызывают меня к прокурору. Что, думаю, за напасть, не любил я этих законников, от них всегда жди неприятностей. Прихожу, а там сидит незнакомый дядька в кожаной куртке, и прокурор района товарищ Сивак строго так наказывает мне ехать в Сельцо и забрать у гражданина Мороза сына этого вот гражданина Миклашевича. Я попытался было возразить, но не тут-то было. Прокурор в таких случаях, как дубинкой, бил одним аргументом: закон! Ладно, думаю, закон так закон. Сели в милицкий возок и с участковым да с Миклашевичем покатили в Сельцо.

Приехали, помню, к концу занятий, вызвали Мороза, стали объяснять, в чем дело: постановление прокурора, на стороне

гражданина Миклашевича закон, надо вернуть парнишку. Мороз выслушал все молча, позвал Павла. Тот как увидел отца — съежился, будто зверек, близко не подходит. А тут вся детвора за дверьми, оделись, а по домам не расходятся, ждут, что будет дальше. Мороз и говорит Павлику: так, мол, и так, поедешь домой, так надо. А тот ни с места. «Не пойду,— говорит.— Я у вас хочу жить». Ну, Мороз неубедительно так, конечно, неискренне объясняет, что жить у него больше нельзя, что по закону сын должен жить с отцом и, в данном случае, с мачехой (мать недавно умерла, отец женился на другой, ну и пошли нелады с мальчишкой — известное дело). Едва уговорил парня. Тот, правда, заплакал, но надел свой пиджачок, собрался в дорогу.

И вот картина! Как сейчас, все перед глазами, хоть минуло уже... Сколько же это? Должно быть, лет тридцать. Мы стоим на веранде, дети толпятся во дворе, а Миклашевич-старший в длинном красном кожаном пальто ведет к шоссе Павлика. Атмосфера напряженная, детвора на нас не смотрит, милиционер молчит, Мороз просто оцепенел. Те двое далековато уже отошли по аллейке и тут, видим, останавливаются, отец тормозит сына за руку, тот начинает вырываться, да куда там, не вырвешься. Потом Миклашевич одной рукой снимает с кожаного пальто ремень и начинает бить сына. Не дождавшись, пока уйдут с чужих глаз. Павлик вырывается, плачет, детвора во дворе шумит, некоторые поворачиваются в нашу сторону с упреком в глазах — чего-то ждут от своего учителя. И что ты думаешь? Мороз вдруг срывается с веранды и, хромя, через двор — туда. «Стойте, кричит, прекратите избиение!»

Миклашевич и впрямь остановился, перестал бить; сопит, зверем смотрит на учителя, а тот подходит, вырывает Павлову руку из отцовской и говорит прерывающимся от волнения голосом: «Вы у меня его не получите! Понятно?» Миклашевич, разъяренный,— к учителю, но и Мороз, не гляди, что калека, тоже грудью вперед и готов в драку. Ну, тут уж мы подросли, разняли, не дали подраться.

Разнять-то разняли, а что дальше? Павлик убежал в школу, отец ругается и грозит, я молчу. Милиционер ждет — он что, он исполнитель. Кое-как утихомирили обоих. Миклашевич пошел на шоссе, а мы втроем остались — что делать? Тем более, что Мороз сразу объявил с присущей ему категоричностью: такому отцу парня не отдам.

Вернулись с милиционером в район ни с чем, наказ прокурорский не выполнили. Передали все дело на исполком, назначили комиссию, а отец тем временем подал в суд. Да, было хлопот и неприятностей и ему и мне — хватило обоим. Но Мороз все-таки своего добился: комиссия решила передать парня в

детдом. Правда, с выполнением этого соломонова решения Мороз не спешил, и, наверное, правильно делал.

Тут еще надо вспомнить одно обстоятельство. Дело в том, что, как я уже говорил, школы создавались заново, почти всего не хватало. Каждый день в район приезжали из деревень учителя, жаловались на условия, просили то парты, то доски, то дрова, то керосин, то бумагу — и, уж конечно, учебники. Учебников не хватало, мало было библиотек. А читали здорово, читали все: школьники, учителя, молодежь. Книги добывали где только было возможно. Мороз, когда приезжал в местечко, заседал на меня чаще всего с одной просьбой: дайте книг. Кое-что я, конечно, ему давал, но, понятно, не много. К тому же, признаться, думал: школа маленькая, зачем ему там большая библиотека? Тогда он взялся добывать книги сам.

Километрах в трех от райцентра, может, знаешь, есть село Княжево. Село как село, ничего там княжеского нет, но когда-то неподалеку от него была панская усадьба, — в войну при немцах сгорела. А при поляках там жил какой-то богатый пан, после него осталась всякая всячина и, понятно, библиотека. Я там был как-то, поглядел, — казалось, ничего подходящего. Книг много, новые и старые, но все на польском да на французском. Мороз выпросил разрешение съездить туда, отобрать кое-что для школы.

И знаешь, ему повезло. Где-то, на чердаке, кажется, откопал сундук с русскими книгами, и среди всего не слишком стоящего — разных там годовых комплектов «Нивы», «Мира божьего», «Огонька» — оказалось полное собрание сочинений Толстого. Мне он об этом ничего не сказал, а в первый же выходной взял в Сельце фурманку, ученика того, переростка, и — в Княжево. Но дело было к весне, дорога раскисла, как на беду, снесло мост, близко к усадьбе никак не подъехать. Тогда он начал носить книги через реку по льду. Все шло хорошо, но в самом конце, уже в потемках, провалился у берега. Правда, ничего страшного не случилось, но ноги промочил до колен, простудился и слег. Да слег основательно, на месяц. Воспаление легких.

Мне сказал об этом приезжий дядька из Сельца, и вот я ломаю голову: как быть? Учитель болеет, школу хоть закрывай. Пани Ядя, помнится, тогда уже не работала, выехала куда-то, замены ему никакой нет, ребятам раздолье. Знаю, надо бы съездить, да времени нет — мотаюсь по району: открываем школы, организуем колхозы. И все же как-то проездом завернул в ту аллею. Дай, думаю, проведаю Мороза, как он там, жив ли?

Захожу в коридор — на вешалке полно одежды, ну, думаю, слава богу, значит, поправился, наверно, идут занятия. Открываю дверь в класс: стоит штук шесть парт и — пусто. Что, думаю, за лихо, где же дети? Прислушался: как будто разговор

где-то, тихий такой, складный, словно молится кто-то. Еще прислушался: совсем чудно — слышу монолог князя Андрея под Аустерлицем. Помнишь: «Где оно, это высокое небо, которого я не знал до сих пор и увидел нынче... И страдания этого я не знал также... Да, я ничего этого не знал до сих пор. Но где я?..»

Мне тоже почудилось: где я? Такого я не слышал уже лет десять, а когда-то, студентом, этот отрывок сам декламировал на литературном вечере.

Тихонько открываю дверь — в Морозовой боковушке полно детей, расселись кто где: на столе, на скамейках, на подоконнике и на полу. Сам Мороз лежит на своей кушетке укрытый кожушком и читает. Читает Толстого. И такая тишина и внимание, что муха не слышна. На меня никто не оглянулся — не замечают. И я стою, не знаю, что делать. Первое побуждение: просто закрыть дверь и уехать.

Но все-таки вспомнил, что я начальство, заведующий районо и ответственный за педпроцесс в районе. Это хорошо — читать Толстого, но, наверно, и программу выполнять надо. А уж если ты можешь читать «Войну и мир», так, должно быть, и учить можешь? А то зачем же ученикам брести за столько километров в это Сельцо?

Примерно так я сказал Морозу, когда мы отправили учеников и остались одни. А он говорит в ответ, что все те программы, весь тот материал, что он пропустил за месяц болезни, не стоят двух страничек Толстого. Я позволил себе не согласиться, и мы поспорили.

В ту весну Мороз усиленно изучал Толстого, сам перечитывал всего, многое прочитал ребятам. То была наука! Это теперь любой студент или старшеклассник, только заведи с ним разговор о Толстом или Достоевском, перво-наперво начнет тебе толковать об их недостатках и заблуждениях. В чем состоит величие этих гениев, надо еще допытываться, а вот их недостатки у каждого наперечет. Вряд ли кто помнит, на какой горе лежал раненный под Аустерлицем князь Андрей, а вот по части ошибочности непротивления злу насилием с уверенностью судит каждый. А Мороз не ворошил толстовские заблуждения — он просто читал ученикам и сам вбирал в себя все дочиста, душой вбирал. Чуткая душа, она прекрасно сама разберется, где хорошее, а где так себе. Хорошее войдет в нее как свое, а прочее быстро забудется. Ответся, как на ветру зерно от половы. Теперь я это понял отлично, а тогда что ж... Был молод, да еще начальник.

Обычно в мальчишеской компании находится кто-то постарше или посообразительнее, который своим характером или авторитетом подчиняет себе остальных. В той школе в Сельце, как

мне потом говорил Миклашевич, таким заводилой стал Коля Бородич. Если ты помнишь, его фамилия стояла первой на памятнике, а теперь вторая, после Мороза. И это правильно. Во всей этой истории с мостом именно Коля сыграл первую скрипку...

Я видел его несколько раз, всегда он был рядом с Морозом. Плечистый такой, приметный парень, упрямого, молчаливого характера. Судя по всему, очень любил учителя. Просто был предан ему безгранично. Правда, никогда я не слышал от него ни единого слова — всегда он поглядывает исподлобья и молчит, словно сердится за что-то. Было ему в ту пору шестнадцать лет. При панах, понятно, не очень учился, у Мороза ходил в четвертый класс. Да, еще один факт: в сороковом закончил четвертый, надо было подаваться в НСШ за шесть километров, в Будиловичи. Так он не пошел. Знаешь, попросился у Мороза ходить второй год в четвертый. Лишь бы в Сельце.

Мороз, кроме того, что учил по программе и устраивал читку книг вне программы, занимался еще и самодеятельностью. Ставили, помню, «Павлинку», какие-то пьески, декламировали, пели, как обычно. Ну и, конечно, были в их репертуаре антирелигиозные номера, всякие там басни про попа и ксендза. И вот об этих-то номерах прослышал ксендз из Скрылева, который во время службы в очередной праздник пренебрежительно отозвался об учителе из Сельцовой школы. Как выяснилось потом, довольно подло оскорбил его за хромоту, словно тот был в этом виновен. Кстати, об этом узнали позже. А сперва случилось вот что.

Как-то встречает меня в столовке все тот же наш прокурор Сивак, говорит: зайди в прокуратуру. Я уже говорил, что страх как не любил этих визитов, но что поделаешь, не откажешься — надо идти. И вот, оказывается, в прокуратуру поступила жалоба от скрылевского ксендза на злоумышленника, который влез в святой храм и осквернил алтарь или как там у них, католиков, называется эта штукавина. Что-то написал там. Служки, однако, поймали осквернителя — им оказался сельцовский школьник Микола Бородич. Теперь ксендз и группа прихожан ходатайствуют перед властями о наказании школьника, а заодно и его учителя.

Что тут делать — опять разбираться? Через неделю в Сельцо выезжают следователь, участковый, какое-то духовное начальство из Гродно. Бородич не отпирается: да, хотел отомстить ксендзу. Но за кого и за что — не говорит. Ему втолковывают: «Не признаешься честно — засудят, не посмотрят, что малолеток». — «Ну и пусть, — говорит, — засудят».

И что же ты думаешь, чем это кончилось? Мороз всю вину взял на себя, доложил начальству, будто все это — результат его не совсем продуманного воспитания. Хлопотал, ездил куда-то в

центр — и парня оставили в покое. Надо ли тебе говорить, что после этого не только школьники в Сельце, но и крестьяне со всей округи стали смотреть на Мороза как на какого-то своего заступника. Что у кого было трудного или хлопотного, со всем шли к нему в школу. Настоящий консультационный пункт открыл по различным вопросам. И не только разъяснял или давал советы, но еще и самому забот невпроворот было. Каждую свободную минуту — то в район, то в Гродно. Вот по этой самой дороге — на фурманках или попутных, не частых тогда, машинах, а то и пешком. И это хромой человек с палочкой! И не за деньги, не по обязанности — просто так. По призванию сельского учителя...

По-видимому, мы протопали по шоссе час, если не больше. Стемнело, земля целиком погрузилась во мрак, туман затянул низины. Хвойный лес недалеко от дороги зачернел неровным зубчатым гребнем на светловатом закрайке неба, в котором одна за другой зажигались звезды. Было тихо, не холодно, скорее, свежо и очень привольно на опустевшей осенней земле. В воздухе тянуло ароматом свежей пашни, от дороги пахло асфальтом и пылью. Я слушал Ткачука и подсознательно впитывал в себя торжественное величие ночи, неба, где над сонной землей начиналась своя, необъяснимая и недостижимая ночная жизнь звезд. Крупно и ярко горело в стороне от дороги созвездие Большой Медведицы, над нею мигал ковшик Малой с Полярной в хвосте, а впереди, как раз в том направлении, куда уходила дорога, тоненько и остро поблескивала звездочка Ригеля, словно серебряный штемпель на уголке звездного конвертика Ориона. И мне подумалось, как все же выпрени и неестественны в своей высокопарной красоты древние мифы, хотя бы вот и об этом красавце Орионе, возлюбленном богини Эос, которого из ревности убила Артемида, как будто не было в их мифической жизни других, более страшных бед и более важных забот. Тем не менее эта красивая выдумка древних подкупает и очаровывает человечество куда больше, чем самые захватывающие факты его истории. Может, даже и в наше время многие согласились бы на такую легендарную смерть и особенно последующее за ней космическое бессмертие в виде этого туманного созвездия на краю звездного ночного неба. К сожалению или к счастью, но это не дано никому. Мифические трагедии не повторяются, а земля полнится собственными, подобными той, что некогда случилась в Сельце и о которой сейчас, переживая все заново, рассказывал мне Ткачук.

— И тут — война.

Сколько мы к ней ни готовились, как ни укрепляли оборону, сколько ни читали и ни думали о ней, а обрушилась она неждан-

но-негаданно, как гром среди ясного дня. Через три дня от начала, как раз в среду, здесь уже были немцы. Которые местные, здешние крестьяне, те уже, знаешь, привыкли на своем веку к частым переменам: как-никак при жизни одного поколения — третья смена власти. Привыкли, словно так и должно быть. А мы — восточники. Это было такое несчастье — разве думали мы когда, что на третий день окажемся под немцем. Помню, пришел приказ организовать истребительный отряд, чтобы вылавливать немецких диверсантов и парашютистов. Я бросился собирать учителей, объездил шесть школ, в обед на роваре прикатил в райком, а там пусто. Говорят, райкомовцы только что погрузили в полуторку свои пожитки и покатили на Минск: шоссе, мол, уже перерезано немцами. Я поначалу опешил: не может быть. Если немцы, так должны же где-то отступать наши. А то с начала войны тут ни одного нашего солдата никто не видел и вдруг — немцы. Но те, что говорили так, не обманывали — под вечер в местечко и впрямь вкатило штук шесть вездеходов на гусеничном ходу, и в них полно самых настоящих фрицев.

Я да еще трое хлопцев — два учителя и инструктор райкома — огородами прошмыгнули в жито, через него в лес и подались на восток. Три дня шли — без дорог, через приеманские болота, несколько раз попадали в такие переделки, что врагу не пожелаешь, думали: каюк. Учителя одного, Сашу Крупеню, ранило в живот. А где фронт, черт его знает, не догонишь, наверно. Поговаривают, что уже и Минск под немцем. Видим, до фронта не дойдем, погибнем. Что делать? Остаться — а где? У чужих людей не очень удобно, да и как попросишься? Решили возвращаться назад, все же в своем районе хоть люди знакомые. За полтора года по селам да хуторам перезнакомились со всякими.

И тут, понимаешь, оказалось, что все-таки плохо мы знали наших людей. Сколько было встреч, бесед, за чаркой иной раз сидели, казалось, все добрые, хорошие, честные. А на деле обернулось совсем иначе. Приволоклись мы в Старый Двор — хутор такой близ леса, в стороне от дорог, немцев там будто еще и не было. Ну, думаю, самое подходящее место пересидеть здесь каких пару недель, пока наши погонят немцев. На большее тогда не рассчитывали, что ты! Если бы кто сказал, что война на четыре года затянется, его провокатором или паникером посчитали бы. Крупеня тем временем уже доходит, идти дальше нельзя. И я вспомнил, что в Старом Дворе есть у меня знакомец, активист, грамотный человек Уsoleц Василь. Как-то ночевал у него после собрания, поговорили от души, понравился человек: умный, хозяйственный. И жена — моложавая такая женщина, гостеприимная, чистюля, не в пример другим. Грибками солеными угощала. В хате цветов полно — все подоконники ими

заставлены. Вот мы поздно ночью и заявили к этому Усольцу. Так и так, мол, надо помочь, раненый и так далее. И что, думаешь, наш знакомец? Выслушал и на порог не пустил. «Кончилась тут, говорит, ваша власть!» И так грохнул дверью, что аж с подстрешья посыпалось.

Приютила нас простая, никому не знакомая тетка — трое малых детей, старший глухонемой, муж в армии. Как прослышала, что раненый (мы перед этим к другой семье в крайнюю хату зашли), как узнала, кто такие, всех перетащила к себе. Бедолагу Крупеню обмыла, накормила куриным бульончиком и спрятала под снопами в пуньке. И все, помню, охала: «Может, и мой, бедненький, где так мучается!» Значит, любила своего бедненького, а это, брат, всегда что-то да значит. Ну, а Крупеня через неделю помер, не помог и куриный бульончик: пошло заражение. Втихую закопали ночью на краю кладбища. И что же дальше? Посидели еще неделю у тетки Ядвиги, и я взялся нащупывать каких-нибудь партизан. Думаю, должны же быть где-нибудь наши. Не все же на восток поудирали. Без партизан ни одна война у нас не обходилась — сколько об этом книг написано да фильмов поставлено, было на что надеяться.

И знаешь, напал-таки на группу окруженцев, человек тридцать бывших бойцов. Командовал ими майор Селезнев, из кавалеристов, решительный такой мужик, родом с Кубани, мастер ругаться в семь этажей, накричать, даже пристрелить под горячую руку мог. А вообще-то справедливый. И что интересно: никогда не угадаешь, как он к тебе отнесется. Только что грозил пустить пулю в лоб за ржавый затвор, а через час уже объявляет тебе благодарность за то, что на переходе первым заметил хутор, в котором оказалась возможность отдохнуть и подкрепиться. А про затвор он уже и забыл. Такой был человек. Поначалу он меня удивлял, потом ничего, привык к этому его кавалерийскому норову. В сорок втором под Дятловом шел первым по тропке, за ним адъютант Сема Цариков и остальные. И надо же — какой-то паршивый полицай с перепугу пальнул от моста и прямо командиру в сердце. Вот тебе и судьба. В скольких страшных боях участвовал, и ничего. А тут за всю ночь одна пуля и — в командира.

Да, Селезнев был мужик особенный, крутой, своенравный, но, знаешь, голову на плечах имел, на рожон не лез, как некоторые. Заядлый на словах больше, а так — умел думать. Первые несколько месяцев просидели в лесу на Волчьих ямах — урочище так называется за Ефимовским кордоном. Потом уже, в сорок третьем, там обосновалась Кировская бригада, мы перебрались в пушу. А поначалу мы эти ямы обживали. Отличное, скажу тебе, место: болото, бугры, ямы да увалы — сам черт ногу сломает. Ну, погрелись, мы малость в землянках,

попривыкли к волчьей жизни в лесу. Не знаю, подсказал кто или майор сам понял, что война не на несколько месяцев, может, побольше протянется и что без местных ему не обойтись. Поэтому-то и принял в свое кадровое войско меня и еще некоторых: начальника милиции из Пружан, студента одного, председателя сельсовета с секретарем. А на Октябрьские праздники и прокурор наш, товарищ Сивак, заявляется, тоже до фронта не дошел, вернулся. Сначала рядовым был, а потом начальником Особого отдела поставили. Но это потом уже, как Селезнева не стало. А в то время решили, что, пока спокойно, надо оглядеться да наладить кое-какие связи с селами, возобновить знакомства с надежными людьми, пощупать на хуторах окруженцев, которые из частей разбежались да к молодежи пристроились. Перво-наперво разослал майор всех местных, здешних, а таких тогда уже человек двенадцать набралось, кого куда. Меня с прокурором, понятно, в наш бывший район. Риску, конечно, тут было побольше, чем в другом месте, — все-таки многие нас тут помнили, могли опознать. Но зато и мы знали больше и немного ориентировались, кому довериться, а кому нет. Да и вид у нас был не прежний, не сразу и узнаешь — обросли бородами, обносились. Прокурор в черной железнодорожной шинели, я в армяке и сапогах. У обоих торбы за спинами. Как нищие какие.

Поначалу решили зайти в Сельцо.

Не на усадьбу, конечно, а в село, — ты, может, знаешь, это через выгон от школы. В селе у прокурора был знакомый один, бывший сельский активист, вот к нему мы и направились. Но сперва из предосторожности зашли в одну хату на Гриневских хуторах — ту самую, что после войны завмаг из Рандулич купил и возле сельмага поставил. Хозяйка в Польшу выехала, года три хата стояла пустая, вот завмаг и откупил. А в войну в ней жили три девки при матери, невестка — сынова женка (сын в польско-германскую войну пропал, потом аж у Андерса объявился). Вот пока мы портянки сушили, девки нам все и рассказали. И про новости в Сельце тоже. Оказывается, хорошо сделали, что сначала зашли к этим полячкам, а то бы не миновать беды. Дело в том, что этот прокурорский знакомый ходит уже с белой повязкой на рукаве — стал полицаем. Покряхтел прокурор от такой новости, а я, признаться, порадовался: было бы, наверно, хуже, если бы сразу сунулись полицая в лапы. Однако скоро пришла и моя очередь удивиться и озадачиться — это когда я спросил про Мороза. Невестка и говорит: «Мороз все в школе работает». — «Как работает?» — «Детей, говорит, учит». Оказывается, тех самых своих пацанов собрал по селам, немцы дали разрешение открыть школу, вот он и учит. Правда, уже не в Габрусевой усадь-

бе — там теперь полицейский участок, — а в одной хате в Сельце.

Вот так метаморфоза! От кого-кого, а от Мороза такого не ждал. А тут прокурор высказывается в том смысле, что в свое время, мол, надо было этого Мороза репрессировать — не наш человек. Я молчу. Думаю, думаю, и никак в голове не укладывается, что Мороз — немецкий учитель. Сидим возле печки, глядим в огонь и молчим. Наладили, называется, связи. Один — полицай, другой — немецкий прихвостень, ничего себе кадры подготовили в районе за два предвоенных года.

И знаешь, думал я, думал и надумал сходить все-таки ночью к Морозу. «Неужели, думаю, он меня продаст? Да я его, если что, гранатой взорву». Винтовки не было, а граната имелась в кармане. Селезнев запретил брать с собой оружие, но гранату я все-таки прихватил на всякий непредвиденный случай.

Прокурор отговаривал меня от этой затеи, но я не поддался. Характер уж такой с детства: чем больше меня убеждают в чем-то, с чем я не согласен, тем больше мне хочется сделать по-своему. Не очень-то это помогает в жизни, да что поделаешь. Правда, прокурор тут ни при чем. Просто боялся за меня, думал, как бы одному не пришлось возвращаться в лагерь.

Девки рассказали, как в деревне найти Мороза. Третья хата от колодца, со двора крыльцо. Живет у бабки-бобылки. Через улицу в другой хате теперь его школа.

Стемнело — пошли. Дождик моросит, грязюка, ветер. Начало ноября, а холодина собачья. Договорились с напарником, что я зайду один, а он меня подождет в загуменье за кустиками. Ждать будет час, не приду — значит, дело плохо, что-то стряслось. «Все же, думаю, за час управлюсь. Уж я разгадаю душу этого Мороза».

Прокурор остался за пунькой, а я вдоль межи — к хате. Темно. Тихо. Только дождь усиливается и шуршит в соломе на стрехах. За изгородью на ощупь добрал до калитки во двор, а она проволокой закручена. Я и так и этак — ничего не получается. Надо перелезть через изгородь, а изгородь высоковатая, жерди мокрые, скользкие. Наступил сапогом да как поскользнулся — грудью об жердь, та хрясь пополам, а я носом в грязь. И тут — собака. Так зашлась в лае, что я лежу в грязи, боюсь пошевелиться и не знаю, что лучше: удирать или звать кого-либо на помощь.

И вот, слышу, кто-то выходит на крыльцо, скрипнул дверями, прислушивается. Потом спрашивает вполголоса: «Кто тут?» И собаке: «Гулька, пошла! Пошла! Гулька!» Ну, ясно, это же школьная собачонка, трехлапая, что когда-то инспектора укусила. А человек на крыльце — Мороз, голос знакомый. Но как отозваться? Лежу и молчу. А собака опять в лай. Тогда

он сходит с крыльца, хромя (слышно по грязи: чу-чвяк, чу-чвяк), топает к забору.

Встаю и говорю напрямик: «Алесь Иванович, это я. Твой бывший заведующий». Молчит. И я молчу. Ну что тут делать: назвался, так надо вылезать. Встаю, перелезаю забор. Мороз тихо так: «Тут левой держите, а то корыто лежит». Успокаивает собаку и ведет меня в хату. В хате горит коптилка, окно занавешено, на табуретке — раскрытая книга. Алесь Иванович пододвигает табурет ближе к печке. «Садитесь. Пальто снимите, пусть сохнет». — «Ничего, говорю, пальто мое еще высохнет». — «Есть хотите? Картошка найдется». — «Не голодный, ел уже». Отвечаю вроде спокойно, а у самого нервы напряжены — к кому попал? А он как ни в чем не бывало спокоен, будто мы с ним вчера только расстались: никаких вопросов, никакого замешательства. Разве только излишняя озабоченность в голосе. И взгляд не такой открытый, как прежде. Вижу, небрит, должно быть, дней пять — русая бородка пробилась.

Сижу мокрый, не снимая армяка, и он наконец присел на лавку. Коптилку поставил на табурет. «Как живем?» — спрашиваю. «Известно как. Плохо». — «А что такое?» — «Все то же. Война». — «Однако, слышал, на тебе-то война не очень отразилась. Все учишь?» Он кисло, одной стороной лица усмехнулся, уставился вниз, на коптилку. «Надо учить». — «А по каким программам, интересно? По советским или немецким?» — «Ах вот вы о чем!» — говорит он и встает. Начинает расхаживать по хате, а я исподтишка внимательно так наблюдаю за ним. Молчим оба. Потом он остановился, зло глянул на меня и говорит: «Мне когда-то казалось, что вы умный человек». — «Возможно, и был умным». — «Так не задавайте глупых вопросов».

Сказал как отрезал — и смолк. И знаешь, стало мне малость не по себе. Почувствовал, что, наверно, дал маху, сморозил глупость. Действительно, как я мог сомневаться в нем! Зная, как он тут жил и кем был прежде, как можно было подумать, что он за три месяца переродился. И знаешь, почувствовал я без слов, без заверений, без божбы, что он наш — честный, хороший человек.

Но ведь школа! И с разрешения немецких властей...

«Если вы имеете в виду мое теперешнее учительство, то оставьте ваши сомнения. Плохому я не научу. А школа необходима. Не будем учить мы — будут оболванивать они. А я не затем два года очеловечивал этих ребят, чтоб их теперь расчеловечили. Я за них еще поборюсь: Сколько смогу, разумеется».

Вот так он говорит, шаркая по хате, и не смотрит на меня. А я сижу, греюсь и думаю: а что, если он прав? Немцы ведь тоже не дремлют, свою отраву в миллионах листовок и газет

сеют по городам и селам, сам видел, читал кое-что. Так складно пишут, так заманчиво врут. И даже партию свою как назвали: национал-социалистская рабочая партия. И будто эта партия борется за интересы германской нации против капиталистов, плутократов, евреев и большевистских комиссаров. А молодежь и есть молодежь. Она, брат, как малышня на дифтерит, заражительна на всякие малоприятные штучки. Люди постарше, те уже понимают такие хитрости, всякого насмотрелись в жизни, мужика-белоруса на мякине не проведешь. А молодые?

«Теперь все хватаются за оружие,— говорит Мороз, расхаживая по хате.— Потребность в оружии в войну всегда больше, чем потребность в науке. И это понятно: мир борется. Но одному винтовка нужна, чтобы стрелять в немцев, а другому — чтобы перед своими выпендриваться. Ведь перед своими форсить оружием куда безопасней, да и применить его можно вполне безнаказанно, вот и находятся такие, что идут в полицию. Думаете, все понимают, что это значит? Далеко не все. Не задумываются, что будет дальше. Как дальше жить. Им бы только получить винтовку. Вон в районе уже набирают полицию. И из Сельца двое туда подались. Что из них выйдет, нетрудно себе представить». И это правда, думаю. Но все-таки Мороз этот добровольно работает под немецкой властью. Как же тут быть?

И внезапно, хорошо помню, подумалось как-то само собой: ну и пусть! Пусть работает. Не важно где — важно как. Хоть и под немецким контролем, но наверняка не на немцев. На нас работает. Если не на наше нынешнее, так на будущее. Ведь будет же и у нас будущее. Должно быть. Иначе для чего же тогда и жить? Разом в омут головой — и конец.

Но, оказывается, Мороз этот работал не только для будущего. Делал кое-что и для настоящего.

Час, должно быть, уже прошел, я побоялся за прокурора, вышел позвать его. Тот сначала упирался, не хотел идти, но холод донял, побрел следом. Поздоровался с Морозом сдержанно, не сразу включился в разговор. Но исподволь осмелел. Еще поговорили, потом разделись, стали сушиться. Морозова бабка что-то на стол собрала, даже бутылочка, мутной правда, нашлась.

Так посидели мы тогда, поговорили откровенно обо всем. И надо сказать, именно тогда впервые открылось мне, что Мороз этот не нам ровня, умнее нас обоих. Ведь случается так, что все работают вместе, по одним правилам, кажется, и по уму все равны. А когда жизнь разбрасает в разные стороны, разведет по своим стежкам-дорожкам и кто-то вдруг неожиданно выдвигается, мы удивляемся: смотри-ка, а был ведь как все. Кажется, и не умнее других. А как выскочил!

Вот тогда я и почувствовал, что Мороз своим умом обошел

нас и берет шире и глубже. Пока мы по лесам шастали да заботились о самом будничном — подкрепиться, перепрятаться, вооружиться да какого-нибудь немца подстрелить, — он думал, осмысливал эту войну. Он и на оккупацию смотрел как бы изнутри и видел то, чего мы не замечали. И главное, он ее больше морально ощущал, с духовной, так сказать, стороны. И знаешь, даже мой прокурор это понял. Когда мы уже вдоволь наговорились, совсем сблизились, я и сказал Морозу: «А может, бросай всю эту шарманку да айда с нами в лес. Партизанить будем». Помню, Мороз насупился, сморщил лоб, а прокурор тогда и говорит: «Нет, не стоит. Да и какой из него, хромого, партизан! Он здесь нам будет нужнее». И Мороз с ним согласился: «Сейчас, наверно, я тут больше к месту. Все меня знают, помогают. Вот уж когда нельзя будет...»

Ну и я согласился. Действительно, зачем ему в лес? Да еще с такой ногой. Наверно, и нам будет выгодней иметь своего человека в Сельце.

Вот так мы тогда погостили у него и со спокойной душой распрощались. И скажу тебе, этот Мороз стал для нас самым драгоценным помощником среди всех наших деревенских помощников. Главное, как потом выяснилось, приемник достал. Не сам, конечно, — мужики передали. Так его уважали, так с ним считались, что, как и раньше, не к попу или ксендзу, а к нему шли и с плохим и с хорошим. И когда отыскался где-то этот приемничек, так первым делом передали его своему учителю Алесю Ивановичу. И тот потихонечку стал его покручивать в овине. Вечером, бывало, забросит антенну на грушу и слушает. А после запишет, что услышал. Главное — сводки Совинформбюро, на них самый большой спрос был. У нас в отряде ничего не имели, а он вот разжился. Селезнев, правда, когда дознался, хотел тот приемничек для себя забрать, но передумал. У нас бы те новости человек тридцать пять слушало, а так вся округа ими пользовалась. Тогда сделали так: Мороз два раза в неделю передавал сводки в отряд — у лесной сторожки висела дуплянка на сосне, туда пацаны их клали, а ночью мы забирали. Помню, сидели мы той зимой по своим ямам, как волки, все сплошь замело снегом, холодина, глухомань, со жратвой туго, и только радости что эта Морозова почта. Особенно когда немцев из-под Москвы шибанули, каждый день бегали к дуплянке... Пстой, кажется, едет кто-то...

Из ночной темени сквозь легкие порывы свежего ветра донесся знакомый перестук конских копыт, звякнула уздечка. Колес, правда, не было слышно на гладком, подметенном автомобильным вихрем асфальте. Впереди, куда бежало шоссе, разрозненно сверкали огни недалекой придорожной деревни

Будиловичи. Из-за пригорка от нее резво стригли в небе яркие лучи фар.

Мы остановились, немного подождали, пока из темноты, негромко постукивая подковами, появился тихий коник с одиноким седоком на возу, который лениво пошевеливал вожжами. Увидев нас на обочине, возчик насторожился, но молчал, видимо намереваясь проехать мимо.

— Вот кто нас подвезет,— без всякого приветствия сказал Ткачук.— Наверно, порожний, ага?

— Порожний. Мешки отвозил,— глуховато слышалось с воза.— А вам далече?

— Да в город. Но хотя бы до Будиловичей довез.

— Это можно. Как раз в Будиловичи еду. А там на автобус сядете. В девять автобус. Гродненский. Теперь который?

— Без десяти восемь,— сказал я, кое-как разглядев стрелки на своих часах.

Повозка остановилась. Ткачук, кряхтя, взлез на нее, я пригнулся сзади. Сидеть было не слишком удобно, жестковато на голых с остатками мусора досках, но я уже не хотел отставать от моего спутника, который устало вздохнул и свесил с повозки ноги.

— А все-таки, знаешь, утомился. Что значит годы. Эх, годы-годы...

— Издалека идете? — спросил возница. Судя по его глуховатому голосу, был он тоже немолод, держался степенно и как бы чего от нас ждал.

— Из Сельца.

— А-а, так с похорон, значит?

— С похорон,— коротко подтвердил Ткачук.

Возница встряхнул вожжами, конь прибавил шагу — дорога пошла вниз. Навстречу по ту сторону мрачной, без единого огонька широкой низины все стригли в небе расходящиеся лучи автомобильных фар.

— А ведь молодой еще человек был учитель этот. Знал я его хорошо. В позапрошлом году в больнице вместе лежали.

— С Миклашевичем?

— Ну. В одной палате. Еще он какую-то толстую книжку читал. Больше про себя, а когда и вслух. Вот забыл того писателя... Помню, говорилось там, что если нет бога, так нет и черта, а значит, нет ни рая, ни пекла, значит, все можно. И убить и помиловать. Вот как. Хотя он говорил, что смотря как понимать.

— Достоевский,— бросил Ткачук и обратился к вознице: — Ну, а ты, например, как понимаешь?

— Я-то что! Я человек темный, три класса образования. Но я так понимаю, что надо, чтобы в человеке что-то было. Стопор

какой. А то без стопора дрянь дело. Вон в городе набросились на парня с девчиной трое, чуть беды не наделали. Витька наш, хлопец из Будиловичей, вмешался, так сам теперь третью неделю в больнице лежит.

— Побили?

— Не сказать чтоб побили — один раз кастетом по виску ударили. И того хватило. Правда, и от него кому-то досталось. Поймали — известный бандюга оказался.

— Это хорошо, — оживился Ткачук. — Смотри, не испугался. Один против троих. Когда такое было в ваших Будиловичах?

— Ну, в Будиловичах, может, и не было...

— Не было, не было. Знаю я ваши Будиловичи — бедное село, выселки. Теперь что, теперь другое дело: под шифер да под гонт убрались, а давно ли на стрехах мох зеленел! Такое село на большаке, и что меня удивляло — ни одного деревца. Как в Сахаре какой. Правда, земля — один песок. Помню, как-то зашел — рассказали историю. Одного будиловчанина голодуха по весне прищемила, дошел на крапиве, ну и надумал на большаке разжиться. Ночью подстерег прохожего да и стукнул обушком по голове. Вот и теперь еще на околице возле камня крест стоит. Оказался — нищий с пустой торбой. А этот каторгу получил, так из Сибири и не вернулся. А теперь гляди ты — какой кавалер нашелся в Будиловичах. Рыцарь.

— Ну.

— А куда в школу ходил? Не в Сельцо?

— До пятого класса в Сельцо.

— Ну, видишь! — искренне обрадовался Ткачук. — У Миклашевича, значит, учился. Я так и знал. Миклашевич умел учить. Еще та закваска, сразу видать.

Машины быстро летели навстречу и еще издали ослепили нас сверкающим потоком лучей. Возчик заботливо свернул на обочину, лошадь замедлила шаг, и машины с ревом промчались мимо, стегнув по возу щебнем из-под колес. Стало совсем темно, и с полминуты мы ехали в этой тьме, не видя дороги и доверяясь коню. Сзади по шоссе быстро отдалялся-стихал могучий нутряной гул дизелей.

— Кстати, вы недосказали. Как оно тогда обошлось с Морозом, — напомнил я Ткачуку.

— О, если бы обошлось. Тут еще долгая история. Ты, дед, Мороза не знал? Ну, учителя из Сельца? — обратился Ткачук к вознице.

— Того, что в войну?.. А как же! Еще и моего племяша разом загубили.

— Это кого же?

— А Бородича. Это же племяш мой. Родной сестры сын. Как не знать, знаю...

— Так я вот товарищу эту историю рассказываю. Значит, ты знаешь. А то можешь дослушать, если не все слышал. В лесу небось не был? В партизанку?

— А как же! Был! — обидчиво отозвался человек. — У товарища Куруты. Возил раненых. Санитаром работал.

— У Куруты? Комбрига Куруты?

— Ну. От весеннего Николы в сорок третьем и до конца. Как наши пришли. Считай, больше года.

— Ну, Курута не нашей зоны.

— Мало что. Нашей не нашей, а был. Медаль имею и документ, — уже совсем разобиделся старик.

Ткачук поспешил смягчить разговор.

— Так я ничего, я так. Имеешь — носи на здоровье. Мы тут про другое... Мы про Мороза.

— Так вот, у Мороза первое время, в общем, все шло хорошо. Немцы и полицаи пока не привязывались, наверно, следили издали. Единственное, что камнем висело на его совести, так это судьба двух девочек. Тех самых, что когда-то домой отводил. Летом сорок первого, как раз перед войной, отправил их в пионерский лагерь под Новогрудку — организовывали тогда впервые межрайонные пионерские лагеря. Мать не хотела пускать — боялась, известное дело, деревенская баба, сама дальше местечка нигде не бывала, а он уговорил, думал сделать девчушкам хорошее. Только поехали, а тут война. Прошло уже столько месяцев, а о них ни слуху ни духу. Мать, конечно, убивается, да и Морозу из-за всего этого тоже не сладко, как-никак, а все же и его тут вина. Мучит совесть, а что поделаешь? Так и пропали девчонки.

Теперь надо тебе сказать про тех двух полицаяв из Сельца. Одного ты уже знаешь, это бывший знакомый прокурора — Лавченя Владимир. Оказывается, был он не тем, за кого мы его поначалу приняли. Правда, в полицию пошел — сам или принудили, теперь уже не дознаться, — но зимой в сорок третьем немцы расстреляли его в Новогрудке. Дядька, в общем, оказался хороший, много добра нам сделал и в этой истории с хлопцами сыграл довольно пристойную роль. Лавченя был молодец, хоть и полицай. А вот второй оказался последним гадом. Не помню уже фамилии, но по селам его звали Каин. И вправду был Каин, много бед принес людям. До войны жил с отцом на хуторе, был молодой, неженатый — парень как парень. Вроде никто про него, довоенного, плохого слова сказать не мог, а пришли немцы — переродился человек. Вот что значат условия. Наверно, в одних условиях раскрывается одна часть характера, а в других — другая. Поэтому у каждого времени свои герои. Вот и в этом Каине до войны сидело себе потихоньку что-то подлое, и если бы

не эта передряга, может, и не вылезло бы наружу. А тут вот поперло. С усердием служил немцам, ничего не скажешь. Его руками тут много чего наделано. Осенью раненых командиров расстрелял. С лета скрывались в лесу четверо раненых, из местных кое-кто знал, да помалкивал. А этот выследил, отыскал в ельнике земляночку и с дружками перебил всех ночью. Усадьбу нашего связного Криштофовича спалил. Сам Криштофович успел скрыться, а остальных — стариков родителей, жену с детьми — всех расстреляли. Над евреями в местечке издевался, облавы устраивал. Да мало чего! Летом сорок четвертого куда-то исчез. Может, где получил пулю, а может, и сейчас где-либо роскошествует на Западе. Такие и в огне не горят и в воде не тонут.

Так вот этот Каин все-таки что-то заподозрил вокруг Морозовой школы. Каким ни был Мороз осторожным, но что-то вылезло, как шило из мешка. Должно быть, дошло и до ушей полиции.

Однажды перед весной (снег уже таять начал) и нагрянула эта полиция в школу. Там как раз шли занятия — человек двадцать детворы в одной комнатенке за двумя длинными столами. И вдруг врывается Каин, с ним еще двое и немец — офицер из комендатуры. Учинили обыск, перетрясли ученические сумки, проверили книжки. Ну, ясное дело, ничего не нашли — что можно найти у детишек в школе? Никого и не забирали. Только учителю допрос устроили, часа два по разным вопросам гоняли. Но обошлось.

И тогда ребятишки, что учились у Мороза, и тот переросток Бородич что-то задумали. В общем-то, они были откровенны с учителем, а тут затаились даже от него. Однажды, правда, этот Бородич будто между прочим намекнул, что неплохо бы пристукнуть Каина. Есть, мол, такая возможность. Но Мороз категорически запретил это делать. Сказал, что, если потребуется, пристукнут без них. Самовольничать в войну не годится. Бородич не стал возражать, вроде бы согласился. Но такой уж был этот хлопец, что если втемяшится что в голову, то не скоро расставался он с этой мыслью. А мысли у него всегда были одна отчаяннее другой.

Дальше мне уже рассказывал сам Миклашевич, так что можно считать, что все тут чистая правда.

Случилось так, что к весне сорок второго вокруг Мороза в Сельце сложилась небольшая, но преданная ему группа ребят, которая буквально во всем была заодно с учителем. Ребята эти теперь все известны, на памятнике их имена в полном составе, кроме Миклашевича, конечно. Павлу Миклашевичу шел тогда пятнадцатый год. Коля Бородич был самым старшим, ему подбиралось уже к восемнадцати. Еще были братья Кожаны —

Тимка и Остап, однофамильцы Смурный Николай и Смурный Андрей, всего, таким образом, шестеро. Самому младшему из них, Смурному Николаю, было лет тринадцать. Всегда во всех делах они держались вместе. И вот эти ребята, когда увидели, что на их школу и на их Алеся Ивановича насл этот Каин с немцами, решили тоже не оставаться в долгу. Сказалось Морозово воспитание. Но ведь ребятня, детишки, без оружия, почти с голыми руками. Дурости и смелости у них хоть отбавляй, а вот сноровки и ума, конечно, было в обрез.

Ну, и кончилось это, понятное дело, тем, чем и должно было кончиться.

Миклашевич рассказывал, что после того, как Мороз запретил трогать этого Каина, они посидели малость да и взялись за свою затею втихомолку, тайно от учителя. Долго прикидывали, присматривались и наконец разработали такой план.

Я вроде говорил уже, что этот Каин жил на отцовском хуторе, через поле от Сельца. Почти все время отирался в местечке, но иногда приезжал домой — попьанствовать да позабавиться с девками. Один приезжал редко, больше с такими, как сам, изменниками, а то и с немецким начальством. Тогда в здешних местах было еще тихо. Это потом уже, с лета сорок второго, загремело, и немцы не очень-то показывали нос в села. А в первую зиму держали себя нахально, отчаянно, ничего не боялись. В ту пору случилось, что Каин и на ночь оставался на хуторе, переночует, а на завтра утречком катит себе в район. Верхом, на санях, а то и на машине. Если с начальством. И вот ребята однажды подобрали момент.

Все случилось нежданно-негаданно, как следует не организовано. Ребятишки ведь — неопытные. Да и откуда взяться опыту? Одна жажда мести.

Помню, была весна. С полей сошел снег, только в лесу да по рвам и ямам лежал еще грязными пятнами. В оврагах и на пашне было сыро и топко. Бежали ручьи, полные, мутные. Но дороги уже подсыхали, под утро порой жал небольшой морозец. Отряд наш малость увеличился, набралось человек полста: военные и местные — пополам. Меня поставили комиссаром. То был рядовым, а то вдруг — начальство, забот прибавилось не дай бог. Но молодой был, энергии хватало, старался, спал по четыре часа в сутки. В то время мы уже знали, предвидели — весной загремит, а вот оружия было маловато, на всех не хватало. Где могли, всюду добывали, выискивали оружие. Посылали за ним, помню, аж за сто километров, на государственную границу. Однажды кто-то сказал, будто на переправе через Щару прошлым летом наши, отступая, затопили два грузовика с боеприпасами. И вот Селезнев загорелся, решил вытащить. Организовал команду в пятнадцать

человек, снарядил пару фурманок, руководить взялся сам — надоело сидеть в лагере. А меня оставил за главного. Первый раз оказался над всеми начальником, ночь напролет не спал, два раза посты проверял — на просеке и дальний, у кладок. Утром, только задремал в землянке, будят. Еле поднялся со своего хвойного ложа, гляжу, Витюня, наш партизан, долговязый такой саратовец, что-то толкует, а я спросонья никак не могу понять, в чем дело. Наконец понял: часовые задержали чужого. «Кто такой?» — спрашиваю. Отвечает: «А черт его знает, вас спрашивает. Хромой какой-то».

Услышав такое, я, признаться, встревожился. Сразу почувствовал: Мороз, значит, что-то стряслось. Сперва почему-то подумал о селезневской группе — показалось: с ней что-то недоброе, потому и прибежал Мороз. Но почему сам Мороз? Почему не прислал кого из ребят? Хотя, если б на свежую голову, так какое отношение имел Мороз к группе командира? Она даже не в ту сторону и выехала.

Встал, натянул сапоги, говорю: «Ведите сюда». И точно: вводят Мороза. В кожанке, теплой шапке, но на ногах туфли чуть не на босу ногу и мокрые до колен штаны. Не соображу никак, что случилось, а что — плохое, это уж точно чувствую: весь взъерошенный вид Мороза красноречиво о том свидетельствует. Да и его неожиданное появление в лагере, где он никогда еще не был. Шутка ли, километров двенадцать отмахать по такой дороге. Вернее, без всякой дороги.

Мороз постоял малость, присел на нары, посматривает на Витюню: мол, не лишний ли. Я делаю знак, парень закрывает дверь с той стороны, и Мороз говорит таким голосом, словно похоронил родную мамашу: «Хлопцев забрали». Я не понял сначала: «Каких хлопцев?» — «Моих, — говорит. — Сегодня ночью схватили, сам едва вырвался. Один полицей предупредил».

Признаться, тогда я ждал худшего. Я думал, что случилось что-то куда более страшное. А то — хлопцев! Ну что они могли сделать, эти его хлопцы? Может, сказали что? Или обругали кого? Ну, дадут по десятку палок и отпустят. Такое уже бывало. В то время я еще не предвидел всего, что произойдет в связи с этим арестом морозовских хлопцев. А Мороз немного успокоился, отдышался, закурил самосаду (раньше не курил вроде) и мало-помалу начал рассказывать.

Вырисовывается такая картина.

Бородич все-таки добился своего: ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад полицей этот на немецкой машине с немцем-фельдфебелем, солдатом и двумя полицейскими прикатил на отцовский хутор. Как было уже не однажды, на хуторе заночевали. Перед этим заехали в Сельцо, забрали свиней у Федора Боровского и глухого Денисчика, похватили по хатам

с десятков кур — на завтра собирались везти в местечко. Ну, ребята все высмотрели, разведали и, как стемнело, огородами — на дорогу. А на дороге этой, если помнишь, недалеко от того места, где она пересекает шоссе, небольшой мосток через овражек. Мосток-то небольшой, но высокий, до воды метра два, хоть и воды той по колено, не глубже. К мостку крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. О, эти сорванцы учили все, тут они были мастера. Тут у них все тонко было сработано.

Так вот, как стемнело, все шестеро с топорами и пилами — к этому мостку. Видно, попотели, но все же подпилили столбы, не совсем, а так, наполовину, чтоб человек или конь могли перейти, а машина нет. Машина переехать этот мосток уже не могла. Сделали все удачно, никто не помешал, не застукал: радостные, выбрались из овражка. Но как же всем спать в такое время, когда будет лететь вверх колесами немецкая машина? Вот двое и остались ради такого момента — Бородич и Смурный Николай. Выбрали местечко поодаль в кустах и засели ждать. Остальных отправили по домам.

В общем, все шло, как и было задумано, кроме небольшой мелочи. Но, как видно, эта-то мелочь их и погубила. Во-первых, Каин в тот день запозднился, проспал после пьянки. Рассвело, в деревне повставали люди, началась обычная суeta по хозяйству. Миклашевич потом говорил, что они дома за всю ночь глаз не сомкнули и чем дальше, тем все больше тревожились: почему не прибегают дозорные? А дозорные терпеливо дожидались машину, которой все не было. Вместо нее на дороге утречком вдруг появляется фурманка. Дядька Евмен, ничего не подозревая, катит себе по дрова. Пришлось Бородичу вылезать из своей засады и встречать дядьку. Говорит: «Не едьте, под мостом мина». Евмен перепугался, не стал очень интересоваться той миной и повернул в объезд.

Наконец часов, может, в десять на дороге показалась машина. Как на грех, дорога была плохая, в лужах и выбоинах, скорости не было никакой, и машина тихо ползла, переваливаясь с боку на бок. Не было и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон, на мостке шофер стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, — как раз угодил под борт и его придавило кузовом. Вытащили из-под машины уже мертвого.

А хлопцы как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях небось показалось,

что всем фрицам и полицаям капут, машине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же вскочили, стали поднимать машину, и кто-то тогда заметил, как в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана — больше ничего не удалось заметить. Но и этого оказалось достаточно.

В селе каждый слух облетает подворья молнией, через какой-то час все уже знали, что случилось на дороге у овражка. Каин прибежал за подводой везти труп немца в местечко. Мороз как услышал об этом, сразу бросился в школу, послал за Бородичом, но того не оказалось дома. Зато Миклашевич Павлик, видя, как встревожился их учитель, не выдержал и рассказал ему обо всем.

Мороз не находил себе места, но занятий в школе не отменил, начал только с небольшим опозданием. Ребята, что учились, все поприходили. Не было одного Бородича, хотя Бородич в то время уже не учился в школе, но бывал в ней часто. Мороз все поглядывал в окно, говорил после — все уроки провел у окна, чтобы увидеть, если кто чужой появится на улице. Но в тот день никто не появился. После занятий учитель во второй раз послал за Бородичом, а сам стал ждать. Как он сам мне потом признавался, положение его было нелепым до дикости. Понятно, ребята более-менее позаботились обо всем, что касалось самой диверсии, но как быть дальше, если диверсия удастся, они просто не думали. И учитель тоже не знал, что придумать. Он понимал, конечно, что немцы этого так не оставят, начнется заваруха. Возможно, заподозрят и ребят и его самого. Но в деревне три десятка мужчин, думалось, не так-то просто найти именно того, кого нужно. Если б он загодя знал, что готовят эти сорванцы, так наверняка что-либо придумал. А теперь все обрушилось на него так внезапно, что он просто не знал, что предпринять. Да и какая угрожает опасность, тоже было неведомо. И кому она угрожает в первую очередь? Наверно, прежде всего надо было повидать Бородича, все же он постарше, поумнее. Опять же, из соседнего села, может, был смысл до поры до времени припрятать у него ребят. Или, наоборот, прежде его самого где-нибудь спрятать.

Пока он сидел в ту ночь у своей бабки и ждал посланца с Бородичом, передумал всякое. И вот где-то около полуночи слышит стук в дверь. Но стук не детской руки — это он сообразил сразу. Открыл и остолбенел: на пороге стоял полицай, тот самый Лавченя, про которого я уже говорил. Но почему-то один. Не успел Мороз сообразить что-то, как тот ему и выпалил: «Удирай, учитель, хлопцев забрали, за тобой идут». И назад не попрощавшись. Мороз рассказывал, что сначала ему подумалось — провокация. Но нет. И вид и тон Лавчени не оставляли сомнений: сказал правду. Тогда Мороз за шапку, кожушок,

за свою палку — и огородами в лесок за выгоном. Ночь просидел под елкой, а под утро не выдержал, постучал к одному дядьке, которому верил, чтобы узнать, что все-таки случилось. А дядька как увидел учителя, аж затрясся. Говорит: «Утикай, Алесь Иванович, перетрясли все село, тебя ищут». — «А ребята?» — «Забрали, заперли в амбаре у старосты, один ты остался».

Теперь-то уж точно известно, как все случилось. Оказывается, Бородич давно был на подозрении у этого Каина, к тому же кто-то из полицаев увидел его в овражке. Не опознал, но увидел, что побежал подросток, пацан, не мужчина. Ну, наверно, поговорили там, в районе, вспомнили Бородича и решили взять. Ночью подкатывают к его хате, а тот, дурень, как раз обувает чуни. Целый день шатался по лесу, к ночи притомился, оголодал, ну и вернулся к батьке. Сначала у кого-то спросил на улице, сказали: все, мол, тихо, спокойно. Умный был парень, решительный, а осторожности ни на грош. Наверно, подумал: все шито-крыто, никто ничего не знает, его не ищут. А вечером как раз прибегает Смурный, так и так, вызывает Алесь Иванович. Только ребята стали собираться, а тут машина. Так и схватили обоих.

А схватив двух, нетрудно было забрать и остальных. Порой вот думается только: как это следователь нашел виновного, если никто ничего не видел, ничего не знает? Может, это и в самом деле не просто, если придерживаться каких-то там правил юриспруденции. Только немцы в таких случаях чихали на юриспруденцию. Каин и остальные рассуждали иначе. Если где обнаруживался вред немцам, они прикидывали по вероятности: кто мог его сделать? Выходило: тот или этот. Тогда и хватали того и этого вместе с их свояками и приятелями. Мол, одна шайка. И знаешь, редко ошибались, гады. Так и было. А если и ошибались, то не переиначивали, назад не отпускали. Карали всех скопом — и виноватых и невиновных.

До сих пор неизвестно в точности, как это Лавчене удалось предупредить Мороза. Наверно, они там сперва не планировали хватать учителя, а сделали это импровизированно, по ходу дела. Наверно, Каин допетрил, что где ребята, там и учитель. И вот Лавченя, которого мы считали подлюгой, улучил момент, буквально каких-то десять минут, и забежал, предупредил. Спас Мороза.

Вот как оно получилось.

А в лагерь на другой день приехал Селезнев. Привезли пару ящиков отсыревших гранат. Удача небольшая, хлопцы устали, командир злой. Я рассказал про Мороза: так и так, что будем делать? Надо, наверно, забирать учителя в отряд, не пропадать же человеку. Говорю так, а Селезнев молчит. Конечно, боец

из учителя не очень завидный, но ничего не поделаешь. Подумал майор и приказал выдать Морозу винтовку с черным прикладом, без мушки (никто ее брать не хотел, бракованную) и зачислить его во взвод Прокопенко бойцом. Сказали об этом Морозу, тот выслушал без всякого энтузиазма, но винтовку взял. А сам — словно в воду опущенный. И винтовка никак не действовала. Бывало, вручаешь кому оружие, так столько радости, почти детского восторга. Особенно у молодых хлопцев, для которых вручение оружия — самый большой в жизни праздник. А тут ничего подобного. Два дня проходил с этой винтовкой и даже ремешка не привязал, все носил в руках. Как палку какую.

Так прошло еще два или три дня. Помню, хлопцы копали третью землянку на краю нашего стойбища, под ельничком. Народу по весне прибавилось, в двух стало тесновато. Я сижу себе над ямой, беседуем. И тут прибегает партизан, который был дневальным по лагерю, говорит: «Командир зовет». — «А что такое?» — спрашиваю. Говорит: «Ульяна пришла». А Ульяна эта — связная наша с лесного кордона. Хорошая была девка, смелая, боевая, язычок — не дай бог, что бритва. Сколько хлопцы к ней ни подкатывались — никому никакой поблажки, любого отбреет, только держись. Потом, летом сорок второго, с Марией Козухиной чуть комендатуру в местечке не подорвали, уже и заряд подложили, да какая-то подлюга заметила, донесла. Заряд тут же обезвредили, а ее догнали верхами, схватили и расстреляли. А Козухина как-то спаслась, в блокаду ранена была, да пересидела в болоте. Теперь в Гродно работает. Недавно свадьбу справляла, сына женила. И я был приглашен, а как же...

Так вот, прибежала, значит, Ульяна. Я как услышал об этом, сразу сообразил: дело плохо. Плохо, потому что Ульяне было категорически запрещено появляться в лагере. Что надо было, передавала через связных раза два на неделе. А самой разрешалось прибежать только в самом крайнем случае. Так вот, наверно, это и был тот самый крайний случай. Иначе бы не пришла.

Я, значит, к командирской землянке и уже на ступеньках слышу — разговор серьезный. Точнее, громкий разговор. Селезнев кроет матом. Ульяна тоже не отстает. «Мне сказали, а я что, молчать буду?» — «Во вторник передала бы». — «Ага, до вторника им всем головы пооткручивают». — «А я что сделаю? Я им головы поприставляю?» — «Думай, ты командир». — «Я командир, но не бог. А ты вот мне лагерь демаскируешь. Теперь назад тебя не пущу». — «И не пускай, черт с тобой. Мне тут хуже не будет».

Захожу, оба смолкают. Сидят, друг на друга не смотрят. Спрашиваю как можно ласковее: «Что случилось, Ульян-

ка?» — «А что случилось — требуют Мороза. Иначе, сказали, ребят повесят. Мороз им нужен». — «Ты слышишь? — кричит командир. — И она с этим примчалась в лагерь. Так им Мороз и побежит. Нашли дурака!» Ульяна молчит. Она уже накричалась и, наверно, больше не хочет. Сидит, поправляет белый платок под подбородком. Я стою ошеломленный. Бедный Мороз! Помню как сейчас, именно так подумал. Еще один камень на его душу. Вернее, шесть камней — будет от чего почернеть. Конечно, никто из нас тогда и в мыслях не имел посылать Мороза в село. Сдурели мы, что ли. Ясно, они и мальцов не отпустят, и его кокнут. Знаем мы эти штучки. Слава богу, девятый месяц под немцем живем. Насмотрелись.

А Ульяна рассказывает: «Я разве железная? Прибегают ночью тетка Татьяна и тетка Груша — волосы на себе рвут. Еще бы, матери. Просят Христом-богом: «Ульяночка, родненькая, помоги. Ты знаешь как». Я им толкую: «Ничего я не знаю: куда я пойду?» А они: «Сходи, ты знаешь, где Алесь Иванович, пусть спасает мальцов. Он же умный, он их учитель». Я свое твержу: «Откуда мне знать, где тот Алесь Иванович. Может, удрал куда, где я его искать буду?» — «Нет, золотко, не отказывайся, ты с партизанами знаешься. А то завтра уведут в местечко, и мы их больше не увидим». Ну что мне оставалось делать?»

Да. Вот такая вызрела ситуация. Невеселая, прямо скажу, ситуация. А Селезнев погорячился, накричал и молчит. И я молчу. А что сделаешь? Пропали, видно, хлопцы. Это так. Но каково матерям? Им ведь еще жить надо. И Морозу тоже. Мы молчим что пни, а Ульяна встает: «Решайте как хотите, а я пошла. И пусть проводит кто-либо. А то возле кладок чуть не застрелил какой-то ваш дурень».

Конечно, надо проводить. Ульяна выходит, я следом. Вылезаю из землянки и тут же нос к носу — с Морозом. Стоит у входа, держит свою винтовку без мушки, а на самом лица нету. Глянул на него и сразу понял: все слышал. «Зайди, говорю, к командиру, дело есть». Он полез в землянку, а я повел Ульяну. Пока нашел, кого ей определить в провожатые, пока ставил ему задачу, пока прощался, прошло минут двадцать, не больше. Возвращаюсь в землянку, там командир, как тигр, бежит из угла в угол, гимнастерка расстегнута, глаза горят. Кричит на Мороза: «Ты с ума сошел, ты дурак, псих, идиот!» А Мороз стоит у дверей и понуро так смотрит в землю. Кажется, он даже и не слышит командирского крика.

Я сажусь на нары, жду, пока они мне объяснят, в чем дело. А они на меня ноль внимания. Селезнев все ярится, грозит Мороза к елке поставить. Ну, думаю, если уж до елки дошло, то дело серьезное.

А дело и впрямь такое, что дальше некуда. Командир выкричал свое и ко мне: «Слышал, хочет в село идти!» — «Зачем?» — «А это ты у него спроси». Смотрю на Мороза, а тот только вздыхает. Тут уже и я начал злиться. Надо быть круглым идиотом, чтобы поверить немцам, будто они выпустят хлопцев. Значит, идти туда — самое безрассудное самоубийство. Так и сказал Морозу. Как думал. Тот выслушал и вдруг очень спокойно так отвечает: «Это верно. И все-таки надо идти».

Тут мы оба взъярились: что за сумасбродство? Командир говорит: «Если так, я тебя посажу в землянку. Под стражу». Я тоже говорю: «Ты подумай сперва, что говоришь». А Мороз молчит. Сидит, опустив голову, и не шевелится. Видим, такое дело, надо, наверно, нам вдвоем с командиром посоветоваться, что с ним делать. И тогда Селезнев устало так говорит: «Ладно, иди, подумай. Через час продолжим разговор».

Ну, Мороз встает и, прихрамывая, выходит из землянки. Мы остались вдвоем. Селезнев сидит в углу злой, вижу, на меня зуб имеет: мол, твой кадр. Кадр действительно мой, но, чувствую, я тут ни при чем. Тут у него свои какие-то принципы, у этого Мороза. Хотя я и комиссар, а он меня не глупее. Что я могу с ним сделать?

Посидели так, Селезнев и говорит со строгостью в голосе, к которой я все еще не смог до конца привыкнуть: «Потолкуй с ним. Чтоб он эту блажь из головы выбросил. А нет, погоню на Щару. Поплюхается в ледяной воде, авось поумнеет».

Думаю, ладно. Надо как-то поговорить с ним, уломать отказать от этой глупой затеи. Конечно, я понимал: жаль хлопцев, жаль матерей. Но мы помочь не могли. Отряд еще не набрал силы, оружия было мало, с боеприпасами дело совсем аховое, а вокруг в каждом селе гарнизон — немцы и полиция. Попробуй сунься.

Да, я честно собирался поговорить с ним и убедить его бросить и помышлять о явке в Сельцо. Но вот — не поговорил. Промедлил. Может, устал или просто не собрался с духом сделать это сразу же после разговора в землянке. А потом случилось такое, что стало не до Мороза.

Сидим, молчим, думаем и вдруг слышим голоса неподалеку, возле первой землянки. Кто-то пробежал мимо нашего оконца. Прислушался — голос Броневица. А Броневиц только утром отправился на один хутор с сержантом Пекушевым — было задание насчет связи с местечком. Пошли туда на три дня, и вот вечером они уже тут.

Первым, учуяв недоброе, выскочил командир, я следом. И что же мы видим? Сидит перед землянкой Броневиц, а рядом на земле лежит Пекушев. Глянул и сразу понял: мертвый. А Броневиц, истерзанный весь, потный, мокрый по пояс, с

окровавленными руками, заикаясь, рассказывает. Оказывается, дрянь дело. Возле одного хутора нарвались на полицаев, те обстреляли и вот убили сержанта. А славный был парень этот Пекушев, из пограничников. Хорошо еще, Броневиц как-то выкрутился и приволок тело. У самого телогрейка на плече прострелена.

Помню, это была наша первая потеря в лагере. Переживали не приведи бог. Просто в уныние впали все. И кадровые и местные. И правда, хороший был парень: тихий, смелый, старательный. Всё довоенные письма от матери перечитывал — где-то под Москвой жила. А он у нее единственный сын. И вот надо же...

Что поделаешь, начали готовиться к похоронам. Недалеко от лагеря, над обрывом возле ручья, выкопали могилу. Под сосной, в песочке. Гроба, правда, не было, могилку выстлали лапником. Пока хлопцы там управлялись, я потел над речью. Это ведь была моя первая речь перед войском. На завтра построили отряд, шестьдесят два человека. У могилы положили Пекушева. Обрядили его в чью-то новую гимнастерку, синие брюки. Даже треугольнички на петлицы собрали, по три на каждую, чтобы все как положено в армии. Затем выступили. Я, командир, кто-то из его друзей-пограничников. Некоторые прослезились даже. Словом, это были первые и, пожалуй, последние трогательные такие похороны. Потом хоронили чаще, и даже не по одному. Бывало, по десять в одну яму закапывали. А то и без ямы — листвой да иглицей присыплешь, и ладно. В блокаду, например. Да и самого командира похоронили просто — яму по колено выкопали, и все. Не переживали и десятой доли того, что по этому Пекушеву. Привыкли.

Так, значит, похоронили Пекушева. Речь моя удалась, с этой стороны я был доволен. Даже Селезнев как-то по-дружески, без своей вечной строгости поговорил, пока шли рядом к нашей землянке. Намерились уже спуститься туда, как подлетает Прокопенко: так и так, нет Мороза. С ночи нет. «Как с ночи? — взвился Селезнев. — Почему не доложили сразу?» А Прокопенко только пожимает плечами: мол, думали, отыщется. Думали, к комиссару пошел. Или на ручей. Все возле ручья последнее время любил сидеть. В одиночестве.

Тут уж, знаешь, нам дурно стало.

Селезнев накинулся на Прокопенко, честил его как только умел. А он-то умел. А потом вызверился на меня. Обозвал последними словами. Я молчал. Что ж, наверно, заслужил. Спустились в землянку, Селезнев приказал позвать начальника штаба — был такой тихий, исполнительный лейтенант Кузнецов, из кадровых, — и командиров взводов. Все собрались, уже знают, в чем дело, и молчат, ждут, что скажет майор. А майор

думал, думал и говорит: «Менять лагерь. А то прижмут этого хромого идиота, сам того не желая, выдаст всех. Перестреляют, как куропаток».

Вижу, хлопцы носы повесили. Никому не хочется менять лагерь, очень уж подходящее место: тихое, в стороне от дорог. И счастливое. За всю зиму ни одной неожиданности на этот счет. А тут из-за какого-то хромого идиота... Оно и понятно, им-то кто этот Мороз? После всего, что случилось, — разумеется, хромым идиот, не больше. Но ведь я-то, как никто тут, знаю этого хромого. Себя погубит, это уж точно, но никого не предаст. Не может выдать он лагерь. Не знаю, как доказать это, но чувствую твердо: не выдаст. И когда уже все готовы были согласиться с майором, я и говорю: «Не надо менять лагерь». Селезнев на меня как на второго идиота накинулся: «Как это не надо? Где гарантия?» — «Есть, говорю, гарантия. Не надо».

Стало тихо, все молчат, один Селезнев сопит да на меня из-под широких бровей поглядывает. А что я могу им сказать? Разве что начать рассказывать с самого начала, кто этот хромым учитель? Чувствую, не могу сейчас много говорить, да и не надо этого. Я только уперся на своем: лагерь менять не следует.

Не знаю, что подумали тогда Селезнев и остальные, поверили в мое голословное заверение или очень уж не хотелось срываться невесть куда с насиженного места, а только намерились рискнуть, выждать с неделю. Решили, правда, выставить два дополнительных дозора — со стороны деревни и возле просеки в логу. И еще послали в Сельцо Гусака, у которого там проживал свояк, надежный, наш человек, чтобы проследить, как оно будет дальше.

Вот от этого-то Гусака и от наших людей из местечка, а потом уже и от Павлика Миклашевича и стало известно, как развивались дальнейшие события в Сельце.

Начинались Будиловичи. Возле крайней хаты за тыном горел электрический фонарь, который освещал калитку, скамейку рядом, голые кусты в палисаднике. Где-то в темноте за сараями яркой рубиновой каплей сверкал костерок, и ветер нес запах дыма — должно быть, жгли листья. Наш возница свернул с дороги, явно намереваясь въехать во двор, конь, словно поняв его, сам по себе остановился. Ткачук недоуменно прервал рассказ:

— Что, приехали?

— Ага, приехали. Я тут распрягу, а вы пройдите немного, у почты остановка.

— Знаю. Не первый раз, — сказал Ткачук, слезая с воза. Я тоже соскочил на выщербленный край асфальта.

— Ну, спасибо, дед, за подвоз.

— Не за что. Конь колхозный, так что...

Повозка свернула во двор, а мы, медленно ступая после неудобного сидения на возу, потащились по сельской улице. Тусклый свет фонаря на столбе не достигал следующего, светлые отрезки улицы чередовались с широкими полосами тени, и мы шли, попадая то в свет, то в потемки. Я ждал продолжения рассказа о Сельце, но Ткачук молча топал, прихрамывая, и я не решался торопить его. Где-то впереди затарахтел двигатель, мы посторонились, пропуская трактор на резиновых колесах, который лихо прокатил мимо; свет его единственной фары едва достигал дороги. За трактором впереди стало видно ярко освещенное крыльцо белого кирпичного домика с вывеской сельской чайной. Из ее застекленных дверей неторопливо вышли двое и, закуривая, остановились возле приткнутого к самой обочине «ЗИЛа». Ткачук с какой-то новой мыслью посмотрел в ту сторону.

— Может, зайдём, а?

— Давайте, что ж, — покорно согласился я.

Мы обошли «ЗИЛ» и свернули на небольшой, посыпанный гравием дворик.

— Была когда-то задрипанная забегаловка, а теперь вон какой домище отгрохали. Ей-бо, в этой не был еще, — словно бы извиняясь, объяснил он, пока мы шагали по бетонным ступенькам.

Я смолчал — к чему оправдываться: все мы грешны в этом малопочтенном деле.

Небольшое помещение чайной было почти пустым, если не считать углового столика у печки, за которым непринужденно восседали трое мужчин. Остальные полдюжины легких городских столиков и таких же кресел при них были не заняты. Женщина в синей нейлоновой куртке тихо переговаривалась через стойку с буфетчицей.

— Ты садись. Я сейчас, — кивнул мне на ходу Ткачук.

— Нет, вы садитесь. Я помоложе.

Он не заставил себя уговаривать, сел на первое попавшееся место за ближним столом, напомнив, однако:

— Два по сто, и хватит. И может, пива еще. Если есть.

Пива, к сожалению, тут не оказалось, водки тоже. Было только «Міцне», и я взял бутылку. На закуску буфетчица предложила котлеты — сказала, свежие, только недавно привезенные.

Я подумал, что Ткачуку такое угощение вряд ли понравится. И действительно, не успел я все это донести до стола, как мой спутник неодобрительно сморщился.

— А беленькой не нашлось? Терпеть не могу этих чернил.

— Ничего не поделаешь, берем, что дают.

— Да уж так...

Мы молча выпили по стакану «чернил». Немного еще осталось в бутылке. Закусывать Ткачук не стал, вместо этого закурил из моей мятой пачки.

— Беленькая, она, конечно, подлая, но вкус имеет. «Столичная», скажем. Или, знаешь, еще лучше самодельная. Хлебная. Из хороших рук если. Эх, умели когда-то ее делать! Вкуснота, не то что эта химия. И градус, я тебе доложу, имела, ого!

— А вы что... уважали?

— Было дело! — вскинул он на меня покрасневшие глаза. — Когда помоложе был.

Расспрашивать его насчет того «дела» я не решился — я с нетерпением ожидал продолжения рассказа о давних событиях в Сельце. Но он как будто потерял уже всякий интерес к ним, курил и сквозь дым косо поглядывал в угол, где хорошо подвыпившие мужчины горланили на всю чайную. Они ссорились. Один из них, в ватнике, так двинул столом, что с него едва не слетела посуда.

— Набрались. Того, лысоватого, немного знаю. Бухгалтер со спиртзавода. В партизанку был взводным у Бутримовича. И неплохим взводным. А теперь вот полюбуйся.

— Бывает.

— Бывает, конечно. В войну три ордена отхватил, голова и закружилась. От гордости! Ну и догордился. Трояк уже отсидел, а все не унимается. А некоторые другие потихоньку, помаленьку, орденов не хватало — брали хитростью. И обошли. Обскакали. Вот так. Ну что? Досказать про хлопцев? Почему не спрашиваешь? Эх, хлопцы, хлопцы!.. Знаешь, чем старше становлюсь, тем все милее мне эти хлопчики. И отчего бы это, не знаешь?

Он грузно облокотился на наш шаткий столик, глубоко затянулся сигаретой. Лицо его стало печально-задумчивым, взгляд ушел куда-то в себя. Ткачук умолк, должно быть, как гармонист, настраиваясь на свою невеселую мелодию, что нынче звучала в его душе.

— Сколько у нас героев? Скажешь, странный вопрос? Правильно, странный. Кто их считал. Но посмотри газеты: как они любят писать об одних и тех же. Особенно если этот герой войны и сегодня на видном месте. А если погиб? Ни биографии, ни фотографии. И сведения куцые, как заячий хвост. И непроверенные. А то и путанные, противоречивые. Тут уж остороженько, боком-боком — и подальше от греха. Не так ли ваш брат-корреспондент?.. Вот мне, например, непонятно, почему героев, живых или погибших, должны искать пионеры? Пусть бы и те, и другие, и пионеры тоже — это другое дело. А так

получается, что розыском героев должны заниматься пионеры. Неужели ребяташки лучше всех разбираются в войне? Или настырности у них побольше — легче к важным дядям достучаться? Я вот не понимаю. Почему это взрослые дяди не заботятся, чтобы не было этих самых — безвестных? Почему они умыли руки? Где военкоматы? Архивы? Почему такое важное дело передоверено ребяташкам?..

Да. А в Сельце дела стали плохи. Ребят заперли в амбар старосты Бохана. Был там такой мужик, возле сухой вербы хата стояла, теперь уже нету. Хитрый, скажу тебе, мужичок: и на немцев работал, и с нашими знался. Ну, а такое, знаешь же, чем обычно кончается. Что-то заприметили немцы, вызвали в район и назад уже не вернули. Говорят, в лагерь отправили, где-то и загнулся старик. Так вот, сидят ребята в амбаре, немцы таскают в избу на допросы, бьют, истязают. И ждут Мороза. По селу распустили слух, что вот-де как поступают Советы: чужими руками воют, детей на закланье обрекают. Матери голосят, все лезут во двор к старосте, просят, унижаются, а полицаи их гонят. Николая Смурного мать, как самую горластую, тоже забрали за то, что на немца плюнула. Другим угрожают тем же, правда, ребята держатся твердо, стоят на своем: ничего не знаем, ничего не делали. Да разве у этих палачей долго продержишься? Стали бить, и первым не стерпел Бородич, говорит: «Я подпиливал. Чтобы душить вас, гадов. Теперь расстреливайте меня, не боюсь вас».

Он взял все на себя, наверно, думал, что теперь от остальных отвяжутся. Но и эти холуи не круглые идиоты — скумекали, что куда один, туда и остальные. Мол, все заодно. Начали бить еще, вытягивать новые данные и про Мороза. Про Мороза особенно старались. Но что ребята могли сказать про Мороза?

И вот в эту самую пору, в самый разгар пыток является сам Мороз.

Произошло это, как потом рассказывали, раненько утром, село еще спало. На выгоне легонький туманчик стлался, было не холодно, только мокровато от росы. Подошел Алесь Иванович, видать, огородами, потому как на улице, у крайней избы, сидела засада, а его не заметила. Должно быть, перелез через изгородь и — во двор к старосте. Там, конечно, охрана, полицаи как крикнет: «Стой, назад!» — да за винтовку. А Мороз уже ничего не боится, идет прямо на часового, прихрамывает только, и спокойно так говорит: «Доложите начальству: я — Мороз».

Ну, тут сбежалась полицейская свора, немцы скрутили Морозу руки, содрали кожушок. Как привели в старостову хату, старик Бохан улучил момент и говорит так тихонько, чтоб полицаи не слышали: «Не надо было, учитель». А тот одно только слово в ответ: «Надо». И ничего больше.

Вот тут-то и появилась на свет та шарада, которая внесла столько путаницы в эпилог этой трагедии. Я так думаю, что именно из-за нее столько лет мариновали Мороза и столько сил стоило все это Миклашевичу. Дело в том, что, когда в сорок четвертом турнули наконец немчуру, в местечке и в Гродно остались кое-какие бумаги: документы полиции, гестапо, СД. Бумаги эти, разумеется, были кем следует разработаны, приведены в порядок. И вот среди разных там протоколов, приказов оказалась одна бумажка касательно Алеся Ивановича Мороза. Сам видел: обыкновенный листок из школьной тетрадки в клетку, написанный по-белорусски, — рапорт старшего полицейского Гагуна Федора, того самого Каина, своему начальству. Мол, такого-то апреля сорок второго года команда полицейских под его началом захватила во время карательной акции главаря местной партизанской банды Алеся Мороза. Все это сплошная липа. Но Каину она была нужна, да и его начальству, наверно, тоже. Взяли ребят, а через три дня поймали и главаря банды — было чем похвалиться старшему полицая. И ни у кого никакого сомнения насчет правдивости рапорта.

Как ни странно, но случилось так, что и мы неумышленно подтвердили эту бесстыжую ложь Каина. Уже летом сорок второго, когда настали для нас горячие денечки и набралось немало убитых и раненых, потребовали как-то в бригаду данные о потерях за весну и зиму. Кузнецов составил список, принес нам с Селезевым на подпись и спрашивает: «Как будем показывать Мороза? Может, лучше совсем не показывать? Подумаешь, всего два дня в партизанах побыл». Тут, естественно, я возразил: «Как это не показывать? Что же он тогда, сидя на печке, умер?» Селезнев, помню, нахмурился — он не любил вспоминать эту историю с Морозом. Подумал и говорит Кузнецову: «А что крутить! Так и напиши: попал в плен. А дальше не наше дело». Так и написали. Признаться, я промолчал. Да и что я тогда мог сказать? Что он сам сдался? Кто бы это понял? Так к немецкому прибавился еще и наш документ. И попробуй потом опровергнуть эти две бумажки. Спасибо вот Миклашевичу. Он все-таки докопался до истины.

Да. А что же в Сельце? «Бандиты» оказались все в сборе, «главарь» налицо, можно было отправлять в полицейский участок. Под вечер вывели всех семерых из амбара, все кое-как держались на ногах, кроме Бородича. Тот был избит до бесчувствия, и два полицая взяли его под руки. Остальных построили по два и под конвоем погнали к шоссе. Вот тут уже близок финал, и что и как было дальше, рассказал сам Миклашевич.

Хлопцы еще в амбаре упали духом, когда слышали за дверьми голос Алеся Ивановича. Решили — схватили и его. Кста-

ти, до самого конца никто из них иначе и не думал — считали, не уберется учитель, ненароком попался к немцам. И он им ничего о себе не сказал. Только подбадривал. И сам старался быть бодрым, насколько, конечно, это ему удавалось. Говорил, что жизнь человеческая очень несоразмерна с вечностью и пятнадцать лет или шестьдесят — все не более чем мгновение перед лицом вечности. Еще говорил, что тысячи людей в том же Сельце рождались, жили, отошли в небытие, и никто их не знает и не помнит никаких следов их существования. А вот их будут помнить, и уже это должно быть для них высшей наградой — самой высокой из всех возможных в мире наград.

Наверно, это все-таки мало их утешало. Но тот факт, что рядом был их учитель, их всегдашний Алесь Иванович, как-то облегчал их незавидную судьбу. Хотя, конечно, они бы многое, наверно, дали, чтобы он спасся.

Рассказывали, что, когда вывели их на улицу, сбежалась вся деревня. Полицай стали разгонять людей. И тогда старший брат этих близнецов Кожанов, Иван, пробрался вперед и говорит какому-то немцу: «Как же так? Вы же говорили, что когда явится Мороз, то отпустите хлопцев. Так отпустите теперь». Немец ему парабеллумом в зубы, а Иван ему ногой в живот. Ну, тот и выстрелил. Иван так и скорчился в грязи. Что тогда началось: крик, слезы, проклятья. Ну да им что — повели хлопцев.

Вели по той самой дороге, через мосток. Мосток подправили немного, пешком можно было пройти, а фурманки еще не ездили. Вели, как я уже говорил, парами: впереди Мороз с Павликом, за ними близнята Кожаны — Остап и Тимка, потом однофамильцы — Смурный Коля и Смурный Андрей. Позади два полицая волокли Бородича. Полицаяев, рассказывали, было человек семь и четыре немца.

Шли молча, разговаривать никому не давали. Да и не хотелось, должно быть, им разговаривать. Знали ведь, что ведут на смерть, — что же еще могло ожидать их в местечке? Руки у всех были связаны сзади. А вокруг — поля, знакомые с детства места. Природа уже дружно пошла к весне, на деревьях растрескались почки. Вербы стояли пушистые, увешанные желтой бахромой. Говорил Миклашевич, такая тоска на него напала, хоть в голос кричи. Оно и понятно. Хоть бы успели малость пожить, а то по четырнадцать — шестнадцать лет хлопцам. Что они видели в этой жизни?

Так подошли к леску с тем мостком. Мороз все молчал, а тут тихонько так спрашивает у Павлика: «Бежать можешь?» Тот сначала не понял, посмотрел на учителя: о чем он? А Мороз снова: «Бежать можешь? Как крикну, бросайся в кусты». Павел догадался. Вообще-то бегать он был мастак, но именно — был.

За три дня в амбаре без еды, в муках и пытках умение его, конечно, поубавилось. Но все-таки слова Алесь Ивановича вселили надежду. Павлик заволновался, говорил, аж ноги задрожали. Показалось тогда, что Мороз что-то знает. Если так говорит, то, наверное, можно спастись. И хлопец стал ждать.

А лесок вот он уже — рядом. За дорогой сразу же кустики, сосенки, ельник. Правда, лесок-то не очень густой, но все-таки укрыться можно. Павлик тут знал каждый кустик, каждую тропку, поворот, каждый пенек. Такое волнение охватило парня, что, говорил, вот-вот сердце разорвется от напряжения. До ближнего кустика оставалось шагов двадцать, потом десять, пять. Вот уже и лесок — ольшаник, елочки. Справа открылась низинка, тут вроде полегче бежать. Павлик смекнул, что, наверно, именно эту низинку и имел на примете Мороз. Дорога узенькая, на фурманку, не больше, два полицая идут впереди, двое по сторонам. В поле они держались чуток подальше, за канавой, а тут идут рядом, рукой дотронуться можно. И конечно, все слышат. Наверно, поэтому Мороз и не сказал больше ни слова. Молчал, молчал да как крикнет: «Вот он, вот — смотрите!» И сам влево от дороги смотрит, плечом и головой показывает, словно кого-то увидел там. Уловка не бог весть какая, но так естественно это у него получилось, что даже Павлик туда же глянул. Но только раз глянул, да как прыгнет, словно бы заяц, в противоположную сторону, в кусты, к низинке, через пеньки, сквозь чащобу — в лес.

Несколько секунд он все-таки для себя вырвал, полицайи прозевали тот самый первый, самый решающий момент, и парень оказался в чаще. Но спустя три секунды кто-то ударил из винтовки, потом еще. Двое бросились по кустам вдогонку, поднялась стрельба.

Бедный, несчастный Павлик! Он-то не сразу и сообразил, что в него попали. Он только удивился, что это так ударило его сзади промеж лопаток. И отчего так не вовремя подкосились ноги. Это его больше всего и удивило, подумал: может, споткнулся. Но встать он уже не смог, так и вытянулся на колючей траве в прошлогоднем малиннике.

Что было потом, рассказывали люди, — слышали, должно быть, от полицаяев, потому что больше никто ничего не видел, а те, кому пришлось видеть, уже не расскажут. Полицайи приволокли хлопчика на дорогу. Рубашка на его груди вся пропиталась кровью, голова обвисла, Павлик не шевелился и выглядел совсем мертвым. Приволокли, бросили в грязь и взялись за Мороза. Избили так, что и Алесь Иванович уже не поднялся. Но до смерти забить не решились — учителя надо было доставить живым, — и двое взялись тащить его до местечка. Когда снова построились на дороге, Каин подошел к Павлику, сапогом

перевернул его лицом кверху, видит — мертвец. Для уверенности ударил еще прикладом по голове и спихнул в канаву с водой.

Там его и подобрали ночью. Говорят, сделала это та самая бабка, у которой квартировал Мороз. И что ей там, старой, понадобилось? В потемках нашла мальчишку, выволокла на сухое, думала, неживой, и даже руки на груди сложила, чтобы все как полагается, по-христиански. Но слышит, сердце вроде стучит. Тихонько так, еле-еле. Ну, бабка в село, к соседу Антону Одноглазому, тот ни слова не говоря запряг лошадь и — к батьке Павлика.

И тут, скажу тебе, отец молодцом оказался, не смотри что ремнем когда-то стегал. Привез из города доктора, лечил, прятал, сам натерпелся, а сына вынянчил. Спас парня от гибели — ничего не скажешь.

А тех шестерых довели до местечка и подержали там еще пять дней. Отделали всех — не узнать. В воскресенье, как раз на первый день пасхи, вешали. На телефонном столбе у почты укрепили перекладину — толстый такой брус, получилось подобие креста, и по три с каждого конца. Сначала Мороза и Бородича, потом остальных, то с одной, то с другой стороны. Для равновесия. Так и стояло это коромысло несколько дней. Когда сняли, закопали в карьере за кирпичным заводом. Потом уже, как бы не в сорок шестом, когда война кончилась, наши перекоронили поближе к Сельцу.

Из семерых чудом уцелел один Миклашевич. Но здоровья так и не набрал. Молодой был — болел, стал постарше — болел. Мало того, что грудь прострелена навылет, так еще сколько времени в талой воде пролежал. Начался туберкулез. Почти каждый год в больницах лечился, все курорты объездил. Но что курорты! Если своего здоровья нет, так никто уже не даст. В последнее время стало ему получше, казалось, неплохо себя чувствовал. И вот вдруг стукнуло. С той стороны, откуда не ждал. Сердце! Пока лечил легкие, сдало сердце. Как ни берегся от проклятой, а через двадцать лет все-таки доконала. Настигла нашего Павла Ивановича.

Вот такая, браток, история.

— Да, невеселая история, — сказал я.

— Невеселая что! Героическая история! Так я понимаю.

— Возможно.

— Не возможно, а точно. Или ты не согласен? — уставился на меня Ткачук.

Он заговорил громко, покрасневшее его лицо стало гневным, как там, за столом в Сельце. Буфетчица с беспокойной подозрительностью поглядела на нас через головы двух подростков с транзистором, запасавшихся сигаретами. Те тоже оглянулись. Заметив чужое внимание к себе, Ткачук нахмурился.

— Ладно, пошли отсюда.

Мы вышли на крыльцо. Ночь еще потемнела, или это так показалось со свету. Рыжая лопоухая собачонка пытливым взглядом обвела наши лица и осторожно принюхалась к штиблетам Ткачука. Тот остановился и с неожиданной добротой в голосе заговорил с собакой:

— Что, есть хочешь? Нет ничего. Ничего, брат. Поищи еще где-нибудь.

И по тому, как мой спутник шатко и грузно сошел с крыльца, я понял, что, наверно, он все-таки переоценил некоторые свои возможности. Не надо было нам заходить в эту чайную. Тем более по такому времени. Теперь уже было половина десятого, автобус, наверно, давно прошел, на чем добираться до города, оставалось неизвестным. Но дорожные заботы лишь скользнули по краю моего сознания, едва затронув его, — мыслями же своими я целиком находился в давнем, довоенном Сельце, к которому так неожиданно приобщился сегодня.

А мой спутник, казалось, снова обиделся на меня, замкнулся, шел, как и там, по аллее в Сельце, впереди, а я молча тащился следом. Мы миновали освещенное место у чайной и шли по черному гладкому асфальту улицы. Я не знал, где здесь находится автобусная остановка и можно ли еще надеяться на какой-либо автобус. Впрочем, теперь это мне не казалось важным. Посчастливится — подъедем, а нет, будем топать до города. Осталось уже немного.

Но мы не прошли, пожалуй, и половины улицы, как сзади появилась машина. Широкая спина Ткачука ярко осветилась в потемках от далекого еще света фар. Вскоре обе наши голенастые тени стремительно побежали вдаль по посветлевшему асфальту. Машина быстро приближалась, поворачивая эти тени в сторону и причудливо выгибая их на заборах, в канаве, на стенах, шиферных и жестяных кровлях домов.

— Проголосуем? — предложил я, сходя на обочину улицы.

Ткачук оглянулся, и я увидел его недовольное, почти расстроенное лицо, на котором коротко сверкнуло что-то в яркости электрических лучей. Правда, он тут же спохватился, вытер рукой глаза, и меня пронзило впервые появившееся за этот вечер новое чувство к нему. А я-то, дурак, думал, что дело только в «Червоном міцном».

В какой-то момент я растерялся и не поднял руки, машина с ветром проскочила мимо, и нас снова объяла темень. На фоне бегущего снопа света, который она выбрасывала перед собой, стало видно, что это «газик». Вдруг он замедлил ход и остановился, свернув к краю дороги; какое-то предчувствие подсказало: это для нас.

И действительно, впереди послышался обращенный к Ткачуку голос:

— Тимох Титович!

Ткачук проворчал что-то, не убыстряя шага, а я сорвался с места, боясь упустить эту неожиданную возможность подъехать. Какой-то человек вылез из кабины и, придерживая открытой дверцу, сказал:

— Пролезайте вовнутрь. Там свободно.

Я, однако, помедлил, поджидая Ткачука, который неторопливо, вразвалку подходил к машине.

— Что же это вы так задержались? — обратился к нему хозяин «газика», и я только теперь узнал в нем заведующего районо Ксендзова.— А я думал, вы давно уже в городе.

— Успеется в город,— пробурчал Ткачук.

— Ну, залезайте, я подвезу. А то автобус уже прошел, сегодня больше не будет.

Я сунулся в темное, пропахшее бензином нутро «газика», нащупал лавку и сел за бесстрастно-неподвижной спиной шофера. Казалось, Ткачук не сразу решился последовать за мной, но наконец, неуклюже хватаясь за спинки сидений, втиснулся и он. Заведующий районо звучно захлопнул дверцу.

— Поехали.

Из-за шоферского плеча было удобно и приятно смотреть на пустынную ленту шоссе, по обе стороны которого проносились навстречу заборы, деревья, хаты, столбы. Посторонились, пропуская нас, парень и девушка. Она заслонила ладонью глаза, а он смело и прямо смотрел в яркий свет фар. Село кончалось, шоссе выходило на полевой простор, который сузился в ночи до неширокой ленты дороги, ограниченной с боков двумя белесыми от пыли канавами.

Заведующий районо повернулся вполоборота и сказал, обращаясь к Ткачуку:

— Зря вы там, за столом, насчет Мороза этого. Непродуманно.

— Что непродуманно? — сразу недобро напрягся на сиденье Ткачук, и я подумал, что не стоит опять начинать этот, возможно, нелегкий для обоих разговор.

Ксендзов, однако, повернулся еще больше — казалось, у него был какой-то свой на это расчет.

— Поймите меня правильно. Я ничего не имею против Мороза. Тем более теперь, когда его имя, так сказать, реабилитировано...

— А его и не репрессировали. Его просто забыли.

— Ну, пусть забыли. Забыли, потому что были другие дела. А главное, были побольше, чем он, герои. Ну в самом деле,—

оживился Ксендзов,— что он такое совершил? Убил ли он хоть одного немца?

— Ни одного.

— Вот видите! И это его не совсем уместное заступничество. Я бы даже сказал — безрассудное...

— Не безрассудное! — обрезал его Ткачук, по нервному, прерывающемуся голосу которого я еще острее почувствовал, что сейчас говорить им не надо.

Но, как видно, у Ксендзова тоже что-то накипело за вечер, и теперь он хотел воспользоваться случаем и доказать свое.

— Абсолютно безрассудное. Ну что, защитил он кого? О Миклашевиче говорить не будем — Миклашевич случайно остался в живых, он не в счет. Я сам когда-то занимался этим делом и, знаете, особого подвига за этим Морозом не вижу.

— Жаль, что не видите! — чужим, резким голосом отрезал Ткачук. — Потому что близорукий, наверно! Душевно близорукий!

— Гм... Ну, допустим, близорукий, — снисходительно согласился заведующий районо. — Но ведь не я один так думаю. Есть и другие...

— Слепые? Безусловно! И глухие. Невзирая на посты и ранги. От природы слепые. Вот так! Но ведь... Вот вы скажите, сколько вам лет?

— Ну, тридцать восемь, допустим.

— Допустим. Значит, войну вы знаете по газетам да по кино. Так? А я ее своими руками делал. Миклашевич в ее когтях побывал да так и не вырвался. Так почему же вы не спросите нас? Мы ведь в некотором роде специалисты. А теперь же сплошь и во всем специализация. Так мы — инженеры войны. И про Мороза прежде всего нас спросить надо бы...

— А что спрашивать? Вы же сами тот документ подписали. Про плен Мороза... — загорячился и Ксендзов.

— Подписал. Потому что дураком был, — бросил Ткачук.

— Вот видите, — обрадовался заведующий районо. Он совсем уже не интересовался дорогой и сидел, повернувшись назад лицом, жар спора захватывал его все больше. — Вот видите. Сами и написали. И правильно сделали, потому что... Вот теперь вы скажите: что было бы, если бы каждый партизан поступил так, как Мороз?

— Как?

— В плен сдался.

— Дурак! — зло выпалил Ткачук. — Безмозглый дурак! Слышишь? Останови машину! — закричал он шоферу. — Я не хочу с вами ехать!

— Могу и остановить,— вдруг многообещающе объявил хозяин «газика».— Если не можете без личных выпадов.

Шофер, похоже, и впрямь притормаживал. Ткачук попытался встать — ухватился за спинку сиденья. Я испугался за моего спутника и крепко сжал его локоть.

— Тимох Титович, подождите. Зачем же так...

— Действительно,— сказал Ксендзов и отвернулся.— Теперь не время об этом. Поговорим в другом месте.

— Что в другом! Я не хочу с вами об этом говорить! Вы слышите? Никогда! Вы — глухарь! Вот он — человек. Он понимает,— кивнул Ткачук в мою сторону.— Потому что умеет слушать. Он хочет разобраться. А для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб попроще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу...

Что-то в Ткачуке надорвалось. Захлебываясь, словно боясь не успеть, он старался выложить все наболевшее и, должно быть, теперь для него самое главное.

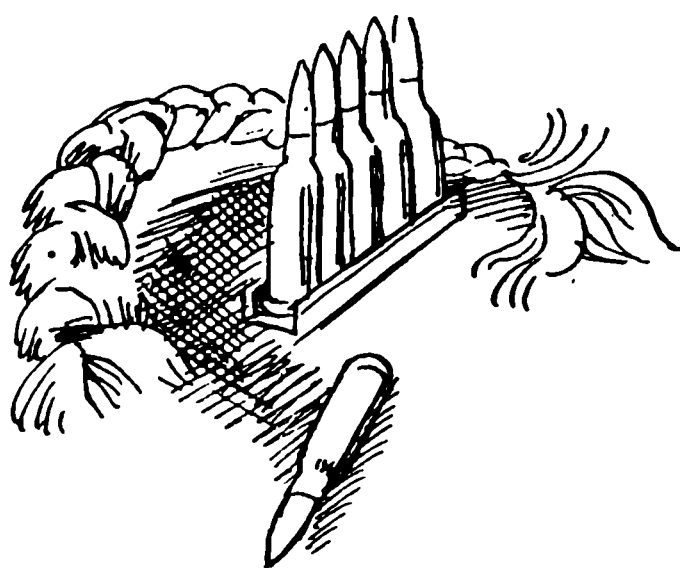
— Мороза нет. Не стало и Миклашевича — он понимал прекрасно. Но я-то еще есть! Так что же вы думаете, я смолчу? Черта с два! Пока живой, я не перестану доказывать, что такое Мороз! Вдолблю в самые глухие уши. Подождите! Вот он поможет, и другие... Есть еще люди! Я докажу! Думаете, старый! Не-ет, ошибаетесь...

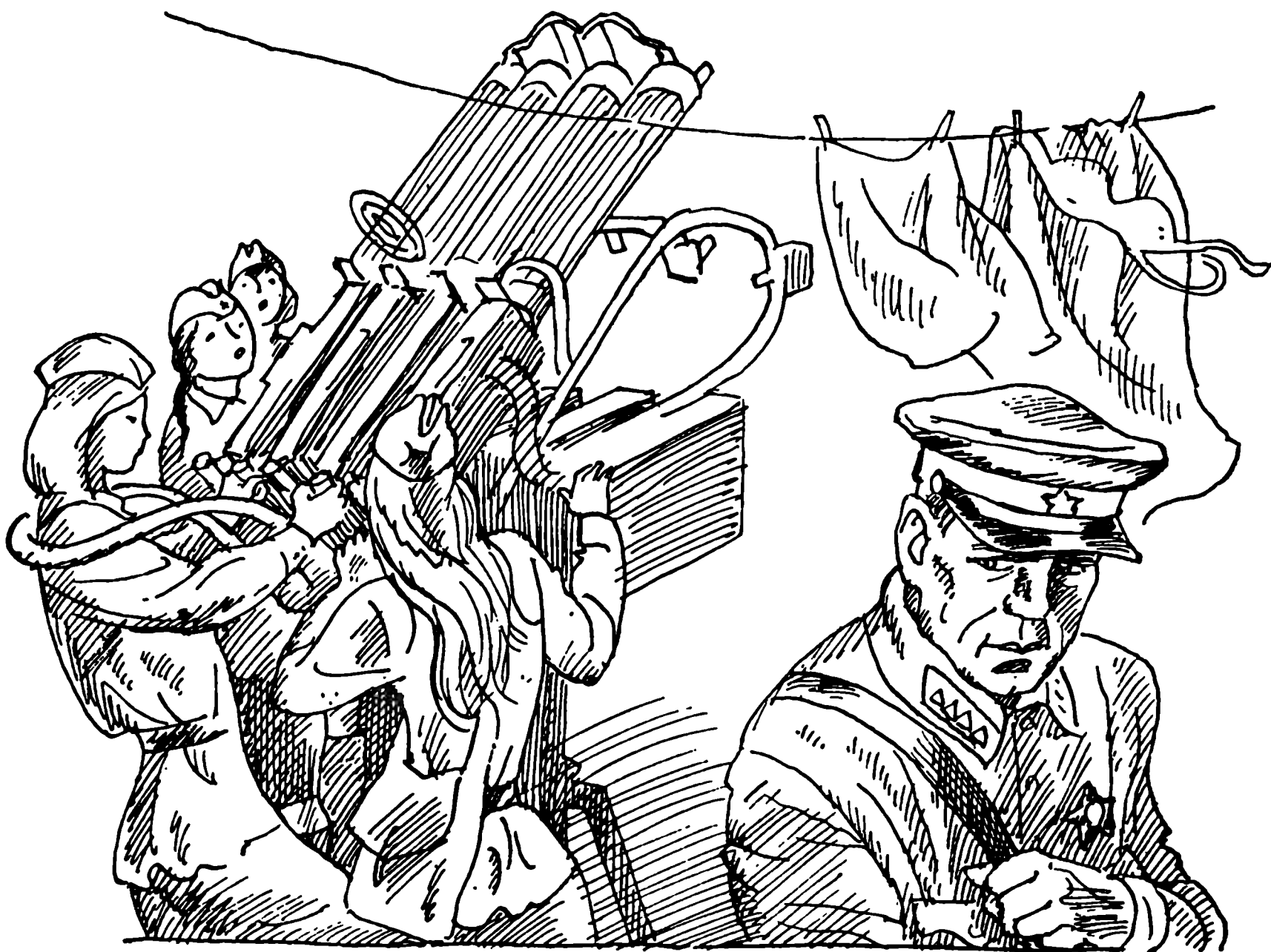
Он еще говорил и говорил что-то — не слишком вразумительное и, наверно, не совсем бесспорное. Это был неподконтрольный взрыв чувства, быть может, вопреки желанию. Но, не встретив на этот раз возражений, Ткачук скоро выдохся и притих в своем углу на заднем сиденье. Ксендзов, пожалуй, не ждал такого запала и тоже умолк, сосредоточенно уставившись на дорогу. Я также молчал. Ровно и сильно урчал мотор, шофер развил хорошую скорость на пустынной ночной дороге. Асфальт бешено летел под колеса машины, с вихрем и шелестом рвался из-под них назад, фары легко и ярко резали темень. По сторонам мелькали белые в лучах света столбы, дорожные знаки, вербы с побеленными стволами...

Мы подъезжали к городу.

БОРИС ВАСИЛЬЕВ

А зори здесь тихие...
Повесть





1

На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шёл май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге только-только приходил в себя блокадный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось ещё достаточно

молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались; на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда хмурый старшина Васков писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов приладился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший по последним рапортам майор. — Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!..

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого горластого начальника, но талдычил свое, как пономарь. — Непьющих и это... Что, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Вам виднее, — осторожно сказал старшина.

— Ладно, Васков!.. — распаляясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут, как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься...

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые нос будут воротить от юбок и самогонки живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось не просто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это ж почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси — и то сомневаюсь...

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. — Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться, — загадочно улыбнулась хозяйка.

— Радоваться после войны будем, — резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел: перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения третьего взвода пятой роты Отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отрапортовала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак,— совсем не по-уставному сказал комендант.— Наши, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчики на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами? — бойко спросила рыжая: Васков давно уже заметил ее.

— Ягод еще нет,— сказал он.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина. Отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила тишь да благодать, но коменданту легче не стало. Зенитчики оказались деваками шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил, уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя старичком величают, так что глядите соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть лишь меры, предпринятые хозяйкой для упрочнения собственных позиций; она таки растопила лед комендантского сердца и теперь, естественно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчики азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки: вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

— Демаскирует.

— А есть приказ,— не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военным служащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал: ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись — хихикать будут до осени...

Дни стояли теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом лугу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер: в глаза брызнуло таким неистово белым, таким сочным, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром младшим сержантом Осяниной загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось красться задним ходом, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще до этого выделил: строга. Не смеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она,— поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна.— Так что полностью в женском звании состоит.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум времени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно,— дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают, это все так. А внутри — беспорядок: «Люба, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая».



Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это — насмешка полная, это надо порушить, а — как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

— А у нас — разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся: соседка во двор заглядывает, Полинка Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хохочет. И ворот не застегнут.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю — в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поймей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.

— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат, и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена: он этот вопрос с крикуном-майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо.

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого четвертого у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали! Это ж надо — не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они — не гляди, что рядовые, — наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и все девять: по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. И выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он свою жизнь удачливой считал. Ну, не то чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу закончил и за десять лет до стар-

шинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других сторон, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась: все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали: Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась и с полковым ветеринаром отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедля, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно. Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздохнул старшина.

2

Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер: встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант: станцевать вальс, и они

станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила: повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки.

Они даже простились не за руку: просто кивнули друг другу, и все. Лейтенант уехал на заставу, и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета: в июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита несколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него — к ее родителям, и все-таки добились своего. Рита была первой из класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика, Аликом назвали, Альбертом, а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила сына к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу, и в стрельбе жила надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар: на заставе так любили петь — «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш, советский огород...». Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появилась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило неулыбчивую вдову героя-пограничника: отмечало в приказах, ставило в пример, и поэтому уважило личную просьбу: направить после окончания школы на тот же участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, хоть и не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился; корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита!.. Стреляй!.. — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку.

Очередь из четырех стволов начисто разрежала черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло, помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я, когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую исползала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет: просто — зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости: болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать!.. — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают: занятно.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам, — этого я не понимаю.

— Пример покажи, — улыбалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один

был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось: два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солнца, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили подносицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранило еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного Совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела — и залюбовалась: высокая, рыжая, белокожая. А глаза — детские: зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день банным был, и, когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую, как на чудо, глядели:

— Женька, ты русалка...

— Женька, у тебя кожа прозрачная...

— Женька, с тебя скульптуру лепить!..

— Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!..

— Ой, Женька, тебя в музей нужно. Под стекло на черном бархате...

— Несчастливая баба, — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала: нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой — вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти — пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита — хоть и знала про полковника досконально — спросила:

— И у тебя — тоже?

— А я — одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили — и под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все!.. Сестренка последней упала: специально добивали...

— Послушай, Женька, а как же полковник?.. — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька?..

— А вот — могла!.. — Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность и — странное дело! — Рита словно бы оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчала. Даже смеялась иногда, даже пела с девочками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной, веселой и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичье «ля-ля» цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебя, Женька, — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!..

Так и кончилось Ритино так тщательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем — Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала; сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась: стала за разъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал, но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, стали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил усатый старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник:

— Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте:

— Лида, Рая — в наряд!..

Никто не видал, а Кирьянова узнала: доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя:

— Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттает...

И Васкову — ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый: в запасе — двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии — особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а иногда и банки с тушенкой. Шальная от удачи Рита бегала туда по две-три ночи в неделю: почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зарвалась ты, мамочка. Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я — везучая!..

У самой от счастья глаза светятся: разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!..

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась: по взглядам да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону:

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!..

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света не взвидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа — с обеда до ужина — мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез, не то что за реку — со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до

зари — сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом: через две ночи на третью.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, раскладывая на континентах гигантский пасьянс из человеческих жизней, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и знать не знала, что директива Имперской службы СД за № С 219/702 с грифом «только для командования» уже подписана и принята к исполнению.

3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком: сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, что сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить: пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька оставалось два поворота: потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый — и замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад: рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; с левого плеча дулом вниз свисал шмайссер.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоявшего на ее пути. Из лесу вышел второй: чуть пониже, с автоматом на груди и точно таким же тючком в руке. Они молча пошли прямо

на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом: крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала: никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась.

Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом: сапоги били по спине. Не таясь, пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в галифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубахе с завязками. Хлопал сонными глазами:

— Что?

— Немцы в лесу!..

— Так...— Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе, разыгрывают.— Откуда известно?

— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

— Погоди тут.

Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накиннул гимнастерку второпях, как при пожаре.

— Что там, Федот Евграфыч? — испуганно спросила хозяйка.

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила: так, стало быть, теперь воюют.

— Команду — в ружье: боевая тревога. Кирьянову — ко мне. Бегом!..

Бросились в разные стороны: девушка — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную, к телефону. Только бы связь была...

— «Сосна», «Сосна»!.. Ах ты, мать честная... Либо спят, либо поломка... «Сосна»! Так вас!..

Подействовало!..

— «Сосна» слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай Третьего. Срочно давай. ЧП!..

— Даю, не ори. ЧП у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ Третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной...

Кириянова вошла: без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ Третий. Думаю лес прочесать...

— погоди чесать, Васков. Тут подумать надо: объект без прикрытия оставим — тоже по головке не погладят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в масках, с автоматами. Разведка...

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот, всегда так, всегда Васков виноват.

Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ Третий. Пока далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кириянова там?

— Тут, товарищ...

— Дай ей трубку.

Кириянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой:

— Приказано выделить в ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видела.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать. У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки!.. Чеши с такими в лес, лови немцев с автоматами... А у них, между прочим, одни родимые, образца 1891 дробь тридцатого года...

— Вольно.

— Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

— Погодите, Осянина! Немцев идем ловить — не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко: прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — я? Что такое я?.. Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо!.. Как по-ихнему «руки вверх»?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул-таки рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... Ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все — сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу, старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала: две подушки рядышком... Федот Евграфыч угощал сержантов похлебкой и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут, — палец Осяниной слегка колупнул карту. — А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам, — не глядя, сказала Кирьянова.

— Ночным?.. — Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана, — опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин!.. — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу. — Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох, и язва же эта Кирьянова! Одно слово: петля.

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать: там по обе стороны еще в

финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте.

— Там кусты и туман,— сказала Осянина.— Мне казалось...

— Креститься надо, если кажется,— проворчал комендант.— Тючки, говоришь, у них были?

— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул цигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, настолько ясно, что он даже застеснялся:

— Мыслю я, тол они несли. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги не близко,— сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато — лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так...— заволновалась Осянина.— Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит,— сказал Васков.— Мой доклад — в двадцать тридцать ежедневно, позывной «17». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив:

— Разуться всем!..

Так и есть: у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно, хоть командир их младший сержант Осянина правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?..

Тридцать минут преподавал, как портянки наматывать. А еще тридцать — винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Последние полчаса старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет, значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

— Знаем,— сказала рыжая.— Одна — справа, другая — слева.

— Скрытно,— уточнил Федот Евграфыч.— Порядок в движении такой будет: впереди — головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах — основное ядро: я...— он оглядел свой отряд,— с переводчицей. В ста метрах за нами — последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-звериному или, там, по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь: у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею,— робко сказала Гурвич.— По ослиному: и-а! И-а!..

— Ослы здесь не водятся,— с неудовольствием заметил старшина.— Ладно, давайте крякать учиться. Как утки.

Показал, а они — засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так селезень утицу подзывает,— пояснил он.— Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох, хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось: способная, видать. И еще у одной неплохо, у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здоровая, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские — Галя да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Вось-озеро. Глядите сюда. (Столпились у карты, дышали в затылок, в уши: смешно.) Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком да таясь не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно.

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война...

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил сидор собрать да захватить кое-чего требова-

лось. Немцы — вояки злые, это только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала что велел, даже больше: салашматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то что на свадьбе. Сунул в сидор патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться! Хозяйка глядела испуганно, тихо: глаза — на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил:

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта — как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел на околицу, оглядел свою гвардию: винтовки чуть прикладом по земле не волочатся. Довел, стало быть, фашист Россию, если уж и девки за винтари ухватились. Оно, конечно, для парада там или раненых перевязывать — это так. А ну как в груди в эти — осколком иззубренным, тогда как?..

Вздохнул Васков:

— Готовы?

— Готовы,— сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю: два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил: два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись. Впереди — Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, подсумком, скаткой да сидором гнулась, как тростинка...

4

За бросок к Вось-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь: в обход, по лесам, а потом к озеру на Синюхину гряду, и миновать гряду эту им было никак невозможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чухались — немцам идти все равно дольше. Раньше чем к вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок для бодрости, а там и пого-

ворит. В конце концов одного и прикончить можно, а с немцем один на один Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил. Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог, но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге, и засек-таки легкий следок с чужими рубчиками. Следок этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно, с таким обормотом встречаться девушкам с глазу на глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось, но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум сообразил, что немец топал прямехонько в обход топи. Все выходило так, как он замыслил.

— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей напарнице.— Здорово очень даже побегает: верст за сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как сильно умаялась: аж приклад по земле волочился. Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сиротствуешь?

— Сиротствую?..— Она улыбнулась.— Пожалуй, знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон...

— В Минске мои родители.— Она подергала тощим плечом, поправляя винтовку.— Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну, что вы...

— Да...— Федот Евграфыч еще покосился: прикинул, не обидит ли.— Родители — еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно...— Комендант сердито посопел.— Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробыный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами, глядишь, и полегчало бы, а вместо этого надо улыбку изо всех сил к губам прилаживать:

— А ну, боец Гурвич, крикни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил? Сразу заулыбалась. И глазки живыми стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился: баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему: подтянулись.

А Осянина просто бегом примчалась — винтовка в руке:

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, — выговорил ей комендант. — Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась — аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего! — рыжая выпалила: за Осянину расстроилась, ясное дело.

— Вот и хорошо, — миролюбиво сказал Федот Евграфыч. — Что в пути заметили? По порядку: младший сержант Осянина.

— Вроде ничего... — Рита замялась. — Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Комелькова.

— Ничего не заметила, все в порядке.

— С кустов роса сбита, — торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. — Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно сказал старшина. — Молодец, красноармеец Бричкина. А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это — команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился:

— Не реготать! И не разбегаться. Все!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда — скатки, куда винтовки составить, и распустил свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались: шушукались, переглядывались.

— Сейчас внимательнее надо быть, — сказал комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но — след в след. Тут слева-справа — трясины: маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и, прежде чем ногу поставить, слегой дрыгву пусть попробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз: рыжая только головой дернула, но задержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурок:

- Ну, у кого силы много?
- А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.
- Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.
- Зачем?.. — пискнула Гурвич.
- А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!
- Я.
- Взять мешок у красноармейца Четвертак.
- Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...
- Разговорчики! Делать, что велят: личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно...

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи твоя воля! Утерпеть не могут.

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое — слегой? Слегка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то...

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной, за мной — Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте и ведро — бочажок.

— Местами будет по... Ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колени — только трясина чавкнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном матрасе. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд. Сырой стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгорячен-

ными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом. Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей, холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, приноравливаясь к Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, искорверканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант крепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять! Засосет...

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка: и юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашла?

— Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!..

— Я помочь...

— Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять. Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только! До островка пустяк остался: там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоем.

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!.. — повернулся, пошел не оглядываясь. — След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся: там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны, и сноровка. Но — обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задыхающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила: вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись...

— Ну, отдыхайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем — и шабаш.

— Нам бы помыться, — сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот Евграфыч. — Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растрепал ты, Галка! — сердито сказала Комелькова. — Надо было пальцы вверх загибать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загибалась, а он все равно слез...

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых...

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как сяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а — молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затаился, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай слези, товарищи бойцы. И — за мной, прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был — не приведи господь. Жижа, что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока ее распахнешь, чтоб вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному: ей полегче было.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его... — Подумал маленько, добавил: — Старики бают, что ак-

курат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его гвардия. Пыхтит, ойкает, задыхается. Но — лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало: кисель пожиже, дно попрочнее, даже кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся: в затылок шли. К березе почти разом выбрались: дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор. Тут они загалдели разом, обрадовались и слегки побросали. Однако Федот Евграфыч слегки велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить.

— Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел:

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура!.. — закричала рыжая Женька. — Пляж, девочки! Девушки заорали что-то счастливое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывая скатки, вещмешки...

— Отставить!.. — гаркнул комендант. — Смирно!..

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

— Песок! — сердито продолжал старшина. — А вы в него винтовки суете, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? Сидора, скатки — в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина!

— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и — чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко — чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся.

Где-то неразборчиво переговаривались девушки: только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался. Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки да белье выстирал, отжал, сколько мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог: ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоялся гвардию свою напугать: покрякал почти что шепотом, без удовольствия, смыл мыло — и на берег. И только уж когда

суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал. А там гомонили, как на побеседушках: все враз и каждый свое. Только смеялись дружно да Четвертак радостно выкрикивала:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!..

— Только вперед!..— заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

«Ишь ты, купаются...» — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолще самокрутку, почикал «катюшей» по кремню, прикурил от затлевающего фитилька и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплему майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, покрутил головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более, что и гвардия ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?

— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова. Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому...

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудили: запасной портянкой обмотали, сверху — два шерстяных носка (хозяйки его рукоделие и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул. Подогнал, прикрутил бинтом:

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались — покраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переходил, давал отдышаться — и снова:

— За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт — не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок — ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичало словно все: и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры — все ушли на фронт.

— Тихо-то как... — шепотом сказала звонкая Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду второе озеро поджигает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь: меж этими озерами, через гряду. А там известно что: бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать: основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем — и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика — по миру пошла бы семья. Тем более, голодно тогда было, неурядиц много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил, и о том, что людям выходные положены, узнал уже к двадцати годам. Ну, потом армия, тоже — не детский сад. В армии солидность уважают. А он — армию уважал. Так и получилось, что на данном этапе он опять не помолодел, а наоборот, старшиной стал. А старшина — старшина и есть:

он всегда для бойцов старый. Положено так. И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал: он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут не в субординации было: в мироощущении.

Поэтому и на девчат, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично пил чай с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное...

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так все получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно, и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную он позицию выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три гряди огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде сготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась: он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

— Замечу дым, вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно, — упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтоб тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал; но дыма не было: только воздух

дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло. Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался напополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю,— улыбнулась она.

— Вижу! Худющая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция?.. Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а — в теле. Есть на что приятно поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчаса, и старшина приказал построиться.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа.— Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Вось-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Вось-озеро, сосед справа — Легонтово озеро...— Старшина помолчал, откашлялся, расстроенно подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своим заместителем назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв,— сказала Осянина.

— Вопросов нет, все ясненько,— бодро отозвалась Кормелькова.

— А ясненько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

— Чтоб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина.— А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь» не скомандую. А то не погляжу, что женский род...— Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой.— Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно — чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уж совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал, и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел: шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто воруя их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уже не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, и он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза: Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?

— Где?... — испуганно откликнулась она.

— Фу, леший... Показалось.

Рита длинно посмотрела на него, улыбнулась:

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина. Это так, сморило меня. Покурить надо.

Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала гребенку вести — руки не хватает: перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот — простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина наблюдает. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому ведь — из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул: сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесятидвухмиллиметровая пушка — гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?.. — вздохнул Федот Евграфыч. — Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И — ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя.

Сказал — и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру:

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

И пошел от бойца к бойцу. Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти:

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы —
Кровавый ответ в лицах есть...

— Кому читаешь-то? — спросил он, подходя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано было, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой:

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего ж — в голос?

— Так ведь — стихи.

— А-а... — Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал. — Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что, ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинелку подстилай.

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— А в голос все-таки не читай. В вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла: бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше — отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебуршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина: вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то

была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож», — с ходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — улыбнулась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, глядите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряду на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и спрятав руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?..

Высунула шею. Старшина лоб ее сжал, прислушался: горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любого обвиняют. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский си-верко. Получи в натуре одного небоеспособного — обузу на весь отряд и лично на твою совесть. Федот Евграфыч сидор свой вытащил, лямки сбросил, нырнул: в укромном местечке наиважнейший его НЗ лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку:

— Так примешь или разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт, ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять! — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей, без разговору!..

— Ну, что вы, в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давясь, со слезой пополам. Закашлялась: Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась.

— Голова у меня... побежала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей покрыл:

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боись. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой, отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться, могли какое-либо иное задание иметь, а вовсе не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрельнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместе того, чтобы лес чесать да немцев прищучить, черт те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание...

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастёрке...

— погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

— Как спят?..

— Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда — единственный удобный подход к железной дороге. А до нее им...

— погоди, Осянина, погоди! Полста верст, это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А? Так мыслю?..

— Так, товарищ старшина.

— А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?

Рита улыбнулась. И опять посмотрела — длинно, как бабы на ребятню смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита... как по бабушке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч.

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они — тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала: отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось,

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч,— улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, думала передремать до зари и — заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул.

— Что?..

— Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула: над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки,— тихо смеется Федот Евграфыч.— Сороки-белобки шебуршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но — скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала. Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке. Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались. Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли. Гурвич к нему подобралась:

— Здравствуйте, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак эта?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом, для связи. Только не высовывайся.

— Не высунусь,— сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все, и сороки вроде успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрылся сейчас и он сам, и его румяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез вновь выходит первобытный смысл существования — уцелеть,— минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите...— беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение. Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким кошачьим шагом они двинулись к озеру... Но Васков уже не глядел на них. Не глядел, потому что кусты за их спинами продолжали колыхаться, и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами на изготовку.

— Три... пять... восемь... десять...— шепотом считала Гурвич.— Двенадцать... четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты. С далеким криком отлетели сороки. Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

6

Всю жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и — с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а боль-

шего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Вось-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина, — почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты? Бричкину ко мне пришлешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход: где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и, хотя немцы были далеко и ничего еще не могли слышать, Федот Евграфыч переживал сейчас самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас или хоть дегтарь с полным диском и толковым вторым номером. Даже бы не дегтарь — автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их, поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди: левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?



— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик: там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо — трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость, сразу не лезь. С островка целься на обгорелый пенёк, с которого я в топь сигал. Точно на него цель: он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь.

— Ага.

— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй.

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не позабудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронташ с ремня снимать, все время ожидая поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растревоженных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уже близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились как воробьи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинели вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл, и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро

шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал. Они рядом перед ним устроились, молча следили, как он цигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего.— Улыбка у нее не получилась: губы не слушались.— Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощупывал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, цигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал,— сказал он погодя.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них — шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить через гряду,— сказал Федот Евграфыч.— Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход, вокруг Легонтова озера направить. А — как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют — и все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывал все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало — сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка — мечта, а не бритва,— но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять

да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались — это он понимал ясно. Шли они глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно, просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их — вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера: сутки ходьбы...

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну задержатся, ну разведку вышлют, ну поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом — ровно пятеро. А потом?.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтобы от четырех девчат да старшины с наганом в леса шарахаться...

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич: Четвертак, отоспавшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет, как сказал. Готовьтесь.

Готовьтесь... А что — готовьтесь-то? На тот свет разве, так для этого времени — чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Запалы в гранаты вставил (две штуки всего, две лимоночки), наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка: у девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли:

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов? Где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснить взялись, и — сообразил комендант. Сообразил: часть — какая б ни была — границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут: ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли: опасно это. Чуть где проглядишь — и все: засекут, сообщат куда надо. Потому никогда не известно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

— Ну, девчата, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала — мелкая, но шумливая. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую зеленую стену подлеска,

и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высовываться: ну, мелькать там, показываться, но — не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее: справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом: мелькать, шуметь да костер палить. А тот, левый фланг на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более, что оттуда весь плес речной проглядывался: в случае, если бы немцы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девчата уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он, не таясь уже (пусть слышат, пусть готовы будут!), подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!..

— По местам,— сказал Федот Евграфыч.— По местам, девоньки, только очень вас прошу: поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак еще на том берегу копошились: Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ей прикручивали. Старшина подошел:

— погоди, перенесу.

— Ну что вы, товарищ...

— погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк: пуда три, не более). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась — аж до шеи:

— Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбак нес все-таки,— а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доходила — холодная, до рези. Впереди

Гурвич брела, юбку подобрала. Мелькала худыми ляжками, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

— Ну и водичка... Бр-р!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча. Комендант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч.

Ничего, еще шутят! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иванович, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало и речку высветило, а кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли? — шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные: в такое дело не пошлют кого ни попадя...

Это он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью — и вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу: без ранцев, налегке. Выставив шмайссеры, обшаривали глазами голосистый противоположный берег. Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... поймут, что обнаружены.

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит, еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся четырнадцати шмайссеров шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать.

Он оглянулся: стоя сзади на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила, не таясь.

— Стой!..— шепнул старшина.

— Рая, Вера, идите купаться!..— звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем берег.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому теплему телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит она в эту тугую грудь, и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться!..— звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде.— Ивана зовите! Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся в глубь, в чащобу. Схватил топор, отбежав, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду!..— заорал он и снова ударил по стволу.— Идем сейчас, погоди!.. Ого-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал: и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник — чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла — боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под

косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила под рубашкой мокрые трусики, отжала их и аккуратно разложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

— Из района звонили — сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Проорал для той стороны, а что Комелькова ответила — не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что — казалось ему — шевельнись листок, и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось. Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она еще что-то говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат их головы немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. — А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубился.

— Одевайся. И хватит с огнем играть. Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся — а боец Комелькова,

закрывши лицо, скорчившись, сидела на земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

— Ну, все теперь!..— говорил Федот Евграфыч в перерывах между их веселиями.— Все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит,— сипло сказала Осянина, и опять все принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос.— Она — быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело,— сказал комендант и достал заветную фляжку.— Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопали, полотенце на камнях расстелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделывать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное — позади...

7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то,— строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее сельпо за хлебом. Подружки ее давно кончили школу: кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и — опять кормила. И — ждала завтрашнего дня.

Завтрашний этот день никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в саму Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пятачке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет, — сказал он дочери. — А только где же у нас? У нас мать помирает.

— Сеновал найдется, наверно.

— Холодно еще, — несмело сказала Лиза.

— Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили водку на кухне. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала. Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить. Так выходит? Погоди. Сухостой там, больные стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо, — подтвердил гость. — Не прореживать, а чистить. Дурную траву — с поля вон.

— Так, — сказал отец. — Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели — теплое, бегают, да пишшит?

— Волк, например...

— Волк?..— взъерошился отец.— Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы,— улыбнулся охотник.

— А он что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвиноватили. Сами обвиноватили, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волки и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц — совместимые? погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляем всех волков во всей России. Всех!.. Что будет?

— Как что будет? — улыбнулся гость.— Дичи много будет...

— Мало!..— рявкнул вдруг отец и с маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице.— Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только — зачем? Для спокойствия. Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

— А тебя, часом, не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить? — вздохнул лесник.— Прибытку у меня — два кулака да жена с дочкой. Не выгодно им меня кулачить.

— Им?..

— Ну, нам!..— Отец плеснул в стаканы, чокнулся.— Я не волк, мил человек, я заяц.

Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь: косматый, как медведь. В дверях остановился:

— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан,— торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза остановилась

у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку:

— Пойдите здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому сено, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтоб вдруг в полную мощь забилося сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы — и исчезло. Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурок.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца. Каждое утро гость исчезал из дома и появлялся поздним вечером голодный и усталый. Лиза кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы ничего с охоты не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет,— улыбнулся он.

— Исхудали только,— не глядя, продолжала она.— Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза,— вздохнул гость.— К сожалению, и он кончился: завтра уезжаю.

— Завтра?..— упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно,— печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто? — тихо спросил он.

— Я,— сказала Лиза.— Может, постель поправить...

— Не надо,— перебил он.— Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно,— еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и — сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась — может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее целовала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас, как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать,— сказал он.— Я устал, мне рано ехать.

И — зевнул. Должно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он — птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то своем уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги:

— Держи.

Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь.

В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием.

Подпись и адрес. И больше ничего, даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города она попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения,

выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Валдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу: когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилось его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая, мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кирьянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед квартирной хозяйкой, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это!..

— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душку военного втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес. Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина:

— Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им глазами-то не столкнулись, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес, как на крыльях.

— «После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевое задание и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего темного чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку. Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь. Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепenea от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество. мертвая за-

гробная тишина, повисшая над бурым болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всклипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила — слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и, каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая, родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила со всеми поворотами и смело рассчитывала за час-полтора пробежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок видела пенёк, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже: чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее: она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной...

Огромный бурый пузырь гулко вспучился перед нею. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копошившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную жидкую грязь. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была где-то совсем рядом: шаг, полшага, но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржа-

вым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился, и — как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел не только боевой, а еще и охотничий — и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведает, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится: медведь за тобой или ты за медведем. И чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал — весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура-сорока, и опять старшина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряду, выбрались на основную позицию, а потом — в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо, мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах пологий берег Легонтова озера. Бор начинался отступя от него, на взгорбке, и к нему вел корявый березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал,

слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает во мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя. — Подвела немца культура: кофею захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет — значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень — ту же некуда, присел:

— Посчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется — уходи немедленно, в ту же секунду уходи. Забирай девчат, и топайте напрямик на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому что Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

— Нет, — сказала Рита. — А вы?

— Ты это, Осянина, брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— Ясен — должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не заметила, когда он исчез: словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки уже промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Она, конечно, ощущала и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но, как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно: чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах:

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец. Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась:

— Почему?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было — лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро... — недовольно повторил старшина. — Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали...

— Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают — видал их. Двое — в секрете: тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно — сюда. И чтоб смеху — ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, там я махорку свою сушить выложил: захвати, будь другом. И вещички, само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе излазал. Высмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит, и заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. И к вечеру — ну, самое позднее к рассвету! — подойдут отряды, он поставит их на след и... и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтобы мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издаля определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рошицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

— Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской — чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад, за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать:

— Ну ничего, ладно уж. Махорка имеется... Сидор-то мой не забыли, случаем?

Сидор был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито

было: «Дорогому защитнику Родины». И не успел он расстрой-ства своего скрыть, как Гурвич назад бросилась:

— Я принесу! Я знаю, где лежит!..

— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какое там — только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат: это любой кадровик знает. Но Сониная семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть.

На дверях их маленького домика за Немигой висела медная дощечка:

Доктор медицины Соломон Аронович Гурвич.

И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком, и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг: днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангилах и маляриях, и бабушка поила его вишневым наливком.

У них была очень дружная и очень большая семья: дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер: серые и глухие, как кольчуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как кольчуги...

Недолго, правда, носила: всего год. А потом надела форму. И сапоги — на два номера больше.

В части ее почти не знали: она была незаметной и исполнительницей и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц — нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И наверно, поэтому голос ее услышал один старшина:

— Вроде Гурвич крикнула?

Прислушались: тишина висела над грядой, только чуть по-свистывал ветер.

— Нет,— сказала Рита.— Показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Странный выкрик этот словно застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она — с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное, Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего и не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми все отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

— Немцы?..— жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принюхивался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула: на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднимал камешек: черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать и — задохнулась.

— Неаккуратно,— тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину. Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, приник ухом. Слушал, долго слушал, а Женька беззвучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку: две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая пониже — в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза: грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все, до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся:

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей:

— Некогда трястись, Комелькова...

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной яркой болью рванулось вдруг сердце... Нет, успела. И понять успела, и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара: грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотился, а они на него? Может, высмотрели всё, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончать будет?

Но не страх — ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости, и только одного желал: догнать. Догнать, а там — разберемся...

— Ты у меня не крикнешь. Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где еще печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять

не мог простить себе, опять казнил себя и маялся, что недоглядел за ними, что понадеялся, будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок напополам делил. И кричала в нем эта маета, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было, будто спешили они не в бой, а на казнь. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. Словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись, — еле слышно сказал Федот Евграфыч. — Тут где-то они. Ближе где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

— Вон они, — сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женька глянула: в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

— Мимо пройдут, — не оглядываясь, продолжал Васков. — Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И — обратно замри. Поняла ли?

— Поняла, — сказала Женька.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперерез. Главное дело, надо было успеть с солнца забежать, чтоб в глазах у них рябило. И второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить — и крикнуть не дать. Чтоб — как в воду...

Он хорошее место выбрал: ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул, клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнячке, в весенних, еще кружевных листах. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с

автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски: задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крякнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так всё задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только, кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму. Всего мгновение прошло, одно мгновение: второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал до этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил: в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц хоть и нормального роста, а цепкий попался, жилистый: никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал покуда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умудрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдвинул ножищами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил, всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец — даром, что ли, глаза сузил да рот щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло,

и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся: боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова...— в три приема сказал старшина.— Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и — не смог. Так и сидел на земле, словно рыба, глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык, здоров. Еще дергался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя,— тихо сказал Васков.— На двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени: тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал...

И нашел то, что искал,— в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав: кисет. Его, личный, старшины Васкова кисет с вышивкой поверх: «Дорогому защитнику Родины». Сжал в кулаке, стиснул: не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давась и всхлипывая.

— Уйдите...— сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла: узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось,— сказал он.— Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал шмайссеры, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову — и раздумал. Шут с ними: прибыток не велик, а ей все легче — меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровищу всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре первые отряды должны были подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтоб время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их — что конопушек у рыжей девчоночки) старшина умылся, кое-как рваный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой: нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздохнул старшина:

— Наших сама найдешь или проводить?

— Найду.

— Ступай. И — к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?

— Нет.

— С опаской иди все же. Понимать должна.

— Понимаю.

— Ну, ступай. Не мешкайте там: переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки!

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами.

Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре — не разобрал Васков: здесь аккуратно нож ударил. А Соню нашел: сбоку стояла, в платьишке с длинными рукавами и широким воротом: тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину, и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послунил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо. А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета. Ярость его прошла, да и боль приутихла; только печалью был полон,

по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уже инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более, что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера — сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками: двое ушло — в разные, правда, концы, — а барахлишко их осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте, — сказал старшина.

Взял топорик (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыркался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернулся.

— Отличница была, — сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе, и в университете.

— Да, — сказал старшина. — Стихи читала.

А про себя подумал — не это главное. А главное, что могла нарожать Соня ребятишек, а те бы внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите, — сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак — за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте, — сказал он у ямы. — Кладите туда покуда.

Положили у края: голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь — за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?..— крикнула Осянина.— Не смейте!..

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!..— затряслась Четвертак.

— Не в цапки же играем, девоньки,— вздохнул старшина.— О живых думать нужно: на войне только этот закон. Держи, Осянина. Приказываю, держи.

Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак.

— Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девочки подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок: поверх старшина пилотку положил, камнями ее придавил. А Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим,— сказал.— После войны — памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет, нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама — медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина.— Хватит! Нет у тебя мамы! И не было! Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно — словно игрушку у ребенка сломали...

10

— Ну зачем же так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак.— Нам без злобы надо, а то остервенеет. Как немцы, остервенеет...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали: Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре. С гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бордатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, какого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным

визгом. Выдернутые из постели воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «Дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю терпеливо расспрашивали приезжие следователи и доморощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это — выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на мальчика с пальчик, но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детдому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладоискательство с эпидемической силой захватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрятами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю — нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в зенитчицы.

Осуществленная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического

порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучилась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скисла и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свете мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять куда надо и ждать, ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но — провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали, а время шло. Федот Евграфыч пока шмайссеры проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я, — показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй: вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Кормельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не напали. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом — остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов — кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась. Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девочкам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была: шарахнул ею из-за валуна, а когда рванула, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: прятались, залегли или разбежались.

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его

валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего: слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его шмайссера, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяло их, и — всё тогда. Хана.

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат: Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор, и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто потом не помнил. Если обычным временем считать — скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав: винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала, не попала — это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинеечка — всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались: неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневой прикрытия, без заслона: просто откатились. В леса, как потом выяснилось.

Враз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, остановилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Всё, — вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо утер — ладони в крови стали: посекло осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет, — сказал старшина. — Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня: не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тела не было: унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость

была — будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть с десяток минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы — коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков:

— Собрании?..

Увидел: опять Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова — в копоты пороховой, что цыган — глазами сверкает:

— Трусость!..

Вот оно что...

— Собрание — это хорошо, — свирепея, начал Федот Евграфыч. — Это замечательно — собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала: слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старшина и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку: немцы в леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много; значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так будем считать. Это — первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видно. А это — растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. Осяниной — вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока. Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Отряды что-то запаздывали, а немцы тем сумраком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь: ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало — а сил не было. Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнару-

жил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

— В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь — Осянина старшая. Задача: следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите — затаиться приказываю. Затаиться и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем — отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей: там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похвастать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что б ни случилось — молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать, немошь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал — одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, — значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Ва-

сков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано, только без легкости, вяло — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами: серое, заострившееся лицо Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И — две дырочки на ней. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая. Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку: вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди,— шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты — в ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк: в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие; волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

— Пристрелили,— определил старшина.— Свои же: в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...

Один только зверь собрата раненого добивает. Единственный из всего мира, за что и имя ему — волк. И нет большего врага у человека: древний враг, смертельный, жестокий. Но волк — на то он и волк, а здесь ведь...

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех этот — самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует: ни чело-

вечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и — вызрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

— Значит, такой закон?.. Учетом.

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина. Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то: боится. По-плохому боится, изнутри, а это хорошо если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть, не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта, как на помешанного: нашел, мол, время. Но — кивнула, и Федот Евграфыч приободрился:

— Читала, значит. А я его, как вот тебя, видел. Да. Возили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там, Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он — не гляди, что пост большой занимает — простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил, как, мол, ребята, служится?..

— Ну зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя.— Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин?..

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут комар еще насекает. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула, под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

— В куст!..— шепнул.— И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился — и вовремя! Глянул: опять двое идут, но — осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его — нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем большее мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, никак нельзя, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался, мок в нем и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза...

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо — сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с туза козырей, Васков ни на мгновение с диверсантов глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккуратно в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шугануть из своей родимой да немецкого шмайссера.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более, что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты на прямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее себя. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял шмайссер с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела.

Через несколько шагов они должны оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищур старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.
— А-а-а!..

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще неподвижно лежал за своим валуном, не успев еще понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда, на выстрелы, бежит через него.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил: увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого: не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат убересть. Уж их-то, последних, непременно убересть он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и — шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бежали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил немцев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал: та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил немцев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем невоюготу становилось. А потом опять выныривал: здрасте, фрицы, я — живой.

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут — пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал: вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и — замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепка летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось: к болотам отходить. Ног не жалея.

Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая: немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз

осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки.

Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светлело, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясаясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал, расползаться. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была не велика: по их понятиям, болото непроходимо было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

А в нашу сторону, в ту, что прямо, к разъезду вела, к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался — рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять — значит, боец Бричкина полезла в топь эту, трижды клятую, без опоры...

И осталась от нее только армейская юбка. А больше ничего не осталось — даже надежд, что помощь придет.

12

И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина.

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в

гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Бричкиной, навеки теперь приписанной к этой топи, о Четвертак, погибшей глупо и ненужно, о девчатах, что — надеялся он — живы еще покуда. И еще он думал о том, что всего оружия у него — один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека — лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха сигарку, раздул «ка-тюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил без толку весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. Но самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов.

Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей сигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчонки, зато — самые толковые. Втроем они еще силой были, силой, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие у них добыть. Другого выхода не было.

Вчера, в беготне, немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему, и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулись и Вось-озеро, и Синюхина гряда, и кустарнички с соснячком, что уходили правее. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчонки с трехлинейками в обнимку...

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях, и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и, хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Потому-то и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспугнутый заяц был, и испуганный людьми, которых знал мало и потому любопытничал. И старшина, совсем как заяц, уши наострил и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихо-тихо, тенью скользящей двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул, не дыша отвел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избы.

«Легонтов скит», — понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, невысохший след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад. Зачем, спрашивалось? Не из любозна-

тельности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так было нужно. Значит, убежище искали: может, раненые у них имелись; может, спрятать что требовалось. Иного старшина объяснения не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тиская, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то, если их русский произносил: нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув шмайссеры, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягоды к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налегке: брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало: оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два шмайссера в этой избе сейчас было, за дверью скособоченной. Целых два, богатство, а как взять это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи, с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И — дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель: пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно

спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый, — прикрывал приятеля своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух: гулкую, тревожную, и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь...

Только не стрелял что-то немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?..

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли: он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться, за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат и сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал окружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал, и — пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и тогда только отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось, не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все — кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда: за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в

растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтобы напиться, шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И — крик следом:

— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..

Голову вздернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрал. Кинулся к ним: тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют — грязного, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы...

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц свисали — ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчоночки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина...

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или — Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к сидору своему кинулся. Только развязывать стал — Женя спросила:

— А Галка?..

Тихо спросила, неуверенно. Поняли они уж все. Просто уточнение требовалось.

Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял свою кружку:

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Не зря погибли: сутки выиграли. Теперь наш черед сутки выиграть. И помощи не будет, а немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренку наших, а там и бой надо будет принимать. Последний, по всей видимости...

Бывает горе — что косматая медведица: навалится, рвет, терзает — света не взвидишь. А отвалит — и ничего, вроде можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собою мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь сидор свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал: нету, пропали.

Запалы мелочью были. Но гранаты без них — просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот. Отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И — покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два шмайссера да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к шмайссеру. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей, наверно, проще будет. Имечко у меня некруглое, конечно, уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтоб вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали. Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы и винтовки с предохранителя сняты, чтобы

до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтобы поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул; выстрел — он ведь всегда неожиданный, всегда — вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним — еще и еще. Васков глянул: на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали, а — не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал спуск — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер туго разорвал воздух над его головой. Одно знал Васков в этом бою: не отступать. Не отдавать немцам ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сынком и защитником. И не было во всем мире больше никого: лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет. Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулась в кусты, постреляла для острастки, и снова все замерло. Только дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он

где-то еще попытается щелочку найти: скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать: шаги за спиной помешали. Оглянулся: Комелькова прямиком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!..

— Скорее!.. Рита!..

Что — Рита, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался.

Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только и спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что — все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое...

— Да не шелк! Леняное давай!..

— Нету...

— А, леший!.. — метнулся к сидору, начал развязывать. Затянул, как на грех...

— Немцы... — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать — не слушал.

Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшее, — зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив: сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел, кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди... туда иди... — с трудом сказала Рита. — Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой.

Уводит — да не всех: еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить — не смог, и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной умопомрачительные гарнитурки упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности. Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

— На вечер! — гордо сказала Женька. Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной?

— Не пушу! — пугалась мать. — С ума сошел: девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы — не влюбляясь.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ ефенерал...»

— Врешь ты все, папка!..

Счастлирое было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то — тир, лошади да мотоцикл, то — танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?..

— Нужен мне Лужин!..— Женька передергивала плечами и — сбегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Боевого Красного Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо — Женька не расстраивалась.

Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя, и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все окончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет...

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому месту еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама.

Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной, робкой матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женья погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женья сразу... умерла?

— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду. — Они ушли. За взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все сейчас понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит! — Он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну зачем так... Все же понятно, война...

— Пока война — понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами — целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал имени товарища Сталина? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом — канал.

— Да... — Васков тяжело вздохнул, промолчал. — Ты лежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам. — Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. — Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди. — Рита глядела куда-то мимо его лица в перекрытое ветвями небо. — Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом... Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита, понял я все.

— Спасибо тебе. — Она чуть улыбнулась бесцветными губами. — Просьбу мою последнюю исполнишь?

— Нет,— сказал он.

— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

— Колючий...— еле слышно сказала она, закрыв глаза.— Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в звенящую лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее — зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла — накатами, и Женю Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом и жалел, и шептал пересыхающими губами:

— Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил: только — боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинках, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой.

А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грузно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил.

Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, он ничего не планировал, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл.

И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож и сейчас, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру заносил финку для одного-единственного решающего удара.

И еще — копил силы. Потому что их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул его автомат, но немец, падая, запутал ремень, а терять уже нельзя было ни секунды. На вздох этот, на шум падения могли выйти из дома, и Васков бросился к дверям, как шел — с одним наганом. Только успел еще гранату из кармана выхватить и в левую руку перекинуть. Бесплезную гранату в бесполезную руку. Рванул скособоченную дверь, прыжком влетел в избу:

— Хенде хох!..

А они — спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал: в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца последнюю свою пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал.

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой тряс старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги и потому на пол легли. Мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, пряткий самый, уж на том свете числился с последней той пулей. И повязали друг друга. Под пустым наганом аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч сам связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А — не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично каждого убью, лично, если начальство помилует! А там — пусть судят меня!.. Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

Тот, последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские...

ЭПИЛОГ

Привет, старичок!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непильном уголке. Комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская, старик! Давай цыгань отпуск и рви к нам.

Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так — хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов — два шикарных озера с окунями и речушка с хариусами. А уж грибов!..

Сегодня с моторкой приехал какой-то старикан без руки и с ним капитан — ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домотканно — тятей. Что-то они тут собираются разыскивать — я не вникал...

...Вчера не успел дописать: кончаю утром.

Здесь, оказывается, воевали, старик. Воевали, когда нас еще не было на свете.

Альберт Федотыч привез мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.

А зори-то здесь тихие, только сегодня разглядел. И чистые-чистые, как слезы...

У КОММЕНТАРИИ

Ю. В. БОНДАРЕВ

(род. в 1924 г.)

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег» появился в печати в 1970 году. Он не был специально предназначен для детей и юношества, но прочно вошел в круг чтения юного поколения. Роман состоит из 26 глав, в которых раскрывается подвиг советских бойцов, остановивших вражеские танки фельдмаршала Манштейна. Эти войска были направлены Гитлером к Сталинграду с целью прорвать окружение, в котором оказалась армия фашистского генерала Паулюса.

Роман развивает тему, которую писатель начал в предыдущих произведениях, таких, как «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», — тему нравственного мироощущения человека на войне. Все батальные сцены подчинены в романе основному замыслу: показать противостояние добра и зла, свободу выбора пути, который ведет к победе добра не только в нравственном, но и в социальном плане.

Герои, действующие в романе, такие, как Бессонов, Кузнецов, Дроздовский, не повторяют предыдущие характеры в повестях писателя — Ермакова, Новикова, Иверзева, Овчинникова. Нет, изображение их представляет собою развитие и обогащение той галереи характеров, которая сложилась у писателя на основе глубочайшего и всестороннего знания их в повседневной, полной острых и сложных коллизий стихии военных — будничных и героических — дел.

Масштабность характеров и событий романа «Горячий снег», естественно, весьма объемна. Бессонов возглавляет армию, задание которой — операция гораздо большей значимости, чем те, что приходились на долю воинских частей капитана Ермакова и капитана Новикова.

Юрий Васильевич Бондарев — автор широко известных и любимых читателями книг: нескольких сборников рассказов, повестей «Юность командиров», «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Родственники», романов «Горячий снег», «Тишина», «Берег», «Выбор», «Игра» и других. Писатель выступает и как публицист, его перу принадлежат книги статей и очерков — «Поиск истины», «Человек несет в себе мир» и другие.

В журнале «Юность», № 8, 1982 года опубликован диалог с Ю. В. Бондаревым, в котором он говорит, что главные качества человека — любовь к жизни, доброта к людям, чувство справедливости, совесть, товарищество, честность, — все эти основополагающие качества личности прочно закладываются в детстве, отрочестве и юности, а позже лишь шлифуются. В этом высказывании писателя ощущается его забота о формировании моральных и нравственных качеств у детей и молодежи, о том, чтобы растущие поколения смогли в космическом пространстве сохранить корабль под названием Земля, сумели, опираясь на созданное предшественниками, достойно вести в светлое и мирное Будущее этот бессмертный корабль — нашу Землю.

Юрий Васильевич Бондарев — видный государственный и литературный деятель; он — депутат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственных премий, Герой Социалистического Труда.

В. О. БОГОМОЛОВ

(род. в 1926 г.)

Повесть «Иван» имеет точную дату написания: октябрь — декабрь 1957 года. Предназначенная не для детей, повесть эта вскоре вошла в детское чтение и была опубликована в Детгизе в 1959 году отдельным изданием. Прошло много лет, но внимание читателей к повести Владимира Богомолова по-прежнему не остыло, и она постоянно переиздается то совместно с другими произведениями писателя, то отдельно. За 27 лет «Иван» опубликован на 44 языках общим тиражом около 23 миллионов экземпляров, причем в ряде стран выдержал по 5—7 изданий. Только в 1985 году — к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне — повесть была издана тиражом свыше 5 миллионов экземпляров.

Повесть состоит из девяти небольших главок, в которых описывается судьба двенадцатилетнего разведчика, собирающего в тылу врага сведения о вооруженной силе и технике противника. Писатель вводит в повествование образ рассказчика, офицера Гальцева, глазами которого увиден Иван; через восприятие этого взрослого человека исследуется характер мальчика, осмысливается судьба детей в годы войны.

Последняя главка представляет собою своеобразный реквием, посвященный памяти мальчика, погибшего в застенках гестапо, но выдержавшего все пытки, которым его подвергали. В тексте приводятся документы из гестаповского архива, в которых зафиксированы этапы ареста и допроса мальчика-героя.

В предисловии к сборнику В. Богомолова «Рассказы» Ю. В. Бондарев писал, что все произведения Богомолова обращены к военной молодости своих сверстников, но в то же время они обращены и к молодости современного поколения, которое все должно знать о своих отцах и дедах.

Это знание, которое несет писатель, всегда основано на реальных событиях, на встречах с людьми подобного характера, на изучении военных документов.

О другом своем произведении — романе «Момент истины» («В августе сорок четвертого...»), тоже издававшемся для школьников, писатель говорил, что «в документах романа нет ни одной сочиненной мною фразы или даже слова (за исключением элементов привязки) и нет ни одного придуманного мною термина или детали».

По сути, это высказывание В. О. Богомолова раскрывает дверь в его творческую лабораторию. Верность реальным событиям, домысел только в связи с его пониманием художественной правды, знание событий и характеров не понаслышке, а из первых рук — вот примечательные черты художественного мастерства известного писателя.

Именно поэтому «Иван», как и другие произведения о войне, написанные В. Богомоловым, отличается напряженностью и одновременно разветвленностью действия. В том же предисловии Ю. В. Бондарев заметил, что рассказы эти настолько впечатляющие, что стали по сути классическими, ибо каждый из них типизирует такую огромность чувств, которой вполне хватило бы и на большой роман.

Проходят десятилетия, но не затуманивается память о тех, кто отдал жизнь в годы войны, и повесть «Иван», занявшая выдающееся место в нашей литературе, — один из самых светлых кристаллов этой памяти.

В. В. БЫКОВ

(род. в 1924 г.)

Повесть «Обелиск» впервые опубликована в журнале «Новый мир» в 1972 году и сразу вызвала поток писем, приведших к дискуссии, развернувшейся в печати (в частности, на страницах «Учительской газеты»). Речь шла о нравственной стороне поступка героя повести Алеся Мороза; одни из участников дискуссии рассматривали этот поступок как подвиг, другие как необдуманное решение. Дискуссия позволила проникнуть в самое существо героизма как идейно-нравственного понятия, позволила постичь многообразие проявлений героического не только в годы войны, но и в мирное время.

Таким образом, повесть Быкова «Обелиск» раздвигает рамки познания героического, ставит проблему выбора, как поступить, и выбор этот определяется не только различными жизненными обстоятельствами, но и психологией героя.

Повесть не имеет членения на главы, она написана как бы на едином дыхании. В ней два рассказчика: один — связанный с сюжетной линией современности, журналист; другой — повествующий о происшедшем в годы войны — бывший партизан и учитель Ткачук. Их встреча и объединяет обе сюжетные линии.

В печати порою называли повести В. Быкова «партизанскими», ориентируясь на то, что в них есть эпизоды партизанской борьбы. Более верна и обоснована точка зрения критика А. И. Овчаренко, который гораздо шире трактует значение повестей В. Быкова и справедливо отмечает в них глубокое проникновение в психологию героев, испытание их на право называться человеком.

Сам писатель не раз высказывал убеждение, что серьезное исследование войны невозможно без знания ее. В. Быков — участник огневых сражений. Вот как рассказывает он о себе: «Я был ранен в ногу. Один танк повернул на меня. Я метнул противотанковую гранату, но неудачно, и едва успел подобрать ноги. Танк буквально вдавил в снег полы моей шинели...

...Утром село снова атаковали немецкие танки, смяли оборону. Я выполз из хаты на дорогу, где меня подобрала последняя уходившая из села повозка. Один танк остановился против нашей хаты и расстрелял ее. Хата загорелась. Очевидно,

все это и наблюдал мой командир батальона. Он, конечно, не знал, что за пятнадцать минут до того мне удалось выползти на улицу. После госпиталя я попал в другую часть. Я всегда писал о том, что видел и пережил сам, что пережили мои товарищи. Конечно, в моих книгах нет буквального воспроизведения жизненных ситуаций. Но все, о чем я пишу, так или иначе было».

В этом ответе В. Быкова на анкету журнала «Дружба народов» (№ 5, 1982 г.) содержится, во-первых, волнующее воспоминание о том, как писатель оказался в списке погибших, и, во-вторых, ключ к таким сценам, как спасение школьника Павла Миклашевича после казни гитлеровцами его товарищей. Психологизм, которым пронизаны повести Василия Быкова, и прежде всего «Обелиск», имеет своим исходным моментом пережитое самим писателем в годы войны.

Писатель Василий Владимирович Быков — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

Б. Л. ВАСИЛЬЕВ

(род. в 1924 г.)

Повесть «А зори здесь тихие...» впервые появилась в журнале «Юность» в 1969 году.

Она сразу принесла прочную известность автору, была принята театрами, поставившими спектакли (сначала Ленинградским театром юных зрителей, а затем и другими).

Дело в другом: она дошла до сердец читателей разных возрастов, она нашла путь и к сердечному восприятию читателей-подростков. В издательстве «Детская литература» впервые повесть издавалась в 1972 году, а затем несколько раз и позже. Жизнь повести оказалась долгой и активной; только центральные издательства, такие, как «Советский писатель» и «Художественная литература», издают ее систематически.

Путь Б. Васильева в литературу был долгим и непростым. Сначала он писал пьесы и сценарии — с середины пятидесятых годов. Затем, уже достаточно зрелый мастер, перешел к прозе, написал повести «Иванов катер», «А зори здесь тихие...», «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», «Встречный бой», «Завтра была война».

«Я думаю о сказках детства. О царевнах-лягушках и Иванах-царевичах, о счастливых чудовищах и несчастных красавицах, о добрых голодных мальчиках и объевшихся пряниками злых купеческих дочках. В них всегда торжествовала справедливость, порок был наказан и все в конце вздыхали с облегчением», — писал Б. Васильев в рассказе «Вы чье, старичье?». И добавлял: «Пусть дети всегда вздыхают с облегчением, но жизнь страшнее любой сказки».

Повесть «А зори здесь тихие...» как раз и основана на таких событиях Великой Отечественной войны, которые «страшнее любой сказки». Но они же и героичнее любых сказочных событий. Четырнадцать глав повести — о них, этих событиях, а краткий эпилог — о том, как память этих событий хранится в сердцах живых: бывшего старшины Федота Васкова, единственного оставшегося в живых после сражения у разъезда номер 171, и сына Риты, Альберта, усыновленного Васковым.

В повести события излагаются не от первого лица; здесь все пропущено через восприятие самих героев: пяти девушек-зенитчиц и более всего — старшины Васкова, который несет за них двойную ответственность: и как старший по званию и как старший по возрасту.

Повесть «А зори здесь тихие...» стала важнейшим произведением в творчестве Бориса Васильева. Она вобрала в себя его предшествующий писательский опыт и дала толчок к новому в его творчестве осмыслению темы Великой Отечественной войны.

Писатель Борис Львович Васильев — лауреат Государственной премии СССР.

Е. Зубарева, Л. Фетисова

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Зубарева и Л. Фетисова. Книги о войне</i>	3
Юрий Бондарев	
ГОРЯЧИЙ СНЕГ	15
Владимир Богомолов	
ИВАН	327
Василь Быков	
ОБЕЛИСК	383
Борис Васильев	
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...	443
<i>Комментарии</i>	533

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 30, книга 1)

Роман и повести советских писателей

Юрий Бондарев
ГОРЯЧИЙ СНЕГ

*

Владимир Богомолов
ИВАН

*

Василь Быков
ОБЕЛИСК

*

Борис Васильев
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

ИБ № 9234

Ответственный редактор И. В. О м е л ь к. Художественный редактор М. Д. С у х о в ц е в а. Технический редактор Н. Г. М о х о в а. Корректоры Т. В. Б е с п а л а я, Е. А. С у к я с я н. Сдано в набор 17.10.85. Подписано к печати 13.03.86. А10076. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 35,13. Усл. кр.-отт. 38,88. Уч.-изд. л. 34,51 + 9 вкл. = 35,07. Тираж 407 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.). Заказ № 2052. Цена 1 р. 90 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Бондарев Ю.

Б81 Горячий снег: Роман. Богомолов В. Иван: Повесть. Быков В. Обелиск: Повесть / Пер. с белорусск. Г. Куреневой. Васильев Б. А зори здесь тихие...: Повесть.— М.: Дет. лит., 1986.— 543 с., ил.— (Б-ка мировой литературы для детей, т. 30, кн. 1).

В пер.: 1 р. 90 к.

В книгу входят произведения известных советских писателей: роман Ю. Бондарева «Горячий снег» и повести В. Богомолова «Иван», В. Быкова «Обелиск», Б. Васильева «А зори здесь тихие...».

Б 4803010102—290
М101(03)86 Подп. изд.

С62



